АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

БУКЕТ ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ

Москва
Серебряные нити, ЦГИ
2023

УДК 82-4 (83Цветаева А.)
ББК 83.3(2Рос=Рус) 1, 6
Ц27

Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры
Российской Федерации и техническом содействии Союза российских писателей.

Цветаева А.И.
Ц27 «Букет полевых цветов» / Сборник очерков, откликов, статей, эссе, рецензий – Москва: Серебряные нити, 2023. – 480 с.

ISBN 978-5-89163-348-3

Книга «Букет полевых цветов» собрала написанные в разные годы очерки, отклики, эссе, новеллы, рецензии старейшей писательницы России, Анастасии Цветаевой (1894 – 1993), признанного мастера мемуарного жанра. Сборник был составлен при ее жизни, позже расширен, название дала сама автор. Дополненный при составлении окончательной редакции, он включает автобиографические и критические произведения писательницы, частью рассыпанные по давно забытым номерам периодики, меньшей частью не публиковавшиеся. Многие тексты воспроизводятся по авторизованной машинописи и сверены с первыми публикациями. «Букет полевых цветов» своеобразно и уникально дополняет знаменитые «Воспоминания» автора.

ISBN 978-5-89163-348-3

ББК 83.3(2Рос=Рус)

© Трухачева О.А., сборник А.И. Цветаевой «Букет полевых цветов», 2023
© Составление Айдинян Ст. А., 2023
© Оформление, издательство «Серебряные нити», 2023

Ольга Трухачева

ПАМЯТЬ ПРЕБЫВАЕТ ВОВЕК!..

Из воспоминаний о бабушке АСЕ

Маленькая была, а помню, как бабушка работала. Мне всегда было интересно, как на листе появляются буквы! Знаю, что книга бабушкиных «Воспоминаний» началась с устных рассказов моей старшей сестре Рите о жизни семьи в «старой, старой Москве» (бабушкино выражение). Начались ее рассказы в Павлодаре. Мне было девять лет, когда вышли ее воспоминания в журнале «Новый мир» в 1966 году и назывались они «Из прошлого». Бабушка привезла специально для меня отдельный оттиск журнала, в нем были только ее воспоминания из нескольких номеров, собранные в один «журнал». Я тогда видела только тоненькую голубую книжечку, а воспоминания бабушка уже рассказывала мне и показывала свою Москву, когда увозила меня и Риту на лето из Павлодара. Я узнавала многие места Москвы по бабушкиным рассказам. А в Павлодаре, по дороге в школу и к друзьям, Баб уже мне рассказывала о своих родителях, о сестре Марине, читала ее стихи. А потом продолжилась работа над воспоминаниями. Рита поступила в институт в Кокчетаве, мы с моих девяти лет уже уезжали из Павлодара вдвоём. Спала бабушка часто по полчаса в день и писала ночами. Помню ее разговоры и переписку с редактором отдельной книги воспоминаний – Маэль Исаевной Файнберг-Самойловой, с поэтом Павлом Антокольским. Помню споры с Маэлью в комнате бабушки в Москве, они с ней работали, сокращали, очень хотели издать книгой ее воспоминания. Помню рассказы Маэль Исаевны о походах в издательство «Советский писатель», о переговорах, о том, чем надо пожертвовать ради выхода книги. К осе-

ни, обычно Баб возвращала меня домой, к родителям и школам. Жила с нами месяца два и обратно в Москву. И вот (я это теперь понимаю) договор с издательством подписан, надо думать над названием книги. Начались походы на почту, в дом к Александру Васильевичу Удалову (и там и там телефоны). Звонки и телеграммы Маэль Исаевне. Бабушкины сомнения: «Из прошлого» ведь был лишь – журнальный вариант. «Детство и юность, как у Толстого. Но когда остановилась на «Воспоминаниях» и ее поддержали, помню ее вздох облегчения и смех. Первое издание книги вышло в 1971 году. И стало событием! Оно посвящено сестре Марине! Ее уход из жизни был неизбывной болью бабушки. На деньги от первого издания бабушка возила меня много лет в Прибалтику, Ленинград, Крым. Купила пианино, которое сейчас в казахском музее «Бухар жирау». А сколько переизданий выдержали «Воспоминания» уже после ухода бабушки!

Я родилась в Казахстане, в городе Павлодаре, где папе разрешили жить после двух арестов. Ему тогда исполнилось сорок пять, а маме сорок. У моих подруг бабушки и дедушки были в возрасте моих родителей.

Папа был очень талантливым человеком, прекрасным рассказчиком, рисовал, писал стихи. Он обладал энциклопедическими познаниями, цитировал целые книги наизусть. Папу я побаивалась, старалась быть независимой и держалась ближе к маме, которая вместе с Асей была центром нашей семьи. Я всю жизнь боялась, что с родителями что-нибудь случится. А представить себе, что когда-нибудь не станет бабушки, я просто не могла. Ведь бабушка была всегда! До моих четырех лет бабушка жила с нами в Павлодаре. Она очень полюбила этот город, хотя родилась в самом центре Москвы.

У нас росли огромные арбузы, дыни, кукуруза. Мама солила арбузы, делала всякие заготовки. После реабилитации в 1962 году бабушка получила комнату в коммунальной квартире. Ее первый московский адрес после всех лагерей и ссылок – улица Медведева, дом 26, квартира 9, три звонка. И первый номер ее телефона прекрасно помню – К-9-60-38.

Бабушка Ася вела дневник, куда все обо мне записывала от года до трех лет. Позже она собственноручно переписала его и подарила мне на шестнадцатилетние. Бабушка очень любила дарить подарки, причем не один большой подарок, а много разных, красивых мелочей, часто сделанных своими руками. В день рождения подарки начинались с утра и продолжались до вечера – книга, блокнот, расческа и так далее, по количеству лет. Когда мне исполнилось семь лет, в 1964 году, бабушка подарила моей маме составленный ею альбом «Жизнь Оли Трухачевой в фотографиях». Она увлекалась фотографией, делала очень хорошие снимки аппаратом «Любитель».

Первую в жизни книгу я получила от бабушки. Она до сих пор цела – сказки Андерсена в розовой обложке. Андерсена я обожала, безудержно рыдала над судьбой Русалочки. А «Стойкий оловянный солдатик» стал первой самостоятельно прочитанной мною книжкой. Ася читала мне Булгакова. Для моего знакомства с «Мастером и Маргаритой» она выбрала фрагменты, где речь шла о коте Бегемоте.

Из всех членов семьи одна я хорошо разбирала бабушкин трудный почерк. Письма бабушки из Москвы родителям в Павлодар – длинные, многостраничные – и открытки, сплошь исписанные так, что не оставалось просвета между строками, могла читать только я. Папа говорил, получив письмо: «Вот подождем, пока Оля придет из школы, она прочтет». Письма Ася всегда писала под копирку, чтобы они остались в семейном архиве.

Папа и бабушка всю жизнь стремились добиться всего своими силами. Первое слово, которое мы с сестрой слышали с детства, это труд. Только два раза в году – в день моего рождения 1 июля и в день ангела 24 июля – я могла делать все, что захочу. А в остальные дни трудиться. Ася вышибла из нас всякую жадность и зависть. Мы никогда не заглядывали в чужой карман.

Ей было уже за девяносто, а она продолжала упорно работать: писала, печаталась, вела обширную переписку, помогала людям, кого-то куда-то устраивала… Скольких людей она принимала за день – сосчитать невозможно!

И для каждого у нее находился совет или просто доброе слово. Самым большим желанием бабушки было любить людей действенной любовью. Она была очень требовательна к другим, но в первую очередь к себе.

Всего нужно добиваться самим. Сначала что-нибудь сделай, а уж потом получи. В нашей семье привыкли отдавать. Отдай – и тебе все вернется в десять раз больше. Своих сыновей я воспитала в том же духе.

Бабушка, как и Марина, тоже была хорошим пешеходом. Она ходила очень быстро, буквально летела вперед. Я иной раз еле за ней поспевала. С собой она носила палку, но никогда на нее не опиралась. В другой руке авоська с плащом и калошами на случай смены погоды.

Лифт бабушка Асенька ненавидела и никогда одна на нем не ездила. Поднималась пешком по лестнице и на девятый, и на одиннадцатый этаж! При этом на промежуточных площадках отдыхала, чтобы восстановить дыхание, и двигалась дальше. «Лестница – это жизнь», – говорила она. В метро на эскалаторе не стояла, ходила и вверх, и вниз. Однажды она сказала: «Сегодня, Оля, я повезу тебя в сказку». И мы поехали с ней на станцию «Новослободская», где я впервые увидела чудесные разноцветные витражи.

Она очень любила кататься на коньках. На катке они и познакомились в свое время с моим дедушкой Борисом Трухачевым. Каталась она на «норвежках», размер ноги у нее был 36–37. В восемьдесят лет бабушка на Патриарших прудах нарезала по семнадцать кругов. Маленькая, худенькая, в рейтузах и спортивной шапочке с мысиком, она была похожа на школьницу. Боялась, что мальчишки на катке забросают ее снежками. За ней действительно гонялись мальчишки, но, обогнав ее и увидев морщинистое лицо «Бабы-яги», в ужасе бросались врассыпную.

Бабушка всегда была в движении. Не позволяла себе лежать. В конце жизни, когда она уже очень плохо себя чувствовала, все равно старалась что-то делать, стирала свои носовые платочки. Считала, что ежедневно нужно давать себе нагрузки и для души, и для ума, и для тела.

…Наша безумная любовь к кошкам – тоже от бабушки. Всю бабушкину жизнь сопровождали кошки и собаки, начиная с Трёхпрудного (кот Вася). В Сибири жизнь бабушки и Риты также проходила среди кошек и собак – они приносили ей отдохновение, любовь, радость… Сохранились бабушкины зарисовки котов в Сибири и удивительно поэтические и полные любви и понимания этих животных надписи. На одном рисунке лежит на спине толстый кот, сложив лапы, и подпись: «Мироед на отдыхе». На другом – кот Вася и кошка Фея, положившая голову с зажмуренными от удовольствия глазами на спину кота, тесно к нему прильнувшая: «Тяготы семейной жизни». На следующем – кошка Фея в изящном прыжке и поразительная по точности подпись: «… отряхая снег в балетном прыжке, она влетела, подтверждая своё имя, сизо-серая, как вербная пушинка, лёгкая, как Екатерина Гельцер, веющая морозом Снегурка…»

Павлодар также не стал исключением – там с нами жило огромное количество кошек и котов – Том-Том, Васька, Цапка, Винни-Пух… Будучи сама человеком независимым, бабушка ценила и их независимость.

Отчаянным кошатником был и папа. Не могу удержаться, чтобы не рассказать об этой любви к животным и о вольностях, которые разрешались им. Из раза в раз со всеми кошками повторялась такая картина: все садятся обедать, и кот или кошка забираются к папе на колени и опускают кончик хвоста в его тарелку с супом. Мама возмущалась, а папа говорил: «Не волнуйся. Это мой суп и мои колени». Или представьте себе такую картину: бабушка ходит за папой с кружкой геркулесового киселя – «Андреюшка, выпей…», а папа ходит за котом с миской, а кот Пух идёт по забору, спокойненько так, и изредка на папу посматривает – мол, тьфу на тебя… Мама позвала меня: «Посмотри, что там творится!» Я вижу: папа за котом, бабушка за папой… Ну и картина!

Конечно, жизнь в Москве в коммунальной квартире не позволяла бабушке иметь животных, и любовь к ним она выразила своим только ей свойственным образом. Получив отдельную квартиру, она всю кухню заселила самыми разнообразными большими и маленькими котами и кошками – в календарях, картинках, фотографиях… Завести животных она не могла из-за своего образа жизни – работа, продолжительные поездки…

Как я учила английский язык… Пока была маленькая (до 4 лет), я просто стала понемногу понимать, о чем говорят бабушка и Рита хотя говорили они не так как папа и мама. На фотографии, где мне 1 год и 4 месяца, я с мячом, лежащим на протянутой бабушкиной руке и на обороте написано ее рукой – Where is a ball? – первый урок английского языка. Я не помню вопроса, но я помню мяч, помню, как беру его из рук бабушки. Мяч был не новый, шероховатый, красный с синим и с желтой полоской. А потом Рита и бабушка заговорили на непонятном мне языке, бабушка начала учить Риту французскому. Была бабушкина попытка начать учить меня тоже. Обычно я несла бабушке половинку целлулоидного медведя на ее просьбу – Where is your bear? А в тот раз бабушка сказала, что «медведь» будет «урс» – ours, я начала топать ногами и кричать, что медведь – это bear. Бабушкина попытка провалилась (она сама сказала, что поняла, что меня не переубедить). Как я теперь об этом жалею…

Потом Баб уехала жить в Москву, приезжала к нам весной, забирала Риту и они возвращались к концу лета. Для меня она все равно жила с нами. Но английский уже не звучал круглый год и я его просто забывала. Но когда бабушка появлялась весной, я вспоминала его. До сих пор не понимаю, как бабушка меня научила языку. Она часто рассказывала, как сама учила свой «любимый английский язык». Немецкий и французский Баб знала с детства, а вот английский учила уже взрослой, а потом преподавала его. Всегда говорила, что учила его девять лет – это время учебы и преподавания. Первый и самый главный бабушкин принцип изучения чего либо – это «Повторенье – мать ученья». Слышала я это на протяжении ее и своей жизни. А вот настоящий первый урок в семь лет помню. Я в первый раз поехала с бабушкой и Ритой на все лето в Палангу. Перед отъездом из Павлодара она показала мне книгу в рыжей бумажной обложке, на обложке сидели котята и Баб спросила меня – «Кто это?» – я ответила по-английски. Это был учебник для начинающих. По-русски Баб научила меня читать ещё в пять лет, поэтому я сравнила английский алфавит и русский, быстро запомнила английский (учила его в поезде), а по приезде в Палангу началось чте-

ние. Помню, Рита вышла из комнаты, а Баб объяснила мне как читаются буквы в закрытых и открытых слогах , возвращается Рита, а я сижу и громко читаю – «a cat, a dog, a doll, a wall». Ритиному удивлению не было конца. «Баб, она уже читает?» – воскликнула она. Идём по Паланге (или ещё где-нибудь в другом месте); с Ритой Баб говорит по-французски, со мной по-английски. Рита со мной тоже по-английски. Я не знаю слово или забыла, десять раз повторяю и загибаю пальцы. Баб через час или два спрашивает, как будет это слово. Я, естественно, не помню. Теперь уже иду с закрытыми глазами и, не загибая пальцы, а стараясь запомнить, повторяю двадцать раз. Вот так я учила английский язык. Бабушка вообще не разговаривала с нами по-русски. «Дома будете разговаривать с родителями, а я вас не слышу, если говорите по-русски» – вот и приходилось запоминать, голова работала все время. Ночью, поднимая на горшок, спрашивала, как будет то или иное слово. Гладила по голове и хвалила – «Молодец, золотоволосый кот». Она так меня звала.

Когда я перешла в пятый класс, бабушка взяла с собой в Эстонию учебник английского языка за 5 класс. За лето я прошла весь учебник, сделала все письменные задания, а в конце лета ещё раз бегло просто прочла весь учебник (для памяти – сказала бабушка). Домашние задания по английскому я просто переписывала из этой тетради в школьную. Так продолжалось до окончания школы. Мои тетради путешествовали по классу. В 15 лет я не поехала с бабушкой, осталась на каникулы в Павлодаре. Баб попросила меня прочесть учебник и сделать задания самой. Рита, приехавшая в Павлодар с мужем, проверила меня (по просьбе бабушки) и осталась довольна. Я до сих пор горжусь, что сдержала обещание. Тем летом я жутко хамила бабушке (по-русски), а она мне – «Я тебя не понимаю и не слышу. Вот если будешь хамить по-английски, может быть, услышу». Я выучила несколько пакостных слов и хамила уже по-английски. Сейчас больно сжимается сердце от этого. А каково было ей?

Бежали мы как то раз в музыкальную школу (Гуляра Шамилевна приветствовала бабушкино присутствие на уроках) мимо Ленпарка, говорили, как всегда, на английском, а за нами мужчина в телогрейке. Бабушка палку в руку и ускоряет шаг, по проходу между Ленпарком и Горбольницей мы уже летим, мужчина вслед просит остановиться. С какой теплотой и благодарностью он разговаривал потом с нами. Был очень удивлён услышать английскую речь в городе. Он был из ссыльных. И такие истории с нами случались. Вот так я учила английский язык!!!

Бабушка считала, что иностранный язык и музыка помогут мне в жизни. Несколько дней назад я сказала младшему сыну Григорию (мы с ним живем в Америке) с какой благодарностью я вспоминаю бабуш-

кины уроки английского (уроки жизни). Мне теперь все время приходиться говорить на английском. Вот и жизненный урок. А младшую внучку (ей 6 лет) учу русскому. Она все понимает, делает все, что я ей говорю.

Пока позволяли силы, каждое воскресенье Ася ходила в церковь, исповедовалась и причащалась, а потом, во время ее болезни, священник приезжал к ней домой.

Свою веру в Бога она стремилась передать и нам с сестрой. В каждую нашу вещь – в воротничок школьного платья, в физкультурную форму – бабушка зашивала крестик. Молитвы мы учили наизусть.

Любимым святым бабушки был Серафим Саровский. Я до сих пор ношу в своей сумочке молитвы, написанные бабушкой – великомученику Трифону, Ангелу-Хранителю, Целителю Пантелеймону. Листочки запечатаны в пленку для сохранности. Во время болезни она просила дать ей перо и бумагу и писала молитвы под мою диктовку. Сначала рука соскальзывала, строчки съезжали, а где-то с середины рука твердела, крепла, и вторая половина молитвы дописывалась четким твердым почерком. Я подкладывала под бумагу картонку, чтобы писать было удобней. Эта картонка с обрывками соскользнувших на поля фраз хранится в Доме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке. К Богу я вернулась в двадцать два года, когда ждала первого сына, названного Андреем в честь папы. Читала все молитвы, которые знала. Мама говорила мне: «Самое главное – не кричи. Вечно беременной не будешь, родишь». Папа очень ждал внука. Только и разговоров было, что родится Андреюшка. Когда это событие произошло, папа едва не выпрыгнул с балкона от радости. Он всем давал телеграммы. Бабушка прислала ответную телеграмму в роддом: «Ура сын Андрей Олиному заказу целую Баб, Прабаб». «Молитва матери со дна морского достанет. Молись, Оля, за своих детей», – часто повторяла мне бабушка. Уметь быть благодарной Богу, благодарить за все, что происходит с тобой в жизни – это тоже во мне от бабушки.

Сколько себя помню, бабушка не засыпала без молитвы, но и просыпалась с молитвой. Она не была фанатичкой. Бабушка была верующим человеком. Прошла свой путь к Богу – от его отрицания в юности до слов, перед уходом, с просьбой простить её прегрешения. Когда я читала её следственные дела, то вспомнила её рассказ о допросах, на которых она читала молитвы и стихи про себя. Поверив в Бога, она никогда не усомнилась в вере. Даже когда, пройдя на коленях до церкви, вымаливая жизнь для моего дедушки (Бориса Сергеевича Трухачева), а он умер, бабушка верила. В молодости дала обет «монашества в миру».

Не ела мяса, не лгала. Могла промолчать, но не лгала. Она сделала сама маленький иконостас из картонной обложки с амбарной книги и пришила к ней маленькие иконки (сейчас он в Тарусском музее семьи Цветаевых), открывала его и в поезде «Павлодар – Москва» (или в других поездках) и молилась. Маленькой она меня водила в Павлодарскую церковь, на улице Карла Маркса, причащаться (меня там и крестили 4-х месяцев) и я помню ещё одну девочку с бабушкой в церкви. Пока были маленькие, слушали бабушек, подходили к иконам, целовали, а стали постарше показывали друг другу языки за спинами бабушек. Может быть, стеснялись?

Баб учила меня молитвам, я до сих пор помню их наизусть. Если, по её мнению, я была виновата, должна была стоять на коленях и молится, причём обязательно вслух, а она поправляла, если я ошибалась или спотыкалась. И вот однажды, когда бабушка наказала меня несправедливо, я, стоя на коленях, обратилась к Богу: «Господи, скажи ты ей, что я этого не делала». А он молчит. Бабушка не разрешает мне встать с колен. Ну вот, тогда я: «Нет тебя, Господи, раз я все ещё на коленях». Много раз мама, пока я была маленькой, говорила бабушке: «Мама, что вы с ней делаете? Она сама придёт к Богу. Вы уже это в неё вложили». Баб вкладывала в меня божьи заповеди: чтить отца и мать, не лгать и многое другое. В 15 лет я начала хамить бабушке. С подростковым максимализмом хотела избавиться от её опеки. В тот год я стала комсомолкой. Я ей сказала: «Отстань от меня, я комсомолка и в Бога не верю!» А бабушка начала меня спрашивать о комсомольском уставе, хорошо ли я его знаю, что там говорится о помощи младшим и старшим, об уважении к старшим. А потом: «Ты все крутишься перед зеркалом, иди помоги матери. Ваш устав тоже Евангелие». Я тогда фыркнула, но запомнила её слова.

Навсегда запомнила её слова: «Молись, Оля о своих детях, молитва матери со дна моря достанет». Очень они мне помогли в трудное для меня с сыном время. Мы с бабушкой собирали цветные крышки из фольги от молока и кефира и фантики от конфет, она из них делала оклады к иконам. Некоторые иконы сегодня вернулись домой, в Павлодар. Помню некоторые из них на полке в моей комнате, на этажерке. Бабушка рассказывала мне о блаженной Ефросинье и мы вместе с ней ездили к святому источнику в Колюпаново. Меня, семилетнюю, именно она привезла в первый раз в Сергиев-Посад в Лавру. Рассказывала, что вместе с папой видела, как взрывали Храм Христа Спасителя. Уже после её ухода издали её перевод с французского – житие святой Бернадетты. А её «О чудесах и чудесном» вышла ещё при её жизни. Каждое воскресенье ездила к исповеди и причастию. Когда бабушке было 93 года, я поехала с ней в нашу Эстонию. Помню радость встречи.

Я не была в Кясму ровно 16 лет и вижу бабушку, одну, стоящую на остановке автобуса, присевшую на свою палку, встречающую меня. Сердце сжалось, а первая её просьба ко мне была отвезти её в церковь в Раквере, на исповедь и причастие. Мы не опоздали на обратный автобус, мчались от церкви к автовокзалу, откуда только взялись силы. А после её ухода я нашла письмо Баб к маме о той нашей поездке, где она хвалит и благодарит меня. А сидя в церкви говорит мне, что стала почему-то сегодня плохо слышать и очень ей от этого тревожно, а я, взглянув на её ухо, увидела беруши, тихонько помогла ей их вытащить. Но хохотали мы с ней на бегу к автобусу и долго не могли успокоиться.

Многих людей бабушка привела к вере, многих отмолила. А мама оказалась права, я вернулась к Богу в двадцать один год, когда рожала своего первого сына. Так вслух, с моей молитвой он и появился на свет.

В трудное для бабушки время, во время болезни, я давала ей лист бумаги и диктовала молитвы. Начинала она писать криво, а к концу строчки выравнивались, почерк становился четким и это помогало нам обеим выдержать страх ухода. Но больше страха было у меня, а Баб только просила Господа её простить. Она считала себя большой грешницей и говорила, что Господь её не принимает поэтому. А я в ответ: «Баб, ты меня учила раскаянию, говорила, что Бог прощает даже убийц, если они раскаялись. Ну а ты стольким помогла, все будет хорошо. У каждого свой час». И теперь бабушка спрашивала меня о вере в Бога моих сыновей. Вот Гриша, младший сын, когда старший, Андрей, делал ей искусственное дыхание, стоял на коленях и читал громко «Отче наш». Под его чтение бабушка последний раз вздохнула.

После её ухода я нашла в её Евангелии записку, в которой она просит у Бога прощения за то, что была жестока и деспотична с нами, своими внучками. Руки тряслись и слезы лились, когда я читала её. Каждое своё письмо она заканчивала словами «Храни вас Господь». И когда мы уходили от неё, с этими же словами крестила на дорогу. Вот меня и хранит её вера!!!

Надпись на первом издании книги мне, девятилетней, всегда в памяти и в сердце. Пишу это и смотрю на бабушкин портрет работы Ирины Бржеской, который висит на стене напротив моего портрета (тоже работы Ирины Владимировны) и звучит: «…книгу моих воспоминаний о старой, старой Москве, о людях в ней живших. Вспомни бабушку, учившую тебя музыке, языку, литературе, трудись у рояля. Сыграй мне вслед, я услышу….»

Сыграть не могу (хорошо сыграть, как бы она хотела), но помню и люблю всегда. Память пребывает вовек!

ИЗ ПОСЛЕДНЕГО, ПРЕДСМЕРТНОГО ДНЕВНИКА

11. VII.1993 г.

Ночью, проснувшись: «Дай мне перо и бумагу, хочу немного поработать. А ты спи, я недолго». Из-под её пера вышел последний рассказ «Собака»!..

Вечер. Приехал Ю. Коваленко.

Мне на ухо: «Что я должна сделать, чтобы не обидеть людей? Встать, побеседовать, погулять с ними?»

Встает, держится прямо, пьет чай, ведет светский разговор.

12.VII. 1993 г. Вторая половина дня.

О людях: «Как я жалею и сожалею, что не могу любить их, вернее, люблю их недостаточно. Хотела бы любить активной, действенной любовью».

21. VII.1993 г. Бывает весела.

Я поцеловала бабушку по неловкости в глаз, и в ответ: «Как светло стало! Поцелуй во второй!»

5.VIII. 1993 г.

Ложась спать, ощупывая себя: «Кофта мохнатая, я должна в ней спать? Как кошка… Но кошке хуже, ей никто не может помочь снять, расстегнуть».

Дома у нас всегда были животные.

16 VIII 1993 г.

Баб: «Наверное, не надо было нам родиться…»

Я: «Почему?»

Баб: «Толку от нас мало».

Утро. 16.VIII. 1993 г. День рождения папы.

Вдруг говорит: «Интересно!» – «Что интересно?» – «Как теперь там?» – «Где?» – «Где нас нету, где всегда хорошо!»

Все время молится, читает молитвы или просит почитать Евангелие. Я знаю, уверена, что Бог помог ей и всем нам, бывшим рядом.

23.VIII. 1993 г.

В 22.30 Валя, Эля, я сидим у ее постели.

Баб: «Вы все сегодня со мной и сможете мне сегодня помочь. Это будет такое чудо! Я обратилась К Богу, и Он спасет нас!»

В эту ночь она проговорила шесть часов, рассказывала Вале свои «Воспоминания». За две недели до ухода как бы заново прожила всю свою жизнь. Была маленькой девочкой, звала маму; хотела в Тарусу, была бабушкой, прабабушкой. Даже арест и ссылка к ней вернулись.

Ночь 23/24.VIII. 1993 г.

Нам с Элей: «Как хорошо, что вы пришли! Я знаю, что свободна. Во-первых, я поеду на Ваганьково к Андрюше. Помнишь папу, Оля? Во-вторых, я буду делать гимнастику и ходить по балкону. В-третьих, поеду к Нинушке в Балабаново. В-четвертых, поеду в Пюхтицу, чтобы окунуться в источник. В-пятых, увижусь с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым… Он жив?»

25.VIII 1993 г. Заказали молебен о здравии р. б. Анастасии.

Валя: Сегодня в церкви друзья молились.

Баб: «За рабу Божью Анастасию?»

Валя: «Да».

Баб: «А после имя другое будет!»

Читает молитву «Отче наш». Не ошиблась, хотя память слабеет. Все время говорит о молебне, чувствует его.

Вскоре приходят из церкви друзья, приносят святую воду.

28.VIII. 1993 г. В 20.55 сказала: «Как люди у людей просят помощи, так и я у тебя прошу, Господи!

Облегчи, прости нас… Верю я в помощь Божью и в человеческую… Хотя бы совсем немного вы все верующие христиане. Бог непременно должен всех простить».

Ночь 28/29.VIII. 1993 г.

Баб: «Неужели мне всегда придется лежать? Я так люблю быть на ногах».

Чуть позже положила руку на сердце: «Сердце бьется, значит я живая…»

Еще забыла записать, пишу сейчас:

Я всю себя отдала Рите, а через 10 лет – Оле.

Разница у вас с Ритой десять лет.

Бывает очень ласкова. Все время вспоминает родных и друзей. (…)

Как я благодарна всем тем, кто был с нами в те трудные дни, всем тем, кто писал этот дневник, дежурил возле бабушки.

Станислав Айдинян

О жизни и творчестве Анастасии Цветаевой

Анастасия Ивановна Цветаева была старейшей писательницей России, и я знал, что ее судьба длительна и интересна, что ее «Воспоминания» не просто замечательны, им в литературе тех лет не было аналогов…

Сентябрь 1984 года. Впервые дверь ее квартиры на Большой Спасской улице в Москве отворилась предо мной после трех, всем условленных, звонков. Вступил за порог – неведомой встрече навстречу. Здороваясь, входя в беседу, заметил сходство с фотопортретом, открывающим все три издания «Воспоминаний» – седая челка, высокие дуги бровей. Взгляд – не прямая открытость, а отраженная близорукостью глубина.

– Вы, оказывается, молоды, – сказала она, в голосе ее послышалась приглушенная годами звучность, – по Вашему письму думала, Вы старше… Прочтите, пока я на минуту отлучусь, о сестре моей Марине в «Юности» очерк Тамары Астаповой. Это самое искреннее из того, что о ней за последние годы написано…

Энергичный шаг по комнате к телефону. Номер набран на память. Слитность, образность речи, летящей через густой лес подробностей к насущному, ключевому, ради чего начат разговор.

Ей – почти девяносто лет? Не верилось.

Со стен, со шкафов небольшой однокомнатной квартиры на Большой Спасской фотографии друзей – поэтов, художников, писателей. Внимание уходит к ним, на них: трагический, темный взгляд Максимилиана Волошина, гордый облик Осипа Мандельштама, рядом – стремительный каждой чертой Борис Пастернак…

Здесь, у Анастасии Ивановны чувствуешь себя чуть ли не их современником. Ведь она – живое связующее звено меж нами и старой русской литературой, меж нами и давно антологическими именами, меж нами и старшей ее сестрой Мариной Цветаевой, чьи стихи для многих – золотые листья на классическом древе поэзии.

Анастасия Ивановна закончила телефонный разговор, подошла. Мы разговорились, сначала говорили о друге ее юности, писателе Анатолии Корнелиевиче Виноградове, и потом сразу – о многом другом, конечно о людях и событиях Серебряного Века… И разговор не раз в будущем продолжился, первое посещение не стало последним…

И потом девять лет – до сентября ее смертного 1993-го года я помогал Анастасии Ивановне редактировать ее рассказы, статьи, очерки,

стихи, тогда еще неопубликованный роман «Amor». Общение наше – работа по 5-8 и более часов – в увлеченности, полной погруженности в текст, в шлифовку предложений, прерывалась еще и проходящими в перерывах меж трудами чаепитиями, во время которых она много рассказывала себе, о семье Цветаевых и о своем дружеском круге. Об отце – Иване Владимировиче Цветаеве, профессоре-филологе и искусствоведе, основателе Музея изящных искусств на Волхонке (теперь ГМИИ), – второго после Эрмитажа, центрального музея западной живописи и скульптуры в стране. О матери – Марии Александровне, одаренной музыкально, образованной, всесторонне развитой. Это о ней М.Цветаева писала Василию Васильевичу Розанову: «Ее измученная душа живет в нас – только мы открываем то, что она скрывала». Жизнь Марии Александровны трагична была тем, что не однажды оплакала она невозможность любви, преступившей долг…»

Гордость, стать, волю, тягу к свободе сестры унаследовали от матери. От нее же – эмоциональность, восприимчивость, глубину памяти, может быть и способность входить с головой в человека, в книгу, в день впечатлений. Анастасия Ивановна как-то рассказала мне удивительный случай, говорящий о феноменальной интуиции той, кто подарила миру два столь больших – в дочерях – таланта.

Однажды, придя домой из театра, Мария Александровна увидела, что нет на ней надетой накануне любимой золотой броши с изображением женщины у рояля. Расстроилась: дедушкин подарок. Были поиски с фонарем по переулку, где жили. Все тщетно. Легла спать огорченной… Но – увидела сон: утро, Камергерский переулок, снег. Она идет по тротуару, видит горбик снега, под ним – брошь! Подняла и проснулась. Несмотря на то, что ее отговаривал Иван Владимирович ехать на поиски, – Поздно уже, Голубка, не найти! – поехала по следам сна – туда, где была во сне. Вернулась потрясенная, с брошью. Явь оказалась точной копией сна.

Подобное с нею бывало не раз. В ней были черты ясновидения. И она дружила с отцом Дм. Мережковского, Сергеем Ивановичем Мережковским, придворным и мистиком, который считал ее выдающимся медиумом…

Слушая устные рассказы Анастасии Ивановны о матери, думал я о том, какую гармонию надо было носить в душе, чтобы снами совпадать подсознательно – с реальностью… В двухтомник «Воспоминаний», выпущенный нами в 2008 году, уже после ухода в иной мир Анастасии Ивановны, вошли эти, прошлым озаренные, сведения…

Однако нельзя не сказать и о том, что и от отца, Ивана Владимировича Цветаева, сестры унаследовали не только огромную работоспо-

собность, но, видимо не менее чем от матери и литературный дар. Он оставил исключительно живой, ценный по изложенным фактам и событиям, в то же время ясный, образный, порой остроумный а не официально-формальный, дневник, говоривший о том, что и ему было что в сфере словесности «завещать» сестрам…

Анастасия и Марина Цветаевы при общих чертах, унаследованных от матери, при большом сходстве душевного строя – были различны характерами, стремлениями и – прежде всего – судьбами. Марина Цветаева после революции жила в Чехии, потом во Франции, почти вся жизнь Анастасии протекла в России, конечно, кроме детских лет, когда они с сестрою учились языкам в пансионах. Немецкому – в Германии, во Фрайбурге. Французскому – в Швейцарии, в Лозанне. Вспоминала Анастасия Ивановна, как в 1903-1904 годах еще девочками-пансионерками поднимались они в ослепительный блеск альпийских снегов, про Женевское озеро, на берегах его практиковались, совершенствовались во французском, который с детства, как и немецкий, прививала им мать. Английский язык она освоила и стала преподавать значительно позже.

Особую роль в становлении Марины и Анастасии Цветаевых сыграл город Таруса, где они проводили лето, именно тут они зачерпнули полным резным ковшом народную речь, сказки и присказки старины русской. Вот откуда у М.Цветаевой в поздней поэзии народные мотивы. Анастасия Ивановна говорила при мне, что сама удивляется почему в самом преклонном возрасте ей стали вспоминаться старинные народные «тарусские» поговорки и присловия…

«Мы быстро переходили с русского на французский – рассказывала Анастасия Ивановна, – папа называл это перепрыгивание, эту языковую чехарду, „обезьяний язык“, просил, чтобы раз уж начали на каком-то одном говорить, не перескакивали бы на другой». С тех времен и до последних пор в речи Анастасии Ивановны проскальзывали также французские, реже немецкие, выражения. У обоих сестер были свои кумиры – образы из французской литературы и истории. Они любили стихи Гюго, Бодлера, Верлена, Марселины де Борд Вальмор. Марина Цветаева в ранней юности увлекалась императором Франции Наполеоном, трагическим и сильным, и сыном его, ребенком, герцогом Рейхштадтским, нежным и беззащитным…

А Анастасия – у нее был замысел по-своему, по-новому повторить литературный опыт Марии Башкирцевой, русской по происхождению художницы, жившей во Франции, оставившей ею на французской языке написанный откровенный и умный дневник; этот дневник ее прославил более, чем опыты – в живописи, скульптуре, науке. Анастасия

Ивановна дважды – в 1912 и 1927 годах была на могиле Башкирцевой в Париже. В одной из наших бесед подробно описывала картину кисти Башкирцевой, которая тогда над могилой в часовне была выставлена. Не забудем также и о том, что М.Башкирцевой посвящен «Вечерний альбом», первый поэтический сборник М.Цветаевой. Замысел издать свой дневник неполно, но осуществился первыми книгами Анастасии Ивановны, – «Королевскими размышлениями» (1915) – это тонкая эссеистика, выбранная из дневников. И во второй, очень смелой книге «Дым, дым и дым» (1916). В богоборческих «Королевских размышлениях» – возвышенный вздох над миром о бесцельности и тщетности бытия. Известные мыслители России – Л.Шестов и В.Розанов познакомились с книгой, имели о ней свое мнение. Вторую исповедальную, откровенную, психологически тонкую книгу отрицательно рецензировал в одной из газет мастер русской прозы Леонид Андреев. Надписывая мне свой «Дым…» годы и годы спустя, Анастасия Ивановна написала – «…книгу, которую misunderstood Леонид Андреев…» – то есть книгу, которую не понял (по-английски) Леонид Андреев. Надо не забыть и то, что как в первой, так и во второй книгах есть краткие строки, ему, Л. Андрееву, посвященные, и они отрицательные… Это не оставило, видимо, знаменитого драматурга и писателя равнодушным…

После революции судьба Анастасии Цветаевой сначала складывалась трагично – один за другим умерли первый и второй ее мужья. Она потеряла в Коктебеле умершего от дизентерии годовалого сына Алешу. Голод, нищета.

Но воля к жизни оказалась сильнее. Анастасия Ивановна пережила самое трудное, и в 1920-30-ых годах преподавала английский язык, жила интересной, полной жизнью, окруженная узким кругом мистически настроенной московской интеллигенции. В начале 1920-ых годов по рекомендации М.Гершензона и Н.Бердяева вступила во Всероссийский союз писателей, это была творческая организация просуществовавшая с 1920 до 1932 года, объединявшая, как тогда выражались, «попутчиков», старых беспартийных писателей и поэтов, дебютировавших до революции. Именно там, в общежитии союза писателей она познакомилась в 1922 году и близко сдружилась с удивительным человеком, мистиком, розенкрейцером, поэтом-импровизатором Борисом Зубакиным, которому сам Патриарх Тихон присвоил сан Благовестника, который давал право, не будучи священником, проповедовать в церквях. За Б.М. Зубакиным до его ареста и высылки из Москвы она записывала его лекции о этическом герметизме специально выученными для этого стенографическими знаками.

В те годы она была в контакте с некоторыми из тех, кто опреде-

лял своим творчеством вершины литературы страны – так, она переписывалась с А.М.Горьким, ездила к нему в Италию. Дружила с Б.Пастернаком, из писателей встречалась – с Пантелеймоном Романовым, с которым вместе они отредактировали и сократили его четырехтомный роман «Русь»; хорошо знакома была с поэтом и писателем И.С.Рукавишниковым, который даже делал ей предложение. Ею был безответно увлечен драматург К.Тренев, сыгравший потом в Чистополе зловещую роль в судьбе ее сестры М.Цветаевой.

Еще до первой мировой войны она читала по-французски и в переводе Софии Парнок Марселя Пруста. С тех пор считала его первым из прозаиков. Он оставался и был для нее непревзойденным, и в ее «Воспоминаниях» при всей их самостоятельности, есть «прустовская» пристальность в предметных описаниях.

Интересно также, что когда я спросил Анастасию Ивановну, – а какой город из всех, что она повидала в путешествиях, ей к сердцу всего ближе, он отвечала: «Я никогда не любила Петербург, он мне холоден, даже страшен. Люблю Москву и Париж. В Париже, каким я его запомнила, ощущение легкости, непринужденности, свободы».

Была в ее жизни встреча… произошла она в доме Максимилиана Волошина, художника и поэта… У Волошина Анастасия Ивановна встретилась и подружилась с девушкой, писавшей французские стихи. Этой девушке в будущем суждено было сыграть определенную роль в истории французской культуры, поскольку это была Майя Кудашева, в девичестве – Кювилье, впоследствии Майя Роллан, жена Ромена Роллана. Это она, Майя, некогда влюбилась в поэта Андрея Белого и Анастасия Ивановна ездила по ее поручению за город к нему – делать от Майи предложение. Но тот отвечал – «Нет, Анастасия Ивановна, это невозможно. От Майи исходит женская опасность!.. Вот если б это предложение исходило от Вас…» Но от Анастасии Ивановны подобных предложений не исходило. Она добровольно, под влиянием Б.М.Зубакина, приняла мистико-религиозный обет и следовала ему – не пить, не курить, не вступать в интимные связи… Отказалась и от своего дневника, перестала его вести, так как это была ежедневная хроника ее мыслей и чувств, а что они перед Вечностью?.. Когда Майя Роллан приезжала в довоенную Москву, они виделись дома у Анастасии Ивановны. И Майя Павловна повелительно приказала приставленной к ней сопровождающей женщине подождать в коридоре, чтобы подруги, много лет не видевшиеся, могли бы поговорить спокойно и откровенно. Потом, по возвращении из тюрем и сталинских ссылок, Анастасия Ивановна возобновила переписку с Майей Павловной.

Недолго до кончины мадам Роллан ее посетила в Париже журна-

листка, близкая приятельница Анастасии Ивановны, Галина Игнатьевна Медзмариашвили, в те годы жена полпреда Грузии, она передала от московской подруги письмо и журналы с публикациями воспоминаний. Об этой встрече Галина Игнатьевна написала очерк, который был потом опубликован в газете «Вечерний Тбилиси». Потом о М.П.Роллан Галина Игнатьевна написала книгу «Я жив благодаря ей…» (Эпизоды жизни М.П.Роллан), которую издал в 2000 году Дом-музей М.Цветаевой в Москве.

Переписка супруги создателя «Жана Кристофа» и «Кола Брюньона» с А.И.Цветаевой длилась долго. В сохранившихся письмах – теплота дружбы, желание вновь побывать в сказочном горном Коктебеле – крымском местечке, где Анастасия и Майя провели в юности незабываемые дни и часы. О Майе немало упоминаний в «Воспоминаниях».

В 1985 году я по предложению Анастасии Ивановны поехал в Коктебель. Она написала жившим прямо перед входом в писательский пансионат сестрам Журавским. И я поселился в маленьком отдельном каменном домике в саду у них. Это были уже не три, а две сестры из круга М. Волошина. У них дома хранился большой альбом с фотографиями Максимилиана Александровича. И у них был единственный в Коктебеле в те годы Театр Камней.

Сестры в юности на горном Карадаге находили драгоценные большие полудрагоценные камни – аметисты, хризолиты, халцедоны, гранаты. Карадаг когда-то после дождя сверкал снопами искр, это оживали светом омытые дождем кристаллические камни… Так вот сестры торжественно восходили на грубо сколоченный из досок помост-сцену. И подставляли лучам солнца некогда найденные камни. И снопы искр и свечений радовали пришедших к ним гостей – восхищенных зрителей…

Анастасия Ивановна приехала несколькими днями позже меня и поселилась в Доме творчества писателей. Марии Степановны, вдовы Макса, у которой она раньше останавливалась в Доме Поэта, уже не было в живых, она умерла в декабре 1976 года. О ее смерти Анастасии Ивановне подробно написала в напечатанном на машинке письме писательница Е.В.Нагаевская.

Помню солнечный день в осеннем Коктебеле – волшебном ансамбле гор и переменчивого по цвету моря, на берегу которого тогда уже редко находили полудрагоценные камни. Анастасия Ивановна отправилась навестить Дом-музей ее друга, М.А.Волошина. По пути в музей в рассказах Анастасии Ивановны оживал – до зримости – ее Макс, Максинька, которого, когда он приезжал в Москву и заходил к ней в

гости, по ее словам, «было приятно кормить, как кормить слона». Интонациями, тоном Волошина Анастасия Ивановна читала его стихи, вспоминала облик поэта – «голову зевсову, большую, копну густых волос» на которых обручем – полынный венок, в светлых глазах – грусть и самоуглубленность.

Мы пришли в Музей. В Мастерской некогда стоял большой стол, но его вынесли ради удобства продвижения экскурсантов. С этим Анастасия Ивановна согласна не была. Хотя мастерская совсем небольшая и если бы там стоял, как раньше, стол, проходить группам было бы почти невозможно. В мастерской экскурсовод громко читала в манере Беллы Ахмадулиной стихи Марины Цветаевой. Беллу Ахатовну Анастасия очень любила, относилась к ней с большой теплотой. Несмотря на ослабший с возрастом слух, Анастасия Ивановна услышала стихи старшей сестры в таком исполнении и сказала – «Она воет как Белла, а Белла воет как лирический шакал!..»

От террасы дома наверх, к смотровой площадке на башню ведет деревянная лестница, крутая и узкая. Анастасия Ивановна вышла из мастерской на террасу, обернулась к сопровождавшим ее друзьям и служителям музея. Она обратившись ко мне, отдала свою трость, которую часто тогда носила под мышкой, и сказала – «Станислав, 75 лет назад я поднималась сюда без трости, и сейчас без нее поднимусь!». И – стремительный взлет ступенями вверх, она уже любуется горным Карадагом, одна из скал которого очертанием напоминает – почти повторяет профиль ее Макса. С неба, с гребней скалистых гор струились теплые осенние лучи…

Еще одну дружбу Анастасии Ивановны я не хотел бы забыть – дружбу с гимназической подругой, Еленой Дьяконовой. Галя, Гала – это она себе сама потом придумала, – говорила Анастасия Ивановна о подруге, с которой она виделась последний раз до войны, в 1927 году в Париже, когда та была женой любимого Францией поэта Поля Элюара. В «Воспоминаниях» подробно и изящно описана встреча с Элюаром, сопутствовавшая встрече взаимная «восхищенность», нескончаемость беседы, на часы растянувшейся. Потом Дьяконова покинула Элюара и разделила жизнь с Сальвадором Дали. Стала под его кистью легендарной «Гала», о которой столько лет писала светская хроника. Об их с Сальвадором чудачествах и роскошествах говорил мир. Несмотря на светский образ жизни, Гала Дали не забывала старую подругу, живущую в далекой России, писала в Москву письма, присылала фотографии. Я видел тогда одну из них – на ней Гала уже в возрасте, не молода, с бантом в голосах.

Большинство сказок, повестей, романов, написанных А.И.Цве-

таевой в 1920-30-ых годах, до нас не дошли, потому что до войны она печаталась редко. Не соглашалась на произвольную редактуру, на идеологическую «лакировку» своих произведений – на шаблон и плакатность, которые, увы, в те времена часто требовались редакторами от литераторов. Честность перед собою и твердость не позволяли идти на компромисс. Так что она больше занималась переводами – например, в 1924 году в альманахе «Современный Запад» была опубликована переведенная ею повесть французского писателя Т.Жува «Миссионер». А как сестра ее, Марина Цветаева, знала французский язык, как чувствовала стиль! «Она перевела свою поэму „Молодец“ (Le Gars) французскими стихами, – рассказывала Анастасия Ивановна, – Я говорила тогда и теперь говорю, что эта поэма написана „пылью растертых слов“, невероятно было сотворить такой же язык на французском, но Марина это сделала».

Когда мы читаем «Воспоминания» Анастасии Ивановны, не покидает подобное ощущение: слова, предложения исчезают, возникают живые лица, оживает реальность.

По ложному обвинению в контрреволюционной деятельности Анастасия Ивановна была в 1937 году арестована. Она действительно была в составе религиозной группы, возглавляемой Борисом Михайловичем Зубакиным, однако эта группа, называвшая себя Lux Astralis, на самом деле оставалась весьма далека от политики. В своих показаниях, данных ею в Вологодской области, где была арестована как «повторник» 23 марта 1949 года, Анастасия Ивановна на допросе говорила: «…До 1918 года я была атеисткой. В 1918 г. в связи со смертью моей близкой подруги ЗИЛИНСКОЙ Валентины Павловны я начала отказываться от своих атеистических взглядов и стала молиться. Примерно в 1922 г. я познакомилась с ЗУБАКИНЫМ Борисом Михайловичем, поэтом-импровизатором и скульптором. ЗУБАКИН являлся учеником чеха КОРДИГА, проживавшего в Петербурге.

30 июня 1907 г. в Петербурге при активном участии КОРДИГА в России был организован мистический религиозный кружок, имевший свои истоки от средневекового, так называемого, «Ордена розенкрейцеров». Доктрина этого Ордена была близка к христианской православной Церкви.

Однако само слово «розенкрейцер», что по-немецки означает «роза и крест» объясняется как «носители культуры на кресте», т.е. последователи этого Ордена являются проповедниками и религии, и культуры.

ЗУБАКИН являлся преемником КОРДИГА, в вопросе этого мистического кружка был его последователем.

После моего знакомства с ЗУБАКИНЫМ, он неоднократно беседовал со мной об этом Ордене по разным религиозным вопросам и в дальнейшем, общаясь в кругу знакомых ЗУБАКИНА, мы разбирали разные вопросы религии.

К моменту моего знакомства с ЗУБАКИНЫМ, в Москве уже существовала возрожденная ЗУБАКИНЫМ мистическая организация под названием «Lux Astralis», что в переводе с латинского на русский язык означает «Астральный свет». Сокращенно мы называли нашу группу «LA». Эта группа являлась идейным продолжателем Ордена розенкрейцеров и строилась по иерархическому принципу: все участники группы делились на три степени посвящения: начальная степень — RA — т.е. «рыцарь Астры» средняя степень — DA — «дарохранитель», и высшая степень — WA — объяснения этого не знаю. Посвящение в одну из степеней производил ЗУБАКИН, имевший высшую степень посвящения «WA». Я лично никогда ритуал посвящения не видела и могу только указать, как я была посвящена в степень: это было в доме ЗУБАКИНА в 1924 г. без посторонних. ЗУБАКИН произнес молитву, а затем прикоснулся мечом и крестом. Крест я поцеловала. ЗУБАКИН мне сказал, что я посвящена в среднюю степень «DA».

Кроме того, группа имела свои реликвии: крест «Сакрэ-кёр» — массивный крест с медальоном сердца посредине и голубое убранство, лампада розовая в форме цветка. Крест «Сакрэ-кёр» был главной реликвией.

Сколько человек входило в мистическую группу — я не знаю, ибо ЗУБАКИН об этом не говорил, а я не спрашивала. Знаю, что отдельные члены группы в количестве 3-4 человек нерегулярно собирались на квартире у ЗУБАКИНА или у меня и слушали разъяснения ЗУБАКИНА по вопросам религии, нравственности, троичности Божества, свойств Божества, по разным философским вопросам. Все члены нашей группы стояли на идеалистических позициях, были верующими. Кроме всего этого, мы вместе молились.

Следует еще указать, что до приезда в Москву ЗУБАКИН еще проживал в г. Смоленске. Еще хочу сказать, что чех КОРДИГ погиб в первую империалистическую войну.

Вот все, что мне известно об этой мистической религиозной группе.

ВОПРОС: Из Ваших показаний не ясно, какие цели ставила перед собой организация, нелегально существовавшая под видом мистической организации «LA».

ОТВЕТ: Я не называю нашу группу «LA» организацией именно потому, что ни о каких целях никогда не шла речь, а люди были объединены между собой в силу своих духовных взглядов и интересов.

ВОПРОС: Каково было отношение членов Вашей организации к существующему в СССР строю?

ОТВЕТ: Во время наших сборищ бесед на эти темы не было, и поэтому конкретный ответ на этот вопрос я дать не могу». (Розенкрейцеры в советской России. Документы 1922 – 937 гг. Публикация, вступительные статьи, комментарии, указатель А.Л.Никитина. М., «Минувшее», 2004, с. 419-420.)

После ареста 2 сентября 1937 года в Тарусе её и сына Андрея Борисовича Трухачева, последовало пребывание в тюрьмах и ИТЛ, то есть в исправительно-трудовых лагерях.

Потом ссылка в Сибирь, сначала со сроком, потом «навечно». Сибирские годы она описала в своих «Сибирских рассказах», опубликованных в журнале «Юность». Рецензент газеты «Московские новости» писал о тех рассказах: «Это тихая и скорбная поэма о человеческом терпении, стойкости и неподвластности злу, недостойному даже упоминания». Рассказы пользовались невероятным читательским успехом и редакционная почта откликов, им посвященных, была огромна. Далее была издана и книга Анастасии Ивановны «Моя Сибирь», куда они вошли. А почти «полное собрание» рассказов о животных, позже в расширенном виде составило книгу – «Непостижимые» (1992). К ней был эпиграф – «Чем больше звереют люди, тем человечнее делаются животные».

Ната Ефремова в биобиблиографических заметках о жизни и творчестве А.И.Цветаевой, названных «Любовь для всех и каждого необходимая», пишет: «В повести «Моя Сибирь», законченной ею в 1976 году, многие страницы написаны как покаяние. Анастасия Ивановна вспоминала с неизжитой болью, как однажды не могла ничем накормить голодную собаку («но не было даже корки хлеба»), как не почувствовала приближение расправы над подружившимся с ней гусем-калекой (сколько раз заступались за него!), а однажды не нашла в себе сил, чтобы в холодной избе подняться с постели и открыть дверь знакомым детям («хотя и не по делу пришли, а движимые только желанием общаться»). На первый взгляд всё это вроде бы мелочи… Но только не для Анастасии Ивановны – для человека, завещавшего нам «жить по правде», как когда-то завещала ей мать» (журн. «Южное сияние», 2019, № 4 (32), с. 110-111).

В самые трудные, самые гнетущие времена А.И. Цветаева не рвала нитей, связывающих ее с искусством – рисовала, занималась лепкой. И всегда, всегда – писала. Потом прошли годы, уже подрастала старшая ее

внучка, Рита, – ей Анастасия Ивановна стала с 1957 года рассказывать свое детство. Тогда нашла она тон и емкую зримость, которая притекала к ней потоком памяти мудрой и наблюдательной. Именно эта зримость проявилась на страницах «Воспоминаний», которые потом стала рассылать на прочтение друзьям.

Восторженным был отклик друга-поэта Бориса Пастернака, он писал Анастасии Ивановне, получив почтой машинопись первых глав «Воспоминаний»: «Только что получил и только что прочел продолжение, читал и плакал. Каким языком сердца все это написано, как это дышит почти восстановленным жаром тех дней! Как бы высоко я Вас ни ставил, как бы ни любил, я вовсе не ждал дальше такой сжатости и силы…»

Художественные достоинства мемуаров оказались неожиданно столь высоки, что ее давний друг поэт Павел Антокольский даже мемуарами назвать книгу А.Цветаевой отказывался. Рецензия П.Антокольского вышла в «Новом мире», самом авторитетном тогда литературном журнале Советского Союза. «Назвать эту книгу мемуарами немыслимо, – писал он, – Точно так же, как „Детство. Отрочество. Юность“ Льва Толстого и „Дэвид Копперфилд“ Диккенса суть не мемуары, а роман, эпос, так и книга Цветаевой включает в себя высокий лиризм и реалистически точное исследование души».

Да, писательница-мемуаристка Анастасия Цветаева была с литературой не просто в «дружеской» или «родственной связи». Ее «Воспоминания» для России имеют не меньшее значение, чем для Франции психологическое возвращение в детство Робера Андре, его книга – «Дитя Зеркало», или воспоминательная проза о детстве и юности Марселя Паньоля.

Я думал о секрете столь долгого, почти столетнего ее творчества, о силе таланта, развивавшегося всю жизнь и не погасшего на ее склоне, ведь последние годы дали больше осуществленного, опубликованного, чем все предшествующие периоды… И пришел к выводу, что дело не во внешних чертах – секрет в том, что Анастасия Ивановна – очень волевой человек, силой воли превозмогавшая старость. Сохраненная с детских лет восприимчивость давала сильную для ее возраста память. Воспринимала она не только глазами, которые с юности близоруки, не только слухом, который с возрастом значительно ослаб, но всем существом, – душою, душевным опытом, душевным богатством, накопленным за жизнь.

Вот почему она могла всего один раз увидев человека, один раз поговорив с ним, потом высказать о нем «в воздух» целое устное пси-

хоаналитическое эссе – о замеченных чертах, манерах, еле уловимых нюансах поведения.

Дар психологического анализа, эмоциональность, искренняя религиозность – вот еще ключи к секрету творческого долголетия. Что до физической стороны, то долголетие тут имело основой воздержанность от каких бы то ни было излишеств, с 27-летнего возраста вегетарианство, холодные обтирания. Возможно, помогала и способность душою уходить в так ярко запомнившееся детство, из него черпать первозданную бодрость, энергию… На энергии бодрости, восхищенным пером написана ею и повесть «Сказ о звонаре московском» вышедшая сначала в журнале «Москва», потом в составе книги «Моя Сибирь», а потом и отдельным расширенным изданием, в соавторстве с родным братом главного героя повести, с Н.К.Сараджевым. Это была повесть о человеке, обладавшем феноменальным слухом, поражавшем Москву исполнением своих произведений, «гармонизаций» на колоколах. Он, звонарь-музыкант Константин Сараджев, был ясновидящим и яснослышащим.

А.М.Горький, прочтя первый вариант повести, привезенный ею ему в Сорренто, в Италию, сказал – «Пишите о нем, Анастасия Ивановна, такой книги еще не было!..» Анастасия Ивановна привозила к Горькому и свой неоконченный фантастический роман «Музей», в котором, по сюжету, в Музей изящных искусств заходит Эдварс, это фамилия Бориса Михайловича Зубакина по матери, – тут начинается наводнение, Москва-река выходит из берегов, музей поднимается на волны и плывет в древние Дельфы. Эдварс-Зубакин берет на себя командование над кораблем-музеем и подавляет возникший бунт нижних чинов… Этот роман был своего рода предтечей и современником фантастических повестей М.А. Булгакова. К сожалению, он «пропал без вести» при обыске в ее квартире и аресте Анастасии Ивановны в 1937 году. Тем же высоким уровнем таланта, вкуса и оригинальности Анастасия Ивановна писала позже, в конце жизни, очерки, рассказы – публиковала их в популярных журналах и публикации эти в те годы сразу становились редкостью, за ними выстраивались очереди в публичных библиотеках. Их читали, надолго запоминали. Такова была неоскудевающая природа ее таланта.

Своеобразным «продолжением» основного труда жизни Анастасии Ивановны», ее «Воспоминаний», стал автобиографический роман «Amor», в нем от лица главной героини – Ники, рассказывается о жизни в лагере, в проектно-сметном бюро и, параллельно, о юности и молодых годах той, от лица которой идет рассказ, жизнью которой стремительно движется повествование… Роман «Amor» Анастасия

Ивановна называла «мой слоеный пирог», имея в виду чередование в повествовании.

К последним книгам относится также и «О чудесах и чудесном» (1992), где собраны написанные по совету друга-священника, ее крестника, отца Виктора Мамонтова, миниатюры и новеллы на религиозные темы. (Многие из них отец Виктор предварительно опубликовал в Риге альманахе «Христианос» под общим названием «Духовные были» в 1991 году). Также и книга «Неисчерпаемое» (1992), включившая в себя целый веер очерков о писателях, музыкантах, художниках…

Однажды я спросил Анастасию Ивановну, какой период жизни она считает наиболее благоприятным для человека, она не задумываясь, сказала: «Детство задыхается в невыразимости, молодость отдана чувствам, но самая блаженная пора – зрелость, когда уже пробужден анализ вокруг сущего, когда ты не обольщен жизнью, тебе принадлежит все, оттого, что тебе ничего не надо и ты слышишь до того неведомый слуху хрустальный голос истины, когда мир лежит перед тобой во всем своем безмолвном величии, и когда обо всем, что было ранее, ты можешь сказать твердо: дым, дым и дым…». Потом этими словами она завершила авторское послесловие к сокращенному варианту ее книги «Дым, дым и дым», вышедшей, в 1916 году и переизданной издательством «Современник» в 1988-ом году в сборнике прозы русских писательниц «Только час».

Часть I

ТАРУСА

(вместо интервью о ней)

Младенчество

Может быть, Муся (Марина в темнотах, тенетах младенческой памяти) еще помнила слова «Ильинское» и «Истомино», где родители наши искали семье место на лето, я же с первых месяцев от рожденья знала только Тарусу, где еще и до меня жили папа с мамой и Муся с Андрюшей и Лёрой. Что это было, Таруса? Летнее продолжение зимней Москвы в волшебный клубок сплетшихся: зала, об высокий потолок ее тыкался улетевший детский синий воздушный шар (я в детствах, меня с тех пор окружающих, не вижу их, они остались в том, нашем), гостиная со стоящим зеркалом, диванами, креслами, папин кабинет с планом Музея… В Рождество – елка, лесным деревом до потолка, в золоте и серебре горящая свечками, и Пасхальная ночь, ритмически, весной, опрокидывающаяся в цоканье копыт лошадей, въезжавших на паром под треньканье бубенцов, гладь Оки, отраженной в памяти прошлого года, – все то же, неизменность повторов была отражением вечности на земле. Дорога к лесному гнезду нашему, к «даче» (Странное слово!) берегом и вверх по холму, поросшему лесом, или – через саму Тарусу, городок над Окой, вверх по Калужской улице мимо дома дяди Вани Добротворского, земского врача и, объехав дом и выехав в поле, широким загибом налево – *сверху* подъехать к даче. Звук бубенцов распахивал навстречу ворота, и уже несли на стол самовар. А нас старшие раскутывали, сажали пить чай, и было темно вокруг керосиновой лампы – уже

ничего не увидим сегодня, все – завтра, сад утонул в темноту – только помнится лесенка вниз от балкона, четыре орешника, между них – качели, все это было такое родное, родившееся, вековечное,.. а пока – крутое яйцо из дорожной корзинки, холодная котлета на бутерброде и с блюдца сладкий чай с молоком… и уж спим, но знаем, что завтра проснемся в солнце сада, в сирень, в березы и тополя… Может быть, Мусе грезился дуб – и до Тарусы, мне же все дубы, березы были – Таруса.

Широким пластом солнца озарялся туман младенчества – это детство сияет, сверкает, радуется бытию. По лесенке (где за ручку сводили) теперь летим вниз по ступеням крутой балконной лесенки – в сиреневый и ореховый сад, в сад начальный – вдвоем на концах доски стоим, держась за веревки, приседая, раскачиваем полет! Волосы назад со щек, упоение, и в него мамин голос – зовет к осторожности…

Мамин голос зовет купаться, и, схватив полотенце, летим вниз под гору в родную Оку… Но *опыта* жизни – нет (одно упоение!) и когда мама мне, 6-летней, положив меня поперек больших своих рук, говорит – «плавай!» – я, криво поняв ее, с рук ее – прыжком всего тела – в воду. Ахнула мама и бросилась вслед мне, исчезнувшей, – *пятку* схватила в воде, вытащила на берег, захлебнувшуюся, в поглотившей зеленой волне… Мама-медик, держа меня вниз животом и лицом, вылила из меня воду и опять в исступленную мою глупость сияет солнце и большое родное мамино тело прижимает меня к себе… А уже плывет у того берега пароход, кричит, гудя и блеща искрами крика о том, что он («Ласточка», «Екатерина», «Иван Цыпулин» – три их было) прибывает в Тарусу. А Муся уже училась плавать, скрыв жалость ко мне, насмешничает над моей глупостью…

Сменяв обычные платья на праздничные, мы идем в гости в Тарусу: по отлогой горе Калужской улицы к Добротворским, в их прохладный дом, в тенистый сад с глубокой террасой, к кипящему самовару с ватрушками и лепешками, с медом, вареньем… Круглолицая и седая, добрая жена дяди Вани (некогда – Цветаева, папина двоюродная сестра) угощает… Оса звенит над столом, на нее машут руками, газетным листом. Бедная оса, ее ведь никто не любит…

Иногда же мы шли в Тарусу в совсем другой дом – к Тёте (маминой воспитательнице и дедушкиной второй жене): вступаем в заколдованный мир нерусского, французско-швейцарского уюта, где нас ждали коробки шоколада после золотистых бульонов и цыплят, жареных, и кофе со сливками из вычурного кофейника, и не тенистая, а солнечная терраса в расчищенных песках посаженный сад под искусством садовника, – а в Тетиной спальне, напоминавшей шкатулку, в полумраке от мух, со стены глядел на нас дедушка, в противоположность полноте

Тети – худой, высокий, строгий из сумрачной рамы, холодком в детское сердце, напоминавшей о том, что он умер, и умер от рака… Эти два слова врезались в солнце лета и детство, звали в непонятное, страшное – и мы бросались к Тете, воплощению уюта, богатства, жизни – (дедушка перед смертью продал в Москве «на Плющихе» – дом и купил ей усадьбу в Тарусе… А мама для Тети была родной, как мы, девочкой, она растила ее с детства, приехала для этого из Швейцарии, где была дочерью пастора, приехала потому, что мамина мама умерла сразу после ее рождения, была молодая, красавица, полька и познакомилась с дедушкой, молодым на балу… А Тетя (ее родной язык был – французский) не могла выговорить «Тетя», могла только – «Тьо»…

Все это хлебнув, мы возвращались в наше далекое лесное гнездышко, с двумя балконами, один над другим, и верхний был весь решетчатый – чтобы мы не упали оттуда… Когда мы шли с мамой на далекую прогулку в Пачево, долину между двух лесов, у одного края которого протекала когда-то речка, у нее сохранились наклоненные ивы над темным руслом…

…А потом после детства было страшное лето, когда умерла мама, Лёра работала учительницей в другом городе, и мы с Марусей остались одни в Москве и Тарусе, без мамы…

Отрочество

Что такое отрочество при матери, – я не знаю. А *без* матери оно – бесприютность. Марина захотела в интернат, к деятельности среди подруг и не подруг, я осталась одна в 12 лет в московском папином доме, не учась в гимназии (по сходству с мамой – мама умерла от туберкулеза), папа боялся отдать меня в гимназию из-за детских болезней. Ко мне ходила учительница, а после обеда я ходила с троюродной сестрой, Людой (медичкой), на каток и к нему пристрастилась и потом ходила одна. Он меня – закалил, я с 15-ти лет на беговых коньках каталась (до глубокой старости). Папа, как ребенок, рыдавший при прощании нашем с мамой, мы помним ее слова «живите по правде, дети, по правде живите». Ей было 37 лет. Не помогли заграничные санатории. Ее могла спасти Италия, но она не желала зажиться там, она хотела помогать папе с Музеем. Папа был им предельно занят, и директорствовал в Музее Румянцевском, и профессорская работа: по многу часов лекций и научных трудов. Он скончался от переутомления в 66 лет… Но Бог не оставляет. В те, после мамы, годы Бог послал нам друзей: Лидию Александровну Тамбурер, удивительного человека, нас полюбившую, и поэта Эллис (Маринина поэма «Чародей»), к нам пристрастившегося и скрасившего

наше отрочество своим фантастическим даром перевоплощения. Но это – Москва. А в Тарусе, после мамы (отдельно от Марины, занятой переводом Ростановского «Орленка», в 16 лет поехавшей в Париж на 3-х месячные курсы о французской литературе), Мне Бог послал подруг – Макаренко и Шурочку Михайлову, а затем – целую ватагу младших девочек и однолеток, старших мальчиков. Мы встречались после обеда и занятий, Гарька Устинов (красавец, цыганенок) и русский подросток Мишка Дубец (Филиппов) и их дружеское увлечение мною грело меня, а Мишка Дубец много лет спустя, узнав, что я овдовела после смерти второго мужа, прислал мне с войны письмо, что готов мне помогать частью своего офицерского жалованья.

Вот что подарила Таруса! А пока я росла – особенно помнится лето 1909 г., мои еще 14 лет – костры, лодки по Оке, любовь ко мне двух Лидочек 10-летних, таких разных – и, однажды, когда с Оки «враги» крикнули какую-то гадость, – ответили дружно в четыре руки Гарька и Мишка – камнями, со страстью – попасть в лодку, и осталась в памяти эта идиллия – до влюбленности в Шуру Успенского (сына священника) и его ответной, чистейшей.

А Марина после Парижа приехав в Тарусу, попала в жар моих новых дружб и включилась в далекие прогулки по мокрой траве – (вода хлюпала в башмаках, не простуживались) и далеко за соснами у поворота в Пачево костры и Маринины рассказы в моей ватаге (Матушка, мать Шуры, звала меня «атаман») – сказок: но Марина не могла, по природе своей, *пересказать* сказку, а начав с Андерсена, Гримма, Перро – включала *себя* «с ходу, с маху», и я тоже слушала с интересом и восхищением импровизации ее.

Ах, Таруса! Сырой у Оки луг, маленькое болото (а в болотах могут утонуть люди, обходили его…), березы по склону, где когда-то в раннем детстве нашем прокопал с луга прямо к даче – лестницу из земляных ступеней, гостившей у нас Сережа Иловайский (кто мог знать тогда, что немного пройдет лет я он умрет от чахотки, а через год или за год до него – от той же болезни сестра его Надя, оба красавцы, сын – в мать, дочь – в отца… Кто знает будущее?). А лесенка жива, чуть травой поросшая, и по ней взметаемся вверх, обходя долгий песчаный, березовый холм.

Снова вечер, и мы, полные сил и желаний, Марина и я, и ватага моя, пускаемся в путь лугом до сосен и дальше… А трава хлещет ноги, сосны уже близко, драгоценная наша дача – гнездо лесное, тополиное, березовое – позади, ночь тарусская все чернее, и в нее взлетают искры костра, и сосновые ветки трещат в огне, а Марина начала сказку, и никто не знает, что в ней будет, даже она, только гений ее… А Ока плывет и над ней – звездное небо… Таруса! Как ее позабыть?!

ТЬО

Сусанна Давыдовна, по мужу Мейн

Начало ее жизни нам неведомо. Она родилась и росла в семье отца своего, пастора, в городке французской Швейцарии, Невшателе. Не осталось сведений, были ли у неё братья и сестры, но была дружба с подругой по имени Лоор (Laure), и потому, что это единственное имя с её юностью связанное, можно думать, что она была единственная ее подруга. И знаем, что пастор был беден.

На историю её жизни проливается свет с того дня, когда по чьей-то рекомендации семья решила согласиться на предложение русского, в Москве жившего человека, по имени Александр Мейн – воспитывать его дочь и говорить с ней по-французски. За три года до того овдовев (был женат на юной красавице из Царства Польского), он не женился – растил маленькую единственную дочку, которая и была причиной, рождением своим, смерти матери. До трёх лет дочь – под заботами няни и бонны. Семья была зажиточная, и отец решил, что пора дочке учиться французскому языку – не от приходящей учительницы, а от женщины, с нею живущей в доме, и одновременно занимающейся хозяйством. Но доверять воспитание любимой Марии предлагавшим свои услуги неизвестным француженкам он не решился. И пошел навстречу рассказу о добродетельной и хозяйственной дочери пастора, нуждавшейся в заработке. Марией девочка была крещена в честь умершей юной своей матери.

Как рассталась Сусанна со своим отцом, невшательским пастором Давидом? Фамилия его, к сожалению, мне неизвестна, потому что я была слишком мала, чтобы знать, что у тёти есть и должна быть *фамилия.*

Дальше рассказ пойдет уже от меня, младшей дочери Марии Мейн, которую ехала воспитывать дочь пастора. Моей матери, Марии Александровны Мейн-Цветаевой, давно нет на свете, покинутом ею в 37 лет. А я в годы глубокой старости, 96-ти, по чувству долга воссоздаю образ Тети, своей жизнью заслужившей себе память.

Я мало знаю о детстве моей матери под заботами Тети, но то, что помню – весомо: когда Мане Мейн было 7 лет, Тетя получила от своего отца весть, в которой был зов – приехать проститься, по серьёзной болезни отца. И дочь его, «Тётя» по-нашему, собиралась ехать, однако во время прощания её с Маней та повисла на ней, не пуская и *так* плача, что Тетя, не в силах расстаться с рыдающей девочкой, написала об этом

отцу, тайно надеясь, конечно, что отец выживет и она позднее увидит его… Но Пастор скончался, и *этого* никогда не забыл дедушка, Александр Данилович, что доказал дальнейшей заботой о дочери умершего Пастора, нашедшей себе в России в его доме – второй родной дом, – о чём речь впереди. Должна сказать, что Тётя была совсем некрасива и много ниже уровня образования дедушки, и собою его пленить не могла, но была отличной бонной Мани, хорошей хозяйкой дома. Когда Мане исполнилось 8 лет, дедушка взял ей в сверстницы – 8-летнюю девочку из бедной семьи, пригласил на дом учителей, избегая школ, где бывали эпидемии детских болезней. Вместе стали расти Маня и Тоня, как сестры. Их одинаково одевали, и они учились успешно по всем предметам, а также и музыке, к которой обе, особенно Маня, имели склонности. Через годы, когда Тоня вышла замуж за бедного художника Марка Карловича Юхневича, а Маня осталась одна, Тётя продолжала быть ей заботливой матерью. Тоня, как встарь, приезжала к Мане и они играли, в четыре руки, вспоминая детство и юность. Но это относится уже к нашему детству, а ему предшествует выход замуж мамы за нашего отца, и когда это произошло – дедушке, чтобы избежать кривотолков о его сожительстве с Тётей, осталось только узаконить её жизнь в его доме, которому она отдала свою молодость, зрелость и уже подходившую старость. Он сделал ей предложение. Тетя была лютеранкой, а дедушка – православным, так что ей для венчания надо было принять православное крещение. В те времена или был такой обычай – входить в купель, или его вообразила Тётя, но она заказала себе широкую пелерину, завязывавшуюся у шеи; ею покрытая со всех сторон, она вошла в купель, покрыв складками пелерины края купели. Как это было похоже на Тетю! У неё на всё было своё мнение, – часто казавшееся смешным, особенно в старости, она казалась оригинальной. Но от её поступков никогда не было никому беспокойства, она всегда была доброй. Став женой дедушки, Тётя стала торжественно одеваться, особенно, если ехали в гости. Я помню полную Фигуру в корсете и в тёмном шелку. Но пора сказать, кто был дедушка. И – нелегко: ибо у него было столько должностей: он был заведующий канцелярией генерал-губернатора, и директором банка, он печатал статьи в различных органах печати, чин его был – «статский генерал».

Мне в то время было года три. О, эти приезды дедушки с Тётей к нам в отцовский дом в Трёхпрудном – на ёлку! С какими подарками! От Тёти – куклы, хотя мы с Мариной в куклы не играли, но девочкам полагались куклы! И Тетя дарила нам нюренбергские: Нюрнберг славился игрушками. Дедушка дарил сказки всевозможных народов, цветные карандаши, пеналы, альбомы, – все драгоценности детства…

Этот миг, когда у золотом и серебром светящейся елки – в зале, до потолка! с зелеными, синими и малиновыми шарами! – с цепями из золотой бумаги! – Дедушка подносил спичку к концу фитиля, тянувшемуся от свечки к свечке – елка загоралась волшебными треугольниками света, отражаясь в трюмо, в рояле. А рассказы Тёти о старине её детства, швейцарского. Как забыть тот обычай в Невшателе и в городках, подобных Невшателю – обычай – в 10 часов вечера горожане засыпали под напев проходившей по улицам стражи – «Gué, bon gué, il a sonné dix heures!..» – (пробило 10 часов…), и если где-нибудь горел свет в окне – то приходили узнать от города, не болен ли кто, не нужна ли помощь…

У дедушки и Тёти был дом в Неопалимовском переулке, в Москве, Марина помнила дом хорошо, а я, на два года младше, помнила только собачью будку с дворовой собакой, что видна была из окна, кусок крыши и дерева. Но в этот дом уюта и благочестия пришла беда – дедушка заболел раком, он уезжал за границу – высокий, жёлтый, худой. Нас ему подносили проститься в вагон, меня, – трёхлетнюю и Марину, пяти лет.

Но ни заграница, ни овечье молоко, рекомендованное, ни лучшие московские доктора – ничто не помогло, дедушка близился к смерти. Дом в Неопалимовском был продан. Для Сусанны Давыдовны была куплена в Тарусе на Оке усадьба с огромным яблочным садом, ягодами, с липовой аллеей, сиренями и огородом, домик в 7 комнат, с террасой сходен с поленовской картиной «Бабушкин сад». Туда Тётя должна была переселиться *после* дедушки…

В это время я, в пять лет, заболела сильной болью живота. Мама телеграммой вызвала нашего домашнего врача, известного педиатра Ярхо. Он приехал сразу, в ливень – и стояли надо мной он и мой дядя Ваня Добротворский, земский врач, в бессилии: это был приступ аппендицита, нужна была срочная операция. Хирурга не было. Мама позднее рассказывала – начиналась агония, лицо заострилось и посинело, – Нет у меня моей Аси, конец!

Горе было двойное: в Москве умирает дедушка – ехать к нему? Тут – умирает дочь… – я осталась, конечно, – говорила мне и Марине мама. И вы, дети, также поступите, если будет умирать ваш ребенок – меня оставите, это закон сердца…

Но Бог смилостивился: я, непонятно как, – поправилась, без операции, – мама уехала к дедушке, он скончался на её руках. Шестидесяти трёх лет. Тётя не оставляла маму. На Ваганьковском кладбище, слева, напротив церкви, рядом с белым мраморным камнем с невысоким массивный крестом и надписью: Мария Лукинична Бернацкая-Мейн, на 28 году жизни, появился заботами Тети и мамы, точно такой же могиль-

ный камень для дедушки – Александр Данилович Мейн. И по-французски, золотыми буквами, стих из Библии: «L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté; que le nom de l'Éternel soit loue En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu». (Господь его дал. Господь его взял, Да будет благословенно Имя Господне!)

Мы стали ездить на Ваганьково к дедушке и к неведомой молодой маминой маме, умершей через 19 дней после рождения мамы. Зато я сосчитала много поздней, когда рядом встал высокий черный камень, поставленный маме папой: Мария Александровна Цветаева, урожденная Мейн, на 38 году жизни. Мама родилась 2 ноября 1868 года, бабушка скончалась 21 ноября 1868 года, оставив по себе портрет…

Когда мне было 8 лет, а Марине 10, мама, после летней поездки с папой на ломки мрамора на Урал для будущего Музея изящных искусств, заболела чахоткой и болезнь протекала бурно. – Только Италия может спасти больную… Тётя не отходила от неё. Мама отказалась ехать без дочерей. И вся наша семья, кроме 12-летнего сводного брата Андрюши, учившегося в гимназии и переехавшего к своему деду по матери, историку Д.И. Иловайскому, уехали в Италию в Нерви под Генуей. Мама, тяжело перенесшая путь, стала там поправляться.

Мы жили в «Русском пансионе», где были царские эмигранты; Марина и я очень полюбили бежавшего из тюрьмы, переплывшего под пулями реку Владислава Александровича Кобылянского. Наружность его была романтична. Он очень любил нас и слушал мамину игру на рояли.

Мама поправлялась заметно. Доктора убеждали её остаться на вторую зиму в Италии, и она решила отправить нас во французский пансион, чтобы мы не забывали французского языка. Мама вызвала из России Тётю, чтобы та свезла нас в Швейцарию и устроила нас. Тётя приехала.

И каково было её негодование – чинной и благородной, когда она увидела Кобылянского (его назвали «Тигр») – Mais, c'est un brigand! – («Но это разбойник!») – воскликнула она с отвращением. И, забрав нас из «Русского пансиона» в свой, тут же в Нерви, благовоспитанный «Beau Rivage» (Отель, название которого, буквально переведенное «Прекрасные берега»), с азартом принялась нас перевоспитывать. Вместо свободы на скалах, у моря, вместо игр с детьми – мы должны были стать внучками «Тьо», как она себя называла по-русски, недоговаривая трудное ей слово: Тётя. А по-французски она говорила, изменяя «Муся», как звали тогда Марину, на «Мунечка» («Apris del'embonpoint comme la Tante!») – (Мунечка поправилась, стала полнее, как Тётя) и прилагала старания, чтобы я, худая, больше ела и больше спала…

После расставания с мамой и оторванными от нас друзьями-рево-

люционерами, мы оказались с Тётей в Лозанне, в лучшей гостинице, томясь от благовоспитанности. И когда, устроив нас в пансионе, Тётя уехала, засыпав нас подарками, от души, оторвался родной и старинный мир…

Кто знал, что мы увидим ее через три года, в Ялте, вызванную к тяжело заболевшей рецидивом туберкулёза легких маме – папой, помочь везти её в Тарусу, куда она всем сердцем стремилась… Беда грянула: мама в Тарусе скончалась – 37 лет – и нам от мамы, её детства и всей её жизни, осталась Тётя с её домом, где царили порядок, уют, несмотря на неустанное горе по маме, от постели которой Тётя не отрывалась всё лето.

Дом Тёти в Тарусе! Он был там такой единственный! Он был всем укладом своим перенесен из Швейцарии, воплощением старины, неукоснительного, во всём, порядка. Когда мы, осиротев, к ней приезжали – все годы отрочества, нас ждали коробки шоколадных конфет, жареные цыплята, сдобные пирожки и в конце обеда rince-bouch – полоскательницы для рта, синие, с золотым ободком, в глубоких таких же чашах. Тут нас ждали воспоминания о маме, о мамином детстве, и перевоспитанная на европейский манер прислуга (тарусская!) – не 20-й, а 19-й век! Но не только к нам Тётя была щедра, но и ко всем в Тарусе: к «генеральше» шли все: у кого пала лошадь или корова – им покупалась замена, чьих детей надо было дальше учить – на Тётин счет они посылались в Серпухов или Калугу, отказа никому не было: она была дочь пастора… Откуда было её богатство? В 1899 году перед смертью дедушка в завещании своем разделил поровну свое состояние – 240 тысяч золотом – маме и Тёте с указанием, что часть Тётина после её смерти перейдет к маме. Кто мог думать, что Тётя переживет маму? Так как пенсия после дедушки (как его жене) ещё добавляла денег, то «Тьо», как её начинали иные звать за глаза, щедро раздавала свои излишки тарусянам, считая святым делом бедствующим помогать.

Со всем тем – Тьо была то, что зовут «чудачка»: были смешные выходки, не похожие ни на чьи.

Лет в 16 Марина пожелала улучшить цвет волос. Тогда для этого рекламировали средство, называвшееся «Перуин Пето» – Марина поверила подруге, принесшей якобы это снадобье, а на деле – перекись водорода. Марина втирала, втирала и её волосы стали странно менять окраску, их тянуло то в желтизну, затем в зелень, она не знала, что делать…

Однажды с братом Андреем и мной она поехала на каникулы, на масленицу, в Тарусу: цвет волос её конечно, смущал, но, Марина надеялась, что, смотря поверх дедушкиных черепаховых очков – Тётя, может быть, не заметит. И Марина вошла к Тёте, с мороза!

– Мунечка! – крикнула радостно Тётя, – Анечка! – вдруг крик ра-

дости перешёл в вопль ужаса: Les cheveux! (Волосы!) Марина пыталась объяснить про обман подруги, но Тётя плакала: «Ты с подруг, ступила на скользк, скользк… дорог…» – последнее слово она уже не осилила и залилась в рыданиях, слышалось: «Эти дети без матери… И этот бедный отец…»

Она рыдала. Ей становилось дурно, она звала горничную. Вдвоем с прислугой Марина старалась развязать, расстегнуть что-то… Полное тетино тело вздохнуло, но горе длилось…

Oh, les pauvres enfants, il ne peut pas les sauver! – кричала она в слезах – (О бедные дети, он не может их спасти…) Может быть, она никогда раньше не испытала подобного потрясения и, почти теряя сознание, слабым голосом старалась выразить свое состояние горничной, однако русский язык не давался.

«Ваша барынь… – и она поискала слова – *умерля*!» (вместо желанного «умирает!»). Грассирующие «р» дрогнули грозно и жалобно. Но горничная как-то неопределённо хмыкнула, переминаясь с ноги на ногу. Мы с Мариной переглядывались, стараясь удержать смех.

Марина всё же рассказала про «Перуин Пето» и перекись водорода. Всё кончилось спешным кормлением Мунечки и Анечки, а после еды – уют в Тётиной спальне, как в глубокой шкатулке, под дедушкиным, на стене, в рост, портретом. Хороший художник написал его углем, дедушка на нас смотрел, как живой. И стеление мягких постелей Мунечке и Анечке в одной из двух небольших гостиных, на диване, с которого сняли чехол; Анечке рядом с ней – на маленьком с детства знакомом, диванчике, и Невшатель осеняет нас несказанным покоем, под дребезжащий голос Тёти, старающейся воспроизвести ту давнюю вечернюю мелодию, которую ещё мама напевала в своём детстве, восприняв её от Тети – зовя нас, как тот старинный город ко сну: «Gue, bon gue, Il a sonne 10 heurs» (в 10 часов всем полагалось спать в то невинное чудное время).

А до того, после ужина и rince-bouch, синих с золотом полоскательниц с мятной водой, Тётя вела нас в маленькую гостиную и заводила дедушкины, до потолка, часы (не часы, а *под* часами) – инструмент музыкальный, дедушкой вывезенный из Вены, за 1000 рублей золотом: створки распахивались и три вставленных металлических круга с зазубринками, заведенные рукояткой, начинали играть под оркестр…)

Осенью 1912 года Марина с мужем, Сережей Эфроном, поехала к Тёте в Тарусу. К тому времени Тётя уже давно построила флигель в четыре комнаты «для гостей».

В нем не раз, приходя от Добротворских, где от молодежи было шумно, работал и отдыхал отец. Увы, я не знаю, захотела ли Марина с Сережей «обновить» флигель – думаю, что остались в старом Тётином доме, любимом с детства. Выслушав их, Маринин и Серёжин – востор-

женный рассказ; о нанятом в Москве маленьком особнячке, Тётя вознегодовала: по её понятиям начинать жить в нанятом доме было совсем не дело – зависеть от какой-то хозяйки? И она предложила им на покупку *своего* домика 20 тысяч! Погостив у Тёти, подружив Серёжу с Тётей, радуясь её уюту, заботам, на каждом шагу умиляясь, Марина вернулась в Москву, получила обещанное, и стала искать себе *свой* дом! А маленький особнячок, где они с Сережей жили, передали мне. Я тоже вила гнездо в те дни с первым моим мужем – Борисом. Однако его не повезла к Тёте, потому что он не любил уют и к нему не стремился, был совсем другой, чем Серёжа, хотя они и сдружились крепко. Наши с Мариной первенцы родились на расстоянии трёх недель. Тётя сообщила, что мне завещает свою усадьбу и сделала это, но эпоха вскоре стала такой нежданно-суровой, что мне никогда не пришлось после Тёти, вступить во владение домиками…

Пока же жизнь ещё шла мирно.

Из тех далёких времен как не вспомнить невероятную по невинности выходку Тёти: глядя на птицу, порхающую над липой, ей вдруг сделалось её жаль: «…Tont petit!..» (Совсем маленькая!) – говорила она тоном горячего умиления, который был свойственен только ей одной; и дальше по-французски – Regardez donc tout seul. A une hauteur papeille! Y donit se sentir si faible dans solitude parmi les nuages» (Поглядите же. Совсем одна! И на такой высоте! Она должна чувствовать себя такой слабой в этом одиночестве посреди облаков!) Она думала, наверное, что птица *устала* летать. И она позвала садовника: «Се'р'гей, - сказала она, – влезь на дрэв! И ручкой, ручкой – вот так дэлай (она показала как) – мань! –comment dirt on dire cella en russe? (Как это по-русски?) – Мани? – Мани, мань ее! Бэдн птичк…» Но Сергей заупрямился: «А ей крылья на то и *дадены*, чтобы летать…» (Сцена эта была при нас с Мариной). – Il a raison, – сказала Тьо, обращаясь к Марине, – il a l'esprit naturel» (Он прав, у него природный ум…).

Мы хохотали и Тетя с нами.

Но время грозно идет вперед. Уже позади мои годы с Борисом, растет мой сын Андрей. Я второй раз замужем, второй раз – мать. В 1917 году умирает мой второй муж, а через полтора месяца – наш маленький сын Алеша. Царь свержен и ходят слухи, что деньги в банке – пропадут. Тогда я получаю письмо от Тети, что она будет мне присылать каждый месяц по 50 рублей (так скромно – потому что из пенсии). Получила их, со слезами, лишь один раз – я была со старшим мальчиком в Крыму – началась гражданская война. На четыре года я отрезана от Москвы.

Вот что я узнала, когда в 1921 году вернулась к Марине, в тот дом в бывшем Борисоглебском (ныне улица Писемского) переулке, где теперь, когда после неё растет её слава, должен быть ей мемориал. Туда пришел брат Андрей и нам с Мариной рассказал судьбу Тьо:

Забыв всё, что она с 1899 года по 1919 год делала для тарусских жителей, новые тарусские власти в 1919 году *выгнали* её из дому, как «капиталистку», отняли всё имущество, и она стояла на улице, не зная куда идти… Ее пожалел сосед-огородник, не забывший ее многолетних щедрот людям, пустил к себе и стал кормить тем, что ел – а тогда был, после революции, голод – мерзлой капустой. О хлебе только мечтали… Вспоминали: «А раньше…»

Когда в тот же год Андрей был в Тарусе, он узнал про Тётю и пошёл к ней – «Она была худая, как спичка. Но не было от неё ни одной жалобы. Говорила: C'est la volonte de bon Dieu!» (Это воля Божья!) Увы, брат Андрей помочь ей не мог, сам бедствуя. Какое мужество! Какое достоинство! Она была и осталась дочерью пастора. До смерти. Скончалась она в том же году. Легла на старом тарусском кладбище. Много спустя, место, купленное ею для себя на Ваганьковском кладбище, было продано за взятку кладбищенским начальством.

В 1926 году меня с 13-летним сыном пригласили на полдня в Тарусу. Мы зашли в «мой» дом – неузнаваемый, разделенный на клетушки, но была весна, цвела сирень и я сорвала, на память, ветку сирени. Елена Александровна Добротворская предложила сходить со мной на старое кладбище – показать могилу Тьо. Но знакомый, привезший нас, не мог задержаться, а так как путь в Москву через Оку, и от Серпухова поездом был не прост, я не смогла остаться, твердо веря, что в следующий раз я увижу Тётину могилу.

Увы, я в Тарусу в следующий раз попала в 1937 году, Добротворской уже не было в Тарусе, меня с 25-летним сыном арестовали и увезли на Дальний Восток, в лагерь, на 10 лет. И я не знаю, где Тётина могила. Кто помнит её теперь? Кто завладел имуществом Тёти и дедушки? К кому попал чудный дедушкин рояль, шкафы с иностранными книгами. У кого висит портрет дедушки, в рост, углем, где, как живое, его лицо? И где часы, вывезенные им из Вены, под которыми раскрывались створки волшебного шкафа, и коробки с крышами, в которых крылись знаменитые мелодии классики и нам, в конце Марининой юности, звучали вальсы Штрауса.

В 1941 году немцы в Тарусе похозяйничали, сожгли липовую тётину аллею. Тот Тетин, со швейцарским укладом дом, мне бесплодно завещанный, стал сном… Теперь в доме хлопочут устроить музей Цветаевский, но нет средств. Но до сих пор о домике в Тарусе на Пионерской улице местные жители говорят – «Дом Тьо», видимо полагая, что «Тьо» – это фамилия…

ВОСПОМИНАНИЯ О БРАТЕ МОЕМ АНДРЕЕ ИВАНОВИЧЕ ЦВЕТАЕВЕ

Редакторы не любят посвящений. Я за свои люто боролась и нужное мне имя вставляю в вязь текста – Инне Андреевне Цветаевой (1931-1985) я посвящаю эти воспоминания об её отце, Андрее Иановиче Цветаеве.

Это было желание её, чтобы я о нём написала, но я опоздала, не справилась, и исполняю это желание вслед ей. Посвящаю эти страницы её памяти.

Первое воспоминание о брате?

Мы редко ездим в гости, и это в нашем детстве событие. Нас трое: Андрюша, Муся и я. Ни Мусю, ни себя я в этот день не помню, а Андрюша такой красивый («как мать его, рано умершая», – говорят взрослые). В новом, светло-коричневом (я стараюсь запомнить слово) костюмчике он так хорош, что я не свожу с него глаз. Не только я, но и мама любуется и, наверное, Муся.

Круглые бровки над золотыми глазами (они очень тёмно-золотые), волосы подстрижены, но всё равно волнистые и, хоть он часто над нами, девочками, насмешничает, но рот его улыбается добро.

Мама наша «взяла его на руки году» (так говорят взрослые), и она его вырастила. Она его очень любит, и он дразнит нас, что мама его любит «больше, чем вас».

О том времени, когда меня ещё не было, сохранился рассказ: к маме приехала в гости дама и привезла Андрюше в подарок игрушку. Маленький красавец внимательным взглядом оглядел заводного тачечника, возившего вверх по сцене нарядную тачку. Дама показала Андрюше, как он ходит, погладила мальчика по головке, и его отпустили играть. Но не прошло и нескольких минут беседы в гостиной, когда из зала раздалось сосредоточенное сопение, затем сильный треск и торжествующий голос трёхлетнего обладателя чудо-игрушки:

– Больше ты не будешь у меня по стенам ходить!..

Глазам гостьи и мамы предстал сломанный остов того, что только что было тачечником и тачкой…

Я помню себя с трёх лет – значит, Мусе было почти пять, а Андрюше – семь. И есть ещё старшая, Лёра, но она редко дома. Она учится в институте и приезжает домой только на воскресенье. Ей 14 или 15 лет.

Но время (что это «время»?) – старшие говорят – «летит быстро», и вот уже Муся ходит в музыкальную школу. У Андрюши есть репетитор,

он готовит его в приготовительный класс. Лёре было 15, а теперь уже 16 лет.

Мы живём в Москве: в «городе» – зимой, а летом – в Тарусе. Два эти дома – большой и маленький – совсем не похожи.

Но и в Москве, и в Тарусе – «дома», и река Ока – тоже наша. Зимой трещат печи по всем комнатам. Греемся у огня. Во дворе снег, и цепная собака прячется тоже в свой дом. Мы в валенках и башлыках носим ей в тарелках кости. Она на нас прыгает и машет хвостом. Чудная!

Но Андрюша говорит, что она «не охотничья».

На Рождестве в зале ёлка с шарами. Шары голубые, золотые, зелёные. Один шар упал и рассыпался. Я плакала громче Муси. Андрюша говорит, что я «нюня». Свечи тают на ветке. Ветки горят и пахнут. Подарки уносим в постель.

Потом Пасха. Нас не берут в Кремль, где иллюминация, потому что «толпа», «могут задавить». Лёра за нас заступается: она уже большая… Андрюша пошёл в первый раз… Пасха тает во рту. Кулич я не люблю. Он толстый. Яичную скорлупу надо давить мелко, а то «курица не будет нестись».

В Тарусе – лодка, а вёсла тяжёлые: Андрюша умеет грести. Сад так зарос, что с балкона не видно Оки. Пароход кричит, что идёт.

На качелях мама не позволяет, чтобы подгибались верёвки: «упадёшь, голову разобьёшь».

Орехи из зелёной шкурки лезут туго, пальцы очень стараются. Кот Вася с нами всегда – в Москве и в Тарусе, а пёс остался в Москве.

Когда я была маленькой, я жила с няней. Теперь я с Мусей в детской, у Андрюши своя комната. Над его постелью – его мама в раме. У неё платье в бусах и волосы по плечам. Андрюша ужасно похож на свою маму, но он был тогда такой маленький и не помнит её.

Рояль в зале в Москве старший. Он чёрный, а в Тарусе – младший и жёлтый. Когда мама и Лёра поют вместе романсы, это называется дуэт. Муся играет гаммы, она их не любит, и Андрюша дразнит её. Мальчики не все должны играть на рояле, а девочки – все. Меня мама тоже скоро начнёт учить, а пока я убегаю.

Когда пароход идёт, от него волны, я боюсь их, а Андрюша и Муся – как мама. Мама не боится и плавает на спинке…

А когда много грибов, это называется осень, листья жёлтые. Нам надевают платочки: Мусин голубой, мой розовый.

Когда папа сможет от своего Музея уехать? Он в саду опять зарубил лопатой змею. А ужей убивать нельзя. Уж – он добрый. Мальчики не боятся ужей.

А Андрюша бедный: он летом должен учиться. Репетитор задаёт

уроки, Андрюше не хочется, он опять убежал удить рыбу. Рыбе плохо, у неё болит рот. Мальчишкам рыбу не жалко.

Приготовительный класс кончился. Андрюша пошел в первый класс. Он совсем большой, в новой форме, в фуражке с серебряным позументом. Он совсем чужой. Но мы с Мусей, когда мы с ним не дерёмся, всегда на него любуемся. У кого ещё такой брат!

А «время летит». В Тарусу приехал новый человек. Он – «чиновник». Я это слово не понимаю, но мне стыдно спросить. Фамилия его Андреев, а дочку его зовут Инна. У неё глаза большие, серые и две толстых русых косы. Она меньше Андрюши, но Андрюша её стесняется и никогда не дразнит.

Когда мы с дачи едем в Тарусу всей семьёй, Андрюша никогда не убегает ни удить рыбу, ни к лодке. Он всегда идёт с нами.

У мамы подруг нет. Она только с книгами и с роялем. А с матерью Инны Андреевой они подружились. Часто ходят вместе и говорят. Андрюша идёт сзади с Инной. Но они молчат почему-то. Я не понимаю – как это идти и молчать…

А мы с Мусей всегда от больших убегаем вперёд…

Непонятно, почему Инна не с нами, а с Андрюшей – он же ведь мальчик, а не девочка.

Через лето отца Инны, «чиновника», переводят куда-то, и Инна больше не приезжает в Тарусу. Мама жалеет, что её мама уехала, а Андрюша молчит про Инну…

Муся этой осенью пойдёт в приготовительный класс.

А я знаю все буквы и цифры немного. Буквы милые, а цифры – нет! Андрюша тоже не любит цифры. Они называются арифметика. Какое странное слово: цифр ведь много, а она просто одна.

А когда гувернантка провожает Марусю в гимназию (Андрюша один ходит), и папа уходит в Музей, я одна с мамой и с нами кот Вася, и мама открывает рояль… Марусе эти ноты даются легко, она играет уже не гаммы, пьесы, у неё так хорошо получается, а я потихоньку вздыхаю: нот столько и ещё бемоли и диезы, и всегда забываю бекар. Андрюша счастливый, что мальчик. Это только девочки должны учить ноты, а ноты очень противные, когда их зовут «добавочные» под строкой и над строкой. Как из этого получается такая чудная музыка – из-под маминых рук, – непонятно!

У меня совсем не получается музыка, даже совсем не похоже…

Лучше быть мальчиком! Но я бы рыбу всё-таки не удила – зачем рыбе разрывать рот? Это всё-таки очень странно, что есть мальчики и девочки. Ведь могло бы быть просто – одно? Но спросить нельзя: взрослые не поймут. А в Андрюшиной комнате поселилась музыка, она

называется мандолина. Андрюше не трудно, что в ней тоже ноты. Его ведь никто не учит, он сам, «по самоучителю». Эта музыка сыплется искорками, как от солнца столб над Окой.

Папа решил, что Андрей останется жить у деда, отца своей матери, Иловайского. Мама отказалась ехать в Италию без своих дочерей. Мы расстались с Андрюшей на долгие годы. Только весточки от него получали – косым его милым почерком – в Италии, а потом в пансионах Швейцарии и Германии. Россия стала совсем будто сон, точно снились Москва, Таруса…

Время продолжало «лететь стрелой». Мама успела поправиться и заболеть снова: слово какое-то странное – «рецидив».

Когда летом 1906 года мы привезли в Тарусу умирающую мать, то вместо двенадцатилетнего мальчика, провожавшего нас на вокзале в 1902 году, худенького в гимназической форме, нас встретил в Тарусе стройный юноша, и мама сказала ему: «Ты стал настоящим неаполитанцем, Андрюша! Учишься уже на гитаре?»

Хотя по-прежнему он зовёт нашу маму «мама», но отвык от неё и от нас, он стесняется, он почти чужой, потому что взрослый, но и мальчик немножко и немного ещё похож на того, кто нас провожал на вокзал, только на голову выше.

Все кругом в доме полны чувством, что мама очень больна, – меньше всего я! «Умирает» говорили в доме, в Москве, уже четыре года назад, когда мы уезжали, но ведь это всё прошло. Мама купалась в море, бросалась в Нерви с маленькой скалы в волну, плавала… И в Шварцвальде с нами ходила по сосновым лесам. Мама выздоровеет! Так думала я и отдавалась своему новому «мальчишескому» увлечению – вырезать из ивовых влажных веточек свистульки. Если в конце лёгкого стволика сделать дырки и, когда дуешь в свистульку, закрывать дырку пальцем, получается звук, как флейта. И я мечтаю соединить несколько таких (связать их рядом в одно!) – получится вроде свирели…

В первое утро после вечера нашего приезда в Тарусу, когда мама, больная, себя пересилила, сразу прошла к роялю (в поезд её внесли на стуле…) и целый вечер, как в нашем детстве, играла и с Лёрой пела дуэтом (мама – альт, Лёра – сопрано), Андрюша из уголка столовой, где он скрылся, слушал, как прежде, а потом принёс гитару и вторил тихонько… В первое утро я вошла в уютную низкую кухоньку, на пороге её стояли Андрюша и сын сторожа Миша (ему уже пятнадцать лет). Я с перочинным ножичком в руке спросила Андрюшу:

– Ты умеешь вырезать свистульки?

– Умею, – ответил он, взглянув на меня почему-то с жалостью, – тебе вырезать? – И он что-то тихо сказал Мише.

– Я сама умею! – сказала я гордо и хотела было рассказать ему, что хочу сделать такую свирель, как на картине у Пана, но Андрюша и Миша были такие серьёзные, и я не посмела.

Позднее я поняла, почему так на меня поглядел Андрюша: все в доме понимали, что идут последние мамины дни…

Я помню его, сидящего на краю маминой кровати и тихо наигрывающего на гитаре какую-то знакомую мне и Марусе мелодию, от которой что-то делается с сердцем и вспоминается невозвратный вечер в Нерви, тёмная душистая итальянская ночь за окном. А сейчас стоит жасминный пахнущий день, окна открыты в сад, открыта и дверь в сени – маме всё мало воздуха! Она улыбается Андрюше, слушает до конца мелодию неаполитанской песни (может быть, и она вспоминает нервийский вечер?) и говорит:

– Ты хорошо играешь, но гитара твоя не очень хорошая… Я тебе оставлю мою гитару…

Мгновенный переплеск Марусиного, моего: мама не сказала «подарю» – «оставлю»… Тёмный ком страха наваливается на наши сердца. Мама о своей смерти сказала…

Но Андрюша ещё мальчик немного. Четвёртого июля его именины, и он сказал Лёре: «Неужели мама умрёт в мои именины?». Но мама прожила и 4-е июля. Мама скончалась 5-го июля (по старому стилю) 1906 года, в четыре часа дня, 37 лет. Отпевание было в Тарусе в Воскресенской церкви, на горе. Хоронить поехали в Москву на Ваганьковское кладбище, где за семь лет до того похоронили дедушку, её отца, и где давно-давно, когда нас ещё не было и только что родилась мама, дедушка похоронил мамину маму, умершую в двадцать семь лет…

В дни перед похоронами я улавливала на себе, украдкой, всё тот же длящийся, будто длинный, взгляд Андрюши. На Марусю (Марину) он не простирал его: Марина казалась почти взрослой, я же ещё была девочка, он понимал, как трудно будет мне без мамы. Лёра была молода, очень занята общественной работой, революцией, заменить маму она не могла…

Как мы жили в Тарусе конец лета 1906 года, я совершенно не помню. Место, занятое в доме в середину лета маминой болезнью, теперь заняла пустота без мамы, – место её отсутствия, о чём я писала в моих «Воспоминаниях» – «Её отсутствием был полон дом». Но это уже о Москве.

Может быть, была тайная жалость брата ко мне, а может быть, потому, что Марина после смерти мамы по своей воле ушла в интернат, мы, несмотря на разницу лет, сблизились с Андреем. Жили мы оба в

верхних, антресольных комнатах. В зиму 1906-1907 гг. он стал заходить ко мне; посоветовал мне купить не трёхструнную, как я хотела, а шестиструнную балалайку и стал учить меня играть на ней, а сам приходил с мандолиной, иногда нёс и мамину гитару, и мы играли все известные нам песни – о погибшем в японскую войну «Варяге», нашем корабле; и о Стеньке Разине, и о Ермаке, и марши, и вальсы, летом звучавшие на тарусском бульваре. На мандолине Андрей постоянно практиковался в своей комнате; думаю, он отдавал этому не только свободные часы, но и те, что, по понятиям папы, полагалось ему отдавать урокам латыни. Нередко папа возмущался, кричал, упрекал его в лени, в бессовестном отношении к выполнению гимназических уроков. Слушая это из моей тихой комнаты, я жалела обоих – и Андрея, и папу, смутное это у чувство я отлично помню, но ничем моя жалость не могла помочь, это я тоже понимала.

Марина приезжала только на конец субботы и воскресенье, и часть этих дней помогала папе в его заграничной переписке – французской и немецкой – о музейных делах.

– Маруся, – звал снизу папа, – напишем-ка с тобой письмецо…

И Маруся спускалась вниз или в кабинет к папе и подолгу переводила на требуемый язык папины, несколько старомодные, диктуемые ей фразы. Затем запоем, как в детстве, читала глубоко в ночь и опять исчезала в свой интернат гимназии фон Дервиз. Там отношение к ней преподавателей резко отличалось от отношения гимназического начальства. Преподаватели поражались её способностям и ставили ей высшие отметки, а начальство становилось в тупик перед вопросом – что с ней делать, – перевоспитывать (как?!) или исключить…

Весна принесла Марине исключение из гимназии: Марина была не только не в меру, по понятиям начальства, своевольна и дерзка, но она приносила в класс революционные книги и тем «развращала» подруг. И следующую зиму Марина поступила в 5 класс гимназии Алфёровой и вернулась домой.

Это был год, когда Лёра ещё жила дома, но не в доме, а во флигеле, и у неё собиралась революционно настроенная молодёжь. Теперь и Андрей с Мариной часто бывали там вечерами, а иногда и уходили вместе куда-то, на какие-то мне не известные сходки, собрания. И пока я не начала с третьего класса учиться в гимназии Потоцкой (самой «либеральной», как её тогда называли), я пережила много часов одиночества.

Иногда я каталась на коньках на Патриарших прудах, куда ходил и Андрей. Тоска по маме только тогда начала утихать понемногу. У меня появились гимназические подруга, началось настоящее сближение моё с Мариной, прерванное было её быстрым ростом предыдущих лет. Те-

перь нас наверху – в Трёхпрудном – жило четверо: Андрюша (его всё чаще звали теперь «Андрей») и Маруся, ставшая «Мариной»: Марина поселилась в бывшей Андрюшиной комнате, самой маленькой; я – в большой, бывшей детской и проходной к ней. Андрюшина охотничья собака – их имена менялись – жила у лестницы перед чуланчиком, где висели платья.

Андрюша, как строгий хозяин, выводил собаку во двор и кормил, как полагается кормить охотничьих собак, а в остальное время ей предлагалось лежать и ничего больше от жизни не требовать, не скулить. И когда она начинала скулить, он выходил с каким-то орудием воспитания, а мы бросались на него из своих комнат в драку: «Не смей бить собаку, не бей!»… И происходили, как в детстве, баталии: Андрей требовал, чтобы мы не ласкали его собаку, не «портили» бы её. А мы этот запрет постоянно нарушали – и ссорились.

Помню весенний день, когда пропала наша общая любимица дворовая собака Райка, и мы втроём – Андрей, Марина и я, поехали в то место, где держат пойманных на улице собак до приезда за ними хозяев (дворник Илья нашёл её там). И мы далеко за Москвой, после долгого пешего хода по весенней грязи, увидели и спасли нашу Райку. Помню, как мы кричали ей (Марина и я): «Рай, Рай, Рай», – и как высоко она прыгала в восторге, как сурово, деловито расплачивался Андрей, и какие мы были все четверо счастливые возвращением друга…

Мне было четырнадцать лет, когда произошла и навсегда запомнилась уже не повторившаяся последняя драка моя с Андреем: я писала письмо Эллису, поэту и переводчику, в ответ на его мне посвящённое стихотворение, это были маленькие листики, и число их было 21! Брат вошёл неожиданно, дёрнул всю пачку: «Кому пишешь?» – И получив: «Не твоё дело!» – «Не моё?». И, балуясь: «А я тебе кто – не брат? Вас – сколько? – три? Вами хоть пруд пруди, а я – один!» Может быть, всё обошлось бы, но тут я заметила, что листки надорваны. И в мгновенном, бешеном огорчении – переписывать – схватила пригоршню стеклянных разноцветных яичек из деревянной миски и бросила их в Андрея, не подумав, что любое из них могло попасть ему в висок, в глаз… Должно быть, какой-то осколок попал в него и причинил боль. Потому что вот уже его рука вцепилась в мои волосы, тотчас же моя рука – в его кудри, и, крича и таща друг друга, мы полетели прочь из моей комнаты, через проходную к лестнице и вниз по ней, друг друга не отпуская, комом рук, ног, бегущих, спотыкающихся и прямо навстречу вошедшему с чёрного входа папе. Крик и стук чего-то летящего с лестницы и папино изумлённо-испуганное: «Что такое?!» О мороза запотевшие очки папины не давали увидеть, что. Мгновенное освобождение наше друг

от друга, бег вверх, по пути мешая друг другу, захлопнутая Андреева дверь и – тишина, в которой я крадусь к себе в стыде и раскаянии, что причинила боль, а ведь он шутил, баловался. Значит, я вызвала зло, я виновата… А ещё ныли корни волос, но не до них было от стыда за себя и невозможности что-то исправить…

Где Марина была в тот вечер?

С шестнадцати лет примерно кончилось её увлечение революционными собраниями, она сидела у себя в крошечной своей комнатке и переводила Ростана – «Орлёнка», о трагическом любимом её герое, сыне Наполеона. И иногда, не выдаваемая мной и Андреем, вместо гимназии забиралась на чердак, во что-то закутавшись, и, пока уходил папа, отсиживалась там. Конечно, по любви Андрея поддразнивать не обходилось без его задираний и её дерзких в ответ выходок, но, в общем, мы жили мирно, и каждый из нас сочувствовал другому – лишь бы не задевали его, себе выбранного, занятия…

В это время уже началась и цвела наша дружба с Ниной и Толей Виноградовыми[*]. Мы бывали втроём у них, а они у нас. Оба, брат и сестра, очень дружные, голубоглазые – Нина ласково, лукаво-насмешливая, Толя… нет, в таких кратких словах трудно его описать. Дружа с нами, он дружил с каждым отдельно и обладал обаянием ума и проникновенности. И вечера эти, встречи наши были, во всяком случае, старше моих лет… А Андреем они любовались, того не скрывая, – был он в те годы очень красив.

Зимой на рождество, а чаще на масленицу мы иногда – Андрей и я – ездили в Тарусу: сперва поездом, потом на лошадях, в санках с бубенчиками, там веселились порознь, каждый со своими друзьями и возвращались вновь вместе к началу учения. На масленицу в те времена отдыхали неделю, на рождество – две. Марина с нами не ездила, сидела безвыходно в своей комнатке и читала, и переводила, всё глубже, глубже погружаясь в одиночество, в общение с давно прошедшим. В те годы книжный магазин Готье на Кузнецком доставлял ей выписываемые книги о Наполеоне и сочинения её любимых французских авторов, среди них цвело имя Виктора Гюго, а также и корифеев германской литературы из маминого книжного шкафа – Гёте, Рихтера (Жан Поля). Марине в ту пору шёл семнадцатый год.

Окончив гимназию (на Страстной площади, близ памятника Пушкину в «доме Фамусова», ныне снесённом), брат поступил на юридический факультет Московского университета без всякого увлечения юриспруденцией – надо же было куда-то поступать.

---

[*] Брат и сестра – певица Нина Корнельевна Виноградова и писатель Анатолий Корнельевич Виноградов. Автор книг «Три цвета времени», «Черный консул» и других. *АЦ.*

Годы переворачивались один за другим, как страницы книги, уже мне было шестнадцать, Марине – восемнадцать, Андрею – двадцать, он приглашал к себе нового товарища – графа Валевского, тоже красивого и, как тогда говорили, «породистого». В его немного развязной самоуверенности был контраст со сдержанностью и застенчивостью, чуть угрюмой, брата Андрея. Андрей слит со своей красотой. Когда он смущается, пытаясь спрятать своё смущение за налётом грубоватости, его красота смущается вместе с ним. Всё это было неповторимо, оригинально…

Мне было приятно с нежностью и волнением наблюдать за его вниманием к моей подруге по новой гимназии – Нине Мурзо, прелестной внешности и весёлой, начинавшей певице; к тому, как он слушает её пение, как смущается от её присутствия и старается преодолеть себя. И как билось сердце, когда граф Валевский начал за Ниной ухаживать, и как счастлива я была, видя явное предпочтение её моему брату, весёлый холодок в её репликах Валевскому, тёплые нотки внимания и радости в обращениях к брату Андрею.

Ещё одна страница переворачивается, и я в семнадцать с половиной лет говорю брату Андрею:

– Скоро моя свадьба. Ты будешь моим шафером?

И он отвечает тем же тоном делового человека, «на ходу»: – Какое число? День? – В воскресенье? Помедлив: – Да, кажется, смогу.

Марины нет. Она уехала, обвенчавшись с Серёжей Эфроном, за границу, пока я ездила одна по Италии. Странно сложилась жизнь: ни я на её свадьбе не была, ни она на моей не будет.

Но я недавно, в исходе зимы, съехалась с нею и Серёжей в Париже, и мы прожили там вместе в гостинице десять дней – и вновь разъехались: они – в Сицилию, я – в Россию. Но в России – великий пост, в великий пост не венчают, и я тихонько живу в папином доме в Трёхпрудном, в бывшей детской Андрюши, бывшей девической Марининой комнате, на антресолях.

Воркуют за окном голуби. А я улыбаюсь: как хорош будет брат Андрей на моей свадьбе – в студенческом морского цвета мундире, при шпаге. Марина о нём сказала: «Как генерал 1812-го года, наполеоновских времён». А я буду в белом шёлковом платье со шлейфом.

Я ехала с нашей экономкой Александрой Олимпиевной, а в автомобиле перед нами – папа и моя милая подруга Нина Мурзо (так чудесно спевшая в тот давний вечер в нашей зале «Дивный терем стоит»). Я вдруг обнаружила, что забыла шёлковый белый коврик, на свадьбе необходимый, и велела было шофёру ехать назад, но увидевший это папа запротестовал решительно. («Плохая примета!» – пояснила Алек-

сандра Олимпиевна, в волненье, что не проследила сама). И мы не вернулись. Брат Андрей, держа надо мной венец, был похож на старинную картину, сошедший со стены портрет. Другой шафер мой был друг моего жениха Бориса – именем тоже Борис. Если Андрей был похож на итальянца, то у Бори была северная красота.

Свадебный обед был заказан папой в ресторане «Прага» на Арбате и описан в моих «Воспоминаниях», тут не место об этом. Но позднее я узнала, что на обратном пути из «Праги», когда я с мужем, может быть, уже была дома в нашей новой квартире в Предтеченском переулке, брат Андрей ехал в автомобиле с Ниной Мурзо, и что был, должно быть, час счастья. Некоторые из гостей тогда ждали, что скоро будет вторая свадьба. И долго-долго я сожалела, что это не стало жизнью…

А «время летит», как говорили взрослые в моём детстве, и вот ещё страница жизни перевернулась.

Лето 1912 года… Андрей снял домик в Тарусе, он до боли похож на наш навеки утерянный, только река под ним маленькая и совсем близко, и нет далей раздолья Оки…

Внизу, ожидая меня к чаю, сидят мой муж Борис и мой брат Андрей, как в романе, а я всё никак не оторвусь от страниц дневника, и пишу, пишу – и плачу…

У меня будет ребёнок – я уверена, сын, но что-то утрачено в отношениях с Борисом, и этого уже не вернуть…

Романтика кончилась!

Весной 1913 года поблизости от Собачьей площадки, где мы жили, я нашла в Борисоглебском переулке, дом 6, флигель в шесть комнат, первый этаж, и в тумане от горя расставляю перевезённые вещи. Их хватает только на три большие комнаты, три – свободны, и брат Андрей переезжает ко мне, в переднюю из них, окнами в переулок, самую большую.

Бориса нет, он в больнице, ему сделали операцию, а брат Андрей редко бывает – он ищет себе в этой части Москвы квартиру: в нашем доме, в Трёхпрудном, ведь надо делать ремонт, и я целые дни одна с маленьким Андрюшей и кормилицей Соней. Мой сын отвык от меня, ко мне не тянется, тянется к Соне, нет никакой моей роли в этой странной семье. Мой ребёнок – на руках чужой женщины. И вдруг заболевает мой брат, у него жар, он зовёт меня:

– Ася, я написал письмо, я прошу тебя – свези его по этому адресу. Вот (он называет улицу, дом, квартиру). Ничего не говори! Передай! Нет, скажи (он волнуется, и волна сочувствия подымает все мои силы в одно только желание – помочь ему. Как?!). Скажи, что я заболел. Не проси, чтобы она приехала. Как захочет. И передай письмо…

Темнокудрая голова мечется по белизне подушки, и мне стыдно, что я это подумала.

И вот я где-то в чужой улице, в незнакомом доме стою перед высокой светловолосой женщиной, она старше меня, не красавица, но глаза её добры и печальны, в них радость и горе.

– Ася, – говорит она, – Вы молоды, Вам трудно понять меня, – так вот это письмо (она его при мне не вскрыла: «бережёт, как сокровище, наедине прочитает»… – проносится во мне ощущением счастья и тайны, и всё только что пережитое мною за эти полтора года делает меня старше, опытнее)…

– Я люблю Вашего брата и люблю моего мужа, это такая мука…

Я кладу руку ей на плечо:

– Я ничего не знаю, брат мне ничего не сказал. Я не спрашиваю. Только одно я хочу Вам сказать: будьте осторожны с душой человека. Я недавно такое пережила…

Она, видимо, не то спешит, не то чего-то боится. Смотрит мне в глаза неописуемым взглядом. Вкладывает всю себя в этот взгляд:

– Скажите ему – я приеду, я непременно приеду его навестить… У него температура? Он живёт у Вас, да?

Она всё говорит где-то рядом, она очень меня любит, она поняла, что я ей сказала, я хочу скорее назад, к брату – и я не могу оставить её в таком горе! Господи, помоги…

Я не спросила брата Андрея ни слова, как он не спросил меня, почему я в другой квартире, почему уехала с той. Я так ничего не узнала, что было дальше и что было в записке той женщины, которую она передала мне.

Она – та женщина – приехала в тот же или в первый после того наставший день, я закрыла свои двери и не выходила. Должно быть, этот приезд был украдкой. После того, как я услышала её шаги, я не вошла к брату, только послала Машу, спросить: не надо ли чего? Кажется, он попросил чаю, и я потом дала ему побыть с собой, в одиночестве, может быть, в мыслях о ней.

Совсем не помню искорок мандолины – ни разу за те недели, что брат у меня пожил, водяные искорки серебра из-под медиатора, неотделимые от него прежде. Шла весна 1913 года…

Жизнь мела и мела. Вот уж позади торжественное открытие Музея в 1912 году, когда так смущённо-хорош (не показать волнения) был Андрей в сине-зелёном мундире, «сын основателя и внук историка Иловайского», – говорили о нём, когда он был так свободен в своей красоте, так далёк от потом в его жизнь пришедшего…

А осенью 1913 года, переутомлённый десятилетиями непосильного

труда по созданию Музея изящных искусств, умер наш отец, и мы с Мариной на целый год уехали в Феодосию и Коктебель с детьми и нянями, и на годы прервалось моё общение с братом Андреем. Нет, ещё одно воспоминание о, должно быть, 1914 годе. Постараюсь его воскресить.

После смерти папы Андрей, сдав дом наш под лазарет (шли первые месяцы первой мировой войны), жил где-то на Полянке, и я приехала к нему туда в первый раз. Дом был, помнится, двухэтажный. И был дух чинности, которого никогда не было в доме в Трёхпрудном, как и мебель стильно-старинная совсем не походила на мебель в отцовском доме, где были гарнитуры разных времён, разных эпох, разных вкусов, и прежде всего – какие-то отдельные шкафы, столы и комоды вне всякого стиля, но любимые, памятные по ком-то, интимно-близкие, незабвенные, как может быть незабвенен человек или кот и собака, с которыми свела жизнь… Всё это было ясно нам – Марине и мне – без слов, дыханьем души, почти запахом детства чьего-то – нашего, маминого… И всё это было нацело отменено как Андреем, так и Лёрой – по совершенно разным причинам: Андрей любил только стильную старину, а Лёра никакую старину не любила, просто не выносила её. В её увлечении народностью, простотой органически входило отсутствие обстановки – табуретка, некрашеный стол, ситцевые занавески на окнах. Как она, своего родного брата любившая, оценивала его новую жизнь, не знаю.

Андрея не взяли на войну, потому что он ещё был студентом, и студенты имели отсрочку, а психологическая причина того, что он мог жить так – с виду широко, в то время как шла война, – была та, что первое время войну эту никто всерьёз не принимал, не допускал, что она будет долговременной. Все ждали её окончания чуть ли не каждый день. И брат Андрей делил свои дни между университетскими занятиями и устройством нового жилья, во что вкладывал свой собственный вкус, далёкий от нашего с Мариной вкуса к интимности и от аскетического вкуса Лёры. В тот день я встретила у него его бывшего репетитора Александра Павловича Гуляева, первую в семь лет любовь Муси, и мы мирно пообедали вместе, как когда-то в Трёхпрудном. Он впервые в тот день называл меня на «Вы».

В то время я уже разошлась с Борисом и даже подружилась с его второй женой, актрисой Марией Ивановной Кузнецовой. Я училась философии в Народном университете Шанявского, увлекалась Ницше и Ибсеном и помню, как на какую-то мою громкую фразу о своеволии, о свободе Александр Павлович одновременно и восхищённо, и огорчённо сказал мне: «И как Вы жжёте свою жизнь, как свечу, с двух концов, Ася?» На что получил, наверное, ещё более громкую фразу.

А «время летит». Уже позади мой второй брак, счастье с моим вторым мужем Маврикием Александровичем Минцем, мой переезд к нему

с Андрюшей и няней в старый городок Александров Владимирский, где родился, где рос мой второй сын Алёша, и страшная весна и лето 1917 года – смерть Маврикия и смерть Алёши. Все эти годы мы с братом не виделись, а за ними и ещё четыре года разлуки, когда со старшим сыном Андреем я жила в Крыму во время гражданской войны.

И вот я снова в Москве в полуголодный год 1921-й, у меня всё пропало, что было дома и в Александрове. И брат Андрей пришёл ко мне в квартиру Марины в Борисоглебском переулке, дом 6. В этом же доме, во флигеле, он у меня некогда жил и болел весной 1913 года – восемь лет назад. Увидев отощавшего в Крыму моего сына, его тёзку, Андрюшу, худого и бледного, он предложил мне приходить брать обед для него (и на двоих хватало!), и я долгое время ходила за Андрюшиным «усиленным питанием». Жил брат где-то в районе Садовой. Помню, как раз, спеша, налетела на не замеченную по близорукости верёвку, преграждавшую путь, и полетела, разроняв глиняную банку, в которой носила суп, и тарелки, но, должно быть, чудом не пролила еду, или только шла за ней – потому что урона и горя не помню. Мне трудна (почти физически, плечам) благодарность, которую я чувствую за обед Андрюше и за деньги, изредка даваемые мне…

Андрей больше изменился, чем Лёра. Ему теперь шёл тридцать второй год. Он стал суше, худее: жёстче выражение губ, короче наблюдающий взгляд. Ушла из него юношеская прелесть, придававшая его чертам романтичность. Волнистые его волосы не колеблются при движениях надо лбом, они короче, почти лежат у висков. Его застенчивость перешла в некую угрюмость. Он молчаливее, не поддразнивает, как раньше, не шутит, только спрашивает кратко, а после ответа долго молчит, гостеприимство его малословно…

Году, думается, в 26-м, брат Андрей жил уже на углу Садовой и Каляева, во втором этаже двухэтажного домика, в общей квартире.

Он женился на Евгении Михайловне Лилеевой, агрономе по профессии, женщине энергичной, весёлой, умеющей пошутить и всем тонусом своей жизни поднявшей тонус жизни мужа, внести в неё смех, бодрость. Мы – она и я – встретились, как родные, да и помощь брата стала естественной, доброй.

Евгения Михайловна – высокая, статная, пышноволосая блондинка, у неё лёгкая походка и громкий весёлый голос, она хорошая хозяйка. Вокруг Андрея – уют. У неё от первого брака четырёхлетняя девочка. Ира* – большеглазая, голубые её глаза смотрят доверчиво и спокойно,

---

* Ирина Александровна Лилеева впоследствии доктор филологических наук, переводчик, крупный специалист по французской литературе. *АЦ*

она отчима полюбила сразу, даром, что малоразговорчив. И отчим к ней добр, и сквозит в его отношении к ней что-то сходное с уважением: она отлично себя ведёт – без всякого понукания, не по годам.

Комната, в которой они живут, длинная, увешана картинами, уставлена старинной мебелью. У Иры есть няня Паша, которая и готовит, и убирает, потому что Ира настолько послушна, разумна, мила, что требует мало надзора. Только один раз с Ирой случилась странная история, но окончилась благополучно. На своей работе в Политехническом музее, где она ведала целым отделом, Евгения Михайловна вдруг почувствовала себя плохо, и ей пришлось отпроситься. Она еле добрела домой. В дверях её встретил только что пришедший с работы Андрей вестью, что Ира в его отсутствие и когда няня Паша была на кухне, влезла на подоконник и так увлечённо провожала не только глазами, но всем телом уходящий с барабанным боем за угол пионерский отряд, что вылетела за ними на тент магазина, с него – на тротуар. На «скорой» была доставлена в больницу, но «не тревожься, цела, отделалась лёгким ушибом». Это был, вероятно, её единственный необдуманный, лет пяти, «поступок».

22 февраля 1931 года у брата Андрея родилась дочь. Её назвали Инна. Я уверена, что он назвал дочь так, как когда-то звали детскую, первую любовь его жизни. Знал, что будут звать её Инна Андреевна, как и ту далёкую звали Инна Андреевна.

Так отозвалось воспоминание брата Андрея о его первой детской любви к сероглазой девочке с двумя русыми косами.

А «время летит». Начались 30-е годы. Мой сын Андрей уже работает по своей специальности инженера-строителя. Брат Андрей работает в Госторге по определению картин неизвестных художников, оставив неинтересную ему юриспруденцию. Шёл слух, что его имя становилось известным, хотя образования искусствоведческого он не получил.

Я, работавшая с 1924 года в библиотеке Музея Изобразительных Искусств, нередко видела брата Андрея, приходившего в составе какой-то комиссии для определения картин. Мы переглядывались, кивали друг другу, но при встречах этих общения не было. Однако я замечала, что он худеет, говорила об этом с Евгенией Михайловной… Увы, даже она не могла уговорить мужа, настоять, чтобы он согласился пойти к врачу. Он не шёл. Но худеть продолжал и угрюмо отмалчивался, сам по своей фантазии жил иначе, чем все, всё больше облегчал свой режим питания: избегал жирного, ел мало и выборочно, пока, наконец, не сознался жене, что его беспокоят боли в области желудка. Но к врачу упорно не шёл.

И ещё прошло время, и, наконец, может быть, вспомнив, что в роду

Иловайских живёт злой недуг – в прежние годы звавшийся чахоткой, от которой погибли дочь и сын Иловайского, или оттого, что брат Андрей начал температурить, Евгения Михайловна в начале 1933 года или, может быть, ещё в конце 1932-го, всё-таки настояла на визите врача. Брат послушался настойчивой, может быть, слезной просьбы жены и вызвал на дом известного «лёгочника» Иоганского.

– Что Вы сделали с собой, Андрей Иванович, – сказал огорчённый врач, – почему же так поздно? У Вас уже нет одного лёгкого, а от другого остался кусок… – Боли желудка оказались отражёнными нервными болями, и оказалось, увы, слишком поздно «усиленное питание»… Евгения Михайловна снесла всё, что можно было снести в Торгсин, я – серебряную ризу от одной уцелевшей иконы, принесла брату несколько апельсинов и две бутылочки сливок… Брата теперь надо было «заливать жирами», но, как все туберкулёзные, он отвращался от жирного… И болезнь продвигалась.

Дочке его Инночке шёл только ещё третий годок, а отец её уже давно не вставал с постели, глаза его делались всё больше, кашель не давал покоя…

Инночку он с рождения очень любил и всё ею любовался. Всегда тайно играл с ней – по застенчивости и сокровенности этих игр не желал, чтобы их видели. Теперь её к нему уже не подпускали. С ним у кровати его, заставленной от другой части комнаты шкафами, неотлучно находилась его любимая охотничья собака, выводила её теперь во двор няня Паша…

Ира, уже одиннадцатилетняя, всё понимала и чувствовала, старалась, приходя из школы, по мере сил своих утихомиривать Инночку, чтобы не беспокоил отца её громкий смех. Евгения Михайловна металась с утра до ночи между работой (она заведовала сельскохозяйственным отделом Политехнического музея) и уходом за больным мужем.

Я же, в то время уже покинувшая музей, окончила курсы английского языка и преподавала в одном из институтов Тимирязевки. Вечером, возвращаясь домой, я заезжала к брату Андрею, сидела возле него.

Было восьмое апреля 1933 года, вербная суббота. Я приехала навестить брата. Он, как все последние недели, лежал на постели справа от входа в их комнату, далее уставленную старинной мебелью – расставленной так, чтобы не мешать бегать детям. Собаки возле него не было. Накануне он просил увести её, передать какому-то другу и, как я потом узнала у Евгении Михайловны, простился с ней, погладив по давно знакомой, исчезающей от него голове. Я никогда не спросила его жену, как отец простился – простился ли? – с дочкой… Я никогда до того не видела таких глаз, какие были в тот день у брата. Карий их

с детства знакомый цвет был окружён будто расширяющейся вокруг белизной, что делало их огромными, глаза казались светящимися. Он говорил мало, весь как бы уйдя в себя, откуда было трудно общаться. Нет, не в тот день, раньше это было, раньше – он вдруг сказал, точно к себе прислушиваясь:

– Нет, не умеют писатели описывать болезнь… – И, помолчав, словно хотел удержаться, не смог. – И смерть не умеют…

Почему в эти часы 8 апреля я не помню с нами Евгении Михайловны? Нет, она была, конечно, и была сестра Лёра, и я помню её заплаканное лицо и то, как она пыталась удержаться от плача. Не помню никаких слов. Лёра уехала, я сидела возле брата Андрея, но, подумав, что, может быть, моё присутствие его утомило, тихо встала, отошла…

Вдруг слабый голос брата позвал меня: «Ася»… Как только могла, быстро я подошла. Он не поднял головы с подушки, мотал рукой по воздуху, как бы ища меня… Взяв его руку, я, растроганная, не зная, поцеловать ли её и чем-то удержанная, гладила её, сев возле него, искала и не находила слов. Его рука устала, бессильно выпала из моей, должно быть, ища покоя. Взгляда его я не помню – значит, были закрыты глаза. Быть может, впервые мы побыли вдвоём. Как мне хотелось поцеловать его руку!

Я приехала домой в тяжёлом предчувствии, но ничего не додумывая… (день работы и вечер с ним…).

В дверь постучали: – Анастасия Ивановна, сейчас звонили от Андрея Ивановича… Должно быть, его супруга… Андрей Иванович скончался…

Я не помню подробно начала того «потом». Я тогда же поехала назад, откуда приехала,- уже не к нему – к Евгении Михайловне. Я и тут не помню Инночки. Но я помню худенькую фигурку Иры, одиннадцатилетней, сотрясающиеся от плача её плечики: – Дядя Андрюша!.. Она всегда любила его, и он любил её, хотя и дивился отсутствию детскости в ней.

Не говорили. Он уже лежал на столе, одетый в тёмно-серый костюм, с тёмным галстуком, прибранный. Рука к руке. Жёлтые (одна из них искала меня в воздухе полтора часа назад…). Он был бесконечно далёк теперь, в необъятности. Знал всё, чего не знали мы. Потом была долгая ночь. Целая маленькая жизнь до утра: мы просидели возле него, я – слева, Евгения Михайловна – справа.

Брата похоронили на Ваганьковском кладбище в могиле нашего отца. Гроб на гроб, в сухой песчаной земле.

Потом пошли годы, с 1933 по 1937 год, год моего отъезда. Инночке было уже шесть лет. Это был весёлый зайчик – красивый, изящный,

похожий на лучик солнца. Ничего на знавший о том, что до неё было; того, как отец с ней играл, звал «совой» за большие глаза и за круглые бровки. И конечно, слишком была мала радоваться, когда я привозила ей, крестнице, ещё одно платьице. Им радовалась няня Паша, доставшаяся по наследству Инночке от Иры.

Кто знал тогда, что матери обеих девочек придётся уехать далеко и что Ира – уже шестнадцатилетняя – откажется идти в детдом и отдать сестру, что Инночка уже не с мамой, а со старшей сестрой будет расти годы и что мы – крестная мать и крестницы – увидимся только в 1959 году, когда Инночка будет готовиться к защите диссертации. Но тогда уже вновь с ней, взрослой, будет всё в той же комнате её мать. И я буду бывать у них, у них жить, ожидая комнаты в Москве, как бываю у Евгении Михайловны и поныне.

Мне тяжело писать всё это, но я благодарна судьбе, что смогла. Я писала это всё, кроме первых пяти страниц, в Коктебеле, в вагоне «Феодосия-Москва». Уже начинаются сумерки. Я очень устала (мне идёт 93-й год), но я должна дописать.

Мне остаётся сказать о том, что я узнала о брате после его смерти от людей, его знавших в последние годы жизни по работе – определению автора неподписанных, безымянных картин. Как с музыкой, которой он никогда не учился, но всю жизнь был связан с игрой на струнных инструментах, так и здесь удивителен затаившийся в нём талант.

С 1933 года, года его смерти, и до 80-х годов века я встречала тот же возглас, всегда нежданный, от людей разных типов и возрастов:

– Как, Вы – сестра Андрея Ивановича Цветаева? Родная сестра? Тот же отец? Это был удивительный человек, брат Ваш!

И в разных вариантах следовал тот же рассказ:

– Какой специалист! Его вызывали в тех случаях, когда нельзя было атрибутировать картину. И не было случая, чтобы он не «опознал» её, не установил автора. Следовал рассказ о расположении комнат Госторга, где это происходило, и об особой комнатке, где ставили таинственную картину, – «А мы следили сзади, заглядывая в стеклянную дверь.

Вот войдёт Андрей Иванович – он всегда просил оставить его наедине с картиной, это уж все знали, никто ему не мешал никогда. Вот он сядет и долго-долго смотрит. Не двигаясь. Потом встанет, подойдёт к картине совсем близко-близко. Отойдёт, снова сядет – и думает. Иногда подойдёт к столу, где книги, что-то проверит – и снова сидит, смотрит… Затем встаёт, выходит и идёт к нашему старшему – и не раз мы слышали в ответ на его утверждение, что эта картина такого-то художника. «Андрей Иванович, что Вы!? Это же не тот век… Фактура не

та!» – Он никогда не возражал, не спорил. Говорил: «Потом узнаете… Не буду спорить!» И уезжал.

И не было случая, чтобы Ваш брат ошибся…

И мои улыбки – в ответ…

А ещё я узнала недавно, что брат Андрей писал стихи. И в 1911 году их опубликовал, подборку в альманахе «Шмель», через год после первого Мариниого сборника. И ничего нам не сказал!..

Мне достали этот альманах, и я закончу эти воспоминания – его стихами, напечатанными в его 21 год.

ВАЛЬС

Вальс рыдает однозвучный,
Сердцу грустно, тяжело;
Вечер длинный, вечер скучный
Тянет тени сквозь стекло.

И костлявыми перстами
Ветви голые стучат,
Словно плачется над нами
Осень, полная утрат.

В жёлтых каплях листопада
Ты мечты свои сокрой, –
Смерть витает в тайнах сада,
Свищет ветер ледяной.

Опустевшая куртина,
Позабытая любовь:
В прошлом пурпур георгина
Не вернётся страстью вновь.

В прошлом солнце огневое
И томление весны.
Прожитое, забытое –
Признак счастья, только сны.

Только сны, – а ночь темнее
Западает сквозь окно;
Ветер в пляске чародея
Закрутил веретено.

МЕЧТЫ

Далекие мечты, вы те же облака,
Безвечно странники в лазури небосклона,
Чьи белые сердца не знают неги лона, –
В просторах даль бездонно глубока…

Над, тенью гор, в высотах снежных,
Не с вами ли блуждал поэта скорбный взор,
И пела грусть в душе, где дня немой укор
Томил порыв стиха тоской его безбрежной.

И плакала струна у черной тайны мира,
В ней сказки две, а жизнь всегда одна,
Как хрупкая ладья у рокового дна,
Над морем бездн, где вечности порфира.

Не ваш ли аромат вдыхают безмятежно
Плененные сердца любовью неземной,
И ангел грез уносит в мир иной
К забвенью красоты, крылом лаская нежно!…

Тем путникам мечты у отреченья скал
Спадут завесы гибкие покровы:
И миги дней, забьют лучами новы
У трепета зари, где зиждет идеал.

МАЯТНИК ВРЕМЕНИ

День приносит, день уносит,
За мечтами вьет мечты;
Сердце ищет, сердце просит
Поднебесной высоты.

Над путями, над веками
Неустанный звон часов
Правит нами, давит снами
Ржавым скрежетом оков.

Жизнь сомненье: за тенями

Может вспыхнет алый свет!…
Но напрасно – трепет рдяный
Не шепнет душе ответ.

Не шепнет, – загаснут дали,
Сблекнет огненный костер.
Искры пепел только стали
И пожар – один укор.

Искры пепел, и не то,
За закатом холод ночи…
Мраком пламя залито, –
Снова пламя ищут очи…

Цепь безвечна, бесконечна, –
Нам не ведать суждено
Песни ширь, что плещет вечно,
В светозарное окно.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОТЦЕ, ПРОФЕССОРЕ И.В.ЦВЕТАЕВЕ

Кто из москвичей, а также из приезжающих в Москву не знает мраморного здания на Волхонке с большим рядом колонн по фасаду – Музей изобразительных искусств? Несчётные тысячи посетителей проходят по его залам. Но мало кто знает необычайную судьбу возникновения этого Музея, столь отличную от истории других музеев Москвы. Слева от входных дверей входящий видит на стене медальон с портретом архитектора Р.И. Клейна. Справа – такой же медальон с изображением профиля основателя и надпись под ним: Иван Владимирович Цветаев (1847-1913).

О жизни этого замечательного человека и о том, как он пришёл к идее создания такого Музея, я, его дочь, постараюсь сказать возможно более кратко.

Родом из небогатой семьи, отличавшейся трудолюбием, он в 29 лет уже был профессором.

Начал учёную карьеру с диссертации на латинском языке о древне-итальянском народе осках. Молодой учёный пешком исходил Италию и на коленях излазил землю вокруг древних памятников и могил,

списывая, а потом – расшифровывая и толкуя древние письмена. Этот труд дал ему европейскую известность. Российская Академия присудила ему премию «За учёный труд на пользу и славу отечества». Болонский университет в своей 800-летний юбилей удостоил отца докторской степени[1)]. Погружение в классическую филологию, работа с памятниками древности и музеи Европы пробудили в отце интерес к истории искусств. В 1888 г. он возглавил кафедру изящных искусств Московского университета.

Будучи поборником женского образования, он читал лекции и на Высших женских курсах. В эти годы возник его замысел основать Музей копий шедевров мировой скульптуры для нужд студентов. Здесь, как и в филологическом изучении, его трудолюбию не было конца. Московский университет давно мечтал о собрании таких копий при Кабинете Изящных Искусств. Проект такого музея был встречен холодно, многие сомневались в возможности его создания, мало кто верил в его успех. Финансировать такое грандиозное дело университет был не в силах. Отец обратился к широким слоям общественности, к частной благотворительности. В комитет по созданию музея вошли, кроме представителей аристократии и купечества, художники В.Д. Поленов, В.М. Васнецов, А.В. Жуковский, архитектор Р.И. Клейн. Первый денежный дар Музею был передан ему старой москвичкой В.А. Алексеевой.

Царское правительство помогло: дало для Музея площадь бывшего Колымажного двора, где помещалась старая пересыльная тюрьма.

В 1894 г. отец доложил на съезде Общества любителей словесности о проекте здания Нового Музея, Академия наук объявила конкурс на проект здания.

Уступчивый и нетребовательный в жизни отец проявлял невиданную настойчивость в преодолении препятствий на пути к созданию задуманного – такого и в Европе не имелось, – Музея, а препятствий было много. Но увлечённость отца увлекала других, сила убеждённости его заражала.

Помню я его седеющим, слегка сутулым, в узеньких золотых очках. Простое русское лицо с крупными чертами; небольшая редкая бородка, кустившаяся вокруг подбородка. Глаза – большие, добрые, карие, близорукие, казавшиеся меньше через стёкла очков.

Сколько помню себя, вечерами всё детство моё отец сидел в кабинете, погружённый в работу. Заграничную его переписку по делам

[1)] А в 1948 г., 35 лет спустя смерти отца Министерство Народного Просвещения Италии за научные труды в области исследования италийских древностей наградило покойного Ивана Цветаева почётной медалью.

Музея вела мать. Полуседая уже голова папы склонялась над бумагами, блестели очки. Рука быстро выводила, каждую отдельно, чернильные буковки своеобразного, типа славянской вязи, почерка.

Не всегда встречал отец среди москвичей внимание к идее Нового московского Музея. Порой наоборот, наталкивался на равнодушие и невежество. В один из таких дней в 1898 г., после бесплодных разговоров о Музее с некоторыми представителями купечества, он писал с горечью: «Проедают и пропивают чудовищные деньги, а на цель просветительную жаль и 5-тиалтынного». „Носороги и носорожицы из купечества“ не идут к нам. Так пусть же детки Китов Китычей смотрят на церемонию закладки, напившись допьяну с досады, или фрондируют, уехавши от стыда на этот день из Москвы».

Но не все были безучастны. Нам известны такие имена, как создатель сокровищницы русской культуры, картинной галереи – Третьяков. Имя Мамонтова неразрывно связано с русским оперным театром. Большой вклад в дело развития русской культуры внесли купцы: Щукин, Морозов, Бахрушин, Солдатенков.

Но есть одно имя, мало кому известное, несправедливо забытое, которое нельзя не назвать, говоря о создании Московского Музея Изящных Искусств. Это имя – Ю.С. Нечаев-Мальцев, владелец знаменитых заводов хрусталя в Гусь-Хрустальном. Образованный человек, окончивший Московский государственный университет, знавший иностранные языки, отлично разбиравшийся в искусстве, он не только был главной финансовой опорой и основным жертвователем, на средства которого создавался Музей, – но и ближайшим советником отца. Письма, чуть ли не ежедневные, Цветаева к Нечаеву-Мальцеву в течение многих лет являются историей Музея.

Приведу несколько характерных выдержек из этих писем-отчётов отца Нечаеву-Мальцеву и архитектору Музея Р.И. Клейну.

Под Златоустом были открыты ломки мрамора. В 1900 г. среди образцов был выбран для облицовки стен лестницы светло-зеленоватый камень с золотистыми жилками. – «Такая лестница будет первая в России в наше время, – писал отец, – и материал для неё должен быть русским. Он дёшев и прямо великолепен по своему достоинству и цвету».

В 1901 г. отец пишет Клейну: «Думайте крепкую думу, как заполучить цветной мрамор для колоннады лестницы – на Урале говорят, что светло-дымчатой „яшмы“ для блоков лестницы они добудут».

В 1902 г. идут письма от поверенного с Урала о тяжёлых условиях труда, о борьбе с холодами и вьюгами. По указаниям одного местного рабочего нашли залежи мрамора большими массами в нескольких десятках вёрст от главных ломок. В том же году отец с матерью сами

поехали на ломки. «Мы из Нижнего на большом волжском пароходе до Сызрани, – писал отец, – плыли мимо берегов ныне незапамятно многоводной Волги – трое суток. После Самары поехали сибирским путём до Уфы, потом мало-помалу стали вдаваться в долины Урала». Приехав, наконец, они тотчас же отправились на каменоломни, окружённые горами ослепительно белых отвалов. Вековечное безмолвие гор сменилось кипучей жизнью мастерских, кузниц, кладовых. Как волшебством явившиеся новые постройки – конторы, конюшни, сараи, кладовые… Вагонетки сновали по горной железной дороге, впервые здесь проложенной; множество рабочих работало тут: великорусы, башкиры…

Когда родители вернулись с Урала, рассказами, как горными сокровищами, наполнялся скромный домик тарусской дачи. Словно эхо уральских гор прокатилось по тихому лесному домику. Мы слушали, как в диких горах, в дремучих хвойных лесах засверкал целый мраморный город многих каменоломен. На Волхонке, на голой площади бывшего Колымажного двора мы смотрели на глыбы белого и серого мрамора, подбирали маленькие сверкавшие кусочки. Они горели, как звёздное небо.

Осенью того же года было решено запросить из Тироля образцы тирольского мрамора. Тирольцы ручались за его стойкость и прочность в условиях русской зимы. Для колонн по бокам внутренней лестницы остановились на цветных монолитах из Норвегии. Пустая площадь Колымажного двора наполнилась разноцветным мрамором. Случалось, дроги под непомерной тяжестью ломались. Мрамор ночевал на улице – один камень застрял на Знаменке, другой – на Арбате. Везли мрамор огромные битюги, впряжённые в две тройки.

Уже в 1902 году начались заботы и о внутренней росписи Музея. Художник Рейман взялся за копии классической живописи с подменных образцов Рима, Помпеи и Геркулакума, с древней живописи Этрусских гробниц. Поленов увлёкся планом дать виды Египта, Палестины, Греции и Италии. «Для сцен по истории художественного труда Поленов надеялся залучить Васнецова, Репина, Серова, – пишет отец. – О росписи Музея лучшими силами России я пишу Нечаеву-Мальцеву. Финансировать эту экспедицию в составе 3-4 человек взял на себя всё тот же Нечаев-Мальцев».

Деятельность по устройству Музея усиленно развивалась, кроме Урала и Норвегии, ещё в Лондоне и в Афинах, в Германии, Франции и Италии. Главная работа лежала на отце. После часов его службы в Румянцевском музее, где он уже много лет директорствовал, после лекций, научных заседаний, в дне не хватало часов, наступало время многообразных забот о строящемся Музее, и он работал ночами. Он

надорвался, пришлось лечь в клинику. Но и там, вопреки запретам врачей, он работал.

Во всей сложной деятельности основания Нового Музея самым первым помощником отца была наша мать. Вот как писал о ней отец уже после неё в докладной записке Комитету Музея в 1908 году:

«С редким совершенством владея четырьмя иностранными языками, превосходная переводчица лучших беллетристов Италии, Германии, Франции, отличная пианистка и большая любительница палитры, Мария Александровна Цветаева, урождённая Мейн, горячо отдалась делу создания Музея. Не один раз ездила она в художественные центры Западной Европы, принимая участие в разработке требований для нового Музея и в собирании памятников искусства для наших коллекций. Область классической скульптуры она знала, как, может быть, немногие женщины в нашем отечестве: она вела в течение целого ряда лет дневники и записи по Музеям. В Альбертинуме, знаменитом музее Дрездена, она нарисовала первый план московского Музея».

Увы, осенью 1902 г. мать тяжело заболела, и её увезли на лечение в Италию. Она отказалась ехать без нас с Мариной, и мы поехали с нею. В Италии ей стало лучше, врачи советовали ей жить там, но, связанная с Московским Музеем, она не согласилась с ними и стала медленно двигаться назад через Швейцарию, Южную Германию, в Крым. Все года её лечения мы, её дочери, жили в возможной близости от неё. Помню, как летом в Шварцвальде мы вчетвером выходили на прогулку по хвойному лесу. Опираясь о папину руку, идёт мама, как года назад в Тарусе, и папин голос мерно рассказывает ей о Музее, о том, кто и как помогает ему в труде его созидания, о планах, надеждах. Мы идём по их сторонам, слушая, нагибаясь за шишкой, за веткой, иногда бежим вперёд и идём им навстречу, на миг оторвавшись от разговора их о Музее – и снова идём и слушаем, как растёт наш мраморный брат.

Когда в 1905 г. в одну из зимних ночей маминого тяжёлого рецидива болезни во Фрейбурге вызванный из России отец не отходил от неё, в руки его передали телеграмму: «Горит Музей».

Кто, в безумье смятения, увидав пламя над Музеем, послал такую телеграмму через пространство, равное в то время трём дням пути? Несколько дней длилась неизвестность. Выехать в Москву отец не мог из-за болезни жены.

Много лет спустя, держа в руках архивный материал Музея, я прочла в письме отца к архитектору Музея Р.И.Клейну:

«… Письма, полученные на рассвете, были прочитаны с перерывами от слёз, наконец, совсем лишивших меня возможности видеть строки. Но с завтрашнего дня надо взять себя и своё горе в руки. Как и что делать впредь хотя бы для частичного возвращения погибшего, теперь

не придумать». «…Столько чудных вещей погибло, достать которые стоило столько трудов, хлопот, времени, средств… О постигшем нас несчастьи я написал поставщикам гипсов в Рим, Флоренцию и Париж. К счастью, позднее выяснилось, что урон, нанесённый Музею пожаром, оказался меньше, чем сочли сначала.

Мать увезли в санаторий, отец вернулся в Москву, а летом вновь приехал к нам. Теперь мы уже втроём с ним выходили на прогулку. В наступающей тишине какая-нибудь из нас (Марина старше и зорче), чтобы прервать молчание и соединиться с папой, задаёт вопрос – о музее. И точно только его и было надо назвать, папин рассказ о любимом прочной и доброй крышей протягивается над нами. Слушали о последних шагах, о новых коллекциях, о распланировке зал, о целом сонме будущих стеклянных крыш над музеем мы проходим остающиеся километры нашего похода-прогулки, благодарные за тепло, захваченные страстной увлечённостью делом, в которое мы, по эоловому существу своей природы, проваливаемся бездумно, как в детстве.

– Опыт, дети, показал и то, что учиться приходится не только у специалистов и высшей администрации. Старый музейский служитель может быть иногда отличным пособником в нашем деле. Один такой случай был со мною во Фрейбурге-Баденском, вашем, где вы эту зиму учились, другой – в Наумбурге.

Ваш город Фрейбург славен, главным образом, своим собором XIII века, – продолжал отец, – я зашёл в один магазин религиозных изваяний, чтобы спросить, нет ли там копий со старинных образцов собора. Но был час обеда, никого в конторе я не нашёл и вступил в беседу со старым седым слугой этого учреждения. Он разъяснил мне, что контора мне не поможет в моих поисках и дал мне адрес нужного мне завода. Вот и вы, дети, никогда не пренебрегайте ниже вас стоящими по образованию. Через год, в 1906-м году отец лишился своего главного помощника и друга, нашей матери, а несколько недель спустя с ним случился удар. Но в клинике он не вылежал нужного срока, работа требовала его присутствия. Мучили отца долги Музея. Плату служителям, дворникам, конторщикам взяли на себя Клейн, Рерберг и отец. Музей задолжал парижским формовщикам. Средств не было. Отцу пришлось принять платёж на себя. «Из детских денег», как он звал свой профессорский заработок, много раз уплачивал он за шедшие из-за границы на его имя гипсы и бронзу, когда не хватало в кассе Музея средств.

В те годы жизнь распадалась на различные потоки, шедшие местами параллельно, местами пересекавшиеся и вновь сливавшиеся по пути к тем же целям развития культуры, как не сходными между собой казались эти потоки. И в то время как отец был целиком поглощён со-

зиданием русского Музея, дети его искали себе деятельности на новых путях России.

Вот что запомнилось мне, тогда ещё ребёнку, из отцовского дома. У папы до глубокой ночи на его большом столе, заваленном бумагами, горели две свечи под абажурами, и виднелась его согнутая фигура над столом. И, как годы спустя, всегда тот же ответ, когда вдруг, охваченный жалостью к нему, бьющемуся над Музеем года и годы, спросишь, прощаясь на ночь:

– Папа, что ты делаешь?

– Учусь, голубка.

Ночь.

После мамы я жила в каком-то анабиозе; от рождения не разлучавшаяся с Мариной, я теперь, как факт, вне нас лежащий, приняла то, что только субботу и воскресенье вижу её. Гимназия фон Дервиз была одна из самых консервативных, и Марина там не ужилась. В 1967 году я спросила через знакомых Ирину Мохову, что она помнит о Маринином исключении из гимназии. Вот что она сказала: «Марина была бунтарь. Начальство боялось её влияния на соучениц, так как все считали её выдающейся. Она была в гимназии нежелательна из-за своей революционности. От увлечения отроческими романтическими героями она сразу перешла на революционную литературу, она просто дышала революцией. Начальство было счастливо, когда от неё избавилось».

Странная была юношеская жизнь брата Андрея. Он бы мог казаться угрюмым и нелюдимым и угрюмость в нём, конечно, была. Но, видно, и его затронула революционная пора; он иногда вместе с Мариной уходил куда-то, мне объясняли, что ушли они «на собрание».

…Стол, освещённый керосиновой лампой, с круглым, простым, из зелёного картона абажуром, и лицо старшей сестры Лёры, наклонённое над её занятием. Она выжигает по дереву: разрезательные ножи, рамки, шкатулки. Деньги от их продажи пойдут на революционную организацию. Рассматриваю тёмно-золотистые узоры и тонкой загорелой линией выведенные слова. Как с более поздним временем слито слово «лозунг», так было слито с тем временем революционных зорь слово «девиз». Из-под иглы на шнуре, шедшей к выжигательному прибору, выгорали огненным ручейком слова девизов, строки из «Песни о Соколе» Горького, из его «Буревестника», из «Размышлений у парадного подъезда» Некрасова. Лёра, кроме своей основной работы, преподавала в воскресной школе. Возле Лёры помню смутно её подруг и каких-то мужчин с пышными волосами, в русских рубашках – тип революционной молодёжи того времени. Звали они друг друга «товарищ», говорили о каких-то собраниях. Всё это зажигало Марину. Помню себя идущей

с Лёрой по холмам от Тарусы к даче. «Но разве непременно *должен* думать Эдисон о политике? – говорю я. – Он просто занят своими открытиями, наукой!.. – Мой тон упрям. – «Не так просто, как ты думаешь, – отвечает Лёра, – каждое открытие делается для кого-то, а не просто так, чем должны все пользоваться, а если исследователь работает только для богатых людей, не думает о том, что плоды труда его должны принадлежать народу… Ведь вот папа создаёт музей для того, чтобы *каждый* мог там учиться!..

А вот как вспоминает о Музее в нашем детстве Марина: «…Город Таруса Калужской губернии. Дача «Песочная». Старый брошенный дом исчезнувшего имения, пошедший под «дачу». В двух верстах от Тарусы, совсем одна, в лесу, на высоком берегу Оки, с такими берёзами… Осень.

Папа и мама уехали на Урал за мрамором для музея. Малолетняя Ася – бонне: «Августа Ивановна, а что такое – музей?» «Это такой дом, где будут разный рыб и змей, засушенный». – «Зачем?» – «Чтоб студент мог учить». Пишем папе и маме письма, пишу – я, неграмотная Ася рисует музеи и Уралы, на каждом Урале – по музею. – «А вот ещё Урал, а вот ещё Урал, а вот ещё Урал, – и, заведя от рвения язык почти за край щеки: – «А вот ещё музей, а вот ещё музей, а вот ещё музей…» Я же, тоже с высунутым языком, честно и мощно вывожу: «Нашли ли мрамор для музея и крепкий ли? У нас в Тарусе тоже есть мрамор, только не крепкий…»

В одно прекрасное утро вся дача Песочная заполняется кусками белого, чуть серого, чуть мерцающего камня. Это-то и есть мрамор для музея.

———

Одно из первых моих впечатлений о музее – закладка. *Слово* – закладка, вошедшее в нашу жизнь, как многие другие слова, и утвердившееся в ней самостоятельно, вне смыслового наполнения, либо с иносмысловыми. Мама и Лёра шьют платья к закладке. Дедушка[2)] приедет на закладку из Карлсбада; дай Бог, чтоб в день закладки была хорошая погода. В конце-концов кто-то из нас (не я, всегда отличавшаяся *обратным* любознательности, то есть абсолютным фатализмом). – «Мама, а что такое закладка?» – «Будет молебен, потом Государь положит под камень монету, и музей будет заложен» – «А зачем монету?» – «На счастье» – «А потом её опять возьмёт?» – «Нет, оставит…» На закладку нас, конечно, не взяли, но день был сияющий, мама и Лёра поехали нарядные.

[2)] А.Д.Мейн, отец нашей матери, один из первых жертвователей на Музей. *АЦ.*

Музей был заложен. Отец же три дня подряд напевал свой единственный за жизнь мотив: три первых такта какой-то арии Верди, когда-то исполняемой его первой женой – певицей, В.Д. Иловайской.

Первое моё видение музея – леса. По лесам – как птицы по жердям, как козы по уступам, в полной свободе, высоте, пустоте, в полном сне.

Мы с Леей впереди, взрослые – отец, мать, архитектор Клейн, ещё какие-то господа – следом. Спокойно-радостный, повествующий голос отца: «Здесь будет это, тут встанет то-то, отсюда – туда-то…» (Это «то-то», «туда-то» – где это отец всё видит? А как ясно видит, даже рукой показывает!). Внизу, сквозь переплёты перекладки – чёрная земля, вверху, сквозь те же переплёты – голубое небо, Кажется, отсюда так легко упасть наверх, как вниз. Музейные леса. Мой первый отрыв от земли.

А вот другое видение. Во дворе будущего Музея в самый мороз весёлые черноокие люди перекатывают огромные, выше себя ростом, квадраты мрамора, похожие на гигантские куски сахара, под раскатистую речь, сплошь на «р», крупную и громкую, как тот же мрамор. – «А это итальянцы, они приехали из Италии, чтобы строить музей. Скажи им: « „Buon giorno! Come sta ?“[3])»

В ответ на привет – зубы, белей всех сахаров и мраморов в живой оправе благодарнейшей из улыбок.

Слово «Музей» мы, дети, неизменно слышали в окружении имён: Нечаев-Мальцев, Роман Иванович Клейн и ещё Гусь-Хрустальный. Архитектор Клейн – понятно (он же строил Дорогомиловский мост через Москву-реку), но Нечаева-Мальцева и Гуся-Хрустального нужно объяснить. Нечаев-Мальцев был крупнейший хрусталезаводчик в городе Гусь, потому и ставшем Хрустальным. Не знаю, почему: из непосредственной ли любви к искусству или просто «для души» и даже для её спасения (сознание *неправды* денег в русской душе невытравимо), – во всяком случае, под неустанным и страстным воздействием моего отца (можно сказать, что отец Мальцева обрабатывал, как те итальянцы – мрамор), Нечаев-Мальцев стал главным, широко говоря, единственным жертвователем музея, таким же его физическим создателем, как отец – духовным. (Даже такая шутка по Москве ходила: «Цветаев-Мальцев»).

Нечаев-Мальцев в Москве не жил, и мы в раннем детстве его никогда не видели, зато постоянно слышали. Для нас Нечаев-Мальцев был почти что обиходом. – Телеграмма от Нечаева-Мальцева. – Завтракать с Нечаевым-Мальцевым. – Ехать к Нечаеву-Мальцеву в Петербург. Поч-

---

[3]) Доброе утро, как поживаете? *(итал.).*

ти что обиходом и немножко канитферштайном[4)], которого, прибавлю в скобках, ни один ребёнок, к чести детства, не понимает в его настоящем юмористическом смысле, то есть именно в самом настоящем: человеческом (бедный, бедный Канитферштайн).

За какой-то срок до открытия музея в доме прошёл слух, что отцу «за музей» дают «почётного опекуна». Слух подтвердился, и начались разговоры о мундире. – «Шить настоящим золотом, – говорил отец сокрушённо, –и подумать страшно, во что это золото обойдётся…» – «Ничего, папа, не поделаешь! Дали опекуна – давай мундир!» – «Я не против мундира, но есть мундир и мундир… Зачем мне, старому человеку, золото?» – «Папа, это – форма!» – «Знаю, знаю, но когда подумаешь, что на этот мундир такого же, как я когда-то, босоногого, – в Рим отправить можно… Семьсот целковых! (и, уже с улыбкой) – Да весь опекун того не стоит!». Мундир, конечно, был сшит. Был в нашем зале впервые надет и обозрён. Чудесный, древесный, весь в каких-то веточках. – «Папа, не огорчайся! Ведь это же для музея!» (С доброй улыбкой, но всё же со вздохом) – «Вот, разве уж для музея?!..»

Близилось к завершению дело воплощения и роста нашего «колоссального младшего брата». И вот в это время другие, враждебные культуре силы встали на пути отца, в обстановке чудовищной несправедливости отнимая остатки сил отца, так нужных ему, уже старому, больному, переутомлённому, чтобы довести Музей до конца.

В Румянцевском Музее, где отец служил уже третье десятилетие, из которых около полутора десятка лет был его директором, в январе 1909 года произошло следующее: в антикварной лавке были обнаружены гравюры, принадлежавшие Румянцевскому Музею. Следствие установило, что следы ведут к некоему Кознову. Знакомый хранителя Румянцевского музея Щурова Кознов сумел вынести из особого зала для чтения, куда пускали доверенных читателей, ценные гравюры – и продать их!

Несмотря на то, что папа, как директор, добился возврата почти трёх четвертей похищенного, вокруг имени папы поднялась травля.

За созывом экстренного Совета музеев последовало донесение министру и систематическое осведомление о ходе расследования. Министром просвещения был Александр Николаевич Шварц. И папа, и он были когда-то студентами в одно и то же время. Поднявшись на ми-

---

[4)] Канитферштайн – «Не могу понять» *(нидерландск.)* – это не слово, а целая фраза: «kan niet verstaan» («кан нит верстан»). Это значит: «не могу понять», «не понимаю» Фраза принятая не знающим нидерландского языка иностранцем за имя собственное определенного человека, который просто не понял обращенного к нему вопроса о его имени. (Указано И.С.Силецкой. – *Ред.)*

нистерский пост благодаря светским связям и, возможно, не имея еще тогда некоторых из своих учёных степеней, Шварц, скорее всего, завидовал отцу. Быть может, не мог забыть, что студент Цветаев помог продвижению подписного листа «на бедность» студенту Шварцу. Министр Шварц принялся преследовать профессора Цветаева со рвением. Отец вёл себя с большим достоинством и мужеством, но тяжко переживал клевету.

Всё время, в течение которого продолжалась безобразная ревизия, на каждом шагу полная несправедливых обвинений и лжи, папа приходил домой ещё позднее обычного, обессиленный, и с горечью рассказывал нам о новых огорчениях и о своих попытках к вынужденной самозащите.

По окончании ревизии министр Шварц прислал папе недопустимого тона приказ, где приказывал в 3-х-дневный срок подать в отставку. Папа, скромный труженик, приказу не подчинился, в отставку не подал и разослал в соответствующие инстанции (из них помню – Сенат) свой печатный ответ на неверное обвинение.

Летом 1909 года продолжалась папина переписка с министерством. Шварц требовал подачи папы в отставку и увольнения хранителя Музея Щурова с отдачей его под суд[5)].

17 декабря 1909 года было издано постановление 1-го Департамента Сената, признающее рапорт министра не дающим оснований для увольнения директора и тем восстанавливающее его доброе имя.

Этого не ожидал Шварц.

Как мы радовались в те дни!..

Однако старик Нечаев-Мальцев телеграфировал папе (когда все его поздравляли)!

«Победа не победа, а добрый урок быть осторожнее».

Но в начале 1910 года была Шварцем прислана новая ревизия под начальством некоего Спешкова. С нею были связаны доносы двух служащих Румянцевского музея – Долгова и Янчука, бросившихся ловить рыбу в мутной воде. (Долгов был недоволен тем, что за леность был понижен в должности).

Сенат, прочтя вновь мотивированную самозащиту отца, возвратил министру дело за недостаточностью обвинения. Но 13 июня 1910 года отец по высочайшему повелению был уволен от службы по должности Директора Московского Публичного и Румянцевского музеев…

Только в конце ноября 1910 года закончил подготовку к изданию книги, получившей название «Спорные вопросы», которую папа послал в Министерство просвещения, в Сенат и видным деятелям культуры.

[5)] Позже Щуров был оправдан (по суду), хотя и уволен от должности.

В 1911 г. ушёл в отставку министр Шварц, и в 1911-м же году папа издал дополнительную к Спорным вопросам брошюру «Дело бывшего министра народного просвещения А.Н.Шварца и директора Румянцевского музея заслуженного профессора И.В.Цветаева».

Вот выдержки из письма папы к Р.И. Клейну:

19 декабря 1909 г.

«Да, я как-то совершенно нежданно сделался предметом злобы, клевет и всяческого преследования со стороны лиц не высокой нравственной пробы, начиная от голодного газетного репортёра и до министра Шварца, дружелюбно протянувшего первому свою властную десницу… Вы ни на минуту не сомневались в отсутствии моих действительных вин, кроме недостатка мужества, чтобы вышвырнуть на улицу нравственных пошляков из казённой квартиры Румянцевского музея. Этого мужества у меня, действительно, не было и нет…»

Из письма Ив. Вл. Цветаева к Р.И.Клейну от 21 июня 1911 г.

Я, впервые в истории Румянцевского музея, ввёл в практику ежедневную службу директора в самом здании, являясь туда наравне с другими служащими.

А меня Шварц, не бывавший в Румянцевском музее за все 28 лет моей тамошней службы ни разу, – писал отец, – обвиняет в служебном абсентеизме: Вы-де в Музее не бываете месяцами, проводя время в Вашем поместье в Тарусе… В Тарусе у меня такое же поместье, как и в Китайской империи. Живал я в Тарусе на крошечной наёмной дачке, за которую платил 90 руб. в лето.

Прислали из Министерства народного просвещения ко мне ревизором несчастного алкоголика князя Чагодаева-Татарского, который, не видавши собственноручно писаного мною большого каталога, обвинил меня перед Шварцем, а Шварц – перед Сенатом в том, что гравюры Музея не имеют инвентаря и описей… Чтобы доказать ложь такого обвинения, я вынужден был *фотографировать* мой почерк этой рукописи.

Мой знакомый, некий Баранов, принёс в дар новому Музею скрипку Страдивариуса; я, по непригодности этого дара для нашего Музея скульптуры с письменного разрешения самого дарителя передал по всей форме этот музыкальный инструмент в Московскую консерваторию. А меня ревизор подверг допросу, как я посмел отдать эту скрипку, пожертвованную Румянцевскому музею (!).

В этом роде и все другие обвинения, с которыми Шварц выступил перед Сенатом. Я удалён от должности директора Музея, без всякого внимания к 28-летней моей там службе, принёсшей *миллионные* по-

жертвования Музею библиотеками, картинными галереями, коллекциями этнографическими, нумизматическими, гравюрными и деньгами. Я удалён „за бездействие власти".

Моё материальное положение и обида остаются невознаграждёнными. Я разорён, я удалён от должности без пенсии.

Говорят: „За царём служба не пропадёт". Что я скажу по этому поводу своим детям?..»

Через год, 3 сентября 1911 г., отец писал Р. Клейну:

«…Я вынужден был лечь в клинику, где лечат меня от *слабости сердца* и запрещают спускаться из моего этажа в другой. Уходили, укатали Сивку крутые горки. Ничего нет мудрёного, что после 2-х-летних Шварцевских преследований, после переходов зал и лестниц стольких музеев, галерей и дворцов *сердце ослабело*. Не знавши в жизни, кроме двух раз, лечений, я ощутил, что мне нужно держаться при ходьбе стен домов, и мне приходится садиться на бульварах, чтобы не упасть».

В то самое время, как папа мужественно нёс на своих плечах клевету и всё новые и новые оскорбления поверившей клевете прессы, он, встречаясь с нами за завтраком и обедом, радостно рассказывал нам о возможном в верхах решении передать египетскую коллекцию В.С. Голенищева – свыше 6000 предметов оригиналов – Московскому Музею изящных искусств, а не Петербургу. Он рассказывал нам об этих униках, описывая их любовно, волнуясь о том, как они будут доставлены (в 225 ящиках!), тревожась об упаковке.

Мы знали, что она была переведена на хранение в Эрмитаж. И теперь шёл вопрос о том, куда же будет она передана – в какое-нибудь хранилище Петербурга – или в Новый московский Музей. Как волновался папа о том, что ввиду не готовых ещё к приёму такой драгоценности запасных зал, из-за недостаточного штата охраны – Музею откажут, как он старался преодолеть эти помехи, как бился над ускорением работ.

Подавив в себе чувства печали и негодования, он даже на самое короткое время не прерывал своего труда по созданию Нового Музея! Полученный удар не сделал его ни разочарованным в служении просвещению, ни озлобленным. Деловито и самоотверженно продолжал он работать день за днём, как пчела, собирая мёд в соты, отдавая делу последние свои силы. В середине лета 1910 года, получив вопиющую по несправедливости отставку, он выезжает в научную командировку за границу для пополнения Нового Музея. Неутомимо и увлечённо

трудится он в музеях Берлина и Дрездена, затем уединяется в глухой деревушке для работы. И он ещё находит в себе силы взять нас с собой на пешеходную многодневную экскурсию по горным дорогам Саксонской Швейцарии, чтобы и мы полюбовались тамошней живописной природой.

Открытие папиного Музея близилось. Папе всё больше было работы. Он заметно старел. Кажется, в том году он перестал носить бороду, и его незнакомый подбородок, бритый, до того скрытый его небольшой, негустой, чуть ширившей лицо бородой, казался незнаком и делал его старше. Усы белели. Лоб, высокий, широкий, переходивший в лысину, покрывался морщинами. Поздние сидения за письменным столом, всё усложнявшаяся и накоплявшаяся работа и страдание, пережитое во время травли, устроенной ему министром Шварцем, не прошли даром.

Иногда, глядя на него, тревогой сжималось сердце: что, если не вынесет папино постарение предстоящего ещё труда? Что, если он не доживёт до открытия Музея?

И папа дожил до открытия Музея: оно состоялось 31 мая 1912 года.

Я помню наш дом в Трёхпрудном, залитый солнцем после музейного торжества и подарок Марины папе: заказанную ею к дню открытия золотую медаль с силуэтом Музея и надписью на обороте: 31 мая 1912. И мой подарок папе – огромный букет роз. «Такого он не получал никогда»… – радостно думаю я, протягивая папе розы.

И льнут к этому дню слова, им сказанные, прочтённые мною в его биографии, превосходно написанной моей сестрой Лёрой – Валерией Ивановной Цветаевой. Вспоминая двух спутниц своей жизни, одну за другой уведённых ранней смертью, – «Семейная жизнь мне не удалась», – сказал он, – зато удалось служение Родине…»

И я радуюсь, что есть фотография, где после шума торжеств папа и Нечаев-Мальцев снялись на ступенях Музея. «Дух Музея и тело Музея», как кто-то назвал их.

Конец августа 1913 г. Москва, наш дом. Спальня. Папа лежит. Его привезли из Клина, где он летом жил в семье знакомого профессора и где с ним сделался приступ грудной жабы.

Лицо палы доброе, сейчас больное, близорукий взгляд от снятых очков. Руки – поверх одеяла.

– Ася, – говорит он тихим голосом (мы в спальне одни), вот я поправлюсь и на зиму поеду в Италию. Там я буду писать мою, вероятно, последнюю книгу об архитектуре древнеримских храмов. Поедем со мной, – ты, крестник и няня. Там ты сможешь отдохнуть, поправиться. Потом займёшься чем-нибудь, что выберешь. Будешь что-нибудь излучать, может быть, заинтересуешься каким-нибудь прикладным худо-

жественным ремеслом… Пока я жив, – продолжает он, потому что я согласно слушаю, – всегда будет у тебя с сыном кров и всё, что надо для жизни. Обдумай, голубка…

И я подхожу и целую папу, застенчиво и благодарно. Мы говорим об Италии.

Это было 28-го августа.

Папа скончался 30-го августа 1913 года.

Ещё дело хотел сделать, написать *последнюю* книгу в жизни. А смерть была за плечом. Не верил ей, в жизнь верил, что она одолеет.

Своей последней книги – не написал.

О СЫНЕ МОЕМ, АНДРЕЕ БОРИСОВИЧЕ ТРУХАЧЕВЕ
(9 авг. ст. ст. 1912 г. – 31 янв. 1993 г.)

(Начато 11 февраля 1993 г.)

Когда в раннем замужестве с Борисом Сергеевичем Трухачевым, на 18-ом году жизни я забеременела, врачи сказали, что необходим аборт: что я еще физически не доразвилась – узок таз, я могу не разродиться. Я отказалась (хотя в доме нашем, отца, в Трехпрудном, висели два портрета женщин, умерших родами: матери моей матери М.А.Мейн, Марии Бернацкой, и матери моего брата Андрея Цветаева, В.Д.Иловайской. И, незадолго прочтя в 16 лет «Войну и мир», помнила смерть молодой княгини Болконской, давшей жизнь Николеньке).

Все это жило в мозгу. А в сердце, под сердцем билось сердечко ребенка – и чувство *жизни* было много сильней памяти смертной. Убить дитя?!..

Я повторила этот отказ в 8 месяцев беременности, когда врачи настаивали на преждевременных родах.

– А что с ребенком тогда?

– В эти случаях мы думаем не о ребенке, а спасаем мать.

– А я думаю о ребенке.

И с Божьей помощью я благополучно родила сына и окрестила Андреем в честь Св.Андрея Первозванного.

– Муж Ваш уже несколько раз приходил – узнавал как Вы – сказали мне.

Моему мужу шел тогда 20-й год.

Андрюша родился в четверть девятого утра, 9 августа ст. стиля 1912 г.

А перед самыми родами Борис читал мне вслух Гоголя. Под страницы его начал рождаться наш сын.

Беременность мою я с Борисом прожила на 1 этаже кирпичного дома в Предтеченском переулке на Пресне, чуть наискось от церкви Св.Иоанна Предтечи (но мы тогда были церковно-неверующими). Прервав чтение, Борис помчался за машиной и повез меня в заранее нанятую комнату в роддоме, учрежденном еще Екатериной Великой (на Садовой, у Кудринской площади). И я осталась одна, в летнюю ночь, с высоким окном, распахнутым в ветви деревьев. Напротив через коридор рожала (7-го ребенка) женщина, у нее был прирост последа, и она очень кричала и вся врачебная помощь была с ней. Я слушала ее крики и говорила себе: – Готовься, береги силы – так и ты будешь кричать. Я ходила по комнате, стонала, останавливаясь при схватках, а когда под утро начались потуги и я не понимала что со мной, я нажала кнопку электрического звонка и не спускала с нее пальца, пока не пришли ко мне. Стонала. Акушерка, осмотрев меня, ахнула: «Батюшки, уже головка виднеется!». Меня уложили, дали мне в руки концы длинного полотенца и врач велел подтягиваться, помогать ребенку – так без моего крика родился мой сын – как и Маринина дочь три недели спустя. Но Марина рожала свою дочь трое суток, а я сына – 9 часов.

Из больницы я переехала в маленький особнячок (флигель большого дома) в Дурновский переулок, ведший к Арбату, возле Собачьей площадки. В этом особнячке было четыре комнаты: налево – Борисова, дальняя направо – большая детская, проходная – моя (за занавеской, с письменным столиком) и тоже проходная столовая (шли подряд). Борис не захотел никакой обстановки, только диван и портрет Достоевского.

Первые два месяца кормила Андрюшу, на нервной почве вдруг пропало молоко, и по ошибке врача, не объяснившего причину и ответившего на вопрос – может ли такое повторяться, ответил – «Да» – я, по недоразумению взяла, как и Марина, кормилицу (у Марины было мало молока). Кормилицы менялись – у одной молоко было слишком жирно, у другой – наоборот, а ко мне молоко вернулось. Но я уже бинтовала грудь, железы болели и я, не понимая, вместо того чтобы разбинтовать грудь и отослать кормилицу, неразумно пожалев ребенка, передала его 3-ей, 4-ой кормилице… Одна опустошила сундук с моим приданым. От страха, что я отдам ее в полицию, у нее пропало молоко, хотя я просила ее не волноваться и простила – и так я, по ряду недоразумений, стала телесно не нужна моему сыну. Он рос на руках пожилой самолюбивой Сони, которая поехала на первой лето со мной в имение Трухачевых, Ярцевку, в Воронежскую губернию, к свекру, уговорили и свекровь (с ним давно расставшуюся), поехать с нами.

Андрюше было 11 месяцев. Он был очень красив. В Воронеже нас увидел старший брат Бориса, Сережа.

– Вы хороши, Вы обворожительны, – сказал он мне. – Но Ваш сын затмил даже Вас!

– Говорят, он очень похож на Вас в детстве, Сергей Сергеевич!

У Андрюши были большие серые глаза, правильный носик, красивый рот. Нравом – своеволен, настойчив.

Лето 1913 года, Андрюше без малого год. Ярцевка, имение моего свекра. Муж мой, Борис и я живем в данном нам флигеле – в 3 комнаты: налево – Бориса, направо – детская (кормилица Соня с Андрюшей), посередине – маленькая, моя – письменный столик и стул. (Сплю у Бориса). Свекор мой, Сергей Николаевич, бывший лицеист и жуир, теперь рассказчик о прошлом (дети его уже давно все слышали, и не слушают, а я с интересом и терпеливо, часами сижу с ним в столовой и слушаю – отлетевшую жизнь, медленно поедая изысканное печенье из – одной за другой – коробок, день за днем ставимых мне на стол.

Утро. Волнуясь, в смущении входит ко мне Сергей Николаевич. Руки полные серебра: – Идут! – говорит он, – видите?

По шоссе идет, близясь к нам, вереница, по две в ряд, женщин в нарядных крестьянских платьях. Передние несут на полотенце каравай хлеба и – отсюда не видно – солонку: хлеб-соль.

Свекор сыплет мне в руки россыпь серебра, зовет Соню. Я беру сына на руки – как хорош! – а процессия уже завернула к нам, подходит к крыльцу, на котором, высоком, стоим. И все это начинает кланяться.

– Мы ваши, а вы – наши… – старинно полупоют женщины. Жадно смотрят на меня и наследника.

Серебро в руки, из рук – хлеб-соль, руки путаются. Улыбаюсь, кланяюсь, церемония кончилась, отплывают.

– Какие красавицы! – говорю я. – Одна лучше другой!

– Страмота! – рапортует мне Соня, – в нашем краю нет такого позору: они же все – крашеные.

Воронежское летнее солнце заливает шоссе, косогорчик, двор, дом. Бориса дома нет. Моя молодость…

Степь. Эта, Борисом и его братом, обожаемая степь. Пустая, как блюдце после Тарусских холмов, рощ и Оки – тоска лютая. Но еще лютее была, поколение назад, тоска свекрови моей, вывезенной свекром из Костромских лесов; из богатейшего купеческого имения с белой и розовой гостиной, в окна которой летом – веют, зимой – стучатся, деревья.

Тут – легкий низкий лесок, близ дома, возле шоссе.

– Ася, – говорит мне Ирина Евгеньевна, – все окна тут мною заплаканные. В первые годы думала – не вынесу. Потом перестала ездить. Мне в квартире на Малой Грузинской – прохладнее, чем здесь… Этим летом только ради *Вас* приехала…

И, должно быть, с улыбкой смотрела на обожаемых сыновей, выходящих в эту степь, им родную (они тут с детства *дома)*, не ведав ее (и моих) мест…

А Андрюша? Он в Ярцевке был всего раз, на руках Сони, осудившей здешних крестьянок. Через год мы с Борисом расстались, – дружно: он бывал у меня, любил сына. А еще через год я встретилась с будущим вторым мужем, Маврикием Александровичем, а Борис – со второй женой, актрисой Марией Ивановной Кузнецовой-Гриневой, с которой я *так* подружилась и которую жарко полюбила Марина, сестра моя. Дочери ее от Бориса я была крестной матерью, и дружили мы с ней до самой ее смерти, – красавица, умница, самая талантливая чтица, мною встреченная, русская *распахнутая* душа… Прожила она с Борисом 5 лет, он умер от сыпного тифа и мы вместе растили их дочь.

Я написала, что в 1913 году я поехала в имение свекра Сергея Николаевича (в Воронеж), примирив с ним его жену (а они давно жили врозь, он – в именьи, она – в своей квартире в Москве), ради меня и внука согласились все съехаться. Но когда мы вечерами с Марусей ходили гулять, была роса в высокой траве, а мы – в длинных платьях, и свекор и свекровь Ирина Евгеньевна (урожденная Клементьева) обрушились на свою дочь за «мокрый хвост». Мое заступничество, что «и я тоже» – не помогло: – «Вы, Ася, – замужняя женщина, я Вам делать замечания не могу, а Маруся – девушка…» – «Но она старше – меня!» Братья Николай и Борис вступились за сестру и мы все уехали из Ярцевки… И, плача, я целовала руки свекру и свекрови, умолявших меня остаться с их обожаемым внуком Андрюшей, но я, плача, отвечала, что раз *муж* (Борис) решил ехать, я должна ехать с ним.

И мы – Борис с братом и я с кормилицей Соней и Андрюшей (ему было меньше году) сняли пустую дешевую дачу в Красково по Казанской железной дороге и поселились там до конца лета под ядовитые причитания Сони: «От своих кур да цесарок уехали, винегретом питаются…»

По пути в Воронеж мы встретились со старшим из братьев Бориса (на 7 лет старше), он, любуясь племянником (он лечился там от зрения) сказал мне: «Вы хороши, Вы обворожительны. Но Ваш сын затмил даже Вас». И, шутя: «Жаль, что Боря не один едет, а то Вы бы могли послать

ему телеграмму: станция такая-то, номера поезда и вагона: „Люблю, тоскую“».

А провожая нас на выезд в Москву, шел рядом с уже чуть двинувшимся вагоном, и, держа руку на открытой раме окна купе, сказал (поезд шел быстро, слова стали громче) «люблю, тоскую»… И наш поезд ушел. Следующая встреча 1914 года, начало войны, Москва, я провожала его, цитировала строки из «Королевских размышлений» – «что жизнь – безнадежна и единственный выход – взорвать землю», но ему были чужды подобные мысли и они разрушали прелесть моей женственности.

Позднее его видела в военной шинели, слабого от сыпного тифа, переходящим из одного госпиталя в другой, след потерялся, он умер.

Но о смерти Маруси (уже замужней в то время), имевшей 3-х летнюю дочь Ниночку, надо сказать особо:

Из города Воронежской области, где жила со своим незаконным мужем, осталась одна с дочкой, потому что он был со своей ротой отозван на войну (взял с собой 15-летнего сына), она, Маруся, поехала в Ярцевку, зная, что ее отец, Сергей Николаевич, лишил ее наследства за ее связь (незаконный брак) с женатым соседом-помещиком. Их знакомство было при мне – мы с ней ехали к ним в гости на легком тарантасике в одну лошадку, и мне *не* понравился этот молодой помещик, а они друг в друга влюбились. Маруся все же *решилась* в безвыходности своего положения подойти к воротам под икону и просить передать ему, что у его ворот стоит его дочь Маруся с ребенком на руках. Он через ключницу Ольгу Михайловну Столярову, о связи его с которой все знали, – добрую женщину передал ей слова – «У меня нет дочери…».

Тогда она пошла в деревню, сняла избу, уже больная сыпным тифом. Узнав, где она, отец (разделив свой последний урожай – шла революция) послал ей одну четверть его, зерном. Его высыпали в угол избы, и баба, ухаживая за Марусей, зачерпывала ведром зерно, за риск заразы… Перед смертью она вызвала к себе единственную культурную женщину – жену своего любовника и отца дочки – и поручила ей незаконную дочку ее мужа. Анна Ивановна (забыла фамилию) – добрая женщина, приняла ребенка. Маруся умерла, а Анна Ивановна воспитала Ниночку. Ниночка звала ее «мамой», как и свою родную мать, которую помнила только одним воспоминанием, что та ее отшлепала за то, что она пудрилась из материнской пуховки, подражая матери, и Марусю она звала «родная мать».

Выросши, Ниночка отыскала в Москве меня и Марию Ивановну Кузнецову-Гриневу, вторую жену Бориса Трухачева. Мы ее устроили на вечерние курсы кончать образование (так как ее сестра в 15 лет пере-

стала ее учить и сделала себе из нее коровницу и служанку), а жить устроили у Екатерины Павловны Херсонской, нашей пожилой приятельницы, работавшей в Музее – помогать по хозяйству.

Потом она вышла замуж за (нашего, кажется, Юру), имела сына, а потом двух девочек – двояшек, очень красивых, но они умерли по пути, куда назначили их отца. И, кажется, след – теряется.

А ключница С.Н.Трухачева, когда он, в революцию всего лишился и лежал в параличе (голова ясная) жила с ним в маленькой комнате в Москве, в Сытинском переулке, там его навещала чаще меня и заботилась о нем Мария Ивановна, и однажды, когда я, занятая, давно не быв у него, навестила – «Да, давно я у Вас не была, – сказала я, но он меня поправил: – «Говно…», не зная как трудно тогда мне с Андрюшей было жить, он счел, что я не выполняла мой долг невестки.

И пришлось ему пережить большое горе, когда к нему пришел его любимый приемный сын его и Ольги Михайловны Столяровой. Сергей Николаевич утверждал, что он не родной его сын. Ольга Михайловна тоже сама говорила, что она уже имела Мишу, встретясь с Сергеем Николаевичем). Но он его растил, учил читать, *очень* любил и хвалил за то, как он хозяйственен, что еще маленький, спрашивал: – «А где наси коловуски?» (за что, считая его притворщиком, его резко не любили сыновья, сравнивая его с Федькой-каторжником и Смердяковым из Достоевского. Выдумывали про него сценки, как он на чердаке только читает санскритские рукописи. И как, встретясь далеко в степи (лет 2-х, 3-х) с Сергеем Сергеевичем (старшим братом моего мужа Бориса) сказал ему – «А Вы, Сергей Сергееевич, лузьецом-то поостоложней, – неловён цяс, выстлилит…» – давая понять, отлично знает, как его не любят старшие братья…

Вот среди чего рос мой Андрюша, обожаемый дедом и бабушкой и любимым дядей Сережей и тетей Марусей. Помню, как она раз, смеясь, сказала – «Скажите Андрюше, что скоро придет зубастая тетка и привезет ему игрушек».

Я сбилась. Начала – и ушла в сторону. Миша Столяров, навещая Сергея Николаевича, в комнате в Сытинском переулке, пришел сказать ему, что, как комсомолец, не может более бывать у него, бывшего помещика… *Какое* горе это причинило ему! Но такова была эпоха… Отняв состояние у человека, сделав фактически нищим, не забывала, кем он когда-то был… Как трудно было моему сыну Андрею расти в ту пору, и какой заряд *благородства* надо было иметь в себе, чтобы нигде, никак не сподличать, даже когда это было необходимо и общепринято. Остаться самим собой!

Сын Андрей в 19 лет, числясь в комсомольской ячейке, один из четырех нес гроб *деда-помещика*. На мое предостережение, не будет ли ему тяжелых последствий, ответил: – «Должен же хоть *один из рода* в этом участвовать?» (Этому предшествовало, в дни начала коммунизма, что крестьяне, спасая своего барина, передавали его с печи на печь, по избам, так сохранили ему жизнь).

Осенью 1913 года скончался наш с Мариной отец, профессор Иван Владимирович Цветаев, основатель Музея Изящных Искусств – от сердца, 66 лет. И мы с Мариной решили уехать в Крым, в Феодосию, полюбленную еще в 1911 году, когда мы поехали в Коктебель к Максу Волошину и сроднились с теми местами.

И вот мы сняли в Феодосии две квартиры, первую – на Бульварной улице, напротив Офицерского собрания, где мы с Мариной одинаковыми голосами, в унисон, читали стихи и, в угоду их званию, стихи Марины «Генералы 12-го года», и квартира Марины была выше моей (Феодосия – на холмах). У них с Сережей Эфроном, с которым она в 1911 году встретилась в Коктебеле у Макса, было две комнаты, у меня – три. Мы часто ходили друг к другу, Аля Эфрон была тоже очень хороша, – *огромные* бледно-голубые глаза и несколько надменности в личике при довольно плотном тельце. Андрюша был изящнее, подвижнее, добрее, оба – русоволосые. Виделись постоянно, росли вместе.

С Мариной мы много выступали, в разных местах, читали в унисон ее стихи. Это было необычно и имело большой успех. С Борисом уже расстались – мы оба молоды были для семейной жизни, но дружили и свекровь любила меня и внука и мы у нее бывали. У Сережи были сестры, из них Марина особенно любила Лилю, Елизавету Яковлевну.

Андрюша начал очень рано говорить. (А меня дразнили, что я ему подставляю такие слова, как «Навуходоносор»). И вот однажды ко мне пришла старушка Елена Николаевна Потапенко (бывшая жена *некогда* знаменитого писателя Потапенко – написал роман «Генеральская дочь», об ушедшей в «народ». (Елена Николаевна давала уроки музыки и жила бедно). Так вот она вошла ко мне. Я сказала стоявшему в постельке Андрюше:

– Андрюша, скажи «Елена Николаевна Потапенко».

Андрюша, маленький красавец, сверкнул озорным глазом и сказал:

– Не Елена, не Николаевна и не Потапенко!

(Устами младенца глаголет правда? и Елена Николаевна в *самое* сердце…)

3-х лет, стоя в углу за провинность, Андрюша драматическим го-

лосом вопиет: – «*Никада больше не буду, никада больше не буду*»… А я, в это время разносила чистое белье, проходя через 3 комнаты и кухню, слева – направо, мимо Андрюши. Но, заметив, что я ошиблась в пачке белья, положив ее не в тот шкапчик (Маврикия – второго мужа) детский и мой, я повернула назад, для Андрюши нежданно, и услыхала, что он говорит, юмористически искажая: «*Никадя босенебюду, никада босенебюду – как смесно*!». Изумясь, я повернула назад и он, меня ожидая, заголосил драматически: «*Никада больсе не бу-уду, никада больсе не бу-уду*…» И я поняла, что он в 3 года, наравне со мной иронически носится к декларациям…

Любимой книгой Андрюши с трех лет стала книга Золотой библиотеки «Макс и Мориц» Буша (а с восьми – забегаю вперед – Гек Финн и Том Сойер. Я же превращалась – и в его глазах твердо – в марк-твеновскую тетю Полли)…

Аля – в матроске, Андрюша – в темном бархатном платьице с белым воротником. Яркие большие глаза его, серые, горят на чуть розовом личике, прямой нос, пухлый, капризный рот, золотистые легкие волосы ниже шеи, по-девчонкиному, он очень красив, и голосок – колокольчик. Я постоянно – и я ли одна! – им любуюсь, но он мало ласков, что-то в этом – Борисово, и отцовская же оживленность, несколько более нервного толка. Аля рядом с ним кажется спокойной; но и она нервна – только иной нервностью. Она ходит за матерью следом, ревнует ее ко всем. Ее игры с Андрюшей – игры чуть старшей; в них некоторое оттолкновение и покровительственность. Она не растворяется в игре с ним и не уступает…

…Иногда мы, я и Марина, держа детей на коленях, сравнивали их, таких разных: Алю – такую тяжелую, эффектную, *медвежеобразную*, уже густоволосую – и легкого подвижного Андрюшу, грациозного и беспокойного, со светлым пушком волос и колокольчатым тоненьким голоском; их глаза – Алины непомерные и светлые, как раннее утреннее небо, и ярко-серые широко раскрытые Андрюшины. Его «клементьевский» носик, правильный, прямой уже делал его лицо «Трухачевским», строгим, а в Алином личике было уже сознание своей исключительности – ею все любовались, и ее речь была почти уже не детская, с звонким «р» (у Андрюши «л», длинные захлебывающиеся тирады). Им было уже год с четвертью со старшинством Андрюши на три с половиной недели.

Характеры наших детей были совсем разные. Возраст их к лету 1914-го года, был год и девять месяцев (Андрюше), год и восемь месяцев с неделей (Але). Аля – дипломатичнее брата и с чувством собственного достоинства, явным, несмотря на малый возраст. И была в ней потенция к насмешливости; откинув тяжелую мохнатую головку, полуприкрыв веками упоительные глаза, она смеялась чуть свысока. Ребенок раннего развития, она знала себе цену…

Андрюша был живее ее, легок в прыжках (Аля прыгала тяжело, всей ступней), тоньше, изящней, но Аля была ярче, эффектней. Казалось – она старшая. Была ли Аля нервным ребенком? Может быть. Но и нервность была другая. Андрюша был легко возбудим, сангвиник; от смеха быстро переходил к плачу. Начав ходить и говорить позже Али, стал вскоре изъясняться туманными фразами, настойчивыми и длинными тирадами. Теперь из них кристаллизовались слова, оставляя за собой кометные хвосты неясностей, понимаемых только няней и мной. Аля выговаривала слова отчетливо-ясно, словно точила их на токарном станке. Помню их спор в Феодосии, в саду Редлихов в ослепительный день весны. Подняв плотные ручки над головой, бежала Аля в коротеньком клетчатом, из шотландки, платьице, радостно визжа: «Камеска, камеска!» За ней по пятам следовал Андрюша, несогласно вторя ей: «Амесек, амесек!», на что Аля наставительно возражала: «Камеска!».

Думается, Андрюша любил Алю больше, чем она его. В Але был холодок рассудительного английского беби. («Алиса в волшебной стране»?).

Есть мой сын не любил, *ничего*, кроме шоколада и апельсинов. Кашу или котлету или суп он встречал утверждением вполне мрачным: «Не зуётся!..». А на мое убеждение, что давно все прожевано, остается только *проглотить*, угрожающе устанавливал: «Не глогтается…». Каждая еда моего сына была длительным мучением.

Когда ему было около четырех лет, родился мой второй сын, Алеша. Андрюша нежно и весело его полюбил, играл с ним в Коктебеле, в первое Алешино лето, когда Алеше был год, он на берегу моря разгреб среди камешков дорожку, облегчая ему его первые шаги.

Но Алеша заболел дизентерией. Я ту же передала соседке Андрюшу (звали ее Елизавета? Екатерина?) Ивановна Старынекевич (у нее несколько лет до того умер от этой же болезни сын, она с трепетом и тревогой вошла в мою беду, через пять дней Алеша скончался. Умершего мы его, конечно, Андрюше не показали, на похороны не повели. Потому от вести, что Алеши нет, что он в земле, на кладбище, Андрюша

пришел в страшное негодование: «Как вы могли отдать закопать в землю Алешу!?», – кричал сын.

Но и он заболел, хотя жил у соседки с другой стороны домика (я передала туда кастрюлю с куском курицы и куриным супом) и проболел много недель. Его болезням способствовала странная, болезненно к нему и ко мне привязанная нянька и, ревниво страдая, когда я уходила к соседке, нянька как бы инсценировала (как я потом поняла) эти болезни. Помню, как она говорила Андрюше: «Расскажи маме, как у тебя ручки и ножки сводило, (гипнотически) – р а с с к а ж и » Андрюша бормотал что-то невнятное.

Когда Андрюше исполнилось пять лет, я (незадолго до того лишившись моего второго мужа, отца Алеши) осталась без средств и отпустила эту няню. После смерти Алеши я послала телеграмму Андрюшиному отцу: «Алеша скончался, Андрюша заболел». Тот приехал в Коктебель из Москвы. Вместе с ним перевезли Андрюшу в Феодосию в гостиницу, вызвали врача. Борис привез мне свои последние полторы тысячи, оставшиеся ему после умершей матери. Я отказалась их взять: – «У Вас – семья, а мне все равно надо начинать работать» Я поступила в библиотеку.

Когда Андрюша поправился, Борис уехал. Я осталась одна с Андрюшей, но Бог послал мне помощь – дружбу с помещичьей семьей, и мы переехали к ним под Феодосию, и Андрюша рос там в прекрасных условиях в огромном саду, до его 7 лет. После чего я уехала в Коктебель к Максу Волошину и его матери. Но на зиму было неизвестно, где взять дров и мы уехали в Судак, где жила семья друзей, Аделаиды и Евгении Герцык с детьми Аделаиды. Были годы гражданской войны, мы были отрезаны от Москвы и так – до взятия Крыма большевиками.

Тогда я пошла работать в Нарообраз при открытии народных читален. Весной устроилась в библиотеку (Анрюше шел 9-й год), Марина вызвала меня в Москву. (Забыла сказать, что у меня, в раннем детстве Андрюши жила в няньках старушка, бывшая экономка Сергея Львовича Толстого. Андрюша очень любил ее; она говорила старинным языком и Марине очень нравилось, как Андрюша говорил: «Старая няня „*сказывала*“». Она жила у нас до дня, когда ее сын отозвал домой, прекратив ее работу. Маленькая, худенькая, с большими рабочими руками. С ней ушел из нашей жизни уют).

И еще я забыла рассказать, как однажды, в семь лет, прервав игры мальчишками (еще в Крыму) Андрюша прибежал ко мне. Его глаза были полны ужаса:

– Ася! – крикнул он, – Вы понимаете? – б е с к о н е ч н о с т ь ! (До трех лет он говорил мне «ты», но новая няня сказал ему: «Маме *нельзя*

говорить „ты“, надо говорить „вы“»…). Он может быть ждал, что я отвечу «Да, и ты тоже поймешь, когда вырастешь…», но я не могла лгать – сыну.

– Нет, – сказала я, – этого *никто* не понимает… И он отошел от меня печально, разочарованный.

Не забыть, как в голодный год с помощью профессора, знавшего папу, Андрюшу устроила в привилегированного типа приют (с 11-14 лет) на воздухе учили ремеслам (кроме школы, учебы), а я работала и возила ему усиленное питание.

Как он, помню, на весть, что приехала мать, кинулся мне навстречу. А с 14-ти, когда мог уже *один* ходить по улице, я забрала его, чтобы не попал к переросткам. Снова жил дома, учился в школе в 5, кажется, классе, в школе Леонтьевском переулке, где однажды видела его жена Волынского, написавшего о Леонардо Винчи. А как Андрюша чудно вышивал, коврик с Жар-птицей, вышивал и другие сюжеты. До 11 лет любил фантастические куклы. Я ему их шила и дарила. Но раз в том интернате поднял что-то вроде бунта против начальства, чем вызвал неудовольствие и ему грозило исключение, но я умолила простить его, объяснив свое трудное положение.

Вообще, я сейчас пишу как бы схему, план отрочества Андрюши, позже буду вписывать отдельные воспоминания, – иначе не получается. Может быть я пишу – черновик? А когда его кончу, разложу все по годам – и получится повествование?

Не забыть, когда, по приглашению меня к Максиму Горькому, на два месяца своего отпуска в Музее Изобразительных искусств (где работала в Библиотеке) *уехала* в Италию – я передала на это время 14-летнего Андрюшу ко второй жене его отца, моей ближайшей подруге Марусе (Марии Ивановне) Кузнецовой-Гриневой, куда-то под Москву или далее, где она жила *летом* со своей дочкой Ириночкой, на шесть лет моложе Андрюши. Это было в 1927 году. Свою книгу М. Горький прислал Андрюше – «Детство» и, по-моему, свой портрет. А Андрюша в это время готовил Горькому подарок – вышивал цветными шелковыми нитками (я ему купила какие-то приспособления) к 60-летнему юбилею Горького, для которого он хотел – после долгого отсутствия – приехать в Россию. Но, должно быть, докончить подарок (при ученье в школе) не успел, и, помню, что сам, по своему вкусу, купил синего полотна для широкой рамки и с запозданием послал Горькому в Италию, куда тот вернулся. Это была сцена из «Детства», и где бабушка Горького сидит в лесу у тропинки и подрезает собранные грибы, а возле нее стоит волк и она ему (цитата) – «Ну, чего стоишь? Иди себе в лес, серый…» Весь передний план был вышит плотно, как гобелен, облака и верхи деревь-

ев – обведены цветными нитками, сверху с краю сказочный паучок в паутине. Волк – сплошной, вышит плотно серебристым шелком, как и бабушкин наряд.

Драгоценный этот подарок позднее, мне – год спустя – показывали *после* Горького, в его музее.

Такие необычайные способности были у Андрюши, – женские?

Я забыла сказать, что в семь лет у Андрюши прослушивался сердечный «шумок» и в 12 он повторно был слышен. Поэтому, когда в 1928 году мы по путевке месткома (профсоюза) попали на мой отпуск в Сочи, то врачи запретили ему игру в футбол (одна партия волейбола была разрешена), запретили купаться («Он у вас, как ключ, может пойти ко дну») и я весь месяц ходила за ним следом, чтобы он по непослушанию не напортил себе. Что, конечно, вызывало его протест.

Следующее лето – 1928 года – мы с Андрюшей (ему было 16 лет) провели в усадьбе Елены Александровны Эртель (в «Эртелевке»), Воронежской губернии, в ею открытом и порученном нам – Марией Ивановной Кузнецовой-Гриневой (второй жене моего первого мужа) и мне. Сама Эртель уехала к своей сестре в Англию – та была замужем за английским пастором. В других домах отдыха или творчества брали за путевку (месяц) 150 рублей, а она брала 30 рублей. Каждой семье писателя или писателю-одиночке была комната, в огромном яблоневом саду и чудное питание.

И я с сыном ездила туда много лет – с 1923 года по 1934 год, год его отъезда, по собственному желанию, на Алтай. Туда к нему я поехала в 1935 году – летом в отпуск, а в 1937 году меня в Тарусе (приказ был дан из Москвы) арестовали и послали в лагерь на ДВ (на Дальний Восток) на 10 лет.

После освобождения около полтора года я прожила у него под Вологдой в рабочем поселке Печаткино, где (он был женат на Нине Андреевне Зелениной) родилась их старшая, моя первая внучка Рита (имя Маргарита было дано при крещении мною – родители дали выбор имени). Но через полтора года меня снова арестовали и за четыре с половиной месяца через пять пересыльных тюрем в разных городах, повезли на вечную ссылку в Сибирь в село Пихтовку (об этом есть моя книга – «Моя Сибирь»), туда в конце 1954 года приехал Андрюша по моей настойчивой просьбе, так как мне приснился сон, что я в 1955 году умру.

Подробнее о том, было это так…

В 1947 году, еще до Сибири: я увидала сон: в гостиной отцовского дома Горький шел мне навстречу. Я обрадовалась, но почувствовала,

что между нас – средостение. – «Его смерть!» – поняла я и, спеша не упустить его, быстро спросила:

– Алексей Максимович, когда я умру?

Пожимая мне руку, он ответил что-то, в чем прозвучала цифра «55». И я проснулась.

Это было на Дальнем Востоке; мне шел 53-й год. Неразумно поверив сну, интонации знакомого голоса, я почти 3 года ждала моих 55 лет. Они кончились в день, когда в Сибири на улице Куйбышева я ждала друзей в своем маленьком домике, но никто из них не пришел. В день исполнения мне 56 лет умер мой песик Домка. Я осталась жива. Но суеверие мое длилось: я уверила себя, что «55» означало 55-ый год в е к а. Он кончался во вторую зиму в доме на Первомайской, купленном мне Зоей Цветковой. Это было, когда по окончании стройки, сын написал, что скоро сможет навестить нас. Я стала усиленно просить его в письмах поспешить с приездом, приехать не позднее декабря 1955 года, объяснив, почему, рассказав сон. Замершим сердцем ждала я его ответа.

Улыбнулся ли сын, прочтя мою просьбу, – не знаю, но он исполнил ее: приехал к нам в декабре. Восьмилетняя Рита бежала к отцу, со всех ног, повисла на нем с разбегу и долго не давала нам с Ниной поздороваться с ним. Они не виделись более 4 лет. Их кровное сходство стало еще резче.

По моде тех лет – с бородкой, изменившийся, возмужавший, смиряя волненье, смеясь, сын вынимал и вынимал подарки: Рите – цветной шерстяной костюмчик, брату ее – первые взрослые брюки, нам – на выбор: отличное плащ-пальто и ручные часы на браслете. Я ношу их до сих пор. Фирмой было обещано 20 лет им трудиться, но они трудятся уже 27, хотя я два раза поплавала в них в Коктебеле и один раз на Балтике. А я все живу и живу…

Когда после лагеря, в 1947 году, мы свиделись и я назвала его как в детстве «Андрюша», он мне (с детства по настоянию няни говорил мне «вы»: – «Пожалуйста, не зовите меня так, а зовите „Андреюшка“ – „Андрюша“ – это каша, колоша» (назвал еще третье слово, мною забытое). И засмеявшись, стала с тех пор звать его «Андреюшка». А он, с детства, балуясь, лет с 3-4-х сказал мне: «Все Вас зовут „Ася“, и я буду вас так звать…» Но в третьем лице он говорит обо мне «мама»; открывая на звонок дверь, он говорит: – «Да, мама дома. Ася, к Вам пришли…».

Все это я пишу, чтобы не забыть и как-то спасти мою с сыном жизнь. Такую долгую – таким он был мне спутником – и вдруг сорвался с нашего пути в смерть, так неожиданно. Как часто он звонил мне по телефону – «Вы меня слышите, Асенька?» – отвечала, что «Да», так с

земли в Тот мир, куда он ушел, я буду на его – мне «Вы меня слышите, Асенька?» отвечать ему: «Слышу, Андреюшка!». И мы свидимся с ним в Том Мире, как все, друг друга любившие…

Возвращаюсь к той строке, которая кончилась (о врачебном запрете многого из-за сердца моему сыну в 16 лет и моем надзоре за ним – что, конечно вызывало протест), позднее он мне рассказывал, что, не веря врачам, он переплывал Москва-реку – благополучно. На следующее лето и несколько раз подряд мы ездили (я уже писала об этом) в Эртелевку, Воронежское имение дочери умершего писателя Александра Ивановича Эртеля (его романы «Семейство Гардениных» (где много о лошадях) и «Смена»). Там был огромный сад и гамак, где я лежала и читала (учась английскому языку) английские романы и где мы все ели яблок – сколько хотели. И я помню, как, вечером, уже лежа в постелях – в узкой комнатке с книжными шкафами, в темноте, с полным доверием ко мне (в быту всегда спорил!) он мне сказал о том, как он, идя рядом со своей однолеткой Мариной С-ой, он, борясь с собой и негодуя над мужской и женской природой, ощутил какое-то недостойное его, поглупение, зависимость, плен, – плененность – первые переживания сэкса. И вот эта струя: всю жизнь его, взрослую, мужскую, была с ним. Он сохранил со мной о ней откровенность – все встречи его жизни в этой области он старался меня в них ввести, п о з н а к о м и т ь с объектом его увлечения. А когда я поехала к нему (ему было 23 года, мне – 41) в 1935 году на Алтай, куда он выбрал себе первую работу инженера-строителя, он мне рассказал как, увлекшись женой товарища и ничего себе с ней не позволяя (его в 22 года соблазнила другая) он, в отсутствии уехавшего товарища, вызвал на дуэль человека, оскорбившего жену его товарища. Как они стрелялись – тот метил ему в сердце, но («Слава Господу» – слушала я) попал в руку у локтя, легко задев (ранка навылет) – руку. Если я не ошибаюсь, вскоре эта женщина уезжала на пароходе, и когда он уже отошел, а Андрей стоял на пристани, она протянула ему обе руки воздушным объятием; он, в зеркальном волнении, ответствовал тем же – но пароход уходил, между ними ширилась вода… Звали эту женщину – Клавдия.

Так рос мой сын – романтиком прирожденным, ибо и отец его был романтиком (успел хлебнуть жизни так мало лет, умерев не достигши 26-ти, от сыпного тифа…). Наш сын Андрей – был жизненнее, чем его отец Борис, веселее, менее оторван от жизни. В Борисе, муже моем, (затем в браке с Марией Ивановной Кузнецовой-Гриневой), было приступами, веселье, в остроумии которого (он чудно владел речью) мгновенно, по желанию переходя из одного стиля речи – в другой, заражая всех

присутствующих, вовлекая их в костер праздника, но как только оно прерывалось и он оставался один – он уходил во тьму (предчувствия ранней смерти?) и, погружался во мрак, непостижимый.

Теперь я вновь возвращаюсь к нашему сыну, Андрею. Вернувшись с Алтая, он в 1936 году, в школе рисунка (у него было призвание к живописи) встретился с девушкой, которую полюбил, Таней С<мышляев>-ой. Женихом и невестой они приехали ко мне в конце лета 1937 года в Тарусу, и там 2 сентября, прогуляв два дня на берегу Оки и прибрежным рощам Тарусы, был, как мой сын, арестован вместе со мной, – и на глазах Тани нас увезли – через Серпухов в Москву, в тюрьму (Первый день на Лубянку, где нас разъединили, а затем – в Бутырку (где мне, Слава Богу, дано было услыхать первой фамилией после моей, Цветаевой, фамилию Трухачев (значит и Андрей – юноша, тут!).

В Бутырках я просидела 5 месяцев, а затем меня – без суда, сослали на 10 лет в лагерь на ДВК (Дальневосточный край) под 2-ой Хабаровск – 25 переходов и переездов за 10 лет по этапу. Первое письмо от Андреюшки, написанное через год и семь месяцев из другого лагеря, где-то в Карелии (?) (от родных узнав, что я жива и где я, он от избытка радости бегал по зоне, как выпущенный на волю кот!). Сообщил мне, что ему дали пять лет. Переписки мы не были лишены (были и такие лагеря) и через пять лет узнала – это был 1942 год, шла война с Германией – мой сын был по образованию взят в военстрой, носил военную форму (я представляла себя, как он хорош! Радовалась его свободе!).

Из лагеря в лагерь он писал мне: «Если мое Солнышко (так он звал свою невесту, с которой его разлучили) жива, я заберу ее хотя бы с кучей ребят…». Но, увы, кто-то побывав в Москве, поведал ему, что Таня вышла замуж, и даже два раза, не дождалась его. *Как* он перенес этот удар (без меня) – я не знаю.

В Военстрое Андреюшка встретился с Ниной Андреевной Зелениной (с будущей его женой). Она работала официанткой. У них начался роман и он мне написал про нее. В каком году они встретились – я не помню, но когда пришел конец моего 10-летнего срока, сын выехал встретить меня на станцию Буй, а оттуда в Печаткино под Вологдой, там нас встречала его беременная жена. И через 40 дней родилась моя старшая внучка Рита (имя, как я тоже писала уже, было выбрано мной).

5 декабря 1948 года, если не ошибаюсь, в день Сталинской конституции, мой сын привез на дом священника, отца Андрея (не ошибаюсь?) и мы отпраздновали день крещения моей внучки Маргариты. В раннем детстве она была голубоглаза и белокура, на пятом году, кажется, глаза стали серы, как глаза ее отца, моего сына, и волосы – русы. Она была

почти как повторение моего сына в детстве. Весело было смотреть, как годовалой, она отважными шажками ходит взад и вперед между двух преград (не упасть) рук матери и отца, присевших на корточки на пол. И началась новая любимая жизнь в нашей семье, после такого долгого моего отсутствия. Но сталинское правительство «не дремало» и через один год и четыре с половиной месяца меня снова арестовали (писала уже) и повезли через 5 городов и 5 пересыльных тюрем – на вечную ссылку в Сибирь, в село Пихтовку Новосибирской области. Об этом (тоже писала) есть моя книга «Моя Сибирь» – история моей 7-летней ссылки. Когда меня арестовали, Нина с Ритой и сыном от ее первого мужа, Геной, приехали ко мне в ссылку. Гене 13, Рите – 3 года 8 месяцев.

Что это было – нечто противоестественное. В революционной Москве! И все-таки, каждое слово, которое я сейчас расскажу, – правда, чудовищная, и все же – явь, было. Не комментирую, пишу – и почти полвека спустя – одним удивлением. И мой сын, единственный из со мной бывших, хоть не любил связанные с детством воспоминания, конечно, помнил то, что я расскажу.

После случайно в печной духовке сгоревших Андрюшиных башмаков, золотых, страшным неслышным видением хрупнувших в пепел, он очень долго не мог выходить из дому. Узнав это, Маринина знакомая, ставшая затем моим многолетним другом, Шура Занковская, фантастическое, одержимое, волшебное существо с трагической невероятной судьбой (теперь давно умершая), повезла нас с Андрюшей в старых чужих сапожках, ему очень свободных, куда-то в АРА к знакомой, служившей там, в надежде, что по ее просьбе мне в придачу к выданной через Союз писателей посылке АРА (рис, сахар, сало, какао, рыбные консервы, долго кормившие нас) выдадут на босого сына обувь. Обуви в тот день там не было, но обещали, а пока дали шерстяные носки и записали фамилию и размер ноги, и мы, простясь с Шурой, на радостях впервые позволили себе роскошь – сесть в недавно появившийся в Москве трамвай.

Выйти мы могли у Никитских ворот, возле нашего переулка. Андрюша, с детства не ездивший в такой роскоши, стал, как часто заведено у детей, на сиденье на колени, прильнул лицом к запотевшему стеклу, дуя и расчищая себе «окошечко», чтобы видеть полетевшие назад дома. Ногам его в новых толстых носках было тепло в уже промоченных (стояла оттепель) сапогах. Один из них еле-еле, может быть, и не тронул, а только мог тронуть, двинувшись, пальто рядом сидевшей дамы. Это была именно «дама» (как уцелевшая в буре революционных дней?). Отпихнув мокрый сапожок мальчика, дама вскричала в негодовании, и

полились из ее рта слова, сказочные по мракобесию – в трамвае революционной Москве!

– Убери свои ноги! Этого еще не хватало! Пачкать мужицкими ножищами пальто д а м ы !

Ее рука со сжатым в ней зонтиком грубо отодвинула Андрюшин сапожок. В ту же минуту моя рука, без единого с моей стороны слова остановила в воздухе *взмахнутый* ее зонтик. И – опустила его.

И тогда началось! Я не могу повторить потока, но это кричала разнуздавшаяся буржуйка – в советском 1921 года транспорте. И вот что я запомнила из потока (которому молча внимал трамвай!): «…пришли со своей Волги, нищие, голодающие! Наводнили Москву! Идите назад, на вашу Волгу! Да знаешь ли ты, – крикнула она мне, – что такое зонтик – *дамы*? И смеешь ли ты своими грязными руками его хватать?»

Молниеносное видение Сытинского переулка, за которым дом отца в Трехпрудном…

– Сударыня, – начала я – вы…

Но уже, сорвавшись со скамьи, стоя в не своих – чужих! – сапожках перед оравшей дамой (которую не остановил никто!) мой девятилетний сын, мальчик в старом пальтишке и башлыке, закричал громче дамы, красный, как индейский петух, в гневе прекрасный, сверкая в нее трухачевскими, цветаевскими глазами:

– Как ты смеешь так говорить с моей матерью?! – гремел на весь трамвай его задохнувшийся голосок. – Да знаешь ты, кто она? – и он кричал и кричал, дамин ор стих, она, как и весь трамвай, как-то охнула от неожиданности, но я всей силой рук – а он вырывался – зажимала ему рот, не видев его никогда в таком состоянии! И боясь за него, за себя, потому что уже раздались голоса: «Остановите трамвай! Высадить их!» (Их – нас! – не ее…) В голове мешалось… К счастью, трамвай, подлетев к остановке, на середине бульвара, стал. И, теряя еще полбульвара полета, оплаченного в нашу первую роскошествующую поездку, я – за плечо Андрюшу, толкая его перед собой, спрыгнула с подножки в густую снежную грязь предвесеннего дня.

Мы шли, я – еще в дрожи пережитой непонятности, смиряя в себе все поднявшееся, а Андрюша, уже отойдя, тянул ноги, оставляя, меся грязь, и вид у него был – скучающий.

И мне стыдно сказать, как о многом мной в жизни сказанном, сделанном, что я, вмиг вознегодовала, не удержала себя, посмела его упрекнуть – в медлительности…

– Какая ты странная! – сказала, потом негодуя, сестра Марина. – Почему ты не остановила трамвай, не вызвала милиционера, не составила акт? Был же хоть один красноармеец в трамвае – в шлеме! Не зая-

вила, что ты – член Союза писателей, не повторила ее слова о Волге! Но какой же у тебя молодец Андрюша! Борисов сын…

Я не написала о том, как я с моим сыном-подростком ездила по святым местам. Живя летом в Эртелевке в ЦЧО (Центральной Черноземной области) между Задонском и Воронежем мы поехали в место жительства Тихона Задонского и в Воронеж к Митрофанию Воронежскому. Не написала я и о том, как лет 12-ти, Андрюша сказал: – «Я понимаю, как трудно *жить* так, *как* от нас этого требует Бог, но как не понимать, что Бог *есть* – этого я не понимаю».

В мальчишеском тоне этой убежденности прозвучал оттенок что тяжесть этого требования ощутима нами как нечто вполне реальное, неоспоримое, как «ярмо на шее». Так что атеизм никаким пером из крыла не коснулся его. Но церковь от государства в те времена претерпевала такие гонения после Патриарха Тихона, скончавшегося в заключении у большевиков, был местоблюститель Сергий, пошедший на компромисс с ними, что многие осуждали (С.А. Цветков даже перешел в католичество, считая, что церковь наша в подневольном падении), и Андрюша мой не исповедовался и не причащался – но дважды, когда был близок к смерти (в юности и под старость) *вызвал* для этого священника. И когда ему говорила: – «Болею, Андреюшка, помолись за меня» – он мне отвечал: – «Я каждый день за Вас молюсь»…

И так до последнего дня своей жизни, до нежданной смерти…

Плен событий жизни, когда меня от Андрея и Нины увезли на ссылку, они вскоре переехали на Урал (успели один раз мне привезти передачу до моего этапа).

– Андреюшка принял предложение выполнить план деревообделочной фабрики, *семью*, до него инженерами невыполненный и *выполнил* (но с двумя нарушениями – брал рабочих не по казенной цене (перерасход) и на 3 суток ввел ночные смены на электростанции (превышение власти), за что (высчитал) могли ему дать два с половиной года (срок), а могли простить. На вечере в «честь выполнения плана» играли туш в его честь, а через три дня арестовали, дали ему 16 лет – (за всех тех семь инженеров). На суде (отказавшись от казенной защиты) защитил себя сам, доказал, что не 16 лет, а два с половиной года. Правительственные адвокаты тихонько аплодировали – так верно подобрал статьи и пункты, но решение шло к нему долго, пересидел 17 месяцев, всего около четырех лет.

…Тяжелые наши дни и дни, когда приходили от моего сына посыл-

ки… Я знала, какой ценой он их собирал! В это время в лагерях ввели оплату труда, и на *премвознаграждения* заключенные могли покупать себе добавочное питание – сыр, колбасу… Это у себя отнимая, сын слал детям сахар, компоты, сухофрукты и сладости необычные – их не было в наших краях, а он мог достать в той дали, где шла стройка.

Память об отце, с которым Рита рассталась трех с половиной лет, растила любовь почти фантастическую: конфеты, шоколадки, которые он приносил, всегда падали откуда-то сверху, будто бы с потолка, а летом с дерева – на них были картинки каких-то гор, как те уральские горы, где они без меня жили, – и я узнавала Андрея, всегда с затеей…

Рита одаривала отца рисунками и с четырех лет сопровождала их печатными буквами, а с пяти «письмами» с наизнанку повернутыми «я» и «в» (я, как Марина дочку свою Алю, рано начала учить ее буквам), из них теперь росли попытки писем. Но что сделалось с ней, когда в ответ ей пришло, на ее имя, письмо, первое в жизни! Это были стихи «Моей Маргаритке» – и назывались они – «Алые паруса». А к ним фотография отцовского рисунка, ей посвященного, – «Танцующий слоненок»! Это была настоящая гравюра – тончайшее очертание сказочной бухты, где в одиночестве веселился маленький слон: хобот, хвост, столбы – ноги слонячьи, веселился каждый фибр слоновый! А в светлой дали – это было явно в часы отдыха, увлеченье ее отца Грином – рисовались воздушные легкие Паруса Грея – Алые паруса!

МАРГАРИТКЕ

На мысль из А. Грина «Алые паруса»

Взгляни, моя Рита, тебя ожидает,
Танцуя, твой маленький слон.
Щенок толстолапый его задирает,
Он в силе своей убежден.

А птица на ветке, увидев такое,
Как школьница удивлена.
Улитка меж листьев бормочет: какое
Мне дело до вас и слона!

Индеец в каноэ, искать по лагуне

Жемчужную отмель поплыл.
А в дали морской, уходя от буруна,
Корабль паруса распустил.

Дороги твои, в эту сказку-картинку,
И детство и юность вплели.
Поэтому слон и танцует Лезгинку,
Корабль – ожидает вдали.

Но время придет, и багровой зарею,
Омыв паруса, галиот,
В дыхании бриза, послушный герою,
К твоим берегам подойдет.

И кончится детство над светлой лагуной,
Зовут паруса… ну и чтож?
В их трепете алом, ты, девушкой юной,
Дитя мое, счастье найдешь.

Папа
Башкирия, 17.06.1954

Когда моему сыну Андрею было 20 лет, обнаружилось, что он художник. Он написал маслом такой NM (натюр-морт), а затем такой автопортрет (скорее – портрет родовых черт Трухачевых), что знакомые художники сказали: «Зачем ему идти в Архитектурный институт, когда он – прирожденный художник?».

И был спор, учиться ли ему живописи не учиться, не испортит ли ему *учение* – его прирожденных способностей?. Но Андрей сказал:

– В *нашей* стране художники – нищие. Я не хочу быть нищим. – И поступил в Архитектурный институт.

Над моим диваном, где сплю, до сих пор висит его копия картины В.М. Васнецова, где изображен витязь на коне, на распутьи у надписи: «Направо пойдешь – смерть получишь, налево – коня потеряешь». Но случайный художник-реставратор внес, по памяти, поправку освещения от более яркого к более тусклому, и испортил картину.

Так же одарен, как и живописец, он имел дар поэта – легко (и не придавая значения этому, как и его отец, Борис Трухачев) – писал стихи к случаю: на профессиональном уровне, с высоким чувством *вкуса*.

До старости (скончался от паралича на 81 году) был скромно-элегантен и подтянут, моложав. Все находили его превосходно-воспи-

танным, танцевать я учила его и окружавшую его молодежь в мои 40 лет, – помнится в Эртелевке (имении Ел. Ал. Эртель, дочери писателя Александра Ивановича Эртеля, в Воронежской, если не ошибаюсь, губернии), где мы с 1929 по 1934 гг. отдыхали в ее крайне дешевом доме творчества (она поручала его мне и второй жене моего сына Андрея, с которой я горячо подружилась: ведь мы с моим мужем Борисом разошлись мирно и дружили, но прожив со мной 2 1/2 года и пять лет с ней (актрисой Марией Ивановной Кузнецовой-Гриневой) он погиб, не достигнув 26 лет, от сыпного тифа и похоронен в Старом Крыму, близко от могилы Александра Грина, писателя). Их дочь Ирина – моя крестница, похожая на отца, умерла от рака, оставив дочь свою, 4 раза бывшую замужем, с двумя дочерьми от разных мужей, Леночкой (Еленой) от Марка (Устюжанинова) и Мариной от Евгения Босняцкого. Обе живы, у первой – сын Толя (и внуки), у второй – Марины – Сева и Ира, подростки.

Мария Ивановна Кузнецова-Гринева, первая мне по душевной близости подруга после Марины, сестры моей (и Марина ее очень любила) умерла от склероза и сердца в 1966 году, а я жива до сих пор, мне идет 99-й год, – должно быть чтобы во-первых искупить грехи, много говоря неверующим о религии и силе молитвы, и во-вторых – чтобы все о всех написать: все, что я пишу – это мемуары, в них нет никакой фантазии, как у Марины, сестры моей, которой оживить *то, что было* было бы скучно, которая ребятам у костра в Тарусе, начав рассказывать Андерсена, взрывалась в свое и кончала – фантазией. Ее проза, как я где-то писала – горный водопад, не видящий окружающего, и моя тихо текущая (из тех же истоков) речка, отражающая берега.

Моя задача – сохранить все, чему я была свидетелем, не упустить ничего.

И кажется мне, что в жизни – столько фантастического, нежданного, *такие* встречи, разлуки, *такие* события, сочетания и нежданности, каких не выдумать самому прирожденному фантазеру.

Да, не сохранилось 20-ти страничное письмо с описанием суда, на котором мой сын защитил себя сам, доказав, что не 16 лет ему срок, а два с половиной года. В трудный час, в смутное время я письмо уничтожила.

Да, по окончании срока сын приехал ко мне в ссылку, где у меня жила его семья, Погостив, уехал устроиться на работу там, где может *меня*, с моим 10-летним сроком лагеря, – прописать. И вскоре вызвал нас и мы (продав огород с домом) поехали к нему из Сибири в Башкирию, в город Салават, недалеко от Уфы. Но жили мы там очень недолго и переехали в Павлодар (Северный Казахстан), где мой сын Андрей

стал работать финансистом строительства, проработал 18 лет; насколько помню – до выхода на пенсию в 63 года. В 1968 году я реабилитировалась, уехала в Москву, получила пенсию, прописку.

После чего они с женой получили квартиру в Москве, в Орехово-Борисово.

Купили огородный участок в Балабанове Калужской области, занялся огородом и до конца своей жизни привозил мне овощи со своего огорода, что мне было особенно ценно, так как я с юности – вегетарианка.

Его старшая дочь Рита (Маргарита) родилась в поселке Печаткино под Вологдой, куда я приехала к нему по окончании моего 10-летнего срока – за 40 дней до рождения моей внучки Риты. А внучка Оля родилась в 1957 году, в Павлодаре, уже после конца неправедно задлившегося заключения Андрея в лагере. В 1947 году он выехал мне навстречу в Буй, место между Вологдой и Петроградом и привез меня в Печаткино под Вологдой. Зная, когда придет туда мой поезд, он рискнул выехать мне навстречу без разрешения на это своего начальства. Но дело, слава Богу, обошлось.

Помню эпизод, связанный с получением его, москвича, квартиры в Москве. Как в Моссовете нам сказали: – Да, он *имеет* право на квартиру в Москве, но почему добиваются этого его жена и дочь, не москвичи. Не дав времени Андреюшке ответить, я встала.

– Как интересно! Вы, значит, в центре Москвы даете совет развестись с семьей? Это после всех статей о крепкой советской семье?

Растерянное молчание. Судил через день прокурор, верховный, приняв нас – и семья моего сына законно поселилась в Москве с 1975 года.

Я, имевшая друзей в Эстонии, ездила туда, в Кясму (под Таллином), в течение 25 лет (см. мою публикацию «Моя Эстония» в 1991 г., №№ 1, 2, 3 журнала «Радуга»), место между морем и лесом (пока Эстония не отделилась).

Как во сне мне помнится один приезд туда моего сына, когда это понадобилось по деловым причинам.

Увы, его уже нет с нами, и я могу только спросить его вдову Нину Андреевну Трухачеву, помнит ли она этот случай? Но ей уже 76 лет, сохранила ли она это случай и причину его – в памяти?

В свою очередь я, раз или два ездила с ними посмотреть их участок и домик в Балабанове. Там из крошки-стружки сын Андрей построил своими руками маленький домик, где могла, хоть и тесно, поселяться его семья. Каждое лето их жизнь там длилась долго, до глубокой осени,

когда сняв урожай с огорода, они перевозили его на машине в Москву, помощью питания на всю зиму.

Я еще не написала, что моя старшая внучка Рита в 24 года вышла замуж (на 26 лет ее старшего) Ростислава Мещерского, у них родилась дочь Оля, которой теперь 17-й год. (Она с матерью уже около пяти лет в Америке, куда уехали по приглашению, уехали, после нежданной смерти Славы Мещерского, такого заботливого мужа и отца, от сердца, в сердечном приступе). А затем Рита устроилась (под Сан-Франциско в церковь) на работу.

И вряд ли, – если Бог не сделает чуда – я с нею увижусь, так как мне идет (в 1993 г.) 99-й год… Но в этом году Оля, имеющая от мужа Сережи – 2-х сыновей Андрюшу 14 лет и Гришу – 11-ти, с ним разошлась.

И в этом году сестры свиделись – Оля ездила на свидание с сестрой (заработав валюту на очень дорогой билет самолетом), так как имела с детства от меня, как и Рита, знание английского языка. И взяла с собой Андрюшу. Без нее внезапно скончался от паралича мой сын Андреюшка, ее отец. Вместе, сестры, его дочери, помолились, плача, за его упокой.

Писала ли я, что 29 января 1993 г. Андреюшка вечером вдруг собрался ехать (из окраины города в центр, где живу я). – Куда ты едешь так поздно? – спросила Нина, жена его, *когда* вернешься?

– *Я должен* ехать! – отвечал он. И уехал. Ко мне. От меня он позвонил Нине: – «Я обогрелся у мамы, сейчас очень морозно, и еду назад, домой. При нашей встрече была мой молодой друг Ира Карташевская – Мы ничего болезненного не заметили в нем.

И, войдя в дом, (слава Богу!) нажав на код, он упал – начался паралич. Врач не дал надежды.

– Позвони маме! – это были, может быть, его последние слова.

Нина не позвонила, не понимая что с ним и боясь меня потревожить.

А когда я 31-го января позвонила ему и узнала, что он парализован и металась достать машину, надеясь, что он жив. (Его деда два раза парализовало и он жил, ходил, ездил). Я приехав, застала Нину в слезах: – Мама, после операции я спасла его, уходом, а тут ничего не могла сделать…

– Жив? – замерло у меня на губах…

И мы стояли обе над ним, лежащим на столе (еще до гроба) в светло-сером костюме, мой ненаглядный, заботливый, отошедший в вечность. Так, в последний вечер, что-то толкнуло его со мной – в последний раз! – повидаться – неосознанно п р о с т и т ь с я !

Скончался он в 12, 31-го января. Болел 1 1/2 суток.

И теперь, когда он сорвался с нашей общей 80 лет – вместе – дороги по Божьей воле, я молю Бога быть к нему милостивым. Я писала уже об этом. Он не ходил в церковь, не исповедовался и не причащался. Но дважды, когда был близок к смерти, в юности и в старости – вызвал для этого священника. В третий раз не успел…

Похоронен Андреюшка в могиле своего прадеда, моего деда (с материнской стороны Александра Даниловича Мейна, рядом с 27-летней моей бабушкой Марией Лукиничной Бернацкой. Могильную плиту и массивный невысокий мраморный крест унесли (от воров) в кладовую кладбища, под замок – до дня, когда можно будет (когда позволит свежая земля) вновь положить плиту и крест. Ваганьковское кладбище теперь «закрыто», то есть там уже не хоронят. Чтобы мой сын лег *там*, а не где-то за Москвой, должен был прислать телеграмму Дмитрий Сергеевич Лихачев. И пока я жива, я с внучкой и невесткой сможем навещать его могилу, куда я с мамой и папой, с детства ездила к бабушке, дедушке, позже – к папе и брату Андрею. Сестра Лера (Валерия) скончалась в 1966 году и похоронена в Тарусе. Ей было 84 года.

В первый раз 1.IV.93 г. сон об умершем 31.1.93 г. сыне Андрее (80 лет).

Живой, веселый. Пустил в квартиру пеструю кошечку. Она пришла ко мне. А он весело говорил по телефону, называл имена людей, которых хорошо знает. Я подошла к нему, ожидая конца телефонной беседы.

Во сне не помнила, что его уже нет. Кошечка ходила. Я не хотела выпускать ее, пусть побудет до дня (была ночь). Вывесили объявление, она где-то живет поблизости; напачкает – уберу. Позвонить Доброславе (спросить) у нее есть кошечка, что сделать. А сын продолжал говорить по телефону, и я ждала.

ЧАСТЬ II

МОЙ ПУТЬ К РЕЛИГИИ

Странным образом то, что произошло со мной в детстве (8-9 лет) и в юности (с 18 до 23) повторилось, в государственном масштабе – со страной, где я родилась, с моей родиной, с многострадальной Россией, которая ушла от Бога и однажды вернулась к нему.

В Маринины 10, мои 8 лет наша мать заболела туберкулезом, и врачи послали ее в Италию. Ехать без нас она отказалась, и мы выехали в Италию всей семьей. Там под Генуей, в Нерви, мы встретились с царскими эмигрантами (анархистами? большевиками?). Это были обаятельные люди, и мы страстно к ним привязались, как и они к нам. Но они были безбожны и они нам сказали: «Бога нет, это выдумка – его выдумали богатые, чтобы поработить бедных». Дети не рассуждают, они *чувствуют*. Пылкость этого утверждения зажглась в нас пылом зеркальным. Слабости же этого рассуждения утонули в нашей любви к новым друзьям.

Теперь вернемся назад: до Италии, в Москве зимой и летом в Тарусе, мы с первых лет детства, с тех благословенных дней, которые теряются о беспамятство младенчества, молились Богу и в Великий Пост, как и все профессорские семьи, причащались (младенчество) и исповедовались (с семи лет) и причащались. На Рождество ждали Рождественскую Звезду, чтобы зажечь елку, и на Пасху ждали первого удара с колокольни Ивана Великого, коему отзывались хором все колокола Москвы. В Италии все это отошло в прошлое. Детство кончилось, началось отрочество. Но зима прошла без учения, в игре с мальчиками на скалах; а матери врачи велели остаться еще на зиму в Нерви, и она вызвала из России родственницу, и она отвезла нас в Лозанну.

В Лозанне нас устроили во французский католический интернат, а мы, вернее, старшая, Марина – она в 10 лет выглядела рослым подростком – стала жарко проповедовать безбожие. Старшие ученицы с ужасом бросились к своим начальницам, те – к своему аббату, и я помню его разговор с Марусей (так звали тогда Марину): «Ты думаешь, Бога нет? – говорил этот добрый, мудрый духовник, – а чем же ты тогда объяснишь – совесть? Посмотри – 2-летняя девочка (ее еще ничему не учили, она еще ничего не понимает, не знает, но она чувствует…) Ей дали конфету, она ее съела. Но на столе лежит чужая конфета. Она тянет к ней руку. Конфета – сладкая, и она оттягивает руку назад: и вот в этот миг выбора между злом и добром – весь загробный небесный мир, все ангелы – замирают: что сделает девочка? Если она возьмет чужую конфету, съест ее – ангелы плачут. Если отдернет руку – ангелы на небе ликуют…» Так аббат открыл нам закон ответственности за поступок, и это нас поразило, и мы поняли, что наши русские друзья в Италии нас учили неправде, что они на неверном пути – и через несколько недель общения с умным и добрым аббатом мы стали самыми усердными молельщицами в пансионе. Когда все уже спали, мы в своей комнате (нас поместили вдвоем, чтобы мы не забывали русского языка) двумя белыми столбиками стояли в ночных рубашках на коленях на ковриках и читали молитвы по четкам, каялись в своем грехе и в грехах наших старших друзей.

Следующая зима в немецком пансионе, в Германии (мать наша лечилась рядом в Шварцвальде). Наш религиозный пыл немного остыл, потому что немецкая религиозность была прозаична, надо было вязать тряпочки для вытирания пыли и сидеть недвижно весь урок, глядя на учительницу, – а навстречу нам (был 1905 год) нас ждала Ялта с вестью о московском восстании, и Марина года на три увлеклась революцией. А во мне, угасши после католического пыла, все же теплилась вера в Бога…

А дальше пошли годы сомнений, – может быть, то, что по-немецки зовется периодом Sturm und Drang – Бури и Натиска. Я слушала лекции по философии, посещала на московской Миусской площади огромное здание Народного Университета Шанявского: по древней, помнится, – профессора Григория (Георгия?) Алексеевича Рачинского, по истории средних веков – профессора Виноградова, по новой философии – Густава Густавовича Шпета. Я никак не хочу обвинить их во влияния на меня, они – каждый – кристально чисты. Я сама рыла, как крот, себе путь в подземных путях неверия. Я старательно тщилась уложить понятие о Боге в мой лоб. Он не помещался. А я не знала ничего более верного, чем мысль и ее выводы, и вывод тогда во мне прозвучал: нет Бога!

И я открыла тетрадь и стала писать о том, что нас создали и забыли, и в звучании строк было столько же гордости, сколько и отчаяния, но отчаяния своего я не понимала, а только гнулась под гнетом мирового «нет» (так хорошо о мировом «да» и «нет» сказано у Томаса Карлейля, но его книги пришли ко мне много позднее). И, купаясь в мировом, космическом «нет», я сознавала свое королевское одиночество, и я назвала тетрадь свою «Королевские размышления». Через друга моего Евгению Казимировну Герцык эта тетрадь попала в руки к Льву Шестову (чьи книги я очень чтила). И старый, мудрый Шестов, мудрее, быть может, Талмуда, Лев Шестов, никому не дающий своего телефона, занятый и, может быть, больной, приехал ко мне, 20-летней, с предложением своей помощи издать мои строки в одном из толстых журналов.

– Ваша рукопись должна пойти по России, – сказал он.

Но молодой задор возразил:

– Спасибо, но я хочу входить в литературу самостоятельно!

Тогда мне была предложена огорченным Шестовым визитная карточка. Но она была вежливо отклонена. (Как радостно, что все это так случилось: близилось лето, и, когда моя книжка вышла, московские литераторы отдыхали от своих книг с удочками и корзинками грибов и ягод на дачах). «Королевские размышления», издала я их, слава Богу, в количестве 500 штук, только не заметили.

Василий Васильевич Розанов отозвался книжкой своею «Уединенное». И надпись была такова:

«Да, ты кончишь в монастыре. Я это знаю». (Живу я – правда – не в монастыре, а в Москве, но в женском монастыре в Пюхтице бываю ежегодно – окунаюсь в холодный чудотворный источник и стою на монастырской службе в Успенье, уже 25 лет). И еще статью Розанов написал в газету о том, как взошел человек на колокольню – высоко, один, и готов броситься с нее оземь (он искал эту статью, не нашел, рассказал мне о ней, огорчался).

Я не знала тогда, что, может быть, мысли моей книги веют сатанинским ветерком в космосе, что у каждого человека, мыслящего, есть свой Мефистофель, говорящий с ним на уровне его развития.

Да еще к главному цензору пришлось мне съездить, и он, кручинясь о том, что дочка Ивана Владимировича Цветаева – столь крайних воззрений, просил убрать какие-то слова в оборотах моей речи: «Наш священник не пропустит…» И через год, оценив жар моей книги, Николай Александрович Бердяев и Михаил Осипович Гершензон «выдвинули» меня в Всероссийский союз писателей.

А после всех моих душевных испытаний, в которых открылась душа к начаткам духовного, когда вера явилась плодом пережитого в течение

лет, тогда мне стало ясным, что Бог познается не головой, не мозгом, а душою и сердцем. И было написано много об этом, и названы были мои тетради – «Второй выпуск „Королевских“ размышлений», и уже было понято мною, что слово это горделивое надо ставить в кавычках, ибо Бог, даже в начале пути к Нему, познается в смирении, в сознании своего ничтожества перед Ним, но горькая ирония была в том, что я стала членом писательского союза уже верующей. Но шли революционные годы, никто не напечатал бы этот второй выпуск, он так и остался – в тетрадях, а значилась я в Союзе писателей как автор «Королевских размышлений» (1915) и второй моей книги с тургеневским названием «Дым, дым и дым» (1916). Правда, что в моей второй книге было уже предчувствие истины, потому что в ней были следующие строки:

«В первой моей книге были мои мысли, а в этой – мои чувства, и я не найду лучшего названия, чем „Дым, дым и дым“». Это было в 1916 году. А в 1917-м, в самый разгар революции, моя жизнь переломилась, как орех, зажатый щипцами: смерть второго мужа и нашего маленького сына выбросили меня, 22-летнюю, в самый разгар гражданской войны в одиночество, нищету. За жизнь меня держал только мой 5-летний сын (от первого мужа). И жизнь катилась вокруг бурею и понесла меня по земле, разбивая о скалы неверия, заставляя задуматься уже о настоящем всерьез…

…Но по пути к религии – полная запутанность дорог, как в сказке. Наступила вторая пора сомнений – каким путем близиться к Богу? И всего усерднее предлагала помощь свою… теософия со своими торжественными собраниями, своим языком, разъясняющим, повествующим… расплата за грех, за схождение с пути, завлекательная механика повторимости существований, радостная улыбка в лицо вопрошающему… обещание все разъяснить…

Я бродила меж этих собраний в некоем чаду, старалась успокоить в себе дух протеста, угасить уголек иронии, – уж очень все гладко у них получается!.. Но протест рос, уголек разгорался, и, наконец, – слава Господу! – я ощутила легонький ветерок серы – в благоговейном распорядке *всеобъяснимости*. И какой-то приход мой на теософское собрание стал последним…

Ангел-хранитель, должно быть, подал мне руку – выйти из этих благочестивых доброт: неужели необходимо душе человеческой развоплощаться, перебыть насекомым, лягушкой, теплокровным, достичь низшей формы человечности, подыматься в гору путем прогресса… – не выдуман ли этот прогресс?! и через столетия (не тысячи ли??) стать наконец посвященным… (во что? В Истину ли?) Не во дворце ли Снежной андерсеновской королевы очнуться мальчиком Каем, позабывшим

череду своего детства, теплоту исконную Жизни… – если разбойник на кресте обрел все, пережил озарение в один миг, соприкоснувшись с Христом? Может быть, эти века постижений, философия, неспешка – сатанинские ухищрения? А Христос только в тридцать три года сказал все и поспешил почему-то взойти на крест – радостью билось сердце, коснувшись Истины.

Но еще был друг, старинный, Максимилиан Волошин с его Рудольфом Штейнером, с антропософией… в волшебном замке у самого моря, любимого с юности… С Рудольфом Штейнером, к которому еще в годы неверия моего уехало столько поэтов и писателей из России (но от которого почему-то «ушел» обожавший его друг нашей с Мариной юности и покинувший его Андрей Белый).

Католическим монахом стал и окончил жизнь свою вне мер талантливый, творческий Эллис… а Максинька в своем доме у коктебельского моря стал, в последние годы свои, огромно-улыбающимся Зевсом. В серьезности умиления он написал в стихах поэму о святом Серафиме Саровском, о святом Епифании, об Иконе Владимирской Божьей Матери, которую писал евангелист Лука…

…Туман рассеивался. И тихий свет Православия засветился в душе…

Через аресты, допросы, тюрьмы, 10-летний лагерь, через сосланность «навечно» в Сибирь…

И не свечки и хор, к коим сотни людей годы ходят, лепят себя верующими, а понятие о покаянии и исповеди и о Чуде Причастия. И как радостно мне каждое воскресенье, в 97 лет, если позволяет здоровье, с добрым спутником ездить к Исповеди и с Причастием во рту идти к теплоте и кусочку просфоры, жарко молясь о близких и об их покаянии и молитве, зная, что сейчас моя молитва идет к Богу, как пущенная с тетивы стрела… И видеть детей в стране, где нет пищи, где за молоком очередь – становящихся на колени, крестящихся, любящих церковь. Видеть детей, а не ударников-«октябрят» и доносчиков-пионеров, радуясь, что в нашей стране стало легко и свободно крещение детей и их исповедь и причастие. И не есть ли м о й путь к Богу – путь к Богу Р о с с и и, вернувшейся после 70 лет – в отчий Дом.

ТАИНСТВЕННЫЙ СТАРЕЦ

Это было в 1904 году, в дни, когда из-за полыхнувших во время сильного ветра пожаров, в городе Сызрани, на Волге, выгорела большая часть города.

Рассказала мне это в Сибири, в ссылке, жившая со мною Антонина Константиновна Топорнина (это фамилия ее мужа, арестованного, как и она. Ее урожденную фамилию, я не помню. Будто бы какое-то имение у них было когда-то, запомнилось: «Алексеевка». В 1904 году ей было пять лет).

Вот ее рассказ.

Мы жили возле Женского монастыря и ходили через его ворота. Когда пожар был близко, монахини в панике закрыли ворота. А отец наш был дома. Он попробовал перелезть через ворота, но не смог и упал по ту сторону, в зону огня. Его после нашли, узнали по брелку возле карманных часов – одежда горела, тело было неузнаваемо. А мамы, сестер старших не было дома. Я перед домом играла с соседскими детьми. И вот подходит ко мне седенький старичок, берет меня за руку и говорит: «Идем со мною, я приведу тебя к тому месту, куда мама придет за тобою».

Старичок такой добрый, хороший, и я пошла с ним. Он довел меня до места над рекой и сказал мне: «Отсюда никуда не уходи, сейчас придет мама». Я оглянулась на него, а никого нет… исчез старичок! Никуда не ушел, а исчез. Но тут подошла мама, и мы куда-то пошли к знакомым, где были сестры, далеко от пожара.

И так в нашей семье, твердо жило убеждение, что этот старичок, неизвестно откуда взявшийся и вдруг исчезнувший, был святой Николай Чудотворец.

ОДНАЖДЫ В ЗАГОРСКЕ

Мне рассказала знакомая медсестра, что однажды было с ее матерью: та в Загорске налила в бидончик воды из Источника, и так как одна рука ее по болезни бездействовала, а в другой была палка, мать пристроила бидончик со святой водой на веревочке через плечо и пошла. А на встречу ей старичок в кожанке, седобородый. И он ей говорит – «Дайте, я Вам помогу, – она благодарно передала ему бидончик, и они пошли.

По выходе из леса старичок говорит ей: « – Дальше я не пойду». А тут уж ей близко было.

Она повернулась к нему, хотела сказать «спасибо», – а никого нет, старичок исчез.

– Неужели Святой Николай Чудотворец? – подумала ее мать, – так исчезнуть человек в один миг не может!?

Я записала ее рассказ.

СВЕТЛОЙ НОЧЬЮ

В 1937-году, в тюрьме я разговорилась с пожилой немкой, рассказавшей мне случай из своей жизни. Он так необычен и так тепло прозвучал на любимом мною с детства немецком:

– Было лето, – сказала она, – я ночевала у моей мачехи, мне было 14 лет, мы, вопреки обычаю такого родства, очень любили друг друга… Было тепло, и я спала у открытого окна. Проснулась от странного чувства, что кто-то стоит рядом. Открыла глаза.

Должно быть, светила луна, потому что за окном расплывалась легкая голубизна, и на этом светлом фоне я увидала высокое, нечеловечески-высокое очертание наклоненной ко мне фигуры. За плечом ее я различила длинный изгиб крыла. – Ангел? – подумала я с удивлением и легким испугом, но испуг тут же прошел от чувства внимания ко мне и добра, веявшего надо мной.

Неземное видение еще больше ко мне наклонилось, и на моем родном языке прозвучали удивительные слова.

– Mensch! Gedenke an die Ewigkeit! *

Видение стало таять в лунном воздухе и растаяло. Я осталась одна в голубой ночи. Но слова, неземным голосом сказанные, продолжали звучать.

Не могу позабыть их… С той самой ночи я стала по-настоящему верующей, ничто уже не могло поколебать моей веры, коснувшейся Того мира.

ЧУДО?

С 1937-1938 годов в тюрьме, после сего был 10-летний срок в сталинском лагере на Дальнем Востоке, и одного года 4-х месяцев «дома», у сына под Вологдой, где он работал инженером, я снова оказалась на долгом этапе – 4 с половиной месяца через 5 пересыльных тюрем. Уже поверив у сына в свободу, начав снова давать частные пока уроки – английского языка, я в камере снова и окончательно перестала понимать, что происходит. После 10-летнего срока без суда, без судебного обвинения, и приговора – оказаться вновь в камере – кого бы это не поразило на моем месте?..

К тому за 12 лет со сменой так называемых лагерных «вождей» –

---

* *Человек! Помни о Вечности! (нем). АЦ*

камера и режим тюремный стали совсем другие: в 1937 году, когда большая часть интеллигенции была посажена, тюрем не хватало. В камере № 7 Бутырок на сорок мест нас сидело 170 человек, и от такой тесноты получалась относительная «свобода» – каждому была возможность делать что хочет – спать, разговаривать, плакать, смеяться, засыпать, просыпаться, знакомиться. В 1949 г. обстановка изменилась нацело! Камеры – маленькие, в моей всего 4 человека: – врач-хирург Циммерман, к которой я ездила до ареста на прием, две пожилые монахини – и я.

С тех пор прошло 42 года – я не тщусь назвать над нами парившие имена всетюремных, вселагерных «начальников», сменявшихся. Помнится – Ежов, Ягода, Берия Лаврентий Павлович.

Я говорю о реальности: нам запрещалось днем спать. Коек было, как я уже упомянула, вместо нар – 4, по числу арестованных: час позволения лечь, отбой был поздний, подъем – ранний – видимо, для облегчения следователям общения с усталыми заключенными. Сидеть на койках все же разрешалось.

Но – ибо мы имеем дело с «культурной» страной, – заключенным позволяли – брать книги из тюремной библиотеки и читать – не Маркса и Энгельса, а что хочешь. И мне удалось прочесть по-немецки «Das Adelsnest» («Дворянское гнездо» И.С. Тургенева), за что я искренне благодарна советской тюрьме.

Устав от коротких часов сна, я садилась на койку, взяв в руки книгу, притворялась читающей, изобразив естественную позу, и – погружалась в короткий блаженный сон.

Я знала, что страж ходит, – по новым правилам – по коридору вдоль камер, заглядывая в глазок, проверяя – дабы мы не вздумали уснуть.

«В этот раз я не успела и глаз закрыть, как рядом с собой совершенно ясно увидела – моего умершего по вине врачей второго мужа Маврикия Александровича Минца, живого, живее быть не может. Глядя куда-то вдаль, он говорил мне – особенным образом, без слов, – успокаивал, пояснял непонятное (почему я опять в камере). Тяжелые веки его любимых светлых глаз чуть вздрагивали. Добрый рот, усы, веснушки вверху щек, дыхание его – перечеркивали надпись – на могиле и сам могильный холм. Добро, знакомо, тепло дышала его грудь в военной гимнастерке 1917 года – вольноопределяющегося (как еврей он не был офицером, несмотря на два законченные, высшие учебные заведения – в Брауншвейге и Лейпциге).

Без слов, говорил он, что все будет хорошо, что я жива и он жив, что мы вместе… В миг апогея потустороннего счастья… раздался стук в дверь. Глас стража, отгадавшего мою притворную позу с книгой в руке, крикнул заводным мертвым голосом:

«Не спать!..»

Но я ему не верила. Я искала Маврикия, не отпускала, я дышала им – он ведь только что был здесь.

Утешения Маврикия, с того света пришедшего, сбылись: нас отвезли не в лагерь (тюрьму), а в ссылку. В ссылке человек свободен жить, как хочет, только не может уехать…

Как я счастлива памятью о том потустороннем свидании!..

О МАКСИМИЛИАНЕ ВОЛОШИНЕ

Его я знала с 1910 года по (последнее свидание) 1926. По религиозным убеждениям он был антропософ, сторонник известного тогда ученого и проповедника Рудольфа Штейнера. Таким я его знала много лет. Но в последние годы он писал на православные темы – известны его поэмы, где изложена жизнь Святого Серафима Саровского и жизнь Святого Епифания и полное благоговения стихотворное описание Чудотворной Иконы – Владимирской Иконы Божьей Матери, писанной Апостолом Лукой на доске от стола, где трапезовал Иисус Христос с Матерью Своею Святой Девой. Эти последние произведения резко отличны по духу от другого стихотворного творчества Максимилиана Волошина.

Жена ж его (вторая) Мария Степановна Волошина по предкам своим староверка, сколько я ее знаю с 1919 по 1976 годы, открыто во всеуслышание, в годы гонения на религию, православие ездила со мной исповедоваться и причащаться в 70-е годы в Феодосийскую церковь.

Отец Валерий тяжело болел раком желудка, но с необыкновенным мужеством переносил страдания, ходил на службу, прощался с паствой, говорил проповеди.

Худой, истощенный, он производи необыкновенное впечатление удивительной добротой через силу улыбающегося лица. Я подошла к нему и передала 200-граммовый флакон с водой из чудотворного источника Св. Евфросиньи.

На другой день после службы, когда я подошла к кресту, отец Валерий узнал меня и спросил меня имя Блаженной.

Думаю, что он выпил ее и что она облегчила ему его страдания.

РАЗГОВОР С М. А. ВОЛОШИНЫМ

Из книги «Королевские размышления. 1914 год».

Я. Макс! Сейчас без тебя за столом был спор о том, может ли человек вполне здоровый, нормальный, разумный, прийти к сознанию необходимости смерти.

– К самоубийству?

– Да. Как ты на это смотришь?

– То есть что…

– Да, что он приходит к заключению, что жить – нельзя, и убивает себя – не в аффекте, не из-за настроения, а из разума.

– Да, я допускаю это, конечно. Т.е. видишь ли ты…

– Нет, я только хочу знать: допускаешь ты или нет. Значит, допускаешь.

– Да, это может быть!

– Совершенно здоровый…

– Да. Но только я говорю это, не касаясь результатов такого самоубийства.

– То есть?

– То есть, есть ли смысл в таком самоубийстве.

– Но как? Если я разумом моим не хочу существовать, так, вообще, не хочу – ведь смерть же мне дает этот смысл?

– Вот именно для такого самоубийства результат его очень печален. Вот почему: смерти нет, и дальше ты будешь мучиться тем же, чем ты мучилась, кончая с собой.

– Милый Макс. Я даже не могу ничего возразить, настолько это нелепо! Кто может мне велеть жить, если я не хочу? Если я смею восстать и потребовать смерти?

– Да, конечно, никто, но ты забываешь… (нужно сказать, что мы оба сияем, должно быть, зная за собою: Макс – Штейнера, я – Ивана).

– То есть как? Если я хочу умереть, убиваю себя, то все же это не к чему не ведет? Я снова живу?

– Конечно, ни к чему не ведет. Ты можешь убить свое тело, но ведь духовная жизнь остается. Те муки, которые ты несла в себе – продолжаются…

– Ну, конечно. Мы говорим на разных языках. Ты веришь в бессмертие души?

– Конечно.

– Ну, да, а я в него не верю. И я знаю, что если я себя убью – то меня не будет больше никогда и нигде.

– Ну, да, но вот ты и разочаруешься, потому что все же будет продолжать быть таким, как при жизни (примечание: да простится мне невольный тон превосходства моих слов над словами Макса; и то, что я, может быть, запишу его слова более примитивно, менее умно. Это не моя вина. Над моими словами для меня горит ореол, и он светится в моем тоне. Над его словами для меня ореола нет, и я не нахожу те слова, которыми были сказаны его мысли. Скажу только, что он их говорил с тем же ощущеньем сияния над ними, как я – мои слова. По сиянию, стало быть, слова наши были равны).

Я. Об этом можно спорить всю жизнь, и бесплодно. Потому что никто же из живых мне не докажет, что нет смерти.

– Смерть есть, но не та, которой ты хочешь.

– Ну, да, ты так говоришь. Но ведь для меня эти слова опять – миф. И можно целую жизнь…

– Да нет, совершенно не нужно целую жизнь спорить, Ася. Гораздо проще – говорить с теми людьми, которые это достоверно знают.

– То есть?

– Которые были по ту сторону, в другом мире, и вернулись назад.

– Это для меня, Макс, вздор.

– Но как же вздор, Ася? Ну, если бы человек, которому ты вполне, абсолютно доверяешь, тебе сказал…

– Я бы сочла, что или он или я сошли с ума. Потому что для меня главное – разум. И весь мир стал бы вверх дном в ту минуту…

– Это и должно быть. Наступает момент, когда все, во что ты верил до сих пор, становится иным…

– Нет. Это иным стать не может. Что же мне могут сказать в ответ на то, что я просто и коротко не хочу существования. Я не говорю, что у всех его не должно быть (хотя я, в сущности, и это утверждаю) – позволим тем жить, которые хотят. И пусть они после смерти воскресают (ничего более нелепого себе представить нельзя!). Но я, который не хочу жить, хочу стать никем…

– То есть видишь ли, Ася. Для такого стремления путь есть, да. Убить, уничтожить себя во всех мирах можно. Через зло.

– А, значит, можно! И по вашему можно! Макс! – воскликнула я с тоской. – Неужели же вы все не понимаете, что такой человек – именно с вашей точки зрения – небывалым шагом своим перечеркнул бы все ваше счастье, все ваше будущее! Ведь такое «нет» звучит удивительно привлекательно среди поголовного «да». И ведь его не стереть вовеки веков, как там ни объясняй. Навсегда будет то, что для одного человека не хватило ваших обещаний. Значит, он хотел большего. Значит, может быть большее. Вот эта мысль мне только и нужна, больше ничего.

Вторая часть разговора.

– Ася, я усматриваю у тебя следующую путаницу. Ты смешиваешь закон (забыла его слова, и не буду стараться точно их восстановить, боясь ошибиться)… с законами самой природы. Ты хочешь бороться против того, против чего бесполезно бороться.

– Нет, Макс. У меня нет путаницы. Все совершенно ясно.

– Погоди. Ну, вот, я тебе объясню это образом. Тебя возмущает то, что ты видишь, и ты у себя вырываешь глаз. Но ведь все продолжает существовать.

– Так вот. Я же тебе говорю, что если бы я могла уничтожить всю вселенную – я бы и ее уничтожила. Но так как я этого не могу, то я и уничтожаю то, что могу – себя. Я не хочу: ни бытия, ни разрешения, ни смысла, ничего не хочу. Хочу, чтобы меня оставили в покое. Я не хочу слушать трубу архангела.

– Но ведь ты забываешь, что труба архангела раздастся только тогда, когда внутри себя ее все будут жаждать. Ведь это придет не извне, а изнутри.

– Хорошо. Ну, а если кто-нибудь – ну, допустим! – все же ее не захочет – что же тогда делать?

– Если допустить, чтобы один человек так далеко отстал от других…

– Хорошо. Пусть отстал. Все равно. Что тогда?

– Тогда, конечно, даже из-за одного такого человека все способно остановиться и ждать.

– Ждать? О, ну если так – это превосходно. Мне только это и надо. Значит, ты согласен, что архангеловой трубы быть не может, пока все ее не захотят. Так?

– Так.

– Ну, а если этот человек не «далеко позади», а «далеко впереди» – что тогда?

Макс улыбается.

Я. До него будут тянуть остальных? Тянуть до бунта? А как же архангел?

– Ася, вот возьмем пример. Несмотря на то, что ты любишь жизнь, ты приходишь к мысли о самоубийстве. Так?

– Так.

– Это показывает, что внутри тебя действовали какие-то внутренние законы, которые в тебе произвели переворот. Вот этот переворот будет с каждым.

– Эх, господа, строить здание в надежде на переворот – это… штучка шаткая! Но хорошо. Допускаю.

– Погоди. Будет полное перерождение, абсолютное. И затем – не

забывай, Ася, что есть люди, которых миссия есть миссия отрицания (вот то, о чем ты сейчас говоришь). Которым всю жизнь дано быть непокорными. Бунт. Но этот бунт может быть ближе к богу, чем вера. Не забывай, что пути к богу различны. И что путь *богоборства* может быть еще гораздо вернее *богопокорности*. Ты помнишь слова Христа о том, что в царствии небесном больше радуются одному обращенному грешнику, чем девяносто девяти праведникам…

– О, это очень тонкая мысль! Еще бы! Девяносто девять глупцов или один умник? Приятно к себе залучить умника. Да еще такого, который сам отрекся от своего ума – уж он глупец навеки, уж никогда не возмутится, никуда из рая не уйдет. А проповедовать-то как будет…

– Ася, дай сказать. Есть одна индусская легенда: в ней предстает душа перед Брамой, и Брама ей говорит: тебе остается уже немного воплощений (у них воплощение считается миссией и наказанием), чем ты хочешь быть: еще шесть раз святым или два раза – дьяволом? И душа отвечает: конечно, дьяволом. Это легенда показывает, что пути различны, но цель одна. И путь дьявола стремится к тому же, только он труднее, чем путь святого, и быстрее.

(Примечание: странно, однако, что вот уж прошло столько тысячелетий, было столько святых, а дьявол все еще не пришел к богу с повинной.)

– Помни, что непокорность – это самое сыновнее чувство, непокорные вместе с творцом творят мир. Но тут существует еще одна вещь: это непонимание того, что есть бог. В твоих словах я вижу отношение к богу, как к какой-то высшей и чуждой силе, которая смеет тебе приказывать. Но есть другое отношение к богу. Чувство бога в себе. Я – сам бог.

– Макс, скажи мне одно, для меня главное: какой смысл всего?

– Какой смысл всего??

– Ну, да, всего. Какой смысл мне все это делать, что-то думать, что-то постигать, слушаться бога, творить мир и т.д.? Если я ничего этого не хочу? Есть ли в конце концов во всем этом какой-нибудь смысл? К чему все стремится? Где эта конечная точка, у которой…

– Конечной точки мы не видим и не можем увидеть. Но есть пункты отдаленные, в которых…

– Ну, вот, назови мне самый отдаленный пункт.

– То есть я назвать тебе его не могу. Я могу только отчасти объяснить то… ну, вот видишь ли: то, о чем ты говоришь, это находит себе отклик, свое начало – в первом возмущении против бога; не в грехопадении людей, а в протесте ангела, в сознании бунта – в дьяволе. И, если проследить историю человечества, все, собственно говоря, исходит от этого и идет об этом.

Он говорит об этом дальше. Наконец, я его прерываю.

– Значит, все же – какой конечный пункт наших стремлений? Как ты можешь это формулировать?

– Формулировать короче это нельзя, пожалуй.

– Ну, – настаиваю я, – каким-нибудь словом, чтобы было легче говорить (я чувствую, что слово это для Макса рискованно, но я очень хочу его иметь в руках), ну, как-нибудь!

– Ну, искупление греха, что ли, искупление мира…

– Ага. Великолепно. Все стремится к искуплению мира. Так. Соглашаюсь. И вот, положим, что мир искуплен.

– Та архангелова труба, о которой ты говорила?

–Вот, вот, вот, великолепно, я к этому и клоню. Все пришло в порядок, все искуплено, все кончено. Что же делать дальше?

– Дальше? Но ведь ты забываешь, что наша жизнь – это крошечная частичка того, что…

– Ага, так? Хорошо. Тогда можно сказать вот что. Да, во-первых, ответь: все ли нам станет после этой архангеловой трубы понятно? То есть, допустим, что все, так?

– Все.

– Все стало понятным. Так неужели же нам скажут: продолжайте теперь существовать. Ведь это же… ведь это… я не знаю – насмешка! Ведь жить нельзя, когда все понятно!

Макс улыбается.

– Я не знаю. Для меня лично, например, только тогда и раскрывается возможность существования, когда все понятно. Когда я сам становлюсь часть…

– О нет! – восклицаю я. – Боже мой! Да ты и неправ! Потому что ведь вы сами признаете смысл в жизни из-за искания и надежды. А ведь тогда не будет надежды. И затем: если мы все постигнем, то мы постигнем и бога (иначе что же такое «все»?). А постигнув бога, мы сами станем богами. Кажется, этого не полагается. Нет. Еще единственное, что меня могло бы утешить – это то, что мне бы ясно сказали: эта жизнь – крошечная часть того, что есть. Затем, если бы во время архангеловой трубы мне бы объяснили всё это существование, и сказали бы: ну, а теперь живи дальше, иной жизнью, в которой для тебя снова все будет непонятно, но которую когда-нибудь тебе объяснят. Я не трогаю тут, я оставляю в стороне ту простую возможность, чтобы эта процедура мне осточертела через два-три существования. Я допускаю, что я согласна принять такое предложение. Оно скучно, но еще приемлемо. Но чтобы все объяснили, навек, без остатка, и заставили бы теперь жить – вот уж когда настоящая-то минута для самоубийства!

Я встаю.

– Но вернемся к тому положению, что конечное – это искупление мира. Но к чему оно? чтобы он существовал, да? Стало быть: мир существует, чтобы быть искупленным. Он искупляется, чтобы существовать. Какая великолепная сказка! Она знакома с детства. Она тогда называлась: сказка про белого бычка.

На вопрос о необходимости существования мне, конечно, Макс, не ответил. На вопрос, что делать с тем непокорным, который не хочет слушать архангелову трубу, но который стоит не позади, а впереди всех, на этот вопрос он мне опять-таки не ответил.

Вывод:

Чем сильнее верующие веруют, чем светлей их сияние, чем темней нам от этого, чем страшней и душно, тем легче должно стать дыхание, тем глаза должны стать ясней! И если они за нас будут молиться – спокойно вынесем это зрелище. И если бы люди взяли и разорвали бы – каждый сам себя пополам – из любви к богу и веры в него, так ведь это же моя торжествует правда! Каждый новый жертвенник своим трепетным огоньком освещает песчинку – чего же? – бездны. Я скажу громкую фразу: чем больше выходов кругом – тем безвыходней!

И еще я скажу: как сложно они доказывают необходимость жизни, будущего, искупления… И как ясно и кратко я говорю: «нет». Как много теорий и путей, чтобы спастись! В целую жизнь едва поместятся доказательства ее необходимости – так сложно. Но ясности моего «не хочу» много даже для одного дня!

Июнь 1914. Коктебель.

Проснувшись ночью, я лежала и долго не могла заснуть. Свет еще не проникал сквозь ставни, было темно и тихо. Ночь. Сколько раз! Та же тьма, та же тишина, те же сверчки, или цикады, или комары – если лето, и вьюга – если зима, те же неясные очертанья предметов, и медленный бой часов, и шорох, и гудок поезда, и внезапный прилив тоски. Я слушала, как все было тихо; где-то на дороге звонко дребезжала арба; тонко пел комар, приближаясь и удаляясь; няня вздохнула, как вздыхают только во сне. Тихо. Начинаю различать предметы. Так лежать ночью, слушать, как тихо, как прокричал петух (значит скоро рассвет)… Кто-то рядом спит и, проснувшись, будет, может быть, верить в бога и не видеть безысходности вокруг. А ты лежишь и видишь так ясно, что от этого некуда уйти. Все говорят о чем-то «высшем», а правда – с тобой. Вот выйди сейчас на балкон, в сад, во двор: Млечный путь, и падающие звезды, и необъятная черная глубина. Точки, крапинки, шарики

звезд, и молчание. И аксиома: пусть за небом грань и конец, все же есть бесконечность; если у неба нет конца, оно бесконечно, если бог есть, он в бесконечности; все – часть бесконечности. Поэтому все безнадежно, а бесконечности не уничтожить никогда.

Ах, эти пробуждения ночью, какой озноб, какой трепет! И, когда, опрокинув голову, смотришь вверх… Так: разум идет своей единственной, ужасной дорогой, доходит до бездны, видит и застывает. Есть два шага: вперед, к смерти, и – назад к людям, к богу, к закрыванию глаз. И вот начинается новая жизнь. Бездна – та же, но человек убежал от нее. О тех, кто не бежал назад – мы ничего не знаем. Все, кто проповедуют – бежали. Могу ли слушать их!.. Невыносимая горечь охватывает меня при их именах. Точно я не знаю, откуда так горяча их речь! Если постоять подольше под небом, не опуская глаза, то сам удивишься тому вдохновенью, тому грому призывов и приказаний, которые назавтра загремят в твоей проповеди!

Если стоящий у бездны шагнет вперед, в смерть, он будет холоден, как лед, к оставляемым людям. Если ж он рванется назад – то с неистовым пламенем. Это пламя, источник которого неизвестен людям и очень известен мне, жжет их и светит им так, что они падают ниц.

Август 1914. Коктебель.

О СВЯЩЕННИКЕ ВАЛЕНТИНЕ СВЕНЦИЦКОМ И О ГОДЕ ЕГО СМЕРТИ

Валентин Свенцицкий был в 10-х годах XX века членом Религиозно-Философского общества.

Видимо, мучимый религиозными сомнениями, в годы, когда рядом с религией процветал и атеизм, он написал книгу под названием «Антихрист». За эту книгу его исключили из Религиозно-Философского общества. И он исчез из Москвы.

А в 20-х годах я, после Гражданской войны вернувшись в Москву, услыхала о замечательном проповеднике, священнике в церкви на Воздвиженке. Я пошла туда.

Да, это был отец Валентин Свенцицкий. Но я, увы, опоздала: он арестован, и его выслали из Москвы.

Прошли годы. Сколько – не знаю. Но весть о смерти его – до меня – дошла и с нею рассказ о том, как его тело везли.

Было лето. Поклонники сумели устроить его гроб в отдельном товарном вагоне, но когда узнали, что везут тело «попа» – гроб грубо выбросили из вагона – так, что даже часть тела выпала из гроба. Но друзья вновь погрузили гроб – и довезли до Москвы.

Было жарко. Опасались, что идет разложение. Но запаха не было, и тело оказалось нетленным. Похоронили на Ваганьковском кладбище, и туда стали идти и идти вереницы людей. Как – не знаю, но властям удалось прекратить это.

В 30-х годах, за несколько лет до моего ареста, подруга моя, Мария Ивановна Гринева, дала мне читать переписанную ее рукой рукопись Валентина Свенцицкого: диалог Н и Д – Неверующий спрашивает, Духовник – отвечает.

Рукопись, сочетавшая в себе глубину мысли, проникновение в страдание вопрошающего, – видимо, о себе вспомнив в книге «Антихрист» – и философский блеск ответов, превозмогший демонизм сомнений, благость старшего к запутанности мышления младшего. Это была рука помощи, мост, путь над бездной.

А еще позднее я увидела фотографию отца Валентина Свенцицкого: ожидав строгие аскетические черты – я поразилась противоположности: на меня, через меня, на всех, на мир глядело худое радостное лицо с чем-то мальчишеским – в старости, доброе и почти веселое, испытующе-утешающее, живое лицо.

А недавно молодой друг мой Коля Леонтьев – правнук Константина Леонтьева, свез меня к моим родным на Ваганьково и свел меня на могилу отца Валентина Свенцицкого.

О ПОЭМЕ «ОРО» ОТЦА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО, НАПИСАННОЙ ИМ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Не думала я, когда видела Павла Флоренского в Москве в 1922-м году у Н.А. Бердяева, что мне в 1992 году – через 70 лет – придется писать о нем, когда его давно уже не будет на свете, а мне 97 лет. Я помню его, черноволосого, желтолицего, худого. Он был в рясе. Я видела его сидящим и о росте не берусь сказать.

Что больше всего поразило меня, когда я, уже по зрению потеряв способность читать, слушала поэму из уст его внука, П.В. Флоренского?

На этот вопрос я отвечу, что постараюсь не забыть нескольких ответов, во мне звучащих сейчас, когда я это пишу.

Я начну с самой горней темы: с той совершенной внутренней свободы, с которой он, священник, в заключении уже несколько лет, нам дает знать о своей духовной позиции, этой надмирности, согретой теплой скорбью о том, что он видит кругом.

Отмечаю, что он не упоминает о своем сане, вовсе не зная – тогда – что мы после него узнаем: он не захотел сан с себя снять – это и явилось, видимо, главной причиной его смертного приговора, вынесенного 25 ноября 1937 года – и приведенного в исполнение 8 декабря; стало быть, отец Павел Флоренский в течение двух недель, час за часом ждал смерти, – но это его тайна с Богом, тайна между Богом и им, и я отступаю в молчание.

Перехожу к теме – человеческой, теме искусства, ему подвластного в классической форме, – но и об этом он скажет нам сам.

И, однако, есть же у меня право – а если право, то есть же и долг сказать, что пишет он так же свободно, так же легко – органически, как, уже сказано, чувствовал себя в заключении. Пишет прекрасно, как будто ничего иного в жизни не делал.

И как сочетать это с его саном священника, ежедневно державшего Чашу с Христовым Телом и Кровью, – это тоже тайна его с Богом, а мне остается только жалеть, что не пришлось мне принять Причастие из его руки.

За мою долгую жизнь я много читала духовных стихов, то есть стихов на духовные темы, но в них большею четью не сливалось содержание с формой, ибо форма была слабее. И я впервые встречаю это высокое мастерство стиха из уст человека надмирной – подойдет ли тут слово – «профессии»?

Но и это даровано отцу Павлу Флоренскому – Богом, и мне следует еще раз отступить в последний уже раз, как бы коснувшись им даруемой скромности, – ибо не обо всем скажешь прозаическим языком…

Отступаю еще раз, в последний, в молчание, в единственный способ выразить преклонение перед этой высочайшей судьбой…

Этот очерк – краткое предисловие к поэме «ОРО», написан по просьбе П. В. Флоренского – АЦ.

НЕПОСТИЖИМЫЕ

О животных

Много лет (15–20) я, в зрелом возрасте, спрашивала священников и психологов о крайне меня интересовавшей теме – есть ли *душа* у животных? От психологов я ответа не получила, а священники сочувственно слушали мои примеры о собаках, умиравших на могиле хозяина, и отвечали по-разному, в разном тоне, то мягче, то категоричнее, но все же – отрицательно. Но если так, что же заставляет собаку следовать за хозяином прочь из жизни? Шире – не только собак. В книге воспоминаний художника Сурикова, если память моя, мне 97 лет, не спутала фамилию, я прочла, как вела себя любимая кошка его старушки-родственницы, умершей в имении, зимой. Кошка, почуяв смерть и увидав свою хозяйку лежащей на столе, сидела под столом, за спущенными как занавес простынями. Когда пришли отпевать умершую, кошка вышла и села у порога. Когда понесли гроб хоронить тут же в парке – кошка пошла за всеми, в лютую метель. Домой есть и жить не приходила, а когда пошли дня через два на могилу, увидели кошку, занесенную снегом, замерзшую, протянувшую вперед передние лапы. Чем, если у животных нет души, объяснить этот факт?

Я говорила священникам: но ведь в раю животные были, лев пасся рядом с ягненком и никто ни на кого не нападал – ведь это после грехопадения человека животные вышли из рая, и, значит, с ними же, с достойными, они должны в рай вернуться.

Кто-то сказал мне: «Да, душа, может быть, и есть у животных, но – временная…» Но тут я поразилась уже не кошке на могиле хозяйки, а отчетливо, – дикому сочетанию данного мне человеком ответа: «временная душа», полной несовместимостью этих двух слов и понятий. А дальше, вдруг – так бывает, когда в тяготу наших тем посылается луч небесный, – мне в руки пришла книга – «Рай и ад». И там я прочла, что блаженный Андрей (их было, помнится, три – в III, IX и X веках, какой из них, не знаю) – «был восхищен до третьего неба» (цитата) и любовался высотой и красой райских деревьев – он увидел за ними силуэты животных, «они перекликались музыкальными звуками, шерсть на них была как бы шелк и цвета зари и неба». В то время как блаженный Андрей стоял и дивился – сверху ему был Голос: «Что ты удивляешься, Андрей? Неужели ты думал, что Бог хоть *одной* Своей твари даст – тление?».

Прочитав эти нечеловеческие слова, я стояла в состоянии великого счастья. *Наконец* я получила ответ! Но сразу затуманилась радость. Что, как ответить теперь в Уфу отцу Александру, мне сказавшему: *Мы,* кто удостоится, войдем в Рай – преображенными!

А о преображении животных нигде не сказано. И я написала ему письмо с вопросом: «Могу ли я верить всему, что сказано в книге, изданной в 1903 г. (так помнится) и одобренной Синодом?» И получив в ответ «да», я списала титульный лист и о блаженном Андрее в Раю, о преображении животных в Вечности, – и стало тихо и светло на свете. И я еще больше – если это возможно – полюбила животных. Все истории их жизней, мне встретившихся, я собрала в книгу. И улыбнулась сравнению: они живут с нами, как немое кино – действуют, чувствуют, но без слов. Немое кино было таинственно, как они. Разомкнув уста, стало кино грубее. Оправдалось мое давнее «Вы» – животным и грудным детям. Совпало с названием моей книги «Непостижимые».

Ребенок на руках матери – бессловесен. Он пришел из Неведомого нам мира, из тайны и воплощения души, из Вечности. Он приглядывается к нам, к нашей жизни. Не понимает ее. Но он *учится.* И когда, спущенный на пол, бегает, говорит – он утерял свою таинственность. А собака и кошка возле него – таинственность сохранили. В три года ребенок идет в ясли и в детсад. Он уж научился сказать: «Как дам тебе в *мойду*!» Он сжимает ручку в кулачок – уже стал гражданином своей советской страны, и я, само собой, говорю ему «ты». А с котами и псами я навеки на «Вы», иначе не получается.

А еще – я вспоминаю где-то давно прочитанное утверждение восточного учения, что человек создан по образу и подобию Божьему, а животные – по образу и подобию – ангельскому.

Да, животные безгрешны. Грех, так знакомый человеку, животным – неведом. И животные, как и ангелы, жалеют нас за эту великую разницу. А о том, как человек обращается с животными, – лучше не говорить. И нет слов.

МЫ НИКОГДА НЕ БЫВАЕМ ОДИНОКИ

Жизнь была полна неожиданностей – и радостных, и горестных. Но она была очень настоящей – жизнь была настоящей.

У какого-то святого я читала: случайных встреч не бывает. Или этот человек нужен тебе, или ты нужен ему. А может быть, вы оба нужны друг другу.

Самая удивительная встреча, которой я была свидетелем, была

встреча моей сестры Марины с Сергеем Эфроном. Удивительная встреча, но – жизнь разделила их, погибли они врозь… А мои «божественные встречи», из тех, что способствуют «духовному росту»… У меня много было горя, встречи с ним очень подвигают на пути роста, каждый идет собственным путем. Но я видела и гениев этого времени – я знала Максимилиана Волошина, «последнего пророка России». Он был прав, когда писал, что «из праха обращенных в прах восстанет праведная Русь». Он верил в это – ведь если ты веришь в Бога, ты не можешь не верить в будущее России, за эту страну молится Божья матерь. Когда я узнала, что Юлия Друнина написала незадолго до смерти: «Потому выбираю смерть, что Россия летит под откос», я подумала – как же это нелогично! Если любимая тобой Россия летит под откос, почему же ты не летишь вместе с нею, почему же ты даешь себе право выбирать какой-то другой путь? Вот так любовь!

Лети с ней под откос, а, может, ты поднимешься вместе с нею?

Я когда-то написала об Осипе Мандельштаме так: «он был сочетанием принца в изгнании и, одновременно, не до конца оперившегося птенца». Он был беспомощен в жизни, и то, что Надя, его жена, сумела взять его на руки – это удивительно, это ей зачтется. Мандельштам выдержал в лагере – Надя говорила – всего восемь месяцев. Он не выдержал лагеря, он не вынес эпохи. Сравниваю его с Пастернаком: сила и слабость. Пастернак – сильная личность, все от него отвернулись, а он все вынес, он не сдался.

Первая моя напечатанная книга была о несуществовании Божьем: мне было двадцать лет – «Королевские размышления». Я хотела Бога уложить в лоб свой, мыслью его понять, но он не укладывался в лоб, и я объявила его несуществующим – как алогичное явление. А когда я поняла, что Бог отражается в душе человека, я написала вторую часть «Королевских размышлений», но шла война, книг не печатали, и вторая часть была потеряна, пропала.

Мы никогда не бываем одиноки – нам помогают сверху, нами распоряжаются, нас поддерживают. Если даже не знаешь молитвы – обращайся к Богу, обращайся, наши жаркие просьбы никогда не остаются неуслышанными…

Часть III

СЕЙЧАС Я ВАМ ЧТО-ТО СКАЖУ…

О сборнике молодых поэтесс «Вечерний альбом»

Первое, что хочется посоветовать молодым поэтессам конца XX века – это то, что я наблюдала в юной жизни моей сестры Марины Цветаевой: серьезного отношения к своему дару поэзии. Это уже в ее 16 лет был труд. И, если вспомнить то, что предшествовало ее первому сборнику, вышедшему в 1910 году – Марина переводила с французского языка пьесу в стихах Эдмонда Ростана – «Орленок».

Как она трудилась над ней! Увы, эта работа не сохранилась по обстоятельствам множества переездов в ее жизни. Но она в 1909 году заслужила высокое одобрение наших друзей – поэтов и писателей Л.Л. Эллиса, А.К. Виноградова и переводчика В.О. Нилендера. Только после этого Марина взялась за составление сборника собственных стихов.

Первым, кто поздравил Марину Цветаеву с выходом ее первой книги, был Максимилиан Волошин. Но ему не понравилось в издании слово «альбом». «Почему „альбом“, а не „тетрадь“? – написал он ей в ответном стихотворении. – „Тетрадь“ – проще и строже».

В слове «альбом» есть некоторая манерность. И в альбомы девушкам вписывались случайные стихотворения, стихотворный сброд. А в Маринином сборнике все поразило Волошина раннею полноценностью, подлинностью, простотой своеобразия, «Тетрадь» казалось ему – честнее.

Но сборник уже вышел, поправить дело было нельзя – и также, может быть, нельзя изменить название будущего сборника молодых

поэтесс. Может быть, было бы лучше этот сборник назвать «Вечерние тетради» – не альбомом? В память Максимилиана Волошина?

«Сейчас я Вам что-то скажу!» – говорил иногда Борис Пастернак, умевший в ответ на вопрос или тему затронутую начинать «мыслить вслух». Так и я хочу попробовать выразить то, что касается женской лирики. Слушая эти лирические высказывания – плод настроения, плод воспоминания, плод предчувствия – вернее, предвосхищения будущего, один совет рвался из меня за последние полвека моей жизни, и, может быть, мой долг – его высказать, как плод опыта моего. Самым ценным всегда казалось мне не задерживаться в дебрях чувств, настроений – во всем разнообразии есть и однообразие, привычный калейдоскоп. Но есть одно дело, которое проверяет поэта, является экзаменом его способностям: это, выбрав героя, героиню (древность, история, современность), создать облик, воплотить образ человека, некогда жившего, оторваться от себя, занять себя кем-то другим. Сослужить ему службу – вызвать его еще раз на арену жизни из тьмы забвения, из тишины прошлого, через себя дать его голосу прозвучать.

Я знаю случаи, когда поэт находил себя именно через отказ от описания мимолетных состояний души, через старание понять душу избранного героя; дав ему зазвучать через труд служения ему, пишущий выковывает свое дело. И в процессе создания любимого образа уже служебно приходили на помощь свои поэтические состояния, как опыт предчувствованного. Не как отдельные блики, а как продуманность и испытанность своим сердцем. Тогда, отданный на служение другой цели, поэтический опыт давал истинное блистание. Уйдя в глубину, восставал заново творчеством воплощения близкой души. Став не самоцелью сказать о себе, поэтическое сознание росло, обогащалось.

От всего сердца хочется мне пожелать молодежи *попробовать* в своих тетрадях такое. Я убеждена глубоко, что никто из вас не раскается, что эта «овчинка стоит выделки». Что каждый из вас, пишущих, засверкает по-новому, ярче и радостнее – п о п р о б у й т е!

И не то ли сделала Марина Цветаева, когда в 16 лет, до своего первого сборника, запершись в маленькой комнатке антресолей отцовского дома, все силы свои отдала переводу с французского языка пьесы «Орленок», блестящего рассказа о трагической судьбе больного сына Наполеона, росшего как бы в плену враждебных сил в Австрии, в окружении страны его матери, под присмотром ненавидящего его Меттерниха.

Стих «Орленка» перевода Марины был – кованый. Проведя за этим трудом много месяцев, находя соответствия слов французских и русских, проблуждав упоенно и победоносно в этой чаще сходств,

разниц и в поисках встреч, в аккордах узнаваний, в благозвучии двух языков, в радости нежданных гармоний, Марина, как в прохладную реку, окунулась затем в свой родной язык, и в нем уже совсем победностью звучала встреча рифм – в сопровождении ритма, повелительная гармония родного звучания слов, богатство самовыражения! И читали:

Море синеет вдали как огромный сапфир.
Детские крики доносятся с дальней лужайки.
В воздухе – чайка.
Мальчик играет, а девочке в друге – весь мир.

Перелистываем страницы:

Ты вдруг, не венчана обрядом…
Без пенья хора, мирт и лент
Рука с рукой вошла с ним рядом
В прекраснейшую из легенд…

Листаем, останавливаемся на странице:

И память о нем мы уносим
На целую жизнь. Почему?
Мне десять лет было, ей – восемь,
Одиннадцать ровно ему…

По опыту знаю, что ничто так не учит бережности к отбору слов, как перевод. Правда, что приводить в пример Марину и меня, знавших с детства – учились им – кроме русского два иностранных языка: французский, немецкий (так считалось нужным в культурном кругу XIX и начала XX века). Но разве в революционные десятилетия не было открыто множество курсов иностранных языков? Будем честны! Но предлагали их молодежи знавшие нужность этого, делали это с большим жаром, чем взялась за это молодежь! Разве не веселее и проще было отдать свой досуг развлечениям? Веселью, кино, телевидению, частому (может быть, более частому, чем это было нужно) посещению театров? «Хлеба и зрелищ!» Давнее утверждение! И учение языкам – такое необходимое культурному человеку Запада – отставало. И – отстает! И в этом винить можно саму учащуюся молодежь! Кто из вас, молодые поэтессы, честно руку на сердце положа, не сознается, что часы досуга идут не на учение, а на развлечения!

Слышу голоса: «Сколько же можно учиться?»

Отвечаю: а сколько же развлекаться? Большинство молодежи, учащейся в институтах и университетах, учатся языкам. Но – как?! Если бы с жаром! (с готовностью отдать свое время на вхождение в иностранный язык с твердым решением им овладеть!) О, знаю и таковых! Было в моей старческой жизни письмо женщины с цитатами из английской классики! и на другой странице – из немецкой классики! и в конце письма фраза: «Мне на днях исполнилось 16 лет!» – «Я стара, чтобы со мной играть в прятки, – отвечала я. – Сообщите Ваш настоящий возраст!» – «А что же мне делать, если мне на днях исполнилось 16?»

Эта девушка пишет стихи. Я предложила их в наш будущий сборник. Она не пойдет в кино в часы занятия языками. Как я хотела бы больше таких девушек! Чтобы брали с нее пример!

Если бы вы поверили старому человеку, как много значит в вопросе культурного уровня знание языков!

Возможность – умение – навык транспонировать (как в музыке – из одного в другой тон мелодию) мысль из своего языка – в другой! Это же пламенно интересно! Это – как сесть на корабль и плыть мимо других берегов… Это постоянное путешествие в другие страны и есть изучение языков!

И отсюда – прыжком в тайну овладения родным языком!

Ничто так не учит отбору нужного слова, как сравнивание своего языка с другими. Вот тут и кроется, тут и живет, и течет река высокого искусства перевода! Сперва – с иностранного на свой, затем бережно, упоенно со своего на иностранный…

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Lonely I go out onto the glistening;
Flinty road that lies in mist afar;
Night is still. To God the waste is listening,
And the star is speaking to the star.

(The star – как родовое понятие…)

Я хочу сказать, что искусство стихосложения требует очень строгого отношения к себе – авторского, что вовсе не достаточно того, что строка и строфа – «получились», что, от этого, первого образца исходя – идет, должен идти труд проверочный, критичный, нельзя ли сказать лучше.

В черновых тетрадях Марины Цветаевой такое количество вариантов, что диву даешься, как же она в итоге останавливалась, когда решала, что лучше сказать нельзя? Но на это она нам отвечает в дневниковых записях. Она утверждает, что «сама вещь» в процессе ее создания руководит поэтом; что из 100 возможностей она потому иногда выбирает уже 101-ю, что «„вещь“ – „упирается“: меня не так зовут».

На первый взгляд, такое утверждение звучит странно, даже дико – но, углубляясь в анализ тайны стихосложения, мы понимаем правоту Цветаевой, хотя порой нужное слово приходит много быстрее.

Число «101» – это то психологическое преувеличение, которое учит поэта не бояться труда проверки отбора, не бояться труда над строкой – пока не придет отрадный вздох облегчения – чувство, что ты у цели, что ты добился того, что Марина Цветаева называет «зерно зерна».

Всего удивительнее, что мы находим такое определение именно у нее, которая на той же странице утверждает, что пишущий находится в состоянии «наваждения» или «сновидения». О том же самом «зерне зерна» говорил и Борис Пастернак, бившийся за то, чтобы «дойти до самой сути».

Думается мне, что они говорят о том же и что вот именно это страстное желание, эта суть – найти, и сопровождается состоянием «наваждения» или «сновидения».

То же мы находим у опытной, старой, талантливой поэтессы Евгении Куниной, на девяностом году пишущей:

Я не сажусь и не пишу:
Меня смывает и уносит.

Стык этих двух утверждений – об отыскании «зерна» – и процесса «уносящего» и является, видимо, той творческой победой над материалом, которая и создает «вещь». Об этом Максим Горький говорил: «вещь – с п е т а».

Как надо задуматься над этим, понять это – молодым!..

ЯВЬ И СТИХИ

Чтобы сколько-нибудь верно понять Марину, надо пройти по путям её детства и юности, как прошла с ней я. Вряд ли ошибусь, что основной тон её жизни был – т о с к а. Ею окутанная, её ненадолго сбрасывая, к ней, как в родной дом, возвращаясь, только об неё утешаясь, она жила.

С детства она жила с книгами. Только ими она утолялась. В этом она брала пример с матери. Но у матери ещё была музыка. Да, она жаждала передать этот дар дочери. Но не было в том насилия, как Марина рассказала, не сказав о том, что у дочери был дар к музыке. Мать хотела его дорастить до уровня своего, дать дочери утешение в музыке. Это ей не удалось: проживи она дольше – а Марина не бросала музыку, пока мать жила, – Марина бы достигла той мощи, той свободы за роялем, которой владела мать. И – кто знает – много легче прожила бы жизнь? Но Марина любила книги персонально, как человека. Это были талисманы – от дня.

С лет её детства ничто тут не дрогнуло! Никакого вырастания, кроме физического. Как в 7, 8, 9 лет в России томики Пушкина и Давид Копперфильд; в 10 в Италии – книга «Il cuore» («Сердце»); в 11 во Французской Швейцарии – «La vie de Napoleon Premier», в 12 в Германии – «Lichtenstein» Hauff'a, рыцарские романы, легенды, книжка «Heidi» о девочке 12 лет, жившей в горах; в 13, в 1906 году, – судьба лейтенанта Шмидта, три года увлечения революцией; в 16 – «L'Aiglon» («Орлёнок») Ростана и град книг о Наполеоне и его сыне, культ первой жены Наполеона, Жозефины, ненависть ко второй жене, Марии Луизе. Тайный восторг чтения, уединение с книгами, вековечное празднество, ненависть к быту и будням, бегство в них от всего и всех.

Но кругом жизнь шла. Надо было как-то всё-таки жить. И, оглядываясь вокруг, не находя ничего достойного, она привязывалась к именам, к слову.

В ясное утро моих восьмидесяти семи я помню два таких имени, создавших Марине двух людей. В них зарыт ключ к пониманию Марины. Я слышу их отголоски в моём ещё живом сердце. И я о них расскажу.

Где-то встретилась Марина с девушкой Женей Гуревич: по-китайски поставленные глаза под напуском чёрных волос. Но у неё был брат, носивший необычное имя: Платон.

Среда окружающих Петей, Федей, Колей, Володей это имя прозвучало как знак к отплытию, и корабль надул паруса.

Брат Жени был молчалив, это был тот его признак, на котором сам собой строился замок. Это был вдохновенный подарок. Его можно было пригубить и пить, как из тарусского ковша в жару. Целую зиму Марина была счастлива. Этим именем. В благодарность ему она ожидала от владельца чудес. Нет, не так: она чудеса создавала. На сестру его Женю падал отблеск имени брата. Марина ходила в гости в их дом.

В восемнадцать лет в доме одной из подруг по гимназии она встретилась – и как было не пригласить его к нам – с юношей по имени Евграф. Надо ли говорить, что буквы начальные растаяли, как снежинки

в руке, оставив на ладони драгоценную тяжесть, как от на балу «Войны и мира» произнесённого слова.

На балах в предреволюционном быту тех лет мы не бывали. На гимназические, где подруги сверкали, сияли, смеялись, Марина не ездила. Но был драгоценный вечер, когда юноша этого имени вступил на порог Марининой комнаты дома в Трёхпрудном, и Марина назвала его «Граф».

Что я помню об этом юноше?

Согнутую фигуру в медленном шаге по комнате. Что-то неуловимое? Нет, уловимо сходное с Нилендером. Он любил, говоря, ходить. Говорил и, когда заканчивал мысль, задумывался, и его голос переходил в почти бормотание. Это и меня тогда – мы же чувствовали одинаково – умиляло. Освещённое его усечённым именем, это бормотание представало волшебным.

Где был потом этот «Граф» во все годы Марининой жизни? Когда кончился? Он любил её стихи. Не о них ли говорил, обходя вечером комнату?

Я только на минуту заходила, позвать к чаю, – но в столовой их вместе не помню.

Может быть, он жив и доселе? Старец-фантом, который любил стихи…

Но ещё за два года перед тем, приехав из Парижа в Тарусу, Марина, тоскуя по празднику, выдумала мне в подарок, прося не выдавать её, выдумку, некоего Юру, признаки коего были: золотые глаза, светлые кудри, походка – «будто бы не касается земли»… Он будто бы увёз меня в пещеры Улая (мне было ещё четырнадцать лет, и я пылко дружила с Анатолием Виноградовым). Марина отмела это прочь. Бегство, погоня – глава романа. «Легенда никогда не умрёт» – сказала Марина.

Через пять лет – Марине было больше двадцати – она уже обрела удивительного друга в Серёже, у них уже была дочь. Зимою 1913 года в Феодосии Марина мне рассказала про необыкновенного человека. К Серёже зашёл по делу. Зовут его Фридолин. Чудное имя, правда? Очень большие глаза. Застенчив. Умно улыбается. Она ничего не знает о нём. Она напишет о нём стихи.

…Не успела! Прихожу. Марина стремится навстречу.

– Ася, знаешь, – и в усмешке, в неподражаемой усмешке рта горечь, задор, тихость юмора, – это была фамилия, понимаешь? Фридолин…

Но ведь это же девическая мечтательность в кавычках, она цвела в девяноста из ста в те времена… Так цвела? Ни в одной! Потому что у них мечта проходила. Дав путь жизни. У Марины она *не* прошла. Укре-

пилась. Пустив корни и дав плоды в шумящих – и отшумят ли когда? – неподъёмно густых ветвях дерева её творчества.

…Тем, что я написала, всем, что из этих записей явствует, только и можно объяснить череду Мариниых переписок.

Чем тяжелее становилась её жизнь – война, почти целое десятилетие разлука, разруха, – тем страстнее предавалась она упорству мечты.

Я совсем не хочу сказать, что всё в жизни её было нереально. Была высокая реальность в нескольких встречах её пути, но и в них она пламенела не тем, что было, а тем, что казалось.

До страшного дня, скорого часа, когда вдруг ясно, как *в* ясновидении, представила ей явь отношений. Знаю и помню больше: что в эти минуты Марина могла быть беспощадно несправедлива, обвинить через край, опрокинуть всё то, что было, явь объявить ошибкой, заливая бывшее горечью без края и дна.

Но что же происходило в тех встречах, где, собственно, не было встречи? Известны такие. Дочь Марины получила в архив матери, десятилетия спустя её смерти, её письма, которые иначе нельзя назвать, как любовными, – с пояснением: «Адресат и матушка Ваша никогда друг друга не видели» (её пыл начался с какой-то его статьи, где он писал и о её творчестве, – и она уверилась в том, что он её понял).

Как того Юру, Платона и «Графа» в 16 и 18, Марина и в 30, и в 40 лет создавала фантом и билась о его недостаточное понимание. Так было и с Пастернаком, и с Рильке. Бориса она видела всего несколько раз и не успела изучить его. С Рильке Марина письменно добивалась встречи: по признаку его стихов она уже давно его, больного, мысленно взяла на руки – и отступала, и мучилась от недостаточного накала ответов: он не мог объяснить ей, что с ним, потому что и сам не знал, из него уходила кровь, он уже умирал, но ещё отвечал на письма. Росло белокровие, а Марину ранила его пассивность… Страшная правда открылась во внезапном молчании. Затем пришла весть – смерть.

Из непомерной боли утраты росли ему посвящения, ему вслед.

Это же случилось и между Рильке и Пастернаком. Борис дивился неувязке ответов Рильке: писала умиравшая рука…

Таковы в жизни большие поэты: не видят явь. Одновременно в творчестве владеют ясновиденьем в душе другого. И пророчеством. Можно бы привести примеры и из Пастернака, и из Марины, но не тут, должно быть, этому место.

Так же было и с обожанием Мариной Анны Ахматовой почти десятилетие до того: цикл стихов, возносящих её на высоту ни с чем не сравнимую, – почти не видев и не слышав её.

То же самое и с Сонечкой Голлидэй. В непомерной щедрости своей

Марина наделяла человека, одаривала несметным количеством свойств своего поэтического воображения. Не поставила ли она эпиграфом к одному из отделов своего первого сборника слова Наполеона: …L'imagination govern Le Mond (Миром правит воображение)?

Но из этой плеяды надо исключить Пастернака: тут было чем восхититься и захлебнуться, один он из поэтов был близок ей и сколько-нибудь ей равен. Вдвоём они бросились к Рильке, почуяв собрата в слове. И, может быть бы, и воплотилась эта тройственная дружба поэтов, но он умирал. С Пастернаком, увы, Марину развела жизнь – сложность и трудность эпохи. И несходство их личностей. И оттого боль эта ещё больше.

Только этим и можно объяснить тайну Мариниых переписок, череда коих так поражает читающего.

…И, однако, вернёмся назад, к той осуществлённой встрече, которая короновала юность Марины, – и которую позднее запутала, замутила жизнь, – к человеку, никого, кроме Марины, до конца своего не любившему, несмотря на разногласия эпох и событий, их разделившие. К мужу её, к отцу трёх детей. Которому она, отряхнувшись от своих увлечений, как от воды пудель, горестно и покаянно писала: «У ворот твоих, царь истинный, Стою нищая».

Помня его, Сергея Эфрона, истинное чудо Марининой жизни, коего теперь только я свидетель, мысли эти о Марине я бы хотела закончить исповедными её строками, к именам жизни её обращёнными:

…Как я хотела, чтобы каждый цвёл
В веках со мной! под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-накрест перечёркивала – имя…
Но ты, в руке продажного писца
Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! внутри кольца!
Ты – уцелеешь на скрижалях.

В обручальном её кольце.

…–Но «Поэма Горы» и «Поэма Конца» – скажут те, кто не слышал, как я (годы спустя поэм), – добрый и мирный тон Марины с Серёжей – и через плечо, никакой – с Константином Радзевичем, героем поэм.

И – последнее свидетельство, ещё через много лет, в последнем письме к сыну: «Если ты когда-нибудь увидишь Серёжу и Алю, скажи им, что я любила их до последней минуты».

КОРНИ И ПЛОДЫ

по поводу статьи «Листья и корни» И.В. Кудровой («Звезда», № 4, 1976)

Все чаще стали появляться в печати критические очерки о творчестве и личности моей сестры Марины Цветаевой, и не все выводы достаточно обоснованы и продуманны.

Мне хочется остановиться на анализе мемуарного материала о нашем детстве, анализе, бросающем, как пишут о Маринины очерках и моей книге «Воспоминания», два разнородных луча на совместные детские годы: на различие восприятий наших. Восприятий? Нет, восприятие было не то что сходное, а как, может быть, бывает у близнецов – близнецовое. (Как голоса наши – их не различала из соседней комнаты старшая сестра. Многие годы мы выступали, в унисон, читая стихи Марины. Природная одинаковость каждого повышения и понижения голоса (у других сестер и братьев не встреченная, вызывавшая острое изумление) еще никем не была рассмотрена как фактор поразительного совпадения восприятий. Ибо интонация – явление не внешнее, а внутреннее. Не восприятия были разные – разные были *задачи* в мемуарах ее – и моих.

При удивительном сходстве душевного строя – *глубокое* различие характеров и стремлений.

Появись мои «Воспоминания» при жизни Марины – она бы не оспорила в них ни строки: ибо все в них – быль, Марина же были не подчинялась, *ее* отталкивала. Но Марина и я – «свои люди – сочтемся». Ответить же ошибкам критиков – мой долг, ибо никто не знал Марину так близко, как я. Но как в детской игре в горелки, чтобы схватиться за руки – надо пробежать большой круг расставания – такой я начинаю сейчас. Я должна *рассказать* многое. Я прошу большого внимания для трудного бега по кругу: впереди – единение согласия…

2.

При всей душевной близости нашей к матери – мы уже были детьми нового века. На отвращение матери ко лжи мы отзывались с некоторой глухотой. Мать хотела того же отвращения у нас. Мы же в детских днях ложь – допускали. Но в то время как я, малодушествуя после проступка, своей лжи стыдились, – Маруся отмежевывалась от покаяния – в тайную надменность, в насмешку. Она оставляла за собой право

особого отношения ко «лжи» и «правде», право неотдавания отчета в глубинных своих чувствах – никому. Это осталось в ней и до взрослых лет, перейдя в «*право поэта* отстранятся от человеческих мерок», в «неподсудность поэта иному суду, кроме своего». Этому отдана львиная доля Мариниых размышлений об искусстве (под названием «Искусство при свете совести»), вначале этому названию противоречащих и лишь в конце долгих лет ее мыслей об искусстве обретших это заглавие: ибо только последние годы ее трагического одиночества повернули ее лицо к иным мыслям и чувствам.

Но я забегаю вперед.

Я с т а р а л а с ь сказать об этом в «Воспоминаниях». «Смутно мне открывалась особая часть Мусиных чувств, не моя („при всем нашем сходстве“) жажда отчуждения радости от других, властная жадность встречать и любить все – одной! Зоркое знанье (поэта?), что все принадлежит одной ей, ей, ей – больше, чем всем. Ревность к тому, что бы другой (особенно я, на нее похожая) любил бы *так же, как она,* – деревья, луга, путь в Тарусу, весну… Тень *враждебности* падала от ее обладания книгами, музыкой, природой на тех (на меня), кто похоже чувствует. Так было до наших 14-16 лет. Страстное тоскующее требование быть единственной и первой – во всем! Оттолкнуть, заслонить, завладеть…»

Однажды я без Марины открыла ее парту и читала ее книжку «Золотые кудри», что-то восхитительное было в ней: девушка – башня замка – чей-то далекий путь, чья-то разлука, и над полем с костями – ветер и реяние птиц… Сердце пылало почти как от Ундины, когда вошла Маруся. Я не успела перевернуть страницу. Она молча подошла, взяла книгу, спрятала ее в парту и оттолкнула мена: «Читаешь чужие книги?» – Мой ответ потонул в бурности пониманья: просить? невозможно! Разлука с «Золотыми кудрями» была суждена, как разлука героев книги. Маруся унесла ее и никогда не приносила вновь. И я знала: ее страданье ревности, что в ее «наедине» с книгой вкрался третий, не менее сильно, чем мое горе – о недочитанном… Эта сцена не удивила критика, писавшего о «задыханьи от одиночества» Маруси. А наверное мою книгу читал? Казалось бы – критику – вот минута «избавиться» от «одиночества», в котором будто бы (критик полагает) задыхалась Марина (не она ли сказала – «Только двое: я – и мир!..»).

А я ведь писала в моей книге: «Что-то было сходное между Марусей и „маленькой разбойницей“ Андерсена, и Маруся любила ее совсем особенною любовью – иной, чем Русалочку, Оле, Ундину», – в той любви было некое узнавание, молчаливый кивок – родному.

Была в Марусе некоторая брешь в ее отношениях с дурным – и хорошим. Со страстью к чему-то и в непомерной гордости она легко и пылко делала зло. Не легко на добро сдавалась! Насмехалась, отрицала суд над собой. В статьях своих критики как-то забывают в Марине существенное, когда живописуют ее тоскующей по ласке (в которой ей – будто бы! – отказывала мать). Обедненной и упрощенной представляют они ее себе (нам). Я не перегружаю мою книгу этой темой, но следует прислушаться к тем проявленьям Марины, которые я рассказала. Ведь они *очень* похожи на поступки детей ее возраста, в них пылает яркий огонь ее одиноко горячей индивидуальности. Из всех сказочных образов – нашелся всего один, ей родственный: андерсеновская «маленькая разбойница». Тем не менее я была самым близким к ней человеком – до года наших замужеств.

Критик, основываясь на некоторых местах мемуарных ее очерков, перестает задумываться, сопоставлять и, вдохновляясь готовой концепцией (годящейся для другой натуры), начинает взывать к жалости (годящейся для любой натуры, но не пригодной – к Марине). Не за то надо жалеть ее! Не могу привести *имя* философа, но некий философ сказал: «Не в тот ряд поставленная истина является ложью». Но вот Марина сама говорит о себе в детстве:

Я люблю такие игры,
Где надменны все и злы,
Чтоб врагами были тигры
И орлы.

Чтобы пел надменный голос:
«Гибель здесь, а там – тюрьма»
Чтобы ночь со мной боролась,
Ночь сама.

Я несусь, – за мною пасти,
Я смеюсь – в руках аркан…
Чтобы рвал меня на части
Ураган!

Чтобы все враги – герои!
Чтоб войной кончался пир!
Чтобы в мире было двое:
Я и мир!

Как после этого читать ламентации критики о маленькой Марине: «И чтобы уж совсем не задохнуться в одиночестве» она просит младшую сестру «помечтать» с ней: «Давай помечтаем! Немножечко помечтаем! Совсем немножечко помечтаем!» (и ответ сестры, что ей мечтать надоело, потому что она хочет рисовать). Мне хочется себе на минуту представить, подобную сцену не на бумаге, а в яви. Думаю младшая, пораженная таким обращением (громом, раздавшимся над отцовским их домом), осталась бы стоять, глядя на старшую, выронив цветные карандаши и тетрадку – вместо ответа.

Ибо тут не один критик, а сам автор забыл себя в детстве, ибо не только такого не было, но *не могло* быть! Это слова какой-то «соседской Маруси», из той не выросла бы Марина Цветаева, которую читает весь мир. Марина потому не могла сказать этих слов и их не сказала, что всю жизнь скрывала свою мечту, ревниво *оберегала*, не хотела делить ни с кем!.. И критики это знают, – почему же не изумляются, как удивилась я? Не поразила эта мемуарная сцена критика, только что утвердившего верно – Маринино «единоличное чувство»?

3.

Муся, Маруся, Марина! С первых лет – выдумщица, творческие силы несли ее, как молодого коня без удил, по простору, ей одной равному.

Как могла бы она, выросши, проглотив столько книг (литературу нескольких стран – юность), пройдя через столько душ и судеб (зрелость) – сесть за стол и – повторять жизнь, из которой рвалась с первых лет. «Не тот случай» в чернорабочем труде мемуариста…

Я скромно воссоздала быль, Марина с о з д а в а л а *свою* быль. Ей бы просто *в голову не пришло* спросить себя: а так – было? Нищету такого – чьего-то – вопроса она просто отвела бы рукой. Ей «дом», «семья» – были плацдарм. Брала их, как трамплин. По «памяти» шагала – как человек по луне: шаг – и прыжок! Прикоснется к яви – обожжется – отпрянет. Игра идет во весь пыл!

Был конец лета 1909 года Приехав из Парижа, где – ей еще 17 лет не было – прошла в Alliance Française курс французской литературы, она попала в мою тарусскую ватагу ребят. Лодка – песни – костры – и с нами Марина. Эпос обожаемой Франции, старогерманские легенды, и с них, как с трамплина тоже – в свой фантастический вымысел – луной над костром. И забывали ребята, что ночь, что дома их – потеряли…

Но Марина скучала. Перед нашим отъездом в гимназию она – мне:

«Знаешь что? Я тебе расскажу! Только не мешай мне, пожалуйста: Приедем в Москву, пойдет слух и не когда не исчезнет: тебя полюбил Юнечка, его зовут Юрий, он тебя увез на Улай), Вы скрылись, за Вами была погоня, вас разлучили. У него золотые глаза и светлые кудри и он ходит так легко, будто не касается земли. Ты его никогда не забудешь – и никому о нем не говоришь…» Смеясь, я сказала: «А если это дойдет до папы?» «Ну, он же знает, что этого не было! А другие поверят! Ты только *молчи*! Это и будет похоже на правду!»

Осенью Марина следила за продвижением легенды… Я же улыбалась и молчала.

Потом история эта как то кончилась сама собой…

В 1928 году, получив от меня весть, что вдова Иловайского убита, преступники пойманы, идет суд – Марина не дождалась конца суда – кровь диктовала перу – написала свое виденье убийства, и *так* написала, что до конца времени живы в читателях: ночь – шорох шагов за дверями, прислушиванье, страх жертвы, взлом двери, голос: – Входи, ребята… Дрогнула ли Марина, если ей довелось узнать, что жертва, пойманная вечером на улице, убита, оставив грабителям цепочку с ключами от сундуков, и засунута в углу двора в уборную? Марина не убеждалась явью. Ее девиз был – «Искусство важнее жизни».

Ее фантастическая душа бродила среди *яви и неяви*, как по заколдованному лесу. К ней приложимо, словно о ней написано:

«…О горькой жизни рок! Между землей и небом
Разомкнуты начала и концы…
Как часто сон и явь, в часы затменья Феба,
Меняют ощупью свои венцы!»*)

Это перекликается с нею.

4.

Пылко продружив с нашей старшей сестрой все детство и всю юность, в 16 лет после ссоры, в которой была виновата, Марина из-за ложного стыда переходного возраста не снизошла к покаянию. В ранней гордости не простила сестре строгость ее отхода и, десятилетия прожив с этим чувством, ввела в мемуары, перенеся в детство, зачеркнув былую дружбу, искаженный образ сестры: «Зеленые глаза, длинный нос, тонкий рот – ведьма». Осмеяла ее пенье – матерью ей передан-

*) Мои стихи 1938 г. *АЦ.*

ное сопрано, с которым – дуэтом – соединяла свой альт наша мать. Тут уж не Марина владела пером, страсть гордости – ею…

Вернувшись в 1947 году после полного отсутствия, ее дочь дала мне – в рукописи – прочесть «Мать и музыка» (напечатано в журнале).

Великолепные страницы о ее детском восприятии рояля, живейшего из живых существ, анализ «верха» и «низа» (клавиатура), грома первых и еле-слышности последних нот. Кто еще когда *так* писал? Но – не з а с т а в л я л а мать играть восьмилетнюю дочь четыре часа в день (2 по 2). Два по часу – возможно. С грустью прочла я изобретенный – к роялю и к теме – образ матери и свой детский портрет – непохожий. Но пока только *ее* перо писало такое – я оставляла это на ее творческой совести. Когда же критики начали строить на таком материале в корне не верный образ матери нашей, и он входит в литературу – я должна возразить критикам. Сказать, кто была мать Марины Цветаевой.

Из печатного отчета, читанного нашим отцом в 1908 году в Комитете Музея Изящных Искусств, – о маме:

«…С редким совершенством владевшая, также и практически, четырьмя иностранными языками, превосходная переводчица лучших беллетристов Италии, Германии, Франции, отличная пианистка и большая любительница палитры, она горячо отдалась делу созидания нашего Музея. Она ездила в художественные центры Западной Европы, принимая участие в разработке требований для нового Музея, и в собирании слепков памятников искусства для нашей коллекции. Область классической культуры она знала, как, может быть, не многие женщины в нашем отечестве: она вела дневник и записи по музеям, особенно увлекал ее Альбертинум, знаменитый музей Дрездена. Она ездила на Урал для ознакомления с ломками белого мрамора. Когда того же года ее внезапно поразил неизлечимый недуг, то и больная, в Италии, Германии, на южном берегу Крыма, она до самой преждевременной кончины не переставала думать об успехах Музея. Одной из ее предсмертных дум была горечь сознания невозможности увидеть свою Москву, свой дом и Музей. Делая предсмертные распоряжения, Мария Александровна завещала значительную часть своего состояния в вечный капитал Музея Изящных Искусств… для составления библиотеки имени ее отца. Об этой любви ее многих лет и к нашему делу, любви большой и искренней, но скрывающейся от других и потому мало кому ведомой, доложить ныне Комитету я счел сердечным долгом».

А Марина дает мать только музыкантшей, одержимой музыкой, хотевшей *только* музыки, *ломавшей* дочь, хотевшую *только* стихов; мать – *боровшейся* с ее стихами!

Прочтя «Мать и музыка», мой любимый из современных и поклоняющийся Марине поэт Б.Ахмадулина читает с эстрады великолепные стихи! Но послушаем, что в них:

«…Тебя, как всех,
учили музыке. О крах ученья!»

Крах Марининого учения музыке? В 7 лет с триумфом выступившая на вечере в музыкальной школе? Меня тоже учили музыке, но по почти – краху ученья в музыкальную школу *не* отдали. И на меня надежда мать *не* возлагала. *Меня* учили «как всех», но *Марину*…

«Рояль и ты – два равнозначных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя разноязычие друг друга.
Два мрачных исподлобья сведены…»

(Глухонема к музыке – в 12 лет *так* игравшая сонаты Бетховена, что музыканты дались бы диву!)… Но поэт прочел «Мать и музыка» – а в этих мемуарах автор отрекается от своего призвания к музыке – утверждая призвание к слову! Самозабвенно кидаясь в бой доказать, что она росла как поэт, она заслоняет музыку другой страстью щедро и яростно, как все, что она делала, *отдавая* свой талант к музыке! Но он *был*! Но он был *второй* талант – как и у Бориса Пастернака, и она не хотела его!..

Марина сдвигает темы и строки: в 12 лет она несомненно лучше играла Бетховена, чем писала стихи. (Ее 13-летние, еще слабые, приведены полностью в моей книге «Воспоминания». Начинаются так:

«Не смейтесь Вы над юным поколением.
Вы не поймете никогда,
Как можно жить одним стремленьем,
Лишь жаждой воли и добра…»

(Революционная зима 1905-1906 гг.)

Маруся в те годы мало писала – она глотала книги на трех языках. Но гений ее не обманывал: музыка ей мешала. Мать умирала, и дочь играла, радуя мать. После смерти матери, растоптав свой второй талант, она целиком отдается слову. Это совпало с годами бурного роста. Вот ее стихи 15-ти лет, они живут только в моей памяти (но я их мно-

го лет назад послала в ее архив, хранившийся у ее дочери А.С.Эфрон, умерший в 1975 г. в Тарусе, и завещавшей все ЦГАЛИ и другу Марины И.Г.Эренбургу.

«Где-то маятник качался, Голоса звучали пьяно
Преимущество мадеры я доказывал с трудом,
Вдруг заметил я, как в пляске закружилися стаканы,
Вызывающе сверкая ослепительным стеклом.

Что вы, дерзкие, кружитесь, ведь настроен я не кротко,
Я поклонник бога Вакха, я отныне сам не свой,
А в соседней зале пели, и покачивалась лодка,
И смыкались с плеском волны над усталой головой».*)

Начатый Мариной в «Открытии Музея», все круче растет гротеск. Юмор почти зловещ. Дом в Трехпрудном (с помощью досужей критики) превращается в некий застенок. Почему же об этом же доме Марина-поэт не пишет:

«…Детство лучше сказки…»

и

«О, как солнечно и как звездно
Начат жизненный первый том…»

и

«Был заповедными соснами
В темном бору великом
Прежде наш домик любимый.
Нежно его берегли мы…»

и

«В переулок сходи Трехпрудный,
В эту душу моей души…»

*) С этих стихов начался расцвет ее поэзии. *АЦ*

А в 16 лет на год засела в маленькой комнате антресолей за стихотворный перевод «Орленка» Эдмона Ростана. В 17 его закончив – кованым, взрослым стихом, – узнала от А.К.Виноградова, что он уже переведен слабо Щепкиной-Куперник, огорчилась – хотела быть первой! – и не напечатала, и положила его в стол… (Где он теперь – неужели он уцелел до архива дочери?) Кстати, о столе: ей, 16-летней девушке, отец подарил письменный стол: не такой, как был у матери, маленький (его взяла я), а почти как был у него, мужской. Знаменательно! См. ее поздний цикл «Стол».

К а к читать – и читатели его читают! – что от Марины мать *прятала* бумагу, чтобы стихов не писала. Что ей подкладывали нотную бумагу! И никто не спросил себя: нотную – зачем? Она кончилась еще в бытность *Мусей*, в 6 лет, когда, вглотнуты были нотные значки, ключи, паузы – распахнуты стояли печатные книги с сочиненьями композиторов – и звучал рояль! Нотная бумага нужна композиторам – ими не были ни Маруся, ни мать… Как было читать мне, в доме жившей, – что в нашем профессорском доме от дочери нашего отца жена его, друг, секретарь, писавшая на 5-ти языках, прятала от дочки бумагу, чтобы не писала стихов! Могла ли я, так хорошо все помнящая, такую невероятность – забыть! Да понадобись Марусе хоть раз бумага – я бы ей нанесла бы горы – с папиного стола! Из корзины под столом, где я царствовала, вылавливая для рисования «волшебную» с водяными знаками… Я бы неслась с ней – кабинет – гостиная – зала – по лестнице в детские антресоли – как неслась с куском холодной телятины из буфета, по просьбе Маруси, болевшей, на диете скучавшей, – как неслась лиса с петухом!..

Для чего писалось такое? Гротеск, как о бобровой шубе – в жару?

И вот в «Мать и Музыке» рождается невероятная мать, мать в шорах (а разве в шорах может быть музыкант?). Мать без палитры, мольберта (без обожаемого нами ее – мамы – пейзажа – снег – луна – волк на опушке леса, огоньки деревни внизу…) Ее картинами была увешана гостиная.

Мать с *чужой* речью (чуть не жаргоном): – Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! – Я замерла, прочтя: так *мы* громили наших детей, пройдя с ними через войну, разруху и голод, когда они, в тяжелые дни, упорствовали. В то давнее, мирное время дом наш не слыхал такой речи. (Характерно, что ни одного случая своего поведения, подобные слова вызвавшего, Марина *не* привела).

Я подхожу к самому тяжелому. В присутствии всей семьи над страдающей Марусей творится беспощадная расправа – осмеяние стихов, выкраденных (кем – не сказано).

«Ты лети, мой конь ретивый,
Чрез моря и чрез луга
И, потряхивая гривой,
Отнеси меня туда!»

«Куда – туда? – смеются все: мать торжествующе: не выйдет из меня поэт! – отец – добродушно, репетитор (го-го-го), брат – подражая репетитору, младшая сестра, институтка Валерия не смеется – в пику мачехе. А я – я, красная, как пион, оглушенная и ослепленная ударившей и забывшейся в висках кровью, сквозь запекающие, еще не проливающиеся слезы – сначала молчу, потом ору: – Туда – далёко! Туда – туда! И очень стыдно воровать мою тетрадку и потом смеяться!» (Эпизод из «Истории одного посвящения»).

…Невозможная при матери сцена! Именно ее пуританство, на котором так настаивает Марина, не допустило бы не только ее *участия* в подобном – но на корню бы срезало этот гнилой гриб! Мать сразу бы призвала всех к порядку – и как вспыхнул бы ее гнев! Но, оставляя и это в стороне, – Марина в запале своего писанья, в горе не меньшем, чем тот пион Мусиного – ею описанного – лица, – не вспомнила того, что нацело это все перечеркивает: маминым почерком, Мариной читанные, написанные в дневнике слова (трепет о ж и д а н ь я, н а д е ж д ы в самом факте записи): «Моя 4-летняя Маруся ходит вокруг меня и все складывает слова – в рифмы. Может быть, будет – поэт?» и через еще четыре года так осмеять дочь?

И чтобы желать неписанья стихов дочери – надо было стих не любить. И сколько же еще есть людей на свете, их не любящих! Но – «не тот случай!» знавшая поэзию пяти ведомых ей языков, нам читавшая стихи на трех, нам доступных…

Мне грустно еще то, что и отца автор включил в эту сцену. Отец был не «добродушен», а добр, и, случись такое, при материнском участии невероятное, – взял бы «красную, как пион» дочь – под защиту…

Не позволь Марина руке написать такое – критику не пришлось бы сетовать на глухоту «милых, начитанных, интеллигентных взрослых к ребенку. Было все, прочла я в какой-то статье, – книги и музыка и мраморные бюсты богов, не было только сердечности, близости детей и родителей…»

Бедный Маринин дух, метавшийся среди чужих, в стране изгнания, если она пошла на такой трагический, все упрощавший вымысел, чтобы стать понятой чуждым ей читателям!

А о «младшей сестре», старшей сказавшей (пишу по памяти, но, по-

разясь, запомнила – всем своим существом!): «Я буду ехать в „ландо“, а ты будешь сидеть у дороги, Ты будешь – собака»… – тут уж окончательно не вяжется – ничто: ни мое отношение к Марине, ни мое отношение к собаке, ни мое отношение к «ландо»…Я бы сказала: «Марина!» и твоя выдуманная девочка, противопоставляющая «ландо», то есть богатую коляску, СОБАКЕ, – это противоестественная девочка на тысячи верст от нашего дома в Трехпрудном – при нашей страсти к собакам и кошкам – я за каждую из них отдала бы все коляски всех стран!

Дочь наших отца и матери не могла мечтать о «ландо» (я и до сих пор не знаю, что оно значит!). Если эти очерки выходили до моего из Москвы «отъезда», мне Марина их *не* присылала. Я бы могла написать ей: «Зачем ты выдумываешь такую, небывшую, мать… А ту с „ландо“ сестру твою, младшую, надо было бы уничтожить еще при рождении… Не могла бы она стать твоей (из твоих стихов) неразлучной, в унисон бы не читала стихов!.. Это о ней – ты писала:

„Мы быстры и наготове
Мы остры
В каждом жесте, каждом взгляде, каждом слове
Две сестры…“

И куда же ландо денем?» И Марине нечего было бы ответить. «И потому, что от худшей печали шаг – и не больше – к игре, она засмеялась бы и потянулась бы (вижу жест – так, кстати, собаки тянутся) – и пошел бы у нас разговор…

И может быть, будь я с ней тогда, в ее безысходный час – она бы и сейчас была бы с нами… – кто знает… и что говорить?!

5.

Центр мемуаров Марины – она. Ее – поэта среди поэтов – одиночество. (Но и в толпе поэтов она – пребыла бы в исконном одиночестве поэта).

Перед *этой* задачей – так она чувствовала – бледнели и быль и небыль. *Какими* средствами это одиночество дать? Любыми! Что было под рукой, из того и слепилось. Увы, не домом нашим живым себя окружила – в спешке, в журнал (их было всего два, ее в те годы печатавших) – а с помощью *декораций*, бросивших – как по расчету Кваренги, Растрелли – в зданиях, колоннадах – тени. Она раздвинула плечами – семью и вышла. Раздала членам семьи нужные для замысла роли. Роли – вокруг нее. Замысел дать такого ребенка требовал жертв. Был нужен фон. Контрастный сюжет делался понятен тамошнему зрителю.

Мятежный ребенок и мать-пуританка, не понимавшая дочь! Марина *писала не летопись,* а нужные для замысла этой пьесы – характеристики.

И стало две матери – та, что жила в душе (и не годилась в пьесу, все усложняла), и та, которую диктовала перо, для контраста с ребенком. Не сомневаюсь еще в одном: что Марина не раз становилась в тупик перед своей задачей…

Даже простую натуру родить на страницы – трудно: чтоб ходил, – дышал – говорил – действовал. (Кто осилил это всерьез?) Ребенка? – Аксаков! (недаром его так любила Марина!) – Достоевский и – Лев Толстой. Недавно – Распутин. Но им было легче – в России писали. Дать же издалека детство, русское, такой сложной натуры, как маленькая Марина Цветаева…

Бедная, одинокая, заброшенная в своем изгнании Марина! В беззаконной свободе перешагнувшая через запреты душевные, через предсмертный, бессмертный материнский завет: «Живите по правде, дети!»

И, может быть, во время среды, ее не принимавшей; семьи, там распадавшейся; с тоской по покинутой родине (см. ее письма к А.А.Тесковой), ей и первая семья ее, давняя, брезжилась в сумраке. Мрак перехлестнулся и туда… Вписываясь все глубже в создаваемое, она все больше верила ему, как поверила в «не того» Анатолия Виноградова, когда писала очерк «Жених», в никогда не бывшего Юрия.

Читаю выводы критика – что едва ли за детство Марина услыхала от матери хоть насколько ласковых слов. Ведь это уже не Маринино утверждение, это критик уже от себя… Чудовищно!

Мемуарные наброски Марины стали обвинительным актом нашей матери?! Но если так – что, критик только полистал мои «Воспоминания»? Разве нет там вечеров наших с матерью (стихи Марины «Курлык», «Волшебный фонарь», вторая книга стихов, 1912), втроем, под шубой – и, через годы, в Лозанне (в моей книге и в стихах Марины «В Ouchy» (Набережная лозаннская) в комнате, с русским чаем, с памятью о России… Во Фрейбурге в субботы и воскресенья, когда, отпущенные из строгого интерната, мы оживали в материнской ласке, рассказывая ей все события за неделю, вспоминая теперь уже и Лозанну, и Италию, и Москву!.. Одним вековечным движением («в унисон» – как голоса наши) прижавшись к матери справа и слева, тоскуя о близкой разлуке, а она читает нам вслух, утешая и отвлекая, и не можем мы надышаться близостью – (что бы ни писали критики о разнице наших отношений с матерью!), равно – обожаемой матерью. И этот вечный страх потерять ее, тоска от ее непадающей температуры. Теме нашей любви к матери и

ее любви к нам отдано много страниц моей книги. Это все не запомнилось критикам? Грустно!

Потребовалось убрать с пути всех – чтобы выйти на авансцену. Любовь матери к нам и ее справедливость ни разу не предпочли ни меня – Марине, ни Марину – мне. Не об этом ли «Сказка матери»? Две свечи, по уговору с разбойником зажженные в лесной часовне (знаменовавшие дочерей), – та, чья свеча сгорит раньше, будет убита – горели совсем ровно, сгорели ни на миг одна раньше другой – так как мать дочерей любила!

Подчеркивая разницу натур сестер, памятуя беговые коньки младшей, критик указывает, что старшая до последних лет боится ходить по городу. «До последних лет» означает все предыдущие годы. Неверно перечеркнута молодость Марины, ходившей по горам с М. Волошиным, с Эфроном, облазившей с ними весь Карадаг – сильными, как у лани, ногами.

«Я подымаюсь по пыльной дороге,
Белой, звенящей, крутой.
Не устают мои легкие ноги
Выситься над высотой…»

(Стихи к Пушкину, 1914 г.)

Лишь годы вдали, отвращаясь уличного движения Европы (плюс природная близорукость), она не рискует одна ходить по Парижу.

Младшая названа «любимицей» матери, старшей же подарен титул «отверженности». Это совершенно неверно. Уже юношей старший брат, пасынок матери, не раз бросал нам: «Ваша мать (в те задорные годы он уже не говорил „мама“, как все 12 лет, прожитые с нашей матерью и нами*),.. ваша мать меня любила больше, чем вас!» Не означали ли эти слова, что она была ко всем нам троим справедлива? Будь я любимицей, если бы так говорили в доме, разве он не сказал бы «меня больше Аси?», Смысл его вызывающих слов был тот, что он, пасынок, был наравне с *родными* дочерьми. Его, сироту, жалела, им, красавцем, любовалась. Мариной – гордилась. Меня, побывавшую при смерти, берегла.

6.

«Будь моя мать так же проста со мной, как другие матери с другими

* Далее брат Андрей жил у своего деда Д.И. Иловайского, не позволявшего ему бросать русскую гимназию и ехать с нами за границу.

детьми», – пишет Марина. Почему она себя не спросила: «А ты была такова, проста, как эти „другие“ дети?»

Манифест детства Марины начинается с – «Я люблю такие игры, где надменны все и злы» и кончается «Чтобы в мире было двое: я и мир!»

Что бы делала эта «простая» мать с такой дочкой?

Но и эти «если бы» – умозрения. А вот – быль:

Лето, 1905 год. Шварцвальд. Мы бродим вдвоем по лесу, фантазируем: а что если б вдруг мы оказались детьми – дровосека? И как ни старались, – не вышло представить других родителей – корни родства были слишком глубоки. Не получилось у нас сказки Шварцвальдского леса!.. «А ты можешь себе представить, ну представь себе в место мамы – другую мать?» И обе, в унисон: «Нет, конечно»… (мать без Наполеона, Сократа, доктора Гааза, без рояля, мольберта, письменного стола…) – «А отец? Не папа?» Отец без Музея, какой-то совсем другой… и мы уже смеялись вовсю!

Голову даю на отсечение, что и в тысячу девятьсот тридцать пятом образ матери жил в душе Марины не тронутый камуфляжем (для облегченности пьесы…).

И как мог такой образ – не жить?

И если Марина-девочка под пером Марины вставала в чувствах своих – живая! – пусть это оплатится горькой ценой ей послуживших муляжей.

Знаю, не раз пылала Маринина голова над тетрадью – о *себе* пишу? Это – я?!..

Мы никогда не узнаем ее – себе о себе – ответа. Его унесла с собой.

«Марина узнала в себе – мать», пишет критик. И с разбегу впадает критик – закругляя фразу – в ошибку: «но *мать* себя в дочери не узнавала». Откуда такая смелость обращения с материалом – отсутствующим? Данных на такое утверждение – нет. Но данные есть – на обратное: именно в Марине мать себя узнавала: в таком строптивом ребенке – увлечение теми же самыми историческими героями. И в талантах себя узнавала: литература, языки, музыка… Я же была еще совершенно ребенком, когда умерла мать.

И о внешнем сходстве матери и нас – неточно. Все считали иначе: старшая – в отца, младшая – в мать. О сходстве обеих сестер – ни слова. Разве не читала И.Кудрова у Марины:

«Обе изменчивы, обе нежны,

Тот же задор в голосах,

Той же тоскою огни зажжены

В слишком похожих глазах…»

7.

«Листья и корни» называется статья И.В.Кудровой. Листья – явны: изучив состав и движение соков – о листьях можно судить. Корни же скрыты и глубже, чем кажутся. Ползучие, переплетаются. Надо изучить все извилины и сплетенья и уметь с них стряхнуть приставшие комья земли.

–

Хорошо пишет критик в конце статьи об «избыточности» поэта, в которой упрекали и еще долго будут упрекать Марину Цветаеву сторонники уравновешенности и гармонии во что бы то ни стало.

–

В доброжелательном отзыве о моей книге «Воспоминания» критик, вероятно, может быть, и верно указывает на то, что манера писать слишком импульсивна, слишком открыта; автор как бы в плену у темы, мало трезвости, да и язык несколько старомоден. Но меня извиняет то, что я ни на что не претендую, – писала, как помнила и, кажется, все главное записала. Что получилось – не знаю.

Как удивительно! Критик ошибается в материале мемуарном; в момент, когда надо крепко задуматься; рыться в этих сложных корнях, дорыться до правды – он делает поспешный ошибочный вывод, не сопоставляет трудно сопоставимое, не добивается победы понимания… И *тот же* критик великолепно разобрался в сложнейшей картине поэтического творчества поэта! (статья «Если душа родилась крылатой», журнал «Север», 1977, № 6). Захлебываясь сочувствием и пониманием, дает бескорыстие поэта, великодушие, щедрость, способность к восхищению другими, к самоотречению, – при всем знании своих душевных богатств – все *так не легко* уловимое в непомерном разнообразии стихийных сил поэта – при редчайшем анализе поэта – все отменно подытожено критиком, оставляя в читателе глубочайший след…

–

О сравнении Марининой и моей прозы – эту тему затронул критик

– во мне давно живет такой образ: Горный водопад Маринина проза! Моя – река, текущая по долинам. Исток один: с гор. Но пути и течения – разные. Для зеркальной реки закон – явь. Водопадом, бурей его явь – разбивается.

–

Но есть три мемуарных Марининых очерка, где она – летописец (и какой!). «Живое о живом» (о Максимилиане Волошине), «Пленный дух» (об Андрее Белом) и «История одного посвящения» (об Осипе Мандельштаме). *Так написано*, что не хватает слов восхвалить! Это – *воспоминания о пережитом*. Не были нужны ни контрастный фон, ни декорация. На авансцене – они, каждый в свою очередь. Гением Марина воскресила свои дни с ними. Гением – и любовью.

–

Но вернемся к теме.

Вот что пишет Марина в 1914 году В.В.Розанову (ученику нашего отца) – о нашей матери.

«Мама была единственной дочерью. Замкнутая, фантастическая, не детская книжная жизнь. (Точнее нельзя сказать о жизни, самой Марининой себе созданной *после* матери, в 16-19 лет). Еще ребенком Мама знала мировую историю, мифологию, бредила героями, великолепно играла на рояле. Она умерла в 37 лет от туберкулеза. За день до смерти она говорила нам с Асей: „И подумать, что кто угодно увидит Вас взрослыми, а я…“. Ее измученная душа живет в нас, только мы открываем то, что она скрывала. Ее мятеж, ее безумие, ее жажда дошли в нас до крика».

В этих словах, писанных всего 8 лет спустя смерти матери, дан ее романтический образ. Есть ли в нем что-нибудь общее с той матерью из очерка «Мать и Музыка»?

–

Но пора вновь вспомнить, что Марина была не только прозаик, вспомнить стихи Марины! Почему их не вспомнил критик? Не задумался над противоречием в образах матери в стихах и – в прозе? Никого не укоряя, не обвиняя и, кажется, объяснив что могла, я раскрываю один за другим сборники стихов Марины и читаю воспоминания о матери:

Мама

Как много забвением темным
Из сердца навек унеслось!
Печальные губы мы помним
И пышные пряди волос.

Замедленный вздох над тетрадкой
И в ярких рубинах кольцо,
Когда над уютной кроваткой
Твое улыбалось лицо.

Мы помним о раненых птицах
Твою молодую печаль
И капельки слез на ресницах,
Когда умолкала рояль.

Этим начинается ее второй сборник «Волшебный фонарь», (книгоиздательство Оле-Лукойе, 1912). Вот другие стихи о нас и матери об уже упомянутой набережной в Лозанне в 1903 году.

В Ouchy *)

Держала Мама наши руки,
К нам заглянув на дно души.
О, этот час, канун разлуки,
О предзакатный час в Ouchy !

*) Ouchy – Уши – набережная на Леманском озере в Лозанне.

– «Все в знаньи, скажут вам науки…
Не знаю… Сказки – хороши!»
О эти медленные звуки,
О эта музыка в Ouchy!

Мы рядом. Вместе наши руки.
Нам грустно. Время, не спеши!..
О этот час, преддверье муки,
И вечер розовый в Ouchy!

(«Вечерний альбом», 1910)

«Преддверьем муки» назван час перед расставаньем с матерью (она уезжала лечиться, мы оставались во французском пансионе). А мрачные стихи «Столовая», где дано – отсутствие семьи, написаны в те годы, уже без матери, о которых в моей книге сказано: «Ее отсутствием был полон дом». Быть может, кто-нибудь скажет: в юные годы все кажется человеку светлым, и он проецирует этот свет и на мрачное, – отсюда молодые стихи к матери. Но биограф и критик должны знать, что юные годы Марины (до ее встречи с Сергеем Эфроном), девичество ее было печальным. Ведь именно в семнадцать лет она пыталась покончить с собой.

И вот третье стихотворенье из «Вечернего альбома», 1910 г., четыре года спустя после смерти матери. Это образ ее совершенно не схож с матерью в очерке «Мать и Музыка», он тот же, что в моих «Воспоминаниях», написанных через 50 лет.

Маме

В старом вальсе штраусовском впервые
Мы услышали твой тихий зов,
С той поры нам нужны все живые
И отраден беглый бой часов.

Мы, как ты, приветствуем закаты,
Упиваясь близостью конца.
Все, чем в лучший вечер мы богаты,
Нам тобою вложено в сердца.

К детским снам клонясь неутомимо,
(Без тебя лишь месяц в них глядел!)
Ты вела своих малюток мимо
Горькой жизни помыслов и дел.

С ранних лет нам близок, кто печален,
Скучен смех и чужд домашний кров…
Наш корабль не в добрый миг отчален
И плывет по воле всех ветров!

Все бледней лазурный остров – детство,
Мы одни на палубе стоим.
Видно, грусть оставила в наследство
Ты, о мама, девочкам своим!

Круг завершен, как в детстве в игре в горелки, пробежав разлуку, мы схватились за руки, Марина и я, мы – вместе! «Свои люди – сочтемся?» Сочлись!..

Все сложней было в этой семье, чем можно понять, схематизируя и упрощая. Будем ждать мудрого углубленного исследователя, который задумается над тем, что я сообщила, и сведет с концами – концы.

Я только наметила вехи.

–

Не будем же корить Марину за волевое сдвиганье тем, неверность и ошибки, как я не корю, задумавшись и поняв… Скоро и мне – исчезнуть из жизни, как исчезли наша мать и Марина, – я за них, рано ушедших, прожила столько лет! Мне идет восемьдесят пятый. Я *должна* была сказать то, что сказала. Это мой долг – за обеих нас – перед детством и матерью.

Голицино.

Закончено 25.XII. 1977

Ушло в печать 2 года спустя, в 1979. АЦ.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ А. СААКЯНЦ «МАРИНА ЦВЕТАЕВА»

Когда мне передали книгу с названием «Марина Цветаева», я очень удивилась, что её автор Анна Саакянц, с которой я знакома уже четверть века. На книге была дружеская надпись, где выражались волнение и радость, с которыми автор передавал её мне.

Вот как! Книгу о моей сестре, Марине, – как же автор её писал, не сообщив о её рождении самому близкому человеку Марины Цветаевой, последнему члену – ещё живому – ее семьи? И мне вспомнилось, как мой друг, талантливейший музыковед И.Ф.Кунин, начав книгу Н.А. Римском-Корсакове, разузнал, что еще жив его сын, оставил Москву, поехал в Ленинград для встречи с драгоценным для него человеком. Ему удалось подружиться с сыном музыканта, и он долго работал над своей книгой в постоянном общении с последним отпрыском своего героя… Почему же не произошло этого здесь?

И вот мне приходится пускаться в путь не очень мне приятный, в отвержение и оспаривание, в «отвечание» на книгу А.Саакянц – иначе

подумают читатели, видя ее объём и вложенные в неё материалы, что всё в ней верно, тем более, что сестра – человек пишущий – молчит. Я же в мои 92 года, почти нигде не бывая, ищу мира, покоя, иных – чем литературных – размышлений. Но долг заставляет меня взять перо.

Отзыв мой о книге таков: очень неровная. То вполне хорошие страницы, вникание в поэта и ее особенности ее творчества, то – непонимание личности Марины, неверный о ней тон. Потому и вся книга – трудночитаемая: ходить, как по холмам. Первое, что я отвергаю в этой книге – это ее тон. Это ошибочный тон. А ведь тон делает музыку.

Да, музыка – не та!

Сначала я хотела писать автору. Но чем больше я углублялась в страницы, тем более увядал этот замысел – ответ далеко превосходил рамки частного письма, становясь долгом моим к массе читателей, узнающих о юности Марины, что она была «взбалмошная 18-летняя девчонка» (стр. 32), или что её чувства были «*мелодраматичны*» (стр. 110). Возникает вопрос, где тот высокий уровень автора, с которого она дает себе право ронять на якобы нижестоящую героиню эти иронические «мело»? Нестерпимая развязность и, мало сказать, смелость так отзываться вызывает удивление – почему именно Марину Ивановну Цветаеву выбрал автор для своей книги? Всё это являет следующий изъян, – изъян любви автора к героине – чему уже при всем желании невозможно помочь.

Но вот я получаю отзыв от родственника Н. Гумилева – от Сергея Гумилева. Он пишет мне о недостатках книги А.Саакянц, поясняя их тем, что автор ее – не поэт и потому не понимает поэта. Так вот в чем может быть дело!

Зрение мне изменяет и книгу А.Саакянц мне читали вслух друзья в их свободное время, и чтение это длилось долго. И удивление друзей, как и моё собственное, прерывало чтение, вызывая волнение в беседе. Меня спрашивали: «А почему Анна Александровна не показала Вам свою книгу – в машинописи, не согласовала свои недоумения – с Вами?» Другие говорили: «Почему автор так торопился с книгой, что не осведомился о *материале* о Марине Ивановне? Прежде чем писать, что она не могла сказать своей сестре *так* о своих детях в год нужды, как Вы утверждаете? Когда мы, читатели, читали то самое, что она оспаривает, – в Ваших „Воспоминаниях“?»

Действительно, в моей книге сказано (стр. 532) – «Спасти обеих я не могла, нечем было кормить, я выбрала старшую, более сильную, помочь ей выжить. Ирину в приюте кормили, как красноармейских детей, что-то варили, и я её там оставила. Алю, больную, везла на телеге, укутав в солдатскую шинель. Я шагала рядом, долго, далеко, не знаю

сколько вверх. В огромных чужих валенках, стоптанных. Снег – глубокий. Голова кружилась. Лошадь была тоже слабая. Мне не дали сесть на телегу, да я и не села бы, лошадь жалко»… Маринины слова – мне, сокровенные, я берегу, я их *помню.* А.Саакянц их оспаривает.

«Не могла Марина Ивановна оказать так своей младшей сестре…» Что мне ответить ей?

В письме к Вере Звягинцевой – после сообщения о смерти Ирины: «Я была так покинута! У всех кто-то есть: муж, отец, брат, у меня была только Аля… Аля была больна, и я вся ушла в её болезнь, и вот Бог наказал. Я даже на похороны не поехала. У Али в этот дань было 40».

А.Саакянц оспаривает и то, что сказала А.С.Эфрон в более поздние годы – Веронике Лосской и что та напечатала. Или она не знала этого о Марине материала? – …«Была страшная зима 1919-1920 гг. Мама могла тогда накормить, одеть и спасти только одного ребенка, не двоих, и ей пришлось сделать этот ужасный выбор».

Доказательством своей правоты автор приводит за 16 лет до этого в лесу Шварцвальда рассказанную матерью нам, 12-ти и 10-летней, сказку о разбойнике, хотевшем убить обеих дочерей, но на мольбу матери согласившемся одну оставить в живых. Мать зажгла в часовне две свечки – пусть судьба решит: какая, чья свеча погаснет позже – ту пощадить. Но свечи горели так ровно, что погасли одновременно. Разбойник, поразившись таким чудом, ушел в лес – каяться. Может ли эта сказка отвечать за голодный 1920 год в Москве?

Слежу заметки мои на полях книги, прочитанные мне вслух. Меня останавливает всё тот же *тон* сомнительной музыкальности, хладнокровного приглядывания автора к натуре, которым она делится с читателем. Увы, как далёк он от того, который диктует любовь, вскрывающая загадки и тайны индивидуальности теплом дыхания художника, сливавшегося с натурой и способного одаривать читателя драгоценностями постижения!

Читаем: «В стихотворении этом ощутима явная романтическая поза» – это о так любимом с юности нашей, таком весёлом, полном *полутайного* юмора:

Какой-нибудь предок мой был скрипач
Разбойник и вор при этом,
Не потому ли мой нрав бродяч
И волосы пахнут ветром…

Не в одиночестве ли приглядывается к нему автор книги? Похоже… Но ведь и заразить может этим недоверчивым (как во входной

двери – глазком) – доверчивую добрую душу девушки или юноши, зачерпнувших добрыми пригоршнями из Мариниого источника лирического юмора. И строки о волосах, пахнущих ветром, автор оценивает следующим образом: «такие строки для Цветаевой сейчас слабы»… – ?

Но вот другой пример: «Разорванность души» Марины, о которой она пишет – может быть вызовет сочувствие в авторе? Увы, нет. Но она пускается в путь, думается, необязательный для литературоведа: «эта разорванность, конечно, терзала её мужа»… (стр. 83).

А вот – нежданно – на стр. 207 – прорыв в понимание. Тема – Марина и деревья. Цитата о серебристом тополе нашего детства. И, хлебнув Марины, А. Саакянц пишет: «Цветаева вдыхала в них (деревья – А.Ц.) душу, они как бы помогали ей жить». Мы точно вбежали в кем-то распахнутые ворота цветаевской жизни – и мне стало легче на душе. И вот опять: чистый восторг – на одну страницу – перед стихами Марины «К тебе, имеющему быть рожденным / Столетие спустя, как отдышу»… – автор забыла про «романтическую позу» своей героини и радуется вместе с читателем, – и я отдыхаю от ошибок автора, от её – через страницу опять, кажется, – холоднокровия…

Не ошиблась! На следующей странице (стр. 207) А.Саакянц высказывает категорическое утверждение, что Марина – как автор – в 1919 г. иначе говорит о понятии бюргерства, чем в следующие годы, что она его «пересмотрела»?.. – Из себя вытягивает А.Саакянц этот «пересмотр» и щедро дарит его Марине. Увы, заодно и читателям, – и что им делать, как не верить «известному цветаеводу»?..

Хождение по «горбам» книги А.Саакянц тоже является темой, когда предельно ясно непонимание автором Мариниой лирики – и вдруг, как подарок, строки: «В сентябре 1915 г. Цветаева пишет удивительное стихотворение» – и мне, сестре Марины и критику книги А.Саакянц – захотелось написать это слово «удивительное» – курсивом, так обрадовалась я *признанию* чем-то захваченного автора – после «романтических поз» и «мелодраматизма» – и такое не раз бывало в слушании этой книги, когда вдруг *доходила* до автора сила творчества её героини! Когда А.Саакянц начинала – на миг, на час, на страницу чувствовать то, чем давно упивались читатели до начала чтения её книги… Победа Марины – над автором.

От этих скачков внезапных я уставала над книгой А.Саакянц не меньше, чем от огорчения непониманием. То – холодное разглядывание, – то автор вдруг на миг делался уязвим, сдавался власти, «колдовству» поэта над критиком – дорогая моя Марина!…

Цитирую: «…удивительное стихотворение. Оно – своего рода ключ к ее характеру и к ее творчеству:

Цыганская страсть разлуки!
Чуть встретишь – уж рвешься прочь!
Я лоб уронила в руки
И думаю, глядя в ночь:
Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть –
Как сами себе верны.

Она сама, можно сказать, на заре своей жизни дала ответы на вопросы, которые ей зададут, и на обвинения, которые ей предъявят». (стр. 86).

Если бы я писала о ком-то, *такого* от него не слыхав, я бы не решилась взять на себя утверждение: «В драме Метерлинка „Чудо святого Антония“. Антония играл Ю.А.Завадский. Роль героя Метерлинка и облик актера слились воедино в воображении Цветаевой» (стр. 160). А что, если не слились? *Меня* такое – коробит. Ни малейшего сомнения в себе. И нет чувства бережности к героине книги. Ни, я бы сказала, – к читателю…

И вот – еще приступ смелости: «Цветаевой не удалось достичь в пьесе о „Червоном валете“ того, что удалось Блоку в „Балаганчике“» (стр. 169). – Безапелляционно! Утверждая, что в карты (персонажи пьесы) не проникли человеческие души, нигде не добавляет скромно: «на мой взгляд». Этой скромностью автор не страдает, давая свое мнение – как ей кажется – с объективностью. Не допуская, что на чей-то другой слух душевный – *проникла* человеческая душа в карточный силуэт. Что может быть – целая симфония рождается в ком-то – там, где для А.Саакянц – пусто. Отстранив все другие возможности толкования, отстранив их *богатство*, автор довольствуется бедностью единообразия *своего* толкования.

И тот же уверенный тон в следующей теме (стр. 209-210) – о трудном поведении Марины в дни голода: получая – для детей – помощь соседей – кому и как быть благодарной. Кажется, только сама мать, которой осталась горсть картошек – и подаяние от других матерей, чуть богаче её! – может решить тонкий вопрос о ежедневной благодарности или её недостаточности! Только Маринины пальцы могут расплетать эти трагические узоры, не ошибаясь! Но А.Саакянц *за неё* берется размышлять и дарит читателям *свои* размышления. И на полях – моя запись, (вместо Марининой, смолкшей, – благо звали нас «Сиамские близнецы»!) – эта запись гласит: «Ваше ли дело размышлять о Марини-

ных „благо“ – и „неблагодарностях“, *Вашим* ли рассудком, столь рознящимся от Мариниого! Увы, не могу молчать!..»

Но вот идут страницы Мариниых писем – после смерти младшей дочки своей, 3-летней Ирочки, – (доставшихся автору от её старшей подруги, Мариниой дочери, А.С.Эфрон) – и спасибо, – они не приправлены авторским пальцем. Читатель волен читать, чувствовать, размышлять – сам! (стр. 217-220).

И снова – хорошие, понимающие строки: – о трудной поре: «…мужа не было рядом, возможно не было и в живых. А все прочие, даже самые сочувствовавшие и помогавшие, жили всё-таки свою, а не её, Марины Цветаевой, жизнь» (стр. 221). – Простое человеческое сочувствие! Как мирится оно в авторе – с укорами своей героине – в «позе», «театре» её лирических стихов! Не «поза» – а вызов, бесстрашное открывание себя свойственно было Марине – через ещё новый образ – как самозащита: не кто-то, – *сама* о себе всё сказала!..

А вот – досадные небрежности.

Описывая наружность и манеру одеваться Марины, автор сообщает, что она предпочитала носить блузки и юбки *или* шаровары – не поясняя, что шаровары Марина носила только летом в Коктебеле, где с Максом Волошиным ходила по горам, и упускает страсть Марины к старинного фасона *платьям* (узкий лиф и от талии пышность 19 века), о чем могла бы прочесть в моих «Воспоминаниях» и что для Марины было много характернее – её постоянный поход *против* моды.

И ещё. На стр. 39 об открытии в 1912 г. Музея на Волхонке, А. Саакянц называет его «Музей Александра III» (словно «Музей Достоевского», «Музей Маяковского»), в то время как Музей этот назывался «Музей изящных искусств *имени* Александра III». Видимо, не зная и не справясь в архиве этого Музея – *почему* его имени? А дело было так: одна из первых жертвовавших на создание Музея, если не ошибаюсь, некая Алексеева, отказавшая свой капитал на это культурное начинание, лежала тяжело больная, услыхала похоронный звон. Она спросила – по ком это? Ей ответили, что умер государь Александр III. «Так пусть же наш начинающийся Музей будет – его имени»… – сказала больная, сама уже почти умиравшая. Её желание было записано – и исполнено. Вот какая случайность вызвала это имя в название Музея. А.Саакянц, выпустив слова «изящных искусств», приписала весь Музей – Александру III, что является ошибкой, небрежностью.

Третий раздел книги А.Саакянц назван «Если душа родилась крылатой», повторяя названием хорошую статью И.Кудровой о Мариниой лирике. И что же мы читает под этим названием здесь: «Вряд ли Цветаева ощущала гул исторических назревающих событий. Знала ли толком

о происходящем Цветаева, читала ли она газеты? Скорее всего – нет». Хотелось бы знать, с кем автор советовался, прежде чем написать это «скорее всего – нет?» Откуда такая уверенность в своей безошибочной правоте? И эту «безошибочность» она дарит читателям без малейшего сомнения в себе – а на что опираясь? – Не только ощущала Марина назревающие события – прозревала многое. Иначе откуда бы взялась такая пророческая уверенность – после свержения царя и февральской революции – что это – лишь «спевка», что «обедня ещё впереди»? Но А.Саакянц, видимо, знает лучше…

Здесь в книге – снова «горбы». Автор пытается заново переосмыслить вопрос о гражданственности Марины Цветаевой, но делает это половинчато, то понимая, то не понимая её. А.Саакянц почему-то пропускает очевидную возможность найти и подчеркнуть в героине всё, что роднило её с мятущейся Родиной, – пусть не так, как других поэтов, по-своему. На стр. 153 приводятся цитаты из дневников 1918 г. – такие важные и значимые для правильного взгляда на гражданскую позицию Марины Цветаевой, но не делается иного – более глубокого – вывода, кроме как: «Многоголосие революционной России – вот что ворвалось в цветаевское творчество». Можно лишь сердечно поблагодарить А. Саакянц за эту ценную публикацию, открывающую нам новую Марину:

«Кого я ненавижу (и вижу), когда говорю чернь.

Солдат? – Нет, сижу и пью с ними чай часами из боязни, что обидятся, если уйду.

Рабочих? – Нет, от „позвольте прикурить“ на улице, даже от чистосердечного: „товарищ“ – чуть ли не слезы на глазах.

Крестьян? – Готова с каждой бабой уйти в ее деревню – жить: с ней, с ее ребятишками, с ее коровами (лучше без мужа, мужиков боюсь!) – а главное: слушать, слушать, слушать!

Кухарок и горничных? – Но они, даже ненавидя, так хорошо рассказывают о домах, где жили: как барин газету читал „Русское слово“, как барыня черное платье себе сшила, как барышня замуж не знала, за кого идти: один дохтур был, другой военный…

Ненавижу – поняла – вот кого: толстую руку с обручальным кольцом и (в мирное время) кошелку в ней, шелковую („клеш“) юбку на жирном животе, манеру что-то высасывать в зубах, шпильки, презрение к моим серебряным кольцам (золотых-то, видно, нет!) – уничтожение всей меня – все человеческое мясо – мещанство!»

И еще: «Большевики мне дали хороший русский язык (речь, молвь)… Очередь – вот мой Кастальский ток! Мастеровые, бабки, солдаты…»

Я вплотную подошла к иллюстрациям.

Крупный недостаток книги – и я ему не нахожу оправдания – это отсутствие в ней, первой отечественной книге о моей сестре, книге, где «Марина Цветаева» – золотом по белизне – словно сафьяновой, твердой обложки, – это отсутствие фотографии матери героини книги. В этом изъяне автор передо мной, прислав мне книгу с надписью, – извинился по телефону.

Увы, мотивировки отсутствия – спешка? – не помню. Просмотрев книгу, я хотела ответить автору: «Я квалифицирую такое отсутствие иначе. Это – недостаток душевности. Бывая изредка у меня, автор могла за срок создания книги – не раз переснять фотографию матери Марины – у меня. Значит, не сочла нужным? Отец наш одиноко представлен в начале книги. А на месте общепринятого портрета матери – профили неизвестной женщины и надпись под ним: «Марина Цветаева, портрет неизвестного художника». С полным отсутствием сходства с профилем сестры моей, что легко узнается по сличению с несколькими фотографиями Марины в профиль, в различном возрасте. Просто посторонние черты. К чему он тут?

В книге, лишенной образа матери, о которой Мариной написано: «Всё, чем в лучший вечер мы богаты, нам тобою вложено в сердца!» – в этой книге много лишнего. – Вот лишний облик – Т.Ф.Шлёцер. А фото Э.Миндлина… – автор вынуждает меня о нём рассказать правду, – сколько лет молчала, хотела пощадить живого, – и приходится потревожить прах! – ради правды…

Миндлин! В своей книге он так расписал свое с Мариной знакомство, что оно представлено – вроде – годами. А длилось оно один месяц или, может быть, полтора. Весной 1921 г. я приехала с 9-летним сыном из Феодосии, где у меня бывал и читал свои стихи Э. Миндлин. *Меня* – выписала в Москву – Марина, к себе; жила я у нее в Борисоглебском переулке, а работала в военном учреждении. Вскоре приехал Миндлин и пришел ко мне, т. е к Марине. Жить ему было тогда негде и не было денег. Я попросила Марину приютить его в проходной комнате её большой квартиры. Сказала, что он поэт. Глаза у него были огромные и Марина посвятила его глазам стихи. Это – явь.

Всё время шел разговор о моих оставленных в Феодосии вещах:

корзине – типа чемодан, большой шляпной старого фасона деревянной картонке и маленьком самоваре. Я его сохранила через превратности лет, как и все вещи, коими было это все набито – наинужнейшие, – без чего нельзя жить, непроданные всё время жизни в Крыму – даже в годы нужды. Их не было сил у меня и 9-летнего мальчика – привезти.

В Феодосию ехал наш молодой друг, сын священника, Сережа Соколов, Он брался привезти вещи. Но Миндлин, тоже собиравшийся в Феодосию, этому помешал. Он знал, где мои вещи, и когда пришел за ними Сережа, ему их не дали, сказав – привезёт Миндлин. Мы с грустью встретили неудачника – Сережу. Ждали Миндлина. Вот как Марина мне рассказала его приезд (я была на работе):

«Понимаешь, разлетелся, как домой! В полной уверенности, что я его опять приму! Но на площадке он стоит без вещей. Я его спрашиваю „Где Асины вещи?!“ Он замялся, растерялся: – „Я их … я их забыл в Феодосии…“ Тогда я ему сказала: – „Да? А я Вас – в Москве!..“ – и закрыла дверь перед его носом». Не помню, чтобы и я дальше имела с ним дело…

Что же рассказал он о нас в своей книге? Совершенно неверно, что он сперва жил у меня на другой квартире, над Москвой-рекой, куда меня устроила Марина на лето, к знакомым. Что будто бы я попросила соседа освободить для него комнату?! – никаких соседей я не знала! – что мы постоянно все – Марина, я, он, Майя Кудашева, наши дети, – вечерами лежали в уютном дворе на траве и читали друг другу стихи – этого не было (да и двора *такого* там не было!): во-первых, потому, что Марина его не простила и я тоже – да он и не просил прощенья; во-вторых потому, что дни наши в ту пору были *так* заняты работой и трудным бытом, добыванием еды и заботой о детях, что и в голову не пришло бы лечь на траву с чтением стихов.

Об истории с феодосийскими вещами он не пишет совсем…

Еще один пример его фантазии. Миндлин пишет, что нередко сидели на ступеньках входа в дом, где жила Марина, – он, Марина, старик Волконский… В то время как это не только психологически, но и физически было невозможно: каменные, неудобные ступеньки выдвинулись до половины тротуара – куда было бы ноги девать от прохожих? – на ходу у входящих и выходящих жильцов. И – чопорный, церемонный Волконский, сидящий – для чего? – на улице с Мариной и 20-летним Миндлиным!..

Я слышала, что жив его сын, совсем другого типа, чем отец, и мне сердечно жаль, что он прочтет эти страницы – но я думаю, что отцу есть оправдание, что он просто был больной человек. Иначе как объяснить описанный им случай с ЦУПВОСО? Ведя речь о том, как Марина нена-

видела засорение русского языка, он рассказывает (примерно в таких словах), как к Марине Ивановне пришла её сестра Анастасия Ивановна и сказала: «Марина, на Никитской висит название – ЦУПВОСО» – «Не может быть!» – сказала Марина Ивановна. «Поди, проверь!» – пожала плечами Анастасия Ивановна. «Эмиль Львович, идёмте!» – сказала Марина Ивановна – и они пошли. На обратном пути она молчала и молчала. Затем сказала (по-моему, через два дня): «ЦУПВОСО – какой ужас!»

Сцена с ЦУПВОСО между мной и Мариной – плод фантазии.

Если бы я на деле *сообщила* Марине, что на Никитской висит слово «ЦУПВОСО» – Марина положила бы мне руку на лоб: «Ася, у тебя температура?» Ибо я каждый день шла из ЦУПВОСО, где вела ликбез с женами солдат в Центральном Управлении Военного Сообщения, куда меня Марина и вызвала, выписала из Феодосия в Москву. Там я не только работала, но и получала паек – в ЦУПВОСО…

Таков стиль выдумок Эмиля Миндлина. Несомненно он был болен… Вот к каким объяснениям о нём вынудила меня А. Саакянц, поместив его портрет в книге «Марина Цветаева»…

Остается последнее: портрет моей сестры работы П.Н.Вышеславцева. Увидев этот чудовищный портрет в «Огоньке» и прочтя восхваление его А.Саакянц, я возмутилась: как может восхвалять его человек, никогда не встречавшийся с Мариной в жизни, и – что еще страннее – видавший множество её фотографий, явно говоривших о полнейшем несходстве портрета с натурой! – Карикатура! – Я, услыхав, что на другой день портрет этот среди нескольких современных будет показан всем, кто придет на очередное собрание к Л.А.Мнухину, позвонила из Дома творчества в Переделкино – в Москву, Надежде Ивановне Катаевой, и просила её записать мною приготовленный отзыв об этом портрете – прочесть вслух перед началом собрания. Там говорилось, что я прошу помнить две вещи: что я, сестра Марины, ещё жива и лучше меня никто не может судить о портрете. Дальше шло перечисление несходств: огромные эфроновские глаза с лица её дочери пересажены на лицо матери, нос – короче Маринииного, рот – бантиком.

Выслушав и записав под мою диктовку это по телефону, Надежда Ивановна умолила меня *пожалеть* автора статьи, А.Саакянц, – зачем её огорчать публично. – «Я обещаю, Анастасия Ивановна, что сегодня же прочту ей Ваш текст, она узнает все Ваши возражения, этого достаточно, уверяю Вас»…

И я согласилась. Мою страничку Надежда Ивановна прочла ей, как обещала, но мнение *сестры* Марины не произвело на неё никакого впечатления – и она повторила своё воспевание в книге, навязав его читателю, – с обычной самоуверенностью. *Фактическое* несходство ни черт,

ни *выражения* лица не поколебало собственное ее мнение о высоком качестве портрета, о внутреннем сходстве – «из всей … иконографии, прижизненной и посмертной, этот портрет наиболее выразительный. …Это портрет единственный в своем роде – портрет-озарение» (стр. 235).

С «единственностью в своем роде» согласна не только я, но и многие (среди них и художники), мне о ним сказавшие: «Это совершенный кошмар!» и «Ужас какой-то!» – Карикатура!

А вот – недосказанное мной – в отзыве, присланном мне профессором Л.Н.Козловой: «Наконец-то появилась отечественная книга о Марине Цветаевой – это само по себе большая радость, тем более, что в ней приводится много новых, доселе недоступных, архивных материалов. Впервые эпизоды, с которыми читатель познакомился ранее по различным публикациям, сложились в единую цепочку, в стройную кантилену цветаевской биографии. Однако, ряд особенностей книги вызывает досаду.

Под пером критика в нашем воображении вместо светящего и волнующего образа Марины Цветаевой взбалмошная женщина, которая нуждается в снисхождении и контроле, каковую функцию и взяла на себя А.Саакянц. На стр. 14 тоскливые юношеские искания Марины именует «сумбуром в собственной душе». На стр. 47 читаем о «юношеском эгоцентризме» Цветаевой и «самолюбовании», на стр. 232 – о том, что она «пытается обмануть саму себя», – и не раз встречается упоминание об её «инфантилизме», «инфантильности». Так критик, не любя и не понимая Марину Цветаеву, приземляет её. Но, впрочем, А.Саакянц в конце концов ей всё прощает – как-никак великий поэт. Однако нередки и порицания, типа: «Некоторые стихи поздней осени шестнадцатого повторяют предыдущие, и не лучшим образом; в них утеряна какая-то мера, варьируется тема запретной любви, греха». (стр. 114). – Как будто Цветаева не прокричала на весь мир о своей «безмерности в мире мер»! Как будто её образ можно представить без бунтарства и бравады!

В своей статье-ответе критикам «Поэт о критике» Марина Цветаева утверждала, что «не может быть хорошим критиком поэт, который пишет плохие стихи и печатает их». Это – как минимум. А что же говорить о тех, которые берутся судить о поэте, хотя сами стихов не пишут вообще, и совершенно лишены поэтического восприятия? И почему забыто такое очевидно верное положение В.Шкловского, что о поэтическом следует высказываться только поэтически? И все цветаевские установки о том, *кто* может быть ее критиком? В числе других она предъявляет ему и такие требования – зная свою сложность: «Чтите и любите моё, как своё, тогда Вы мне судьи».

«Проникаясь – проникаю» – так характеризовала Марина Цветаева свою собственную критическую методу. А как выглядят у А.Саакянц попытки «проникнуться» и понять?

Сложность и причудливость поэтических образов-аналогий в стихах Цветаевой, весь её сновиденный духовный мир критик резко отграничивает от реальных жизненных событий Марины Ивановны. Оттого так часто и упоминается в книге об её «игре», «театре», «позе», воображаемых ситуациях фигурирующих в её стихах. *Так* критику легче: можно позволить себе ни во что не вникать и не «проникаться», а все списать на то, что у Марины Цветаевой в жизни было одно, а в поэзии – совсем другое, – сплошная выдумка.

Вот тогда-то вместо органичной как воздух, предельно искренней и откровенной в своем поэтическом самораскрытии (хоть и прикрывающейся при этом) Цветаевой – под пером А.Саакянц возникает абсолютно психологически недостоверный образ – манерный, изломанный и никому (в том числе автору) не понятный.

Не умея проникнуться психологией Поэта, А.Саакянц, тем не менее, берется за разбор практически всех стихов Марины Цветаевой. Отсюда – поверхностность и нередко полная несостоятельность этого анализа. Так, на стр. 112 мы встречаемся с трактовкой критиком Цветаевой – по её стихотворению «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес», – как заурядной женщины-собственницы. Похоже, что А.Саакянц нимало не смутило то, что Марина Цветаева не раз во всеуслышание заявляла, что признает только две собственности: детей и свои тетради. А сколько разговоров о «великой низости любви», о Марине-Еве (стр. 228) – вопреки тому, что Цветаева всегда отождествляла себя с Психеей и отвергала земную Еву как полностью чуждую и не соответствующую ей своей *бездуховностью*, та Цветаева, про которую один друг её в эмиграции скажет: «Одна голая душа – это даже страшно!»

А.Саакянц не пытается поднять читателя до её высот, а, напротив, старается объяснить, адаптируя к среднему уровню. Постоянное удивление вкусам и пристрастиям Марины Цветаевой, непонимание их – просто убивает.

Зато – приятным контрастом – конец книги радует извлечениями из массы отзывов о Цветаевой писателей и поэтов, наших современников. И хочется присоединиться к возвышенным словам О.Вациетиса: «Цветаева – звезда первой величины. Кощунство кощунств – относиться к звезде как к источнику света, энергии или источнику полезных ископаемых. Звёзды – это всколыхающая духовный мир человека тревога, импульс и очищение раздумий о бесконечности, которая нам непостижима…»

Да, неповторимая, яркая к сильная личность Марины Цветаевой – вот что само по себе важно в её творениях – и что не сумела донести до читателя А.Саакянц.

Заканчивая разговор о книге, я все-таки радуюсь, что на многих страницах моей рукой написано – «х о р о ш о» – их больше десяти, таких пометок (стр. 248-251, 252, 254, 258, 310, 312, 323). Это – те места, где автор на миг сливается со своей героиней, на миг проникает в нее…

22.II.1987

О КНИГЕ ВИКТОРИИ ШВЕЙЦЕР

Предо мной – книга Виктории Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой».

Это большой труд, честное исследование и хорошо, если его издадут в России. Поэтому я пишу об этой книге рецензию и рецензия моя – хвалебная.

Много сил, много времени отдал автор на воплощение своей мечты – написать всю историю жизни моей сестры Марины. Такой труд заслуживает благодарности и уважения. Страницу за страницей, год за годом прослеживает Виктория Швейцер, воссоздавая юность, зрелость, последний период, конец… Читатель входит глубоко в сложный ряд тем бытия и быта, подтверждая замысел и название книги. Но думаю, что почти невозможно написать столь сложное исследование, нигде не ошибаясь. Потому мой долг, приветствуя книгу В.Швейцер, внести необходимые уточнения.

Например, на странице 169 В.Швейцер пишет: «В плане духовном и философском Марина была рядом с Осипом Мандельштамом – девчонкой». Опровержение этого – «девчонка» дано в моей статье о книге А.Саакянц, напечатанной в журнале «Звезда».

Маринина интеллектуальная ранняя зрелость была отмечена в ее 12 лет при поступлении во Фрайбурге в немецкий интернат: по гуманитарным предметам ее допустили в самый старший класс – к 17-ти и 18-и летним.

Конечно, в 1916 году Марина была очень молода, она еще не создала такие теоретические статьи об искусстве, как «Поэт и время», «Поэт о критике», «Искусство при свете совести» и др., но они уже *готовились* в ней. А стихи ее, из которых, быть может, исходит Швейцер:

«Что Вам, молодой Державин,

Мой невоспитанный стих?» –

написаны в час природной щедрости, в грации веселого самоуничижения, шутливого.

Другая цитата: «…она (Марина) заметно выросла под влиянием его личности» (стр. 174).

О личности Мандельштама я позволю себе принести следующее определение: – Он был похож по некоторой своей надменности на принца в изгнании, но по своей бытовой беспомощности – на ощипанного птенца…

Мандельштам обладал талантом и интеллектом, но сильной личностью он не был.

А В.Швейцер утверждает: «Без Мандельштама ее (Маринин) рост не был бы так стремителен, не устремлялся бы внутрь, в душевные глубины». В этом она глубоко ошибается, не учитывая Маринину поразительную безграничность ума и таланта и ее полную неспособность подвергаться какому-либо влиянию на всю жизнь.

Мне вспоминается быль: летом 1916 года Мандельштам гостил у нас в Александрове. Приезжал и уезжал. Он был обидчив и капризен, но стихи его мы очень любили. Потом, летом 1917 года после смерти моего младшего сына, Марина приехала ко мне в Феодосию.

«Ася, – сказала она мне, – узнав, что ты здесь, сюда едет Осип Эмильевич. Я писала тебе его слова мне: „Вы могли бы быть главным нервом моей жизни». Сегодня я получила его телеграмму, я должна его встретить, но прошу тебя, пойди со мной и не оставляй меня с ним наедине: он хочет объясняться, а я не хочу“… И я поняла по тону ее, что это увлечение прошло, как и другие.

В том же настрое письмо Марины к Елизавете Яковлевне Эфрон; Мандельштама знавшей, в котором Марина пишет об Осипе Эмильевиче иронично.

Особого влияния на Марину не оказал не только такой человек как О.Мандельштам, но – ни Эллис, ни друг ее Аделаида Герцык, ни сильный поэт С.Парнок, ни исключительная личность поэта и художника Максимилиана Волошина, в то время антропософа. Встречи были на плане душевном, на радости понимания, но влияния решающего – не было.

Да, к сожалению, нередки у В.Швейцер – «домыслы». Свое *размышление* она подает в столь утверждающем тоне, что у читателя может остаться впечатление, что дело идет о *факте.* И происходят ошибки.

Пример: «Можно себе представить, – пишет В.Швейцер, – что Иван Владимирович не был в восторге от того, что девочка, бросившая гимназию, выходила замуж за недоучившегося гимназиста» (104 стр.)

Кажется, убедительно? Обратимся к фактам: Марина *окончила* 7 класс и начала 8-ой но, узнав, что он – только педагогический, и понимая, что никогда не захочет быть учительницей, прекратила занятия в этом классе, но *полностью* закончила семилетнее женское образование. Так что недостаточно автор книги знает систему образования во время нашей юности, в дореволюционной России. И еще – Марина вышла замуж за Сергея Эфрона, по болезни (туберкулез) прервавшего учение в гимназии, но дома не прекратившего занятия, и, в первый же год брака переехав по здоровью в Крым, он усиленно готовился к сдаче гимназического курса – экстерном в Феодосийской мужской гимназии, о чем знал наш отец и весьма одобрял.

Далее: В.Швейцер, процитировав Марину о папе в день открытия Музея: «Это было видение совершенного покоя», – продолжает – «Покой оказался губителен для Ивана Владимировича. То напряжение, в котором он жил долгие года, видимо, и давало ему силы жить» (стр. 108).

Какой покой? Покой длился один день – день торжества. Наш с Мариной отец до самого конца читал лекции в Университете и на Высших женских курсах, не говоря о напряженной директорской работе в новом Музее, Музее Изящных Искусств – до самой смерти!

Еще пример «гипотетической» ошибки: на стр. 529 В. Швейцер, ссылаясь на свое «открытое письмо» 1981 года, пишет: «В третьем издании книги „Воспоминаний“ Анастасия Цветаева опустила рассказ Фонской и кое-что изменила по сравнению с журнальным вариантом. Я надеюсь, что она сделала это не без помощи моего письма».

Нет, не с помощью Швейцер, а с помощью моей редакторши М.И.Фейнберг я не повторила рассказ о Марине Фонской, так как она, старая и больная, возможно спутала даты и некоторые случаи тех лет.

Я не ответила В. Швейцер на ее «письмо» по недопустимому тону и сплошным ошибкам. Не оспорила его и не опровергла, что я в моих Воспоминаниях – *лгу*.

И сейчас по тем же причинам не ответила бы, несмотря на то, что письмо было опубликовано. Но Швейцер снова напоминает о письме в своей книге. Намеренно обойдя все, касающееся лично меня, я, тем не менее, укажу на некоторые ошибки в том письме;

Цитирую: «Если Георгий Эфрон был студентом Литинститута, почему его взяли в армию? Ведь у студентов тогда была бронь». – Брони всем – не было! Многих студентов отправляли на фронт и они там гибли, что легко подтвердить документально.

И вторая цитата о Георгии Эфроне, сыне Марины: «…я не верю официальной версии о его ранении…»

Мой племянник умер на фронте. Все остальное пока туманно, не доказано и лежит в сфере тех же «домыслов». Но В.Швейцер пишет: «После войны в Москве был слух, что Мур (Георгий Эфрон) даже не доехал до фронта, что его за строптивость застрелил какой-то сержант в прямо в казарме». На слухи мне ответить нечего.

Прочитав книгу, я порадовалась, что последние «домыслы» она не перенесла в книгу, не повторила.

Заканчивая, несмотря ни на что утверждаю: книга В. Щвейцер – настоящий труд изучения, ставящий автора в тот же ряд, в котором стоят М. Белкина и М. Разумовская с ее «Марина Цветаева. Миф и действительность.

В «НЕЗАВИСИМУЮ ГАЗЕТУ» ПО ПОВОДУ ПИСЬМА В. ШВЕЙЦЕР

Привыкши ясно выражать свое мнение, хочется высказаться по поводу письма В.Швейцер, опубликованного в «Независимой газете» 15 авг. 1991 г. Я огорчена полнейшим несоответствием тона – удовлетворенного и благожелательного – в личном письме ко мне и – совершенно противоположного – в письме в газету по поводу заметки моего друга Станислава Айдиняна. Его заметка сопровождала мою рецензию на книгу В.Швейцер о М.Цветаевой – «Быт и бытие» («НГ» 21 мая 1991 г.)

Автор упрекает Ст. Айдиняна *несправедливо* в «непрофессионализме», а газету в том, будто, публикуя заметку, она «воскрешает старые зависимые времена». Я считаю, напротив, что заметка по сути своей верна и «зависимые времена» тут совершенно ни при чем.

И еще – В. Швейцер пишет, что никто не мог прочесть ее «Открытое письмо», на которое я в свое время намеренно не ответила. Она ошибается: это письмо может прочесть каждый. Журнал «Синтаксис», где оно опубликовано, выдается в Ленинской библиотеке.

26 сентября 1991 г., Переделкино.

О СТАТЬЕ Л.НАВРОЗОВА «М.ЦВЕТАЕВА: ГЕНИАЛЬНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ»

В газете «Московские новости» (№ 41, 11 октября 1992 г.) появилась недавно статья Льва Наврозова, написанная в Нью-Йорке – «Марина Цветаева: гениальная женственность».

После весьма общих и неубедительных рассуждений автор утверждает, что муж моей сестры Сергей Эфрон не мог искренне быть белогвардейцем, ибо был из семьи революционеров. А я видела в 1918-19 гг. его у М.Волошина в Коктебеле искренне верующим в идею белой армии – (что он таким был подтверждается Мариниым «Лебединым станом»). Странно решает Наврозов что *сын* революционеров должен быть непременно тоже революционером. Разве он не читал «Отцы и дети» Тургенева? Не знав никогда мужа Марины он, Лев Неврозов, пишет, что С.Эфрон был противоположностью Марины – «рассудителен, осторожен», «семь раз отмерь, один раз – отрежь». В чём его осторожность? Идти под пули сначала как «брат милосердия», потом – белым офицером ?

Далее он пишет: «не послала ли его большевицко-левоэсеровское ЧК в Добровольческую Армию – в 1918 году!» После разгрома белой армии С.Эфрон, как известно, бежал с её остатками за – границу, и там долго ещё – десятилетия – был очень далёк от идей коммунизма – от, как пишет Наврозов, «ЧК – ГПУ – НКВД».

Я видела его в Париже в 1927 г. пламенным евразийцем – а Евразийство в *начале* своём было как раз антибольшевистским течением. Среди его друзей-евразийцев я видела князя Д.Святополка-Мирского и П.П.Сувчинского.

Когда я ехала назад в Россию и он провожал меня на вокзал, он говорил: «Когда мы евразийцы, придём к власти в России, мы оставим все технические достижения коммунистов – ГЭСы, каналы и прочее, но возглавим все – Патриархом!»

Я, смеясь, возражала, что народ за десять лет развращен социализмом и не признает над собой Патриарха – но он был непоколебим!

Сейчас, когда в журнале «Столица» – в двух номерах (№ 38-39, 1992) опубликовано Дело Сергея Эфрона, из архивных данных стало ясно, что окончательно изменил он свои убеждения только к 1931 году.

Совершенно безосновательно Л.Наврозов пишет, что после убийства Игнатия Рейса в 1937 г. (к которому имел отношения С.Эфрон) он «…объяснил жене», моей сестре Марине, в чем дело и она помогла ему бежать в сталинскую Россию.

Что за бред! Как Марина, ничего не понимая в политике, далекая от нее, к жизни неприспособленная, *поэт,* могла кому-то помочь бежать?.. Тем более что симпатий Сергея и дочери Ариадны к Стране Советов она не разделяла!

Удивительно, как может автор, человек, мало осведомленный, развивать тему, к которой он совершенно не готов?

Документы *отвергают* утверждение Л.Наврозова, что француз-

ская полиция спрашивала Марину – почему же она не оставила своего мужа раньше, давно зная, что он большевик-фанатик…

Этого не могло быть хотя бы потому, что во французской полиции служат, служили по крайней мере в те времена, исключительно воспитанные люди!..

Французские полицейские архивы, как пишет и Мария Разумовская в своей талантливой книге «Марина Цветаева. Миф и действительность» (Гамбург, 1983), свидетельствуют именно о том, что моя сестра была настолько далека от их вопросов, что стала им читать свои французские стихи.

Вообще странный тон избрал Л.Наврозов для характеристики моей сестры: он называет ее «махровым гением», утверждая, что это хорошо звучит по-английски… А по-русски?! Ошибается Наврозов даже в том, что Б.Пастернак ее *не проводил* на пароход, когда она уезжала с Муром из Москвы с Речного вокзала, 6 августа 1941 г. (Не 6-го, а 8-го августа 1941-го). Убедитесь по книге М. Белкиной – «Скрещение судеб» (М., 1988) – на стр. 262. Нет, Пастернак проводил ее на пароход, отходящий в Чистополь. Проводил вместе с молодым тогда поэтом Виктором Боковым.

Анастасия ЦВЕТАЕВА,
98 лет

17 X 1992 г.
Москва

ОБ ОЧЕРКЕ МОЕЙ СЕСТРЫ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ «ЖЕНИХ» (1933, ПАРИЖ)

Трудно мне найти настоящие слова, а еще труднее истинный тон возражения на этот очерк Марины. Он написан четверть века спустя тех лет, с которых начинает Марина повествование о Толе Виноградове. Родился этот очерк из затаенной обиды – за меня, за отказ мне в работе в 1921 году. Я пришла к нему, как к старому другу, когда он был директором Румянцевского Музея, а не музея Изящных Искусств, которого был наш отец! Эта ошибка придает всему очерку – тон: ошибочность тона сопутствует всему очерку. Марина часто дает себе волю не считаться с правдой, посему трудно возражать ей как автору, по существу имеющему дело, частично – с фантазией (см. мою статью «Корни и плоды» в журнале «Звезда», 1979, №4). Таков ее стиль художника. За годы нашей с ней разлуки (1922-33) она спутала два Музея: я никогда не слу-

жила в музее Румянцевском, и не десять лет, а восемь лет прослужила в музее Изящных Искусств (1924-32). Марина правильно запомнила, что я прослужила (в Музее Изящных Искусств) все 8 лет сверх штата. Но принял меня директор, профессор Н.И.Романов, а не А.К.Виноградов, никогда директором Музея Изящных Искусств не бывший.

В очерке «Жених» А.К. Виноградов назван фамилией Тихонравов, поэтически созвучной. Как не был директором основанного нашим отцом Музея, так не был А.К. Виноградов женихом – ни Марины, ни моим*.

——

Не был он подобострастным к нашему отцу, и к обеим нам относился не через призму нашей дочерности к нужному ему выдающемуся профессору. Да и отношения нашего отца к студенту А.К.Виноградову оказалось – по моему исследованию – совсем другими, чем мы обе предполагали. И Марине и мне казалось тогда, что папа «продвигает» Толю в Румянцевском Музее, так как Толя был сын очень скромной в средствах семьи. На деле же оказалось, что папа ценил Толю как очень образованного юношу, знавшего древние языки и согласившегося бесплатно работать в Румянцевском Музее три года вольнотрудящимся, отдавшим свои свободные часы раскапываниям в Музее книг, рукописей, документов – как страстный любитель книги. Таким образом выяснилось, что не Толя Виноградов, мой с детства по Тарусе знакомый был заинтересован в отношении к нашему папе, а наш отец хорошо к нему относился, отличал его бескорыстие. Так отпадает версия Марины о его заинтересованности в нас, как в дочерях нашего отца, что ошибочно проходит красной нитью через весь очерк «Жених».

Мариной он интересовался как поэтом, в женихи ее не метил, а между ним и мной годы длилось небольшое увлечение, во взрослые годы, когда он был женат и я была замужем, перешедшее в дружбу.

В 1915 году он навещал меня, приехав с фронта, контуженный, очень скромно рассказывал о себе, и лишь много лет спустя узналось о том, как храбр он был – в приказе о его награждении Георгиевским крестом значится, что не щадя себя, из-под оружейного огня он, командир санитарного отряда, спасал раненых солдат… В день, когда казак – фельдшер, посланный по открытой дороге за истекающими кровью ранеными, погиб – Анатолий Виноградов сменил его под прямо на-

*Анатолий Корнельевич Виноградов – известный писатель, автор романов «Три цвета времени», «Осуждение Паганини», «Черный консул» и др. *АЦ*

правленным на него огнем – и успешно выполнил это опасное поручение. Эти факты взяты из приказов по награждению по конному отряду генерала Трубецкого. Знай все это Марина – она, конечно, не писала бы иронического, несправедливого очерка об Анатолии Виноградове…

Меня сердечно тронул пыл Марины за неприятие Толей меня на работу, когда я в ней нуждалась, но восстановление истины дороже. Восстановить облик человека – наш долг.

Просматриваю очерк «Жених» – эпизод с крошечной гусеницей, случайно попавшей в письмо, Мариной дан символично, как увеличенный в лупу. Значения никакого в моей переписке с Толей он не имел. «Дураком» и «наглецом» я Толю никогда не называла – и повода к тому он не давал. Никогда не быв – ни Марининым, ни моим женихом, он был много лет другом, интереснейшим собеседником и напрасно Марина насмешливо трактует его писательство – еще в доме нашем, в Трехпрудном, он читал нам в моем отрочестве свой рассказ «Девочка со скрипкой», тогда уже показавший его талант.

В 20-х годах, когда он уже был директором Музея, он переживал душевный кризис, я в письме к нему – что хранится в ЦГАЛИ, напомнив ему давние его стихи о таинственном страннике, пишу: «Я всегда верила в Вашу душу» и – «помните, что я Ваш верный друг».

Приводимого Мариной грубого тона моего к Толе, как будто он в «ухаживании» за мной настойчив, и я «отбиваюсь» – не было никогда – тут Марина «стилизует» мое отрочество – неудачно:

«Когда же Вы, Ася, наконец, вырастете?
Для Вас – никогда.
Наконец прозреете?
На Вас – никогда!
Как вы еще молоды! Слишком молоды!
Для вас – навсегда!»

Другой Толя и другая Ася! Не мы! Разве могла бы десятки лет длиться дружба – после такой «беседы»?

«Жених» никогда не сделавший предложения?..

В моем очерке «Маринин дом» приведен момент, когда Толя читает мне в лицо, при моем юном муже – свои – назвать ли их «любовные» стихи, полные горечи… Момент был тонок, неуловим, трагичен… И посвящены были стихи «Написавшей мне из Италии» (откуда я незадолго до того вернулась).

Романа же между нами не было никогда. Но и долго после смерти нашего отца длилась наша нежная, чуть ироничная, дружба, лишь

в 1921 году омраченная историей с его отказом мне в работе. Но мне тогда не было известно, что ему было *трудно* принимать на работу в Музей друзей – людей «из старого мира», на него давили, и он должен был каждый подобный шаг «объяснять», что не дворян он устраивает, а людей знающих по несколько языков, коих он не мог находить ни в пролетарской, ни в крестьянской среде.

Вспоминаю: после войны – контузии – в Толе начались странности, годами сгущавшиеся, переходившие временами в тяжелые душевные переживания. Много ходит слухов о нем, но слухи – недостоверные, и им верить – трудно. Но образ этого человека во мне живет светлый, несмотря на разнородные суждения о нем.

МАРИНИН ДОМ

1912—1922—1980

Быль

ПРЕДИСЛОВИЕ

Еще 30 лет назад писатели начали думать о мемориальной квартире Марины Цветаевой. Те, что бывали у нее в последней, московской любимой квартире в доме 6 по Борисоглебскому переулку, – Павел Антокольский, Илья Оренбург, Константин Паустовский приступали к хлопотам по этому делу.

Дом № 5 по теперешней улице Писемского был перенаселен, и ему грозила опасность разрушения и переделок. А важнее всего было сохранить планировку интерьера. Вместо этого в 1962 году, при капитальном ремонте, сбили архитектурные членения фасада, тем обезличив дом. Выбросили дубовые двери, уничтожили цветные витражи на Парадной лестнице. Начались хлопоты. Надо было остановить такое обращение с архитектурным памятником эпохи. Дом этот, как удалось обнаружить Н.И.Катаевой в архитектурном архиве ГДИНТИ, принадлежал с середины прошлого века некоей асессорше Цветаевой. Любопытно? А как уже мне пришлось узнать за мою долгую жизнь, встречаясь якобы с однофамильцами, расселившимися по разным губерниям России, разным областям Союза, Цветаевы происходили издавна как бы из одного гнезда, из бывшей Владимирской губернии.

Когда произносят имя «Марина Цветаева» – помнят: трагическая судьба. Оно так было. Но кто помнит года ее счастья? С ее удивитель-

ным мужем, с прелестной маленькой дочкой. Но я ее молодость помню. И я хочу о ней рассказать.

О том, как Марина была счастлива. Как она вила себе романтическое гнездо. Обе мы любили старину, еще не утешились от разлуки с отцовским домом. Марина хотела найти некое подобие его.

ДОМ НА СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКЕ

Он как-то сам пошел в руки, как голубь ручной – чуть ли не в первый день поисков.

Разгар лета 1912 года, к осени. Мы обе ждем наших первенцев.

Марина и Сережа входят ко мне в самозабвении:

– Ася, нашли! Ты себе не представляешь!

Сережа, от радости перебивая:

– Асенька, это такое маленькое чудо!.. Мы уже сняли, на три месяца! Вы сможете с нами пойти туда? Мы – еще раз?

Идем. Лиловый от синевы день. Собачья площадка, напротив Дурновский переулок. Уютная калитка в воротах. В избытке впечатлений Марина не упомянула о том, чего даже в Трехпрудном не было, был – камин… Настоящий камин, как в старинных книгах, которые в детстве читаешь.

– Ася, за окнами будут мчаться санки, кони будут отбрасывать снежные комья, а в каминной трубе будет гудеть огонь… Сереженька, мы здесь поставим рояль, будущий… Вот так!

Марина мерила длину стены.

– Тут – тот диван, который мы видели в антикварном арбатском… Это будет ваш кабинет, да? Где вы поставите ваш письменный стол? У окна? Мы повесим тяжелые занавески – чтобы ваши легкие…

– А как вы, Мариночка, хотите, чтобы я занимался при свете окна с тяжелыми спущенными занавесками? – с неизменным, немного лукавым юмором отвечал Сережа.

– А где книжный шкаф? (Так получалось, что, еще не ввезя вещи, для них уже не хватало места!)

– Марина, – кричала я из соседней комнаты.– Ты ж мне не сказала, что в этой комнате нет окон!

– Как нет? Есть окно – в потолке! Чудное окно, потолочное! – увлеченно поясняла Марина. – Это будет наша столовая!

– Только мне подозрительно, Сереженька, – сказала Марина, – как хозяйка говорит: «Ладно, пока сдам… Если отложу капитальный ремонт – до весны». Зачем только эти хозяйки – у таких чудных домиков?..

Мы входили в длинный коридор с истертым дощатым полом, на нем – выношенная поблекшая дорожка, когда-то в еще зримых узорах. Но стекла в замысловатых переплетах (кое- где в уголках торчали не захотевшие вылезти узенькие цветные осколки) были чисто вымыты, в них сейчас, углом, попадало предвечернее солнце, как кошка, ластясь о ноги вошедших.

– Тут чудно будет жить! – сказала Марина. – Сейчас увидишь, какая же детская!

Сережа распахнул тяжелую парадную обитую дверь – черноклеенчатую.

– Узнаешь? – сказала мне Марина, – как на черном ходу нашего дома…

В ее голосе дрогнула неуловимо печаль. Мы стояли в маленькой, но довольно высокой передней.

– Бра! Видишь? Керосиновое… И шар матовый, как у нас в зале…

Через белые створки двери мы и очутились в просторной комнате в два окна на Собачью площадку.

Мы стояли в маленькой квадратной комнатке – в продолжение начатой анфилады. В открытую дверь видно было – насквозь взглядом, проходя, следующее по прямой помещение – и еще одну раскрытую дверь, в четвертую комнату. Все четыре шли по прямой, все они равнялись длиной – ширине домика. Только та, которую уже назвали столовой, была короче, так как из отрезанной ее длины состояла передняя (поэтому «столовая» была квадратная, остальные же – продолговатые). Полюбовались на мутное потолочное окно, на его стеклянные слои. В стене, противоположной передней, темнел стенной шкаф, начинавшийся не от пола, а на аршин выше: две широкие, красного дерева, полированные, с резными украшениями, створки, открывавшие за собой уютную глубину, делившуюся двумя полками.

– Какая прелесть! – сказала Марина. – Тут я поставлю любимые книги: в два ряда, и три бы уставились, но вынимать неудобно…

– Но, Мариночка, это же шкаф – в столовой. Это, вероятно, скорее, буфет… – заметил Сережа, закрывая створки шкафа, и повернул воткнутый в одну из них фасонный ключ. Послышался мелодичный, почти музыкальный звон.

– Чтоб в такую волшебную шкатулку ставить – посуду? – негодуя сказала Марина. – Неужели вам нужен буфет? Тут будут жить – книги!

– Отлично! – сказал Сережа.

Это, Маринино, окно приходилось к тем двум, «Сережиным окнам», выходившим на Собачью площадку, – под углом. Мимо этого Марининого окошка не могли по идее ее санки промчаться – за ними была

глухота дворика, его мир, его уют и его тишина. Слева от него была дверка, но она была закрыта.

Сережа тронул крючок, но он неожиданно легко откинулся, и мы оказались там, где побывали в начале осмотра.

– Какие-то неожиданности, да, Ася? Вот это мне и понравилось. Прельстило, – увлеченно говорила Марина, – какое-то тут есть волшебство… Не все смогут жить в такой квартире – ты чувствуешь? Окна, двери, где их не ждешь… Во всем этом есть – замысел…

– А вот здесь у вас, Мариночка, непременно должна быть занавеска, от потолка и до долу, – не менее увлеченно говорил Сережа, – и тут она висела, это видно, деля комнату надвое. По этот бок занавески будет, наверное, ваша спальня?

– Ненавижу спальни! – сказала Марина. – Люблю спать на диване. Вид кровати – чужой вид. Тут я диван поставлю. А в эту дверь я буду выскальзывать иногда рано утром, когда не могу спать, во двор – когда встает солнце…

Не шутить Сережа не мог. Глядя на Марину обожающим взглядом огромных, скорее темных, чем светлых, глаз, он сказал поддразнивая:

– А вы уверены, что оно с этой стороны всходит?

Ответ был вполне неожиданный (не *любознательствуя* – восток, запад).

– Когда мне это понадобится – взойдет!.. – сказала Марина, поднимая на Сережу чуть укоризненный и уже прощающий взгляд.

«Анфилада», так любимая нами в Трехпрудном, – кончалась: мы стояли в детской. Пройдя Маринину, не остановись перед топкой печи, незаметной, мы все разом остановились перед объемистой, выступающей изразцовым кубиком печкой, от полу и почти до самого потолка, она являла собой как бы сердце комнаты.

– Синим обведены изразцы, как наверху, в нашей детской! – счастливо сказала Марина, – наша дочь будет любить эту комнату, как я любила – как себя помню – ту! Ты еще с няней твоей жила в Лериной (Лера еще не кончила свой Екатерининский институт), а Андрюша еще жил со мной в детской…

Она стояла у окна (оно, как и в предыдущей комнате, коротком торце, выходило во двор), распахнув большую – в четверть окна – фортку, и, чиркнув спичкой у вынутой папиросы, стала курить в окно.

– Не приучайтесь, Мариночка, курить в этой комнате, – голосом мягким, точно погладил кота, не удержался сказать Сережа.

Неожиданно кроток был краткий ответ:

– Тогда не буду…

Мы выходили к началу Собачьей площадки – маленькой площадки, продолговатой. Посреди было скромное подобие скверика. По обе длинные ее стороны – старинные домики, друг с другом не схожие, разного цвета и высоты.

– Тут, в одном из них, Пушкин бывал, – сказала Марина. – Вот по этим камням ходил… В какую входил дверь?

– В тот дом вход, кажется, был с Николопесковского! – сказал Сережа.

Распределив, где что будет стоять, Марина так радовалась! Только перевезти и поставить! Но настала чудная погода. Надо было ехать в Тарусу, познакомить Тьо – с Сережей (он ей так понравится… а Тьо – Сереже, он такой никогда не видел!). И они поехали.

А когда они оттуда приехали, (через несколько дней) – я узнала: Тьо сказала им, что жить по квартирам – не дело, им нужно купить свой собственный домик, чтобы устроиться в нем на всю жизнь, а не зависеть от какой-то хозяйки! Марина вспомнила про этот ремонт весной: они только что вживутся тут – а хозяйка захочет заново все переделать! Тьо – права…

И когда Тьо обещала им оплатить покупку небольшого особнячка, тогда только они поняли, что это – как в сказке! Они будут жить в «подарочном» доме, который они сами найдут!

Кто знает, кроме счастья, веселья и молодости, которая фантастична может быть, в этой вдруг открывшейся жажде своего дома, романтического – пружиной этой вспыхнувшей страсти было то, что мы-то с Мариной хоть родились и жили в доме отца, а все же не в нашем, наследники его были Лера и брат Андрей, дети по первому отцовскому браку, и в какой-то страшный, немыслимый день он должен был стать – не нашим. А Лера и Андрей были совсем другие, чём мы, – и они этот дом не любили. Они говорили о его недостатках и неудобствах: Об этом они говорили согласно, хотя они были совсем друг на друга непохожие. Лера любила во всем простоту и – чтобы свежий воздух, Андрей хотел стильную, старинную мебель, говорил, что в доме собрано все разных эпох, как на Сухаревке, мечтал все устроить иначе… Обо всем этом было лучше не думать, и пока мы жили там – мы умели не думать. Теперь же, когда Марина с Сережей так одинаково все чувствовали, – пусть ищут свой дом…

И тогда первый «Маринин дом» перешел ко мне – по наследству.

– Третьего дня, вчера – весь день! Ничего, – говорила Марина. – Понимаешь, совсем все чужое. В одном доме крыльцо – как в Трехпрудном, так же выступает к мосткам, и крона дерева почти над крышей парадного, и нижние комнаты – немного похожие. Но нет анфилады. А в другом – Арбат, родной переулок, но вместо антресолей – мезонин… И какая-то затхлая лестница…

– Вы по объявлениям ездили?

– И по объявлениям, и так… люди дают адреса. Ни от одного сердце не загорелось. Придется – в Замоскворечье… Ни одного такого двора, как в Трехпрудном. Есть уютные, точно там в детстве когда-то была. Сереже один домик понравился – но вообще без лестницы – это же не дом!

– Такой, как наш, не найти… Да и велик вам…

– Будем еще искать. Тьо так добро дала деньги! Так поняла нашу мечту – иметь свой волшебный угол… Знаешь, где искали еще? В Неопалимовском, на Плющихе – где Тьо с дедушкой жили…

– Я из того дома помню только собачью будку, – сказала я, – и собаку, и еще – кусок крыши, и на ней сережки тополиные…

– Тебе года три было, наверное, мне – пять. Когда дедушка болеть сильно начал – его повезли за границу. Они дом продали, а потом дедушка тете стал искать усадьбу в Тарусе, чтобы ей после него там жить… Нет, я дом в Неопалимовском хорошо помню, ну, такой нам не по карману, нам – маленький! Но ты понимаешь, надо, чтобы об него душа зажглась…

– Ну еще бы! Но ведь Сережа у тебя сам уютный, Борис. Ему вообще дома не надо! Никакого. Я думаю, в Замоскворечье вы…

Из Замоскворечья Марина с Сережей приехали – восхищенные. Но ничего не найдя. Марина ко мне бросилась:

– Ася, какой кот! Точно сейчас из трубы вылез! Черный! И такой ласковый… Мурлыкал – как катает орехи, такая крупная вязь… Он так выгибал голову – противоестественно! Он ничего не замечал – он смотрел мне в глаза, понимаешь? Сережа сказал – оборотень… Но этого не может быть! У него же глаза были совсем невинные, небесные…

– Голубоглазый, кот?

– Совсем не голубоглазый. Так бывает иногда на закате… Как мое хризолитовое кольцо! И при такой ленивости такое достоинство! Котиное… как в трехпрудном Васе…

– Ты изменила черному трехпрудному Васе… – сказала я укоризненно.

– Ася, как родной брат! Сережа от него увел меня – за руку… Ты сама б от него не ушла!

– Если б ты видела этот дом! – говорила на другой день упоенно Марина. – Двор – маленькая усадьба. В углу, как в нашем детстве, заброшенный домик колодца. Две огромных будки, собачьих, одна пустая, в другой – яростный пес. Но он на меня скоро перестал яриться, махал хвостом. Я хотела к нему подойти, я уверена, он бы меня не тронул, но Сережа меня не пустил! Дом – с антресолями, сбоку похож на наш. Но большой и парадный. О цене мы и не спорили. Я просто стояла и любовалась. Два флигеля. Деревьев еще больше, чем в нашем дворе. На качелях девочка лет восьми. Сидит, чуть покачивается, ногой в землю, а на коленях – книга, читает. Я бы к ней подошла, но ее позвали, она убежала. Целый мир! Но девочка не как мы, а с косами. Окна – без стекол. Мы как будто в гостях побывали.

– У собаки? – сказала я.

– Рыжая, большая, дворняга. Но может быть, кошек гоняет – ни одной во дворе!..

– Ася, но помимо домов – какие-то чудные переулочки… Почему-то мало людей – или мне так показалось? И какие-то ласковые, и так смотрят… Знаешь, мне это все напомнило – Тулу. Помнишь, в детстве с мамой ездили в Тулу? Какой-то особый уют. Хорошо, правда? Сереженька, если мы в Замоскворечье поселимся? Даже на Тарусу немного похоже – кусты бузины… мальвы под окнами…

Вскоре, может быть – на другой день Марина пришла усталая.

Не поедем сегодня! Передохнем. Собственно, один дом остался в душе – но, наверное, не по средствам: очень уж какой-то торжественный – правда, Сережа?

– На Ордынке тот? Да, но он очень стар, там ремонт нужен.. слишком уж много комнат, ни к чему. Да и дорог, конечно… А хозяин – в нем что-то от Диккенса, да? Такой лорд! И мне кажется, злой… Но картинный!

– Он на Плюшкина был очень похож, – сказала Марина, – только моложе. А еще в одном – Ася, какая собака! Ты знаешь, мне кажется, я никогда не видала такой собаки!.. Я из-за нее одной могла купить тот дом… Но Сережа не согласился – говорит через год – рассыплется…

– Проще было бы собаку купить!

– Они не продавали! Кто же такую собаку продает?!

НАХОДКА, ДОМ В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

– Ася, все решено! – сказала однажды в прекрасный день Марина, Покупаем! Уже и сил нет искать дольше – но главное – мы нашли дом, который похож на Трехпрудный! Не все конечно, но и лестницы, и антресоли, и такие же друг за другом зала и гостиная, и за гостиной – маленький кабинет! Я ненавижу спальни, ты тоже? Сережа будет жить внизу, в кабинете, а я – наверху, рядом с детской. Тебе понравится, вот увидишь! Моя комната длинная, небольшая, и два окна друг к другу углом, как у тебя в углу в нашей бывшей детской! Сразу видишь все закоулки двора! Там большая береза, и возле нее маленькие и кусты. Кусты всюду. Сегодня не можешь? Тогда адрес запомни. Может быть, сама к нам приедешь, мы там будем завтра до вечера! Улица Полянка. А дом – переулках, на углу Первого Казачьего и Екатерининского. Очень тихие. Такая провинциальная старина… Мы будем очень торопить с перевозкой вещей – ведь из разных мест: у Лили и Веры, из Трехпрудного… Я уже папе сказала, он обещал посмотреть. Лучшее из всего, что видели, – и как-то совсем отдельно, как будто маленькая усадьба. Мне даже же показалось так: выйдешь, завернешь за угол – и река, косогоры… Сережа сейчас у сестер. Хочет забрать свои книги, учебники. Как только переедем, сразу засядет учиться, хочет скорее сдавать экзамен, при округе… Только бы температура не помешала! Но печи – хорошие, туда соседка их заходила, пожилая, уютная. А наверху – три комнаты. Одна даже лишняя – большая, как детская. Но моя странная, узкая и волшебная. Я сразу почувствовала, что – моя…

– Я очень за тебя рада! Наконец! Завтра приеду.

И во вдохновении, от Марины зачерпнутом, я на другой день окунулась в ее восхищение. Двор, какой двор! Акации и тополя, как в Трехпрудном, а посередине – береза! Кусок Тарусы. В пустой будке собачьей, увы! – пса не было – но он будет! Дом без пса? Но коты мелькали, разношерстные, дикие, – приучатся!..

…Почему-то двое ворот, под углом! В разные переулки! Так только в детских книжках бывает!

Будущий мой сын не давал быстро взойти на лестницу – Марина еще всходила легко. Наверху, на площадке лестничной, меньше, чем обводили перила, – там в нашем детстве было три двери: две напротив друг друга, а одна – перед последней ступенькой. Эту раскрыла Марина:

– Детская! Видишь: просторная, чтобы бегать, потом… Тут – кроватка, а тут – нянина. Няньки у печей любят!

Выходя, показывая направо:

– В эту комнату я еще ничего не придумала – какая-то без уюта, еще непонятная. А вот эта дверь – в мою! Иди осторожно, не задень за угол перил!

Мы стояли в комнате вдвое уже, чем детская. Чем она казалась странной? Может быть, тем, что окно в ее правом торце расширяло ее ширину, в то время как второе окно, если стоять у торца правого, – было почти незаметно, вписано в конец длинной стены. И отчего-то казалось, правда, на миг, пока не сообразишь, что неверно, что комната не прямая, а с поворотом – поворота же не было.

– Нравится? – увлеченно сказала Марина. – Теперь слушай: книжный шкаф, мамин, будет у Сережи внизу, в кабинете. Мы купили на Арбате, в антикварном, два кресла красного дерева, может быть, их тут… Посмотрим! А вот мечту мою давнюю (мне стало трудно по антикварным) – Сережа давно уже ищет. Я говорю о шарманке. Я ее так хочу, но вот в этой комнате ей как-то нет места, шарманка должна иметь свой, глубже, чем комната, угол… Чтобы она оттуда, из глубины играла… Раз ее невозможно носить!

Мы спускались.

– Когда научатся по этой лестнице дети спускаться? – раздумчиво сказала Марина, пропуская меня вперед. – Держись за перила. Наши дети, когда и мы-то не очень… Падать они будут, что ли?

– Мы-то не падали? Отчего-то не падали!

– Да, но та лестница была как стрела, а эта какая-то с поворотами… Тут одна ступенька – вдруг – маленькая, я чуть не упала вчера, ожидая, что она глубже. Ася! Уборная в углу, под лестницей. А напротив – совсем ненужная комната: никакая и на отлете. Мы, наверное, ее сдадим: пусть кто-нибудь живет, сам по себе. У выхода. Зачем-то такую комнату – выдумали?

Мы входили в первый этаж дома – с черного хода, с низа лестничной клетки.

– Полукруглая, понимаешь?

– Очень странная. Никогда полукруглых комнат не видела.

– Во сне видела. Но эта – отчего она темно-желтая?

– И это не обои, по-моему, – сказала я неодобрительно, – это какой-то состав… И как-то пахнет особенно! Марина! Тут же нет окон!

– Да, окон нет… А тут негде им быть: кругом комнаты!

– Я никогда не видела комнат без окон…

– Ты знаешь, она вовсе не полукруглая, у нее углы полукруглые! – сказала с интересом Марина, – как у багетных рам.

– Я бы не хотела жить в этой комнате!

– Да никто и не будет, – сказала Марина. – Здесь будет столовая…

Дверь, через которую мы вошли, была посередине комнаты. И справа, и слева было еще по двери. Впереди стена была цельная, глухая.

– Как ты хочешь обходить низ? – спросила Марина, – справа, через залу и гостиную, или слева, через Сережин кабинет?

– Через залу! Хочется ко всему приглядеться, свыкнуться! Из столовой – как в Трехпрудном, дверь в залу… Но там зала была высокая, а столовая низкая, под антресолями. Тут – антресоли… Как же так получается, что ровная высота?

– Я этого ничего не понимаю и не пойму! – твердо и без тени любознательности сказала Марина. – Смотри: так же, как из залы был выход вправо, в переднюю, а влево тоже идет анфилада: зала, гостиная, кабинет. Если эти комнаты увеличить в лупу – то будет Трехпрудный! Как же я могла не купить этот дом! И ведь не бог весть сколько Тьо могла подарить мне – но хватило как раз! Сколько Тьо дала мне, столько и назначили. Точно знали, что больше нет! Как во сне!

Мы медленно обходили одну за другой комнаты, Но в то время, как Марина говорила о сходствах двух домов, я молча замечала их разницы: зала была не угловая, не выходила, как в отцовском доме, частью окон во двор, Не было той, улетающей к потолкам высоты, все было сжато, приземисто. Деформировано – но это надо было скрывать от Марины… Раз она так видела… Мне надо было себя тренировать на видение сходства, чтобы хоть приблизиться к ее состоянию счастья. Что-то было грешное в моей зоркости, беспощадности наблюдения. Я должна раствориться в Маринином состоянии! – сказала я себе строго.

В зале было, помнится, три окна: в первый Казачий? Екатерининский? Этого я тогда не знала, и – далее будет ясно, почему – не знаю и не узнаю теперь.

– Тут был у нас в Трехпрудном буфет, – сказала Марина и показала на пустой угол между передней и залой.

– А сбоку и над амбразурой окна – висел, столько лет, портрет. Варвары Дмитриевны Иловайской…

Опять я о несходстве… – сказала я себе укоризненно, – ни одного

слова об этом… (И точно помогут мне в этом решении.) «Переступив порог» – его не было – из залы в гостиную, я остановилась: два полукруга кафельных печей влево по ходу, т а к о е повторение печей гостиной Трехпрудного, что шаг замер: мы стояли точно в по волшебству уменьшенной, с детства знакомой гостиной – ниже, уже – но *макетно* повторенной!

– Поняла, как похоже? – радостно сказала Марина. – Как же не купить нам это? Чтобы к чужим людям попало это невероятное сходство? Никому, кроме нас, не нужное? Зала, гостиная – те же! И передняя. Я как вошла… Точно, как там, поставлю два дивана, напротив друг друга, купим старинные, и столы к ним – овальные, круглые… А возле печей – подставки закажем высокие (канделябры, они есть)! Люстру купим, с подвесками. Помнишь, какой-то упал, хрустальный, и в нем огоньки, разноцветные… Только бы Сережа не надорвался с этими своими экзаменами! Мамина чахотка и к нему прицепилась… (вздох). Хочет в один год все, столько! Разве возможно? Больной с 15 лет.

Но войдя в кабинет, вы оказывались в совсем другой комнате, решительно не похожей на папин: и не только тем, что папин был большой, по размеру равный гостиной, а тем, что комната была просто крошечная, в одно окно, выходившее в закоулок двора, в той стене, где у папы были книжные полки – целая стена книг, папины два выходили на улицу, как и залы, и гостиной, удлиняя фасад (в доме Трехпрудного было семь окон фасада, в этом, стало быть, – пять).

Неожиданный уют был в этом будущем кабинетике, заглядывающем в зелень двора узеньким карандашным окном. Собственно, эта крошка слила в себе две комнаты: кабинет и спальню, которой тут – не было. А там, где из спальни Трехпрудного была дверка в маленький коридор к черному ходу, – тут, в левом боку этой комнатки была дверь в ту темно-желтую столовую. Так дом, проглотив спальню, или же ее не родив, являл собой частичное повторение дома в Трехпрудном, пятиоконный фасад вместо семиоконного, бесспальный дом, но лестничный, антресольный и березовый (в Трехпрудном берез не было!). И была наша молодость, заменив детство – радость и мощь нам принадлежащего будущего!

Так казалось нам. Кто же умеет видеть будущее? Кто поверил бы в тот час – наш, сегодняшний час, в закон превращения, более могучий, чем явь, нам в тот день так трезво служивший? Только в музыке звучит

– он, закон катастроф, слияния прошлого с будущим, неожиданностей, грохота черного грома – с арками радуг, глотающих гром, открывающих вход в небо! Но к чему тут метафоры? Я только хочу сказать, что не напрасно детство боком прижато о юность – и кто же их разберет? Не тот же ли закон детского одиночества, льнущего к книгам, к вещам, к животным, – открывался Марине в те дни в законе, названном с ч а с т ь е?

В слияньи с другой душой, неожиданной и близкой, ближе даже, чем две наши души? Он уже входил с черного хода, высокий, веселый, все знающий, радостный – в нем она могла утопить каждый свой вздох. Кто поверил бы тогда в грядущие катастрофы сознанья, способные – разлучить?

«Разлука» называется через несколько лет книжка стихов, крик души Ярославны, Психеи и Эвридики! Всему свое время – и слава закону жизни, умеющей иногда – не спешить…

Был солнечный день. Подводы везли к дому вещи, выгружались сундуки, шкафы, столы, диваны и кресла. Бурно, как громовые раскаты, шла расстановка всего, примерка, перестановка, гремела шагами лестница – это *счастие* вселялось в дом, где скоро откроет глаза Ариадна, огромные свои, как у отца, только светлые, сказочно-недетские глаза. Кто посмеет при мне утверждать, что жизнь Марины – трагедия, что Марина была несчастна? Шли не дни, шли годы – и счет я им знаю – нет, они бесконечны – Марина была счастлива!

РАЗОЧАРОВАНИЕ

В доме на Полянке, на углу Первого Казачьего и Екатерининского жизнь Марины, Сережи и Али с ее красавицей кормилицей Грушей прервана наступлением лета 1913 года, лета нашей разлуки: они собирались к Максу и Пра в Коктебель (Пра была крестной матерью Али), я – на хутор к отцу Бориса, в Воронежскую. К концу лета мы все, папины дети: Лера, Андрей, Марина и я съехались в Москву. Ошибусь ли, что Лера из Англии (она с детства говорила по-английски, и, может быть, ее потянуло туда по воспоминаниям о ее бонне, старушке), откуда-то из-за границы тоже приехал брат Андрей.

В конце августа с папой под Клином, где он жил на пансионе в знакомой профессорской семье, случился удар. Его перевезли в Москву

тут же, не переждав, лечили дома его хорошие врачи, но 30 августа папа скончался, 66 лет от роду. Это было нежданно: за два дня до смерти еще звал меня с собой в Италию на зиму, где он собирался писать свою последнюю, может быть, книгу – об архитектуре римских храмов. Мы не скоро опомнились, Марина и я. Но Сереже, казалось, был нужен юг. Весной он готовился держать экзамены, экстерном, за 8 классов гимназии.

Расставаться с Мариной? Наши дети уже играли друг с другом… И мы собрались ехать вместе. Дом Маринин? Они сдали его на год неким Чровым, у которых была частная нервная больница.

Маринино семейное счастье в тот год выразило себя в стихах. И мужу и дочке помечены летом 1913 года, в Коктебеле у моря. Портретно звучат строки:

…Так вы лежали в брызгах пены,
Рассеянно остановив
На светло-золотистых дынях
Аквамарин и хризопраз
Сине-зеленых, серо-синих,
Всегда полуоткрытых глаз…

А за спиной была пустыня
И где-то станция Джанкой…
И тихо золотилась дыня
Под вашей длинною рукой.

Так, драгоценный и спокойный,
Лежите, взглядом не даря,
Но взглянете – и вспыхнут войны,
И горы двинутся в моря,

И новые зажгутся луны,
И лягут яростные львы –
По наклоненью вашей юной
Великолепной головы.

Счастливо любуется она дочкой, радуясь душевному – сходству:

Все куклы мира, все лошадки

Ты без раздумия отдашь
За листик из моей тетрадки
И карандаш…

…Ты знаешь, все во мне смеется,
Когда кому-нибудь опять
Никак тебя не удается
Поцеловать.

…Послушная малейшим знакам,
За мною ходишь по пятам,
И ластишься к одним собакам,
К одним котам.

Когда в начале войны 1914 года мы вернулись в Москву, мнения о длительности войны, как и отношение к ее «нужности», разделилось. Многие тогда считали, что она скоро кончится, более зоркие умы – негодовали. Выехавший за границу перед самым началом войны М.А. Волошин слал матери, рискуя, письма могли быть прочитаны – обличительные антивоенные стихи, выступал с той же оценкой войны в Швейцарии Ромен Роллан. Мало сведущие в делах политики, мы ждали конца войны. Но была еще одна причина, по которой Марина не со всей мощью своего восприятия переживала те военные недели: помимо того, что еще никого из близких на войне этой не было, помимо того, что мы недооценивали ее, ожидая скорого конца, – Марина, приехав из Коктебеля, застала в Москве смертельно больного брата Сережи, умиравшего от туберкулеза, Петра Яковлевича Эфрона, приехавшего из Франции. Он был так похож на Сережу, своего младшего брата, как будто Сережа умирал на ее глазах! Это горе, горе его последних дней, нежной дружбы их, прерванной смертью, как с детства каждая смерть, пересекавшая путь, поглотила ее. Только это довлело. Если бы не цикл стихов, этой утрате посвященный, я не знаю, как бы она с собой справилась.

И был еще бытовой вопрос: где жить? Все как-то вокруг рушилось: дом в Трехпрудном был братом Андреем отдан под лазарет, в ее доме на Полянке – чужие… Марина приехала с Полянки – расстроенная.

– Знаешь, Ася, оказалось, что эта – больница не нервная, а психиатрическая… Они не хотят выселяться, Чровы! Выселить их судом? Кто это будет? Сережа? Я? И въезжать туда после того, как там сумасшедшие жили? Я не хочу там жить! И потом – знаешь, я когда вошла в этот

дом, поняла, что он мне совсем чужой! И совсем он уж не так похож на Трехпрудный. В нашем простор был… было в нем волшебство… И какие-то запахи там чужие – мне даже страшно немножко сделалось – как мы там жили? Почему мне так нравилось? Такое все сжатое, низкое… Ни за что не хочу там жить! Пусть там живут сумасшедшие! Правда? Им – все равно, там каждый в своем мире. А нам с Сережей все эти миры их теперь – на себя… Они будут нам сниться!

Марина близко мне взглянула в лицо. Глаза ее, с расширенными зрачками, глядели близоруко и гипнотически…

– У тебя сейчас глаза, как у кота, – сказала я Марине. – Я очень рада, что ты не будешь жить в том доме. Я его никогда не любила, я только терпела, чтобы не огорчать тебя!

– И мне ничего не сказала? Ася, ты – свинья… Ты должна была мне сказать о нем – правду!

– По-моему, Сережа пробовал, чуть-чуть. Но разве ты бы послушала?

– Не послушала бы, конечно, нет… Но сколько можем мы жить у Лили и Веры? Если бы у тебя была квартира, мы бы временно у тебя пожили и искали бы… Но ты ведь тоже должна искать? Но только не будем искать в Замоскворечье, это совсем чужая Москва! Надо начинать искать. И я так рада, что Сережа сдал экзамены… Но теперь у него другая фантазия – сразу в университет. Смерть Пети так на нем отразилась, ему надо скорее домой куда-то, в покой… Опять затемпературил (вздох). – Ну, что же, завтра – начну. В переулках Арбата, Пречистенки, Поварском… Ведь Чровы будут нам платить за этот дом! Как ты думаешь? Не очень аккуратно платят. Но все-таки платят. Вот это и будет идти на плату за квартиру. Зачем этот «собственный» дом… – И опять началась эпопея поездок, дворов, милых и не милых переулков, переговоров с хозяевами, сравниваний, где лучше, где просторней, где есть хоть тень сходства с Трехпрудным… Знакомства и разлуки с собаками и с котами.

«МОЙ ДОМ»

(Дом в Борисоглебском)

Я уже перевезла свои вещи со склада Ступина, где они год стояли на хранении, в особнячок у Зоологического сада, когда ко мне ворвалась Марина.

– Ася, нашла! Нет, нашла уж по-настоящему! Вот это будет Мой Дом! Это тебе понравится! Знаешь где? Борисоглебский переулок на Поварской.

– Входишь – темно, потому что не горит лампочка. Ну, это вставим! Проходишь площадку – есть ли справа квартира, я не заметила, слева – есть! Начинается лестница. Первый марш, площадка, поворот, второй марш – и площадка, там горит лампочка. Справа – высокая дверь, двойная. По-моему, она красного дерева (я не видела еще красного дерева дверей). Очень похожа на наши диваны: два в гостиной и Сережин диван. Входишь. Передняя какой-то странной формы, вся из углов, потому что одна дверь впереди, одна как-то наискось, стеклянная. Справа – темный коридор. Потолок высоко… На этом месте – все начинается! Дверь открывается – ты в комнате с потолочным окном – сразу волшебно! Справа – камин. И больше ничего нет. Я так вдруг обрадовалась, но знаешь, это не так, как там. Это – серьезно. Я уже в этой комнате почувствовала, что это – мой дом! Понимаешь? Совсем ни на что не похож. Кто здесь мог жить? Только я! Сережа бы и то согласился… Но и ему, и мне есть там другие комнаты – слушай! Проходишь эту потолочную комнату – а там темная, маленькая. Ощупью доходишь до двери – двери двойные, высокие – и вдруг ты в зале! Зала, понимаешь? Справа окна – во двор. Три окна. Это будет Алина детская. Чудно! Они с Андрюшей могут бегать, как мы в зале бегали… И шары воздушные, красные и зеленые будут летать, как у нас – высоко… Помнишь, как у нас улетали?

– Еще бы!

– Тут будет Алино детство. А справа от высоких белых дверей – надо назад выйти – маленькая темная дверь. Я вошла – моя, понимаешь? Такая странная комната – такая робкая… у окна, во двор, оно под углом с Алиным (почему получается так – непонятно), я поставлю мой письменный стол. Больше ничего собственно. Люстру повешу. Я еще не купила. Куплю маленькую, не пышную. Да, и диван у стены против двери; справа за спиной, когда за столом буду сидеть. И стена как-то изгибается, непонятно – и справа углубление: здесь станет мамин книжный шкаф, и на нем – бюст Амазонки. Углубление нарочно для шкафа. Но встанет ли Амазонка? – вдруг засомневалась Марина, – шкаф мамин очень высок… его можно в Алину залу – вот и все! А на секретер – Амазонку. Окно мое – прямо в голубей, их на наружном подоконнике – тьма… Большая фортка. И такой угол в этой комнате, она маленькая, но в ней дух дома! Подожди, еще целый этаж! Да, вот это – мой дом. А Сережа – отдельно, как мы в детстве – наверху, отдельно, тишина – заниматься… Чтобы попасть во второй этаж этой квартиры,–продолжала Марина, – надо пройти маленькую темную комнату: первую,

с потолочным окном (позади остаются еще моя, Алина – сколько это? Четыре комнаты) – выходишь в переднюю, а она неожиданно изгибается и не резко, не поворот, а какие-то полукруглые стены – и подходишь к лесенке. Ее продолжение вниз – это выход на черный ход, а я говорю про ту, которая вверх поднимается. Я не помню, совсем прямая она, как у нас было в Трехпрудном, или там есть поворот. Если есть – он не резкий, а как та стена передней – округлый. Ты следишь? Наверху – площадка, верней, пол небольшой комнаты, проходной, направо две двери – к кухне, а влево – две двери, одна за другой. За ними – Сережина комната. Ася, это знаешь, что такое? По-моему, это – каюта. Во-первых, туда попадаешь не сразу, к тому же какой-то переход, полутемный, преддверье. И входишь по ступенькам в разлатое, невысокое антресольное – что? Мне показалось, тут должен быть иллюминатор, за ним – волны. И, может быть, все это – корабль… Да, что-то кораблиное есть я этой квартире – и это такая прелесть… Все комнаты – сами по себе, понимаешь? Это сборище комнат, это не квартира совсем! Как будто часть замка. Откуда-то ее пересадили в этот дом № 6! К Сереже надо внести диван – напротив двери, перед ним – стол. Все уже есть. Красное дерево. Справа – окно, такой глубины, амбразурное, и выходит оно на крышу. В голубей. И оно над окнами Али… Но кажется, что очень высоко. Как мама мечтала, для воздуха… Да, и еще кухня! Знаешь какая? Совсем непохожая! Не кухня! Очень большая, тоже разлатая, в два окна – это все направо, и совсем непонятно, куда эти окна выходят – тоже во двор, должно быть, – но не может же двор обходить все комнаты! Там должен быть другой дом, дом соседей… Ну, это все равно не понять! Такая квартира, будто ты в ней давно живешь, так все понятно, точно это все ты сам сделал… Как во сне! Как я давно его искала, этот мой дом!..

Я в этот же день пошла туда с Мариной. И удивительно: точнее нельзя было описать его! Ходя по комнатам, я все узнавала, точно я здесь второй раз. Только внизу, то есть во втором этаже, я спросила Марину, почему она, не рассказала о самой первой комнате, которая находилась напротив входной двери.

– А, – равнодушно сказала Марина. – Это просто даже лишняя комната. Мы ее, наверное, сдадим. И так хватает! Пять, кроме кухни. Совсем обыкновенная, не вписывается в эту квартиру. Комната-отщепенец…

Кончался 1914-й, наступал 1915-й. Что он готовит нам? Каждый год так восклицают люди, а если спросить, чего ждут? Увы, война не

кончалась. В дом в Трехпрудном свозили раненых, в доме Марины на Полянке, с такой любовью найденном, врачи лечили сошедших с ума людей…

Наши дети росли, им уже шел третий год, они говорили, они столько уже понимали… Обожаньем взаимным дарили друг друга Марина и Аля, Аля знала уже столько стихов! Но над домом их, войной обойденном, хранимом (Сереже, по университету, была отсрочка), притаился другой страх, неумолимым молчанием отвечавший на Маринин вопрос: выживет он? Температура… Как наша мать, не хочет есть ничего, что бьет болезнь эту, не может принудить себя… Грозная память об ушедшем его брате бросала на все – тень.

Неутомимо следила Марина за режимом больною, за открытой форткой его, на самой большой, в квартире возможной, высоте – тут исполнилась мечта нашей матери: «Когда мы вернемся в Москву, – говорила она нам и во Фрейбурге, и в Ялте, – я, дети, поселюсь выше, чем ваши комнаты, над крышей парадного, на чердаке, в мансарде. Окно будет открыто и в мороз, как в Leysin, там холодом облаков горных лечат туберкулез…»

Сережина комната воплощала эту мечту, до которой не дожила наша мать, в Тарусе, в жару умершая, за полгода до московских морозов.

В комнате, похожей, по Марининым словам, на каюту, роль кровати играл старинный диван с гнутой спинкой красного дерева: с кресел, таких же, сметалась и выбивалась пыль. Любимые его, мальчиком еще, полководцы: Суворов, Кутузов, Нахимов, Корнилов, герои Севастопольской войны глядели со стен, со старинных гравюр багетных рам. Сережа не отрывался от книг. Такие же два дивана стояли внизу в столовой, у правой и у левой стены. Над ними тоже гравюры. Полыхал огонь в камине, за высоким потолочным окном смеркалось, в высоких дверях, из полутемной проходной комнаты выбегала дочка Сережи – так на него похожая, как и он, с огромного разреза глазами. Но в то время, как его лицо, длинное и худое, делало темные его глаза почти неестественной, о болезни напоминая, величины – Аля походила на английское бэби светлой гривкой тяжелых пышных, волос, на лбу челкой подрезанных, и, подняв к матери, поправлявшей дрова, глаза, светлее, чем голубые, гортанным голоском говорила:

– Мама, идемте в детскую! Посмотрите, как спит Кусака!..

Я не помню, с каких лет Аля стала звать мать – Мариной.

В детской на трех окнах спущены занавески, и почти во всю ширь – серый с рыжим узором листьев ковер, ковер из маминой гостиной в Трехпрудном. Мамин книжный, ореховою дерева, шкаф торжественно стоит в левом углу. Он оказался слишком высок, чтобы на него поместить Амазонку. Амазонка смотрит вниз на Маринину комнату со старинкою темного секретера, привезенного из арбатского антикварного магазина. Над кроваткой Али картинки сверкают рождественским снегом, как кусок звездного неба.

– Марина, это твоя детская сохранилась?

– Чудом! Второе детство… Алечка, скоро спать пора. Няня где?

– Еще чуточку!.. Няня молоко в кухне греет…

Мы в Марининой комнате. Аля ластится к матери. Напротив дверки, чуть вправо, над спартанским ложем – пружинный твердый матрац. На дощатой раме, крытой рыжим рядном, висит портрет Сережи, почти в натуральную величину.

– О, Магда закончила (я, отойдя, чтобы лучше охватить взглядом) хорошо… чудная кисть ее! И очень похож.

Сережа смотрел на нас, лежа в шезлонге, и была во взгляде его тишина.

– Марина, все твои мечты о твоем доме исполнены? Какая удивительная люстра, синяя!

– И за грош отдали – в ней по синеве трещина. Но правда – волшебная вещь?

– Секретер точно для этого угла был создан!

– Да, вещи сами идут в руки, когда их ищешь,–оживляясь от моей похвалы, отвечала Марина,–лисы чучело видела?

– Как кошка свернулась, раковиной?

– Да, так спят…

– Мама, Кусака! – кричала, вырываясь от няни, Аля, отбиваясь от няниных рук, ей не даваясь, переваливая в руки матери дымчатого серого кота.

Ася, это не кот, это чудо какое-то… Он все понимает.

Марина целовала в голову Кусаку, выгибавшего шею, как лебедь. Закрывая за дочкой дверь, обещая прийти на ночь проститься.

– А шарманку до сих пор не нашла… Можно подумать, что я идиотка? Война идет, а я шарманку ищу… Но это же душа нашего детства, с ними уже не ходят по улицам, пусть играет Але в этом углу!

– И Амазонка твоя будет слушать, наклонив к ней голову.

– Ах, Ася! – сказала, вдруг вся меняясь, встрепенувшись в свою тоску, Марина,–я дописала вчера стихи Пете.

Она перебирала бумаги на девическом своем, *трехпрудном*, ей подаренном папой письменном столе, большом, мужском, нетемного дерева, с темно-красным сукном.

– Слушай. Начало ты уже наизусть знаешь. Вчера я докончила:

…Пусть листья осыпались, смыты и стерты
На траурных лентах слова.
И если для целого мира вы мертвый,
Я тоже мертва.

Я вижу, я чувствую, вижу вас всюду.
– Что листья от ваших венков!
Я вас не забыла и вас не забуду
Во веки веков!

Она передохнула. И угасая:

Таких обещаний я знаю бесцельность,
Я знаю тщету.
Письмо в бесконечность. –
Письмо в беспредельность,
Письмо в пустоту.

РАЗРУХА

Война не кончалась. Сережа, бросив университетские занятия, ушел братом милосердия на войну. Но в течение двух лет он уезжал и возвращался. Тоска Марины от его отсутствия, радость встречи – сменяли друг друга не раз. Я в это время жила со вторым мужем Маврикием Александровичем Минцем (Ему посвящено стихотворение Марины –«Мне нравится, что вы больны не мной, Мне нравится, что я больна не вами…»), во Владимирской губернии, в бывшей Александровской слободе, городе Александрове. Он был взят туда на военную службу. В 1916 году летом у меня родился второй сын Алексей, Во время мое в московской больнице я просила Марину жить со старшими детьми нашими у нас в Александрове. Она упоминает об этом в своей «Истории одного посещения». Именно туда к ней приезжал О.Э. Мандельштам, и

они бродили по исторической Александровской слободе. Там я помню приезды ко мне Марины, ее тоску по вновь исчезнувшем Сереже, ожидание его. В зиму 1916–1917 годов Марина томилась второй беременностью. В самом начале апреля 1917 года у нее родилась вторая дочь Ирина. Она была вся в Эфронов, похожа на сестру свою Алю, но не так красива, как та. На мать ни одна из них не была похожа (так же четко не похожа, как четко, портретно — похож был уже в раннем детстве, 8 лет спустя, Маринин сын Георгий).

Жизнь разделила нас с Мариной с лета 1917 года по весну 1921 года почти на 4 года. Марина, как видно из писем ее к М. А. Волошину, 4 года не знала, жив ли ее муж. В разгар их разлуки я вернулась в Москву к Марине в ее квартиру дом № 6 по Борисоглебскому переулку.

Несмотря на майские дни, в первой комнате от входа была полутьма. Потолочное окно, годы не протираемое – не до того было! – тускло светило. Я не сразу поняла, почему комната такая маленькая – она же была большая! Дело же было в том, что мы (человек в ней) двигались, собственно, по ее середине. Накопившееся в тяжелые годы, когда сил хватало только на борьбу за жизнь – а у Марины еще на писание, одну за другой, книг стихов,—-не выносилось. Не хватало ни сил, ни времени на давно отставленную, выключенную из внимания, так называемую уборку – мусор, обломки мебели (краснодеревную мебель рубили на топку печурки, вокруг которой теплилась жизнь), И эти странные внутренние стены уменьшали – на вид —комнату. Когда-то она была столовой.

На одной стена еще висела вынутая из рамы гравюра, на противоположной стене не было ничего» Стоявших тут когда-то диванов – не было. Исчез и обеденный стол. Опустевшая, им прежде занятая, часть комнаты, немного расширенная, и составляла жилую ее часть. Ближе к камину стоял простой маленький стол, на нем жили тетради, бумаги, чернильница. Рядом с этим очагом творчества тлел очаг питания: посреди смолкших языков романтического каминного пламени, скромной тенью их, возвышалась на коротких ножках печурка. (В те ли годы – или уже в ретроспекции–ее прозвали «буржуйкой»?) Тут варилась Алина пшенная каша ежемесячного академического пайка. Ее сменяла Маринина, у рынка, с рук покупавшаяся, фасоль корм – мозгу). И неизменный черный кофе. Кругом царила разруха.

– Женщина – не убирала, годы? Аномалия! Непростительная! – ?

– Нет. – Поэт! Выковывание стихов, поэм, пьес в стихах. На это уходили все силы. Похоронила младшую дочь. Вытащила из трех болезней – старшую. К весне 1922 года были изданы 4 книги – вы их читаете: два сборника «Верст», «Царь-девица», «Конец Казановы».

Мою попытку прибрать, вычистить, с жаром начатую, Марина резко остановила: «Спасибо, но не продолжай! Береги свои силы на важное. Мне это совершенно не нужно».

На этой мрачной – бесплодной? для стихов плодотворной? – почве выросли ее книги. Об этой квартире вспоминали в печати и выступлениях – И. Эренбург и П. Антокольский.

Будь Марина жива и прочти она эти страницы, она бы сказала мне: «Ася, ты забыла самое главное!» – «Дух трущобы? Марина, разве его можно забыть? Петухива?»

«Петухив» висел тут же, на нем – сомнительного цвета ручное полотенце, над вздыбленной, когда-то лапе, на ее проволочной основе, еще таящей остатки чего-то мягкого – когда-то это было чучело лисы. Мех был продан – шкуркой (должно, быть, лиса вся, набитая, не была нужна покупателю). Выбросить же ее остов, кусок лисиной души – как это? И остов жил и служил. Невнятно слитый с происхождением названия тех же лет: где-то на Украине в гражданскую войну, в брошенном доме стоял в постельке маленький мальчик (родители были убиты в бою за город) и молился раз навсегда запомненно-ежедневно: за папу, за маму – следовало перечисление имен и завершением звучало, ежевечерне: «И за моих петухів». (Петухи были, наверное, игрушечные, потому что дело было в городе, а мальчик был украинец.)

– Остальная квартира? – отзывалась Марина на мой вопрос,–ты тут ничего не узнаешь! Одну Сережину совершенно неисповедимыми путями с помощью Союза писателей, удалось отстоять. Потому что эта и темная, маленькая, соседняя – проходные, без окон,–они не идут в счет. У нас остались Алина и моя. Верх забрала семья самогонщиков – этого, конечно, не знают, они очень хитрые! Где-то работают. Лестница не наша, а та комната, на отлете – первая от входа, прямо, где зимы две, кажется, жил твой Борис, тоже, заселена чужими. Еще до смерти Ирины. Самогонщики довольно агрессивны. Но бумага из Союза писателей их сдерживает. Охранная. Знают, что я получаю академический

паек,–боятся. Они мало меня знают, они не понимают, то есть твердо не уверены, что я их не выдам; я почти не говорю с ними, держусь в стороне. Но бог с ними, дураки! Так – они где-то числятся, и на , работу ходят – для виду. Ко мне лезть не смеют в общем, мирно живем. Считаются. Верх к ним отошел при уплотнении, и кухня – их, тоже, но я обхожусь: печка в камине, на щепках варю. Дрова – то есть диваны и кресла, столы порубили мне давно еще, при Ирине, а часть после нее, – четвертая зима ведь кончилась. Но вот это, – показала Марина на груды чего-то, покрытые слоем пыли у стен, – эти обломки уже они не смогли, рубившие! – какие-то сочленения старинные, крепкие,– а целиком их в печь – больно жирно, берегла на особые холода. Потом тарусский рояль продала за пуд черной муки! – (Пуд или мешок – я не помню. Не утверждаю – что пуд. Может быть, сказано было – мешок). Это еще до пайка, академического. В эту зиму уже легче было с едой, и со всем. В прошлую, последнюю Иринину (она умерла без недель двух в 3 года) – ничего не могла достать. Одно время: мерзлая капуста и черная мука, а ее истощению это не шло. Аля как-то держалась. Но ведь она в отца – я и за нее боялась! Все загоняла на Смоленском, для них, что брали. Но давали – гроши… И надо уметь продавать. Содроганье – видеть лица эти, покупающих – торговаться с ними? Я – отдавала… Пока было что отдавать! Если бы я узнала, что – жив, я бы сразу поднялась к нему, где б он ни был. Алю бы к отцу повезла. На дорогу – с книг – хватит! Кончаю четвертую… Алю академический спас, и тебе с Андрюшей на подкормку – хватит. А в ЦУПВОСО (Центральное Управление Военных Сообщений – *АЦ*), куда мне тебя удалось устроить вести школу ликбеза, – там хороший паек! Ах, Ася, если б ты знала, какие чудные там были красноармейцы, какие люди! Вот этот, один из них, Егорий. Бессарабов, и помог мне с вывозом тебя из Крыма, когда тамошний твой Наробраз не хотел тебя отпускать из той библиотечной секции.

– Они, понимаешь, ценили тех москвичей, которые там застряли.. Но я же хотела домой!

– Еще бы! Так вот, моя дружба с ним, – а он все понимал, как он стихи понимал, Ася! Каких он товарищей ко мне приводил, своих, как они слушали, какие чудные собеседники, как заботились, чем только могли помогали! Сейчас я потеряла его след, – жив ли?

…Мы стояли в Алиной детской. Обратно тому чувству в столовой – мне показалось, что комната стала еще больше (от того, что – голая! – подумала я). На полу не было ковра из маминой гостиной в Трехпрудном, уюта его осенних листьев на сером. И был пуст угол, где прежде жил книжный шкаф из папиного кабинета. Но нерушимо висела над

Алиной кроватью рождественская детская картинка, все еще сверкали на снегу блестки, точно рассыпали крупную соль.

Аля, на голову ставшая выше за годы разлуки, разительно походила на отца. Так давно уже исчезнувшего из этого дома! Но стоило переступить порог Мариниой комнаты – он глядел из тонкой темной рамы над диваном, чуть нависавшей: он полулежал в шезлонге; удлиненное лицо, юношеское, не улыбалось, но необычной величины глаза, темней светлого, рука с длинными пальцами, поза *полулежанья*–все являло и излучало покой, радостный. «Этот портрет помогал жить Марине…» – не подумала, а ощутила я.

Маринина рука гладила на стене что-то серое.

– Аля не сказала тебе? Кусаки уже нет. Я не могла его отдать, всего… Я попросила, мне сделали его шкурку – коврик на стену.

В этой комнате всего меньше было изменений: так же стоял стол письменный у окна, перед ним – стул. Позади, над темным старым секретером все так же виднелся со склоненной набок головой —- уже не белый, а серый бюст Амазонки.

– Зимой я тут писать не могла, очень холодно. Работаю на том столике возле камина. Грею кофе, пью.

При свете окошка я увидела, как желто Маринино лицо, – от цвета лица ее не осталось и тени.

– Много книг ушло, – сказала она, — пришлось. Знаешь, мне уже ничего не нужно! Не жаль. У тебя еще друзья есть? Ты всегда была общительнее меня! У меня – были. С театром дружила, с Вахтанговским. Почти никого не осталось… Стихов, как прежде, собственно, уже не пишу – пьесы, поэмы.

Это было то время, когда Марина писала свой «Плач Ярославны».

ПОСЛЕ МАРИНЫ

Твердо помню, что когда Марина, получив от И.Эренбурга весть, что Сережа жив, кончает университет в Праге, выхлопотав себе право на отъезд, летом 1922 года с почти десятилетней Алей выехала за границу. Она оставила мне ключи от своей квартиры и было с домоуправлением уговорено, что оно вместо нее вселит меня с сыном. Об этом был уговор и с К.А. Томашевским, квартирохозяином квартиры 8 дома 18 по Мерзляковскому переулку, где я прожила ползимы 1921-22 гг., устроен-

ная туда нашим братом Андреем Ивановичем Цветаевым. Он дружил с Томашевским, тот был членом коллегии защитников (днем), вечером же – художником. Брат же наш был специалистом по картинам. В эту квартиру я была впущена с моим неустроенным бытом – с условием, что после отъезда Марины я перееду туда. Стало быть то, что Томашевский был юрист, знал законы тех лет, показывает, что мое вселение к Марине было – законно. И хотя я жила в квартире 8 уже по ордеру, но – уговор, по-русски дороже денег – и я обещала, что перееду. Увы, мне не пришлось проводить Марину. Надорвавшись от лет нужды, я к весне заболела и брат, еще при Марине, перевез меня с сыном к знакомым под Звенигород. Из прощально ею переданного мне письма я узнала, что ее уже нет в России. Тотчас же собралась с немудрящим моим багажом и мы вернулись в Москву, сказав Томашевским, что мы переезжаем в Борисоглебский. Мы с утра пришли в наше будущее жилище. Я забыла сказать, что мне в помощь Марина прописала в Алиной детской небезызвестного поэта, его уже нет в живых и имя* его я не назову, да оно и не нужно по причине последующего. Когда мы вошли в квартиру, поэта дома не было – ни его жены. Отперев висячий замок столовой (той, с потолочным окном), мы принялись за уборку. Искать среди оставленного отъездного хаоса половую щетку в голову не пришло: мы гребли руками в 4 руки, как когда-то мама играла с подругой на рояли. Теперь и середина комнаты, при Марине разгребённая от обломков и мусора, была засыпана тетрадными и книжными страницами, фотографиями, письмами вырванными из конвертов и тут же брошенными в спешке, некогда было проверить, осознать. От кого-то я позже узнала, что Марина бросила и фотографический аппарат, быть может испорченный, и много книг, когда-то любимых. От всего более ценного и следа конечно не было – но что нам в нашем *безвещьи* было нужно мы подбирали, связывали в узел, отделяя от хаоса, – и гребли, гребли, мели из углов тряпками, засовывали негодное в чудом уцелевшие мешки. Помнится, их набралось уже семь, напихивался восьмой. Усталость была тем более сильная, что мы в спешке тоже, не захватили, не сварили себе картошки, – о хлебе в те дни не мечталось, работали впроголодь. Мы не ждали, что уборка будет так тяжела – на наши тогдашние силы. Затем, передохнув, стали выносить один за другим – недовынесенные последние мешки и выбрасывать содержимое на помойку. Стыдно мне до сих пор, что в усталости, в горе от разлуки с Мариной, в обесцененности, переоценке всего тех дней, я вынесла – как я могла? – во двор, выбросила – Петухіва. Я видела, как небольшая девочка потрогав его, повернув,

* Георгий Аркадьевич Шенгели – *ред.*

несмело занесла над ним ножку – не конь ли? Но ножку, перерешив, сняла и отошла в недоумении.

Самогонщики поощряли наше рвение, уборочное. Все было вынесено. Мы изнемогали. Но ключ от Марининой комнаты грел нас: сейчас мы войдем в наше жилище, рядом будет жить поэт, стихи которого я так любила (люблю до сих пор). Его все еще не было дома – а уже был вечер. Я вложила ключ в замочную скважину. Он не поддавался. Я вертела терпеливо, осторожно, больше всего на свете сейчас боясь, его повредить. Он вертелся до какого-то места и останавливался. Не открывал. В это время ко мне подошел самогонщик.

– Дайте-ка я открою… – сказал он, дружелюбно нисходя с мужской силы к женской моей немощи. Я отступила. Он подошел, легко, как я восхищенно заметила, повернул его, вынул замок из колец и положил себе в карман – ключ.

– Ну а теперь, – сказал он веселым, повелительным голосом, – выносите из комнаты вещи, забирайте. Комната моя, ключ – у меня.

Я не помню ни одного слова, мной сказанного. Вероятно, их было мало…

Ситуация была слишком ясная: его полная над нами победа.

Я помню только одно: чувство надежды скоро придет – придет же! – Поэт! Он поможет. Мысли – мешались. Мы не сможем тут жить? Кто-то чужой поселится в Марининой комнате, родной с 1914-го? Ее, Марину, боявшийся самогонщик, Союза писателей опасавшийся, меня, как муху согнал. Он *знал*, что я еще только недавно подала о принятии – в Союз? Вздор. Марина для чего-нибудь же поселила тут человека *нашего* мира, – Ася, он хороший человек! Жена у него неважная, Бог с ней. Но он *будет* защищать тебя от самогонщиков, обращайся к нему со всем!

Я ждала. Вечерело. Неужели мне *придется* вернуться к Томашевским после данного обещания освободить комнату? Андрюша, мужественный всегда в трудные минуты, голодный, есть не просил. И вдруг тот, кто нанес обиду – мое ли непротивление его, самогонщика, тронуло? – сказал мне: – много ли Вам с ребенком надо? Занимайте наверху – комнатушка есть, две кровати встанут, и стол. И живите.

Он не понимал: куда же я дену всю Маринину непроданную мебель, все неукраденное, запертое в комнате – шкаф книг, бабушкин комод, круглый диван из залы Трехпрудного, все что гнездилось в ее комнате и проходных? Остатки отцовского дома. Он не понимал, но он пожалел нас. И только что пережившая удар, его обман, крушение всех планов, сердце распахнулось навстречу его дикому предложению – вдвоем всунуться в кроху, куда ничего не войдет… Навстречу теплоте

его *жалости*, человеческой заботы того, кто только что отнял ключ *нашей* комнаты, мое *доказательство*, что я член маринимой семьи.

В это время пришел Поэт.

В ужасном смятении чувств я бросилась к нему, смешав в рассказе все, что *без* него случилось: законченную уборку, то, что Андрюша с утра не ел, историю с ключом, невозможность идти назад к Томашевским, прерванное звенигородское лето – и, наконец, то, что в тот час представало самым желанным: заночевать в той каморке, не обмануть Томашевских, постелиться на чем-то мягком и спать, спать, даже на *одной* кровати, кошка с котенком…

Но, видно, тот день был днем испытаний. Все терпеливо прослушав, Поэт, нисколько не пытаясь, – как мне мечталось, урезонить моего обидчика, заступиться, доказать, – просто сказал: – Анастасия Ивановна, при всем дружеском уважении к вам, я не могу допустить, чтобы Вы заняли верхнюю комнатку: я уже ее обещал моей сестре, которая живет в провинции, и она на днях выезжает сюда. Согласитесь, что семейное родство сильнее чем чувство дружбы… Затем он вынес Андрюше блюдце ягод, – думается клубники. Я поблагодарила. Но все же сказала – Это же как с тремя сестрами Чехова. Вы, товарищ по перу Марины, допускаете, чтобы ее сестру – выгнали, собственно из дому,, из родного гнезда, отнимаете последний уголок, который мне отдает самогонщик.

Лицо поэта было расстроено.

– Я ничем не могу Вам помочь, – сказал он, – но сейчас поздно и Вам идти по темноте с ребенком, с вещами… Может быть Вы переночуете тут? Я еще не успела ответить, как из Алиной детской выбежала жена поэта. В ее руках была соломенная шляпка – корзиночкой, как носила жена Пушкина Натали, подвязывая у подбородка ленты, – она была очень хорошенькая, – она крикнула: – Ночуй тут с ней! – и выбежала из полутемной проходной. Двери – одна, другая, брошенные ею, стукнули.

– После этих слов, – сказала я в наставшей тишине, Вы понимаете, что я должна сейчас с сыном – уйти.

И я стала что-то докладывать в узел. Его надо было унести – туда, в наше зимнее жилище, отсюда прочь.

Было одиннадцать с половиной часов вечера. Пустят ли Томашевские? Или они, может быть, спят?.. Не застукает ли нас жулье с узлом? В надежде на Бога мы вышли вдвоем в темноту, вниз по лестнице. В Борисоглебском переулке было черно.

Я жалею, что Поэт не пошел проводить нас.

Я бы радостно это сюда записала.

…Нам открыли, пустили нас, – и мы жили там до 25-летнего воз-

раста моего сына, пятнадцать лет. Маринины вещи туго, но уместились в двадцатиметровой комнате. Не сохранила я и два этюда – подарок ей и мне – Макса Волошина – не по своей вине.

А через года три я встретилась с тем Поэтом в доблестном деле защиты чести одного писателя*. Из всех в этом деле участвовавших, этот Поэт и я оказались самыми активными. За трудностью дела мы с ним за день – сдружились. Он он пошел меня провожать.

– Я давно уже разошелся с моей той женой, – сказал он мне, прощаясь, – я женат на очень хорошей женщине и мы были бы рады Вас у себя видеть. И забыть прошлое. Я бывала у этих людей, с ними дружила, помнила его стихи.

РОДНЫЕ СЕНИ

Был 1936 год. Жизнь летит, и за ней не угнаться! Прошло четырнадцать лет. Мне надо было в Замоскворечье на Ордынку – сообщить давно не виденной моей подруге Нине о смерти нашего общего с ней друга Леонида, погибшего на железной дороге под Вологдой, где работал прорабом. Как давно не была за Москва-рекой.

В Третьяковке раз как-то, да МОГЭС на Берсеневской набережной… Сколько лет хочу пойти на Полянку, в бывший Маринин дом (ее дом теперь – Париж, прежде – Чехия). Полянка, Казачий переулок, дом 8! С юности не была. Непременно пойду сегодня на Полянку, в Казачий. На обратном пути.

Вспоминаю второй год брака Марины и Сережи… Солнечный двор с акациями, тополя, запах, как во дворе на Трехпрудном, где Марина и я родились, – не за этот ли запах и старые антресоли Марина с Сережей и купили тогда тот дом? Но боль эта не сочетается с сегодняшним днем, застенчиво гаснет, как погас тот солнечный двор.

Иду в тени от домов, бывших барских особняков Ордынки, на миг окунаясь в солнечные перешейки – низких ворот и калиток.

И вот он, Щепкин, где ждет меня Нина. Не знает, какой удар ей несу. Сверяя номера с листком МКХ, дохожу до ее дома. Старый, бедненький, особняк, огромная развесистая береза. Окно, крыльцо – таких миллионы. Шагаю двором к крыльцу. Вверх, мимо каких-то дверей,. держась за облупленные перила, по разлатым ступеням лесенки, по ко-

*Это был Борис Михайлович Зубакин – *ред.*

торой всходил Леонид. Воспоминание о доме Толстого в Хамовниках, и о папином в Трехпрудном. Сердцебиение застилает все.

Навстречу мне приоткрывается низкая дверь, слева от конца лестницы, высовывается голова женщины – черт не вижу, по близорукости, – темные волосы, круглолицая, большие глаза, яркие.

– Нина Дмит…

– Входите, пожалуйста.

Она протягивает руку:

– Я принесла вам печальную весть.

– Леонид?

– Погиб. Похоронен в Вологде. Завтра в час дня панихида, девятый день.

Руки у висков, глаза на мгновение закрыты. Выше среднего, статная. Как хорошо держится! Ведь комната плывет ей сейчас… К моим глазам слезы, горло сжато.

Я смотрю в *золотокарие* глаза, широкие. Мне кажется, они говорят – такой на них похожий голос, идущий вглубь.

Она встает, идет по комнате:

– В час ночи! Вы думаете, он прыгнул? Неудачно? С товарняка – нет! Он бы не мог ошибиться – нет… Он вез деньги? Думаете, убийство? – Да, это могло быть…

День шел к вечеру, я глядела на Нину и слушала ее голос.

Долго мы говорили. В час ночи я испугалась, что дома, то есть в квартире, где жила, –ждут (запирать на внутренний запор). Ехать? Так не хотелось. И поздно – уже последние трамваи идут; наверное в депо. А нельзя ли позвонить, что не приеду, чтоб запирали? Можно, телефон в кухне, Нина проводит меня.

Сойдя с лесенки, мы, вошли в дверь, мной до того не замеченную, в конце чего-то вроде «черного хода». Нина показала мне телефон и ушла стелить нам постели. Держа телефонную трубку, я рассеянным взглядом – *вполвнимания* – смотрю на эту странную кухню: плита посередине, точно домашний божок, как в годы гражданской, давней войны, а стена, где бы ей стоять, имела подряд три узенькие двери. Как во сне. Почему-то обои – «под дуб». Неуютно… (Какие ненужные мысли, когда человек устал!) На телефонный зов мой — не шли. Видно, спят? И вот – так бывает, когда уж очень устаешь, и в потере сопротивления,

непрошеные гости – воспоминания – одолевают явь. Желтый ли цвет стен вдруг перенес в другую, темную солнечность давней столовой, с длинным овальным столом? Фрукты, вино, бокалы. Заздравные тосты. Из мглы (амбразура ли двери раскрытой?) – лицо. Светлые, застенчивые и надменные, приглядывающиеся и уже глядящие дальше, глаза. Легчайшим золотом пышущая волна коротких волос. Черты римского отрока – Марина!

23 года с плеч! Вечер у Марины и Сережи, в их доме в Первом Казачьем. Сколько лиц, молодых! Борис мой, моя роковая встреча, муж и отец ребенка – обреченное благородство черт, светлые глаза, тонкие ноздри. Золото – еще светлее Мариниых – волос, отброшенных, как у Листа. Тебя ли оставлю ради твоего юного друга Гермеса, не сводящего с меня любующегося и стесняющегося взгляда – и дальше, и дальше – как гриновская «Бегущая по волнам»…

Сквозь это слушаю напряженно молчание в телефонной трубке. Идут, нет? Спят?..

Вперив в меня тяжелый и дерзкий взгляд – длинные голубые глаза, русая бородка, крестьянская, широкоплеч, в себе уверен, любивший меня в моем отрочестве, дочитывает вслух свои стихи – написавшей ему из Италии… Картинку с видом Средиземного моря – помню. Дерзостно читает он свою любовь мне в лицо, видя рядом моего молодого мужа – мы только что из заграничной поездки —все знают, что стихи – мне. (Это летит в памяти, сердца не достигая,—это мгновенье, когда из тоненького далека, в коридоре телефонной трубки слышатся игрушечные шаги.) Их ритм добрасывает в мою память: конечные строки стихов – предсказание, что я не буду счастлива… «покуда в родные сени не придешь»…

– Слушаю! – прерывает мой голос. — Простите, я вас разбудила? Я ночевать не приеду. Закройте, пожалуйста, дверь! Да, у подруги!

Трубка повешена. Озираюсь. Довспоминаю что-то, то есть ловлю ускользающее. Что-то надо довспомнить. — «В родные» — а, что?..

«Покуда в родные сени не придешь…»

Да, это строка из стихотворения – мне Анатолия Виноградова.

Это? Или что в голод, вернувшись в Москву, пойдя именно к этому человеку просить о работе, я получила отказ? Нет, нет, еще что-то… Пробираюсь мимо плитки, трех дверей, чьего-то мусора – в четком ощущении, что мне не нравится эта кухня. Наша, с цементным полом, в Мерзляковском, с огромной плитой, 15 лет не топящейся (примусы), где гремишь ночью, после работы корытом, – лучше!

По лесенке (Хамовники, Толстой, и наш, тот, в Трехпрудном!) – вверх.

– Дозвонились? – Теперь я вижу комнату Нины, только теперь: квадратная, низкая, как все мезонинные. Два окна, мало вещей. Кроватка Коли. В эту комнату входил Леонид! Тут ходил, как по моей, там сидел у стола…

…Мы с Ниной уснули под утро. Говорят, усталый человек не видит снов. Но я сон – увидела: я спускалась по Нининой лестнице, по которой только что наяву взошла, заглянула через закрытую дверь (во сне это мне не мешало): напротив было два окна, сбоку третье. Это взволновало меня, и я поспешила дальше, через кухню в дом, к тем трем узким дверям. Там, на большом листе, я рисую что-то, очень боюсь опоздать.

– Значит, так! В комнате у уборной жила женщина, у нее был Коля, ему было шесть лет. И все три двери – это стена гостиной! А плиту потому так поставили, что ей помешал – буфет! То есть не он, но тень от него мешала! Ясно теперь все!

Я сложила рисунок и кинулась вверх по лесенке.

– Нина, – кричала я, – я сейчас все расскажу вам! Только скажите – направо от вас есть комната? Узенькая? И в ней три окошка? Нина! Вы живете в…

– Ася, вставайте, опоздаем!

Я открыла глаза. Нина трясла меня за плечо, – Где план? Подождите!.. – Я металась по дивану и шарила! —Я же тут все… Ах, я его ведь во сне… Это все равно! Нина, я не сплю! – кричала я в лицо улыбающейся Нине, – У лесенки жила Лиза, жилица, у нее был шестилетний сын Коля (ваш второй уже)! Там два окна, да? И третье – к калитке? А рядом с вашей – узенькая? И в ней… Это ж Маринин дом! Нина! Вы живете в

Марининой кладовой – потому я ее не узнала, тут было пусто, Алины пеленки висели… Детская была рядом, а Маринина – та, с тремя окнами, под углом, узенькая, волшебная! Я это во сне поняла, и я даже план нарисо… Но только я все-таки не понимаю, как мог дом перепрыгнуть с Полянки – на Ордынку! И совсем другие ворота, и другой двор!

– А, ворота! Это я вам скажу. Это очень все интересно! Только давайте скорее одеваться, сейчас закипит чай, уже поздно…

– О, не надо чаю,—просила я, одеваясь так быстро, как пожарники на пожар, – я сейчас, я только должна убедиться—взглянуть на Маринину дверь!

– Асенька, вы ничего не узнаете, тут было столько переделок!.. В той комнате, где телефон, прорубили дверь в заднюю, ее переделали.

– Гостиную! Да, знаю! Нина! Так ведь это в кухне теперешней, в ней и стоял стол с теми винами и фруктами? И, значит, я оттого и вспомнила у телефона те стихи —а я думала – от усталости лезут воспоминания… А они пролезли, несмотря на усталость. Я вам расскажу по дороге! Нина, почему тут вышло совсем обратно? Люди просыпаются – и тогда помнят и понимают, а мне надо заснуть, чтобы вспомнить и осознать…

И в то время как я открывала дверь, и с моих плеч бесшумно падали 23 года жизни, через старые деревянные перила к Марининой двери лежал, сломавшись о них, теплым ковриком солнечный луч.

И подумать, Что я первый раз в Маринином доме ночевала – теперь!..

Мы надевали пальто, выходили, моя рука ласкала, спускаясь, перила —как кошку.

– И я хотела искать этот дом, но спешила, а потом пришла к вам – и забыла про все…

Солнце било в глаза.

– Ниночка! —я смеялась почти, – что ж мне делать? Двор – не тот и деревья не те, и ворота. И улица, и переулок – другие, и какой-то у вас – Щепкин… Но это же Маринин дом, в Первом Казачьем!

Она улыбнулась мне – и я навек ей благодарна, что она не торопила меня в этот миг. Я оглядывалась, не понимая, бежала, как пес по следу бывшего хозяина, гладила какие-то пеньки (срубили… сожгли… тополя…). А вон там (колдовала, принюхивалась, дышала) – и мы обе опаздывали с ней на работу – но такое же – только раз!..

То, о чем на свете поют песни. Акации (не белые – желтенькие) цвели, как в тот давний день.

– Вы хотите все же – понять? – добро спросила Нина, обойдя со мной двор (где когда-то две наши старые няни под пахучими тополями гуляли с Андрюшей и с Алей).–В домоуправлении–это еще до меня было – рассказывали – решили закрыть те ворота, которые выходили на Казачий, а эти, запертые, прежде, открыли – тут же угловой участок. Вы за деревьями и не знали, видно, про – вторые? Зачем Ордынка вместо Полянки понадобилась – не знаю, но факт. Вот и дом получил другой номер, и числится по Щепкину… А крыльцо не узнали.

– Да, потому что мы входили с «парадного», как тогда смешно звали, – от Казачьего, да, да. Этот угол двора я даже совсем не помню – и березу эту…

– Березку, тогда маленькую, позабыли. А она…

Мы стоял и под ней, шумной и пышной, один миг – и уже шли Щепкиным.

Мы шли вместе, почти бежали, до моего трамвая. Выл белый апрельский день, летел снежок.

ПОИСК ПРОШЛОГО

Прошло – последние две цифры столетия *переставились*. 1936-1963, – прошло 27 лет. Я уже вновь жила в Москве в бывшем Пименовском переулке, ныне улица Медведева. И захотелось мне, – в старости так бывает, – увидеть бывший Маринин, замоскворецкий, дом, Я нашла его легко, хотя и поколебалась: он ли? В нем заканчивался ремонт, должно быть, одна стена была еще не побелена. Мне навстречу шел мальчик лет двенадцати. Я сказала ему, что я сестра *когдатошней* хозяйки этого дома, спросила его, тут ли он живет, с кем, в каких комнатах и как его зовут.

– Меня зовут Женя, – ответил мальчик, – мы с мамой живем наверху, в маленькой комнате. Много наших жильцов на работе, а я дома, пришел из школы, мама поздно приходит.

– А ты можешь мне показать, в какой комнате вы живете?

– Конечно!

И он повел меня вверх по знакомой лестнице. Тут я 27 лет назад спускалась ночью сказать по телефону Томашевским, чтобы меня не ждали, чтобы закрывали дверь, что я заночую у подруги. Сердце билось. Где теперь Нина? Жива ли? И в какую комнату Женя меня сейчас повернет? Неужели в…

Он повернул в Маринину комнату. И вот мы сидим с ним среди незнакомых вещей; на столе, иначе стоящем, – учебники, и уже ее я, а Женя расспрашивает меня о том, кто жил в этой комнате, и в комнатах рядом, и во всех внизу, и диву дается Женя, не верит, думает, я шучу, что во всем доме моей сестры жили; она, ее муж, их маленькая дочка и няня – четверо, и больше никого! А теперь в нем живет 13 семей.

– Это потому, Женя, что тогда нижние комнаты были большие и их было мало, а теперь – я тут была в 1936 году, их перегородили и их много стало.

И я рассказываю ему, что прежде были открыты другие ворота, калитка в них выходила в другой переулок.

– И он тогда был – на Полянке, а теперь он – на Ордынке… Точно он перевернулся, как в сказках бывает, задом наперед… И все называлось иначе, – знаешь, как бывает во сне!

Женя знает. Он видит сны. Он все понимает. Он идёт меня провожать; я не хочу заходить в нижние комнаты, к чужим людям, я иду по двору с мне уже родным Женей: он живет с матерью в Марининой комнате… Сказать ему, что Марины уже нет, а только ее дочь жива, уже пожилая? Женя много знает и понимает, мы сегодня с ним видели общий, запутанный сон – но не надо ему слышать, что люди умирают, стареют,–ему еще долго расти… жить… быть счастливым.

Во дворе сумерки, в переулке зажегся фонарь. Я уже заворачиваю к Ордынке.

Уже давно шли в Москве толки о чём-то мемориальном – Марине.

Весной 1974 года мне позвонила Надежда Ивановна Катаева, жившая в доме № 6 в Борисоглебском, этажом ниже Марины. Я у нее бывала. Она просила проводить ее в Замоскворечье, помочь отыскать бывший Маринин дом: – Сможете? Я за вами заеду.

У меня в это время было двое друзей – литератор Виктор Мамонтов и юная ленинградка, почитательница Марины, Катя Лубянникова. Поехали все вместе.

За последний десяток лет что-то изменилось, и поблекла память моя. Мы долго искали, но нашли: на углу, как помнилось, двух уличек, стоит, будто тот дом, между Полянкой и Ордынкой. Все так. Но почему вдруг – рассыпаны, лежат листы, страницы из книг?

Подойдя ближе, мы увидали, что дом готовят к ремонту? Нет, вряд ли. Скорее к разрушению: сияли черные дыры с кусками стекол, торчащих, и на двери, видимо, черного хода, висит замок.

– А мы можем влезть над ним, через это вынутое стекло, – предложил кто-то из нас. И один за другим, помогая друг другу, мы перелезли через высокую нижнюю часть двери и вошли в дом.

– Тут я, товарищи, ничего не узнаю, – сказала я, – потому что в 1963 году, когда я здесь была в последний раз, уже были перестройки. Перегорожены были комнаты нижние, и тут, не разберешь ничего… А вот наверху я все сразу узнаю: там ничего не перестраивалось, и я все отлично помню! А лестница – похожа. И эта отдельная комнатка у черного хода будто бы та, которую Марина сдавала?.. Но нет, не поручусь все же, что это Маринин дом…

А на другой день Надежда Ивановна мне позвонила и рассказала, что она с мужем рассматривала старую карту Москвы, и решили, что мы не на том углу искали бывший Маринин дом, и мы поехали снова. В этот раз Виктора у меня не было, поехали втроем.

И вот мы входим во двор другого особняка. Все они чём-то друг на друга похожи! И дворы тоже. У этого – сход в подвальный этаж.

– А ведь в том, неудачном Маринином доме никогда не пахло кухней, – говорю я себе, – может быть, это ее дом, а тут сход в кухню, как было на Собачьей площадке?

Мои спутницы шли позади, беседуя.

В этот день была гололедица. Но жажда сейчас, может быть, открыть что-то, найти гнала вперед. Я шагнула на то, что я считала первой ступенькой, их могло быть четыре, пять, шесть – ботик резко скользнул по ледяному бесступенчатому следу, и я рухнула спиной о лед.

Сильная боль, Подбежавший мужчина, взяв меня за левое плечо, подымает. Кричу: – Оставьте руку!

Мои спутники подымают меня. – Сильный *ушиб,* – говорю я бодрясь,–пройдет!

Таксист у ворот шумит. Поладив с ним, обходим угол, смотрим, похож ли дом. Доходим до следующего угла. Там пустырь и новый многоэтажный дом. Навстречу – старуха.

Спрашиваем. Отвечает: – Тут три дома снесли, угловой и ваш должно – тоже. Вон махину какую выстроили…

Боль не стихала. Надежда Ивановна повезла меня к травматологу. Значит, того дома, если он на этом углу стоял, уже нет на земле!

Вколоченный перелом левого плеча. Гипса нельзя. Придется терпеть боль. Носите руку на щадящей повязке.

Мне помогло самоотверженное, искусное лечение молодого русского йога Михаила Металликова. Через три недели вернул мне руку – писать. Спасибо ему, я начинала моего «Звонаря». Помог «Звонарю»!

Так, еще бесславнее, кончился второй поиск. И больше мы не искали. Видимо, тот, «Маринин дом» – отслужил!

О другом доме, ею любимом, надо заботиться! О доме, в Борисоглебском, названном ею: «Мой дом».

МАРИНИН ДОМ В 1980 ГОДУ

В конце 1965 года И. Эренбург вновь зондировал почву. Пытались что-то сделать журналисты из «Алого паруса» «Комсомольской правды», но ничего не добились. Затем занялась этим делом группа поэтов и писателей при поддержке академика Лихачева, написавшего письмо председателю Комиссии по мемориальным литературным памятникам. Подписали его сотрудники Пушкинского дома академики Д. Лихачев, М. Алексеев, член-корреспондент В.Базанов, главный редактор журнала «Звезда» Г.К.Холопов и доктора филологических наук А.Панченко и В.Мануйлов. Писали и хлопотали Н.Тихонов, И.Андроников, Павел Антокольский, Маргарита Алигер. Об этом можно прочесть в печати.

Написал письмо в Союз писателей Е.Евтушенко. Уже смертельно больной Константин Симонов деятельно примкнул к делу. Он из больницы звонил в редакции газет и журналов, звонил к писателям с просьбой завершить начатое. О том же просил и свою старшую дочь Машу, корреспондентку «Советской культуры». Она вместе с Н.И.Катаевой, не пожалев сил, прошли по многим инстанциям. После К.Симонова взял на себя продолжение хлопот Роберт Рождественский. И давно уже помогал при каждом осложнении, при каждом обороте дела, безотказно и неустанно Сергей Сергеевич Наровчатов и сотрудники редакции «Нового мира».

Много помог главный редактор газеты «Литературная Россия» Ю. Грибов.

В письме от 5. XII.1979 г. С.С.Наровчатову сообщает В.С.Ануров, начальник Главного управления культуры Моссовета, что исполком Киевского Совета дал Согласие Главмосстрою на передачу ему дома № 6 по улице Писемского. Далее сообщается, что в адрес председателя исполкома Киевского райсовета направлено письмо с просьбой использовать названное здание в культурно-просветительных целях с сохранением существующей планировки второго этажа и антресолей, где с 1914 года по 1922 год жила Марина Ивановна Цветаева. О судьбе названного памятника обещали сообщить дополнительно.

Нельзя не сказать, что в самом доме 6 по улице Писемского жильцы отказались – для сохранения планировки дома от установки ванн, пробивания потолков для добавочных канализационных труб – чтобы сохранить лепнину потолков, фрагменты отделки этого памятника архитектуры.

Ввиду невозможности найти нужные нам данные в архитектурных архивах обратились в Музей изобразительных искусств, и оказала существенную помощь заведующая архивом музея А.А.Демская.

Ведь не так уже много осталось своеобразных интерьеров XIX века, и дом этот заслуживает реставрации.

Ну, а кто же бывал в этом доме, кто посещал Марину Цветаеву?

Давайте постараемся вспомнить: поэты Тихон Чурилин, Осип Мандельштам, Софья Парнок, Максимилиан Волошин, Аделаида Герцык, ее сестра, переводчица Евгения Герцык, Константин Бальмонт, Майя Кудашева – будущая жена Ромена Роллана, Илья Эренбург, Павел

Антокольский, Георгий Шенгели, Н.Бердяев, С.Волконский, художник В. Милиотти, Е.Б.Вахтангов, актеры вахтанговской студии, среди них Сонечка Голлидей. Актер Камерного театра Чабров (А.Е. Подгаецкий). Вдова А.Н.Скрябина с дочерьми Мариной и Ариадной, которой в Гренобле стоит памятник – жертве фашизма, боровшейся и погибшей в Сопротивлении.

И многие еще, имена которых я не вспомню сейчас.

Сонм прошлого – в этих стенах бившаяся Живая Жизнь!

ОСВЯЩЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО ДОМА МОЕЙ СЕСТРЫ МАРИНЫ

Квартиру эту, ею снятую в 1914 году (до 1922 года, отъезда к Сереже в Чехию), Марина сняла за ее фантастичность – 7 комнат в двух этажах – втором и третьем (в двух из них – столовой и Сережиной) – окна в потолке, странное расположение комнат… Первый этаж был чужой (там жила семья Гольдманов и еще кто-то), но в 1992 году – в год 100-летия Мариниого рождения – освящение дома – внизу пустого и во втором и третьем этажах восстанавливаемого, началось именно с мне неведомого первого этажа.

До начала освящения нас познакомила Надежда Ивановна Катаева-Лыткина, и нам удалось несколько минут поговорить наедине с Натальей Дмитриевной Солженицыной. Красивое мужественное лицо, умный взгляд. «Хорошая была ему подруга!» – подумала я. Мы успели посмотреть фотографии семьи – Александра Исаевича (уже пожилого, с большой бородой) и четырех сыновей. Я уже знала, что они собираются вернуться в Россию, но пока еще не решено, где они будут жить…

Еще мне была представлена Надеждой Ивановной княгиня Волконская, вернувшаяся лет восемь назад в Россию и с грустью увидевшая разрушение бывшего их имения. Недавно вышли двухтомные воспоминания Сергея Волконского «Мои воспоминания» (Москва, «Искусство», 1992) со вступительной статьей «Кедр» моей сестры Марины. Я встречала его, пожилого, в 1921 году у Марины. Они дружили, и дружба их была особая, необычная – Марина переписывала ему его сочинение – помнится, оно тогда называлось «Быт и бытие».

Священник, о. Владимир, в золотой ризе, небольшой хор с девочкой лет 13, горящие свечи в руках приглашенных Надеждой Ивановной Катаевой-Лыткиной, подвиг воссоздания несущей много лет.

После недолгой молитвы и чтения Евангелия принесли большую

чашу со святой водой и о. Владимир щедро окропил большим кропилом углы, стены, присутствующих и, далее, дом.

Со свечами восходящие по этажам этого удивительного дома люди со священником во главе – зрелище, достойное истории. На лестничной площадке второго этажа – две большие – в вазе – ветви рябины, зелень и красные ягоды.

Затем все спустились и, выйдя под теплое пасмурное небо, совершили со свечами крестный ход вокруг дома, к удивлению немногих прохожих. Вернувшись в дом, о. Владимир закончил освящение и произнес 8-10-минутное слово, вспомнив, что он жил еще ребенком неподалеку от этого дома, и потом, уже взрослым, приходил в этот дом к Надежде Ивановне, видел жуткое состояние дома – протекшие крыши, корыта с водой – и как радостно видеть дом в чистом, отделанном виде. Странно смешивая церковную лексику с современными стереотипами, он поздравил и благословил присутствующих.

Я, сестра, впервые с давних лет входящая в знакомые, любимые Маринины комнаты – как в волшебном сне.

Еще не все воссоздано, – нет скромного Мариниого самодельного узкого дивана, где она спала, и нет еще (но скоро будет) на секретере – бюст амазонки, склонившей грустно голову, но есть уже мужской письменный стол с красным сукном (ярче, чем тогда), в 15 лет Марине папой подаренный, и есть волчья шкура на полу; ищут треугольный шкафчик, что стоял в углу за стулом у стола. Но все это я могу оценить, помнящая, а процессию со свечами по этажам за высоким седым священником, думаю, запомнят все, там бывшие.

Я вошла также и в комнату напротив входной двери, там когда-то у Марины жил мой первый муж Борис, когда мы уже разошлись. А позднее жила я, в 1916 году с экономкой (Галкина Александра Олимпиевна), ожидая родов второго моего сына – от второго мужа, Маврикия Александровича Минца… Воспоминания нахлынули как буря.

И тоже, как сон – после окончания службы – застолье, самовар, старинные стулья, пирожные, куски, словно от кулича отрезанные, конфеты, сладкий чай (в Москве, где сахар надо искать по цене нереальной) – за четырьмя столами. В левом углу небольшой черный рояль, на нем портрет Марины.

На столах в этой комнате, да и в других, стояли дивные букеты луговых трав в низких широких сосудах. Букеты большие, построенные, очевидно, одной очень искусной рукой – по внешнему кругу их окаймляли ромашки и легкие белые зонтички, в центре – был построен с любовью набор пожелтевших злаков. Венчали букеты огромные метелки

сухих вейников, ниже – метелки поскромнее и все вместе говорило о Тарусских лугах, откуда их, наверное, и привезли добрые руки.

За столом батюшка и все мы, я – с внучкой Олей и ее сыновьями Андрюшей и Гришей (13 и 10 лет) – и слова, после, по дороге домой, старшего, Андрюши:

– Мама, а как все было хорошо, правда? Так тепло, так светло…

Это тоже войдет в историю.

Внучка Оля подарила Музею икону Божьей Матери Знамения, которая также была здесь освящена, в бывшую детскую дочери Марины – Али.

И разве не чудо, что все это было 20 июля – в канун Казанской Божьей Матери?

О СОБРАНИИ СОЧИНЕНИЙ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Мне думается, что вполне созрело время для того, чтобы серьезно заняться вопросом об опубликовании в России собрания сочинений Марины Цветаевой. За последние годы изданы в разных городах множество ее книг, в том числе два двухтомника, и проза и стихи, но во множестве этом – масса изданий, почти полностью повторяющих друг друга и ни одного собрания сочинений.

Немало писателей, гораздо менее известных и признанных, чем Марина Цветаева, изданы и не раз, собранием сочинений многотомным при жизни. Пора, наконец, начать работу над таким большим, благородным делом!

Ведь в неисчислимом количестве журналов у нас и за рубежом, – россыпи известных и малоизвестных произведений Марины Цветаевой хранятся и в ЦГАЛИ, в фонде, который по воле дочери ее, Ариадны Эфрон, остается дотоле закрытым.

Пока же, к 1992 году, – году столетия Марины Цветаевой, на многотомное собрание сочинений материала вполне хватит.

Тем более что в Соединенных Штатах Америки уже давно, на русском языке опубликовано собрание 5 томов.

Анастасия Цветаева.

17 февраля 1990 года.

ЕЕ ПОСЛЕДНЕЕ ВЕЛИЧЬЕ

Нелегко писать вступление к подборке стихов Марины Цветаевой. Но о себе-поэте – она сама сказала, лучше всех: «Меня можно легко разделить на 7 поэтов». И, зная это, один из критиков (Вяч.Вс.Иванов – *См. А.*) так и назвал – много лет назад – статью о ее творчестве: «Семь Марин Цветаевых» – что, к сожалению, редакторы изменили, превратив эти три слова в нечто вполне тривиальное, в название незапомнившееся. А ведь критик ссылался на утверждение поэта.

Передо мною 16 страничек, 15 стихотворений, разлив ритма и рифм, в том цветаевском поражающем разнообразии, которое в такой мере, безмерной, мы, пожалуй, не найдем нигде. Все: от предельного лаконизма до – порой – любимого Мариной усилительного повтора, где мысль, накаляясь, крепнет, обрастая образами, как пики гор облаками, восходя к вершине конца.

Эти стихи – ранние. При написании последних, здесь предлагаемых, Марине было 30 лет. Но мастерство утра являло себя как луч солнца после обещанного рассвета. Так рос поэт.

Думаю, что располагать стихи следует по годам. Это своего рода труд гида в горах.

Так, разложив данные мне стихи, я радостно увидала, что первое, 1913 года – одно из Мариниых и моих любимых стихов нашей юности. Сколько раз мы читали его в унисон (по сходству голосов) в светлом зале незнакомым слушателям и в уюте комнатном, в домах друзей. Оттого, что обращенные к смерти, стихи эти, удвоенные силою звука, исходили из столь юных голосов – в 1913-м нам было 21 и 19, – они сливали юность и смерть воедино, и рождали в ответ то, чего так мало, – может быть, все меньше на свете–любовь.

В тяжелой мантии
торжественных обрядов
Неумолимая, меня не встреть.
На площади,
под тысячами взглядов,
Позволь мне умереть…

И, казалось, смерть отступала перед отвагой с ней говорящей юности, и, строками Марины Цветаевой, торжествовала жизнь. Страница-стихотворение. Но в одну из них не уместилось следующее – руки распахнуты, четверостишие не все сказало, зовет продолжение на помощь:

Не здесь, где скривлено,
А там, где вправлено,
Не здесь, где с крыльями
Решают – саблями…
…Смерть – червоточиной
И ревность-змей.
Здесь нету вотчины
Тебе – моей…

И длится это «нет» ради конечного «да», – две страницы заняло стихотворение! А вот–лаконизм: о том мире чувств, где нет стихам – всего земного шара! – предела, все уместилось в 8 коротких строк:

Голоса с их игрой сулящей,
Взгляды яростной черноты,
Опаленные и палящие
Роковые рты, –
О, я с вами легко боролась!
Но, – что делаете со мной.
Вы, насмешка в глазах, и в голосе –
Холодок родной!..

Марины давно нет. А я все живу. И пишу. Идет мне год 93-й. Меня попросили – и вот врезка к стихам моей сестры Марины.

ИЗ КНИГИ О ГОРЬКОМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Максим Горький. Это лицо знаешь с детства. Оно было – в тумане младенческих восприятий – неким первым впечатлением о какой-то новой и чудной – о которой шумели взрослые – жизни. Оно мне встает вместе с занавесом Художественного театра, с птицами Дикая утка и Чайка, – черненькие дешевые открытки, с которых глядят вот эти самые, вот эти глаза, светло, широко, молодо, дерзко под упрямым лбом с назад зачесанными волосами, над раздвоенным лукавым носом, над воротом косоворотки. Все это плюс широкополая шляпа (на другой открытке) или плюс высокие сапоги (когда поясной портрет вырастал, уменьшив лицо и плечи, уместясь на все той же открытке, в портрет во

весь рост). Где-то рядом – почти как «плюс сапоги», как «плюс шляпа» – стоят в памяти лица Скитальца, Андреева, клочковатая борода Толстого, Ибсеновские очки.

Мне было лет пять. Жизнь, как в театре, раздвигала свои декорации – голоса споривших в кабинете отца сплетались с маминым Потонувшим Колоколом, непонятно кричали: «педель», «сходка», «нагайка», «Лев Николаевич»… Было поздно, мать гнала спать…

День. У осеннего окна я с внезапной ненавистью гляжу на городового, всегда шутившего с нами, детьми, толстяка, и в общей тоске со всем домом жду приезда отца (уехал хлопотать за репетитора брата, студента). По окну серебряно ползут струйки дождя. Вот на фоне этих тревожных серебряных струек стоит в моей памяти ширококостная и легкая фигура юного Горького, непонятная и родная, за годы и годы до первой его прочтенной строки.

Только три десятилетия спустя жизнь судила мне увидеть Горького.

Стройный, белый плоскокрыший дом. Три этажа. Террасы Сорренто далеко позади (вправо и вниз). Влево – поворот к шоссе, круто кидающийся в графику стен и садов. Я не знаю, куда вело в эту сторону шоссе, – в моем восприятии оно здесь кончалось. Это было от поворота? Или оттого, что здесь заканчивался мой долгий путь? Здесь живет Горький. Не все ли равно, к каким итальянским селениям идет отсюда шоссе?

В маленьком отеле напротив белого дома я встретила гостящего у Горького одного из моих московских друзей. На мое нетерпение увидеть Горького он отвечал мне, что до часу его беспокоить нельзя, – он работает (с семи утра). В час звонок к обеду, – все соберутся к столу.

Я не успела еще помыться с дороги, как раздался звонок.

Вокруг большого стола рассаживались люди. На фоне прикрытого ставнями окна их лица были неразличимы. Но вот, отделясь от других, слева, шагая через узенькую полоску, точно через палочку солнца, к нам двинулся кто-то высокий, в светлом, знакомый по портретам и незнакомый потому, что выше – страннее – иначе – худее – моложе… Рукопожатие.

Сели за стол. Недоглотнув первого впечатления, изумленности о высоком росте, я уже переживала второе и третье. Это – как волны моря – не взять неводом. Но, беря палитру и кисть, условно и схематично, вот мое впечатление первого дня с Горьким:

– Так вот он какой… Сдержанный, почти сухой, почти суровый. В обращении – чинность, пристальная внимательность, деловая серьезность. Между вами и им – дистанция. Это устанавливается сразу, так просто и так повелительно, что невозможно вознегодовать. Безвкус-

ным, легковесным и безответственным предстает вдруг всякое иное человеческое общение. Сусальным «русским человеком» с его пресловутой «задушевностью» мне через час показался тот Горький, которого я ж д а л а.

Горький – строг. Этим много, д е й с т в и т е л ь н о много о нем сказано.

Темы первого разговора? Осмотренный мною по пути музей, что-то о Неаполе. О газетах. И больше, чем тема, – в глазах Горького ненависть – суд над Сакко и Ванцетти.

Так вот оно живое, это лицо, 30 лет спустя, в первый раз! Вне возраста – никакой старости! Широкоскулое и худое, в щеках провалы, волосы сбриты, серый пушок. Усы густые, вниз, рыжие. Глаза – синеватые. И *мои* глаза не верят, что это явь.

Не похож на свои портреты: бесконечное богатство мимики. Но каждый портрет что-то схватил, и перед глядящими, как в кинофильме, мелькает в волшебной смене то один, то другой портрет, – а, и еще этот? – гасимые текучей сменой вовсе новых, аппаратом невиданных лиц.

Он говорит, голос глуховатый, на «о», на мой слух чуть невнятный в своих утиханиях, но когда близко, или привыкнешь, в негромких интонациях такая мощь тончайших смысловых переливов, как бывает разве что в музыке. Когда же их не хватает – рассказ переходит в жест. Кто напишет о его жестах? Я только отмечу в них невиданную мною – мне 35 лет – выразительность. Интеллектуализм? С их длинных, спокойных всплесков, с холодка неуловимых движений этого веющего смычка каплет горячий воск – печать на то волнение рассказа, которое нельзя передать. Это высокая марка волнения.

Лицо – голос – жест. С чего начать дальше? С того, что вокруг стола, где сидим, – люди, давно знающие Горького. Что мне неловко. Что мешают тарелки, ваза с фруктами, стены, окна с каким-то садом и жаркий равнодушный к моему приезду, – как завтра и как вчера, – день.

Большая комната с 3 окнами – дверями на балкон. Вид на далекое. Море с правым крылом гор и Сорренто с очень бледным треугольником Везувия. Каменный, светлый, мозаичный пол. От него ли, или от стольких дверей на воздух – впечатление холода и простора. Книжные полки. Никакого беспорядка. Никаких вещей, подчеркивающих индивидуальность хозяина. Серьезно, спокойно. За рабочим креслом большого стола (стопка остро очиненных карандашей), над полкой – небольшой портрет Пушкина. Две-три картины. В углу, за ширмой – кровать.

Что он говорил? Что запомнилось из его слов о писателях? Неожиданно-

сти его облика поглотили всю силу внимания. В памяти – случайные отрывки. Их помещаю в виде примечания, извиняясь за хаотичность их: что Бабель – очень серьезен. «Конармия»… Замечательный будет писатель! Что об Ольге Форш – с похвалой («Современники», «Одеты Камнем»). Что высоко ставит Сергеева-Ценского. Что не понять, как Борис Пастернак так перевоплотился в 13-летнюю девочку («Детство Люверс»). (– М о е м у пониманию это недоступно!)

Из бесчисленных вопросов моих к нему:

– Вы любите Блока?

– Нельзя ответить на это. Заинтересован был очень. Да. У него никогда нельзя было знать, что он сделает в следующую минуту. Я его и пьяным видал: тело пьяного человека, а слова, мысли, поступки – его обычные. Видал, как ухаживал за женщинами, видал на заседаниях. Стихи читал, как никто…

Еще о поэтах: Бориса Садовского уже с 15 лет считал выдающимся талантом. Он и вправду талантлив. Помню его в мундирчике, тонким, тонким голосом читающим стихи, – как игрушечка. Его очень в семье баловали. Был кумиром. Каждое желание исполнялось.

– Перед «Вечерними Огнями» Фета – преклоняюсь. (И о любви Фета, 80 лет к 18-летней, смерть после объяснения с ней).

– Апухтин – пустое место.

Что я помню еще? Что Чехова-человека любит. И писателя хвалит. (Из его вещей больше всего отмечает «Степь».

– Это хорошо. О ч е н ь х о р о ш о . Вы это посмотрите.)

Лескова горячо чтит.

Об Андрееве говорит с нежностью.

Резко не любит Владимира Соловьева.

– Конечно, есть неплохие места. Но всё не хорошо. Циник. О человеке сказать так: «Родился кто-то, потом издох…». О человеке! Неверие прикрывал перед самим собой благочестием. Способность похихикать надо всем, во что веришь. Переписка его со Шлейермахером отвратительна. Как и отношение к Шмидт.

– Боткинские письма из Испании не сравнимы ни с чем в литературе. Единственная книга, написанная русским о другой стране. Вообще мы писать об иностранном не умеем. (Ответ на мой вопрос, почему не пишет об Италии, – ведь так ее знает. Написал несколько итальянских сказок – «не вышли».)

Заговорил о Слепцове. Казалось, радостно удивился, что я читала его. – Его ведь так мало знают.

И беседа идет, идет, уже вечер. Помню его слова о том, что это вот понимал Лев Толстой: часы дня, психологично иные речи, иной тон, иные соотношения вещей в разные часы дня. Вечером – вечерний разговор, утром – совершенно иная манера говорить у его героев.

– Удивительный мастер. Знал каждую запятую свою. Все учитывал.

– А он знал, Лев Толстой, что он – недобрый?

Горький: – Знал. О себе говорил: «Старый, глупый старик, злой старик».

Разговор перешел на Анну Каренину. Более безрадостной любви, более скучной, он не знает. – Ни разу при луне не прошлись. Ни одного ласкового слова друг другу не сказали, ни разу не поцеловались при читателе. Да, мы, русские, не умеем этих вещей писать. Это только романцы умеют. У нас – не выходит.

– Вы бы могли. Напишите.

– Нет, я не умею. Русские не умеют. В каждой любви без переписки обойтись не могут. Философствуют же, нельзя же. В том же доме, но хоть одно письмо!

О Гоголе, о конце Гоголя:

– Это мне совсем непонятно. Просто не понимаю, чуждо. Для меня никакого «греха» в творчестве нет.

– Алексей Максимович, кого вы больше любите, Андрия или Остапа?

– В молодости Андрия, конечно, ну, а теперь – Остапа. Все-таки будет посодержательнее: «Батько, слышишь ли…» – Это, знаете ли…

«Записки сумасшедшего» Гоголя не ценит: нарочито, слабо. И что Гоголь не знал России, не был в Великороссии, и фамилия у него не русская.

Иностранных авторов знает, как русских.

О Гете не говорит горячо. Считает, «что Ломоносов ничем не меньше, а как ученый – больше. Пушкин – больше Гете».

Анатоля Франса очень любит. Переписывался с ним и видался. Настойчиво его хвалит. Не любит баллады о Редингской тюрьме. Хвалит «Йёста Берлинга» Лагерлеф. Помню еще: Бернард Шоу – ядовитый старик, но любезный. Явился на званый вечер, где все были во фраках, «в каком-то эдаком пиджаке невозможного какого-то цвета, табачного, все у него висит, вот эдак… И в скрипучих огромных башмаках».

– А как Вы были одеты, позвольте узнать?

С улыбкой:

– Такая куртка была… (И рассказ о сюртуке, который висит в Берлине, в шкафу у друзей.) Очень даже приличным человеком выглядел в сюртуке.

О приходивших к нему американских писателях, вежливо с ним говоривших и высказывавших мнение, что русских надо связать веревками:

– А веревок у вас хватит?

Собственные книги его лежат небольшими стопочками на нижней полке, на самой нижней, у пола. Когда метут пыль, – то на них. Это не поза, недоброжелатели, – т.е. ни т е н и позы! Просто для него естественно: тут – Толстой, там – Стендаль, здесь – Пушкин. А Горький как-то лег там, внизу.

Раздает эти стопочки, и только один полный комплект, 17 томов, удалось от него спасти, – он внизу, у невестки.

Из всех своих вещей больше всего любит «Рождение человека».

Мы вышли на балкон. На соседнем балконе (высоко над садом) купали Марфу в нагретой на солнце воде и она отчаянно плакала, – не любит теплой воды. Увидав деда, закричала сквозь слезы: «Дудука…» Он тут же прошел к ней, сел у ванны на корточки и стал ее уговаривать: «Да, обижают нас. Очень нас обижают…» И не отходил до конца процедуры.

Мы до вечера не уходили к себе. Лиловое небо, медленно тая, тускнея, темнея, опрокинулось черным шаром. От сада было видно лишь сухое деревцо в луче окна. Мы вышли в этот исчезнувший сад.

Море, весь день стоявшее синей чертой, – полосой широкой, вон там. Оно растаяло в этой огромной ночи, как снежок в горячей руке. В ней же, в этой бездонной ладони, скрылись – сгорели? – горы. О селениях, шумных и тесных, стихших, кротко повествуют огни. Мы шли вслед за Горьким по невидимой тропинке. Он рассказывал о Капри. Сзади, из светлых провалов дверей и окон, неслась струнная музыка. Неужели – еще вчера? – я не знала этого голоса? Глуховатого, тихого… Сквозь голос, ночь и огни – горькая настороженность слуха, ловящего звук его кашля.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кисейный полог от москитов, мозаичный пол с букетами роз, горячая лестничка узких солнечных лучиков сквозь жалюзи, первое утро в Сорренто.

Не настоящие – и потому милей – фоксы провожают меня вверх по лестнице в полутемную комнату, где уже все отпили кофе. Гигантские мячи апельсинов и персики с хорошее антоновское яблоко, сухой поджаренный итальянский хлеб. Виноград с кусочками льда. Я одна.

Это – неповторимый час. В гладкой, как зеркало, неизвестности – а уж некие лучи отразились – лежит передо мной предстоящая жизнь в Сорренто. В окно, полузакрытое ставней, виден кусок выжженного мелового сада, слышен детский голос. Это – Марфа? Дверь отворилась, вошел Горький. В стакане нес скорпиона. Поймал его на своей постели. Взял руками: «Только осторожно брать надо. Опасен укус в апреле. Как опасна всякая тварь, когда она занята любовью».

Постоял на пороге.

– Почта еще не пришла?

За обедом мой друг тревожно и долго сетовал, что у Горького в постели – скорпионы. «Нечего сказать – хорошо! Как живет и работает Максим Горький».

Дом высоко над морем, минут 7 по крутым тропинкам. Горький работает по 10 часов в сутки. У Горького сын, невестка и внучка. Горькому нельзя льду – и постоянно его кладет кусочками в воду. Очень жарко. Днем – темные решеточки жалюзи. По каменным мозаичным полам – меленький звук маленьких лап собачьих – два фокса (не чистокровных, «с простонародинкой»). Встречи за столом – в час (утренний кофе без Горького, он пьет раньше всех, один), в 4, в 8. Сзывает – через выжженную дорогу – звонок. (Живем, его гости, в маленьком доме напротив. Название дома «Минерва».)

Сидит в голубой рубашке с расстегнутым отложным воротом, – старик? Моложе своего сына! Густая шерстка волос, худой, легкий – еще ничего не говорит особенного, но так, голову набок, глянул… и человек уж принадлежит ему!

– Тимоша, да побойтесь вы бога! Какие же курицы, ну какие же, на милость, курицы! Да зачем я их буду есть? Да я до смерти их боюсь, ваших куриц! Как увижу – так у меня ноги дрожат! Ну и что ж, что один суп! И превосходно, что один! Живу же? Мало! Что, мало живу? Бросьте, Тимоша, это вы, чорт ее побери, что говорите!

И руки – так, только в плечах где-то двинулись… лицо – ходуном… балуется человек! И все вокруг – расцветает.

Вот вы, Тимоша, не знаете этого ничего, а говорите… Ну, как же это может быть, чтобы она была мулатка? Негритянка она. Самая настоящая негритянка! Черная, понимаете ли? Черная. А пела-то как! Ах, чорт ее побери… «Пускай могила меня накажет»… Как она это пела!.. Таким, знаете ли, эдаким голосом…

Дочери своего приемного сына:

– Вот, Лиза, про меня даже во всех газетах пишут, а ты меня в бок пальцем пихаешь.

Смеется добро, почти как старик, о Джулии, забывшей ему – а всем подала – подать винограда:

– Очень строгая женщина Джулия…

И упоенно мотая головой:

– Не хочет она мне винограду дать, ну, не хочет…

– Нынче Марфа Максимовна очень были милостивы. Сами ручку дали. И еще издали кричали «дедука».

У Марфы бонна. И Марфа начинает лепетать по-немецки. Сердится. Дед ей через стол:

– Не злись, немка!

Не сводишь глаз. Выразительность жеста – необычайная.

Много рассказывает о прошлом.

Попытаюсь восстановить несколько из этих рассказов.

О том, как поступил в оперу хористом. Там же был и Амфитеатров (пел главные партии).

– А у меня второй тенор. Пел я чертей и индейцев в опере «Христофор Колумб». Начитался я Купера и Майн-Рида и очень хотел все по-индейски делать. Умел и ногу особенно ставить и шел – ну, настоящий индеец! А режиссер говорит: «Ну какой ты, Пешков, индеец! Ты просто, брат, верблюд!..» Так до спектакля и не допустили – только до репетиции.

Толстовец-англичанин пригласил его к себе.

– Богатое эдакое, невероятное какое-то здание. В дверях – человек, и у человека – булава. Человек похож на попугая: желтый, зеленый…

Неимоверное богатство, принятое им за богатство гостиницы, – собственность толстовца. Столовая (в рассказе блеснула тарелка сервиза, блик на тонущей в высотах стене тронул волшебным жестом не то скатерть, не то хрусталь) – «и понял я, что это – да, это настоящее место и есть…».

Сели. И начался обед – «не обед, а какое-то упражнение… Чорт его знает, собственно, в чем… Блюдо за блюдом»… (Описал).

– Ну, потом я рассердился: ну, что в самом деле? Ежели так – так при чем тут толстовство? Ежели так – так уж бросайте все это к чертям! Ну, и выразил это ему.

– Ну, а он что?

– А ему что? Выслушал!

– Ну, а что-нибудь сказал?

– Чудной вы человек. Да что ему говорить? Говорить-то здесь нечего. Ну, что бы он стал говорить? Ну, потом встречались мы с ним, но уж в холодном таком виде…

О нижегородском губернаторе, однажды севшем рядом с ним на обрыве над Волгой и изложившем ему свой проект устроения государства. Каждому великому князю по губернии – автономное управление. И губернии будут в порядке, и великие князья заняты. Этот же (?) губернатор, приехав в другой город, узнал, что существует городская дума и что он должен открывать ее заседания. Идея думы не вместилась в него, монархиста. Но дума была факт, распоряжение монарха, губернатор должен был повиноваться: он вошел солдатским шагом в собрание, сказал: «Объявляю такое-то заседание городской думы открытым». Затем повернулся и… тем же шагом вон из помещения.

Рассказ (один из многих, полуугасших в памяти за первые дни бесед) о дьяконе, силища голоса которого (октава) тушила свечи на большом расстоянии. «Рожа такая, точно по ней лошади топтались. Вот такого вот роста, маленький, квадратный… Страшно смотреть…»

Инженер, пошедший пройтись, сказав жене, что вернется к завтраку, на улице увидал женщину необыкновенной красоты. За ней. Роман.

Она – жена какого-то посла. Едет в Константинополь, еще куда-то. Он с ней. Турецкая тюрьма. Бегство. Погоня. Морское приключение со стрельбой и, наконец, является к жене. К завтраку. Девятнадцать месяцев спустя: «Ну, вот и я».

Девушка тринадцати лет, история с отчимом, дикое по фантастике бегство. Событие одно за другим, жизнь в роскоши, отечески ее полюбившего человека, его смерть, ее продают в рабство, в гарем. Еще и еще… Японская война, она – сестра милосердия. Кончается ее след непонятным возложение ею венка на могилу писателей на Волховом кладбище.

Рассказал, как он прыгнул, купаясь, с моста, ударился обо что-то под водой и, теряя кровь, пошел ко дну. Его спас ямщик, проезжавший по мосту.

О пожаре, начавшемся утром: оставил папиросу, горящую: «Побежал, понимаете ли, на кур глядеть, – куры очень орали»… Вернулся, на столе пожар, сгорел только что написанный лист «Самгина».

…Мне было лет шесть тогда. Я был еще маленький… (поджигал забор с мальчишками и бежал, – за нами гнались). Страсть к огню. Кто-то упрекал его в огнепоклонничестве.

– Били меня не раз и очень много. И я был хороший боец. Теперь уж можно об этом сказать. Хоть и силен был, но брал ловкостью.

Об Америке.

Подъезжая к Нью-Йорку – совершенно сказочное впечатление: весь город, все очертания его невероятных домов – в электрических, фантастически придуманных рекламах. Например, труба сплошь обведена рядами электрических ламп, – горящая труба. Горящий город.

Это у них – замечательно.

Об Американской прессе: заметка в газете о том, что сенатор такой-то разводится со своей женой. Его опровержение. Опровержение опровержения, – как же, у него взрослые сыновья, и они ненавидят мачеху (она в это время в отъезде). Ее на вокзале встречают репортеры и спрашивают, плоха ли ее семейная жизнь. Она замахивается зонтиком на дерзкого незнакомца. В это время щелкает аппарат – снимок в газету: характер мачехи. Сыновья идут в редакцию, не в силах больше терпеть эту историю, и колотят виновников. Их снимают, снимок в газету: характер сыновей сенатора. Сенатор бросает деятельность, сыновья – университет, уезжают в другой город.

Проституции нет, а есть – публичные дома. Публичных домов нет, есть – полицейские, которые, увидя по лицу, что с человеком неладно, направляют: за угол, третий дом. Был разоблачен квартал – 9 публичных домов, принадлежащих известной филантропке. В прессе – скан-

дал. На другой день – опровержение. Дома были сданы ловким жуликам, которые провели филантропку, а полицейские никогда не служили в полиции, а – шайка переодетых мошенников.

– Где же правда? – спросил мой друг.

– Там где деньги. – Как всегда.

Лицемерие: статуя на доме, голый мужчина. Негодование. И в прессе – слова: «Ни одна уважающая себя женщина не будет, конечно, ходить по этой улице». Не ходит ни одна женщина. А на неприлично разрисованную каким-то смельчаком, влезшим на высоту, рекламу женщины в прозрачном одеянии все смотрят, ничего.

О музее: уроды, живые. Три с лишним аршина, карлики, женщина с шестью грудями и т. д. За доллар можно увидеть, что хотите: Венецию хотите? Пожалуйте, Венеция. Едете в гондоле мимо дворцов. Пьяцетта, собор святого Марка. Хотите в ад, может быть? Пожалуйста. Спускаетесь по головокружительному пути в жаркие красные недра. Котлы с *кипящими* живыми людьми. (Подкрашенная вода) «Кипит» от каких-то химических соединений, но трогать не позволяют. Другие подвешены за ноги и пр. Дьявол с зелеными глазами, с хвостом и крыльями смотрит на вас ледяным взглядом.

Рай? Пожалуйста. Полет туда на птице. Ангел курит сигару. Петр с ключами; вдали проходят святые, еще далее – сияние, перед которым ангелы преклоняют (и вы тоже) колена.

– Все это грубовато. У нас бы лучше сделали. Хотите всемирный потоп посмотреть? Пожалуйста. Сцена, древние евреи, дождь, дождь все больше, вода прибывает все выше, уж выше скал… Матери спасают за ноги детей, крики, мучения, вода прибывает… все тонут. Вода волнами идет на зрителя, но слетает совсем близко от него в особое углубление.

Еще об Америке. О квартале китайцев (самый страшный, туда без охраны нельзя, – они, впрочем, пошли вчетвером без охраны). Полицейские стоят по двое – спина к спине. Китайцы почти не отвечают на вопросы. Страшные люди. Ведь они лишены своих китаянок, запрет размножения, дико развит гомосексуализм и наркозы. Наружность и одержимость их жуткая. Но работают превосходно, несмотря на ненормальную жизнь: прачечная, производство коробок и пр. Самый веселый, это – негритянский квартал. Свои театры. Необычайно оживленные, страшно смешные и милые дети. Всегда музыка.

– Играют на виолончелях, играют на скрипках, играют на (название какого-то инструмента)… вообще и г р а ю т ! . .

Они преподают в школах белым детям, но в трамвае не имеют права сесть к белым, особенные вагоны. По железным дорогам то же: «для цветных», как для скота. За связь черного с белой его судили за кровосмешение.

После разговора о детях:

– Дети – существа замечательные. Как фальшь превосходно чуют… Они обладают некиим шестым чувством. Правда, обладают до тех пор, пока не превратятся во взрослых людей.

– Я, когда Максим лет 14-15 жил у меня на Капри, слушал с интересом его рассказы. Как это у него, чорт его побери, складно выходило. С большим интересом слушал.

Стоим на балконе, над выжженным, точно пустыня, садиком. Под нами несколько агав, какое-то одно драгоценное дерево с мне неизвестным названием. Вправо от нас плеснут голубоватый туман моря, за ним – еле зримые очертания Везувия; сонным белесым облаком. Сзади нас стучат ложками, подают в комнате чай.

– О детях писать трудно. Очень трудно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Капри? Его описывали столько раз, сколько его омывают волны. Забыв спросить у Горького, где он жил на Капри, я все время от парохода до парохода вместе с встретившейся мне русской служащей берлинского торгпредства отыскивала, спрашивая у всех – la casa dove viveste il grando scritturi Massimo Gorki. *

Этих «каз» оказалось так много, что мы, должно быть, заодно осмотрели дома, где жили и Андреев и Куприн, все жившие на Капри «скриттури». Понимая безнадежность разобраться во множестве предлагаемых нам домов, мы сидели в чьем-то чужом саду, ели апельсины и смеялись над своей неудачей. Мы убеждали себя, что эта уж наверное настоящая «каза». Итальянцы смотрели на нас неодобрительно. На горе величавым упреком стоял замок императора Тиберия, который мы не пошли смотреть.

Я здесь уже 16 дней, отъезд надвигается.

В день Марфиного двухлетия пришел Пульчинелло со своим домиком на колесах. В сад высыпали дети соседей, Марфа была такая беленькая среди них. Взрослые говорили о том, что это искусство уже умирает, вспоминали русского Петрушку. В самый патетический момент глаза всех устремились на Марфу: она медленно, осторожно, с совершенной решимостью, отделясь от всех, шла вперед. Крик пугал ее, но любопытство брало верх. Она чинно дошла до самого места действия и серьезно, испытующе, с видом исследователя заглянула за угол домика. Она хотела знать, что т а м .

*Дом, где живет великий писатель Максим Горький (*итал*).

Этот ее маленький поход в неизведанность, несходство с другими детьми, которые просто смеялись, с детьми, которые тянули руки и чего-то туманно требовали у старших, – какого-то еще более полного пользования красотой, – четкость замысла и самостоятельность выполнения явственно напомнили деда.

Это шел маленький Горький.

Поздно вечером я еще раз увидела Пульчинелло: уже успев обойти ближние сады, полуслепой старик со своим легким сооружением стоял перед отлогой лестницей «Минервы». Прямо на лестнице сидели зрители; по сторонам мечущихся в воздухе кукол полыхали невиданные мною фосфорические свечи, и картавые, классически крикливые голоса кукол пафосом ролей покрывали окрестность. Они стригли ночь острыми световыми ножницами на черные длинные треугольники.

В Сорренто гостил молодой англичанин, писатель. Вечером Горький говорил с ним через переводчика. Спрашивал о жизни в Англии, об отношении к России. О роли женщины у них. Говорил с симпатией о матриархате. До сих пор мужчины делали историю, и плохо выходило. Сколько войн! Надо дать женщинам возможность делать историю.

Говоря о своем необычайном довольно-таки пути к культуре:

– Я этим не хвастаю, не хвастает же человек тем, как его били…

Никогда не видела его удивленным. Слыша цифру раздавленных в Америке автомобилями, – столько-то сот тысяч, кажется, – повел усами:

– Немного.

И утомленный, сухой, от себя (?) самозащищающийся глазок из-под брови. Горд.

Когда я прочла ему свое (вещь, по существу, не могшую ему не понравиться и – в меру, конечно, потому что все в опыте жизни в меру – не взволновать), я закрыла тетрадь с этим терпким, стесняющимся и просящим пощады словечком «все» (сердце колотилось, в висках стучало), – он начал мне свой ответ так:

– Д-да… тут в одном месте у вас не поставлен союз. (Потом он сказал вещи дружественные, похвальные, неповторимые по тонкости внимания, но н а ч а т ь он позволил себе, т.е. вменил в обязанность, именно так.)

Суховатость к рисунку брошенных перед ним карт. Все кроет козырем. Нет, нисколько не сентиментален, как о нем говорил кто-то. Рассказ о том, что он будто бы заплакал, публично читая вслух «Страсти-Мордасти», – ложь.

Через неделю отъезд. И хочется набросать несколько наблюдений.

Очень редко смеется. Улыбается часто. Улыбка – обаятельная, молодая. А смех – добрый, нежный, стариковский.

Постоянные слова: «полагаю», «сделайте ваше одолжение», «пожалуйста». (Да сколько угодно, пожалуйста! Да какие хотите, пожалуйста! Почему нет? Да, пожалуйста!)

И от глухого голоса выходит «пуж-а-ал…»

Часто: во-от… Горячим улыбнувшимся шёпотом: замеча-те-а-льно… (слышно, как меча-а-…») Это не слова. Это горячий ветер у губ. И прикроет на миг веки.

Говорит не умер, а «помер». «О» не грубо, не настойчиво, а – гулкостью голоса.

«Кажный», «Берлин», «с людями», «озорничает».

Вечером в рассказе о ком-то:

– Женщина дикой красоты.

– Да, эта женщина предсказала мне, что буду сидеть в тюрьмах. Пять раз сидел. И что человека убью. Не убивал я еще никого. Не поспел.

Играя в убегание от Марфиной игрушечной кошки, прячется:

– Кошкими меня затравили…

А Марфа требовала, чтобы «Дедука» – sitzen* и снова травила его.

Не любит сладкого.

Каждый день за обедом радостно отказывается от какого-нибудь блюда:

– Нет, Тимоша: не удастся вам меня покормить…

(Страшно мил, кристально чист в обиходе, в сношениях с окружающими.)

Выходит на минутку во время занятий днем из кабинета (кстати, сказала ли я, что его кабинет – одновременно и его спальня).

– Чорт их побери, этих мух! Жить невозможно. Палкой их надо бить по голове.

Постоянно жжет спички в пепельнице. Не раз – пожары в корзинке для бумаг.

Горький – нумизмат. Но коллекцию (это, кажется, невозможно для нумизмата) раздарил.

Утомляется с людьми. И, побыв один два-три часа, вновь радуется, встречаясь.

Во время пения вечером у молодого населения дома внизу, в большой комнате, окнами и дверями в сад, слушал музыку и стариковски улыбался, тонко, с былой удалью, с уже отступающим чем-то… Склонив голову…

Вечер. Сад. Ужасно темное небо, еле различимы корявые стволы деревьев. В чью-то честь жжем костер. Молодежь принесла стол с вином. Ворох папиросных и спичечных коробок, на них – хворост. На хворост – изношенный костюм моего друга. Смех. Горький мешает костер.

---

* Сидел *нем.* – *АЦ.*

У его сына на стене картинка одного из Бенуа: костер, и Горький его мешает. Мы сейчас словно провалились в эту картину.

– Что вы больше любите, огонь или воду?

– Огонь. Я огонь очень люблю.

Согласился, что вода во всех ее видах, и тихая, и бурная, жутка.

Сын и невестка заботливо уговаривали его не стоять близко к огню, – ветер свеж, простудится. Шутил. Не слушал.

– Алексей Максимович, – спросил мой друг, – вы когда-нибудь думали – да, конечно, – о том, что двум любящим всегда хочется умереть? Помните, у Тютчева есть…

Помолчал. И с оттенком недружелюбия в голосе:

– Ну, не знаю. Не знаю этого.

Я скатала из всех серебряных бумажек, составляющих внутреннее дно папиросных коробок, большой сияющий шар. Горький с улыбкой мне подал раза два: «Вот еще бумажка».

Я подбрасывала в руках этот тяжелый мячик, по нему полыхал свет огня, думала:

– Этот мячик останется мой. Вечер пролетит, все пройдет. Это будет залог, что было.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Завтра отъезд. Мой отпуск кончается. Днем, среди сборов, прочла «Страсти-Мордасти». Вещь грозная в своей голой чистоте, в своей ужасности, очень тихой. Был какой-то особенный вечер. Все ушли, молодежь внизу, мы – втроем- и он стал рассказывать. О чем? Разве скажешь? Вечер с ним – это жизнь.

– Хороший человек, между прочим… очень хороший человек… – (о комто) и покачал сверху вниз, еле-еле, углубленно в себя – или в эту чью-то хорошесть – головой. А пальцы мнут папиросу. Зажег спичку – и рассказ дальше, до следующего случая, когда прорвет в счастье, что:

– Чорт его побери, понимаете ли, чорт его з н а е т , как хорошо…

И широкий, сдающийся на невозможность выразить – всплеск длинных рук.

Но я сегодня в тумане. «Страсти-Мордасти». Мне кажется, а может быть, оно так и есть, в литературе нет вещи более сильной: в ней все концы и начала. Мне душно сегодня весь день.

Сквозь условности часа – столовая, Сорренто, Горькому шестьдесят лет – в каждом его слове, в каждом жесте и в немыслимости завтрашнего отъезда мне повелительно стоит над миром пьяный горем день, когда Горький вышел во двор из подвала, простясь с больным мальчиком.

Упрямо, самозабвенно, мне это кажется последним и н а и б о л ь ш и м .

А Горький, точно зная, что со мной, спокойно и щедро – жестоко? – кроет козырем и эту карту. Он ведь знает эту нелепую жажду, все бросив, остаться в том подвале, – не этой ли жаждой был пьян его уход из него? Он знает нищету подобого разрешения вопроса. Он знает, что этот вопрос «так нельзя разрешать». Ненавистник теории и споров об отвлеченном, он продолжает сказывать жизнь, и волна за волной, жизнь, как волна песок (драгоценна каждая песчинка), плещет в вечер судьбу за судьбой. Неповторимо, незаменимо, незабываемо ничто. И именно потому в том подвале нельзя остаться, – силы человека таинственны и огромны, человек – людям нужен, жизнь богаче себя самой. Не жалостью, не лирическим взрывом единичного героизма лечится эта рана. Он презирает кустарничество, самозванство. Он всю свою жизнь борется с этим клубком в горле, со слезной волной в час волнения. Она готова затопить мир, но существо ее – эмоционально, как дрожь при звуках оркестра. Омывая в легковесных водах «понимание», эта волна одновременно служит человеку и спасательным от волны кругом, не дающим ему окунуться в настоящую глубину.

«Страсти-Мордасти»? Да, это рассказ не плохой. Женщина, рожавшая в степи. «Рождение человека»? Да, был такой день. Помнит, еще был день: у молодого мужика, приехавшего на ярмарку и наторговавшего денег на свое молодое хозяйство, свинья съела бумажник. Мужик пошел под навес и удавился. Жена бросилась к нему, в это время свинья съела грудного ребенка. Он, Горький, въезжал на телеге в город. Он видел, как навстречу ему бежит женщина, – она так бежала, точно не по земле, и «лица у нее не было, а так что-то» (он показал какое-то круговое движение вместо лица), она пронеслась мимо него, вбежала на стоявшую у берега баржу и – с другого конца – в воду.

Он рассказывает о дефективных детях, над которыми работал в Ленинграде: помнит он девочку исключительной талантливости, красоты и изящества – «очаровательная девочка. Воровка».

Подробно, все перипетии ее жизни, – как бились с ней, как ее тянуло к воровству; ловкость – необычайная; сцена в трамвае, где она, якобы в благодарность за заботы о ней, выдала шайку карманных воров, а на самом деле поиздевалась, приведя с полицейским агентом совершенно невинных людей. Освободила из тюрьмы друга-подростка.

Мальчик – слесарь гениальных способностей. Замков – не существовало. Из трех головных шпилек делал модель замка, которую никто не мог открыть. Совершенно холодное существо. К людям – презрение. Никогда не работал при ком-нибудь. Вежливо прекращал работу и поддерживал разговор, ожидая ухода. Из так называемой «хорошей семьи». Вор.

На мой вопрос, можно ли любить таких?

– Можно.

– Жалостью?

– Нет, очень сильным влечением, в котором совсем нет места жалости. Я так скучал по этим вот двум, когда день не увижу, – как-то неловко делается, что их нет…

И вдруг мне становится ясно: Горький – «вечный жид». Есть картина, кажется, Марка Шагала, как шагает над силуэтом маленького осеннего нищего города гигантский силуэт старика. Каждый шаг – через гряду домов. Волосы – в тучах. Посох.

И я слушаю с новой страстью внимания.

Об итальянцах, о разнообразных, странных их свойствах, о сдержанности в гневе: будет стоять, побелев, со сжатыми кулаками, – не ударит (когда бы у нас, – уж давно драка), о неаполитанцах, б е з у м н о любящих удовольствия (небывалые ежегодные суммы на иллюминации). Что жулики, но, обжулив, в тот же день вам окажут услугу. Прирожденные актеры. Дар. У шестилетней девочки – врожденные манеры актрисы.

Мой друг сказал свое впечатление о Неаполе: совершенно сумасшедший город. Даже нельзя понять: музыка из каждого окна, какие-то рояли на колесах на улицах. Тут же пляшут…

– Да. Это – вечером, – сказал Горький, – утром Неаполь спит.

Рассказ о большом актере, с которого ни в магазинах, ни в ресторанах итальянцы не хотели брать денег.

– Мимика! Мимика…

Сказал это потрясенно и тихо, недоуменно развел руками.

– А я театр не люблю… – сказала я.

– Да и я не люблю, собственно. И пьесы я писал плохие. «Дно»? Интересно только содержание. А рока – нет. (Стержня, действия). Да, я не поклонник театра. Но я видел т а к и х актеров – невозможно рассказать это. Из-за них не моту отрицать театр. Видимо, есть люди, которым роль – толчок к перевоплощению. Дузэ, – разве о ней рассказать можно? О других можно говорить, о ней – нельзя. В Италии трупп – нет: актер. Лучшие театры – в Неаполе.

И с глубоким восхищением об актере Андрееве-Бурлаке. О том, как он читал гоголевского «Сумасшедшего». Он безумен, да. Но откуда-то на себя смотрит. И это жутко.

– Я бы сказал афоризм: надо быть очень талантливым человеком, чтобы не быть актером.

…Ночь после игры Стрельской (ему было 17 лет). Вышел из театра и до утра – а дело зимнее – просидел у фонаря на тумбе, не заметя, как прошла ночь. Об актере, некрасивом и странном, очень тогда известном. Сцена, как мимо него проезжает с другим его возлюбленная. Никаких жестов. Он глядит ей вслед. Абсолютное молчание, непереда-

ваемая игра лица. Роняет изо рта папиросу и вдруг тихо начинает петь. С ним боялись играть; в такую минуту следующий шаг был – убить первого попавшегося. П е р е в о п л о щ а л с я в роль.

О том, как итальянцы молятся в церкви.

– Он с ней говорит, с мадонной. Говорит, понимаете ли! Показал, как бьют себя в грудь, как глядят вверх, исступленно. Развел руками, как перед непостижимым. Вечер идет. Плывут воспоминания.

О человеке в тюрьме, который каждый день в предзакатный час, который он долго ждал, когда стена против его окна, тоже тюремная, наконец освещалась солнцем, делал руками тени. Целая жизнь теней. Их смывал вечер.

…О скале на острове, где похоронен Григ. Об исландских сказках, мрачных. Об арфе с голосом. О гуслях и плясках мордовских…

– Я – сорок лет как бросил пляску.

Любит Бетховена, Моцарта, Грига. Музыку о ч е н ь любит. Эта его любовь к музыке стоит возле него всегда, точно вторая тень. Из инструментов – виолончель.

– Струнный звук, конечно. Но… не щипком, а…

– Смычком. Ну, конечно.

И поняла: он – бытийной струи. Чистой, движущей, радующейся!

Мой друг сравнил его с Рафаэлем. Толстой – Леонардо, Достоевский – Микеланджело. Смеялся, слушая. Сильно кашлял. Тревожились.

– Нет, это пустое. Перекурил.

– Да, я много видел так называемого зла.

– Но я в каждом человеке знаю так называемое добро, и я верю, что оно победит. Люди не умеют жить. Не умеют, понимаете ли… Но когда-нибудь они научатся. Залогом этому то, что они у ч а т с я . Когда я каждый день просматриваю русские газеты, мне это совершенно ясно.

– В Ленине было – детское. Подойдет к елке, голову подымет – и улыбается. А на елке, понимаете ли, сойка сидит…

Выразил удивление, что мой друг мало знает птиц.

Спросил, докуда он прочел «Самгина» – до сома ли? «Там – сома ловят…» (с виноватой, упоенной улыбкой, мгновенно и круто умиляясь и, как всегда в этот миг, став застенчивым).

Я сказала ему, что, наверное, он никогда не охотился и что, как это верно, что Лев Толстой был охотником, а он – н е т .

Он скромно и тепло отвечал, что вот да, странно, действительно, никогда не любил охоты.

– Ведь жалко же их убивать, чорт возьми, зверей этих! Ведь, например, медведь! (Показал, как медведи сосут водку из бутылки, обняв ла-

пами; как ходят, какие милые, – никогда на человека не нападают, если не тронуть, какие мохнатые…)

– Ведь медведь, он у д и в и т е л ь н о милый человек!

О самке дельфина, у которой убили детеныша. Она подплывала к берегу, где он был убит. Она плакала; слезы, как у человека. Невозможно было глядеть на ее морду.

Подчас, когда слушаю, смотрю на него, загипнотизированно слежу жесты… и вот так расскажет что-нибудь д о к о н ц а! – мне хочется сказать ему, чтоб он не говорил сейчас другого, – нельзя, не надо! – солнце, остановись!

А он уж ласкает собаку. Собака прыгает к нему на колени.

– Да вы что, маленький, что ли? Вы собака старая, зеленая…

Собака прижала голову к его груди. Он кормит ее сахаром.

– Вы бы пошли, прогулялись…

Собака не шла.

– А еноты – вот чудно: еноты сидят на деревьях, скатаются шариком, лапами морду закроют… (неуловимым движением скатался весь, показав, как) – и висит не ветке эдакий шар, – не то растение, не то цветок какой-то…

Утра в Сивашской степи; прячась за камнем, смотрим, как суслики просыпаются.

– Молитва у них, что ли такая… Моление солнцу!

Он делает что-то руками, воздушное умывание у лица.

– И… свистят… тонко… Там свистнул, тут свистнет… позади, там, здесь… (уж не слова у него, а движения): повел плечами – и нет спинки стула, ухо – туда, сюда, слушает… миг тишины совершенной… С т е п ь!

Взлет руки вверх: – Понимаете ли? Хорошо, чорт их совсем побери…

– Да, а сусликов ловит лунь. Лунь висит, как подвешенный, в воздухе и качается. – Горький вскинул голову, простер в стороны руки и длинно, медленно качает их. Лицо – напряженной важности, очертания плеч – воздушны, строги, легки…

В то мгновенье, когда Горький описал, как ударяет лунь суслика, у него совершенно серьезное – чуть сжатые черты – лицо. Но когда уже суслик мертв и в степи живет трепетной жизнью победы лунь, Горький, сам, конечно, не зная, сказывает его наедине с пищей, так как – тихо – оно и было там, в степи, должно быть. Не руша на бедного *хищника его* грех. Чертя еле зримый чертеж, гравер тающих линий, он говорит почти восхищенно о том, как деловито, – и в деловитости невинно, – как аккуратно выедает лунь клювом из мертвого черепа мозг. Нам ощутимо

слышен этот, после суслика, позднейший степной час, – вот так, в два часа *дня*, в Сорренто.

«Олени». – Ночью шли на водопой. И самец кричал. Крик (разноголосо охнул, руки в воздух, и крик, как оленьи рога). Олень стучал по деревьям, давая знать задним, что опасности нет. Потом самка, самец и их теленок остановились, и теленок стал объедать ветку, а отец и мать сторожили.

– Замечательно…

Он только одно слово сказал, туша им улыбку, но улыбка потушила его.

Да, он подолгу жил в степи, раз не мог уйти от сусликов. – Дня четыре вот так (вызывающе и смущенно) гулял!

– Когда в Феодосии на стройке железной дороги, – это было в 90-х годах, на виноградниках работал… Это что, работа дешевая, а вот мостили шоссе – это да: 45 коп! Сколько часов? Да сколько хотите! Часов в 9 начнешь – обед свой – и так до часов 9 вечера… а кругом народу сколько хочешь, ждут, когда кто-нибудь упадет или заболеет, смотрят сверху, бегут радостно! (Показал, как хватаются за кирку, как потирают руки…).

Он никогда не снизойдет морализировать. Дышит и с лунем, и с сусликом. И в юности никого не учил. А только молча, порой, когда этого требовала минута, пускал в ход исступленные кулаки (за разбитую на его глазах ночным сторожем об камень кошку). Четко, за описанием брызнувшей крови:

– Ну что было делать? «Мы катались, как два пса, по двору…» («В людях»).

Ночь. Давно смолкла внизу музыка. Дом спит.

Запер дверь на террасу и пошел нас проводить на лестницу. Последняя ночь в Сорренто!

У дверей «Минервы» в черной ночи с желтыми звездами, рассыпанными по мысу Сорренто, мы еще долго говорили о нем.

– Ну, что, – сказал мне мой друг, – видите, я был прав… А вы говорили – сухой, холодный… и насколько он больше Толстого! Разве можно сравнивать! Это – музыка, а не человек…

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Прощайте Сорренто, Капри, Кастелламаре, Торре дель Греко, Помпея, где были вчера, – едем?

Лиловое небо. Везувий, из Сорренто видимый в этой лиловости только порой и туманно, оживает тяжелой горой.

Наступает на нас. Мы летим ему под ноги. На нем широкие пласты солнца – В его складках что-то от слона. Небо жжет жарче. Когда это солнце сядет, я буду опять мчаться. И Везувий снова станет туманом…

Вчера друг Горького, художник (простились, остался в Сорренто) мне рассказал о том, что, если ехать вдоль берегов, можно, порой, при очень тихом море увидеть под водой мраморные лестницы, колонны, целые куски древних жилищ. Здесь были бани такого-то императора, там – знаменитая вилла… Землетрясения необычайно изменяют берег. Здесь, говорят, некогда был кратер; вон та цепь островов – его противоположный край. Все, что сейчас (до островов) вода – было огнем вулкана?..

Время от времени море выкидывает остатки былой культуры: статуи, амфоры. Их порой расшибает о скалы, но случается, что дар моря кинут волной на отлогом месте, – тогда люди собираются вокруг сокровища, мокрого и немого, тысячелетия пробывшего под водой. Так героическими раскопками Помпеи и Геркуланума из окаменевшего огня и беспечной прихотью волн пополняются залы музея в Неаполе. Горький не может говорить спокойно об этих музеях. Ради них, ради радости показать их еще раз, он нарушил ход своих рабочих дней, – он едет с нами показать нам Неаполь.

Стройная, легкая, повторяю, юношеская фигура Горького в черном и в черной шляпе – на фоне стен картинной галереи. За огромным окном – жара. Прохладные анфилады скульптурных зал.

В ответ на мой вопрос о последовательности в его отношении искусств (впрочем, с оговоркой, что вообще такое деление искусственно): 1) музыка, 2) слово, 3) живопись, 4) скульптура.

Канова – изумительный скульптор. Великолепен памятник Колеона Вероккио Роден – гениален («Мыслитель», «Граждане Кале»), Коненков – замечателен.

– Голубкина – талант крупный. Женщина – бессребреница, но – да это всегда было – говорила в лицо неприятности. И всегда было у нее хорошее самоуважение. А ее старуха голая – такая безобразная, что, ну, прямо некуда ее поставить. Так и осталась у нее в мастерской.

Смотрим любимые его вещи: Геркулес, держащий яблоко, и недавно выкинутая морем у чьей-то виллы статуя юной женщины изумительной работы (и все воспетые чудеса Неаполитанского музея). Мы осматриваем их залу за залой, этаж за этажом. Фрески Помпеи, макеты помпейских домов; гипсовые отливы в судорогах застывших тел. Худенькое, скорченное тельце двухтысячелетней собаки: ее остренькая мордочка задыхается, как в те дни, хотя сам скелет давно рассыпался в прах. (Секрет Фиорелли, попробовавшего наливать гипсом встречавшиеся под киркой пустоты.) А над гипсовым оттиском предсмертных страданий, на непотускневшей кирпичного цвета фреске ле-

тит – легчайшим движением – некая, быть может, Фортуна. Сыпля цветы. Прозрачный край ее покрывала четок, вынутый из-под пепла, и серебрян, как стрекозиное крыло.

Горький молчит. Это – еще раз – все тот же его миг, миг, когда отводишь глаза, когда не даешь слезам завладеть глазами и горлом.

Выходя из прохлады музея в горячую печь двора, помню сказал:

– Синьорелли я ставлю очень высоко.

Ко мне подошла женщина. Тихо по-русски:

– Скажите, это не Горький?

– Это Горький.

И не сказала ему, чтобы не портить ему дня. Он так любит музей и так не любит быть замеченным.

Пошли в Аквариум (музей подводной жизни). Чудеса моря медленно плыли, сияя, как чудовищные огни. Одно даже сияло.

Покормили кого-то из них.

Знаток Горький, любовно поясняя, показывает нам пушистость живых тычинок, пухлые масляные стволы, кораллообразные ветви, и на дне – жемчужную тишину.

– Можно ли словами описать это, думаю я, можно ли найти название для каждого из этих явлений, для всех разновидностей? Передать. Нет, нельзя: потому что сквозь все это – вода…

– Нет, не вода, а жизнь! Это я поняла спустя полчаса, когда мы попали во второе отделение музея подводной жизни: здесь были те же чудеса, – но неподвижные. Текучесть в лице спирта или других растворов тоже проницала *каждый* гриб и стебель. Цвета чудовищных рыб были все так же сумасшедше красивы. Но ничто не колыхалось, не плыло, стеклянный стебель был холоден, и мутный глаз не смотрел на нас, пробуждаясь из толщи сна.

Сидим в ресторанчике тетки Терезы, у самой воды. Мой последний час. Рыбачьи лодки. Остро пахнет морем. Зеркальная, пылающая гладь гаснет вдали от неба.

– Нет, у меня нет привязанности к одному месту. Уж не тянет меня ни в Тифлис, ни в Царицын, ни в Нижний. На Украине жил – был украинцем. Приехал в 1906 г. на Капри, так понравилось, что остался.

Горькому подали осьминога. Нам – макароны. Пили Лакрима Кристи. Три музыканта гремели свою струнную красу. Горький говорил, что любит это место на Санта-Лючия, потому что тут собираются самые разные люди, тут по-настоящему демократично. И мальчишки – «понимаете ли, такие хорошие мальчишки. Настоящие».

Рассказ о том, как однажды в распоряжении городского совета в Неаполе осталось несколько тысяч франков – собрались, чтобы ре-

шить, на что употребить деньги: основать школу или сделать грандиозную иллюминацию. Большинством голосов прошла иллюминация.

Он говорит о том, как итальянцы любят оригинальное в человеке, окружают и смотрят.

– Хорошо, знаете, так смотрят.

О том, как ведут себя немцы, когда кто-нибудь не таков, как они. Плохо одет, например: они просто не видят: идет на человека, никого перед ним нет. Как один его знакомый в Париже стал резать спаржу, которую принято не резать (французы – молодцы!), несмотря на то, что они держатся этих «правил приличия», музыканты только на миг приостановили музыку, лакей отвернулся, взглянул в окно, и все сделали вид, что другим заняты.

Торговец поднес книги. Горький купил том Пушкина. Другой, с мелочами, предложил моему другу крошечную черепаховую мандолину.

– А она играет?

– Сейчас – нет, – сказал Горький, – когда подрастет. Что-то нынче Везувий сильно дымится. Вечером, наверное, будет окрашен огнем.

Легкая, высокая, с впалой грудью и прямыми плечами фигура в черном костюме (непривычно): дома ходит в английской рубашке за пояс, в русской его не видала, и в широкополой черной шляпе, эта сухонькая, угловатая и в угловатости грациозная фигура на фоне бледного, подавляющего здесь все Везувия, на фоне раскаленного неба, помпейских музейных зал, зеркальной набережной Санта-Лючия, – стоит предо мною теперь точно так, как когда-то стояла в детстве, в этой же широкополой шляпе, на фоне московского осеннего окна, в день расправы со студентами.

Этот день никогда не забуду и не могу его описать.

Столбцы. Игрушечно-чинный вокзал, маленькие пограничные станции. Это последний кусочек Запада. Последние его атрибуты в виде узора иностранных газет: польских, французских, немецких, блистающие стопочки швейцарского шоколада… дорожные зеркальца, стаканчики, карнэ, «чудо-карандаши», виды Уездовской аллеи…

Таможенный осмотр кончен. Чиновники с блестящими пуговицами, в каскетках совершили свой долг. В Варшаве у билетной кассы я получила удивленный отказ: билет до М о с к в ы ? Билет выдается только до Столбцев, от Столбцев берешь билет до Негорелого, в Негорелом уже в русской кассе получаешь билет до Москвы.

Глухой гул. Поезд. Носильщик берет вещи.

Был ветер, хлестал дождь, когда поезд с несколькими пассажирами замедлил ход у последней польской сторожки. В поле было темно. Здесь сошли все польские железнодорожные служащие, кроме машиниста и

кондуктора. Они доезжают до самых границ легендарного ада, они обжигаются об его ворота. Таков долг службы.

Эти последние минуты я еще во власти Запада. Еще мой паспорт – иностранен. Еще я – «пани» (Должно быть, совсем безумная, в эту страшную неведомую страну!) В молчании со мной кондуктора – что-то стеклянное. Стоя у окна, я стараюсь за его плечом различить, что за окном. Слева замигали огни. Негорелое.

Часть IV

ВОСПОМИНАНИЯ О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ

Друзья мои настойчиво просят меня написать воспоминания о Борисе Пастернаке, многолетнем друге моей сестры Марины и моем, что мне сейчас (в октябре 1983 года) предельно трудно потому, что я только что переболела пневмонией и начала писать в Коктебеле в предотъездную, в Москву, ночь…

Много лет прошло с последнего свидания с Борисом, 29 июня 1959 г. после – как он написал на подаренной им фотографии, – «После бесконечной разлуки». Мы виделись в Московской спешке часа три, в квартире Ольги Всеволодовны Ивинской. Нам было: ему – 69, мне 65 лет. Через десять месяцев он скончался, и 31 мая 1960 г. я увидела его в Переделкино – умершим.

Ну, что же, с Богом в путь.

Когда говорят «Борис Пастернак» – образ рождается во мне, и было бы ложью его избежать, ибо он во мне – прочен: тот же – как в восхищении встречи с Борисом (его 33, мои 29), когда мне *уже* хотелось его водворить на страницу… И в годы встреч, и в годы разлуки, и теперь, на моем 90-м году.

В комнату вбегает собака, – скажем, ирландский сеттер. Свободный, счастливый бег теплого радостного существа. Вмиг ко всем – всех – кого ткнуть носом, кого в нос лизнуть, доброй пастью затронуть, одного, другого – обнюхать, всех вместе – учуяв и полюбив в сумасшедшей собачьей спешке… *Так* входил в те дни (60 лет назад) в помещенье, где люди – Борис. Всех вмиг восприняв, каждому радуясь, одного обняв, другому кивнув, третьему сжав руку, смеясь, продвигался по комнате.

И как же было людям от Бориса оглушительно ново, качественно различно от того, что было в комнате до них – до собаки и *до* человека…

И, сразу, от предельно вольного «с размаху» собаки и человека вбегания – входа в комнату – в захлеб застенчивости как у собаки – отвод морды от взгляда, в Борисе – отвод глаз, в миг замучась собственной простотой – о непростоту всех.

Ночь, 2-ая страница. Из сумасшедшей занятости предотъезда: друзья, укладка багажа, телеграммы, из всего этого вперед – из Коктебеля автобус, впереди – поезд Феодосия – Москва. Прощанья, проводы, встречанье, – но мне надо договорить начало…

Я думаю, что жизнь Пастернака была мучением с утра до ночи, год за годом, с рождения по смерть. Непрестанные приливы его сил, их каскады. Его радостное, радующееся, восхищенное, восхищающее существо, и, одновременно, – сумеречность ежечасных мук несдающегося понимания, что ты вполне одинок. Каскадами, как сказано, его любовь к каждому, его счастье общения, гениальная близость к человеку, упоение касания к сердцу, к душе, к мысли – разбивание себя о даль самого близкого, о вековечное свое одиночество. И все поглощала стопудовая его задумчивость надо всем внутри и вокруг. И еще – быть поэтом! И еще сыном, братом, мужем, отцом, другом стольких! И вкладывать в слова, в тетрадь все это, – о, ему было труднее, чем мне сейчас писать о нем, молодом и семидесятилетнем, – потому что мне 90-ый год и мне многое легче именно потому.

Я бы, может быть, верно сейчас написала, моя спутница, Оля (Огибенина – *Ст. А.*), тихо спит, дневная усталость прошла, но был трудный день, глаза так устали – и я *должна* перестать…

8 утра, тихо. Увы, зазвенел будильник!.. Но спутницу не разбудил. Продолжу. Хоть немного еще. Точнее – прерву то, начну другое.

Марина, уезжая к мужу в Чехию говорила мне: – Ася, о Павлике я тебе рассказала, Есенин, конечно, талантлив, но он – на одной струне!.. Есть только один человек в России, один поэт, о котором еще не сказала тебе. Я заметила его! – Я слышала его выступления. Он и его стихи – замечательны, и он их прекрасно читает. Лицом похож на Пушкина, ростом – выше. Вот его ты непременно посмотри и послушай! Это – Борис Пастернак. Сказала это она в начале лета 1922 года. Впервые я Бориса увидела в 1923 году. Он вышел ко мне с томиком Марининых стихов «Ремесло» – серенькой, скромной книжкой, долгие годы бывшей моей любимой.

Марина из Чехии Борису Пастернаку в Берлин передала для меня этот сборник. Борис был, помнится, в сером пальто, снял серое кепи, и из этого тускло-серебрянного одеяния, из – под темно каштанового оперения волнистых волос на меня глядели светло каштановые глаза – собачьим выражением преданности. Оласкивая, вглатывая, приглядываясь, познавая и проверяя. (Понимаю, сказала я себе – проверяет сходство с Мариной.) Но он уже смеялся во всю пасть, радостно, громко, моя рука у его губ, меж нас «Ремесло» Маринино…

Смех Бориса! Кто опишет его?! Это внезапное вскипание подводных радостных глубей вдруг озаряющих все его существо таким потоком солнца, что потрясенный, сам он теряет власть над собой, рушась в захлеб счастья, без сил с ним бороться и вовлекая в него всех, кто рядом, без различия возраста.

Но ведь это была и музыка, – как иначе назвать этот провал в совсем иную стихию, где утеряна грань между зовом восторга и речью – и шумами леса, всхлипом колодца, взлетом детских качелей и ударами весла по воде, птичьим криком – чем еще, чем?

Он сидел согнувшись, под тяжестью происшедшего, и глаза, такие сейчас сверкавшие, были влажны от слез, заливших и заливающих – и уж это был зов о помощи, признанье себя по *ту* сторону – и как вернуться назад?

Год до того Пастернак женился на Евгении Лурье, молодой художнице и у них родился сын, тоже Евгений – имя, может быть, не только «в мать» выбранное, но любимое Борисом – данное им героине его «Детства Люверс», лучшей прозе его…

Виделись мы с Борисом по-разному: то часто, то редко, – дни и его и мои были занятые, но радость наша, как и его с Мариной, с первой встречи была так глубока, так органична, что и ко мне он, и я к нему входили, как домой; точно мы некогда родились в одном доме – дети одной семьи, все было понятно без утверждения словом. Взгляд – радостно понял! Неуловимое движенье лица (что-то выслушав), веселый кивок навстречу сказанному, внезапное пожатие руки, его рука на моей, сгребшая мою, сверху, как бы в охапку, в знак братского понимания, которому немы – слова. Тот тихий восторг родственности, из которого, может быть, и рождалась речь, неудержная, исповеднически вскрывающая какой-то кусочек недр, и все глубже по лестнице вниз, в тайники несказанности, быть может, с детства молчавшей и вдруг вырвавшейся водопадом признаний. По лесенке вверх, как по нашей Трехпрудной лесенке, из темнот «черного хода» сознанья – в широту и свет верхних

распахнутых комнат, где дышится уже вольно, празднично, предчувствием Рождественских елочных украшений жизни, общности всего и навек, где царствует (царит) опять переход к молчанию…

Жил Борис прямо рядом с папиным Музеем (Изящных, Изобразительных, Искусств), на Волхонке 14, во втором этаже, думается, двухэтажного дома. Высокие потолки, высокие окна. Никакого воспоминания «обстановки». Но жил в этих комнатах большой письменный стол (его – помню), далеко отступив от окна – рояль (его – помню тоже) и, наверное, был и другой стол, где мы пили чай. Но за ним я не помню моего сына Андрюши, которого я в его детстве всегда водила с собой, и в Крыму, и в Москве, при Марине и после Марины, никогда не оставляла его на кого-то чужого до его двух лет, когда по моей неустроенности в еще нелегкие годы страны мне пришлось отдать его в школу-приют для одаренных детей, где их учили не столько обычным предметам, но где старались детские способности определить, укрепить и направить к будущим ремеслам, художественным. А главное – где кормили, и где дети жили – в природе, в огромном саду. Туда раз в неделю я возила сыну усиленное питание. Это началось в 1923 году и длилось до 26-го. Вот почему я не помню у Пастернака моего сына, я помню их сына, мальчика сидящего у меня на руках, на моего Андрея не похожего, Женю, лет двух, трех. Помню его, рассматривающего меня, и потом изрекшего: «У тебя глаза как у *коски*!», – так именуя их цвет, – цвет был вроде соленого огурца.

Увы, рояль, об игре на котором Бориса так много говорили, я не слыхала звучащим. От просьб играть он уклонялся, отнекивался.

Я еду в поезде, пока пишу это. Мы едем из Феодосии. Проехали Курск. До Москвы больше, чем восемь часов. Осень. Рано темнеет. Надо успеть хоть как-нибудь закончить, когда зажгут свет (неужели я все по-старому думаю – «зажгут» памятуя, что свет – свечи и керосиновые лампы зажигали), когда он зажжется, будет уже близится Москва, начнут собирать разложенные вещи… Надо, пока можно, собрать *себя*.

Мне предстоит тема нелегкая: первая жена Бориса, Женя Лурье. Знала ли я тогда, что она была художница, ученица, говорили, Фалька? В их доме я не видела ее картин, ни кистей, ни мольберта. О живописи бесед не помню.

Сама Женя напоминала натуру Россетти, может быть и Ботичелли – довольно узкое личико, грациозной линией очерченное, переходившее в густоту, в темную *гущу* кверху аккуратно зачесанных от ушей к вискам волос, волнистую и в полном порядке живую, венчавшую ли-

чико ее чуть надменной короной, но не хочется так сказать, потому что это слово банальное, а в Жене не было ни тени банальности, она вся была грациозно изысканна, не похожа ни на одну голову женскую из окружающих. Но и упорядоченно-строг, прихотлив был абрис этой головки и в густоте, поднятой над ушами и лбом таилось своеволие, превосходство и – реющая тоска.

В этой тоске, должно быть, и было все дело. Таинственность этой души, она не давала к себе путей, – наоборот, от понимания отвращалась вполне суверенным жестом. Обратно мужу своему, открытому, нет – распахнутому, она вся была движение закрыться от общения (а Борис неустанно, неутомимо, несокрушимо общался со всеми кругом). Если бы работал тогда маляр, то общался бы с ним, на час по работе зашедшим… Если бы зашел разносчик яблок и слив, как в старину… Борис мгновенно находил понимание, радостно входил в человека, легко преодолевая тяжесть разницы уровня – чтобы тот этой разницы не заметил. У Жени вместо общенья было природное оттолкновение от общения, при всей приветливости, воспитанности, с которой она встречала ненужных ей всех этих случайных людей. И всего непонятнее было то, что она полюбила Бориса, столь ей чуждого каждой своей повадкой, – раскатистым смехом, радостью навстречу входившему – она, от всех отвращавшаяся! Этот брак был совершеннейшей тайной. Но помню, как годы назад он однажды метался, тоскуя по ней, с крошечным сыном куда-то на долгие дни отозванной… Что тут можно понять!?.

Я не сказала всего о чертах Жени. Они были тонки, как бы резцом вырезаны, острым карандашом вычерчены. Несомненно женственно красива, но в этой изысканной красоте цвела печаль, замалчивало о себе одиночество и была отравленность, тонкий яд казавшейся ей непонятости, отчужденности, обиды на что-то…

Углубляя все это много поздней, я размышляла и появилось во мне предположение, что Женя была несчастна с Борисом, может быть, еще потому, что не она, как когда-то дома, у отца своего, была центром внимания приходящих… В доме другой был центр – Борис. И этот центр тушил ее, как солнце тушит свечу – ведь свече не может не быть обидно полыхать в состоянии невидимости, потушенной, побежденной безудержностью прав Солнца, просто вовсю светящего. И должно быть, не раз, заливая собой комнату, фигурально, Борис сознавал свое перед женой «преступление», к которому день за днем, год за годом восходили одна за другой вина сегодня и вина вчера – и, по жестокой логике жизни, не могло это все продолжаться. Мне кажется, не будь в жизни его встречи с Зиной Нейгауз, брак с Женей распался бы сам собою, по исконной виноватости Бориса перед Женей, – рано ли, поздно, стало бы нечем дышать…

Я хотела сказать о том, *как было* в первой семье Бориса. Что создавало его невольную виноватость: его сейсмографическое чутье к происходящему в душе Жени. Он, верно, лучше это сознавал, чем она. Виноватость же его происходила от бессилья тут чем-то помочь, от, может быть, *предчувствия* катастрофы… (Да простит он мне, если я за него чувствую, думаю. Это вина моя невольная, от желания глубже понять…) В доме Бориса и Жени, вернее Жени и Бориса, в самом воздухе дома реяла, укореняясь, *тоска*. Веселье, если оно и врывалось в их сумраком подернутые комнаты, должно быть, тут же и гасло, – я не помню у них веселости, а ее можно было ждать, ибо я бывала у них в начале их брака, в раннем детстве их сына Жени. Может быть он – и дай Бог, чтобы так! – помнил часы веселья и радости, единения, мной не увиденные. Я говорю только о том, что помню. Мне как-то было за Бориса перед Женей неловко, когда он шумно встречал кого-нибудь зашедшего. Даже не друга, может быть, а просто знакомого. Так легко удавалось ему своей тайной радостью бытия помочь пришедшему, его радостно удивить и самому заново удивиться… Как ни коротко было это свидание с зашедшим, оно и меня, отраженно, хоть и неуловимо мучило – какой-то виной пред Женей, словно каждый такой час умножал ее, горделивое, и может быть неизлечимое, одиночество.

Я не удивилась бы, узнав, что приостановилась ее живопись. Похвала ее окружавших, гревшая и растившая ее дар и, уж наверное, ее отношение к этому дару, скорее всего угасла, дару ее нечем стало расти после замужества. Был ли этот дар велик? Видимо, нет – большой дар через *все* бы прорвался.

Женя много, как каждая мать, отдала рождению и возрастанию сына, – и семейным заботам о пище, в те нелегкие годы. Видимо, не осталось сил уверенно продолжать живопись, настаивать на ней, отстаивать ее в том воздухе слова, романа, рифмы, строки, полыхавших вокруг, в Борисе, в его тетрадях и в отраженном восторге зашедших, услышавших или прочетших… Как-то не было места Жене во всем этом, с ее горделиво уроненной кистью, в осознаньи уже – его превосходства, превосходства его искусства слова над ее живописью. Ошибусь ли я, предположив, что понемногу сужался круг приходивших, – как и я, чего-то стеснявшихся в этой семье?..

Но помню одно в жизни Бориса, где Женя была очень человечна к нему (как была бы каждая преданная жена), я помню – когда у него случилась беда с зубами: под нижней челюстью пошло воспаление, и нагноение, так легко удаляемое гомеопатами. Зубные врачи вместо того, чтобы хоть сделать рентген, узнать какие зубы удалять, стали рвать все

зубы подряд. Женя рассказывала: «Я в приемной услышала его стоны и крик, и когда он стал нестерпим – я ворвалась в кабинет и увидела окровавленную голову Бори. Он метался, как зверь и кричал…».

Позднее оказалось, что было всего, помнится мне, два зуба под которыми был гной, а в панике своей ошибки, врач рвал весь нижний фасад, ухватив даже кусок челюсти…

Через много времени после этого я встретила на Никитском или Арбатском бульваре Женю, водившую Бориса под руку. Говорить не мог, мычал и вид у него был измученный. Потом он стал носить протез, изменивший всю нижнюю часть лица. Но хватит об этом.

Моя дружба с Борисом продолжалась, а он – годы прошли, был в смятении из-за начавшейся любви к Зинаиде Нейгауз. Мне рассказывала Мария Ивановна Гринева, жившая в том же доме, что семья Нейгауз, – Нейгаузы дружили с Пастернаками. И видела Мария Ивановна как стоит во дворе Борис, подолгу, на груди скрестив руки, глядя вверх на окна, где могла мелькнуть Зинаида Николаевна.

Для него оставив мужа с двумя сыновьями, примерно возраста его сына Жени, Зинаида соединилась с Борисом. Следуя за ним долгом дружбы, я стала бывать в его новой семье. Но странно, я не помню там ее мальчиков, они должно быть, позднее перешли к ней от своего отца? Я помню вдвоем Бориса и Зину в начале, в разгаре их счастья. Оно было как круглое – райское? яблоко. И что бы ни случилось потом – я не могу не сказать – *да, это было счастье.*

Если я могла подробно описать первую жену Бориса, это потому, что я в той семье долго бывала много лет. У Бориса и Зины я бывала реже, и только до 1937 года. А еще потому, что о несчастье писать, размышлять, доискиваться много легче, чем о так называемом *счастьи*: в несчастьи столько причин, их и не исчерпаешь! В счастьи – нет причин вообще, оно приходит неизвестно откуда, оно рвет человеческие прочные узы, как бумажные цепи, оно льется в два сердца, как глоток из колдовского котла и о нем рассуждать – бесполезно. Бесплодны попытки понять! Но даже вчуже, извне его ощущая, пьянеешь от редкости зрелища, будто ты сам «пригубил нектара» – так было со мной, когда в первый раз я переступила новый Борисов порог, – на пороге стояла Зина.

До сих пор я вижу – обоих давно нет – неясным пятном личико Жени и пытаюсь его описать, в темном, увы, – демонической горделивости – ореоле. Но нет, внешне Зину я описать не могу, потому что совсем не помню никаких черт. Помню общее впечатление. Сама красота. Зной красоты! Само счастье. Полная отданность его теме, – если оно

может быть темой (хотя бы таких записей)… Когда оно неприступно по своей форме, совершенству своей круглости – счастье было кругло, как шар… Тогда оно было кругло как шар. Шар стоял? Или шар катился? Должно быть катился, потому что, сверху взглянув, с птичьего полета, – шар от бега потом и раскололся? Борис тогда был счастлив. Зина была счастлива. По Анне Карениной – это было грешное чувство. Понимали ли они, двое, это? Их нет, и никто не ответит. Это все, что можно сказать…

И я была счастлива за Бориса. В его жизнь вошло то, то могло только стихами излиться. Мы знаем эти стихи. В них такое отдохновение, такой восторг обладания, такое упоение другим существом, такое в нем растворение в этой зрелой женственности, все собою гасившей в этом *зное* возраста, властной победности каждого мига зининого дыхания, – а что делать с дыханием? Только вдохнуть его, удвоив свое, теряя и потеряв рассужденье. Что думать о добре и зле, когда ты счастлив, когда получаемое превосходит далеко ожидаемое, когда ты внутри шара, и нет из него окон на мир, на – «вещь в себе», – которой вокруг все подвластно… – вот что встретило меня на пороге в стоящей на нем Зине, улыбнувшейся мне как Кассандра, протянувшей мне руку – и я переступила этот новый Борисов порог…

В 1937 году я не своей волей уехала из Москвы. Годы спустя я услышала, что в жизнь Бориса вошла его Лариса, – позднее прочтя его роман, его мирную часть, военную еще не успев, я узнала Ларису, завладевшую его душой… Мне кажется из его мирной части только она – живая, только страницы, ей там посвященные, пламенеют. Остальное – да будет мне прощена критика главного героя, – вне характеров, – будто списано с себя?! Но сколько ни поставь вопросительных и восклицательных знаков, – не выразить негодующего удивления…

Не было человека, уверена, могущего не полюбить Бориса – но трудно представить того, кому полюбился бы герой его «Доктора Живаго»… Ошибочно его полюбил автор, на то его право… Бедный Борис, если *он* верил, что дал в том герое – себя… Подошел бы Борис на миг к зеркалу! Увидать бы в отражении эту его веселую мину, разящую скромность, эту застенчивость, полыхавшую в нем, как пламя свечи на ветру. Очарование неповторимости! Роман еще не вышел, он послал мне машинопись, и я ему написала: – Борис, у вас по страницам ходят бледные тени и говорят вашими словами!.. – Он был огорчен.

В 1958 году я, живя в Павлодаре у сына, получила от Бориса пись-

мо. В нем, в конце, он писал мне, не называя, – о женщине, «которой я бесконечно многим обязан в течении пятнадцати лет». Далее он писал, что ее хорошо знает моя племянница Аля Эфрон. Отсюда я заключаю, что его знакомство с новой любовью началось приблизительно в году 1943-м, шесть лет спустя отъезда моего из Москвы. (Я увидела ее, его избранницу, год спустя письма. Подробный рассказ об этом разбил бы последовательность, которую я не без труда и с не очень большим успехом все же стараюсь не нарушить).

Я не упомянула о переписке с Борисом в мою бытность на Дальнем Востоке. Я там была много дольше, но первые долгие годы я ему не могла писать и не ждала его писем. Они начались после капитуляции Германии и после Хиросимы – и тогда я отозвалась. Я написала ему, что чувствую, что никогда уже писать (как писатель) не буду. Вот на это отозвавшись без промедления, он ответил мне письмом *утешенья* – о том, что такое, по его опыту, процесс творчества – (увы письмо мною утрачено) – но не так прочно, как многое, утраченное еще в Москве. Об этом письме у меня еще *есть* надежда его получить, чтобы обнародовать. Оно случайно, как множество моих писем, задержалось у моей племянницы, у Али Эфрон и, в момент ее скоропостижной смерти от инфаркта в больнице в Тарусе, с другими ее бумагами и письмами попало по уже ею сделанному завещанию в ею закрытый фонд в ЦГАЛИ. В твердой уверенности, что материал ее разобрав, убедятся, что письма мне адресованные, это *мой* архив, к ней попавший, я не просила о возвращении мне этого множества писем в собственность… Я ни за какую собственность не держусь, мне достаточно иметь содержание писем, копию. Маринин архив – в ЦГАЛИ, и там часть моего архива, я все равно и остатки архива, возможно, завещаю туда, и я прошу ЦГАЛИ, когда это письмо найдется, дать возможность опубликовать его – пусть люди прочтут, оно многим понадобится – как помогло тогда мне.

Пастернак мне писал, что чувство, меня годы обнявшее, он испытывает каждый раз, когда что-то закончив, перестает писать. Сомнение в своих возможностях, ощущение, что талант смолк – органично писателю, но что (пишу его мысль своими словами, утратив *его* слова за тридцать восемь лет, но точно зная их смысл) лист бумаги, перо в руке, тишина в комнате, и в своем наедине с собой творчество *продолжается*, что я буду писать, у него нет в том сомнения… И он оказался прав – я начала писать в первую же весну 1957 года, поселясь у сына в городе Павлодаре, сев у окошка в палисадник хозяйки, где расцвели… – нет, ягодами, кистями ягод *стояли* круглые кусты бузины. Мой сын и жена его ушли на работу, внучки – в школу, в детский сад – и я начала первый том «Воспоминаний», с первых воспоминаний детства, все

сначала, точно в первый раз взяв перо, проникая с каждой строкой в так называемое искусство пера, которое есть простое доверие данному тебе дару, прислушивание к тому, как рождаются и сплетаются с себе подобными – слова – в неизбежность – *этого узора* данной темы, от которой невозможно уйти в бок, путь един – даже если он идет нежданным поворотом, заворотом тем. Перо следует внутреннему приказу, а приказ идет из тех сфер, где способностям человека сопутствует чье-то доброжелательство, если только нет в человеке самоувлечения, (если самоувлеченность есть, тогда человек пропадает все глубже с каждой строкой).

Я писала и отсылала начатое – в копиях – Пастернаку и вот его ответ мне: (Неполную копию письма мне Бориса я взяла у его сына Жени).

22 сентября 1958 года

Ася, душечка, браво, браво! Только что получил и только что прочел продолжение, читал и плакал. Каким языком сердца все это написано, как э*то* дышит почти восстановленным жаром тех дней! Как бы высоко я вас ни ставил, как бы ни любил, я совсем не ждал дальше такой сжатости и силы. Беру назад свои предостережения, относившиеся к первой странице. Я боялся, как это часто встречается даже у хороших авторов, что вы не *все* будете писать с действительной, вызванной в памяти натуры. Часто писатель приводит что-нибудь одно, наблюденное и запомнившееся и потому живое, а дальше нанизывает словесные дополнения сходного и вероятного к этому единственно истинному и нужному или же без конца разлагает уже упомянутое и сказанное на его составные части. Вы не подвержены этой слабости, вам не надо делать этих замечаний, простите, простите. Ваш слог обладает властью претворения! – я забываю, что этих матерей и комнат и девочек уже нет, они заново повторяют свой обреченный выход, заново живут и заново уходят и нет слез достаточных, чтобы оплакать их исчезновение и конец. Какие драгоценные пропавшие клады (Как вы пишете о писании портрета предшественницы, эта способность в Вас, дочери, стать в положение матери, – это потрясающе, Ася!) И сколько общего обстановка, матери-музыкантши, Поленов, Рубинштейн и когда вспомнишь, что было потом и чем кончилось, какое похоронное рыдание, какой черный траур, надетый на всю жизнь. И как не понятно, что изо всего этого уцелел живым только я и за что мне непомерная теплота последнего года, вся эта, им и общему прошлому задолженная растроганность. Нет, мне трудно все это выразить достаточно складно, чтобы вы поняли, вы многого не знаете, Ася. Пишите так дальше, это поразительные

воспоминания. Позор, что я до сих пор не нашел возможности перевести вам немного денег, но я еще заглажу этот стыд.

Приписано: А елки? я опять испытал это ослепление и втянул этот запах!

(…)

И вот еще письмо Бориса ко мне, несколько более раннее:

6 октября 1957 года

Дорогая Ася, меня очень огорчают ваши последние письма! Как это все страшно и необъяснимо, как в порядке вещей! Я чувствую, мой долг помочь вам, как иногда, очень редко это бывало раньше, и как только минуют копящиеся и ожидающие меня грозы, и положение мое опять определится и станет относительно устойчивым, я это сделаю.

Меня слишком полюбили где-то в далеком мире, и роман проник туда и стал известен, в особенности вторая, неизвестная вам книга, и это на мне отзывается, сурово, и не приятно и никогда не предвидимо. Кроме того наметившийся в течение истекшего года поворот становится все круче, набор готовившийся более года книги моей рассыпан, эта же судьба постигла или имеет постигнуть Цветаеву и Ахматову.

Но я здоров и полон сил, на что я не имел права надеяться в течение моих четырех месяцев в больнице в «Узком», где вы, кажется, когда-то были. У меня были мучительные, лишавшие меня сознания и вызывавшие внутренние спазмы боли в правой ноге, бедре и колене, загадочные, складывающиеся из нескольких явлений радикулита, воспаления седалищного нерва и, главным образом, мениска, – блуждающего осколка надорванной связки или хряща в правой коленной чашечке.

Нога постоянно непрерывно болит у меня еще до сих пор и никогда, по-видимому не пройдет совершенно, колено надо оперировать и извлечь из него осколок, но это далеко не то, что было раньше, с этим можно существовать, жить, двигаясь, работать.

Я очень занят и оттого так долго не отвечал вам и наверное буду грешить этим в дальнейшем. Я так же не отвечал давно Але, писавшей мне. Она в Тарусе, строится, – вы об этом наверное знаете. Крепко обнимаю Вас, спасибо Вам за Вашу память и заботу.

Ваш Б.П.

В мои сибирские годы Борис писал мне, а когда был очень уж занят, писала за него Зина, жена его, неизменно добрая ко мне.

Было трудное послевоенное время и Борис помогал, слал деньги и ни он, ни я не знали, когда мы увидимся и увидимся ли. В эти годы я

получила от него письмо, после продолжительного молчания, – о том, что у него был инфаркт, он был при смерти, и как это было прекрасно, в промежутке меж болей и даже через боль, сознавать, что ты жил, долго жил и вот теперь умираешь и как он благодарил Творца за жизнь, какой это восторг – *итог* жизни с верой в осмысленность жизни. Он это писал, поправляясь, и в необычайности этих признаний – еще не угасшее чувство радости, пастернаковской радости познавать всем собой, весомо, ответственно, тяжкое – как родное чувство благодарности за тяжесть, поднятую, которая освещает все…

Был июнь 1959 года. Я приехала для реабилитации из Павлодара в Москву, остановилась у друзей моих С.И. и Ю.М. Каган, увиделась с Павликом Антокольским и собирались увидаться с Пастернаком. Ему, да и мне было удобнее не в Переделкино назначить встречу, а в Москве и была она решена 29 июня у Ольги Всеволодовны Ивинской. Толки о ней были, как всегда о подругах поэтов – различные и я понимала, что разобраться в своих впечатлениях в такой ситуации мне будет трудно. Аля, моя племянница, человек уклончивый, не дала мне ясной картины об этом человеке и еще меньше – о природе их отношений с Борисом: со встречи его с Ольгой Всеволодовной прошло уже пятнадцать лет, срок более чем долгий для «медового месяца». И за их спиной было две семьи Бориса. С Зиной он жил в Переделкине, о первой жене его, Жене, я уже ничего не знала. Его сыновьям – по одному в каждой семье могло быть – старшему лет 35, младшему – 20 с чем-то: Евгений и Леонид. Но тот факт, что Борис назначил мне встречу не у первой и не у второй жены, которых я хорошо знала, – что-то говорил о себе.

Ехать со мной я пригласила дочь С.И.Каган, латинистку Юдифь Матвеевну, с которой я теперь увидалась после двадцатитрехлетнего перерыва. Тогда она была двенадцатилетней девочкой, теперь ей было тридцать четыре. Она не походила на мать, но очень напоминала отца своего, философа Матвея Исааковича Кагана, окончившего университет в Марбурге у Германа Когена, предложившего ему остаться там при его кафедре. Там же несколькими годами позднее учился Борис Пастернак и получил то же предложение. Коген, видимо, правильно установил оценку этих своих редчайших учеников. Каган не смог принять предложение Когена – его родители были в России…

Юдя поехала со мной охотно – ее интересовал Борис Пастернак, она читала его и много о нем слышала.

Так мы с Борисом встретились на ходу в чем-то вроде коридора или передней, обнялись и я услышала знакомый густой звук его слов – его первого впечатления – «Цветаевский голос!» – сказал он приветственно – радостно устанавливая какое-то Semper Idem с прошедшим.

Юдя позднее утверждала, что им было сказано – «маринин голос», но я твердо помню в его рту буквы моей фамилии, и так как я пишу *мои* воспоминания, то ее утверждение отбрасываю. Но сделать это так же трудно, как Марине и мне в тринадцать и одиннадцать лет: встретясь в 1906 году в Тарусе с нашей старшей сестрой Лерой, годом позднее спорили – я помню Леру в *синей* кофточке, Марина утверждала, что она была в *розовой*. Удивлению обоюдному не было конца.

Мне напомнила Юдя Каган, что когда мы пришли – она и я, и со мной моя внучка Рита, Борис в соседней комнате говорил с кем-то по телефону, не прерывая, потому что не знал, что мы уже тут – а, может быть, шел деловой разговор, и мы до нашей встречи слышали и слушали – его голос, сразу погрузившись в него…

В первой комнате наш приход прервал беседу вместе сидевших, Ольги Всеволодовны и Али Эфрон, крестной матери Риты. Мы заговорили о Ритиной болезни – в Павлодаре, где жили ее родители, Рита заразилась опасным рыбным червем, спиерихисом, который лечили ядовитыми порошками и ребенка не брались лечить. Мне предстояло в Москве показать Риту в гельминтологический институт, так как тяжелые приступы болей очень истощали ее. Все это я сообщила Але, кратко, т. к. она знала об этой тяжелой болезни по письмам. Тема моей беседы с Алей перемежалась с телефонным разговором Бориса – и кончилось это разом, когда Борис положил трубку, осознал наш приход и двинулся мне навстречу.

Две вещи меня поразили в Борисе – его молодость и белизна его волос. Мы входили в небольшую комнату, в которой я ничего не помню кроме ее величины и накрытого парадно стола. Ольга Всеволодовна готовила интимный банкет для ознаменования нашей встречи. Вот ее я помню отлично: это была немолодая и еще красивая женщина, светловолосая, с крупными и правильными чертами, внимательным и смелым взглядом больших, привыкших к своей красоте, глаз. Цвет их, увы, не помню. Думается, голубой. Она, приглашала и усаживала нас за – должно быть заждавшийся гостей стол, за которым мы рассаживались, знакомясь друг с другом, Борис – с Юдей Каган, мы с дочкой Ольги Всеволодовны – Ирой. Она с первого взгляда вошла мне в сердце – пленила, понравилась, чем-то обеспокоила; на мать не походила нисколько, в ее худощавом, очень бледном лице старалась себя угасить какая-то тень тревоги, быть может тоски, а глаза ее светлые, над ними – треугольниками возвышались брови, – что-то было трагическое в этом уклонявшемся взгляде. Свою как бы приемную дочь, при нем с

детства росшую, Борис отличал и чтил, очень ценил и она, говорили, не чаяла в нем души.

После первых слов, восклицаний, приветствий, взглядов друг на друга я (я это тоже забыла, но для полноты пережитого первого часа вместе включу), – я, мне напомнили, прервала волнение встречи – застенчивостью, спрятанной под маску деловитости? – «Борис, прежде всего дело: я обещала одному человеку – его зовут Дима – что Вы ему подпишете Вашу фотографию – вот она! Он и мне такую же Вашу дал, я попросила… И пошло надписывание фотографий. Мне Борис надписал две – молодого себя и – уже старым, белоголовым – «Дорогой Асе Цветаевой – после бесконечной разлуки», а другую – он захотел подписать, но его остановила Ольга Всеволодовна – «Нет, эту не дам, она – одна». Чуть смутясь, он выбрал другую и на ней написал: «В память одного весьма фотографического дня». Ольга Всеволодовна звала к столу.

Обе фотографии, переснятые с текстом надписи мне, ходят по Москве и, может быть, по другим городам. В пылу этих подписаний Борис спросил Юдю, знакомя его с которой, я упомянула ее отца, кончившего тот же университет в Марбурге – Борис сказал, что помнит, слыхал о Матвее Кагане и спросил, – какую фотографию ей подписать? Она ответила, что не думала, что он ей, незнакомой, будет дарить – и Борис шутливо подписался ей так: «Не баран начихал, Олоферну голову снесла, что еще будет?».

Но вот начался наш маленький пир. Блюда на скатерти, умело поданные… И я заметила – запрещающее, неуловимо протестующее движение Бориса, когда может быть явно для всех Ольга Всеволодовна заботливо накладывала ему еще и еще на тарелку, по-домашнему, чем смущала его.

За столом Борис рассказывал о своих последних годах, когда болел непонятной врачам болезнью и в манере его рассказа – à vol d'oiseau (с птичьего полета) это передавая, полушутливо, был широкий размах иронии говорить так о серьезном, а я слушала и глядела на его седую – белую! – голову – вместо той, двадцать два года назад, каштановой, и старалась постичь, что сейчас в нем под этой шуткой, к которой он всех нас присоединяя, умело и весело единит нас, незнакомых – точно иначе и нельзя говорить о жизни, и все мы с этим, конечно, согласны. И, мучась уже над ним, вновь и вновь понимала, как не легок этот путь, его соотношения с людьми – все эти тропинки общенья, долженствующие облегчить встречу – когда он внутри–то прост, как каждое большое явление – значит он для нее старается, – и для меня?

– Ну, во-от, – тянул он, – опять начиналась боль в ноге, и никто не знает, что с ней делать, меньше всего – врач, потом опять была больни-

ца, суета, уколы – потом боль уходила, я опять сидел за столом и работал, потом опять эта боль появлялась, и опять недоумение врача… Но когда удавалось не попасть в больницу, проходило само… И так оно шло, и удавалось работать… Тут кто-то из нас прерывал его вопросом о том, над чем он работал, кто-то другой, наоборот, спрашивал, какие это были уколы – а Ольга Всеволодовна накладывала нам что-то вкусное на тарелки, и в бокалах, как на торжественном натюрморте, пунцовым блеском молчало вино, ожидая, когда его пригубит владелец бокала – когда же кончится балагурье, когда *заговорят* люди. Мне было грустно, что все мы как-то мешаем друг другу, мешаем спросить и ответить, что мы стукаемся друг о друга, как стекло и подставки бокалов, что Борису, верно, хочется назад в Переделкино, к домашним, где теплее и проще, – и к письменному столу. Я улыбалась Юде, которая все понимала, и я не знала, понимает ли Ира, так понравившаяся мне… Я думала о том, как же была хороша Ольга Всеволодовна десять и пятнадцать лет назад, если она и сейчас так хороша…

Во все глаза смотрела я на Бориса и его подругу, помня его первую и вторую жену, *его* – с *ними*. Совсем другая картина была тут: не томление первого брака, не восторг второго – внезапно переменившейся судьбы, не прелесть девичества первой и не зной красоты – второй. Тут мы, приехавшие в этот его третий, такой долгий брак, заглянули в этот вечер моей встречи с ним – в нечто совсем иное: в давнее тесное общение жизней этих двух людей, знающих друг друга досконально. Тут была многолетняя сросшесть (о которой он и писал мне за год до того), ч е л о в е ч е с к а я близость их. В первой он был пленен ее прелестью. Во второй – ее красотой. Тут он нашел то, с чем не расстался до последних месяцев жизни, и чему нет названья.

Мне подсказывает Юдя Каган, что весь наш визит к Борису и Ольге Всеволодовне длился не два с половиной часа, как запомнилось мне, а дольше, и она, вероятно, права, так как я упустила из памяти, что нам после ужина показывали домашний маленький кинофильм (вспомнила я из него кадр – Бориса в саду Переделкина) – а еще помню, как Рите в сердце вошло – на столе или на полке лежавшее почти огромное птичье перо, серое – оно до сих пор где-то у меня цело, (пока его не увидела Ритина дочка, семилетняя правнучка моя Оля Мещерская) – потому что Борис тотчас же подарил Рите перо.

Но я помню еще, что со мной была очень ласкова и сердечна и подруга Бориса, Ольга Всеволодовна и я, на нее глядя, старалась проникнуть в годы их прошлого, почувствовать его… – вспоминая его слова

о ней из письма о прошлых годах с нею, той, – «которой я бесконечно многим обязан»… Да, ее красивый облик был много материальней, воплощенней его седой, много пережившей в ту пору, одинокой среди его коллег, *головы,* мужественной и – когда переставал шутить – с какой-то аскезой в чертах. – Но где найти разгадку страсти, любви, всей неназванной тайны встречи *этого* мужчины с э*той* женщиной? С тою первой, с тою второй, с этой, третьей? Конечно, от всех их он рвался к письменному столу, но кто возьмет на себя, у кого право, и нужно ли это – определять, решать, называть где цветет свободная воля и где начинается долг? Не вопросительный ли знак – ответом на все это? Я думала тогда что, конечно, кульминация встречи этой была уже далеко позади. Но я ошибалась: прочтя его последние письма к ней, увидела – в них бился неизгладимый сердечный жар…

Та радость, с которой она торопилась его накормить, женски-материнская забота, сквозившая в ее каждом движении – это была печать ничем не омраченных лет их близости в самые нелегкие его годы. Позже мне говорили о неких чертах ее, не могших быть близкими – ему. Я не спорю. Но я не берусь судить о том, что прощает любовь – в близком нам человеке. Не знать после стольких лет близкую ему женщину Борис не мог. И ни мне, и никому из чужих этому браку нет права указывать ему, что он должен был и что не должен был принимать в этой многолетней связи.

Я пишу воспоминания о Борисе. И о моем чувстве видеть его в третий раз в новом для меня окружении. Мне думается, что каждый из нас должен бы, оценивая подобное, прежде всего внимательней отнестись к себе самому – так ли все в нем, как должно… Меньше нужно заниматься разбором жизни других, их осуждая.

Я не помню момента прощания с Борисом. Ни он, ни я не ощутили, что это прощание *настоящее*. Он сходил, помнится, с лестницы, и я глядела вслед.

Когда десять с половиной месяцев спустя я услыхала, что Борис болен, я с кем-то, к нему ехавшим, послала ему пузырек святой воды, чудотворной, привезенной из источника блаженной Ефросиньи из Тульской области из-за Алексина, из села Колюпанова. Источник старица 100-летними руками выкопала, а была в прошлом фрейлиной Екатерины Великой, княжной Вяземской… 190 лет спустя в 1970-х годах из источника брали колхозники ведрами, бидонами целебную воду для своих больных. Мой пузырек был не полон. И я дополнила его водой из источника Загорского (бывшего Троице-Сергиевского). Я писала Борису записку, прося его эту воду выпить. Аля Эфрон тогда или жив-

шая или ездившая в Переделкино – ошибусь ли, что ездила она к Ольге Всеволодовне? – написала мне, что Зина, получив эту воду, не знала – давать ли ее больному? Но домоправительница Пастернаков, Тоня убедила ее, что надо дать – и Зина дала эту воду Борису. «Асенька, – писала мне Аля, – Борис как бы причастился этой воды»…

Продолжая эту тему, я забегу вперед. Когда мы – Софья Исааковна и дочь ее Юдифь Матвеевна Каган и я поехали 31 мая в Переделкино, куда ехало множество народа, услыхавших о смерти Бориса Пастернака, мы подходили к дому, навстречу нам вышел Шура Пастернак, младший его брат, Александр Леонидович. Он узнал меня, хоть мы не виделись с ним, вероятно, с 1937 года.

«Боря мучился полчаса, – сказал он, – только время агонии…» И я вспомнила про чудотворный пузырек.

Борис лежал на, помнится, узком диване, в темном. Седые волосы его лили свет на спокойное, успокоившееся лицо с никогда дотоле не виденными без взгляда глазами, и в опущенных веках был мир. Нельзя было наглядеться в это лицо, в котором было – несмотря на покой – сколько выражений, как будто оно еще продолжало жить. Не было в нем следов страданья. Оно было, все помнят, совершенный покой.

Проходя двором, кажется, – я увидела полуоборотом стоящую плачущую женщину. – «Это Зинаида Николаевна» – сказал мне кто-то. Женщина нисколько не походила на Зину. Я не подошла к ней от чувства, что это не вовремя и что я ей сейчас не нужна.

Но я увидела Женю, первую жену Бориса и мы узнали друг друга.

– Женя, Вы та же! – сказала я, – только белая!

– Да, только! – непередаваемым тоном отвечала она.

В дни когда я пишу все это, мне показали воспоминания Ольги Всеволодовны и я прочитала последнее письмо к ней Бориса за три недели до его смерти. И тогда я поняла, *как* я ошибалась в тот день, 29 июня 1959 года на том самом банкете в честь встречи с Борисом «после бесконечной разлуки», сочтя его смущение от Ольгиного накладывая ему на тарелку еще и еще – его усталостью от ее материальности – а это было, видимо, обратное – он хранил от посторонних взглядов ему *сокровенное*, ибо он любил ее до последних своих дней, мечтал позвать ее, если будет совсем плохо, – а причина, что не сделал это была – он охранял ее от возможной грубости Зины, а еще, жалея Зину, потому что он и ее жалел… Как я ошибалась! Он называл ее – «Прелесть моя», «Жизнь моя» и «Ангел мой» – уже на одре смерти… Я поняла, как ошибается и теперь сын его, сказавший, что не Зина запрещала ее приход, когда еще Борис был жив, а что сам отец его не хотел ее прихода. Сын не понимает истинную причину того, что Борис не звал Ольгу, терпел ее отсутствие,

бережа обеих женщин от столкновения, не в силах его устранить. Весь тон писем его, – интимной этой многолетней привязанности к Ольге, – утвердил во мне истину: уже не любя Зину так, как любил когда то, но жалея ее, и еще больше жалея Ольгу за возможность Зининого отвержения, он отнял у себя радость еще раз ее увидеть, пожертвовал этим свиданьем, чтобы только не ранить обожаемое им существо… Обе ушли уже давно, и первая жена и вторая, а Ольга, его последняя подруга, еще жива. Помнит его, стареет, страдает. И что бы ни говорили о ней – она стала мне драгоценностью, оставшейся от Бориса.

Я не была на похоронах Бориса Пастернака – я до них уехала в семью моего сына в Павлодар. Ольга Всеволодовна в своей книге воспоминаний главу о похоронах Бориса назвала строкой – «Несли не хоронить, несли короновать». Эта строка из другого, толпой любимого поэта (А.Вознесенского – *Ст.А*).

За неделю, кажется, до смерти Бориса, Елена Ефимовна Тагер привезла из Москвы рентгеновскую установку – тогда узнали, что у него рак левого легкого, боли грудные до того считали инфарктом (вторым).

Много поздней я – не помню с кем, потому что несколько раз с разными людьми, ездила в Переделкино на могилу Бориса. И не помню, с кем в первый раз… Я не могла налюбоваться на памятник работы Сарры Лебедевой. Но я не поняла, в чем причина волшебного впечатления от очертаний его черт – глубинно вырезанных в камне. Только уже отойдя от могилы, по пути на станцию мне сказали: «лицо в профиль, а глаз смотрит прямо» и что-то было сказано о профиле и глазе у египтян, но не только это, хотя может быть это было *главное* в том ощущении не мертвого, а живого… Не смерть мы уносим в себе, как всегда с кладбища, а ощущение *жизни*: еще то, что *могилы* то *не* было, а вокруг памятника с его на тебя глядящим глазом – была очерченная краями куртина, зелень широко в стороны от памятника. И еще одно: тени от высоких сосен над Борисом и движенья теней по его лицу на памятнике давали лицезрение жизни…

Я подошла к почти последней теме – к тому, что, в отличие от всех умерших, Борис до сих пор жив – в маске своей, посмертной и это настоящее чудо, хотя глаза его закрыты, веки опущены, но смена выражений его лица поражает глядящего. Эта маска висит на стене в комнате ныне уже умершей искусствоведа Елены Ефимовны Тагер, муж которой и она сама тесно дружили с семьей Пастернаков. Много лет бывая у Люси Тагер – и после нее, я всегда прихожу к Борису и гляжу в его праздничное лицо. Над маской висит электролампочка и, подымая ее, отводя, отпуская, я вижу таинственные изменения его лица, зрю не

умершего, а уснувшего и сквозь сон глядящего мне в душу, и в рембрандтовской смене тени и света продолжается в этом лице – жизнь.

Свет поднят и – тени опустились на веки, на ноздри и губы – он сейчас похож, почти похож на Вольтера, сколько сомнений, сколько затаенного горя – нет, не было в Вольтере этой застенчивости, грации, молчания, – нет, не Вольтер. Свет дрогнул в руке, тень гуще пала на рот, скрыв подбородок, осветив лоб, надбровье, внеся в нос – орлиное, и вспыхнуло братское сходство с Данте, дремучее, *сновиденное сходство*, уходящее от имени, уносящееся в безымянность, вверх. И вдруг, в движении усталой руки свет залил рот, уголки рта, подбородок – это отрок Борис возродился на миг в таинственном кротком молчании маски, – а, может быть, душа Бориса просит покоя, права укрыться от благоговейного подглядывания – и моя рука, живая пока, виновато вешает лампочку. Я озираюсь на хозяина осиротевшей комнаты, высокой как зала, и мы стоим перед Борисом, сообщники любви к Борису, и к Марине, и к недавно ушедшей жене Тагера Люсе – мы, старые, но живые – еще спаянные давней, маринины времен, дружбой, памятью об ушедших – и вековечной неизвестностью о себе – впереди…

После смерти Бориса, не помню в какие годы, должно быть в 1962-ом или 63-ем, я бывала у Жени–сына, у Евгения Борисовича в квартире у Киевского вокзала. Их сыновьям с Аленой, женой его, было лет пять и три. Старший, Петр походил на Бориса типом лица, цветом глаз и я слышала, что сам их дед говорил: «Если кто-нибудь похож на меня – это Петя»… Боря был круглолиц, но на брата похож. Кого я хорошо помню в те дни – это мать Жени, бабушку детей. Она жила уединенно в комнате направо от входа, у стен на полу стояли ее картины; она жила уединенно, казалась удрученной, уже заболевавшей склерозом. Ходил слух, что она очень тяжело переживает дружбу своего сына с Зинаидой Николаевной, у которой он часто и подолгу бывал. В беседе со мной недавно он эту дружбу отрицал, говоря что бывал у нее по делам наследия литературного и, конечно, это и было так, но его мать страдала. Внуками Женя-бабушка мало занималась… Она уже была больной человек… Мне было жаль Женю. Она умерла одна, от инсульта, в отсутствие родных.

Теперь их обе могилы – Жени и Зины притулились возле памятника Борису, и хочется думать, что Борис примирил их…

Я подхожу к тяжелой теме. Но правда требует нелицеприятия. Мой долг рассказать – как было. Помочь мне может только французская пословица, с детства знакомая: «Tout comprandre – c'est tout pardoner» («Все понять – значит все простить»).

Когда в 1927 году я вернулась от Марины к Горькому, я на вопрос его: Ну, как живет в Париже Марина Ивановна? – рассказала все без утайки: живет ее семья более чем скудно: ее перестали печатать, Сережа часто болеет, иногда живут на копейки… Я рассказала правду об очень стесненных обстоятельствах семьи: Муру покупают по одному банану в день, Аля их не получает, в еду идет самый дешевый сорт конины.

Горький помолчал, что-то обдумывая. Прошелся по комнате.

– Вот что, – сказал он, – хочу организовать помощь вашей сестре. Но это не так просто, как бы казалось. Дело в том, что Марина Ивановна меня не знает – а она человек гордый. На прямое предложение может не согласиться. Это нужно сделать иначе: найдите в Москве кого-нибудь из знакомых писателей, который бы согласился, чтобы деньги шли как бы от него. Он будет их получать через «Международную Книгу» в определенные сроки – и отравлять в Париж Марине Ивановне. Обдумайте это дело тотчас по приезде.

Как это было похоже на Горького! На того Горького, которого я узнала за время жизни у него в Сорренто, о котором я заканчивала книгу. Я взволнованно поблагодарила его. В жизни Марины настает новая эра! Семья оживет! Нищета сменится нормальной жизнью, прекратится дрожание за каждый грош…

Разговор этот произошел за 2-3 дня до моего отъезда в Россию.

На вокзале меня встретил Борис Пастернак. Кого другого мне было искать из писателей, он был тут, друг все понимающий, друг Марины и мой. Я рассказала ему план Горького. Как он мог не согласиться! Переписка их с Горьким тогда еще длилась, и я успокоилась. Но однажды Борис принес мне 50 рублей и сказал: «Ася, я хочу послать Марине немножко денег, и мне дали совет – не слать деньги, а купить на них дорогих конфет. Наши конфеты славятся, они их продадут – и у них будут деньги. Теперь так делают». Я взяла 50 рублей.

Получить конфеты, дорогие, в полуголодный дом – и продавать их? Марина продающая? Что-то против этого возмущалось. Нет лучше купить недорогих – и побольше, пусть они их сами *съедят*!…

Я купила недорогих шоколадных конфет без оберток, целых 4 кило! И целую ночь сидела с ножницами в руках и кусками цветной бумаги и завертывала каждую конфету в цветной кусочек. А наутро – на работу… Усталая, я одевалась идти, радуясь, что за счет сна устроила такой праздник маринiным детям! Как зародился в моей голове такой глупый план? Мое рукоделие со всем содержимым – 4 кило! – конечно осталось на таможне, не попало через границу, и тщетно я ждала от Марины ответа на мое глупое предприятие…

Мы редко виделись с Борисом. Допрашивать его о том, как часто он посылает деньги через Международную Книгу в Париж, и сколько денег, как-то не получалось: раз он молчит – значит, все в порядке. Я ждала добрых вестей от Марины, не имея возможности спросить ее: по решению Горького это была – тайна.

Время шло. Мы с Мариной не часто писали друг другу. Радостных вестей не приходило. И через год или около того, в 1928 году пришло письмо, и в нем: «Мои дети – фарфоровые. Мур еще немного держится, он в меня, а Аля… Кончилась Алина услада – котлеты из конины. Мяса мы не видим никогда. Сейчас иду варить овощи, огурцы включая. Что сварится, то съедим…»

Могла ли я не показать эти строки Борису? И в письмах ему она не могла от него, друга, скрывать правду. Допрашивать Бориса я себя считала не в праве. Марину спросить? Выдать замысел Горького? Допрашивать Горького? Я не понимала ничего.

Годы спустя я услышала от кого-то, прочитавшего письмо Бориса к Горькому – отказ Бориса от предложения Горького пересылать деньги, и слова: «Я сам буду помогать Марине Ивановне». На деле помощи этой в те годы не получилось. Почему он со мной не заговорил об этом? Не знаю. Если бы Горький перестал присылать, или не начал вовсе – Борис бы, естественно, мне бы об этом сказал. Тут непонятно все.

Что я думаю об этом теперь, через пятьдесят лет, в конце моей жизни? Что виновата – я, по ложной деликатности не поставившая вопрос ребром: *делается* ли дело помощи – или нет, а если нет – кто в этом причина. Помешал ли ложный стыд молодого писателя пересылать другу в нужде – деньги старого писателя, самонадеянность, что *сам* сможет помогать и затем рушение его планов?.. Почему же от меня было скрыто все это, что дало продолжение Мариниой нищеты? Зарождалось во мне подозрение, что вина, может быть, в Горьком, не исполнившем своего замысла. И почему же я с *ним* не связалась, с Горьким, хотя бы в 1928 году, после письма Марины? Вторая моя вина.

Если верно то, что Борис написал Горькому, что ему не следует беспокоиться о Марине, что помощь ей он берет на себя… Почему не сообщил этого мне – дав мне прежде согласие и это согласие отменив, держа меня один год в ложном покое – мы же виделись и дружили… Да, зная характер Бориса, порывистость и возможность слабости, должна была именно я, все поставить на свое место, – спросить, выяснить, назвать, добиться. Потому – что толку мне удивляться, негодовать? Человека давно нет на свете – девятнадцать лет спустя ухода Марины…

Виновата *я*, и иного мнения я не буду слушать, себе в оправданье.

Французская пословица жива. Но моей вины она с меня не снимает, виновата в годах нужды Марины – я.

Многие обвиняют Бориса Пастернака в том, что он не помог Марине после ее возвращения из-за границы, в трудное ее время. Даже материально. Я думаю так: у него на руках было две семьи, семья Цветаевой-Эфрон была бы третья. Взять на себя помощь ей он не смог.

Некоторые считают, что он боялся ее, как «оттуда» приехавшей. Это я отвергаю. Не этого он боялся, и даже не жены своей Зины. Он инстинктивно боялся М а р и н ы, – чуя в ней нечеловеческую способность все сокрушать. Всесокрушения он тайно боялся, не будучи в состоянии с ним справиться, как не может человек справиться со стихией. Его чувства остались в письмах. Марина была – стихия, и он не вступил с нею в бой.

Не помню в каком году вышла новая вещь Бориса – «Высокая болезнь»! Он прочел мне ее. Тою тональностью, которой дышала эпоха. Великолепным своим голосом, в котором гудели провода тех лет, накал трагедии, в которой билась страна. Тем, что позднее назвал Павел Антокольский «током высокого напряжения». Что-то во мне отозвалось Борису, и он посвятил мне свою «Высокую болезнь». В первом издании. В следующих это посвящение повторено не было. Почему? Может быть позабыл. Кто знает? Что заставило Марину снять в «Красном коне» жаркое посвящение Евгению Ланну – и – что еще более странно – посвятить ее Анне Ахматовой? Этого я не вем.

ПАМЯТИ ЯШИ ГОРБОВА

Посвящается Ирине Владимировне ОДОЕВЦЕВОЙ

Были в незапамятные времена на открытках и на старинных коробках конфет – картинки: Зимний вечер. На небе – рог месяца, искорки звезд. На снегу алмазная россыпь мороза, круто сверкающая елочным серебром. Домик и в нем – апельсиновым цветом теплится в окне свет, и след от него, рыжий, лежит на снегу. Вот в такой вечер, много десятилетий назад, в старой Москве, я 13-ти лет, подъезжаю с отцом к дому во Власьевском переулке, где жила семья потомственных переводчиков Горбовых, старший из них перевел «Божественную Комедию» Данте. (Марина, старшая сестра моя, и я с детства знали ее, видя в двух ало-золоченых томах с гравюрами Дорэ).

Мы ехали на 1-й урок танцев, куда два раза в неделю будут съезжаться дети 2-х, 3-х семей. Учить танцевать будет нас для этого при-

глашенный молодой балетмейстер Большого театра Чудинов – (имя и отчество его, увы, канули).

Зала, высокие потолки, лепные. Блеск белой кафельной печи. Люстра. Двери распахнуты в гостиную, где устав от ганцев, будем пить чай и есть яблоки на китайских золоченых тарелочках.

Дети – хозяева встречают детей-гостей.

У Горбовых две дочери и два сына. Соня уже невеста. Катя – на год старше меня. В мои 94 года я туманно их помню. Но старший из мальчиков, Яша! Я вижу его как сейчас. С меня ростом, на два года меня моложе, он кланяется как взрослый. Ничего мальчишеского. Передо мной маленький лорд. На нем – матроска, по моде тех лет? Лицо Яши затмевает наряд. Узкое, тонкие черты. Лицо Яши очень правильное. Словно кистью проведенные брови. Длинные сине-стальные по-взрослому серьезные глаза. Чуть суховатый рот. Но улыбка приветлива – воспитанность. Мальчик – Сфинкс.

Но вот взмах музыки в воздухе, и мы, дети, впервые друг друга видящие – пристально слушая учителя танцев, подражая ему, сперва каждый отдельно, затем пробно, парами, ритмически, радостно от знакомой мелодии нас обнявшей, двигаемся по зале не отрывая глаз от Чудинова. Он похож на какого-то персонажа из Гофмана, элегантно-загадочного, плавно жестикулируя и грациозно скользя по паркету, не теряет из глаз ни одной ученицы, ни одного ученика.

Самый *младший* из нас – брат Яши, Миша, сходный с ним как маленький грибок со старшим, рядом растущим, но не обладающий тем щемящим холодящим очарованием, которым пронизан брат. У Миши сходство в чертах, но все меньше, неуловимей, по-детски невинней. Яша через пять лет станет юным красавцем, Миша – нежным подростком.

Думается, старшая, Соня, не учится с нами. Но, может быть, разливает, с матерью, чай, разносит фрукты. Ее годы учения танцам – позади. С нами учится средняя, Катя, старше Яши года на 2 – 3. Она не похожа на братьев. С ней у меня сразу устанавливаются простые дружеские отношения, она ведет меня до лесенке, в антресоли, по похожей на Трехпрудную лесенку, и я с любопытством, с волнением проникаюсь духом их детской – в ней она теперь одна. Так все знакомо по *нашему* дому, по *нашему* детству – и столь же иное, чужое, заманчиво-новое. Я точно читаю рассказ о таких детях, как мы, уже не совсем детях, уже чуящих Жизнь – ту, которая придет, закружит и уведет. Но я знаю, что я никогда не забуду их дом, эти вечера, те мелодии, что сопутствовали нашим урокам. Не забуду я Яшу, мальчика-лорда – улыбающегося и молчащего. Эти стальные синие глаза, полувзрослый поклон – и гра-

цию, с какою он движется в нашем танцевальном параде под светом хрустальной люстры, вежливо, церемонно держа мою руку – мы по росту подходим друг к другу.

Pas de patineurs – этот юношеский и девический, почти детский танец! Это воспоминание о коньках, о скольжении по льду – под звуки музыки из «раковины», из мерзнущих на морозе рук!

…Pas de quatre! Эта сменившая лед ворвавшаяся мелодия, с детства любимая, этот вкрадчивый сладостный мотив. Личико Яши – в нем что-то дрогнуло, оно потеплело, оно о чем-то задумалось… О, мы уже научились танцевать. Мы уже много вечеров уплываем от прозы в поэзию, нас немного, но уже есть среди нас лучшие и немного слабее, но, кажется, доволен нами учитель. И однажды схватив инфлюэнцу, он попросил своего отца, старого балетмейстера Большого Театра, его заменять. Мы с волнением ждали. И – о, Сама Классика вошла в тот вечер в старый особняк Горбовых! Стройный седой красавец вошел с мороза, розовый, в зал! Да, мы были дети, никто ни в кого не влюблялся – но, мне думается, что все, стар и млад влюбились в старого балетмейстера! Не скользил он грациозно, как сын его – это было почти подобие полету, классическая бестелесность балета! Движения рук были *крылья* полета! Что он преподал нам в тот день? Не вальс ли? Как предвестие юности – детям? Боюсь ошибиться и не хочу гадать… Все исчезает в звуках рояля, вспыхнув в памяти угасает, и надо всем, как видение стоит личико Яши…

Я ничего не слыхала о нем целую жизнь, но недавно, в мои 94, мне доказали испанскую книгу «Los condenados»*… Ее автор Яков Горбов. Он переводчик. Испанист? Это название по-французски означает, не так ли? – «Les condamnés»** – «Осужденные»? Мучения памяти… Наша с Мариной мать, переводчица, блестяще знавшая французский, немецкий, английский и итальянский 37 лет, в последний год своей жизни изучавшая – зная, что умирает! – испанский язык. Я в ее память, в заключении на Дальнем Востоке (с 10-ю годами сроком), после десятичасового труда, а в дни срочных работ и по двое суток без сна, принялась за испанский, достав через в/н (вольнонаемных) 1-ую часть учебника, и увлекшись и получив от Пастернака и от будущего профессора французской литературы Ирины Лилеевой с воли, в посылке хрестоматию испанского языка, упоенно читала переводы Гоголя переводчицы Luisa Maria Alonso… Через почти пол века держащая в руках труд Яши Горбова (в пожилом возрасте женившегося в Париже на Ирине Одоевцевой), – книга ее «На берегах Невы» рядом с Яшиной.

* Осужденные (*исп.*)

** Осужденные (*франц.*)

И в то время как все запутывается, крючок, однако, *попадает* в ему принадлежащую петлю! Сон воплощается в сон…

Москва, советские годы (60-десятые), советское учреждение. Я вхожу в него после лет осужденности тюрьмою и ссылками – выправить документ где-то в Арбатском районе. Волокита, обычная. Терпенье, обычное. Жду. Устав глядеть в одну точку, перевожу глаза на высокие двери… Залы? Лепные украшения потолка. Разве я простудилась? Дрожь.

Гулкие головные лабиринты Что это? – «Deja vu»?* То, детское ощущение, бредовое, что это уже было когда-то в точности… лепной потолок! Но остатком здравомыслия, через все уцелевшим, говорю себе: Нет, не «Deja vu!» *Быль*! Это было в незапамятные времена, вечер… Картинка: зимний вечер, на небе золотой рог месяца, искры звезд. На снегу – алмазная россыпь мороза, робким цветом горит окно и теплится да снегу что-то. Уют канувшей жизни? Я в 13 лет подъезжаю с отцом к особняку во Власьевском переулке, где жила семья Горбовых… *Их лепной потолок*. Двери в гостиную, где чай… яблоки на фруктовых тарелочках с китайским рисунком. Мне оттуда сейчас вынесут документ, долгожданный. Pas de quatre под хрустальной люстрой. Церемонно держит руку мою Яша Горбов, не мальчик, а мальчик-лорд!

Переделкино, вечер, 20 окт. 1988 г.

ВНУЧКА НАТАШИ РОСТОВОЙ

Воспоминание о внучке «Наташи Ростовой», мою встречу с ней в годы гражданской войны, я посвящаю памяти ее бабушки Татьяны Андреевны Берс.

Мне кончается 97-ой год, и я стала мало писать, не так «запоем» как прежде, но долг не дает угаснуть дару, Богом данному мне. И еще долг – перед людьми: если я не напишу это, ясное в памяти, поминание – кто напишет его? Может быть никого уже нет в живых – кто знал эту «внучку Наташи Ростовой», Таню Кузьминскую младшую, так «окрещенную» в честь своей бабушки, Тани Берс.

И я беру, привычно, перо.

Я читала, как и многие, воспоминания самой Татьяны Андреевны Кузьминской, урожденной Берс. Особенно запомнилось, как в ранней юности ей захотелось принять участие в охоте на зайца, вместе со Львом Николаевичем. Но дамское седло, видимо, было плохо укрепле-

* Некогда виденное (*франц.)*

но, – стало, в скачке, сползать вбок, – все больше, все круче. Миг – и Таня окажется почти под животом коня! В страхе она кричит мимо нее скачущему Льву Николаевичу:

– Левочка, падаю! – на что тот, пролетая на коне – мимо, ответил в страсти охоты: – Душенька, подожди!.. Он мог упустить зайца!..

И еще о них двух: мне рассказала моя приятельница Елена Николаевна Корсакова. Читала, что где-то Толстой сказал: «Я взял Таню, перетолок с Соней – и получилась Наташа». Да, «по Толстому!» – Выдав замуж Наташу за Пьера и дав ей народить кучу детей, он вложил в нее больше Сони, чем Тани, у него Таня потонула в пеленках.

Но в реальности Таня, выйдя замуж за Кузьминского и, народив мало детей, не потонула в пеленках – осталась утонченной, романтичной Наташей Ростовой, не потеряла своего очарования; участия в Искусстве и отъединенности, индивидуальности…

Сохранилась фотография поздняя, виденная мною, всей семьи Толстых, русо-седых, и – отдельно, поодаль сидящая, в возрасте уже, с чем-то неуловимо-цыганским в старческой ее красоте, темноволосая Татьяна Андреевна Кузминская.

Еще позже, еще одно доказательство «неправоты» Толстого к Тане Берс: ей было уже за 80, и она, услыхав о поэте Борисе Михайловиче Зубакине, – что он импровизатор, сильнее, чем Адам Мицкевич, – она передала ему через друзей, приглашение:

– Пусть он приедет и поимпровизирует, а «Наташа Ростова» ему – споет…

И поэт собирался, но она жила за Москвой где-то, а трудная жизнь Зубакина, зажатая непониманием окружающих, происками, слухами о нем, распускаемым коллегами, писателями мешала – и он опоздал: когда смог – «Наташа», должно быть, уже слушала в Ином мире – пение ангелов…

Я отклоняюсь к прозе жизни: к годам, когда стало обычаем от каждой получки выкладывать немного на сберкнижку, и, поощряя это, по городу были развешены плакаты, на них – бегущий по улице мальчишка-подросток со сберкнижкой в руке, и под ним слова: «Кто куда, а я в сберкассу!».

В эти дни в Доме Ученых был назначен вечер гения импровизаций и свою поэму – на нелепейшие слова, ему брошенные из зала – «берет», «сберкасса» и даже слово на «ч», которое не положено называть (да простит поэту Бог, что он его употребил в стихотворной строке!) так закончив:

Кто куда, а я в сберкассу
Не отправлюсь никогда,

Лучше я отправлюсь в Лхассу
Или ч-т знает куда.
Кто куда, а я в сберкассу
Отдаленных звонких лет
Положу мою кирасу
И мой рыцарский берет!

Он был поэт, философ, озорник. Но были у него и друзья, и один из них – поэт почтил его память строками, в которых сказал о его ирландской (по матери, Эдварс) крови –

Ирландский плащ приспущен на плече
И мы приветствуем в почтительном молчаньи
Нечаянное окончание
«Египетских» трагических ночей…

Эдварс-Зубакин вскоре был выслан из Москвы и позже погиб в репрессиях.

А помнятся мне полвека спустя его смерти сказали, что он… – сам ли сказал? – или согласился с кем-то, что в литературе есть лицо, с ним схожее: Нагель из «Мистерий» Гамсуна, но наружностью был он похож на Шекспира. Однако у Шекспира лицо было холодное, а у Бориса Михайловича – пламенное, Озорство свое он, видимо, унаследовал через отца, происходившего от атамана Зубаки, грабившего со своей ватагой на Волге корабли.

Я пожалела, что он не увидел «Наташу Ростову» и не услышал ее пения. В моем погибшем при аресте в 1937 году романе «Музей» было написано, что в наводнение 1926 года, дошедшем до Волхонки, Музей изящных искусств, тяжело поднявшись, отплыл от Советской Москвы – в Священные Дельфы, команду над плывущем музеем принял (зашедший сюда по своим делам) темнокудрый профессор Эдварс.

Я возвращаюсь к теме доказательства психологической ошибки Толстого, в отношении к Тане Берс, кровь ее сказалась в Тане Кузьминской, историю которой, поведать мой долг.

Гражданская война, Крым. Мы отрезаны от Москвы, от близких. Письма идут с оказией. Тут – белая армия, при ней нет учреждений, где бы можно найти работу и множество людей в состоянии полуголодном. Генералы – (то одно имя вспыхивает, то – другое) – «кладут себе в карман», как «спичечные коробочки» города, но бои идут, и будущее – в тумане.

Америка открывает по Крыму госпитали, где лечат и кормят голодающих. Имя этому АРА. И меня, с сыном 7 лет, после длительного истощения (для сына я продала все до последней нитки) под руки сводят на берег Черного моря, где больница «АРА». Мне почти 25. В палате я встретилась с пожилой женщиной, директором женской гимназии в каком-то южном городе, откуда ее эвакуировали (название города, и имя и фамилию этой женщины я не помню – прошло почти 72 года. Но помню я ее дочь в те смутные времена приехавшую к ней ненадолго и спешившую, может быть, к мужу (вижу ее длинные миндалевидные глаза, скорей – очи, ее, почти сказочную, красоту и скромный малоречивый нрав). От этой пожилой дамы, – средь беседы в больничной палате я узнала, что ее дочь замужем за сыном Татьяны Андреевны Берс-Кузьминской, сестры жены Льва Толстого. Этот сын, страстно любивший цыганское пение, возил с собой свою малолетнюю дочку, Таню (так названную в честь бабушки). И та, унаследовав вкусы отца, пристрастилась к солисткам цыганского хора, под гитару исполнявшим цыганские романсы, детским своим голоском подражала их пению всегда в мужском роде воспевая красу цыганок – и с таким выражением! – «как будто поет юноша!» – говорила собеседница, – может быть я не права, но мне иногда казалось, что это причина, по крайней мере одна из главных причин того, что было потом! А, может быть, – злая игра природы. Лет шести Таня стала требовать, чтобы ей не надевали платьев – плакала! А – как мальчику – курточку и штанишки…

Ну, на это смотрели тогда как на детскую причуду – девочка у них одна была, но с годами это в ней укрепилось, и с детства себя не Таней называла, а Андреем.

…– Конечно, лучше, подробнее, могла бы Вам рассказать моя сватья, Татьяна Андреевна, но, что знаю, то расскажу: Теперь моя внучка Таня – выросший «Андрей» – отлично исполняет цыганские романсы, и голос у нее низкий, не женский. Слушая, трудно поверить, что это поет – девушка. Да многие и не знают ее историю… Родные мечтали ей найти жениха, думали – влюбится, образумится, – смеется! И слушать не хочет!

Я внимала всею душой. Трагедии этого юного существа, не имеющего впереди ничего, кроме одной безысходности… Родившись в не свой пол, как ей жить?..

Нас прервали, звали на осмотр к врачу. Мой сын поправлялся скорее, я еще ходила перевязанная, нарывы длились…

В какой-то вечер лежала одна в палате. Был золотой солнечный час, мне хотелось покоя, уснуть, Но мне помешали. В женскую палату, не

постучав, вошел невысокий офицер, и бросив в мою сторону: «Не беспокойтесь!» подошел к умывальнику, стал мыть руки.

– Нахал? – подумала я. Вымыв руки, он вышел, Я готовилась уснуть, когда вошла моя по палате соседка:

– Видали мою внучку? Сегодня приехала!

– Тут ее не было. Какой-то нахал, офицер, пришел сюда мыть руки.

– Так это и была она, Таня! Я не успела Вам сказать (Я не знала, что ее отряд будет у нас в Судаке) – как только началась Гражданская война, она пошла добровольцем. Семья волновалась, но Бог милостив, ранена не была. Еще волновались о том, не будет ли ей от солдат обиды… Может быть солдаты и насмехались между собой, но грубости никакой не было. Наоборот, видя ее смелость в бою – уважение… Выходит, вторая Девица Дурова…

– И, ведь, ничего не выдает в ней женщину! – отвечала я, – я же видела ее у умывальника – и подумала, что нахал…

Она прервала меня: – Таня знала в какой я палате, она меня отыскала – оттого и зашла сюда!

Жара. Лиловое, как в Италии, небо, Палата. Больничная, Чистота. Час отдыха, сегодня ночью она, он? – будет стоять на часах у горы Алчак. Невысокий офицер, темно-русый, тонкие черты лица, милого.

А потом… Вот он снова у нас в палате. В руках – гитара, смуглая нехоленая рука перебирает струны. Низкий голос, искусно рождаясь из тишины, начинает цыганский романс: встреча и расставанье, разлука – не о себе ли поет этот не женский голос, не о скором походе, не о своем ли расставании с жизнью? Романс окончен. На звук пения, опоздав, водят две женщины из больных. Учтиво встав, Таня-Андрей – целует руку первой, подходит ко второй. Кто учил его, ее классике этого жеста, в мире утвержденного – веками?

Этот день встречи с Таней – Андреем – Кузьминской – словно вчера – а с него больше, чем семьдесят лет! Н е з а б в е н н о с т ь! Я дарю ее тем, кто сумеет принять – в первую очередь «Наташе Ростовой», (виденной мною только на фотографии, смуглой, с проседью в темных ее волосах, одинокой среди русо-седых Толстых)

…Меня выписали, я с поправившемся семилетним сыном, уехала в Коктебель, к Максу Волошину и матери его, названной им Пра.

Я больше никогда не услышала о судьбе Тани-Андрея, она канула для меня в неизвестность.

Но я исполнила долг – рассказала.

14-24 авг., Эстония,
Кясму, 1991 г.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ

Таня Тургенева, моя подруга по шестому классу гимназии, являла собой оживший портрет девушки XVII века. Нечто и от французской маркизы веяло в ней. Она, как и я, училась в гимназии, и утром, когда в нее не запаздывала, заходила за мной. Мы шли вместе, говорили… Пока я шла с Таней, я – в очках, решавшая, чья жизнь трагичнее – Пушкина или Лермонтова и чьи стихи мне ближе – Брюсова или Бальмонта, чувствовала, что рядом со мной идет существо совершенно иное – с другой планеты. Оно ни о чем не задумывалась, оно дышало и красовалось, и говорить нам было почти совсем не о чем, но я, из вежливости, старалась. Думали ли вы когда-нибудь над сущностью цветка? Любого – розы, сирени, жасмина, несть им числа. Над тем, что их объединяет? Я – думала, слов не нашла, кроме как «райская непостижимость».

Вот эта «райская непостижимость» правила сердцем Тани, тем отдаляя ее от меня, «умной», обо всем думающей, и тем возвышая ее надо мной. Нам было по 16 лет, жизнь была – впереди. И вот о судьбе Тани я хочу рассказать.

Из нашей шестилетней ученической жизни помню вечер, когда ученицы должны были прочесть по стихотворению. Мне бесконечно жаль, что в мои 98 я забыла, что каждая из нас читала, и то, по нашему ли выбору нам далось это чтение наизусть или нет, за нас выбирала учительница, что было бы кстати. Но этого «кстати» – нет, оно улетучилось в бесконечность… Но помню ее – насколько красивее меня в этот вечер, в том же коричневом платье и черном фартучке – Таня. Хотя и я многим нравилась, и мной любовались – но кудри мои вились только на лбу и у плечей, а Танины были пышны и гуще моих, и падали пышными локонами. Я один раз чуть-чуть запнулась. Таня читала так, будто только это с утра и до ночи делала, и ей аплодировали много дольше, чем мне. И кланялась она так, будто только этому и учили нас *целых* 6 лет!

Не прошло и года после того как школа была окончена, как этот прелестный цветок был сорван в брак рукой влюбленного жениха – поэта и писателя.

И пока я дарила родным двух сыновей, Таня родила мужу трех дочек (две из них живы до сих пор). Как-то та, самая удачная по красоте и раннему развитию, выздоравливала после болезни. Таня, поручив ее мужу, ушла в аптеку. Девочке шел шестой год. Радостный, что ей лучше, отец углубился в своих греков любимых, не видя, что дочка, сойдя на горшок, не смогла влезть на кроватку и прислонилась о постель, поси-

дела, уснула на сквозняке. Отчего, заболев воспалением легких, – умерла.

Не берусь понять и решить, это ли увело мать от отца – но расстались.

Годы идут, и когда их прошло много, я, на концерте в Консерватории, встречаю мою гимназическую подругу Таню. Радуемся. Узнаю, что она замужем за народным учителем, у нее два сына-подростка, она – счастлива.

Проходят десятки лет. Мы не видимся. Слышу, что Таня болеет сердцем. Еду ее навестить. Эти поездки становятся частыми. Умудренные жизнью, понимаем друг друга без слов. За годы «*невидений*» у Тани два горя – старший из выросших сыновей погиб на улице под транспортом. Младший, мать еще не успела опомниться от утраты, как и второй – черным совладением – тоже попал под автомобиль, но не погиб, – лишился ноги! – и я вижу его, мать навещающего – на протезе. Высокий красавец.

А сердце Тани все хуже, часто ее застаю лежащей, очень бледна, похудела. Лишь глаза – те же – синие и большие, как в наши школьные годы.

Однажды, приехав ее навестить, пьем чай, и за столом впервые – случается же такое! – вижу ее второго мужа, того народного учителя, с которым она была так счастлива, что возымела силы перенести горе первого брака… Простое русское лицо, длинные – мода тех лет – русые волосы.

Пьем, переговариваемся, и я согрета его присутствием: вот, наконец, после стольких бед и утрат – опора. Танечка моя, на долю которой столько выпало бед – на ее, так улыбавшуюся, юность, как я счастлива за тебя, подруга стольких поворотных встреч нашей с тобой жизни -вон он, выкуп, вот оно, *одарение* судьбы, вот оно, равновесие весов жизни, вот оно, к тебе с тою, юной улыбкой, обернувшееся лицо судьбы! Только бы тебе лечить сердце у хорошего специалиста, длить и длить твои, еще средние годы… Жизнь твоя в крепких руках дарованного помощника… И сын навещает – еще поживем, Танечка!

Чай допит. Муж Тани уходит к себе, я встаю – тоже: вечер, пора домой.

Я оборачиваюсь радостно к подруге отлетевшей юности: «Все же как хорошо, что есть у тебя, наконец, друг, опора! Как я за тебя рада!». И слышу ее ответ, ошеломивший меня до конца моей жизни:

– Совершенно ЧУЖОЙ ЧЕЛОВЕК!

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРТРЕТА

23 октября, 1991 год. Мне 97 лет. Я – одна. Старея, я начала тяготиться одиночеством. Часто зову кого-нибудь на поколение моложе – подруг, почитать мне и, пока я после обеда сплю – постеречь телефон. Поэтому присутствие кого-то – желательно. Но сегодня одна, снежок, многие, как и я, болеют, и пока я одна и не лягу – лучшее, что я могу сделать и что я делаю лучше всего, что меня отвлекает, дает силы – это писать. Я беру перо…

…1919 год, Крым, гражданская война. Мне скоро 25 лет; оба мои мужа умерли, и умер мой сын Алеша, 1 года и 3-х недель, на второго мужа похожий. Старшему, Андрюше – скоро семь. Мы оторваны от Москвы, от Марины, очень бедны, но Бог не оставляет.

С нами – через стенку – живет прелестная и умная женщина Катерина Николаевна Калецкая. Кто может не полюбить ее? Мы сдружились. С ней – мать, дядя и двухлетняя Марианна. Муж, много старше ее – их брак – загадка. Он часто ворчит на нее. Не споря, она смотрят в его сторону и, как бы к Богу взывая, полушепчет, удивительно терпеливо, привычно:

– Боже, Боже…

В этих словах – вся неудача брака, несмолкающее ему изумление.

От истощения я болею, и она идет – 20 минут по горной тропинке за пресной водой.

Нам с Андрюшей приносит кипяток в чайнике. Едим проросшую картошку. С питательных пунктов Катерина Николаевна приносит некое подобие супа с плавающими картошечками и кусками лапши.

Наша дружба захватила Пасху и лето 1919 года. Осенью Крым заняли большевики.

Я пошла работать по устройству народных читален в Феодосии, а Катерина Николаевна осталась в Судаке с семьей. На Пасху я приехала к ней из Феодосии, а на следующую Пасху – 1921 года Катерина Николаевна приехала на свидание со мной уже в Москву, куда меня вызвала деловой бумагой Марина.

Прошло с того семьдесят лет, а ее облик стоит передо мной как живой, хотя ее давно нет на свете: выше среднего роста, грациозная, в полном смысле красавица, пышноволосая, каштанового оттенка, голубоглазая и большеглазая, она пленяла всех.

Умна и очаровательна. Дядя ее умер, муж был взят на фронт, и о нем вестей не было – он ушел из Катиной жизни, дочка росла. Через сколько-то времени я получила от нее весть, что она встретилась с уди-

вительным человеком по имени Олег Александрович Спенглер и – выходит за него замуж. Они звали меня к себе. И я поехала в Петербург и убедилась в ее оценке Олега Александровича. Наша дружба – уже втроем – зацвела и длилась много лет, хотя встречи были не часты. Олег Александрович был умен и обаятелен, и красив, и я, наблюдая их жизнь, была счастлива счастьем любимой мной Кати. Так прошли годы. Увы, Катя стала болеть, не коснувшись начала старости. Через еще некоторое время я получила от Олега скорбную весть о ее смерти.

Но жизнь побеждает смерть, и через три года от него пришло письмо с сообщением, что он женится и очень ждет меня в Петербург хоть на несколько дней, несмотря на мою занятость, чтоб я познакомилась с его второй женой. С замиранием сердца, где слились и горе и радость, я поехала на его зов.

В тех же комнатах четвертого этажа без лифта, где я гостила у Олега и Кати, я теперь оказалась у Олега и Киры. Оба они были уже пожилые. На стенах продолжали красоваться фотографии Кати, но теперь высоко, под потолком над овальным зеркалом, появился портрет незнакомой мне женщины. К сожалению, зрение не позволило увидеть ее черты. Это был портрет матери Киры, умершей. Удивительно в моей встрече с Кирой было то, что мы сдружились с первого мига знакомства. Но еще удивительнее было то, что в глазах, во взгляде Киры Ивановны – огромных, серо-зеленых, было неуловимое, но явное сходство с глазами покойной Кати – но ее глаза были совсем иной формы и голубые. Таинственность мелькнувшего сходства – меня поразила.

Мне ничего не рассказывал Олег, он оставил нас вдвоем, хлопоча об устройстве моем (на том же диване, где я спала у него в годы здесь Кати) и уже звал к чаю и ужину. – Удивительно был уютен и гостеприимен. Но он, вставая рано на работу, рано ушел на покой, оставив нас снова вдвоем. В половину третьего ночи, не прекращая беседы, мы услыхали его зов Кире – дать мне отдых, но, мы не скоро его послушались.

И вот что я узнала от Киры в ту ночь: когда ее мать, овдовев, осталась одна с двумя маленькими дочками, Кирой и ее старшей сестрой, она встретилась с учившимся в Университете студентом Олегом Спенглером, – и они полюбили друг друга. Мать ее была очень красива. Но на предложение Олега мать, преодолевая свое чувство к нему, ответила ему – отказом.

– Я на десять лет старше Вас, у меня двое детей, я должна работать и растить их, а Вы – молоды и у Вас должна быть своя семья!

Но платоническое чувство их продолжалось, и года два спустя Олег повторил свое предложение. Но и тут последовал отказ. Когда, кончая

университет, он по распределению был назначен в другой город, он в третий раз с мольбой и настойчивостью стал убеждать Кирину мать изменить свое решение, довериться ему, он будет счастлив вместе с ней растить ее дочек, которых он любит, и вместе с ними ехать в назначенный ему город.

Но мать Киры, желая ему счастья, разрывая себе сердце предстоящей разлукой, в третий раз отказала. Он уехал и из их жизни исчез.

Когда он уезжал, Кире было семь лет. Она запомнила его очарование и красоту, и молча горевала, вместе с матерью.

Ночь шла, рассказ длился и делался все более невероятным. Прошло – не как в романах Тургенева – пять или десять лет, – их прошло сорок. За эти годы она, Кира была балериной, писала стихи. И однажды, на улице – они – Олег и Кира – встретились. Он сразу узнал Киру по огромным глазам, серо-зеленоватым. Она же никогда не забывала его.

В эти дни умирала жена Олега – Катерина Николаевна Калецкая, которая оказалась очень ревнива к его прежней любви, не захотела увидеть дочь той, которую он когда-то любил. Катя умерла вскоре. Олег и Кира продолжали встречаться.

Был рассвет, когда я с Кирой рассталась. Спали мы немного, но история не кончается здесь.

После свадьбы Олега и Киры, когда она переехала к нему на Васильевский остров, где я столько лет гостила у Олега и Кати, – вместе с Кирой к Олегу переехала ее семья, две старушки: Кирина мать и сестра матери, а о сестре Киры я ничего не знаю. Им отдали переднюю часть комнаты с левым окном, и там они поселились. И сколько Бог отпустил еще лет жизни – мать Киры могла любоваться на счастье своей дочери с тем, кого она в молодости любила и от кого, ради своих детей, отказалась. И тогда мне открылась тайна портрета, поднятого Олегом Спенглером выше всего в комнате, под потолок, под самые небеса; где только мое слабое зрение не могло различить незабвенных черт героини Олеговой юности. И тогда мне открылось молчаливое признание Олега в превосходстве его чувства к той, портрет которой он поднял выше всего: выше прелестной Кати моей, выше живой Киры. А с портрета юная женщина годы смотрела на себя, еще живую, но старую, в доме Олега.

Жизнь разъединила их, но их позже соединила Смерть. Их души слились в Вечности, там, где нет ни мужей, ни жен.

23 октября 1991 г.

МАЙЯ КЮВИЛЬЕ – КУДАШЕВА – РОЛЛАН.

Майя, Маинька! Как о Тебе писать? Опускается рука с пером, опускаются руки… Ведь, есть же н е в о з м о ж н о е на свете, или почти – невозможное. И вот я за него принимаюсь. Покаянно – не сама это дело вздумала, а друзья, два ближайших друга, сказали: «Вы должны это сделать… Никто, кроме Вас, этого сделать не может точно». И я поняла: да, так… Ибо с 17 лет (мы одного возраста), а последние года – редкие встречи и переписка с мечтой – еще хоть один раз увидеться – мечтой, не исполнившейся, мы прожили жизнь – Марина, Майя и я – рядом, параллельными жизнями, не охладевая друг к другу, через весь хлад жизни – из – за пламени наших сердец. Потому что Майя была наша, душевно, сердечно, не в нашей семье родившаяся сестра. Столько сходств! Полное…

Оттого с первых встреч, точнее с первого часа встречи мы стали как бы магнитом притянуты воедино, без необходимости слов: все само собою понятно – интонация души.

Но пора начать о самой Майе: маленькая, легкая, как бы само воплощение бестелесности, минимальность тела. В каждом движении – душа. Смех, улыбка, отзыв на все, что звучит, что живо, вкус на все явления жизни, протянутые всюду руки, влюбленность во все. Сама радость жизни.

Попытка портрета? Узкое личико, густые, до плеч, прямые русые волосы, зоркий, умный, все вглотнувший взгляд. Черты? Отсутствие красоты. Присутствие неотразимой прелести. Ироничность над своей увлеченностью, лениво вольный русалочный зов. Драгоценность единственности.

Детство Майи было необычно: ее мать добродетельная француженка, гувернантка в семье Незлобиных (должно быть тех, кто содержал театр, находившийся с левой стороны, если стать лицом к Большому театру), имела связь, грех с ее точки зрения, с русским, уехавшим. Конечно не совершив второго аборта, несмотря на трудность своего положения, она родила дочку и, когда стало возможно, отправила ее во французскую Швейцарию, где мы были во французском католическом пансионе с Мариной, – значит, я ошиблась: Майя была моложе меня. Но мы там не встретились: это только лишняя черточка в характере наших детств.

Семи лет, если я не ошибаюсь – спросить некого – мать ее по фамилии Кювилье, решила к школьному возрасту забрать дочку к себе. Их

встреча состоялась на вокзале и привела к обоюдному разочарованию: матери предстало – вместо благовоспитанной девочки, вихрастое существо типа мальчишки, она увидела трудновоспитуемую дочь. А дочь – хозяйственно-добродетельную женщину, чуждую ей. Тем не менее, они прожили вместе всю эпопею Майиной жизни, о которой пойдет речь.

Мы с Мариной встретили Майю, должно быть, в кругу сестер Мариниого мужа, Лили и Веры (Елизаветы Яковлевны – нашей с Мариной любимицы и ее сестры, актрисы Веры Эфрон), когда Майе, должно быть, было не более 17 лет. Она писала французские романтические стихи, была прелестна и ни на кого не похожа, и мы, как уже сказано, сроднились с нею сразу, обе, – что редко бывало: у каждой из нас были свои подруги, должно быть у Марины – мало, у меня – больше. Майя среди них заняла особенное, свое, ни с кем не сравни мое место, ибо была, как сказано, не подруга нам, а – сестра, в глубоком смысле этого слова.

Основное состояние Майи – влюбленность. Это ее дыхание. В кого – сменяются. Да разве *мало* получается – в кого? В стольких кругом – у каждого своя прелесть – и как же не отозваться? Но иногда это долго. Помню несколько лет ее *сильной* влюбленности в Виктора Веснина – одного из братьев-архитекторов, в то время строивших – по-моему, Московский почтамт. Почему так именно им очаровалась Майя – не знаю, но он в устах ее его имя – Виктор звучало особенно, в этом имени воплощалось ей все его *неисчерпаемое* очарование. (Я его не видела, но он жил через Майю во всех нас).

В этом имени была для нее вся неоспоримая ценность этого человека, окруженная нежностью и весельем. В его присутствии (как и в присутствии всех тех, кого она любила) она не проявляла себя: это было бы и не нужно, и грубо. А так как Майя была, с виду, девчонка с чем то еще и мальчишеским – ее чувство было, обычно, безответным. Кто мог так как мы, Марина и я, и кто *ее* понимал и любил – ее оценить? Вкус большинства был, видимо, грубее и проще (так думаю я). Зато в их отсутствие только об этих людях и шла речь, оснащенная счастьем их существования, и страдала ли хоть немного Майя от неотвечания ей – я сказать не могу: ее чувство было так сильно и так радостно, что, может быть, *ответ* в ней бы нечто – разрушил? Не берусь искать, находить обоснований и оспариваний в науке, зовущейся психологией. Такова была душа Майи. Так она озиралась – кругом. Но никогда – это мне твердо помнится – она не колебалась в выборе, не была влюблена разом в двух – на это не хватило бы ее сил! Силы поглощались нацело тем, кто был избран… И счастью ее не было предела – богатству *ее*

сердца не было счету, оно окрыляло ее весельем ее дней. Я не помню ее печальной…».

Имена? Может быть, Бальмонт (трудно бы его пропустить…) Брюсов? Нет, кажется, миновала. Об Андрее Белом – в этом переживании мне выпала доля – вернее, роль.

Андрей Белый, узнав о влюбленности в него Майи, как-то растерялся – и попросил меня приехать, поговорить с ним. Я поехала. Он жил где-то за городом, за Москвой. Мужественно и одновременно по детски, не зная, как быть, Белый просил меня как-то «вразумить Майю, что ли»… *Вразумить* Майю! Сердце которой пылало у всех на ветру, всегда готовая еще один образ вглотнуть, еще над кем-то умилиться, кем-то восхититься – «сразлету». Я, должно быть не сумела выполнить его поручение, но просто время и чей-то иной облик справились с этим увлечением.

…Дольше других, помнится, длилось увлечение молодым, с огромными очами, синеглазым поэтом Сережей Шервинским. Позже и, может быть, жизненнее – чувство к Илье Эренбургу.

Чем Майя была занята, кроме влюбленности? Наверное как и все ее возраста – чему-то и где-то училась. Но не помню ни тем, ни огорчений, ни утомленья. Видимо была от природы способна?

А как Майя понимала иронию!.. Даже веяние ее в чем-то рядом… Была ли к себе иронична? Думаю, да – но это ничему не мешало. Сила ее жить и чувствовать никакой иронии не поддавалась. Ирония была только *украшением* жизни. Она не могла ничего *потушить*.

Молодого князя Сергея Кудашева, за которого неожиданно для всех, вышла Майя, я никогда не видела, так как переехала из Москвы в Александров ко второму мужу моему Маврикию Александровичу Минцу. Но с Сережей Кудашевым дружил мой первый муж Борис Трухачев и муж Марины – Сергей Эфрон. Помню рассказ об имении Кудашевых Митрофановке нашей, общей с Майей, портнихи, пожилой и милой – она работала, нанималась на целый день, два, три – шила и перешивала – то у Майи, то у меня. У нее была чудная, русская красочная речь и я жалею, что не запомнила ее рассказ о Майе дословно, а только его суть.

– Хозяйством Мария Павловна не занимается, ничего не делает, сидит одна в комнате, о чем-то думает, глядит вдаль, при свечах. В отсутствие мужа. Сидит, смотрит, думает, а свечи тают, а я не знаю покоя – ведь это шесть гривен горят, а она не обращает внимания.

Этот странный рассказ – все, что я знала в то время о Майе, и я

весело смеялась в ответ, особенно потому, что жила совершенно иначе: были трудные времена, пришлось отпустить вторую прислугу, а первая большую часть дня стояла в очередях – то за черным хлебом, то за белым, то за керосином, то за крупой, и мне приходилось управляться, когда Маврикий был на работе (шла война, не было мыла, мужу – он был химик и был, как и все, военным, поручили для полка открыть мыловаренный завод). Мне приходилось справляться с русской печью – ухватом, смотреть за трехлетним сыном от первого мужа и ждать Маврикия, который, придя, засучив рукава принимался мыть пол, стирать – все, что я не успела (это было до рождения второго сына, Алеши).

В 1917 году по вине врачей, не сделавших ему операцию, умер Маврикий, я уехала в Коктебель, к Максу, где через полтора месяца умер наш годовалый сын. В 1919 году в Коктебель приехала после смерти в белой армии мужа, Майя с четырехлетним сыном Сережей.

За нашу разлуку с Майей я, за полгода до ее приезда в Коктебель, пережила в Старом Крыму смерть, от сыпного тифа, моего первого мужа, Бориса Трухачева и, как все мы, отогревала сердце возле Макса Волошина и его матери «Пра» (Елены Оттобальдовны). Там, в дни болезни и смерти моего маленького сына Алеши, я видела доброту ко мне Владислава Ходасевича и его жены Анны Ивановны. Теперь сюда к нам приехала Майя. Сына своего, тоже Сережу Кудашева, она звала «Дудука» но, видимо, не легко справлялась с ним, четырехлетним, так как привезла с собой помощницу, девушку Марию. И Макс, и его профиль в скале, и вечно шумящее море, волшебство давно любимых берегов, еще раз сплотило нас всех.

Уже к Крыму близились красные, и пришлось перед зимой пережить и это, взятие того Перекопа, о котором Марина позднее напишет поэму (она сейчас у меня под рукой, в газете «День» с портретами Краснова и Брусилова – Марина была в Москве, но все видела трагической своей поэзией. Зимой мы с Майей переехали на заработки в Феодосию, в только что образовавшийся Наробраз. Я сняла кроху-квартиру на Карантине, а Майю ждала совершенно нежданная встреча с правившим городом «батько Иваном» – был ли он коммунист или просто разбойник? Я его не видела. Была ли это любовь или другое, пленился ли он «княгиней Кудашевой» или что-то оценил в Майе – знаю только, что он поселился в доме Айвазовского, откуда только что успела выехать в Турцию семья его племянников, наши друзья, – Майя жарко бросилась в спасение жертв батько Ивана и, пользуясь своей над ним властью, сделала много добра.

Но не долго царствовал в Феодосии батько-Иван; «свои же», красные сбросили его с престола и, говорят, расстреляли где-то в Джанкое. А «подругу» его, беднягу-княгиню арестовали, предъявляя ей обвинение по двум пунктам: как княгине и как любовнице бандита батько-Ивана.

Я, к умилению ее матери, простенькой мадам Кювилье, носила ей в тюрьму – передачу. Но, – «и это пройдет», по кольцу Соломона, и настала весна, был 1921 год, и я, получив от Марины – вызов в Москву с сыном девяти лет, Андрюшей, уехала, а Майя уже была на свободе. И стала Майя снова работать в Москве, а ее сын, по-домашнему «Дудука» рос между двух бабушек – трогательной, хозяйственной и простецкой матери Майи, француженки – и высокоинтеллигентной княгини Кудашевой. Кто мог знать как рано кончится его жизнь…

Когда она вернулась в Москву, я не помню, знаю, что работала в неком учреждении французском (ВОКС?), и писала стихи, собирала их в сборники, в два – французские. Название одного, несколько эротического, было – «Panier plein d'écrevisse» – «Корзинка, полная раков», а второго сборника название я не помню – то была лирика и романтика, и она послала рукопись во Францию, двум писателям: престарелому, известному Франсуа Копэ и 60-летнему, не менее известному – Ромену Роллану.

Первый отозвался благожелательно, но прохладно, а второй от Майиной лирики – загорелся, и с того дня начался перелом в жизни Майи, – кончились ее увлечения – окрепнув в настоящее и последнее – сперва эпистолярное, а затем и очный роман с Роменом Ролланом, позднее закрепленный многолетним браком и переездом, с матерью, к нему.

Майя показывала мне все его письма, я помню его почерк, вдохновенный сталь его писем. А когда это уже был брак и мы снова встретились с Майей, она рассказала мне, что после женитьбы брата (Клотильда?) затревожилась его сестра, ведущая его хозяйство в их швейцарском доме и как радостно успокоила ее Майя, прося, чтобы жизнь ее с братом шла все так же, – Майя была далека от хозяйства и обе женщины мирно радовались такому положению дел…

Но я забегаю вперед: не так то все просто было, ибо после первого его приглашения, помнится в 1927 году (когда я ехала к Горькому), она собиралась на второе лето ехать по его приглашению на свой двух-

месячный отпуск, когда получила от него телеграмму, что им придется пока встретиться не в его доме, в швейцарском кантоне Во, а в горной гостинице на границе Эльзас Лотарингии и Швейцарии: Швейцария отказалась вторично дать визу его гостье с советским паспортом, на что он ответил властям, что если визу не дадут – он выезжает из Швейцарии (мировой скандал из-за тебя, Майинька, видно крепко тебя полюбил Роллан!).

Их встреча в горах, в гостинице, второй их медовый месяц окончился визой в Швейцарию, и сперва секретарем Роллана, а затем женой его стала Майя. И стала Майя впервые не опирающейся на мир вокруг, а только одному преданной.

Пережив его, а ранее мужа и сына своего, Сережу Кудашева – муж умер в *белой* армии в гражданскую, сын в *красной* – во вторую мировую войну, Майя целиком отдается работе над архивом второго мужа.

В ее приезды в Москву с выставкой Роллана, в другой на похороны Горького, мы виделись всласть. В первый раз у меня, целую ночь. Я два раза навестила ее в гостинице «Советская». Она пробыла у меня пять часов близ Тверской на улице Медведева. Сопровождающая ее дама хотела войти вместе с ней, Майя ее не пустила, попросила подождать ее в коридоре – прежняя своевольная Майя – и не торопить – «Я хочу побыть с подругой!».

Дама была с машиной и сказала, что будет ждать. Майя ответила: «Я люблю ходить пешком, не люблю транспорта». Были у нас встречи в доме Тани, ее невестки»….

В 1935 году она приезжала с Ролланом, были их фотографии с Горьким, со Сталиным, это был *официальный* приезд, мы не смогли повидаться. Она передала мне и другим друзьям, что через два года приедет одна, специально к нам, но это уже был год моего ареста с отбытием на десять лет в лагерь – и мы больше не увиделись.

Майя упорно – стремилась со мной, как в юности, в Коктебель, погулять вместе по дорогим сердцу местам, зовя меня туда в феврале, вспоминая как Макс – жизнь назад! – приносил ей фиалки с заснеженных гор. Но все меняется, февраль – тоже… Мечта остается мечтой…

Я писала ей в ответном письме: давай поедем в апреле. Зимой «Дом творчества» закрыт, и нам негде будет жить и питаться. Потом, при

встрече в Москве, этот вопрос опять возникал, но у нее заболели обе секретарши, и она срочно улетела в Париж.

Майя написала мне в конце 1984 года, в декабре, что ей надо еще два года, чтобы передать (у нее было два секретаря) Франции архив мужа: «Я приказала себе прожить еще два года, потому что я передаю библиотеку и архив Ромена Роллана в Национальную библиотеку…». Но Бог решил иначе, она умерла через полгода в больнице.

О НИКОЛАЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ БЕРДЯЕВЕ

Посвящается И.Л.Фейнбергу

Черный огонь вокруг головы! Приглаженный, пышный… приглаженное пышное пламя, над спокойным и гордым лбом, с широким, открытым и ясным, над темными глазами, блещущими – пламя мысли, ложащееся в отточенную речь неотразимо-правильными утверждениями.

Трибун. Высок рост, расправленные мощные плечи, что-то от мальчика в зрелом, мужественном лице – дерзость отваги, уверенность в рождении именно *этого* выхода из хитросплетений веками взлелеянной мысли, этими именно выражениями.

Прирожденный дар речи. Жест оратора – свободный и повелительный при благожелательной грации покоя. Покоя осознанности того, что познал – и скажет.

(Удачник со школьных лет? В детстве – любимец семьи, осчастливленной появлением *такого* ребенка?)

Что может ему противиться? Он начинает речь – и все затихает, восхищенно предавшись слуху. Властно и радостно в одержимой своей убежденности, он опрокидывает обратные утверждения безжалостным блеском осиявая несостоятельность иных систем.

И вдруг – кара ли? но – за *что*? Или вражии происки? – вмешательством безобразия и бесчинства – страшный тик, уродующий на миг Красоту!

Искажается лицо говорящего – *не дать ему говорить*?.. Трагически вспыхивает дьявольская гримаса на благородных и величавых чертах, но гипнотический жест правой руки, не прикасающийся к лицу, загоняет *назад* рвущийся изо рта язык – и *плавно* продолжается речь, не снизошедшая остановиться, интеллект *победил* болезнь!

Должно быть, и ее *приступы* он разредил искусно за десятки лет

этой муки, и порой *ничего* не заметно, кроме легкого поднятия руки – полу сложенной, боком, ладони, с твердым движением поднятых пальцев – где-то возле груди…

Он говорит предельно просто, но слова *загораются* в огне голоса. Кто это? Проповедник? Он защищает высшую истину, высшую степень добра, он взывает к с о в е с т и человека в честности требуемого мышления, он почти на той горной тропе, где может погибнуть овца, *кто* он?

Нет, *он – философ*, он не отдаст блеска терминов, он не перешагнет порог, не ему вверенный легкий холод, холодок ораторской речи отделяет его от пылкости проповеди, он не к душе обращается, а к ошибкам *мысли*, к *уму*!

ВОСПОМИНАНИЕ О МОЕЙ ПОДРУГЕ ПРОФ. ЗОЕ МИХАЙЛОВНЕ ЦВЕТКОВОЙ

Крым. Годы гражданской войны. Оторванность от Москвы, от родных. Письма – только с оказией. Как и я с сыном – подростком Андреем, семья наших с Мариной друзей Аделаида Герцык с детьми и сестра Евгения, застигнутые войной в Судаке, оторваны от родных. У них я встретилась с очень своеобразным человеком Сергеем Алексеевичем Цветковым. Он молод по годам, но кажется пожилым. Строг, православен, малоречив. Одинок. В нем чувствуется значительный оригинальный ум. То, что он неженат, предстает не случайностью, а неотъемлемой частью его существа.

В 1921 году, после взятия большевиками Крыма, Марина вызывает меня деловой бумагой в Москву. Годы разрухи. Герцыки тоже переехали в Москву. Какое же изумление охватывает нас от вести, что Цветков – женился «на гимназисточке». Невероятно! Но годы идут и «гимназисточка» по имени Зоя уже преподает английский язык. Все это доходит слухами: я не встречаю ни Цветкова, ни его жену.

Затем мне приходит в руки учебник английского языка Зои Михайловны Цветковой. В это время я сама уже знавшая с детства французский и немецкий, изучаю английский язык. Кончила курсы, учусь в Комбинате Иностранных языков.

В 1932 году слышу, что Зоя Цветкова будет читать где-то доклад. Узнаю где, иду.

Очарована ею – личностью ее, умом, своеобразием выражения мысли, глубиной познания языка.

После доклада подхожу к ней, знакомлюсь, рассказываю о встрече много лет назад, в Крыму, с ее мужем.

Наша дружба начинается сразу, факелом сходств, радости. Она длится до самой ее смерти около 50 лет.

Я помню ее дочерей еще маленькими, часто бывая у Зои. Сергей Алексеевич пожилой, болеет.

Август 1937 года я провожу с Зоей в Тарусе, она близ себя сняла мне комнату – отдохнуть после сданных мною экзаменов – окончания Института повышения квалификации преподавателей. К концу августа Зоя уехала с дочерьми в Москву – к началу их учения в школе. Она должна вернуться. Я ее жду. Но встретиться было не суждено. Меня арестовывают, дарят мне без суда десять лет лагерей на Дальнем Востоке, а с 1941 года – ссылку «навечно» в Сибирь.

Был конец 1954 года. В полуторах верстах от моей избушки, в самом селе, близ артели «Северный луч», там, где в пимокатной мастерской работала моя невестка Нина, была ее, артелью ей данная, комната. До той поры за моей внучной Ритой в детсад ходил ее брат Гена. Он через лесок приводил ее уже три года, домой. Мать их, как и все работники артели, работала то на посевной, то на уборочной, и она приходила к детям не ранее девяти-десяти часов вечера. Я проводила у них вечер и возвращалась к себе в темноте, мимо канав, полных воды: фонарей на моем пути не было.

Это было трудно, но возможно. Так шло почти три года. Но однажды Гена, перед началом ученья, пришел из школы с новым расписанием, лишившим его возможности заходить за сестрой в детсад. Я стала перед дилеммой: или пускать семилетнюю девочку идти одну через лес, по детски небрежно укутанную, в морозы и вьюги, и где будет она до матери – одна среди чужих? Или ежедневно ходить за ней в детсад и до ночи быть в полутора верстах от своей избушки, без возможности ее протопить вторично (многие тогда в сибирской деревне топили и по три раза в день) и ложиться в холодной избе (на ночь топить соседи бы не разрешили, слишком велика опасность пожара без пожарной команды) – долго ли выдержу я такое сама? А если слягу, тогда что? Ребенок – брошен?

И была еще одна невозможность: по пути из детсада к жилью невестки ежедневно мчался на водопой – к реке целый табун коней, ребенка бы смяли – вмиг.

Вопрос ясен: мне надо продать избушку (такую маленькую, но кто ее купит? А если да, то за какие деньги? Разве я смогу купить другую, куда бы забрать невестку с детьми, жить вместе возле артели?)

Положение было безвыходное. Я написала о нем всем, кто мог посочувствовать, посоветовать. Помочь же не мог – никто: все близкие и друзья жили трудно, еле сводя концы с концами.

Шел август. Первого сентября начиналось учение. Я запомнила 28 августа. Успение. Это число в семье нашей всегда проводилось вместе. Мать любила его. И в моем отчаяньи я убедила себя: в этот день мне должно прийти что-то!

Приходили письма – запереть мою избушку и перебраться на зиму к невестке. Увы! Ласковые убеждающие слова были потрачены даром: разве дело в том, что нелегко жить не у себя, в тесноте? Мое подполье было набито картошкой – мешок за мешком спустили мы туда с невесткой и внуком весь плод моего огорода, надежды сытости семье на целый год. В подполье много моркови (я терла ее и носила внучке сок). Кочаны капусты висят великаньим ожерельем вокруг всей внутренней завалинки. Вместо помощи семье стать нахлебником, погубив урожай?

Я сложила письмо. Глаза были сухи. Лучше бы плакать… Отчаянье было немо. «В тесноте…» Кабы так! Но невестка с детьми жила в проходной комнате, мать и дочь спали вместе. Внук на узеньком топчанчике. Оставался проход между ними, проход к соседке. Если бы и была раскладушка, ее было бы разложить – где?..

Все валилось из рук. Было 27 августа. До начала ученья оставалось пять дней. У огородной калитки стою, закончив свой день труда, еле чуя ноги и руки, бесцельно глядя куда, где маленькая – не больше муравья – точка двигалась через пустыри. Удлиняясь, росла, превращалась в очертанья человека. Идет к нашим выселкам. К кому-то… Надо идти домой! Я повернулась – и в тот же миг раздался далекий крик. «Бабушка!! Те-ле-грамма!…» – кричал женский голос, и над головой подходившей в воздухе полыхало заходящим солнцем что-то похожее на крыло мотылька – загоралось рыжим и тотчас потухало серым и опять, и опять… уже видно было очертанье бумажки. И я пошла навстречу почтальонше.

– Тыщу тебе шлют, ба-буш-ка! – уже не кричала, а говорила она.

– Сестра, должно быть, подпись на ту же фамилию!.. – Смуглое худое лицо ее было освещено закатом и счастием! За другую счастием! Она несла человеку чудо, в первый раз в своей рабочей жизни, в первый, в единственный! Запыхавшись, протягивала мне телеграмму. Я развернула листок:

«Шлю тысячу задаток избу селе остальное почтой Цветкова». Зоя! Друг с 1932-го года! (Ее фамилию с моей сходную, приняли за искаженье моей). Господи! И это – не сказка? Я шла по селу, глядя на избы, не чуя ног под собой, мысленно прицениваясь, пугливо… «Остальное –

почтой»… На обратном пути на пороге дома, купленного не так давно сестрами-староверками увидела старушку. Но день этот – не простой день; они продают избу, уезжают.

И творится непонятное волшебство. Дрожа от волнения, вхожу во двор, в сени. Бледные глазки младшей смотрят в мои незрячие. «За сколько?» «А это уж как старшая наша сестрица Хеония скажет!» «Заходите!» «Тысяч около трех…» А на почте заказное письмо: легким молодым почерком, свободным я своевольным, Зоино письмо. Цветковское, шелестит листами, И читаю я его – как в бреду: «Шлю Вам – тысячу телеграфом, а две тысячи – почтой. Торопитесь подыскать дом. Вам, обдумала, нет другого выхода, Ася, как купить дом в селе я перевезти к себе невестку с детьми… Деньги я выиграла и считаю грехом их оставить в семье, где все дочери и мужья их работают. Разделила тем, кто в них нуждается. На Вашу долю – три тысячи».

Письмо это я получила в Успенье. 29-го и подписала со старушками-староверками договор.

Первого вечером Нина с детьми въехала в дом.

И когда брак Зои Михаиловны с Сергеем Алексеевичем дал уже трех дочерей, и наша с нею дружба длилась годы – пришла в ее жизнь беда. Заражение крови. Вызванный, ее до того лечивший гомеопат, сказал: «Почему Вы так поздно меня позвали? Попробуем… Но положение Ваше – серьезно. За успех не ручаюсь. Сделаю что могу. Мужу Вашему, только что на Кавказ уехавшему на лечение – не давайте знать. Пусть у детей хоть отец останется. Главное сейчас Вам надо в больницу. Я Вам приготовлю лекарство в 2-х боржомных бутылках. Сейчас аптеки заперты. Сделаю все на дому. В этих условиях, с детьми, с топкой печи – Вам нельзя. Как получите две эти бутылки, два змеиных яда -вызывайте скорую. Увидев Ваше состояние – сразу возьмут. Дайте же нам с собой Вашу подругу, которая за Вами ухаживает, она Вам их привезет. И тогда важно, чтобы Вы себя держали в руках, не теряли сознания. Через 1/2 часа по глотку и не теряйте надежды. Вам в больнице предложат – вливание. Почему аллопаты требуют согласия – не знаю. Не соглашайтесь: оно Вас не спасет, а нашему лечению – помешает. Тогда Вам скажут: – уротропия. Это – можно. Будут гнать мочу – пусть. И Вас, если не решат оперировать – оставят в покое. Каждые 1/2 часа – по очереди, будьте точны». И уехали врач и подруга. Но подруга отпустила машину и когда лекарства были готовы – ей пришлось через 1/2 Москвы идти с ним ночью пешком. Но Бог помог Зое: дошла, донесла.

Когда привезли Зою в больницу, врачи поняли – это – конец – живот в темных пятнах и температура скачет предсмертно: 35-40, 35-40. Предложили вливание – Зоя отвергла. Уротропию, хорошо. У нас две

срочные операции. После них придем к Вам. Надо будет выпускать гной. Прооперируем.

Зоенька налила два стакана раствором двух змеиных ядов (помню их имена: лахезис, кроталис). Покрыла их марлечкой – на вид прозрачный боржом.

После срочных операций хирурги пришли к Зое. И один удивленно – обрадованно (умник!): – Организм так интересно борется! Видите, товарищи, температура так скачет, а живот посветлел… Давайте понаблюдаем! – И замолчав об операции, ушли.

Все это, я сама лечась с юности гомеопатией, запомнила из рассказов Зои, дословно.

Она ушла из больницы своим ходом, допив две бутылки ядов змеиных. И когда их непонятную пациентку выписывали, ей вслед было поставлено в историю ее болезни: «Ошибочный диагноз».

И вернулась Зоя к своим лекциям, к своим новаторским учебникам о методах преподавания языков, *а* когда она стала профессором – к работе с аспирантами. И после спасения ее жизни гомеопатией, она еще ездила в Америку, и в Англию с докладами о преподавания языков в нашей стране и делалась все более известной.

А дружба наша крепла, но получила удар моим арестом в 1937 году, в Тарусе. И на 10 лет я оказалась в лагере.

Болезни не оставляли Зою. С тех пор прошло много лет и я, не помню *когда* настало еще одно ее жизненное, в смысле здоровья, испытание, думаю, *после* моих лет ссылки, когда она мне так царственно помогла.

В Москве я оказалась с осени 1960 года, после реабилитации и поездки искать могилу моей сестры в Елабугу. Зоя с семьей жила на, помнится, 6-ой улице Октябрьского поля, в военном, так как преподавала в армии и даже имела – не полковничий ли чин? Квартира Цветковых была на пятом этаже без лифта и не легко было ей, пополневшей по болезни сердца, подниматься туда. Но оптимизм спасал ее во всех жизненных трудностях, она никогда не падала духом, недаром ее назвали Зоей. Имя ее означает «Жизнь».

Да, вспомнила еще как я, должно быть в 1959 году пришла к ней с моей внучкой Ритой, которую я учила с 5 лет в ссылке, английскому языку и с которой с 7-12 всегда говорила по-английски. (Я с 1956 года после конца ссылки, живя у сына в Павлодаре, где он работал инженером, н*е* ехала в Москву подавать заявление о реабилитации, а жила. С Ритой, чтобы укрепить в ней английский язык). Зоя похвалила Ритино английское произношение – это был наш триумф.

Да, болезни не оставляли Зою, Она слегла в Академическую боль-

ницу и я ездила туда – на Ленинский проспект, позади магазина «Москва» – ее навещать. Ее исследовали по болезни почек, это было мучительно, а диагноз поставить не могли. После двух недель бесплодных мучений, Зою выписали, и тогда мы решили позвать гомеопата – все они – универсалы, но д-р Грачев специализировался но болезни почек и печени. Я пригласила его. Осмотрев больную, он сказал:

– Почки у Вас в норме. У Вас воспаление тазобедренного суета ,

Он прописал несколько лекарств, Зоя принимала их аккуратно и через неделю или чуть больше я провожала ее по магазинам – искать пальто. (Помню, купили его в магазине «Богатырь»)…

Так снова гомеопатия поставила Зою на ноги.

Время шло. Я ежегодно ездила в Павлодар, где работал сын мой Андрей и брала с собой старшую внучку Риту, возила ее на Балтику от нестерпимой жары Казахстана, – вредной ее щитовидке.

До начала отпуска Зои, мы ездили с ней, и Рита подружилась с Сергеем Алексеевичем, мужем Зои. Его проницательный ум, мудрое сердце что-то отмечало ценное, родственное ему в 15-ти, 16-ти, I7-летней моей внучке. Однажды, когда он заболел, он попросил Зою вызвать к нему не православного, а католического священника. Ему казалось, что русская церковь слишком легко шла, в те большевистские годы, на компромиссы, он считал, что католики – выше. Но крайне занятая лекциями и занятиями с аспирантами, Зоя попросила *меня* найти ему того, кого просит его душа (моя дружба с ним, начавшаяся в Крыму в годы гражданской войны) – крепла, – что-то ни на кого не похожее было в нем, что-то торжественное было в его отрешенности от забот и тягот тех дней.

– Зоя, Сергей Алексеевич похож на больного кардинала, – сказала я, помню, ей – и поехала искать католическую церковь.

На Малой Лубянке, за двором с пышной зеленью деревьев, стояла небольшая церковь. Меня направили к приезжему отцу Михаилу. Он принял меня, внимательно выслушав, что очень религиозный, православный, пожилой, ученый, больной хочет исповедаться и причаститься у католика.

– Перекрестим его, – сказал ксендз. – И мы условились о дне и часе. Он был строг, малословен и что-то сходное с недоверием мне, почудилось в моей просьбе. Но отказать он не мог, мы условились.

Я должна была найти машину и заехать за ним, и когда машина была найдена, он молча указал мне на место рядом с водителем, и сел, один, сел сзади. Сложив, по католически, ладони, он погрузился в молитву и мы поехали.

Когда машина остановилась меж двух 5-этажных корпусов, мы вышли, и ксендз молча указал мне идти впереди него, а сам пошел за мной. В этом мне показалась некая предосторожность, настороженность к его необычной роли. Только религиозный долг заставил его согласиться на эту поездку. Я ли вызывала у него недоверие или вся ситуация предстоящего, но что-то *было* в нем похожее на обреченность, на присутствие в нашей поездке – опасности для него, смиренно подавляемой.

Мы молча поднимались по лестницам пятиэтажки, я – спереди, он – сзади. И когда на наш звонок появилась Зоя, высокая, полная с ее грациозной доброй улыбкой, с ее умным взглядом, а за нею мелькнула открытая дверь в комнату лежащего человека, как будто что-то озарило лицо ксендза. Ожив, прекратив молчаливое молитвенное состояние, готовое на опасность, ловушку, он стал общительным, радостным, благословил Сергея Алексеевича, попросив воды, и закрылась дверь за пастырем и больным, из православия переходящего в католичество. Торжественная радость водворилась в доме, я ушла в задние комнаты.

А затем помню себя в Павлодаре, на улице, возле почты, читающей письмо Зои – весть о смерти Сергея Алексеевича.

Как сочетать это с памятью о себе, в Москве, просящей отца Михаила о кремации умершего, его ответ, что католическая церковь хоть и не одобряет кремацию, но если что-то обязывает к ней родных, не отказывает и как сочетать эти два воспоминания, я не знаю, но они оба живы во мне. (Между Павлодаром и Москвой в те годы было более двух суток по железной дороге). Было это в году, может быть, 1965-ом. Уточню, спросив у дочки Цветковых, помню, что было тогда моей внучке Рите около 12 лет.

Таким образом, раз в 1991 году 10 лет со смерти Зои Михайловны, то она пережила мужа примерно на 15, 16 лет? И об этих годах нашей дружбы я не имею точных воспоминаний, кроме того, что мы встречались и в Москве (зимой) и – летом – в Тарусе, где у Зои Михайловны было полдачи на, помнится, Пролетарской улице, дом – 28?

О моем аресте в Тарусе в отсутствии Зои 2 сентября 1937 года я уже писала. О разлуке нашей с 1937 года по 1956, когда я подала на реабилитацию, – стало быть, наша дружба возобновилась с 1959 года по ее смерть в 1981 году и в 1979 году я получила отдельную квартиру и в последнюю зиму жизни Зои, она ночевала у меня дважды и мы в ночь, уйдя от забот дня, погружались в вопросы религии, православия, церкви. Зоя была очень верующей.

Еще одно воспоминание. Должно быть в последние годы жизни Сергея Алексеевича, у Зои была прислуга, состоявшая в секте адвенти-

стов, и она в пятницу уходила из дому в конце дня и с ночевкой. В эти дни я еженедельно приезжала, в отсутствие Зои, к Сергею Алексеевичу и ухаживала за ним, следила за его диетой и проводила с ним вечер до возвращения Зои, после работы, домой.

Ближе, мне кажется, Зоя была со своими двумя младшими дочерьми, Олей и Ниной. Ира как-то давно, помнится, отделилась, отдалилась из дома, в свое замужество, в семью мужа. Мне помнится, что она лицом была похожа на отца, а младшие, каждая по своему пошли в породу матери и ее отца, дедушки «дяди Мини», прожившего более 104 лет.

Зоя была на 7 лет моложе меня, значит, она скончалась в 80 лет, (так как мне в 1981 году было 81+6 лет 19-го века – я родилась в 1894 году). Весть о ее кончине глубоко поразила меня; нашей дружбе шел 50-й год, Это была из всех моих дружб, одна из самых преданных, глубоких, всеобъемлющих. Ее портрет, фотография крупным планом, с полуулыбкой висит на стене в моей комнате.

О ее смерти я узнала так: в день Святой Екатерины она послала в церковь бывшую няню своих дочерей, Катю, и сама готовилась сделать уборку. Но встала, упала – «деревья умирают стоя» – и ударилась! – левой щекой о стол, письменный, за которым написано столько учебных книг английского языка. В России она возглавляла методические вопросы преподавания иностранных языков. В церкви на отпевании (я подошла к ней справа) она лежала с той же полуулыбкой ее доброты, как на фотографии, слева она была погашена ударом о стол. Вечная память Зое… Вскоре после смерти мне Зоя приснилась два раза, один сон забыла, а во втором – мы из подземного, московского перехода поднимались дружно беседуя.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДРУЗЬЯХ-ПИСАТЕЛЯХ

Однажды, переступив порог Мариниой комнаты, – жила она тогда в Борисоглебском переулке, – я увидела в первый раз поэта Тихона Чурилина. Он встал навстречу, долго держал мою руку, близко глядел в глаза – восхищенно и просто, в явной обнаженности радости, проникания, понимания, – человек в убогом пиджачке, в заношенной рубашке, черноволосый и не смуглый, нет – сожженный. Его глаза в кольце темных воспаленных век казались черными, как ночь, а были зелено-серые. Марина о тех глазах:

А глаза, глаза на лице твоем
Два обугленных прошлолетних круга…

Тихон улыбался и, прерывая улыбку, говорил из сердца лившиеся слова, будто он знал Марину и меня целую уже жизнь, и голос его был глух. И Марина ему: «Я вас очень прошу, Тихон, скажите еще раз «Смерть принца» – для Аси! Эти стихи – чудные! И вы чудно их говорите…» И не встав, без даже и тени позы, а как-то согнувшись в ком, в уголку дивана, точно окунув себя в стих, как в темную глубину пруда, он начал сразу оторвавшимся голосом, глухим, как ночной лес:

Ах, в одной из стычек
под Нешавой
Был убит немецкий офицер,
Неприятельской державы
Славный офицер.
Схоронили гера, гера офицера
Под канавой, без музыки,
Под глухие пушек зыки…

К концу стихотворения голос его стихал. Прочтя, Чурилин сидел, опустив голову, свесив с колен руки, может быть, позабыв о нас. Но встал тут же, прошел по комнате – три шага вперед, три – назад – от шарманки к дивану с чучелами лис, мимо синей хрустальной люстры. Мимо маленькой картины, маслом, в тяжелой раме – лунная ночь, на снегу – волк (мамина когда-то работа). Позади, под луной, под всей высотой небесной, в немыслимом голубом безлюдье – волчьи следы.

Наша жизнь! Огни дружбы и любви, страсть к старинным вещам, любимые книги… И стоит между нас затравленный человек, нищий, душою больной поэт.

Как-то отступила дружба Марины с Соней Парнок. Еще не бывал у нее тогда Осип Мандельштам. Все заполнил и заполонил собою Чурилин. Мы почти не расставались ту – может быть – неделю, те – может быть – десять дней, что я провела в Москве в начавшейся околдованности всех нас вокруг Чурилина. Он читал стихи одержимым голосом, брал за руки, глядел непередаваемым взглядом; рассказывал о своем детстве – о матери, которую любил страстно и страдальчески, об отце-трактирщике. И я писала в дневник: «Был Тихон Чурилин, и *мы* не знали, что есть Тихон Чурилин – до марта 1916 года». Он был беден, одинок, мы кормили его, ухаживали за ним.

Помню книгу стихов его – «Весна после смерти» – большого формата с рисунками Наталии Гончаровой.

Уже после Мариниого отъезда за границу я вновь встретилась в

Москве с Тихоном Чурилиным. Как же изменилась его судьба! Вместо нищего, заброшенного поэта, вышедшего из клиники, я увидела человека в его стихии: его уважали, печатали, он где-то числился членом, жил с женой в двух больших комнатах, кому-то звонил по телефону по делу, – метаморфоза была разительна. Жена его – горбатая пожилая художница Бронислава Иосифовна Корвин-Каменская (прозванная им «Бронкой»), была по-матерински заботлива и, как человек искусства, понимала его немного бредовые стихи. Это было корнем их единства. Я была счастлива, видя его счастливым, – это в нашу первую встречу в 1916 году казалось совсем невозможным. В стихах его тоже произошла перемена, – то были какие-то запевки, заговоры, заклинания. В них проснулся некий сказочный дух.

Он еще болел, но его, видимо, лучше лечили, и когда наступали у него обострения и он боялся оставаться без Бронки, она звонила мне и уезжала по делам, считаясь с часами моего сколько-нибудь свободного времени. Тогда я ехала к Тихону, сидела с ним во все время ее отсутствия, кормила его, утешала, что Бронка скоро приедет, отвлекала его рассказами о Марине, которую он жарко, преданно чтил.

Бронку художники отмечали как талант, ее работы брали на выставки.

Эта пара – Тихон и Бронка – были трогательны, они напоминали двух птенцов на ветке. Как было радостно не видеть нужды вокруг них! Достаток их дней казался почти богатством в сказочно изменившейся судьбе Тихона. Я писала о нем Марине. Человек, вышедший из народа, нашел свою среду и признание.

Каждый год я ездила в дом отдыха Цекубу – Узкое (бывшее имение Трубецких). Там встречались дружившие друг с другом писатели; завязывались новые дружбы. Утра я неизменно просиживала в темно-красной комнате, когда-то излюбленном месте работы философа Владимира Соловьева. Помнится, там висел его портрет – огненные очи под снегом пышных волос, черная борода. Тут я писала, в тишине – радио тогда надевалось – наушниками; кто хотел – слушал, не мешая соседу. За столом я встречалась с Вересаевым и его женой. Он обдумывал воспоминания о детстве, тему мне близкую.

Дружила я с Иваном Сергеевичем Рукавишниковым, человеком много старше меня, как и Вересаев. Его увлечение триолетами я не разделяла, но слушала их из уважения к его человеческому обаянию, скромности, дружелюбию. Так же как Вересаев, он писал книгу о детстве и юности, о роде Рукавишниковых.

Помню рядом со мной сидевшую старушку, очень напоминавшую кого-то, я не могла понять – кого. Но когда она, хваля своего сына, кото-

рого многие не понимают, толкуют превратно, не зная его необычайной доброты под маской суровости, назвала этого сына, поэта, Володей, – я вдруг поняла, на кого же она похожа – обратно: что сын ее, Владимир Маяковский, похож на свою мать. Я радостно слушала о таких его свойствах, тем более что я, как и Марина, любила его стихи и его манеру читать их.

Я описывала две мои встречи с Валерием Яковлевичем Брюсовым – в 14 лет – в трамвае на Бульварном кольце, затем, через два года, – в помещении «Общества свободной эстетики», где мы с Мариной в унисон читали стихи.

Но была и третья, мною не упомянутая еще, заочная встреча с Брюсовым: он болел своей предсмертной болезнью. Общий наш с ним друг, поэт импровизатор Борис Зубакин передал ему мое спешно, услыхав, что он тяжело болен, написанное письмо: пожелания скорого выздоровления, – Он прочел ваше письмо и прижал его к груди! – сказал мне Зубакин.

В оценке Брюсова мы расходились с Мариной. Ее статья о нем жестока, несправедлива. Мне жаль, что она ее написала. Брюсов и Бальмонт, мною любимые, во всем разные, их несходство – это целая эпоха моей юности.

С 1923 года началась моя дружба с Борисом Пастернаком, со дня, когда он, приехав из Парижа, привез от Марины ее книгу «Ремесло». Он тогда недавно женился на художнице, ученице Фалька, Евгении Лурье. До моего отъезда из Москвы мы часто виделись, очень дружили и в последний год его жизни радостно встретились.

С Мандельштамом я нередко встречалась в доме Герцена, где он жил с женой. В дальнейшие годы Осип Мандельштам стал писать и прозу. Его блестящая книга «Шум времени» полна своеобразных мыслей, метких и едких, хотя и не всегда справедливых характеристик. В нем было много сарказма и желчи. Он мог быть беспощадным. Но его книга о Данте – верх философского анализа – показывает всю глубину его ума. И его способность к благоговению.

В 1936 году в доме отдыха Эртелево, под станцией Графская, недалеко от Воронежа, я встретилась и подружилась с Пантелеймоном Романовым. В нем было удивительное смешение яркой талантливости, слуха и зрения на мир и – безвкусицы и малограмотности. Но талант – чуялся сразу. Слушая мою откровенную критику, жена его, Антонина Михайловна, сперва была ко мне враждебной, настороженной. Но вскоре поняв, что я полезна ему, меня признала.

Был дождь. Я начала читать его повесть «Собственность», читала книгу – со скукой; удивлялась – как может так писать «писатель мило-

стью Божьей»? А он несомненно таков! – думала я. Но страницы вдруг преобразились. С какой-то главы герои ожили, фабула закружилась с почти Достоевской силою и конец, доминант-аккорд, прозвучал – мастерски. И начался наш разговор, длившийся всю последнюю мою московскую зиму. Пантелеймон Сергеевич приходил ко мне каждый выходной, и мы перечистили с ним все его повести. Я говорила ему жестокую правду: «Ваши герои, музейные работники, – это скорее акцизные чиновники! Вы не имеете понятия о жизни музеев. Это же особый тип человека – музейные служащие, они одержимы каждый своей специальностью! Дворянские дети спят у вас на сундуках. Вы эту среду не знаете».

Глуховатый, он слушал, держа уши руками, как раковины. Не обижался. Из его «Руси», романа в 5-ти частях, мы с ним выбросили 200 машинописных страниц набравшейся «воды». По телефону он мне сказал восхищенно: «Мой редактор, молодой коммунист, все одобрил, во всем согласился с вами!»

Изредка я встречалась с Толей Виноградовым, сыном народного учителя Корнелия Никитича и полуполяки Надежды Николаевны. Помню, как он во время самой ранней моей юности, тогда – студент-филолог, читал у нас в доме первые свои рассказы – «Девочка со скрипкой» и другие. Образованный, творческий человек. Он стал писателем и его известность росла. Книги Анатолия о Стендале – «Три цвета времени» и «Осуждение Паганини», о знаменитом итальянском композиторе и скрипаче, стали излюбленным чтением множества.

И вот, из глубин памяти, давний, далекий 1909 год, Таруса, летняя пора кануна Ивана Купалы.

Виноградовы, Некрасовы и я уговорились идти в ночь под этот день в лес. Как в тумане помню я эту прогулку. Волнение до нее – помню: с Толей, с милой Ниной, синеокой, его сестрой – как девушка из книги Мельникова-Печерского… Я глядела на себя со стороны, понимая, идет самая лучшая пора жизни. Через пять лет будет – хуже: я не хочу вырастать…

Темный лес, звезды, холодок, тихие голоса, хруст под ногой, вспыхивающие спички, освещающие на миг личико Нины, Толины светлые глаза, бородку, улыбку. Строгое, юное лицо Кости Некрасова. Мне нравится Катя. Она хорошо глядит… На другой день я написала сказку о ночи под Ивана Купалу. В ней рог луны отражался в каплях ночной росы. Было что-то зловещее, колдовское. Я послала ее Толе. С припиской почти нежной я получила большой конверт: Асе Цветаевой. Руки дрожали. Глаза не совсем видели строки. Тонко, мелко, прямыми точеными буквами на белом листе стояло:

«Дорогая Ася! Я люблю Вас давно», – более ничего не помню. Торжество, радость, ликование заполнили все. Лицо Толи, длинные глаза, синие, ледяные – кому-то – упоенно глядели в мои…

Марина, уже живя в Париже, написала о Толе Виноградове очерк и назвала его – «Жених». В очерке он представлен человеком недалеким. Марина мстила Анатолию за меня, за то, что он не помог мне с устройством на работу в трудном 1922 году, когда был директором Румянцевского музея и библиотеки. На самом же деле Анатолий Виноградов был умен и талантлив.

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В СТАРОСТИ

Поэт и переводчик Евгения Кунина – мой ближайший друг. Дружбе этой, начавшейся с первой встречи, исполнится – если я поживу еще немного, – серебряное двадцатипятилетие.

Мы встретились в старости, но нет сомнения, что, встреться мы на столько же лет ранее, – цвет серебряный мог бы смениться на золотой.

Евгения Филипповна Кунина родилась в Москве в 1898 году. Несмотря на чувство своей принадлежности к литературе, гимназию окончив с золотой медалью, отличалась качеством сочинений – по недостатку средств в семье, с 1924 года, после ранней смерти матери, стала, сменив ее, зубным врачом. Однако не смогла забросить литературной труд. Окончила лингвистическое отделение высшего Литературно-художественного института (Брюсовский). Она учились поэзии у Валерия Яковлевича Брюсова, у Аделины Адалис, скоро ставшей ее подругой.

Тридцать четыре года помогая семье, она совмещала литературное творчество с работой у зубоврачебного кресла. Нестандартно! Находила свои способы облегчать боль и сохранять трудноизлечимые зубы, средствами гомеопатии изыскивая возможности утолять мучения при воспалении надкостницы и при других воспалительных процессах.

Характерен рассказ о маленькой девочке, наградившей ее таким комплиментом: «Я тебя не боюсь, ты ведь не настоящий доктор, ты не делаешь больно».

И вся семья Куниных отличалась столь же редкими свойствами. Привычно шла от них помощь в чем-то нуждавшимся – книгами лекарством, посещением в больнице, советом – на все они щедры. Куниины примечательны для меня не тем, что они творчески связаны с искусством, а тем, что их нравственный уровень позволяет им общаться с каждым – будь то пожилой профессор, известный художник, плот-

ник-книголюб из их дома или неграмотная домработница… В перенаселенной Москве в течении шестидесяти лет Кунины мирно жили со всеми в квартире, где теснились шесть семей и после расселения по отдельным квартирам умудрились сохранить теплые отношения со всеми соседями. Тоже ведь нестандартно…

Та же высокая человечность, оптимизм, восхищенность природой, радость запечатлеть все увиденное, отличают и многообразие стихотворных тем Евгении Куниной. Ее цикл крымских стихов… В ее стихотворениях об Эстонии дана не только природа берегов и лесов, но и люди, черты ее истории и живописно рассказано о детях Эстонии, о ее обычаях. Свежи стихи ее юности, тонко психологичен цикл любовный; и мудростью жизненного опыта пленяют нас стихи о старости. Никто из слышавших поэму Куниной «Франческа да Римини» не забудет высокий драматизм трактовки автора, превосходный слог поэмы, написанной в форме писем. Или перевод «Оды Италии» Леопарди: как передан благородный пафос его вдохновенных строф! Евгения Филипповна превосходный переводчик с английского; французского, итальянского. Из опубликованного хочется похвалить переводы Гюго, Мюссе, статьи Роллана и Арагона, стихи греческих поэтов.

Она автор прекрасных статей. В журнале «Молодая гвардия» печатались ее статьи о Данте, о Ромене Роллана, о «Слове о полку Игореве». В сборнике перевода «Слова», имеется ее переложение «Плача Ярославны».

В данное время передан в издательство «Советский писатель» сборник стихов Евгении Куниной – за много лет, рекомендованный в печать Ларисой Васильевой и Евгением Винокуровым. Кончая говорить о литературной деятельности Евгении Куниной, может быть, модно сказать, что глазным выражением ее жизни, ее радости, ее личности была и остается поэзия.

ЕВГЕНИЯ КУНИНА «ФРАНЧЕСКА ДА РИМИНИ». ЛИРИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ В «НОВЫЙ МИР»

Знаю и ценю стихи Евгении Куниной, негодуя, что ее книга годы лежит, ожидая печати. Но ее «Франческа да Римини» вещь исключительная, и ее необходимо напечатать. Вы, прочтя, согласитесь со мной.

А лежит она чуть ли не полвека – по совершенной инертности и пассивности автора. Помогите это исправить!

Анастасия Цветаева
Москва 26. 12. 1992

ОЛЬГА ПАВЛОВНА РУНОВА-МЕЩЕРСКАЯ

Ольга Павловна Рунова-Мещерская! Хотелось бы знать мне, жив ли еще кто-нибудь из тех людей, многочисленных, чьи воспоминания и свидетельства о ней я приведу в моем о ней очерке? Почти все современники и сверстники ее были на поколенье старше меня, а мне уже восемьдесят, думала ли я в 1924 году, с которого началась наша дружба – старой и молодой, что придет день, когда я намного старше тогдашней ее старости, возьму перо – написать о ней?

Хочется воссоздать, хоть в маленькой, мне подвластной, мере, образ ее. В дни, когда в городе, который может гордиться правом назвать себя ее городом, и в стране, которой она послужила всеми своими силами, вспомнилось и начало подыматься ее имя, имя замечательной женщины!

Да, это была пора, когда просыпалась женская мощь в государстве, еще подспудно, еще в больших спорах и колебаниях – так колеблется на волнах вынесенная потоком лодка, на родных ей волжских волнах, в незабывшем ее городе Вольске.

Да, их была плеяда – таких, она не была одиночка, но имя ее в этом созвездии имеет право на жизнь! И дело пера ее тогда молодой подруги – рассказать о ней, как я ее запомнила – на всю мою последующую жизнь.

Познакомилась я с Ольгой Павловной через ее дочь, мою старшую подругу, концертмейстера Надежду Александровну Мещерскую, интереснейшего и больших дарований человека, она незадолго до того переехала с маленьким сыном из Пскова и вскоре в Москве тяжело заболела. В хлопотах над этой болезнью, в уходе за больной мы и сблизились с ее матерью.

Жили они тогда в большом «Доме Россия» на проезде Сретенского бульвара, в двух просторных комнатах третьего этажа… Трехлетний внук Ольги Павловны, живой, прелестный ребенок, еще более, чем на мать, походил на свою бабушку – расположением правильных черт, улыбкой, чем-то ласковым и немного насмешливым во взгляде и уголках рта. Ольга Павловна не чаяла души в мальчике; легко и умно справлялась она с его, видимо, близким ей характером. Как и она, маленький Ростислав был общителен, находчив и остроумен в ответах.

Помощью хороших врачей здоровье Надежды Александровны удалось на этот раз вернуть; за недели ее болезни я стала у них своим человеком. Позже я начала заниматься с моей подругой английским язы-

ком, которому она давно училась, и продолжала часто бывать в этой культурной и гостеприимной семье.

В молодости Ольга Павловна была, несомненно, красавицей, и, несмотря на свой невысокий рост, она обладала некой величественностью. Широкий и высокий лоб над ярким взглядом карих живых глаз, строгая линия носа и – даже в старости – волевой рот, давали понятие о том, как хороша она была в юности!

Если не ошибаюсь, именно в те годы появился в печати ее роман «У корня», тематика которого была тесно связана с 1905-м годом. Обе мы были членами тогдашнего Союза Писателей, встречались на собраниях в Доме Герцена на Тверском бульваре, и литературные беседы наши нередко продолжались у меня в моей комнате в Мерзляковском переулке, куда, без лифта, Ольга Павловна подымалась ко мне на четвертый этаж. Прочтя «У корня», тогда я, по более молодым годам моим, отметила реализм повествования и разнообразие характерных для описуемой эпохи – героев, но только много позднее, уже в старости, приобретя писательский опыт, смогла справедливо судить о мастерстве рассказа. Как писатель, О.П. Рунова-Мещерская владела совершенно не женским пером. Хладнокровие, с которым она дает описание жесточайших сцен, трудных психологических пояснений ставит ее в ряды первоклассных романистов времени. Из письма В.Черткова, дающего нам драгоценные сведения о похвальном отзыве Льва Толстого об одном из рассказов О.П.Руновой-Мещерской: «Вам, может быть, приятно будет узнать, что рассказ этот также *очень понравился и другу моему Льву Николаевичу Толстому,* благодаря сотрудничеству которого так облегчилась моя задача привлечения к народным изданиям лучших литературных сил» (В. Чертков, 30/IX-28г.). К сожалению, я не располагаю датой следующего отзыва об Ольге Павловне как о писателе: «… В годовщину пятидесятилетия литературной деятельности т. Руновой Ольги Павловны хочется сказать, что эти пятьдесят лет большого жизненного и творческого опыта не прошли для нас бесследно. Произведения Ольги Павловны сильны своим горячим чувством жизни. Они заставляют читателя думать, возмущаться, искать правду…» (Г.Абуткова).

Вспоминает об Ольге Павловне уже много позже , в 1937 году, известный сподвижник Л. Толстого, писатель и издатель И. Горбунов-Посадов: …«О.П.Рунова – одна из тех русских писателей, которые особенным сочувствием откликнулись на призыв изд-ва „Посредник“ дать трудящимся неимущим классам хорошую книгу. Она разрешила бесплатно переиздавать для такого читателя все, что издательство найдет подходящим из ее рассказов. „Посредником“ был издан ряд ее рассказов, вызвавших симпатии читателей – крестьян и рабочих. Рассказы

издавались и переиздавались десятками тысяч экземпляров». (И.Горбунов-Посадов, 5/2-1937 г.).

Вот и письмо А.М. Горького к ней, тех лет:

«Дорогая Ольга Павловна, Получив „У корня“, очень хотел сказать Вам сердечное спасибо за добрую Вашу память обо мне, но – адреса на бандероли не заметил я потому – промолчал. Вот – снова Ваша книжка и тронувшее меня дружеское письмо, – экая Вы милая душа! Книжку еще не прочитал – у меня для книг – „очередь“, – прочитаю, напишу Вам, если хотите….

„Фому Гордеева“ – читаете? Стыдно Вам. Книжка плохая, мелкая. Посылаю Вам другую, гораздо толще и в ней написано обо всем, даже и не книга, а эдакий Мюр-Мерелиз и ГУМ….

Милая О.П. будьте здоровы и простите мне всю эту болтовню, но я люблю веселиться, – а – не с кем, так вот я сам с собою. Крепко жму руку.

А. Пешков».

Кроме романа, Ольга Павловна оставила нам множество рассказов не менее замечательных по уровню и разносторонности содержания, по жизненности типов и ситуаций, по зоркости психологического анализа, по глубине затрагиваемых проблем. Знаменательный факт для познания ее чувства собственного достоинства: уже далеко не первый год ведя переписку с А.М. Горьким, она не рассказала мне об этом, пока это не понадобилось мне: в 1927 г. вступив в переписку с Горьким, я получила от него приглашение в Италию. Только тогда рассказала мне Ольга Павловна о своей переписке с ним и показала мне его письма. В них было явное уважение его к ней – и как к писателю и как к личности.

За свою долгую жизнь она была знакома со многими видными писателями, но, как мне помнится, ни о ком не говорила с таким восхищением, как об Алексее Максимовиче. Это еще больше нас сблизило. И моя поездка того же года в Сорренто, беседы с Горьким вызвали со стороны моего старого друга Ольги Павловны живейший дружеский интерес. Из другого письма Горького, дающего нам понятие о добром, дружеском отношении его к ней: «…Вы спрашиваете: как я себя чувствую? В общем – сносно, однако беспокоит юбилей. Это – как если б мне поставили пиявку размером с кошку. И притом на самое чувствительное место. Или бы – приделали третью ноту, а – как ей шагать? И – зачем она? Всю жизнь прожил – на двух и обувь к этому привыкла, и

брюки привыкли, а, теперь, вот, и не знаю, – что же мне, – третий сапог заказывать?

Жизнь – трудная штука. Раньше я в это не верил.

Будьте здоровы дорогая О.П. и – да сохранят Вас боги от юбилеев!

27.II.28

А.Пешков, известный юбиляр».

Началось ли знакомство О.П.Руновой-Мещерской с А.М.Горьким в городе Вольске, где, вероятно, бывал, сам – волжанин, Алексей Максимович, мне неизвестно. Но в письмах его к ней Вольск – упоминался. Как – нередко – в устах Ольги Павловны, в беседе с кем-нибудь из ее гостей и друзей. И упоминался всегда с самым теплым чувством, с благодарностью к тем людям, с которыми свела ее там жизнь в ее более молодые светлые годы, в годы ее просветительской, разносторонней деятельности, о которой я смогу представить свидетельства близко ее знавших – в разгар ее необычайно плодотворных, увлеченных занятий как со взрослыми, так и с детьми. По ее веселой, жизнеутверждающей манере вести воспитание собственного, далеко не из послушных, и нелегких детей, внука Ростислава, мне нетрудно судить, какой талантливый воспитатель жил в этой старой уже, имевшей право на утомление, женщине и писательнице. Волевая и опытная, она никогда не позволяла себе раздражения, – а как это редко у преподавателей! *Таких* учителей ученики их вспоминают затем всю жизнь; оно живо доныне в ее уже немолодом внуке – уважение, благодарность.

Мы это еще увидим в отзывах и воспоминаниях о О.П.Руновой, сохраненных до наших дней.

Начало ее деятельности – педагогической сокрыта от нас временем, но знаю, что она, когда жила в Безобразовке, совершенно безвозмездно, с 1909 по 1915 год: работала – учила крестьянских детей группами. Мальчиков, окончивших школу – двухклассную, церковно- приходскую и девочек, неграмотных.

Была членом педагогического совета основанной Е.Величкиной школы имени Маминой в городе Балаково Самарской губернии; – «помогала разрабатывать программу, участвовала в обсуждении преподавания, подыскании персонала, вообще была помощницей заведующей этой трудной школы нового типа для беднейшего населения Балакова» – 20.07.1924 г. свидетельствовала та же Е.Величкина.

К преподаванию в школе государственной она не была допущена

по ее политической неблагонадежности, ибо была – по убеждениям – революционна… Она была из тех, кто любил простоту, кто шел в народ. За что ее и держали под гласным и негласным надзором и даже высылали за пределы Саратовской губернии. В Вольске она организовала нелегальный кружок, читала молодежи лекции по литературе.

Вот еще свидетельства людей, знавших деятельность О.П. Руновой-Мещерской:

Отзыв

Ольгу Павловну Рунову знал я в годы самой черной реакции – 1908-1912 годы в городе Вольске. Ее дом был единственной отдушиной в это время. Все живое и передовое в Вольске группировалось около нее. У нее собирались и мы – молодежь, ученики учительской семинарии…

Знаю, что она оказывала помощь революционерам и их семьям.

Такая деятельность О.П.Руновой естественно обращала на себя внимание полиции. Помню один раз собрания молодежи были прекращены, так как была опасность визита жандармов.

27.01. – 26 г. Пачколин

Отзыв

Тов. Рунову О.П. я знал 1908-1911 годах во время моего учения в Вольской учительской семинарии. Тов. Рунова О.П. в то время организовала кружок нелегальной молодежи (главным образом из учеников учительской семинарии), читала в кружке лекции по литературе и обществоведению. Для того времени лекции были достаточно революционны.

2.08. 26 г. А. Браков

И вот уже подробная характеристика Ольги Павловны:

Отзыв

Ольгу Павловну Рунову знаю с 1903 года как человека с ярко выраженным чувством общественности и самого передового – сначала оппозиционного, позже революционного – направления.

Когда я в первый раз оказался в тюрьме (январь 1905 г.) Ольга Павловна была первым и кроме моей жены единственным в городе человеком, который, пренебрегая опасностью навлечь на себя подозрение, идет в жандармское управление просить свидания со мной. Получив неизбежный в подобных случаях отказ, Ольга Павловна тем не менее часто посещает тюрьму, передает для меня книги, пищу и прочее…

Из писем жены я знаю, что О.П.Рунова чуть не весь свой литера-

турный заработок (несмотря на активное противодействие мужа – человека иных убеждений) отдавала на помощь революционерам и их семействам, в том числе моей жене, оставшейся без средств и почти без заработка с четырьмя малышами.

Еще одна интересная черта.

О.П. все время жила в городе, но поддерживала идейно-общественную связь с гражданским населением. Мне не было известно, как эти связи создались, но мы все знали, что крестьяне окрестных сел кучками приходят к городской «барыне» потолковать о земле и прочем, что на душе наболело.

Преподаватель обществоведения на Строительных курсах при школе «Памяти декабристов», член всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльно поселенцев – Павел Алексеевич Аникин

16.06. 1926 г.

Мы с Мариной еще в юности «отпали» от революционных идей, я в моих «Воспоминаниях» пишу об этом. Но не отходило поколение более старших, не у ходила и О.П.Рунова-Мещерская.

Может быть, уместно здесь сказать о родстве Ольги Павловны с известной писательницей Ольгой Форш: они были двоюродные сестры. Я встретила О.Форш в названной мной квартире на Сретенском бульваре, в семье моей подруги Надежды Александровны Мещерской, ее, Ольги Форш, племянницы…

Талант, видимо, пустил крепкие и широкие корни в этой культурной семье. Они дали цветение в следующих поколениях: дочь Ольги Павловны, Надежда Александровна Мещерская обладала большим поэтическим даром; писала стихи, что редко – не только на родном языке, но и на изучаемом ею английском.

Сын Надежды Александровны, внук учительницы-писательницы, которого она воспитала, впоследствии стал – ученым, доктором биологии, автором нескольких книг.

Годы шли. Дружба моя с Ольгой Павловной продолжалась. Мой возраст переходил в зрелость, и ее старость продвигалась также. Но никогда я не видела ее унывающей, не то что жалующейся, опускающей крылья. Всегда с улыбкой умного, волевого рта, всегда окруженная молодежью.

Но вот пришел нам обеим скорбный час: 18 июня 1936 года умер Горький. Немало лет было тогда Ольге Павловне, но она шла со мной рядом весь путь – за лафетом, на котором ехал перед нами навсегда

смолкший знаменитый волжанин Алексей Максимович Пешков. Слезы мешали. Молча шли мы, по временам беря друг друга за руку, их сжимая – так было легче привыкать к утрате, зная, что друг – здесь… Конная милиция отделяла писателей от толп, не дававших проходу – Москва провожала своего старшего друга как встречала его у Белорусского вокзала за восемь лет до того.

Торжественная высота зала, медленные звуки органа, взволнованность прощальных речей. Цветы.

Был чудный июньский день. Помнится, по Москве цвели липы. Строг и важен впервые лежит замолчавший Горький. Смолкли речи. Минута прощания! Слезы застилают глаза.

Я не поехала в тот вечер к себе, а вошла вместе с Ольгой Павловной в один из автобусов, развозивший писателей по домам. Под ее крышей, с отроком внуком и с дочерью ее, вновь болевшей, мы встретили вместе первую ночь после Горького.

О СМЕРТИ М.И.КУЗНЕЦОВОЙ-ГРИНЕВОЙ

Я должна написать о конце Марии Ивановны Кузнецовой-Гриневой, второй жены Бориса Сергеевича Трухачева, бывшей лучшим другом после Марины. Как и с Лёрой мы близко встретились с нею с 1959 г., в мой приезд в Москву – после долгой разлуки. Она жила зимой в Кузминках, в уютной комнате с книгами, портретами и иконами, писала воспоминания детства (в годы зрелости оставив театр, она выступала с художественным чтением, писала пьесы из народной жизни). Семейно – была несчастна из-за ссор с дочерью Ириной и холодности старшей внучки Елены, ею воспитанной. Младшая, Марина Босняцкая была с ней добра. Года за два-три до ее смерти я повезла ее к моей старшей сестре Лере, они полюбили друг друга нежно.

С 70 лет Маруся начала болеть сердцем. Паденье у входа в подземный переход у Арбата (мы шли к Лёре) – лицом о камень (перелом кости носа) сыграло роковую роль. Она, после операции в 1-ой Градской, лежала у меня. Поправлялась медленно. Последние ее зимы часто ночевала у меня, я ее берегла и лечила. Но склероз увеличивался. Никогда не любившая еды, она стала забывать есть. Слабела, но много читала. Любила людей, книги, природу – до последней зимы, когда уже мало ходила, много спала. Болела сердечной водянкой.

Летом 1965 года Маруся еще жила, как много лет, на ею найденной, Ириной и ее мужем, Босняцким купленной дачей в Семхозе, в 3 км. от

Загорска (бывшем Сергиево-Троицкого) в саду, яблоневом, ягодном, переходившем в лесок (когда-то тут была тропа, ведшая богомольцев в Лавру). Много огорчений, труда, но и радостей принес этот уголок ей в старости. Весь поселок любил ее, чтил и приходил к ней личиться от многого: она знала тибетский способ лечения и вылечила им в предпоследние годы свои 12 человек, болевших падучей. Но в 1965 году она уже очень слабела. В первый раз за годы не смогла поехать в любимую Лавру с нами, своей внучкой Маришей и моими внучками Ритой и Олей (которых, как и отца их, моего сына Андрея и невестку Нину, очень любила).

Зимой 1965-66 г.г., лежа еще диктовала мне свои воспоминания о давнем прошлом, о Борисе, о Крыме (Феодосии). Летом 1966 года мы свиделись 1 июля в день Боголюбской; в это день моей внучке Оле минуло 9 лет. За год до того Маруся за кусочком торта в Олины 8 лет – радовалась сладости. В Олино 9-летие уже через силу взяла в рот крошечку, не захотела. Плакала, прощаясь с девочками и мной, говорила о своей ненужности. Осенью, в конце 1966 года уже мало говорила, о моих не спросила, мучилась болезнью; была неузнаваемо худа. Видела склеротические ведения, людей, тут не бывших. Меня узнала. «Как я по тебе соскучилась…» Причастилась. Сказала: «Как мне хочется умереть…» Но общенье было неполное, трудное. Я же после работы с Ритой, трудного года над мемуарами – была очень усталая. Пожалев себя, не дожалела ее, дала себе отдохнуть вечер у друзей, оставив ее на уход за ней, Ирины. В этот вечер были ее слова: «Где все? Почему меня оставили? Не уходите… Я скоро умру. Почему Аси нет?» Наутро я приехала она уже не говорила. Умерла тихо.

Подымала руки над головой, сжав пальцы – может быть молилась? Не открывала глаз. Роняла руки – тогда правую держала 16-летняя Мариша, левую – я. Так мы втроем – дочь, внучка и я простояли над ней до ее смерти в 1-ом часу 4-го ноября (день Казанской Божьей Матери).

В гробу она была красива, как прежде. Ухаживавшая за ней с лета, с ее последнего семхоза, Ирина – со всем рвением на какое была способна, любовалась красотой умершей. Как, впрочем, и многие в церкви.

Похоронили Марусю 5-го ноября 1966 года, через 3 месяца после Лёры, на кладбище села Никольского (в этом селе она любила бывать у бабушки второго мужа Ирины, Марка Устюжанинова, музыкантши Марии Михайловны Сысоевой, очень ею любимой, и которую она с семьей спасла в эвакуации, увезя их в родное свое село «Жары», где в детстве жила и где крестьяне их хорошо встретили. Мой сын Андрей прислал из Павлодара потрясенное ударом письмо. Он любил Марию Ивановну. На похоронах была любившая Марию Ивановну – некогда

невеста моего сына Татьяна Николаевна Смышляева. С нею, Ириной, Маришей и мужем Ирины В.А. Черкес и другими мы отходили от могилы и, оборачиваясь, видели, как нам вслед, качаясь на ветру, кивал белый цветок на длинном стебле, прощаясь с нами.

В селе есть старинная, белая с синим, церковь. Мы вернулись по Курской железной дороге, Таня и я. Марусе было 76 с половиной лет. Мне без малого 77.

Смолкли наши бесконечные ночные беседы… Смолк ее чудный смех…

О СМЕРТИ МОЕЙ СЕСТРЫ ЛЁРЫ

Моя на 12 лет меня старшая сестра Лера скончалась в Тарусе в 1966 году, 17 августа, одна, 83 с половиной года. Муж ее Сергей Иасонович Шевлягин, 86 лет, латинист, умер в московской академической больнице от сердечной недостаточности и удушья. При ней был один сторож ее тарусского домика над Окой. Я не могла быть с ней – я была в Кокчетаве, помогая внучке Рите на экзаменах в институте. (Я ее учила с пяти лет, и бросить ее в эти дни не могла.)

Я писала Лере: «Когда Рита поступит и устроится в общежитии, я тот час же приеду к тебе – в конце августа. «Лера скончалась 17 августа, в день последнего экзамена Риты. Я узнала об этом 20-го, хоронили Леру без меня, домик ее перешел ко вдове брата Андрея, Евгении Михайловне Цветаевой, матери Инны Андреевны Цветаевой, дочери брата Андрея. Урну Лериного мужа захоронят зимой 1965 года в ее могиле. Он говорил ей: «Мы с тобой доживаем последние дни». Она, тоже болея, отвечала: «Я этого не чувствую». Потом о умершем говорила – «Все кажется отворится дверь и он войдет…». После него из Тарусы она мне писала: «Не могу привыкнуть, что его нет…» Летом 1967 года в ее домике Евгению Михайловну Цветаеву, новую хозяйку, встретил Лерин, ждавший ее всю зиму… серый с белым кот. Последнее живое, что осталось от Леры…

О СЕСТРЕ МОЕЙ МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

В 1949 г., в ссылке, я рассказала священнику, отцу Василию, фамилию за 41 год, увы, забыла, – он был тоже ссыльный, – я рассказала священнику о самоубийстве моей сестры Марины Цветаевой в 1941 году. Ее сын Георгий, все что у нее оставалось в жизни (муж и дочь были

репрессированы и я тоже была в лагерях), 16-ти лет, бунтовал против матери, что она вывезла его из Москвы в эвакуацию, хотел учиться в большом городе; пригрозил ей самоубийством (сам подтвердил это позднее своей тетке по отцу Е.Я. Эфрон) – Кого-то из нас отсюда вперед ногами вынесут!. И тогда *мать* решила: *меня*! Он уже в смерть от нее был готов, бунтуя!.

Священник, поняв что ее смерть жертвенная, согласился ее отпеть – и отпел. Все переданное им мне я закопала в могилу сибирской девушки на кладбище. В Москве в 1959 году (год моей реабилитации), мне сказали, что священник не имел права это делать *без* разрешения епископа. Тогда я обратилась к епископу Питириму, и он сказал: – «Священник тогда был ссыльный, как и все тогда «навечно», – и он не мог сообщиться со своим епископом. Ваша сестра отпета правильно и вы можете подавать в церковь за ее упокой. И добавил, что один раз в году Церковь молится за самоубийц, – в Троицкую субботу.

21.08. 1990, Эстония

О ПРАВНУЧКЕ МОЕЙ ОЛЕ МЕЩЕРСКОЙ

В Музее Изобразительных искусств

Еще в 1908 году, если не ошибаюсь, в очередном своем выступлении мой отец Иван Владимирович Цветаев сказал о моей матери, своей помощнице по Музею, за два года до того умершей, Марии Александровне Мейн-Цветаевой, что она, кроме своих активных познаний по истории искусств, переводов со многих иностранных языков и основных своих занятий – классической музыкой, находила время и силы для живописи, она брала уроки у художника Клодта, картины коего висят в Третьяковской галерее. Высокие стены нашей гостиной в доме в Трехпрудном были увешены пейзажами нашей матери.

Мать разделила нам свои способности – Марине, сестре моей – большое дарование к музыке, мне – страсть к живописи. Увы, оно споткнулось о мою биографию, я не сумела его воплотить. Марина не рисовала – но и дочь ее и сын, Ариадна и Георгий – оба были художники. Ариадна в 1948-49 г.г. преподавала деревянную гравюру в Рязани, в художественном техникуме и все детство она поражала оригинальностью своих рисунков, оригинальность также отличала рисунки Георгия.

Мой сын – Андрей Трухачев в 20 с чем-то лет взял кисть и сделал превосходный автопортрет и натюрморт, заслужившие похвалу худож-

ников. Позднее, работая по другой специальности, он сделал в подарок дочке тонкий гравюрный рисунок сказочного содержания.

Ныне его внучка, моя правнучка, Оля Мещерская, с 3-х лет начала с увлечением рисовать; с 4-х лет – на мольберте, крупно. Говорят, не ошибается в законе композиции.

Сегодня ее картины выставлены в Музее ее прапрадеда. Такая выставка не первая. И в нашем Музее *было* уже нечто подобное. В Ереване, было множество детских выставок. И от нас, как известно, устраивают за рубежом выставки детских рисунков.

Многие говорят: «Это потом проходит!». Может быть. На кольце Соломона было начертано: «И это пройдет!». Все пройдет. Но есть бабочки, всего одни сутки блистающие красками – на солнце. От этого они не менее драгоценны.

Но наследственность не только живописного дарования присутствует здесь. Есть еще одно свойство у Оли Мещерской, связывающее ее с отцом, с моей сестрой, поразительная, отмеченная ее учительницей живописи – трудоспособность: она может рисовать часами, не отвлекаясь.

Моя сестра Марина сказала: «Талант – это от провидения и родителей. Нам заповедано – трудолюбие».

И если увлечение живописью пройдет – то трудолюбие цветаевское, создавшее этот Музей, трепещущее в этом ребенке – останется.

Пожелаем же ей – добрый путь.

10.1 1983

НОЧНОЕ ЭССЕ

В первую же встречу мою со Станиславом Айдиняном меня поразила вневозрастная зрелость этого молодого моего современника и это впечатление вскоре перешло в отношение и оценку: в общении с ним настолько отсутствует ощущение *возраста* (присутствие которого, наоборот, есть постоянное сопутничество в моих беседах с людьми) и – что оно с первого же дня создало особую – как не назвать ее рабочей, ибо творческую, атмосферу, которая желанна и драгоценна, но почти для меня нереальна – потому что давно уже не встречалась моей человеческой и писательской старости, моему привычному старшинству – десятого десятка лет.

Это свойство Станислава, меня удивившее, через какой–нибудь час беседы вызвало в жизнь и непривычное восклицание:

– Вам двадцать шесть лет? Трудно поверить! Я бы скорее сказала

сорок шесть? Но в сорок шесть у Вас, вероятно, будет длинная серебряная борода?

На что, не удивясь и не рассмеясь на шутку, мой гость улыбнулся любезно и благосклонно, тем подтвердив правильность моего впечатления.

Это – штрих характеристики Станислава. Рабочая же характеристика его без лишних слов такова, что через какие-то недели он стал моим помощником по составлению тома рассказов; а точнее сказать – стал редактором их с таким знанием дела, с такой зоркостью, деловитостью, я думаю, и увлечением, – что вполне подтвердило выбранную – после окончания им в 1981 году Ереванского университета специальность.

В работе со Станиславом я все глубже погружаюсь не только в разносторонность его дарований и широту его познаний в литературе, но и в его высокий вкус, в творческий темперамент, в привычку мыслить, оценивать и выражать, какие даются человеку только талантом писательского масштаба.

Кстати, мастерство его – редакторское не случайно. Я не оговорилась в характеристике ибо он, Станислав – действительно писатель. Его интеллектуальная проза возвращает к тем эпохам и странам, когда из прошлого в будущее прорастали вневременные произведения, плоды мысли, воображения, принимавшие форму эссе, легенд, философских новелл.

Словно свежей струей, горным воздухом повеяло от страниц Станислава Айдиняна, – в эпоху, когда начинают опоминаться от застоялости принудительного реализма, все в искусстве упрощавшего столько десятков лет.

Это – крылатая проза, отлетающая от буден, улетающая в область чистой мысли, философской символики. В прошлом веке так порывался писать Новалис, в будущем будут писать потомки. С мифологией нас связывают – свободная трактовка мифа о Сизифе, «Гефест и Пандора», «Атлантический перстень», а к европейской философии обращает «Подслушанный Фауст», в котором раскрыта «антиномия» души и духа.

Малые произведения Станислава Айдиняна, как «Мгновение», «Звук», «Тишина» – поэтичны и глубоки.

В 1987 году я написала предисловие к его брошюре, которая была посвящена творчеству Агаси Айвазяна, армянского писателя. Тогда я писала: «В работе своей автор касается сокровенных А.Айвазяну идей – единства духовного и материального миров в их взаимослитости и отраженности их в психике человека. Автор брошюры останавливается на особенностях мировоззрения А.Айвазяна, которое – как стрелка

компаса направлено к идее гармонии бытия. А.Айвазян по глубине мастерства *достоин* такого исследования. Работа Ст. Айдиняна представляет несомненный интерес для читателей».

Брошюру «Малый жанр Агаси Айвазяна» издали в Ереване, в 1988 г.

Волею своею сдвинув плоскости наших жизней – в 26 и в 90 – Судьба настояла на более ценном, чем короткая, в юности, любовная встреча. Такое было не раз в истории мировой литературы и музыки – имена бы мне подсказала мне моя сестра Марина, *свою* юность глотавшая судьбы людей – днями, ночами чтения на трех языках, пока я летала на норвежских коньках по Патриаршему пруду.

Я не преувеличиваю отношения Станислава ко мне, пора преувеличений *прошла*, но несомненно, что мною подарено ему незабвенное, воспитующее (именно тем, что не «воспитываю») а просто живу рядом с ним в 90-94, с полным уважением к его 27-31 – как к непреходящей, *вечной* ценности молодости. Его молодости, своеобразной, «вневозрастной».

Не преувеличиваю: неизбежный день моих похорон *поставит* печать, краткую остановку на его дни, – но жизнь полетит дальше и, после некоторой пустоты, заменит ему меня другую незаменимою встречей.

В Станиславе и во мне есть сходство: «Холодок в сердце – знаете ли вы его?» (В.В. Розанов). Но мне грустно, что я – как он не увидел мою зрелость – так я не увижу его седин и морщин. Что не будет с ним зеркального моего понимания в годы его, может быть, одиночества.

И вот маленькое ночное «эссе», посвященное Станиславу Айдиняну.

У НОВОЙ ПОДРУГИ

Эта «новая подруга» – по возрасту – дочь. Нас связывает давняя дружба ее дедов и моя с Максом Волошиным. Собственно Таня Кандаурова могла бы быть мне даже внучкой – между нами около 35 лет расстояния. Она – женщина средних лет…

Оставшись одна в ее квартире (она уже ушла на работу) я, чем отличающаяся от себя – в детстве?.. – 90-летняя девчонка, – брожу по незнакомым мне комнатам, дивясь своему – и не знала, что еще жив, думала – умер давно – интересу к чужой жизни, к чужому уюту…

Иду, одиночеством наслаждаясь, по двум, необычно в обе стороны протянувшимся комнатам – каждая сажень пять длинной, от западного окна к восточному – десять саженей ходу! Мимо стен с картинками в райках, книжных полок – на иных книги, а вон на той – фарфоровые

маркиз с маркизой, белоснежная островерхая раковина, кусок палевого шпата, деревянный стоячий медведь, крошечная группа костяных слоников, кус горного хрусталя… Сколько детских сокровищ! Сиянье светло – зеленого яйца с золотой тенью, а рядом – граненое синее и – совсем маленькое, всего мне сейчас драгоценнее, темно-зеленое, сказочный талисман…

Может быть, это и есть то, что зовется «впадением в детство»? Но тут весь «остаток» моего интеллекта бушует: это не *возраст* ходит по комнатам, потому что так я и в 17 и в 25 бродила бы – это *душа* моя занята бродяжничеством, *она* прицепилась к чужим стенам, к голым приведеньям деревьев за восточным – перелет взгляда к западному окну. И косые лучи из восточного перерезали узкую комнату, шкаф, диван, зажгли золотой обод барометра, маленький кинжал в футляре с кистями – и во всю стену, непомерной величины, в раме – фотография: чье-то восхождение на снежные горы. Где они высятся? Монблан? Альпы, по которым Марина и я в детстве шли с французским пансионом? – или Бештау? Эльбрус?.. Стою и глотаю головокружительный спуск на веревке по отвесному краю скалы!

А добротные выдвижные ящики обезглавленного буфета зовут вниз, в прочность домашнего очага. Предполагаю, что в них одно поколение за другим – тома старых, старинных журналов, не имеющих понятия о партийных съездах, о взятии Зимнего, а рассуждавших о роли земских врачей, о реформах.

Шагание по солнечному лучу уводит меня взглядом вверх – к недосягаемым в высоте небольшим квартирам в рамах прошлого века, чья-то жизнь простерлась там, зримая зрячему, мне по близорукости – непонятная…

Но вот я держу в руках маленький – побольше, чем миниатюра – женский портрет, красками, и под стрелкой бровей – синева глаз, смотрит немо, в мои. Тонкий нос, кроткие ноздри и – или это мне чудится – страдальческий рот. Я хожу тут как близ кратера над погасшим огнем, чьим-то.

А это что? Ф-у-у… череп – искусственный – в роли-пепельницы. Вазы, вазы цветочные. Керамика, Фарфор.

Оборачиваюсь – круглый стол. Кто и сколько за ним радовались, утоляя веселый голод? / Но – веселый ли, лет 60 назад, в годы разрухи? / А над ним – можно ли примириться, что опять – по близорукости никогда не увижу *что* за глыбы синевы обрамляют невидимый пейзаж? Кто писал за этим маленьким столом, когда прислоненная немая гитара слушала тишину?..

Да, это тот мир, детский, заповедный, непознанный, что любопыт-

ством неутоленным жег все детство у выхода из парадного трехпрудного дома…

И еще – что приковывает, это – неостывшие следы чьей-то прожитой жизни, память о чем тесно связана со словами: «на том свете». Не забыть бы мне в этом моем странствии по чужим жизням – в углах обеих сливающихся, как реки, комнат – золотая темень икон.

Я долго молюсь.

Надо присесть?

Иду к дивану. На этом, широком, буду спать я, на другом, узком – хозяйка жилья, Таня… Меж диванов, меж нас – раскрытая дверь. Шаг за нее – коридоры. Я встаю и ноги ведут меня в третью комнату, похожую на ту, что в «Маринином доме», в некогда Борисоглебском, которую я назвала – «комната отщепенец».

В ней жили, наверное, те, с кем поссорились, кто приехал внезапно…

Отраженный в двери зеркального шкафа угол стола, и на нем – пачки книг, нот, журналов – кто когда разберет их? Дверца шкафа – третье «окно» самой последней, маленькой комнаты. В ней не живет никто.

Я пришла к концу моего путешествия.

Я устала.

Я, должно быть, *должна* поверить, что мне 90 лет…

21. 06. 1993
Переделкино.

Часть V

ДРАГОЦЕННАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ

Что больше всего нас поражает в творчестве Рюрика Ивнева – это живое участие его памяти в давно исчезнувших днях; некое тепло благожелательства к каждому, о ком он пишет. Сердечный такт звучит тонко в первых же словах воспоминаний и оттеняет особенности человека!

«Осип Мандельштам неотделим от старого Петербурга», – утверждает он, размышляя о ранней юности поэта. «Никем иным он не мог стать», – говорит он о годах, когда едва выйдя из отрочества, поэт тут же привлек общее внимание.

Но уже тогда чувствуется в рассказе Ивнева, что Осип Эмильевич не увлекается богемой, уже тогда он держится обособленно, в тишине работая над стихом: не интересуется тем, какое он производит впечатление. Не становится салонным поэтом, не стремится стать шире известным. Что только тогда выступал с чтением стихов, когда видел настоящее понимание поэтического творчества.

Своеобразная манера читать стихи привлекает интерес Ивнева, и он старается передать нам его подробные особенности. Юный поэт не подражает никому, не гонится за похвалой – он может даже казаться надменным, но Ивнев понимает, что это только «кажется», что под отъединенностью в этом молодом существе кроется нечто совсем иное – задумчивость, поглощенность вопросами поэзии, которой он служит с преданной серьезностью. Встречаясь с О. Мандельштамом в Петрограде, Киеве и Москве, он прослеживает в поэте все то же равнодушие к внешним формам жизни, ту же сосредоточенность на глубинах старой и новой поэзии; не на том, что их разнит, – а наоборот, на том, что их соединяет. Одновременно он отмечает в поэте веселость, способность

побалагурить, детскую непосредственность, обаятельную природную доброту. Скупость на улыбки и отзывчивость на беду человека, нежность участий, и там, где происходило недолжное, – был великолепен в гневе. Но свою жизнь в быту поэт устроить не умел, жил всегда в нужде, в полном отсутствии комфорта. Причину этого Ивнев видит в глубокой убежденности Мандельштама, что поэт ничего кроме стихов, делать не должен. Чтение лекций, устройство кружков или специальность корреспондента – были ему совершенно чужды, он не соглашался пустить их в свою жизнь. И, однако, идущая следом нужда вызывала праведное негодование. Ивнев описывает скитания поэта, упоминает Харьков, Батум, Кутаис – видимо; города, где были друзья.

Читая все это, я вспомнила Осипа Эмильевича летом 1915 года в Коктебеле, в доме Максимиллиана Александровича Волошина. Кров – был, а вопрос, где и как пообедать, был для него с младшим братом Александром ежедневной и тяжелой бедой (воспоминания об этом напечатаны в журнале «Даугава», кажется в 1980 году). Рассказывая, как уже вдвоем с женой поэт прошел пешком по всему городу, с котомкой, Ивнев решает, что такое положение немыслимо, что надо собрать ему материальную помощь – «чтобы не краснеть за свое равнодушие», ибо Мандельштам дошел до такой крайней нужды, что пришел в Москве в Союз писателей – спросить, сколько выдает Союз на похороны. Эту сумму он предложил выдать ему теперь под расписку, обещая что, когда он умрет, денег на похороны не потребуется.

И нежданно резюмирует Ивнев свой подробный рассказ о поэте: «Мне всегда казалось, что путеводная звезда его находилась в его сердце и оттуда испускала лучи».

Органическая способность к размышлению над происходящим вокруг, ставящая вопрос и не дающая ответа, размышления над происходящим в себе самом – вот что составляет основной стержень творчества Ивнева. Он старается ответить на свои недоумения. Но эти старания лишь углубляют вопрос. Он оценивает силу своих чувств. Он называет свое состояние, пытается побороть возникающее страдание, трудится над продолжением его, и все это кладет в стихи, ища в них облегчение.

Он обращает взгляд на историю, вглядывается в своих предков, ища корней мучающего его сострадания ко всему, что страдает вокруг. И не видя сходной трагедии в людях, с какими общается, – определяет свое одиночество среди иначе живущих, проще чем он принимающих жизнь.

Он заинтересовывается одним из своих голландских предков, приехавших в Россию и не смогших ее покинуть, старается проникнуть в

глубь души его, врастает в процесс его ознакомления с русским народом и, наконец, обретает покой временный:

Могу ли я забыть о древних предках,
Когда они в душе моей живут.
Беседуя со мной, как однолетки,
Средь бурь морских и в тишине кают
Могу ли я забыть каналы Амстердама,
Китай, Колхиду, юного Петра,
Могу ль забыть, как слив в одно уста мы
На палубе лежали до утра.

И даже в юном возрасте он пламенеет тщетной попыткой постичь законы мироздания:

И ты уже протягиваешь руки
К мгновениям, которых больше нет.
И видишь смутно рельсы, виадуки
И отсветы исчезнувших планет.

Эта способность к индуктивному мышлению, от частного случая к расширению проблемы, подобно распахиванию крыльев в ширящееся пространство, и в этом полете мысли уже нет предела, волнение крепнет в желание соединить все явления в стройность системы, охватить поэтическим взором всю сложность мироздания и его исходную тайну.

В восемнадцать лет Ивнев пишет:

Мы все изверились, устали,
В борьбе надежду потеряли,
Устали мы.

А мысль работает неустанно, как крот, роя себе путь под тяжелой землей, путь к истине:

Но с каждым днем яснее дышит
И изумительно горит.
И новый смысл в молитвах слышит,
В прощеньи злобы и обид.
И принимает темной кровью
И темным разумом своим
Христа, с Его простой любовью,

С Его величием простым.

В самый разгар братоубийственной бойни поэт призывает к милосердию и доброте.

17 июля 1918 года, в день убийства царской семьи, у Рюрика Ивнева рождаются такие строки:

Найду ли счастье в этом мире тленном
Средь пестроты наречий и одежд?
Во мне тоска невинно убиенных
И неосуществившихся надежд.
Во мне живет тоска вселенских предков
И пламя их горит в Моей крови.
Я в этом мире видимая ветка
Невидимого дерева любви…

Мысль поэта скользит во времени и пространстве, отражаясь в творчестве. Уже на пороге своего 90-летия поэт резюмирует, оценивая прожитое: «Но если жизнь я начал бы сначала, все повторил бы, как закон судьбы…». А это значит, что ни от чего он не отказывается. Все помнит его неспокойная мятущаяся душа. И хорошее, и плохое. Все, что составляет и наполняет жизнь.

А память вновь улетает к прошлому. И вновь Ивнев возвращается к незабвенной манере чтения стихов Мандельштамом – «скандируя, с пафосом». От себя добавлю, что Осип Эмильевич почти гротескно подчеркивал ритм строки, и это давало незабываемое впечатление некой музыкальной грозы нарастающих четверостиший, обнаруживая изнутри идущие лучи той самой «путеводной звезды»…

Да, Мандельштам нелегко соглашался читать стихи и не во всякой среде давал себя уговорить. И, может быть, тут, к месту вспомнить, как однажды, в Москве, в зале Политехнического музея, был объявлен вечер его стихов в трудные годы. Много лет Москва не слышала Мандельштама. Мы, его друзья, аплодировали изо всех сил, радуясь, что сейчас увидим его.

И вот он уже на сцене. Кланяется? Никакого поклона. Нет, овации не тронут его. Деловой походкой подходит он к столику у рампы, упирается обеими руками в его край и стоит, как изваяние, опустив голову, и в позе его – нетерпение, негодование – когда же, наконец, это безобразие кончится?

А мы – аплодируем! Изо всех сил! Мы заставим его поднять голову! Зал – грохочет.

Стоя все так же, поэт подымает невысоко над столом худую и злую руку и, ни на йоту не сдаваясь, начинает неслышно, но заметно по чуть поднятому лицу, говорить стихи. Зал утихает не победив, – побежденный, слушает!..

«Единственный поэт, у которого нечто общее с Мандельштамом, пишет Ивнев, – это Хлебников». «Та же святая беспомощность, то же несходство с общепринятостью, та же неприспособленность», – Ивнев сравнивает эти две сходные индивидуальности с чистым ручейком, не замутненным водою из соседних источников. Та же аналогия с душой ребенка, оставленного в одиночестве на улице, среди городской суеты».

Воспоминания и стихи Рюрика Ивнева дарят нас таким теплом, такой сердечной атмосферой улетевших лет, что хочется мне сказать, что в другой моей маленькой работе о Рюрике Ивневе я называю стиль его памяти о прошлом – «драгоценной достоверностью». В этом названии сливаются зоркость памяти об эпохе, когда все они были молоды, и поэтическая дистанция, как в живописи, в перспективе восстанавливает жар прожитых дней. Именно это отличает его творчество от других литераторов, у которых больше отдается дань рассказу о событиях, чем атмосфере ушедшей эпохи, а именно она дорога нам теперь…

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОВЕСТИ РЮРИКА ИВНЕВА «ПЕРВОПУТЬЕ»

Повесть Рюрика Ивнева о двадцатых годах в советской Москве написана превосходно. Целиком переносишься в ту эпоху. Но название не соответствует замыслу писателя, это ошибка издателей, – это не «Перепутье»… и называлась она «Богема» и именно богему описывает автор Ивнев, богему тех лет? и делает это весьма разносторонне и гибко. А когда на этом фоне он показывает нам таких людей, как Мандельштам, Пастернак, Маяковский, Есенин – мы входим в драгоценную достоверность тех дней, словно листаем дневниковые записи Ивнева – неоспоримую явь канувших в прошлое лет. Но в короткой рецензии не обойтись *рассказом*. Насущно нужен *показ* – так возникает нужда в цитатах, которыми не одарить читателя я не могу.

Вот в комнату – при Ивневе – вошел Осип Мандельштам: «человек небольшого роста (в другом месте что-то о довольно незаметной наружности), с высоко поднятой головой».

«На лице его блуждала улыбка, которую можно было истолковать по-разному. В ней была и мягкая ирония, и явно сдержанное чувство превосходства высокого искусства над земными делами и явлениями».

Далее Ивнев говорит, что Мандельштам был убежден, что поэт

не должен ничем заниматься кроме поэзии – «служенье музам не терпит суеты». Приводится пример беседы его (Мандельштама) с поэтом Иваном Грузиновым. Он обращался к нему со словами: «молодой человек», поучал – и снова – «Вы меня поняли, молодой человек?». Было это в годах 1918-19 нашего века, когда самому Мандельштаму было всего 27-28 лет. Прочтя это, я вспомнила лет за 10 до того, когда Осипу Мандельштаму было всего лет 17-18, кто-то видел его (не помню кто рассказывал) стоящего в дверях у Венгеровых, остановившегося между двух комнат, задумавшегося, отсутствующего, с той же поднятой над окружающими, головой, но веки его были опущены, как бы ожидая того мгновения, когда захочется их поднять…

Описывая лето 1915 года в Коктебеле, где я впервые увидела Осипа Эмильевича, я написала о нем: «в нем что-то от принца в изгнании, – и что-то от птенца выпавшего из гнезда». Как это характерно для Осипа Мандельштама! Я, знавшая его в Коктебеле за 6-7 лет до того, на каждом шагу общения с над отмечала его вневозрастное к себе отношение: он уже тогда прочно сознавал себя мэтром…

Но Ивнев верен своим воспоминаниям. Только что дав картину высокомерия в беседе с юным поэтом, он продолжает высекать из камня своих старческих лет – портретное изображение Мандельштама – «Он улыбнулся той улыбкой, которой никогда не улыбался посторонним, – теплой, детской, неповторимой…».

В это время в яркое зеркало, ивневского повествования в комнату вошел поэт Николай Берендгоф (к сожалению у Рюрика нет описания наружности этого поэта. Я исправлю это его упущение, я хорошо помню его, он у меня бывал – правда несколько позднее). Мне кажется, я не ошибусь, сказав, что Николай Берендгоф был в то время единственным писанным красавцем среди поэтической среды. Лишь одно не красило его в ту пору: молодой, в ореоле уже начинавшей звучать известности, он непонятно сутулился. Но это неуловимо шло к низкому его голосу (англичане низкие голоса называют «dark voice» – «темный голос». Этим глуховатым голосом он соглашался сказать свои стихи, полыхавшие оригинальностью, чуть отдававшие стариной, его классические черты озарялись тенью улыбки, – некое отступление от похвал, которые сейчас раздадутся, вящая скромность его существа, так несходная с горделивостью не скрываемой Мандельштамом. И ослепительная красота юного лица, – должно быть, никогда не стоял перед зеркалом! – оно бы убило эту застенчивость, эту скромность его…

Возвращаюсь к Ивневу. Он рассказывает, что весть, переданную им Берендгофу, весть о том, что Борис Пастернак одобрил, похвалил его

стихи, Берендгоф ответствовал следующими словами: «Я чуть в обморок не упал, когда об этом узнал несколько дней тому назад…».

Мне жаль, что так мало об этом поэте оставил нам Рюрик Ивнев, – он достоин большей главы его воспоминаний, он не встречался с ним долгие годы, но общался с ним на вечерах, видел его, вероятно, и выступающим. В зрелые годы века я его не встречала (быв далеко от Москвы долгие времена) – тем ярче в моей памяти этот удивительный облик, не померкнувший за последующие 60 и даже более лет.

А вот послание Николаю Берендгофу Рюрика Ивнева:

Вот промчалось уже полвека,
Как узнал я тебя хорошо.
Не встречал я еще человека
С незлобливой такой душой.
Ты не мудрствовал в жизни лукаво,
Не похож на обычных людей,
И порой, удивляюсь я, право,
Простоте неизменной твоей.
Всё отдав своему вдохновенью,
Остальное отбросив прочь,
Создавал ты своё творенье
И назвал его: «Доктор ночь».
Вот промчались десятилетья
В бурях, в грозах, в недолгой тиши.
Был ты в жизни спокоен и светел,
Среди многих почти незаметен,
И могли б позавидовать дети
Чистоте твоей юной души.
Жизнь и счастье большого поэта
Только в бурном кипенье стихов.
«Пусть звучит в нас симфония света!» –
Как сказал нам поэт Берендгоф.
Как бывало не раз в этом мире,
Наступает назначенный час,
И народ с незамеченной лиры
Не спускает восторженных глаз.

Далее Рюрик Ивнев о Пастернаке. Его поражала манера поэта разговаривать. (В возрасте он был равен Мандельштаму, и, как он, был уже известен). Порывистая речь, состоящая из недомолвок. И как бы нанизанные друг на друга, «сталкивавшиеся и мешавшие друг другу, но иногда, выстроенные в колонну, они ослепляли своим блеском и глубиной мысли».

«Пастернак всегда был одинаков. Сам он не играл, но в нем играло всё: глаза, губы, брови, руки. Он всегда был напряжен как струна и не умел держать себя просто. Для него не существовало обычного разговора. Мне кажется, ему было мучительно говорить обыденные вещи, он боялся простых, ничего не значащих разговоров, старался от них убежать. Это не значит, что он любил разглагольствовать, напротив – это так же его отвлекало; он был ежеминутным строителем, архитектором разговора. Он раскладывал слова как никто и заставлял их звучать, переливаться всеми красками радуги, быть обычными и в то же время непохожими на те, которые произносят остальные люди. Из него бил какой-то огонь, невидимый, но пожирающий его самого и его собеседников. Он восхищал, очаровывал, и утомлял, как гипнотизер, а после разговора с ним человек, любивший и понимавший его, отходил, шатаясь от усталости и наслаждения, а непонимавший – с глупой улыбкой, пожимая плечами». Я прошу извинения за длинную цитату, но я ничего подобного не читала в печати о Борисе Пастернаке, и у себя, хорошо и много лет его знавшей; и, приводя эту цитату, не могла позволить себе где-то прервать ее – для оценки, ибо она тоже, как и Борис, восхищала и действовала несколько гипнотически. Ивнев схватил, запомнил и нужными точными эпитетами попробовал назвать, передать беседу с Борисом – сам Борис, думаю, не оспорил бы тут ничего или только по привычной скромности, застенчивости и нежеланию согласиться со своею отмеченностью. И мне вспоминается за долгую мою жизнь (за 9 десятков, уже разменяв 10-й), я забыла *кто* рассказал, что друзья Бориса, видя кого-то расстроенного или духом павшего, говорили: «Ему нужно прописать 25 капель Пастернака…» – уверенные в их как бы магическом действии.

Но вот не менее замечательные записи Ивнева, настоящие перлы, падающие с его пера и остающиеся, достающиеся нам драгоценности памяти: заболев, Ивнев был у себя, когда зашли его навестить Осип Мандельштам, Борис Пастернак и Велимир Хлебников. И хотя по его наблюдению Мандельштам и Пастернак оба не любили читать стихов своих, неохотно шли на просьбы читать. В этот раз разговор зашел о поэзии. Вот что Ивнев запомнил из слов Мандельштама: «Стихи должны или убивать или возрождать, сжигать как огонь или обжигать как

лёд! Быть бальзамом или плетью! А если они ни то ни не другое, значит это манная каша, которая не нужна никому, кроме беззубых стариков и старух».

«Хороших поэтов, я говорю о живых, а не о мертвых, у нас наперечет, а хороших стихов и того меньше, – говорил Мандельштам. – Трагедия русской поэзии в том, что у нас нет больше Белинского, да и вряд ли будет. Читатели, как бы образованы они ни были, это стадо овец, которые не могут обойтись без пастуха… Поэзии необходим критик, как живому организму вода… Не путайте поэтов со стихотворцами. Эти всегда будут наполнять здания редакций, конференц-залы академий и дворцы владык, и среди этих толп раз в несколько столетий вы найдете Гёте, Державина, Пушкина…».

Хлебников слушал молча, – пишет Ивнев, могло показаться, что он думает о другом. Но он сказал: «А нужен ли пастух вообще?.. Пусть стадо остается стадом, но ведь кроме овец, существуют и мыслящие люди. Пусть они сами решают, какая поэзия им ближе и дороже. Нет поэтов и нет стихотворцев. Есть люди, которые называют себя поэтами, и есть люди, которые дают это звание другим. Такие звания похожи на табель о рангах… Мне кажется, что вы, – обратился он к Мандельштаму, – сами того не желая, попали в сети старых образов и мыслей.

Осип Эмилъевич расхохотался.

– Дорогой Велимир, с вами невозможно говорить серьезно. Вы – ребенок, пусть гениальный, но все же ребенок!

Хлебников не обиделся, но и не улыбнулся. Он сидел всегда то ли полуприсутствуя, то ли полуотсутствуя.

– Всё это не то, что нам надо сегодня, – сказал Борис Пастернак, своей мягкой улыбкой как бы желая примирить спорящих. – Мы не можем переделать мир в один день. Революция не английский парламент. Мы сейчас на вулкане и должны стремиться к тому, чтобы он не был гибельным для литературы, Дело не в рангах и вкусах, а в самой сущности поэзии. Она всегда будет неровной, спорной, всегда будет двигаться и никогда не остановится. Это вулкан в вулкане революции».

Оставляя в стороне *моё* непонимание ответа Мандельштама Хлебникову (это – не тема – и темой сможет стать лишь тогда, когда в этом у меня найдутся союзники, ибо не обо мне – речь), я возвращаюсь к тому, как редкостно – нужна *нашему* времени эта неповторимая встреча у Ивнева трех крупных эпохальных поэтов, являясь голосом – трехголосьем! – самой уже ускользающей эпохи, еще трепещущей в наших неотдающих, жадных руках… Какая благодарность Рюрику Ивневу, «подслушавшему» и сохранившему эту беседу! Но жаль мне, что он штрихами, мазками, любой живописной техникой не набросал *пор-*

треты говоривших! Их силуэты, их рост, особенности их голосов, род огня, освещавшего их лица, крутую разницу их манер, их походок, то окно или ту лампу, что озаряло в тот час этот триптих. И еще мне захотелось с размаху, налету, резко и радостно – дать разницу их стихотворных страниц – попросту бросить голосом в воздух четверостишия всех этих трех, ушедших в тот мир поэтов, которых я слышала – Бориса и Осипа, а Велимира слышу со страниц его тоненьких, недавно вышедших книжек, мне трудно звучащих, но об авторе коих моя сестра Марина Цветаева оставила: «Соловьиный стон Хлебникова…».

А встречи Ивнева с Вячеславом Ивановым и Иннокентием Анненским! Мы читаем о них в другой книге Ивнева.

Почти одновременно Мариенгоф с друзьями-имажинистами затеял издание журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасное». И понадобился портрет Рюрика Ивнева. Мариенгоф захотел, чтобы писал его Георгий Якулов, – лучший, по его мнению, художник. Но тот заболел – «придя к Мариенгофу, – пишет Ивнев, – я не узнал его, ибо за последние дни так привык к его мрачному виду, что не представлял себе увидеть его прежним, сияющим. Словно осколок солнца упал в комнату. Веселый и жизнерадостный Мариенгоф бросился мне навстречу.

– А я только хотел бежать за тобой. Золотой памятник следует воздвигнуть доктору Плетневу: он воскресил вашего Якулошку… завтра ровно в час я поведу тебя за ручку к нему, как водят в школу малышей». К чести Ивнева сам он был много равнодушнее к этому, чем Мариенгоф – он не гордился тем, что его напишет Якулов.

Ивнев сгущает внимание на тех явлениях жизни, где вскрывается глубина проблем. Вспоминает как Мариенгоф, писавший *пьесы*, сказал ему: «…мне иногда кажется, что мысли существуют отдельно от нас и что они не приходят, а врываются, часто помимо нашей воли, к нам в голову. Я убежден, что раз эта мысль ворвалась ко мне, то она уже не покинет меня, пока я не напишу пьесу. А теперь довольно об этом. Никогда не надо много рассказывать о своих замыслах. Это размагничивает».

Эти размышления о технике процесса творчества сильно занимали, видимо, Ивнева, и, может быть, еще больше картина разницы этого у различных писателей; все разнообразие жизни, человеческих типов, особенностей характеров живо интересовало его. Он рассказывает о встрече Мариенгофа с Бальмонтом у профессора Сакулина, высокого благообразного старика с огромной бородой времен Василия III. «Бальмонт сидел на диване грустный и задумчивый и вяло беседовал с Вячеславом Ивановным, крупным теоретиком символизма, одним из самых

образованных людей России, говорившим свободно по латыни, не считая почти всех европейских языков. Отвлеченная философия настолько поглотила его, что все остальные вопросы как бы перестали существовать… Но сейчас… беседа двух друзей… напоминала разговор незнакомых пассажиров в поезде, вдруг обретших друг друга, нежданно, в счастливый час свободного полета по исчезнувшим в вечере полям…

В это время в комнату вошел новый гость. Это был пожилой человек в шевиотовом костюме заграничного покроя. Бальмонт оживился.

– А, дорогой Юргис! Наконец-то я тебя встретил. Все никак не мог найти.

– Неудивительно. Я был в Вильнюсе. Оформлял мое назначение полномочным представителем Литвы в РСФСР.

Бальмонт захохотал:

– Сказки Шехерезады! Юргис Балтрушайтис, коренной москвич, наш соратник по борьбе за утверждение символизма – посол Литвы. Не хватает Ивана Грозного и князя Курбского! Литва! Литва, грозившая Москве, Иван Грозный собирает полки.

– Все это в далеком прошлом, – улыбнулся Балтрушайтис. – Теперь Литва не тигр, а маленький кролик. Она не только ни на кого не собирается нападать, но сама дрожит от страха, что нападут на неё.

– Все-таки это величайшая фантастика, – не унимался Бальмонт.

– Нет, это не фантастика, но величайший парадокс, – мягко улыбаясь и поглаживая свою огромную бороду, проговорил Сакулин. – Ведь эмигранты дорого дали бы, чтобы очутиться в вашем положении, – обратился он к Балтрушайтису… Среди бушующего моря революции вы спокойно плывете на своей яхте, на борту которой сверкают золотые буквы: „персона грата“…

И звучит спокойный голос Балтрушайтиса: „Все равно, я никогда не покинул бы Москвы“. Бальмонт съежился…» (И Ивнев думает, что) «ему стало неловко, что его друг, этот обрусевший литовец больше любит Москву, чем он…».

Но автор продолжает проникать в душу своей натуры. Бальмонт «откинул голову, провел рукой по своей рыжей шевелюре и задумчиво произнес, смотря без всякой зависти в глаза Юргиса:

– Дорогой друг! Жаль, что здесь нет вина, чтобы выпить за его величество случай».

Занавес поднят и голос эпохи звучит ярко и властно. Но всякому действию приходит конец. Я написала обо всем, к чему ближе стояла в повести Рюрика Ивнева, занавес падает.

Нет, он задергивается на минуту. Есенин, которого я не знала, по-

дал голос, еще теплый, живой, но в пути которого звучали для меня горькие ноты…

Ивнев близко и долго дружил с Есениным. И однажды – каприз поэта? – стал настойчиво спрашивать Рюрика, любит ли он его. И на его ответ, в котором звучали слова «твои стихи», он с нетерпеливой тоской прервал Рюрика: «Так я и знал… мои стихи… я тебя не про стихи спрашиваю, а про самого себя…».

Нет, это не каприз поэта! В часто веселом голосе его дрогнула грозная интонация? Тоска одиночества – среди шума его известности, успеха, встреч с талантливыми людьми – столькими! Есенин искал друга!..

И мне вспомнилась зима 1926 года, когда две недели спустя смерти Есенина я в доме отдыха ЦЕКУБУ «Узкое», бывшем имении Трубецких, встретилась с сестрой Сергея Есенина – Катей, тогда замужем за крестьянским поэтом Василием Наседкиным.

– Смерть Сережи произошла потому, что он был один, – сказала она мне. Будь тогда в Ленинграде мама или я, – ничего бы не случилось… Но нас не было. А он не выносил одиночества.

Да, одиночества он бежал, повторяя свой вопрос Рюрику Ивневу.

Но занавес падает – всё, что я смогла сказать о книге Ивнева – я сказала.

СЕРДЦЕ – К СЕРДЦУ…

Рюрик Ивнев. Избранное. М., Художественная литература, 1985.

Не могу вспомнить, в каком году точно было моё предполагаемое знакомство с Рюриком Ивневым. Возможно, между 1959 и 1962 годами у Мальвины Марьяновой, жившей, кажется, в каком-то переулке от Садовой. У неё в определённые дни недели вечером встречались писатели.

Нельзя не сказать несколько слов о ней. Мальвина Марьянова была довольно пожилая, небольшого роста женщина. Её увядающее лицо было добро, приветливо. Даже в тяжёлые годы она старалась «принять» к ней приходящих и из последних возможностей пекла хоть какой-нибудь пирожок – тоненький, но чтобы всем по кусочку хватило к чаю, коим она обносила гостей. Только теперь, прочтя посвящение ей Ивнева, я узнала, что она в молодости была хороша – от её красоты следа не было, но и портрета, воспетого Ивневым, уже не было на её стенах. Жила она одна, в бедности.

Всё, что прошло, тобою не забыто,
Осталась боль, хотя ушли года.
Италия была у ног твоих, когда
Тебя писал Винченцио Джемито…

Людской поток стремился к Ван-Тассо,
Чтоб видеть свет, чтоб видеть облик твой.
О Джиоконде, ставшей вновь живой,
Весть пронеслась повсюду громогласно…

Прошли года. Художник опочил.
Ты сохранила в памяти Джемито.
Румянец бледный на твоих ланитах
Чуть теплится, как огонёк свечи.

«Так вот какая была Мальвина!» – вспыхивает во мне озарение, и, бывая у неё близ Садовой, видя её доброй хозяйкой бедной комнаты, где она принимала друзей-литераторов, подвигающей каждому стакан чаю и кусочек на последи грош испечённого пирожка… Как перевоплощалась она в тебе – опять тема памяти! – зная, что где-то висит ли? Стоит ли в запаснике? портрет её радостной юности, её цветения её женской неувядаемой красоты. Этот труд художника, заслуживший ему славу – из всех стран, откуда съезжались – взглянуть на него – путешественники.

Должно быть, через неё мы условились с Ивневым встретиться, не встретившись в Союзе писателей.

Мы назначили удобный нам день, но я задержалась не по своей вине в учреждении, спешила, готовясь к извинениям за опоздание, и, когда я пришла, узнала, что Ивнев был, ждал и, сожалея о несостоявшейся встрече, незадолго до моего прихода ушёл.

А потом пошли года – и длились долго, я собралась ехать в Казахстан в семью сына – не судьба была встретиться нам с Рюриком в наши с ним 60-е годы. Зато мы встретились теперь в этой книге в мои 90-е годы, пять лет спустя после его смерти.

Но эта встреча – вплотную, сердце к сердцу, рука к руке.

В этой пристальной моей о нём заботе мы идём с ним за руку, хотя в разных мирах.

Сколько я за мои почти 92 года прочла сборников стихов! Они тоже, как и стихи Рюрика Ивнева, были о многом, о разном, почему же

мне именно в этой – и только в этой книге захотелось их разделить на темы и о каждой такой теме сказать?

То постоянство, с каким Ивнев возвращается к каждой своей теме, входит в сердце читающего некой улыбкой встречи, радует той радостью, с какой он возвращается к полюбленному – словно вновь входит в оставленный ненадолго дом свой, вновь всходит по знакомым ступенькам на родное крыльцо, по которому уже соскучился! Никогда не было мне скучно вслед за ним подыматься по тем же ступеням – всегда радостно. И ходить по знакомым комнатам становящегося всё более родным дома. Так каковы его темы?

Родина – природа – стихи к матери – стихи о животных – обожаемый город Тбилиси – всплески чистой лирики, Грузия – тема памяти… снова к матери сердце рванулось – и его мать становится вашей темой, и его мать становится – вашей!

Я в тоске зову тебя и знаю,
Что напрасно я тебя зову.
И, не видя, вижу я, родная,
Насыпь небольшую и траву…

…Боль моя – пусть только капля в море,
Но ведь в этой капельке одной –
Всех сердец осиротевших горе
И начало тяжести земной.

Мать и сын были слиты, как это редко бывает, когда вырастает сын. И именно этому редкому союзу было суждено испытать – нежданно – разлуку. И через всю жизнь его до глубокой старости с ним шла тоска о матери. Её образ не покидает его. Ему её не хватает, как если бы он был ребёнком.

Матери он посвящает одно за другим стихотворения, ненасытимо воскрешает её образ: «Не мучь меня, о солнце золотое!..», «Но!.. Боже мой, что ныне стало с нами?..», «Я в тоске зову тебя и знаю…», «Явись ко мне сквозь тысячи миров…» и другие. Вот что он пишет в уже пожилом возрасте:

Мальчик крикнул: «Мама, Мама!»
Мать ответила: «Сейчас!»
Слёзы брызнули упрямо
Из моих потухших глаз.

В этот вечер полулетний
Вдруг, наперекор судьбе,
Я, пятидесятилетний,
Позавидовал тебе.

Вы входите в детство, юность поэта, и наступает зрелость. Победа Поэзии! – мощь стоит на подмостках… восхищением полнится сердце слушателя, ум читателя, и вот уже серебром вспыхивает голова поэта, познаньем старости озаряется зрелость – сколько сокровищ! Не отвести от страниц глаз… Словно река весной в половодье разливается ширь этического воплощения по всё тем же притокам: природа и связь с ней.

…И когда мне делается грустно,
Может быть, у самого окна,
Мне берёза отвечает хрустом
Или скрипом горестным сосна.
Может быть, когда, виски сжимая,
Не могу уснуть я до утра,
Старый дуб Камчатки, умирая,
Слушает удары топора.

В память матери – огни Тбилиси – и вдруг, водопаде воспоминания – «В цирке»:

…Здесь музыка, опилки и шары
Стеклянные, и змеи, и любовь.
Здесь даже солнце вымазано мелом.
И грим на всём, как толстый слой коры,
В загаре бронзового тела.
Пожары, пытки, жертвы и костры.

Книга Ивнева, до сей поры дышавшая лирическими связями мысли и чувства, страницей этой повернулась к видимому миру, к блеску и шуму, к воплощённой и яркой реальности, ослепляя нас игрой красок и звуков в царстве пяти чувств человека – зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса.

И героикой запылала страница «Мария Стюарт»:

Сквозь моря и рокоты глухие
Слышу ясно шорох звёзд и карт.

Это поступь дерзкая Марш,
Красотой сверкающей Стюарт.

Поэт погружается и нас погружает во мрак истории Англии, в суровость древних шотландских замков, за угрюмыми тенями которых сверкает впереди эшафот. Он пишет:

…Что мне хаос четырёх столетий,
Я воскрес, но ты ещё мертва.
В мир чудес закидывая сети,
Я ищу последние слова.

Ивнев перевоплощается в тот мир, в ту историческую эпоху полностью. И, сливая героев истории Англии с собою, ощутив себя – Лестером? Дарилеем? – он пишет:

… Я хочу перевернуть стихию,
Обуздать веленье звёзд и карт.
Я хочу найти свою Марию,
Я хочу найти свою Стюарт.

Ивнев возвращается в свою жизнь, жизнь поэта, коему нет возраста! Он посвящает это стихотворение Е.К.Леонтьевой, жене. Ему восемьдесят пять лет. Но он поэт! А у поэта нет возраста. Разве не пишет он, потрясённый силой в нём зазвучавшей лирики:

…Всё повторяется на свете, –
Вагоны, облака, дымок,
Я, трижды совершеннолетний,
Дышу, как юноша, легко.

Мысль Ивнева проникает в чувство, обогащая и истончая его:

В смятенье сам себе не верю,
Что я по-прежнему пою…

И рождается поэтическое credo и рождается ещё одно credo поэтическое, и они сменяют друг друга, как грани горного хрусталя:

Средь ужаса внезапных катастроф,
Смертей, убийств, пожаров, наводнений

Мы словно запятые между строф
Или, вернее, – призрачные тени.
И если мы сохранены пока,
Считайте это чудом небывалым.
Так будьте другом каждого цветка,
Увядших листьев и травинок малых.
Не разоряйте тёплых птичьих гнёзд,
Не потакайте жалкому невежде

И далее:

И, как зеницу, берегите мост,
Ведущий от отчаянья к надежде.

Поэт задумывается и над превращением чувства в слово. Над воплощением переживания в искусство. Творит философскую лирику.

…И то, что нас легко отвергли
Мы снова превращаем в стих,
Мы сокрушаемся, но скупо,
Когда обидели других.
И боль за наш дурной поступок
Мы снова обращаем в стих.

Однако Ивнев не успокаивается на этом. Он пробивается в моральную проблему жизни. Нам ясно, «что стих, будь трижды он прекрасен, нас от терзаний не спасёт».

И вот ещё одна грань его размышлений, одно чувство, заставившее затрепетать мозг:

С каждым днём мы встречаем
всё реже и реже
В городах лошадей и бродячих собак…

…Я кричу во весь голос,
что не понимаю,
Как нам жить на земле
без живого тепла,
Без мычанья коров и собачьего лая,
Без того, что природа сама нам дала.

А лист прилегает к листку, как день – к дню, как воспоминание – к воспоминанию, и вдруг в руки ложится доверчиво, самозабвенно лохматая морда собаки, жёлтые глаза в счастьи преданности смотрят поэту в душу, и целый обвал рушится в сердце!

Я знаю: никто не заменит собаку –
Она не покинет тебя никогда
И будет безмолвно любить одинаково
Твои золотые и злые года.
В минуту неистовых воплей Борея,
Покорная общей с тобою судьбе,
Не мысля
куда-нибудь скрыться скорее,
Ещё горячее прижмётся к тебе.

Это молодость была? Нет, годы горя и одиночества, года шли в сопровождении собачьего друга. Он всё помнит: дом – полную чашу, и утрату, и отъезд… Неистребимая память! Осень, кладбище и могилы, солнцем пронизанную тишину…

Но собаки идут с нами несдающимся шагом, нашей тенью входят в человечью судьбу.

Настал час – Вы утратили свою тень. И приходит другой час через много дней, много лет – и написано стихотворение. Вы в него, как в саркофаг, положили воспоминание о друге, подарив ему тень…

В книге Ивнева живёт особое внимание к птицам, к тайне полёта. Несколько раз возвращается он в стихах к голубям. И своё бережное отношение к ним, как ко всем животным, умеет выразить любовной зоркостью эпитетов, в описании взлёта их крыльев:

Взмахнули голуби крылами,
Лишь показался я вблизи,
Как будто их настигло пламя,
Как будто гибель им грозит…

…Жизнь возлюбя, как древний витязь,
Завет простых сердец храня,
Всё позабыв, кричу: вернитесь!
Чего вы, глупые, боитесь,
Не улетайте от меня…

В стихах о ласточке уже открыто звучит скорбь поэта о страданиях животных – близость к горю людскому:

…Посмотри на ласточку с птенцами,
Мёртв один и еле жив другой.
А она в отчаяньи крылами
Бьёт себя о камни мостовой.
И поймёшь, что нет таких трагедий,
Чтоб сравнялись с этою тоской…

За долгую жизнь в творчестве Рюрика Ивнева отчётливо звучит тема памяти и забвения, и стихи его, перемежаясь, споря друг с другом (между собою), силой противоречия своего волнением входят в душу читателя:

Бурлит поток воспоминаний
И льётся музыкою вновь.
Ручьи недопитых желаний
Без спроса проникают в кровь.

Мы перебросили лист. Умело и просто, органично и повелительно Ивнев ещё глубже погружает читателя в трагическое волнение:

…Это было. Я вспомнил,
я вспомнил…
Пыль сухая. И мы стоим…
Лабрадоровая каменоломня
И в огнях аметистовых Рим.
… Не изнашивались, не старея
И дыша глубоко и легко,
Мы бродили в широких аллеях
Перекатывающихся веков.

И по музыкальному закону встречи и расставания звуков – гармонически ответ:

…Забыл я всё: и имя, и отчество,
И всё, чем жизнь была полна.
Над степью с дымкой одиночества
Плывёт огромная луна.

В книге несколько стихотворений, посвящённых Сергею Есенину. В 1915 году на благотворительном вечере в пользу раненых к Ивневу

подошёл Есенин – и с того дня началась их дружба. Крепла. Поэты посвящали друг другу стихи.

В 1944 году Ивнев написал стихи, озаглавленные «Сыну Есенина».

…Давно ли юным ты пропел мне песни,
И вот твой сын стоит передо мной,
Как твой двойник,
как вечной жизни вестник,
Как деревцо с есенинской листвой…

Я цитирую только четыре строки. В них вся завязь стихотворения. Какой лаконизм! Какая боль второй встречи! И какое чувство победы жизни над смертью, через всё горе утраты. Мажор Жизни звучал Ивневу сильней всей пленительности минора, он побеждён!

Тбилиси! Город, где мне не пришлось быть – за мою долгую жизнь. И, конечно, уже не буду. А Ивневу – город рождения, город его детства! И город, куда он всегда возвращается, и биографически, и стихотворно, процессом стихотворения (в два слова!) после ритмических перерывов поивший его, вновь и вновь жаром воспоминанья и встречи, – и моё сердце, не видевшее его города, отражённо горит вниманием и вслушиванием – кто лучше, чем он, зажжёт факел над ночным его городом, озарит восходящим солнцем его предместья и окраины? И я послушно и восхищённо вижу тбилисскую ночь, вместе с ним, уроженцем, вступаю на заре в зарёй озарённые сады и дома, ещё спящие, воспеваемого им города… Кто возьмётся утверждать, что я не была в Грузии? И я колеблюсь в этом – сама…

…Резьба балконов, окон и перил,
Дома, в которых каждый камень мил,
И тёплый воздух, лаской напоённый,
Убор осенний, золотой и синий,
И рокот Мтквари,
словно гимн без слов…

Каким лаконизмом достигает Рюрик Ивнев воссоздание исторической картины – в стихах! Ещё только начались строки о татарском нашествии – а уж ты погружён в быт, в воздух тех легендарных веков… Как находит поэт слова, нужные, неизбежные – для рождения в те века? Уже ты оторван, напрочь оторван от твоей общей современности с Ивневым. И сами промежутки меж строк напоены дыханием тех дней, насыщенностью стариной – как это бывает во сне, когда, утеряв явь, ты

плывёшь по той реке, возле которой рос в детстве, рвёшь с кустарника те ягоды, коих ты не видал с юности – но ты ощущаешь их вкус во рту!

История…

…Песок и кровь. Татары шли ордой,
Топча посевы и тела нагие.
Царили птицы также над водой,
Блестели также стремена тугие.
Варили пищу. Пели на заре.
Костры дымили. Лошади потели.
И кости птиц домашних и зверей
На человеческих зубах хрустели.
И тот же дым, и тот же ветерок,
И те же пиршества (и музыка, и небо),
Чужие песни. Топот быстрых ног
И запах (горького немного) хлеба.
Здесь кровь татар и русских пролилась,
Крутые лбы раскалывая сланцем.
История, как всадник, пронеслась.
За ней – другие всадники промчатся…

Мы пришли к концу сборника. Это 712-я страница.
Это последний день Рюрика Ивнева.
Ему почти 90 лет.
Это 19 февраля 1981 года.
В этот день им написано его последнее стихотворение

Из-под ног уплывает земля, –
Это плохо и хорошо
Это значит, что мысленно я
От неё далеко отошёл.
Это значит, что сердцу в груди
Стало тесно, как в тёмном углу.
Это значит, что всё впереди,
Но уже на другом берегу.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТИХАХ РЮРИКА ИВНЕВА

Перед нами книга стихов Рюрика Ивнеева, не бывших в печати. Это стихи всех лет, от юности и до смерти, но есть нечто, что соединяет их. Это – удивительный жар жизни, сохранившийся в нем до конца с того часа, когда перо его впервые коснулось стихотворной строки, и до последнего дня, когда, еще держа перо в руке, уже ощущая дыхание смерти, кончая счеты с жизнью, он продолжал прославлять ее и Творца, их давшего.

Его пылкое сострадание не только к людям, но и к природе, птицам, животным, помогло ему, с открытыми глазами на все страдающее, прожить жизнь, духом не падая, а продолжая воспевать жизнь, прозревая и в страдании таинственный и победный высший смысл.

Этим он нам дорог и ценен. Старший брат, тянущий руку младшему. Послушаем же его в подтверждение основного тонуса его сердца:

Пусть жизнь прошла или проходит,
Она вернется вновь и вновь,
Как ветерок на пароходе,
Как вечно юная любовь.

…Цветущие розы мне снились всю ночь
В садах золотых Апшерона.
Казалось мне, было все это точь – в – точь,
Как в сказке, любовью рожденной.
Надолго ли этот сладчайший обман,
Снимающий с сердца тревогу,
Я знаю, что розы заменит бурьян
И вновь предстоит мне дорога.
Но в эти минуты, пока я плыву
По волнам своих сновидений,
Я, может быть, даже полнее живу,
Чем днем, проносящимся тенью.

И вот сострадание к животным. Диалог с собой:

…Не довольно ль тебе, что заботимся
Мы о людях, им пища и кров…
Как же быть с моей дерзкой совестью,

Вырывающейся из оков?
Примириться не как не желающей
С общей нормой обычных умов,
А мечтающей всех утопающих
От кричащих до жалобны лающих
Довести до сухих берегов.

Но вот рушится на страну война – первая и вторая… Но Рюрик стоит наготове:

И в каждом голосе – Россия,
И в каждом взоре синева,
И в каждом чувствую простые
Святые русские слова.
За нас Господь и с нами – сила,
И одинаково сильны
И те, кто Им сохранены,
И те кому удел – могила.

Березы, березы, березы,
Дымок над Россией моей,
Соленые теплые слезы
Терзающихся матерей…

Идет война, и не стареет Рюрик Ивнеев:

…Под гул орудий окаянной битвы
И скрип сапог, стоящих на часах,
Мир держится на ниточке молитв
Отшельников, затерянных в лесах.

И вот приближается старость. Ивнев встречает ее на пороге стихом:

Угасло молодое племя,
И стали резкими черты,
А кто – то юными глазами
Ласкает эти же кусты.
И то же вечное волненье
Передается молча им,
Как сила вечного движенья

Под небом вечно голубым.

Но жизнь прошла. И с нею надо расстаться. Для этого надо собрать все свое мужество и веру в Вечную Жизнь. И поэт остается поэтом. Послушаем, как он прощается с жизнью:

…Я не дышу. Холодное солнце меркнет.
Земля под ногами – липкий клей.
Вот зеленый бокал. В нем напиток крепкий.
Друг мой, в последний раз налей.
Завтра – ночь. Солнца больше не будет.
Земля распята. Ты так хотел.
И ты моли о последнем чуде,
О том, чтобы голос мой не истлел.
И там – в просторах полей, скитаний –
Ты вздрогнешь весь, увидев меня.
Я буду вечно мерцать в тумане,
Воздушной музыкой звеня.

Так поэт остается поэтом даже перед лицом смерти.

Часть VI

КНИГА О МОЕМ ОТЦЕ

Ю. М. Каган «И. В. Цветаев Жизнь. Деятельность. Личность – Москва, «Наука», 1987.

Передо мной книга Ю.М.Каган о моем отце. Какой это подарок мне! Какой нравственный пример для молодых! Давно я не испытывала такой радости от чтения книги.

Передо мной – живой человек, любимый, так давно утраченный и оплаканный. Он стоит, оживший, во всей сложности дорогого, знакомого облика, чудом любви и таланта вызванный вновь на свет Божий.

Я ненасытно перехожу от страницы к странице по всему пути созидания книги. Рука автора прикасается так бережно, со всем вниманием уважения и изучения к трудной, даже героической жизни, отданной высоким целям просвещения, студентам, не могущим увидеть замечательных произведений искусства давних времен, дальних стран… Возникла мечта – здесь, в центре России основать большой Музей! И автор пишет об этом, проникаясь важностью задуманного и подвигом воплощения.

Словно за руку ведет автор читателя по всей жизни моего отца – от деревенского детства и Шуйского духовного училища к профессуре (уже в 29 лет!). Диссертация по классической филологии – о древних италийских языках, написанная на латинском языке, изумила европейских ученых, вызвала в них горячий интерес к русской науке! И потом – Музей Изящных искусств! 24 года безвозмездно строил его мой отец и собирал коллекции! Вспоминаются слова Ильи Репина в год открытия Музея (1912): «Какую жемчужину подарил нам Цветаев, какая экс-

позиция! Как продуман каждый шаг!». Но прошло с тех слов 77 лет! И вот – в наши дни высокообразованная латинистка Юдифь Матвеевна Каган прошла за моим отцом по всем перепутьям – архивным, журнальным и книжным! Сколько труда, в свою очередь, положила она на книгу, не сравнимую по качеству с тем, что до нее было об этом написано! Какими словами мне, дочери, на 94-м году жизни выразить свою благодарность!

Но что еще удивительно в этой книге – это качество каждой ее строки. Словно она вся написана в один вдохновенный час. Зрение не позволяет мне читать страницу за страницей – мне ее читают вслух, чередой, друзья мои в Доме творчества в Переделкине в майские и июньские дни между сном, трапезами – и не было случая, чтобы мы закрыли книгу вовремя, в нужный час. Всегда, взглянув на часы, кто-то из нас: «Да, пора. Но еще немножечко почитаем». И затем: «До конца главы, хорошо?» – полувопросом. И расстаемся с книгой, как отдирая себя от нее, насильно, с нотой негодования в голосах, вздохнув.

Тема за темой, рассказ за рассказом, эти части, сменяя друг друга, не сбавляют внимания – темы с вариациями, как сказал, по-моему, Пастернак, идут друг за другом, как идут волна за волной, планомерно, в невероятности смены волн. Но я ведь не в первый раз слушаю эту книгу, эпопею жизни моего отца, его деятельности. Сама автор читала мне и моей подруге Е.Ф.Куниной главу за главой несколько лет назад в Эстонии. А потом пошли (и прошли – слава Богу!) годы ее в издательстве «Наука», когда при несомненности качества книги, увы, приходилось доказывать достоверность, просто отстаивать главу за главой. И вот, наконец, книга мне подарена и надписана, и я вхожу в нее, в широчайшие владения автора, так преданно, так погруженно, так самозабвенно ее написавшего. И вновь обнимает меня предельная точность ее тона, музыкальное единство ее страниц – то о начальном обучении, о духовном училище, о семинарии, об университете, о древних надписях на могильных плитах в итальянских городах и деревнях, об их прочтении, то о годах первого брака, о ранней потере любимой жены, о горе вдовства с детьми, о встрече со второй женой – дочерью его помощника и советчика при зарождении идеи создания Музея Изящных искусств, о поездках с ней по разным городам Европы, о чертежах и рисунках жены, об ее архитектурном проекте Музея… И медленно во мне пробуждается, проясняется нужное слово, которое скажет их будущая дочь Марина, говоря о своем в семь лет увлечении Пушкиным, о Евгении и Татьяне: «тайный жар» – вот как Марина Цветаева назвала свое состояние, прочитав «Онегина». Вот этот тайный жар калит книгу о нашем отце. Жар погружения, служения. Всю себя отдав этому служению,

автор переходит вслед за годами жизни отца от одного сообщения к другому, с тихим весельем самой жизни, над ней и ее трудом наклонившейся; излагая терпеливо неисчислимые сложности происходившего. Говорится ли о переезде в Москву Петербургского Румянцевского Музея, о ежегодных ассигнованиях, о коллекции Солдатенкова, о новом университетском уставе, о разнообразии ли отделов, об утверждении штатов служащих переустраиваемого музея, или о разнообразии пожертвованных рукописей в рукописный отдел, где встречаются, как на фестивале истории, имена Пушкина, Даля, Блаватской, Сабашникова, – обо всем мы читаем с тем же тайным жаром, заражаясь им от автора.

Читающий книгу Юдифи Матвеевны Каган об Иване Владимировиче Цветаеве вступает в описываемую эпоху как соучастник, неотрывно следя за развитием мыслей и чувств, зарождением замыслов, за противоборством непонимающих, несогласных и за терпением одолевающих…

Вместе с автором мы входим во все заботы нового директора Румянцевского музея – им стал профессор Цветаев после многих лет службы в других должностях. Читальный зал не вмещает читателей, очередь туда и огорчает и радует. Не хватает помещения для поступающих картин, возникает план постройки нового здания, составляется смета, но недостаток средств разрушает мечты. Едва мы успели огорчиться этой неожиданной неудачей, как мы званы на радость узнать, что дежурным по залу был многие годы необыкновенный человек, философ Н.Федоров, которым интересовались такие корифеи, как Вл.Соловьев, Ф.Достоевский, Л.Толстой, и Цветаев пишет о нем – о скромности его, его бедности и богатстве – познаниями и любовью к людям… Встреча с таким человеком надолго согревает читателя, освещая путь его чтения, утешая в уже вновь настающих для героя книги невзгодах, вселяя надежду на победу добра над косностью изобличенного зла.

Так, шаг за шагом, философия автора входит в душу читателя, он с удивлением чувствует, что привязывается к этой книге узами созидающего родства, вместе с автором входит в жизнь Цветаева как в дом друга, негодует, когда кто-то ему возражает, не оценив его бескорыстности и усердия, и счастлив, как и он, когда затеянное воплощается, когда его кто-то оценил, поддержал, помог. Так, усилием автора, овладевшего множеством материала, книга погружает нас в канувшую эпоху до такой степени, что мы уже поселились в ней. Жизнь, как мельница, между жерновами своими перемалывает время и труд, события, дружбы, встречи… Талант автора вовлек нас в действие чтения, и усталость восприятия – плодотворна.

Интересно читать было мне, служившей в Музее после моего отца с 1924 по 1932 год, отрывок из письма отца к Р.И.Клейну: «Я описывал гравюры целый ряд лет, сидя по зимам в холодном помещении, которое и натопить было трудно…». Вспомнились мне трудные годы после разрухи, когда я, его дочь, и мои сверстницы, сотрудницы Библиотеки Музея Изящных искусств, – то бишь Изобразительных искусств – писали библиотечные карточки – «библиотечным почерком» – при + 3-5° С, руками в перчатках. История повторяется…

Мы подходим к середине книги. Изучая то время, автор приводит цитату из письма В. И. Вернадского о тяжелых днях в Университете, когда, ввиду сходок и волнений студентов, 800 студентов были уволены до осени. Идет высылка из Москвы. И сообщается, что профессор Цветаев едет хлопотать за репетитора сына, живущего у нас в доме. И читатель радуется, узнав, что 90 лет назад профессору удалось освободить студента от высылки. Ему, Ивану Владимировичу, поборнику просвещения, кажется огорчительным все, что этому просвещению мешает, и этому убеждению он остается верен всю жизнь.

Будучи далек от политики, он всегда сочувствовал студентам, которые преследовались, стоял за «благородный характер наук, ради которых молодежь собиралась в образовательные центры». Узнаем о его симпатии к студенческим союзам для целей серьезных, для совместной работы, о его глубоком сочувствии женскому образованию.

Едва оправясь от тяжелой сердечной болезни после смерти второй жены, Цветаев на заседании уже строящегося Музея говорит о том, что за весь свой опыт жизни он знал только двух женщин, столь образованных по истории искусств, – Зинаиду Волконскую и покойную свою жену и помощницу, которая горевала, умирая, что не увидит Музея открытого.

Медленно идут годы труда, теперь без подруги и помощницы, учащаются недомогания, и все отодвигается год открытия Музея, но тайный жар воплощающейся мечты поддерживает сердце – и уже дочь Марина ведет его переписку на иностранных языках, жизнь идет – и книга продолжается.

Как удивительно мне читать письмо ученика моего отца, профессора Н.И.Романова, к своему учителю! Вспоминая свои студенческие годы, он пишет: «В Ваших лекциях была какая-то особая внутренняя жизнь… дух любви к науке, который *согревал* изложение и делал близким даже самое далекое…» *«Согревал!* (курсив мой – *А.Ц.).* Круг завершается! Вот он, тайный жар, согревающий автора книги и греющий нас, читателей… И еще один круг завершается – соединяющий два поколения, генетический круг; читаем у Ю.М. Каган: «Восхищение ис-

кусством Родена очень примечательно для старого профессора, знатока античного искусства (Родена боготворил Райнер Мария Рильке, поэт, очень любимый Мариной Цветаевой)». (А я вспоминаю не Мариной ли мне сказанные слова Родена об искусстве скульптуры: «Отбрось все лишнее – и будет статуя». Вспоминаю по памяти. Меня, тогда еще совсем молодую, почти девочку, восхитили эти слова.)

А Музей воплощался! То великолепное место – огромное, напротив Храма Христа Спасителя, где был прежде извозчичий двор, пересыльная тюрьма, подарило надежду принять в себя античное здание будущего Музея Изящных искусств! Цветаев говорил о ценных советах его второго тестя, Александра Даниловича Мейна, с которым они «в Неопалимовском переулке на Плющихе не раз в семейном кругу составляли планы дальнейшей стратегии»… И далее, далее! О завещавшей на Музей 150 тысяч старушке-купчихе В.А.Алексеевой (добавлю то, что не сказано у Ю.М.Каган: очень больная, услыхав похоронный звон, она спросила, по ком он. И узнав, что скончался царь Александр III, сказала: «Так пусть же наш Музей будущий называется его именем». В те времена исполняли волю умирающих, а В.А.Алексеева вскоре умерла, и Музей был назван так по воле ее завещания. Видно, судьба выпала Музею, который созидал мой отец безвозмездно 24 года, носить случайные для него имена: Александра III, А.С.Пушкина. И далее – о череде жертвователей, кроме главного, – Юрия Степановича Нечаева-Мальцева – на благо просвещения, еще одна деятельность Цветаева – предложение участвовать, уговоры, годы и годы терпения, недостатки в кассе Музея (и тогда в кассу приходили деньги «от неизвестного жертвователя» – Юрия Степановича). С детства во мне осталась цифра цены здания Музея, 3 миллиона, дарованных Нечаевым-Мальцевым – владельцем завода в Гусе-Хрустальном… (И опять из детских лет – в память – цифры: по 350 тысяч давал он на Музей в какие-то годы, до революции 1905 года, во время которой выстрелы перебили хрусталь, и тогда управляющие отказались давать на Музей. Был трагический час смятения, но и тут помог Юрий Степанович: выторговал у своих управляющих 120 тысяч в год…)

…«Имена жертвователей присваивались тем залам, создание которых жертвователи финансировали». Цветаев писал, что 18 февраля… фабрикант А.Е.Арманд сначала внес 3 тысячи, но стоило отцу съездить к нему, по душам поговорить о Музее, и 19-го уже было от него заявление – 30 тысяч на зал имени его покойного отца. Есть и такая запись: «Следствием беседы было то, что Муромцев взял на себя зал Ниобы стоимостью в 22 944 рубля. Грустный сюжет этого зала он выбрал потому, что недавно потерял своего единственного сына и наследника всего

своего состояния». (А в другом месте дневника, вспоминаю я, значилось, что такой-то туз обещал оплатить такую-то коллекцию, а когда из-за границы пришла эта коллекция, оказалось, что обещавший уехал на воды в Баден-Баден.)

Все коллекции слепков из музеев Германии, Австрии, из формовочных мастерских Италии, Англии, Франции шли на фамилию Цветаева. «Пришлось идти в государственный банк и запустить руку в детские деньги и уплатить». «Детские деньги» – так называл профессор свои сбережения от служебных заработков, хранимые в Государственном банке – завещанные детям на будущее…

Повествуя о выборе сортов мрамора для облицовки здания, автор, не пропускающий ничего, что нужно знать внимательному читателю, сообщает, что сперва намеченный для этого сорт, «доломит», которым облицован был стоящий напротив будущего Музея Храм Христа Спасителя, оказался недостижимым, так как карьеры под Коломной были затоплены водами Оки. Так шаг за шагом идет автор по путям удач и неудач будущего Музея, вводя читателя в заботы тех лет, переселяя его в былое, сродняя с ним, знакомя с выбранным для главного фасада ионическим стилем восточного фасада храма на Акрополе в Афинах. Мы узнаем и о возражениях архитектора – И. Клейна, о сложности правоты противоположных мнений, проходим тернистым путем созидателей, тем еще более сроднясь с эпохой. Узнаем, сколько имен – и какие имена современных художников вплели себя в проблемы нового Московского музея, как широка и разнообразна была помощь культурных сил России. И только что порадовавшись этому, погружаемся в бесконечные трудности воплощения принятых решений, в первую очередь материальных, – и в то, как все это падало на плечи Цветаева, старого уже, переутомленного. Из бесед в кабинете отца я, тогда еще девочка, вспоминаю названия стран, откуда пойдут к нам разноцветные мраморы, помню запавшее в детскую любопытствующую голову слово «Норвегия». И снова назад в Россию – «ломки уральского мрамора под Златоустом».

Возражая тем, кто во время созидания Музея Изящных Искусств критиковал будущие слепки (забывая основной замысел Цветаева – педагогический, для русской молодежи), Ю.Каган говорит, что и многие из древних статуй, к нам дошедших, в свою очередь, были копиями, нередко из другого материала повторением, например – статуя, первоначально отлитая в бронзе, повторена была в мраморе. И надо быть специалистом, чтобы – по определенным приметам, отличить древние статуи от древних же их копий. Сама десятилетиями преподававшая латинский язык, она тонко и четко отвергает несправедливые нападки на слово «слепок», убедительно защищает необходимость замысла

нового музея. Она ссылается на профессора В.К. Мальмберга, написавшего, что лишь мало кому из студентов могло удаться поехать в Константинополь, в Мадрид, в Палермо или в Стокгольм и что именно эта невозможность находит разрешение в новом строящемся Музее.

Далее – теоретическим размышлениям о подлинности и неподлинности произведений искусств противоречит тот факт, что нет ни одного маленького немецкого университета, который не имел бы музея гипсовых слепков эллино-римского ваяния, и нет такого профессора классической археологии, который бы с особой любовью не заведовал этим учреждением.

Читая страницы, отведенные рассказу о коллекции египетских оригиналов, принадлежавшей В.С.Голенищеву, страстному египтологу, собиравшему ее в течение целой жизни и принужденному с нею в конце жизни расстаться (помнится мне, из-за проигравшегося племянника), я вспоминаю рассказ отца о том, как Америка предложила Голенищеву полмиллиона за его коллекцию, но он согласился на значительно меньшую сумму, предложенную Россией – лишь бы коллекция осталась на его родине. И ожило в памяти волнение в нашем доме, когда мы вместе с отцом переживали смутные дни решения, куда отдаст министр просвещения эту коллекцию – в Эрмитаж или в Новый Музей. «Эрмитаж переполнен, – говорил отец, – для нашего Музея это было бы так ко времени!»… И мы мечтали о будущих египетских залах… Помню, отец ездил по этому делу к самому высокому начальству в Петербург – тогдашнюю резиденцию царского правительства, заинтересовал этим вопросом царя, и что утвердить цену за коллекцию Голенищева распорядился именно царь. И осталась коллекция египетских оригиналов в России, и именно в «нашей» Москве. Отец был счастлив. На него было радостно смотреть, как и в тот день, когда преследуемый недостойным человеком, министром просвещения А.Н.Шварцем, папа – ему грозило отстранение от должности директора Румянцевского музея – с высоким сохранением человеческого достоинства писал защитно-обличительный ответ на несправедливое обвинение его в небрежности, его, 28 лет работавшего в Румянцевском музее, из них 15 директором. Отец вошел ко мне, в мою девичью комнату, на антресолях: «Ася! Не помнишь ли ты – у Лермонтова (мне отец незадолго подарил Полное собрание сочинений Лермонтова, которого я любила больше, чем Пушкина) – где у него, не в «Валерике» ли? такие строки:

«Чего он хочет? Небо ясно,
Но непрестанно и напрасно
Один враждует он… зачем?»

Зная, что отца травят газеты, что ревизия, назначенная, велась недостойными методами и еще более недостойными людьми, радостно бросаюсь помочь отцу. Да, строки оказались в «Валерике», папа списал их и ушел довольный. Я же вслед ему изумленно думала: когда, в своих вечно занятых днях – сколько я себя помнила – мог он читать Лермонтова, моего Лермонтова? И как чудесно, что мой Лермонтов поможет ему оправдаться от клеветы.

Опыт самозащиты был назван «Спорные вопросы», отпечатан книгой, с документальным изложением фактов, и послан в Сенат – царю и еще куда-то. И были дни ликования в нашем доме, когда «сверху» было сделано замечание Шварцу, и он «спешно выехал за границу». Наш скромный старый дом изобиловал в те дни поздравлениями, телеграммами и звонками в переднюю. И только один старик историк Д.И.Иловайский предупреждал отца, что это еще не победа, что Шварц еще яростнее примется за свою клевету… Историк Иловайский оказался прав – недаром он был историк России! – Шварц добился своего, и прежний директор Румянцевского музея был отстранен от должности. Министр отмстил отцу за его, увы, временное торжество, торжество правды над клеветой. Он добился отстранения от должности профессора Цветаева без права получения пенсии… «Что должен я сказать моим детям? – писал мой отец в личном письме, – всю жизнь работал, верой и правдой служа моему Отечеству, – я в старости – разорен…» (Отец до конца своего читал лекции в Университете – для заработка.) Лишь с 31 мая 1912 года, со дня открытия Музея Изящных Искусств он стал получать директорское жалованье, 15 последних месяцев своей жизни в Музее, который он безвозмездно созидал.

Отец узнал о своей беде летом 1910 года, когда вывозил нас, Марину и меня, в Германию, чтобы мы не забыли немецкого языка. Помню, с каким спокойным мужеством он встретил тогда и перенес этот удар. Ни на один день он не прекратил своего увлеченного труда, разъезжал по намеченным городам для нужд Музея, он еще нашел в себе силы заниматься нами в конце того лета: захотел показать нам красоту пейзажей Саксонской Швейцарии, пустился с нами в пешеходную многодневную прогулку по живописным дорогам горной местности, ночуя в придорожных гостиницах. Марина шла бодро, и только моя, младшей, усталость иногда прерывала наш пешеходный путь. Отец шел и рассказывал нам о Музее, о воплощении своей мечты, любовался огородами, говорил о пользе физического труда, вспоминал свою молодость, внушая и нам стремление к простой жизни, нетребовательность к ее усло-

виям, вселяя в нас свое природное мужество… Он не знал, что придется испытать его дочерям, но он не ошибся!

Старость есть старость, ее трудно украсить. Но быть может, не вспомнилось бы мне, на 94-м году все то время так ясно, если бы не эта удивительная, повторяю и повторяю, книга Юдифи Матвеевны Каган.

Но мы уже прошли две трети ее, и скоро будет три четверти, мы медленно подходим к ее концу.

Говоря (1908 год) об изучении музейных зданий в других странах и об экспозиции произведений искусства, автор пишет, что Цветаев сообщает, что у высоко ценимого им директора Берлинских музеев есть целый штат молодых помощников, и что о подобном он мечтает в Москве. И автор приводит строки А.Блока:

Лишь в легком челноке искусства
От скуки мира уплывешь…

Латинистка цитирует – ей и отцу моему еще более чем нам, – звучащие строки Блока:

А виноградные пустыни,
Дома и люди – всё гроба.
Лишь медь торжественной латыни
Поет на плитах, как труба.

А я опять вспоминаю – из детских лет – о встречах отца с профессором Коршем, двух знатоков латинского и греческого языков; как отдых от трудов – они изредка проводили вдвоем вечер, разговаривая на этих языках… (Перечитывая книгу о моем отце, я в заметках своих иногда возвращаюсь назад – и да простят мне это читающие мою рецензию.) У кого из нас, читателей и друзей Музея, уже и 75-летие свое отпраздновавшего, не дрогнет сердце при чтении цитаты из письма И.Грабаря к А.Бенуа: «Крылатое словечко „Мраморный ящик для гипсовых фигур “ … до того истерлось… и я крепко пожал руку Серову, когда узнал, что он каждый день туда ходит и там наслаждается…».

Мы пришли к послесловию. Книга заканчивается. А после послесловия еще 16 страниц мелкого шрифта. Примечания. Сколько для создания этой книги было прочтено книг, статей, писем, какая проведена работа над архивом!..

Автор делится с нами размышлениями, наблюдениями над личностью Цветаева. Перед нами человек предельно нетребовательный к условиям жизни, мирящийся со всеми трудностями и лишениями, к

которым привык с детства, прожитым в нужде. Умея от нее оторваться, он не изменился и, преодолев ее, остался до конца уверенным в том, что достоинство человека – не хотеть ничего для себя. Служение замыслу, вдохновение воплощать его поддерживало его на всех перепутьях судьбы. И автор переходит к таланту его слова, к которому он относится также скромно, его себе не приписывая, о чем свидетельствует его утверждение в книге «Путешествие по Италии», что он не претендует нисколько на художественность изложения – и однако оно таково, будто мы вместе с ним путешествие это совершаем. Отец выработал свой стиль, который не смешаешь ни с чьим – отражение его знания жизни, в основу которого легли стойкая терпимость, уважение и доброжелательность, стремление помочь каждому, никогда даже и отдаленно не думая о себе. Веселая и добрая наблюдательность, врожденный оптимизм и всегда надежда на победу над злом делают все его записи, все богатство его переписки уникальным. Эти нравственные качества поддерживали его и в болезнях, рано начавших надрывать сердце, от природы крепкое, чрезмерностью нагрузки, малым сном, постоянным переутомлением. Но отец при всех приступах сердечного заболевания твердо надеялся выздороветь. И так было много раз, это проявилось и при его последней, смертельной болезни: за два дня до смерти он звал меня с моим маленьким сыном и няней – с ним ехать в Италию, где будет писать «мой, видимо, последний труд – историю архитектуры древнеримских храмов». Зная о незадавшемся моем замужестве – «Пока я жив, для тебя и внука всегда будет крыша над головой и все, что надо для жизни». И скромно он хотел отдернуть руку, которую я, благодаря его, взяла, чтобы поцеловать… А незадолго до этого его слова в разговоре с Л.А.Тамбурер обо мне – «его Корделии» – как он называл меня, выросшую: «Теперь надо будет позаботиться о внуках…».

Оставшиеся в архиве Музея почти ежедневные письма отца к Ю.С. Нечаеву-Мальцеву за много лет – это целая книга, история Музея. Даже лицом к лицу с клеветой министра он не делался ни жестким, ни карающим. Удивление и горький юмор брали верх – равновесие Духа не было поколеблено. Как мы, его дети, все четверо, боялись, что отец не доживет до открытия Музея! Но и тут победило не переутомление, а радость воплощающейся мечты! Заканчивая историю нового музея, автор упоминает о двух мемориальных досках у входа: Р.И.Клейну – архитектору, и основателю – профессору Цветаеву – два барельефа. И не могу не сказать, что голова нашего отца в профиль на барельефе совсем не похожа. У него была большая, мощная голова, как у Сократа! Профиль у входа в Музей не дает понятия о нашем отце: голова маленькая, в ней нет мощи.

Но вернемся к книге Ю.М.Каган. Она кончается стихами моей сестры Марины, ими же и я хочу закончить мою рецензию:

До последнего часа
Обращенным к звезде,
Уходящая раса,
Спасибо тебе!

Но вот еще важные слова совсем недавно скончавшегося крупнейшего нашего философа и филолога-классика А.Ф. Лосева. В отзыве для издательства он писал: «Здесь всесторонне представлены жизнь, деятельность и личность ученого, так что биографическая нить повествования умело переплетается с творческой эволюцией, а эта последняя логически приводит к целостному портрету И.В.Цветаева как личности… Ю.М.Каган вместе с тем не подавляет читателя своей эрудицией, умело, и я бы даже сказал, художественно рисуя весь круг жизни И.В. Цветаева, которая отнюдь не ограничивалась созданием Музея, как бы заслонившего человека, который его создал… Ю.М.Каган создает такой тип творческого человека, который можно признать фактом отечественной культуры и который вместе с тем с глубочайшим уважением относился к чужой культуре». Заканчивал же свой отзыв А.Ф.Лосев так: «По моему глубокому убеждению, книга Ю.М.Каган, написанная с глубоким профессиональным знанием дела и особой заинтересованностью человека, которому важны судьбы науки об античности, будет горячо встречена и читателями в целом и почитателями И.В.Цветаева в частности».

ДВОЙНОЕ ПЛАМЯ

О.В. Смирнов. Николай Александрович Холодковский, «Наука», 1981.

Превосходно написана эта тоненькая книжечка! А сколько в ней рассказано об известном ученом! Как сумел автор приблизить его к нам! Как ввел вас в богатство его на редкость разностороннего мира! Словно волшебной Аладдиновой лампой осветил автор эту недолгую, блистательную жизнь. Всего 63 года прожил Н.А.Холодковский, а какое наследие оставил!

Навсегда останется в каждом читателе этот удивительный образ, образ человека, всю жизнь шедшего двумя параллельными дорогами,

подвизавшегося с равной силой на совершенно несходных поприщах: выдающийся ученый был одновременно первоклассным стихотворным переводчиком многих произведений мировой литературы. Он оставил нам многотрудный, превосходный перевод «Фауста» Гёте – назвать хотя бы его! Этот феномен и подчеркивает автор, одаривая читателя рассказом о странной судьбе, где не только не метался ум человека между столь противоположными областями, но, наоборот, сочетал их в себе органично. Читатель вслед за автором постигает ту степень редчайшего равновесия, в котором протекала жизнь Н.А.Холодковского: каждый ее день горел он двойным пламенем.

Теперь о биографии ученого. Приехав в Петербург, Холодковские – родители будущего ученого – стали снимать дачу в Новой Деревне. При даче был небольшой сад, где начались наблюдения над насекомыми юного Холодковского. От частого употребления немецкая книжка-определитель совершенно истрепалась, и мальчику пришлось перевести на русский язык немецкий текст. Так уже в первых детских увлечениях началось формирование его творческой личности – естествоиспытателя и переводчика. Обучение языкам начиналось в семье с раннего детства, и в продолжение всей жизни Холодковский читал научные иностранные книги и художественную литературу в подлиннике. Но он не захотел один наслаждаться красотой поэзии. Одарить соотечественников недоступной большинству из них иностранной литературой стало одной из задач его жизни.

Еще в гимназические годы предпринял Холодковский отважную попытку перевести на русский язык «Фауст» Гёте. В рукописном гимназическом журнале появились отрывки из его переводов, а в марте 1878 г., когда переводчику было 20 лет, журнал «Вестник Европы» опубликовал в переводе Н.А. Холодковского две сцены из «Фауста».

Окончив курс Медико-хирургической академии и получив звание лекаря, Холодковский сдает экстерном экзамен за курс физико-математического факультета и через 9 месяцев получает степень кандидата естественных наук.

Жажда знаний равнялась трудолюбию. Он и зоолог, и энтомолог, и орнитолог. В 1881 г. статья его появилась в «Трудах Русского энтомологического общества». В 1882 г. в журнале «Заграничный Вестник» вышли его научно-популярные статья «Смерть и бессмертие в мире животных» и «Новая зоология». В 1885 г. Совет Петербургского лесного института избрал Н.А.Холодковского доцентом курса зоологии. Годом позже он получил степень магистра зоологии и сравнительной анатомии. Тогда ему было 28 лет.

Свой перевод поэмы Зигфрида Липинера «Освобожденный Про-

метей» Холодковский посвятил жене. В 1887 г. родился сын, в 1891 дочь. Еще девочкой, она стала постоянной спутницей отцовских экскурсий, его изучения природы. Ей посвятил он стихи «Гербарий моей дочери».

Научной работе отводил Холодковский утренние часы, стихотворной – вечерние. Все научные его статьи были написаны прекрасным литературным языком. На торжественном собрании в Военно-медицинской академии, посвященном памяти Н.А.Холодковского, А.В.Амфитеатров сказал: «Если бы Николай Александрович не был поэтом и дал бы нам только свои научные работы, статьи и учебники, то мы, писатели, считали бы его своим за один язык его работ».

Автор книги о Холодковском рассказывает о том, как интересна была организация его ежедневного труда: если поставленная им перед собой на данный день задача почему-либо не была выполнена, – на следующий день падала двойная нагрузка. Так беспощаден был ученый к себе. Время распределялось точно: утро в Лесном институте или в академии, затем работы в лаборатории и чтение лекций. Обедал всегда дома; иногда, как вспоминает дочь, «после обеда немного времени проводил с нами, до начала работ у себя в кабинете». Во время прогулок с дочерью он порой просил не разговаривать с ним – это означало, что он мысленно переводил строки какого-нибудь поэтического текста и, придя домой, их записывал. Так нередко на послеобеденную прогулку он шел с «Потерянным раем» Мильтона, сложнейшим произведением.

В 1909 г. Холодковского избрали членом-корреспондентом Российской академии наук, а в 1911 г. – академиком Военно-медицинской академии. Давно уже в душе ученого росла и укреплялась мечта побывать в Индии, на Цейлоне. Этим планам не суждено было осуществиться. Здоровье Холодковского стало слабеть.

Писатель Л.В. Успенский оставил нам описание удивительного случая, который тронет сердце каждого. Вот как передает его нам автор книги о Холодковском:

«В суровый, морозный день 1920 г. в пораженном тяжелой разрухой Петрограде в квартире В.П.Коломийцева [отца школьного товарища Л.В.Успенского] появился тщедушный, согбенный старичок в валенках, закутанный в пальто, в башлыке на голове и в кашне поверх башлыка. Он вез на саночках какие-то тщательно увязанные вещи. Казалось, что под покрывавшим поклажу тряпьем находится обычная деревенская снедь, которую в те голодные годы горожанам удавалось иногда приобретать путем простого натурального обмена. Каково же было изумление супругов Коломийцевых и Успенского, когда этим «мужичком» оказался проф. Н.А.Холодковский, проделавший тяжелый путь от Нижегородской до Карповки. На его беду Гренадерский мост оказался

закрытым, пришлось спускаться на лед. Он падал и снова вытаскивал салазки на крутой берег. Что же заставило старого, тяжело больного профессора решиться на столь трудную дорогу да еще с такой тяжелой поклажей? Холодковский сознавал, что его дни уже сочтены, и, узнав, что В.П.Коломийцев переводит «Фауста», он собрал черновики своих переводов, литературу, которая может пригодиться переводчику, и повез все это в надежде, что его труд необходим другому».

Смерть Н.А.Холодковского в 1921 году была тяжелой утратой для отечественной науки. А.П.Семенов-Тян-Шанский, описывая похороны Холодковского, отмечает многолюдие, сердечность, уважение к памяти ученого. Молодежь учредила дежурство у гроба и донесла его на руках до далекого места погребения». Н.А.Холодковский погребен на Иоанно-Богословском кладбище.

Холодковский был первым профессором энтомологии в дореволюционной русской высшей школе. Самым большим научным достижением Холодковского являются его работы по изучению растительноядных насекомых хермесов, чем он был занят почти 30 лет.

Холодковский переводил книги иностранных ученых, и О.В.Смирнов не перестает изумляться, когда он успевал все это и как он все это вместил в одну и притом короткую жизнь. Ибо он не только успевал писать свои глубокие и объемные труды, но и не упускал ничего из того, что надо было дополнить или исправить в современных ему работах его коллег. Так, он редактировал фундаментальное сочинение «Животный мир» В.Гааке, содержащее около 2000 страниц, во множество книг вносил дополнения, добавлял иллюстрации.

Автор останавливает наше внимание на том, что в период борьбы между некоторыми направлениями в биологии, длившейся годы и годы, Холодковский – это мы можем легко увидеть, сравнивая его работы, – постоянно возвращается к тем же вопросам, учитывая достижения бурно развивавшейся биологии.

Вот замечательные слова Н.А.Холодковского, еще одно свидетельство глубины мышления ученого: «Насколько ничтожны теории, не опирающиеся на твердую почву, настолько же малоценны и беспорядочно нагроможденные факты. Без гипотезы и теории нет исследования природы. Гипотеза и теория – это лот, которым мы измеряем глубину океана неизвестных явлений, чтобы по этим данным направить дальнейший курс нашего корабля. Они не дают нам абсолютного знания, но расширяют наш кругозор настолько, насколько это возможно в данный момент».

Говоря об обобщении как о главной цели науки, Холодковский предупреждает, что оно может принести не пользу, даже вред, если им

пользоваться неумело. Спасая своих учеников от ошибок, он приводит конкретные примеры таких аберраций.

Еще на одну область указывает нам автор, где Холодковский проявил себя неутомимым ученым: он написал несколько книг и несколько статей биографического характера о зарубежных ученых и о нашем великом соотечественнике И.И.Мечникове.

В статье, посвященной Ж.Фабру, Холодковский, перефразируя его афоризм «Инстинкт есть гений животного», пишет: «Гений – это инстинкт ученого… И он не может не следовать этому инстинкту, как пчела не может не строить свои математически правильные ячейки…». Истинный человек науки, по мнению Холодковского, – это не только научный деятель. Это также «человек, обладающий определенными нравственными достоинствами, чуждый всякой корысти, всякого суетного честолюбия, натура вполне благородная, столь же открытая и добросовестная в мелочной прозе жизни, как и в своей отвлеченной деятельности».

Разобрав пути деятельности Мечникова в различных областях эмбриологии, Холодковский писал: «Благодаря трудам Ковалевского и Мечникова, а также других русских эмбриологов мы, русские, можем с законной гордостью сказать, что сравнительная эмбриология в наиболее значительной своей части является делом русской науки». Далее он пишет: «…самые узкоспециальные исследования, кажущиеся профану какой-то праздною игрою ума… могут иметь… практические последствия первостепенной важности и пользы для человечества. Нет в науке ничего маловажного, ибо все части ее находятся в тесной гармонической связи… Вся она составляет, как и сама природа, единое прекрасное целое».

Первое издание перевода «Фауста» Гёте вышло в 1878 году. Но всю свою жизнь Холодковский не прекращал работать над совершенствованием своего перевода. За 12-е издание 1917 года Холодковский был удостоен Полной Пушкинской премии Российской академии наук. Неоднократно переиздавался этот перевод и в наше время – в 1969 г., 1971 г.

И я в скромной роли рецензента книги О.В.Смирнова не могу отказать себе в радости привести цитату из «Посвящения трагедии», с которой начинается «Фауст».

Вы вновь со мной, туманные виденья,
Мне в юности мелькнувшие давно…
Вас удержу ль во власти вдохновенья?
Былым ли снам явиться вновь дано?
Из сумрака, из тьмы полузабвенья

Восстали вы… О, будь, что суждено!

Далее О.В. Смирнов цитирует перевод последнего монолога Фауста. Из него я дерзну украсить мою рецензию всего четырьмя строками:

Тогда сказал бы я: мгновенье!
Прекрасно ты, продлись, постой!
И не смело б веков теченье
Следа, оставленного мной!

Думаю, никто, вслушиваясь в эти строки, не избежит их очарованья! Даже трудно себе представить, что это перевод, что на другом языке они могут прозвучать не хуже! В русском звучании, в выборе именно этих слов для этих оттенков смысла, они звучат не как перевод, а как по-русски созданное стихотворение…

Один из соавторов Холодковского в переводах научной литературы (Н.Я. Кузнецов) говорил, что ученый, не расставаясь с переводом «Фауста», «сам превратился в Фауста».

Отмечая, что Холодковский не только переводчик, но и блестящий комментатор «Фауста», А.Блок сказал, что эта работа сама по себе высокопоэтическая, написанная на редком в наше время русском языке.

В последние годы жизни Холодковский, не прекращая научной деятельности, перевел для издательства «Всемирная литература» 20 романов и поэм с шведского, итальянского и немецкого языков. Трудно поверить в такое – и как же не восхититься?

ПЯТИСВЕЧИК

Бейлин И.Г., Парнес В.А. «Андрей Николаевич Краснов» М., «Наука», 1968.
Бейлин И.Г., Парнес В.А. «Александр Ефимович Теплоухов» М., «Наука», 1969.
Бейлин И.Г., Парнес В.А. «Георгий Федорович Морозов» М., «Наука», 1971.
Бейлин И.Г., Парнес В.А. «Антон де Бари» М., «Наука», 1972.
Парнес В.А. «Михаил Степанович Воронин» М., «Наука», 1976.

Передо мной – пять книг об отошедших в прошлое ученых-биологах. Одна лучше другой.

Автор – доктор медицины, литератор, наш современник Вера Аркадьевна Парнес. Что удивительного в этих книгах? Почему мне захотелось каждую назвать свечой и поднять их сияющее единство, как поднимают в руке канделябр, источник света?

Потому что, читая их, приобщаешься не только к научным темам, в них затронутым, а к самому огню познания, которым они полны.

Перед нами не просто исследователи, углубленные в ту или иную проблему. Не с этим мерилом подошел автор к своим героям, – он дал нам живых людей с трудностями и особенностями их судеб, воскресил условия и обстановку, в которых зародились и продвигались их достижения, и путем психологического подхода к эпохе и ее деятелям окружил научные темы атмосферой вдохновенного труда прошедших лет. Не будучи специалистом ни ботаники, ни садоводства, ни лесоводства, я приблизилась к этим наукам через напряженные поиски их создателей, через всю их жизнь, через духовный и моральный их облик. Автор заставил меня войти в малознакомый мир: как бы за руку каждый из этих ученых повел меня за собой. Мы шли по эпохе, далеко отстоящей от нашей, когда почти и надежды не было одолеть препятствия, но каждый раз героические усилия ученого, вера в науку и бескорыстное служение ей побеждали все.

Вот как говорит автор о возникновении ее замысла написать об этих ученых: «Работая над биографиями выдающихся ученых, я все время сталкивалась с людьми, имеющими одну общую черту, связанную с их научной деятельностью, хотя и контрастирующими во многом другом. Эта черта – благородное, страстное стремление служить науке». Но предстояло найти художественные средства выражения, а именно это в разнообразии и сложности тем сделать было нелегко. Об этом я и хочу сказать – о том, как превосходно Парнес справилась со своей задачей.

Какое чувство пропорции в подаче материала, разнообразнейшего, развернувшегося почти необъятной картиной. С каким редким чувством меры располагает автор главы, переходы от психологического облика его героя к его научным интересам и от изложения его открытий – к событиям личной жизни, и вновь – к волнующим научным проблемам. Книги читаются как увлекательный роман, где живы не только люди, но где и сами эти проблемы становятся читателю дороги. Трудно оторваться от чтения! Ученый стоит перед вами во весь рост. Радостные повороты жизни или ее катастрофы воскресают, как если бы вас не отделяли от них ни годы, ни смены эпох.

Вот перед нами книга о крепостном графини Строгановой «Александр Ефимович Теплоухов» (Изд-во «Наука», М., 1969). Он оканчивает учрежденную графиней школу. На выпускных экзаменах талантливый юноша поражает своими ответами присутствующих знатных гостей. Когда же затем графиня объявляет, что намерена отправить его в Германию учиться горному делу, Теплоухов, ко всеобщему удивлению,

убеждает ее изменить решение: огромные лесные угодья Строгановой нуждаются в образованном лесничем, и потому лучше бы ему совершенствоваться в лесном деле!

В Германской лесной академии, куда отдает его графиня, Теплоухов завоевывает не только признание своих талантов профессорами, но и любовь дочери декана факультета. Однако он не соглашается на уговоры остаться в Германии, когда ему обещают обеспечить такую возможность. Теплоухов на это предложение взглянул по-своему: он счел такой поступок неблагородным по отношению к Строгановой и вернулся в Россию просить у нее вольную. Графиня отвечает отказом, но разрешает поехать в Германию, чтобы навсегда проститься с невестой. Вскоре Теплоухов возвращается в Россию вместе с дочерью декана, согласившейся стать крепостной, лишь бы с ним не расстаться. И только тогда потрясенная Строганова дарует ему вольную и назначает его преподавать на своих лесных петербургских курсах. После смерти графини Теплоухова с женой и двумя детьми отправляют в северные леса Строгановых. Жена не выносит непривычно трудных условий жизни в снежной глуши. Теплоухов остается вдовцом. Он всецело отдает себя лесному делу: внимательно изучает природу и создает отечественное лесоводство – науку о том, как вести хозяйство в русских лесах, чтобы сохранить их и умножить для будущих поколений.

Увы, после отмены крепостного права развивающийся в России капитализм хищнически уничтожает леса. Созданная Теплоуховым система терпит крах. Он бросает дело своей жизни, уходит в отставку. Но разочарование сокрушает этого сильного человека. Он умирает, не примиренный с действительностью, не принявший ее.

Герой другой книги «Антон де Бари» (Изд-во «Наука», М., 1972) – видный немецкий ботаник. Это человек высокого творческого накала. Труды его легли в основу анатомии растений, а разработанный им экспериментальный метод производит переворот в науке о грибах и о болезнях растений. Вместе с Пастером он получает от Парижской академии Золотую медаль за конкурсную работу о невозможности самопроизвольного зарождения. Ряд своих исследований де Бари проводит совместно с русским ботаником М.С. Ворониным.

В лаборатории де Бари работало множество ученых, съезжавшихся к нему из различных стран. Каждый из них вел исследования в своей области. Де Бари только учил их своему методу эксперимента, только направлял их исследования.

«Я предпочел королеву Истину королю Карлу», – говорит ученый вслед за Мильтоном. Де Бари был выдающимся ученым и человеком высокого направления ума.

Целая глава книги Парнес посвящена борьбе де Бари с теоретиками-догматиками, отвергавшими данные о вреде барбариса для пшеничных полей. Путем опытов и наблюдений сельские хозяева убедились, что болезнь-ржавчина, переходя с барбариса, губит урожай пшеницы. Ученые, по укоренившейся догме, отвергали возможность перехода ржавчинного гриба с одного вида растений на другой. Прошло много десятков лет, пока де Бари не разбил эту догму.

В главе много интереснейших исторических фактов, драматических событий и ситуаций. Взаимоотношения людей, ученых и практиков, учителя и ученика – все это занимает многие страницы и, представляя научный интерес, одновременно придает книге большую силу нравственного воздействия на читателя.

А вот другая книга Парнес – «Михаил Степанович Воронин» (Изд-во «Наука», М., 1976). Это книга об ученике и друге де Бари, который написал классические труды и основал две области отечественной науки: микологию (науку о грибах) и науку о болезнях растений.

Отличительная черта Воронина – скромность. Совершенно лишенный тщеславия, он, по некоей свойственной ему застенчивости, преуменьшал свое значение даже в случаях больших заслуг своих, выдвигая на первое место гораздо меньшие достижения своих коллег. Став душой студенческого кружка «маленьких ботаников», он очаровывал его членов простотой обращения, товарищеским отношением к ним. Воронин сумел воспитать в них бескорыстие ученого, преклонение перед столь дорогой ему наукой.

Он получает признание и на родине, и за границей. Он – почетный член многих научных обществ и университетов, почетный академик Российской академии наук. Окружающие ценят Воронина не только за его научные заслуги, но за доброту и отзывчивость. И вот такого человека неожиданно постигает беда. Его жена, оставив детей, уходит к другому. А он не перестает заботиться о ней и после этого. И вот новый удар судьбы – ее самоубийство. Потрясенный, Воронин некоторое время не в силах работать. Немногословно, с удивительным писательским тактом и умением, доносит нам этот образ автор, воссоздает и тяжесть этой утраты, и преодоление личного горя, показывая, как постепенно научные интересы вновь вовлекают ученого в занимающие его проблемы, и он вскоре получает Золотую медаль за одно из своих блестящих открытий в ботанике.

Не меньшее впечатление оставляет образ героя книги Парнес «Андрей Николаевич Краснов» (Изд-во «Наука», М., 1968), основателя знаменитого Ботанического сада в Батуми.

Вот как пишет автор о рождении замысла написать его биографию:

«Мы были в Батуми, в ботаническом саду, где каждый уголок и каждая аллея говорит о его создателе. В заболоченную Колхиду, где и жить было опасно из-за свирепствовавшей там тропической малярии, он перенес пышную растительность различных субтропических областей мира. Здесь, в саду, – растения Японии, Новой Зеландии, Мексики, Южной Америки, Австралии, Китая, сгруппированные и расположенные так, как у себя на родине, дают полную иллюзию ландшафтов этих стран. Ты переходишь из одной в другую, и каждая поражает воображение. Сад стал центром преобразования целого края. Кто же тот человек, которому мы обязаны этим чудом?».

Автору удалось познакомиться с женой и дочерью ученого, со многими людьми, лично его знавшими и работавшими с Красновым, найти его письма к друзьям, знакомым, коллегам, его неопубликованные записки и статьи, побывать в Петербурге, Харькове, Сочи, Батуми – в местах, где подолгу жил Краснов.

Шаг за шагом раскрывается в книге жизнь Краснова. Его восхождения на горные вершины, подъемы на лошадях по горным тропам, опасные экспедиции на Тянь-Шань, кругосветные путешествия, экспедиции в калмыцкие степи, на Сахалин. Описания экзотических стран, которые посетил Краснов, читаешь как фантастический роман. Но не менее поражает стойкость его духа. Русские тропики, в мечтах его молодости зародившиеся, оставались главной целью всей его жизни. Но многочисленные и трудные экспедиции подорвали силы Краснова. Он прожил всего 52 года (1862—1914). Им написано более 300 работ, среди них учебники и руководства, толстые тома рассказов о его путешествиях и ботанико-географических условиях обследованных стран. О двукратном кругосветном путешествии, взявшем в те давние времена не один год!..

Последнее дело жизни Краснова – Ботанический сад в Батуми, с которого началось знакомство с ним автора. Было уже немало лет ученому, была у него семья, было чтение лекций в Харьковском университете, длившееся 23 года. Но был он еще и общественником: читал лекции в Харьковском обществе грамотности, создал отдел в городском музее, давал статьи в журнал «Естествознание и география», в «Исторический вестник», трудился на курсах для рабочих в течение 10 лет. Как он успевал?! Свои учебники он писал часто по памяти, в путешествиях. Они по форме – необычайны, язык – великолепен. Но, естественно, иногда вкрадывались неточности Коллеги его, пишет Парнес, сидевшие в своих роскошных столичных кабинетах, ловили его мелкие ошибки, выискивали их и писали разгромные рецензии. Краснову отказывали в публикации его лучших творений. Оплошности

его были мелкими и вполне извинительными, ибо он писал свои бесчисленные работы вдали от библиотек. Он просто не успевал все проверить в многообразии своего труда во все те же 24 часа суток. Вот почему злобность критиков особенно его мучила.

Краснов только один раз выступил с ответом травившим его ученым – надменному, жесткому Воейкову, и ответ его был деликатен: он объяснил, что то, к чему тот придрался, – собственно, ведь описка. Деликатность же Краснова простиралась до того, что когда известный врач, леча его, по рассеянности, усталости, может быть, стал лечить здоровый глаз, пациент, не желая обидеть его, смолчал о происшедшей ошибке.

Отдав все силы своих последних лет, уже тяжело больной, он увидел свою мечту исполненной. Но именно в это время он узнает о безнадежности своего положения: врачи предсказали ему, что он больше двух лет не проживет. Это было в 1912 году. Он скрыл это от жены, до последнего часа был в работе. Жена не смогла быть с ним, осталась с дочерью, боясь нездорового Батума, с его болотами и малярией.

Огромное значение идей Краснова, предельно важное для современного ландшафтоведения, ученые об акклиматизации новых форм умеренного и арктического поясов Земли, о развитии лесостепи и степи, о взаимосвязи горнообразовательных процессов с преобразованием растительности – все это так талантливо, несмотря на сложность свою, рассказано биографом Парнес. Краснов становится родным и незабываемым для читателя именно через подачу человеческого, а не только академического облика.

Любопытно, что «ботаники считали Краснова географом, географы не принимали смелость его взглядов на эволюцию растительных форм. И он был надолго забыт».

И еще один образ, одна книга – «Георгий Федорович Морозов» (изд-во «Наука», М, 1972). «Учение о Лесе» Морозова – настоящая поэма, пишет автор. Воспевание красоты роста одиноко стоящего дерева и сдержанности, самоограничения каждого члена сообщества, которое называется «лес». Лес – сложный живой организм: деревья, подлесок, ягоды, птица, почва, климат. Сокровище человеческой жизни! Лесная наука, может быть, более других побуждает к философскому подходу. Жизнь человека – коротка, жизнь дерева – это несколько человеческих жизней. Срубить лес – легко, вырастить – трудно. Вправе ли человек уничтожать красоту Земли?

Морозов знал работы Теплоухова по лесоводству, но сам он задумался о другом – о жизни леса, о его биологии – и создал совсем новую область – лесоведение. Интересна его биография: отец – мещанин, раз-

богатевший торговлей, Получив почетное гражданство, он отдал сына в Петербургский кадетский корпус: пусть сын делает карьеру! Подпоручика артиллерии Морозова шлют на службу в Двинскую крепость Праздная, распутная офицерская жизнь, карточная игра, женщины – все это претит Морозову.

Познакомившись с ссыльной девушкой, вместе с ней, по окончании ее ссылки, он уезжает и поступает в Петровскую академию, любимую в те годы прогрессивной молодежью. Для этого он выходит в отставку. В гневе порывает с сыном отец. В день экзамена приникшая к стеклянным дверям толпа студентов видит: молодой офицер, заложив руку за спину, другую – по шву – так полагалось в кадетском корпусе – отвечает профессору вдумчиво и свободно, не по-студенчески. Морозов выдержал экзамен и был принят.

Добиваясь стипендии, он дает грошовые уроки, голодает, приходя к своей невесте, не садится к столу, боясь, что ее родные поймут, как он голоден. Но судьба жестока к нему: невеста умирает от скарлатины. Потрясение и безутешность прерывают занятия. Он просит об академическом отпуске. Но жизнь идет. Академия кончена. Теперь Морозов работает над лесоведением – наукой о жизни леса, не об эксплуатации его.

Заслуги Морозова оценили географы, ботаники, лесоводы. Он преподает в Петроградском лесном институте, организует подготовительные курсы для лесничих. Как и де Бари, он приобретает множество учеников и последователей. Приезжих лесничих, своих учеников, он даже порой селит у себя, за стол садилось до 20 человек. Долги заедали, но не от этого он страдал – его тяготила обстановка в институте, травля «черной» профессуры, среди которой он был белой вороной. Бескорыстие его новых идей вредило ему.

В 1917 году Морозова избирают председателем на съездах лесоводов и работников леса. Он – участник разработки нового законодательства о лесах. И вдруг – болезнь: удар. В Петрограде голод. Родные увозят больного в Крым – там есть его ученики. Ему достают пищу, вырывают из когтей смерти. Начинается преподавание в открывшемся Таврическом университете. Его под руки выводят на кафедру (после удара он ходит с трудом). О чудо! Кто же догадается, что лектор – человек, разбитый параличом! Его лекции захватывающи.

Наконец-то он создает университетский курс, о котором мечтал долгие годы, – курс для русских лесных деятелей.

«В Симферополе, – пишет Парнес, – профессор Гурвич работает над митогенетическим излучением. Морозов, узнав об этом, вместе со студентами стал приходить на его занятия и дома готовиться к ним.

Неправдоподобно? Но – факт: стремление его к познанию еще обострилось. Здесь он искал идеи, стимулы для развития своей области, которой отдал жизнь».

Умер Георгий Федорович Морозов в Симферополе в 1920 году. Академик Нестеров обвинил его в идеализме, в одухотворении леса, в поисках несуществующей гармонии в лесу. Его зачислили в разряд поборников реакционной науки. В этом ранге он и находился многие годы, всеми незаслуженно забытый.

Затем В.Н. Сукачев поднял на щит учение о сообществе живых форм и их гармоническом сосуществовании. Учение Морозова о лесе стало основой многих его теоретических построений.

Мой обзор кончен.

Я поделилась с читателями обликами героев пяти книг Парнес. Я – просто писатель, живший всю мою долгую жизнь интересами литературы и искусства, но с помощью этих книг, написанных достаточно популярно, чтобы их мог прочесть каждый, и достаточно научно, чтобы быть книгами о науке, я радостно вошла в дотоле мне незнакомую область естественных наук. Так будет и с каждым читателем: он вовлечется во все здесь рассказанные достижения естествознания, познакомиться с трудностями на этом пути, со всей сложностью прошедшей эпохи. Читатель полюбит этих борцов за науку, отдавших жизнь – каждый своей задаче, сохранит в душе благородные и стойкие образы – ибо таковы были они все. Личные потери, даже трагедии крепостного лесовода Теплоухова, ботаника Воронина и создателя лесоведения Морозова не сломили их – глубоко затаив горе, они продолжали свой путь.

Тут место вспомнить о моем отце, заслуженном профессоре И.В. Цветаеве, ученом-археологе и искусствоведе. В 1890 году умерла его первая жена, урожденная В.Д.Иловайская, в 1906 году умирает вторая жена, урожденная М.А.Мейн. После открытия Музея изящных искусств (ныне музей имени Пушкина) он сказал: «Семейная жизнь мне не удалась, но зато удалось служение Родине».

Теперь главное, что хочется мне сказать: только тесным единением жизни ученого с его научным путем дается нам целостный его образ. И только через художественность образа рядовой читатель войдет в область науки. Но для этого нужен талант, литературный талант, умение воссоздать человека. Этим редким умением обладает В.А.Парнес.

Я приношу глубокую благодарность издательству, выпустившему эти книги: оно дало – и даст еще, не сомневаюсь, – много света и знания. Я назвала свою статью «Пятисвечник». Но как хотела бы я дожить до того, чтобы в каждой руке поднять по великолепному канделябру!

ОН НАЗЫВАЛ СЕБЯ ВРАЧОМ РАСТЕНИЙ…

В.А. Парнес. «Исаак Григорьевич Бейлин (1883-1965)». «Наука», М., 1983.

В моей статье «Пятисвечник» («Наука и жизнь» № 7, 1980) рассказано о биографиях учёных, принадлежащих перу доктора медицинских наук Веры Аркадьевны Парнес. Сейчас я хочу сказать несколько слов о её новой работе – тоже первой биографии отечественного натуралиста и естествоиспытателя – «эпидемиолога» растений И.Г.Бейлина, приуроченной к столетию со дня его рождения. Сказать, как полезна книга эта молодому поколению, как умело будит она в нём желание быть таким же преданным науке, как этот учёный.

В книге какая-то осторожная настойчивость в подаче основной мысли, пластичность, помогающая одновременно и автору – протянуть читателю, и читателю – эту мысль принять.

Автор как бы следует заветам Станиславского: не рассказ, а показ героя. Со страниц книги И.Г.Бейлин восстаёт живым, он идёт с читателем об руку, и читатель сродняется с ним.

Приведу случай из ранней поры жизни учёного, когда был всего лишь репетитором в маленьком городке Прилуках. Был приглашён на званый вечер к одной из представительниц местной элиты. Молодой человек интересовал собравшееся общество: самостоятельность его воззрений уже создала о нём легенды. Его присутствие придало светской гостиной необычную интеллектуальную обстановку. И уже разгорелся спор. Внезапно Бейлин прислушался, оборвал фразу на полуслове бросился вон из гостиной. «Набат!» – крикнул он на бегу опешившей хозяйке.

Было начало зимы. Пожар тушили почти до утра. Разгорячённый работой, только тогда ощутил Бейлин, что был без пальто. Молодость, азарт труда спасли его от болезни.

Из этого маленького отрывка видно, что всё существо молодого человека было настолько проникнуто готовностью принять участие в предотвращении бедствия, могущего, разрастаясь, принести неисчислимые несчастья, что он ни на минуту не задумывается о впечатлении, которое может произвести его внезапный уход. Он весь – порыв. «Набат!» – единственное произнесённое им при неожиданном уходе слово – приобретает смысл: «зов долга».

И.Г. Бейлину не довелось учиться в гимназии. Когда он начал зарабатывать на жизнь, за его спиной – только три класса начальной шко-

лы. Жизнь в деревне привила любовь к природе и наблюдательность. Чтение книг, которые переплетал отец, – его отец был деревенским переплётчиком, – вызвало ещё в детстве тягу к знанию. Самостоятельно проходит он курс гимназических наук, корпит над латынью, но одолевает все предметы, сдаёт экстерном экзамены на аттестат зрелости и поступает в университет.

Ему 24 года, он прошёл военную службу, участвовал в работе революционного кружка, подвергался арестам и тюремному заключению. Это выделило молодого человека из числа остальных студентов. Бейлина избирают старостой, и он остаётся им все студенческие годы.

Всю свою жизнь Исаак Григорьевич умел воодушевлять тех, с кем сталкивался, увлекать своей страстью к науке.

Любопытным примером служит страничка из главы «Цветковые паразиты», где рассказы Й.Г. Бейлина о них слушает автор, тогда ещё совсем юная. Заинтересовывается этими удивительными растениями, узнаёт, как определять их виды, а через 40 лет при случайной встрече в поезде помогает Молодому итальянскому специалисту определить вид паразита, образец которого он вёз в Рим, чтобы установить его видовую принадлежность. Этот вид паразита почти полвека до того изучался в России Бейлиным.

И как умел он глубоко погрузить других в сложность своей темы, заинтересовать этой сложностью, необходимостью её изучения, что через столько лет, через всю головокружительность нашей эпохи его ученица смогла вспомнить название вида.

Читаешь этот маленький эпизод – и становится понятно возникновение книги о Бейлине, создание её. Тут тот же вопрос долга перед страной, долга познакомить людей с живым обликом этого крупного учёного, рассказать о некоторых свойствах его личности, столь ярко проявлявшихся в ответственные минуты жизни.

Главная нить книги – долг учёного перед людьми и эпохой. Защите своих взглядов и открытий в разрабатываемой им новой научной области И.Г.Бейлин посвящал жизнь.

Перед читателем человек чести и мужества. Увлечённо строго обдуманно излагает он своё творческое кредо и следует ему неуклонно. И всё это в живых, сменяющихся событиях.

Они-то более всего определяют личность учёного.

Вот характерный эпизод. В 1918 году Бейлин был назначен заведующим станцией защиты растений в Воронеже. Начиналась гражданская война, осложнённая разрухой. Вопрос о защите растений от болезней равнялся борьбе за урожай, борьбе с голодом. Надо было срочно изучить условия роста культур, причины заболевания в данном месте

и незаражённости их на близлежащих участках. Лишь узнав это, можно было начать борьбу с опасностью эпидемии среди возделываемых видов и сортов сельскохозяйственных растений.

Директор Воронежской областной сельскохозяйственной опытной станции С.К.Чаянов, крупный учёный, ценил Бейлина и, когда тот пришёл к нему с докладом, с первых же слов вник в его мысль. Бейлин предлагал срочно открыть новый отдел – фитопатологический, без которого вне природных условий – так утверждал Бейлин – невозможно найти средство добиться устойчивых высоких урожаев. «А Вы бы взялись заведовать этим отделом?» – спросил Чаянов. «Да, план его я уже разработал». «Ну что ж, подготовьте бумаги для Наркомзема и Облгорсовета». Бейлин раскрыл портфель: «Все документы здесь». «Так Вы даже не сомневались, что я решу создать новый отдел?». «Ни минуты. Ведь дело стоящее, нужное и не терпящее отлагательства». «Сейчас узнаю о лошадях и поедем», – Чаянов было поднялся. «Не беспокойтесь. Извозчик ждёт нас у крыльца». «Ну, братец…» – взгляд, который Чаянов бросил на Бейлина, говорил больше всяких слов.

Поразителен был талант этого учёного проявлять стойкость в ясном ему решении и не только найти в сложной ситуации наиболее правильное решение, но и добиться его осуществления, убедив в его разумности и целесообразности. Так было, например, во время поражения подсолнечных посевов паразитами и гибели части урожая. Катастрофическое положение, в котором очутилась маслобойная промышленность, требовало чрезвычайных мер. В 1926 году на созванном Наркомземом со вещании приехавшие специалисты предложили единственно, казалось, логический выход: расширить посевы подсолнечника за счёт других культур. Но Бейлин, в ту пору заведующий Воронежской станцией защиты растений и фитопатологического отдела Областной опытной станции, отверг это предложение. «Взгляните на эту карту, – сказал он, указывая на карту распространения болезней подсолнечника, – есть ли уверенность, что то же самое не случится с новыми посевами?». Он предложил другой путь: снизить вред, приносимый массовыми болезнями, и обосновал правильность и необходимость именно такого пути в создавшейся критической обстановке. Учёный взялся за это трудное дело, отдавая ему все силы. Прежде всего он изучил сорта местных подсолнечников, определил наиболее стойкие из них, менее подверженные болезни. Он на шёл себе нужных помощников, и результатом его деятельности было то, что маслобойная промышленность получила 5 миллионов пудов добавочных семян уже в следующем году.

Чем более вчитываешься в изложение мыслей Бейлина, тем всё более поражаешься каким-то даром проникновения в тайны расти-

тельного царства, поразительному слиянию с родной природой. У него была та мудрость, которая помогает видеть связи между явлениями, явные только творческому интеллекту, явлениями, часто между собой, казалось бы, вовсе не связанными, но где-то в великом размахе природы органически слитыми, – видеть связи, открывающиеся с высоты постижения, с некоего в творческом процессе «птичьего полёта» и, в свою очередь, озаряющие горизонты практического их применения.

Человечески, интимно, в беге часов дня и, конечно, ночи, ибо ему-то дня не хватало – это можно сказать с уверенностью, – трогает нас Бейлин тем, как из глубин его постижения, из трепета предчувствий и ожиданий рождается перекличка с близким умом, с науке преданным сердцем. Поразителен его талант устного общения, его аргументы – звенья бесконечно ковавшейся цепи, которая крепостью каждого звена целенаправленно вела к победе его научной мысли.

Автор использует в качестве эпиграфов к главам высказывания учёного запоминающиеся, яркие: «Оставаться верным своей идее и неуклонно развивать её всю жизнь – в этом и состоит подвиг учёного», «Главное – полностью отдаваться делу, за которое берёшься… Лишь тому будет честь, кто во всём будет весь – так гласит народная мудрость», «Нет большей награды для учёного, как видеть, что труды его приносят настоящую, видимую, ощутимую пользу», «Чем глубже проникаешь в судьбу прошедших поколений, тем более задумываешься о подрастающем, в руках которого будущее. Воспитать его свободомыслящим, человеколюбивым, богатым чувствами и пониманием долга – вот задача, на выполнение которой нельзя жалеть ни времени, ни сил…».

С предметом научных изысканий Бейлина автор знакомит нас исподволь, делая его близким.

И вот В.А. Парнес подошла к главному труду учёного.

В руках одной из героинь повествования рукопись Бейлина – сейчас она сядет за машинку, чтобы её перепечатать. Она читает медленно: «Эпифитотиология». И как будто магическое слово из книги детских сказок зажигает память: она видит давно исчезнувший день, когда услыхала это слово впервые. Средняя Азия, узловая железнодорожная станция Каган, купе академического вагона, куда Бейлин взял её к себе с детьми, выброшенных в неразберихе и спешке, по чьей-то ошибке из проходящего состава. (см. «Наука и жизнь», 1981, № 6. – «Железнодорожный узел Каган». Поезд мчится. Спасший их человек рассказывает о том, как болезни растений в трудные исторические времена влияли на судьбы людей. В прошлом веке около миллиона ирландцев, питав-

шихся главным образом картофелем, погибло от голода из-за картофельной болезни, а двум миллионам пришлось расстаться с родиной, уехать за океан. Поезд мчится, а Бейлин рассказывает о спорынье, поражающей рожь, делающей ядовитым выпеченный из неё хлеб, о том, сколько людей погибло от спорыньи в средние века. Он говорит о походе Петра I в 1722 году, когда он, Пётр, после успешной войны со Швецией решил отвоевать у Турции незамерзающие порты. Под Астраханью войско получило продовольствие с верховьев Волги. В ту же ночь пал конь. А под утро раздались крики и стоны заболевших и умиравших солдат. К полудню сотни лошадей разбил паралич. Более 10000 погибло тогда в России от спорыньи. А поезд мчится, и дети, замерев, слушают и слушают Бейлина…

А мне, писателю, вспоминается Марсель Пруст: его взрослый герой подносит ко рту пирожное, лёгкое прикосновение зубов рушит легчайшую осыпающуюся сдобную корочку, ароматный хруст касается языка – и в аромате тающей сладости с каким-то привкусом – ах, каким, что это?- сознание, память человека проваливается в десятилетия назад: в жизнь 6-7-летнего мальчика, за столом пожилой тётки откусившего это же, это пирожное! Оживают тёмные обои, портреты на стенах, лица за призрачным столом сидящих – весь аромат детства. Именно этого, его детства, словно воскресшего в один миг от прикасания зубов к сладкой корочке, дышащей кремом…

Так и мы вместе с героиней, подошедшей к пишущей машинке с рукописью «Эпифитотиологии», переносимся снова в Среднюю Азию, в тот мчащийся поезд с детьми…

Учёный не сомневался в необходимости создания науки о законах возникновения массовых болезней растений, о неизученных причинах их распространения и затухания. Он понимал, что надо определить связь между возбудителями болезней и больными растениями и сделать это не на уровне организма (такие исследования проводит фитопатология), а на более высоком уровне (надорганизменном), охватывающем всё сообщество растений, возбудителей болезней, и среду обитания. Эту задачу он и ставил перед эпифитотиологией.

Драгоценен вклад дневниковых записей и переписки Бейлина – ещё один приём характеристики героя. «Разрабатываю паразитологический метод систематики, – пишет он жене, – поглощён разборчивостью цветковых паразитов: пьют соки только определённых растений. Ботаники назвали это специализацией. В самом деле, есть заразихи, которые питаются только за счёт люцерны и клевера, и есть специалисты-ботаники только по клеверу и люцерне. Эти культуры – пища для всех их исследований. А если не шутить, то специализация – сложная

проблема, от которой протягивается нить к эволюционному учению. Много здесь запутанного и нерешённого. Меняется среда, и естественный отбор сохраняет лишь формы паразитов, менее привередливые, способные существовать в изменившихся условиях». И тут же Бейлин обращается к сельскохозяйственной практике. «Как отнесётся паразит к новым сортам, новым культурам, – пишет он, – можно ли это предугадать?». Я отвечаю на этот вопрос положительно. Уже сегодня, сегодня, существуй служба прогноза, она указала бы, какие новые культуры станут, по всей вероятности, и новыми хозяевами распространённых в местности паразитов, а какие можно высевать безбоязненно. «Надеюсь напечатать вчерне главу о специализации здесь. Приеду, почитаем вместе», – заканчивает он письмо.

Удивительно действует на читателя эта увлечённо проблемой.

Повторяю, как и в моей статье «Пятисвечник», весьма далеко живя в интересах моих от области, которую изучал Бейлин, я, открыв книгу о нём, тут же переселяюсь в нее всем вниманием, будто всегда жила среди этих звеньев, слышала их звон… Такова сила творческого увлечения автора, умение вызвать из тьмы ускользнувшего времени тайну человеческих черт, воли, характера, тайну личности, передать радость постижений учёного, трудности творческого пути.

В заключение привожу мнение, отзыв о книге, посвященной И.Г. Бейлину, ученого-биолога.

СОЗДАТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭПИФИТОТИОЛОГИИ

Только что вышла книга об основоположнике отечественной «эпидемиологии» растений, или эпифитотиологии, И.Г.Бейлине.

Профессор И.Г.Бейлин – яркая и самобытная фигура в биологии. Ему принадлежит блестящая идея о том, что для разработки и применения рациональных методов и средств защиты сельскохозяйственных культур от болезней необходимо знание общих законов, определяющих массовое развитие этих болезней. Экологический подход был положен И.Г. Бейлиным в основу разносторонних многолетних исследований, которые заложили новое направление в науке.

Глубоко анализируя сведения, полученные при изучении массовых болезней культур, и обобщая огромный накопленный материал, учёный разрабатывает теоретические основы эпифитотиологии.

Главной задачей этой области знания является изучение эпифитотий («эпидемий» у растений), научно обоснованное прогнозирование их и предупреждение. Всю свою творческую жизнь профессор Бейлин

посвятил обоснованию роли и значения новой создаваемой научной дисциплины для борьбы с болезням растений.

Прошли годы, и жизнь подтвердила правильность идеи учёного. Сегодня учение об эпифитотиях шагнуло далеко вперёд, в эпифитотиологии применяется математический анализ, с помощью ЭВМ выявляются многообразные связи, определяющие характер развития эпифитотий.

Многие учёные в нашей стране и в других странах мира работают в области эпифитотиологии – науки, стоящей на страже урожая сельскохозяйственных культур, и продолжают способствовать дальнейшему её развитию.

Доктор биологических наук К.В.ПОПКОВА, профессор, заведующая кафедрой фитопатологии Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева

ВСТРЕЧА С ИДЕЕЙ

Нина Вельмина «Таинственное ожерелье»М., «Мысль», 1988.

Рецензия

Книга геолога-мерзлотоведа Нины Александровны Вельминой «Таинственное ожерелье» (Москва – «Мысль») – необычна среди книг научно-художественных, «Таинственное ожерелье» – книга о пути ученого к его идее. Люди науки пишут о зарождении в них научной идеи, о движении, борьбе мыслей, сомнениях и утверждении. Может быть – считает автор – они мало прислушиваются к себе, к процессу роста «зародыша», перешагивают через чувства и интуицию к завершению, не открывают того, что в них происходит – не умеют ли, не хотят, или может быть потому, что их об этом никто не просит… А читателю было бы интересно. Мне кажется, что эти мысли автора книги справедливы.

И вот такая книга перед нами. Она составлена так, что главы научных исканий нередко перемежаются главами чисто литературными. На фоне давних исследований в Центральной Якутии, на Междуречье Лены и Амги – начальника отряда, мерзлотоведа-гидрогеолога, изучающего работу небольших плотин (почему-то пропускающих воду), проходит поразившая автора встреча с удивительным явлением природы, о котором она знала ранее по литературе – со впадинами в земле, испещряющими поверхность – так называемыми аласами. Пейзаж необыкновенный, поистине лунный!

Впадины в пятьдесят, сто, двести и больше метров – то отдаляются в плане друг от друга, то подходят почти вплотную. Как заглубленные в землю стадионы! Они круглые или овальные, вытянуты, имеют пологие или обрывистые берега-борта, по которым нередко ступенями сходят вниз ко дну громадные, окаймленные трещинами земляные бугры-караваны. Аласы сухие – с травой и цветами, или с водой – частично или полностью – с озерами. Земля под ногами тоже необычна насыщена, пронизана льдом и поэтому происхождение этих впадин, по существующей общепринятой гипотезе считается термокарстовым, то есть полагают ,что они, впадины, возникли от протаивания в грунтах льда.

Термокарст, это термический или «телловой» карст названный так по аналогии с карстом, где идет выщелачивание пород и тоже образуются провалы. Процесс видится таким: земля трескается от мороза, морозобойные трещины образуют решетку полигонов. Попадавшая когда-то в трещины вода замерзала, от чего, раздвигая землю, в ней росли (в более суровом климате) мощные клинья льда. Теперь, вода растаивает этот лед, грунт проседает и образуются впадины.

Знания не мешают удивлению автора. Гипотеза вызывает сомнение: почему так – будто искусственно вынута земля, так четко чьей то верной и сильной рукой очерчены берега, так аккуратно выравнено дно в изолированных друг от друга впадинах. Кто это делает? Неужели это протаивание? Неужели оно может идти так ровно?

Ежедневная работа экспедиции на плотинах – основная. «Серая приземистая плотинка из бревен, плотно втиснувшись в глубокий речной каньончик, сидела в нем затаившись, как большой заяц, разложивший по берегам длинные темные уши». Так Н.Вельмина пером зарисовывает очередной объект работ. Увлеченная загадочным пейзажем, она все свободное время тратит на обход, рассмотрение и обследование аласов. Почему то в некоторых аласах в середине, а чаще ближе к одному краю впадины возвышаются высокие бугры – автор знает – считается, что это бугры пучения, выросшие при промерзании влажных грунтов дна аласов – но почему они почти всегда расположены с одной стороны аласа? И почему за буграми почти всегда лежит серповидное озерко? Бугор к нему обрывается круто, а с другой стороны, нередко тянется, постепенно понижаясь, и сходит на нет к противоположной стороне? Для пытливого исследователя всегда найдутся объекты для наблюдений – и тут же – для сомнений. А бугор скорее похож на кусок окружающей алас поверхности, особенно когда на нем растут кусты или деревья. Правда, есть и такие, где бугор округл, покрыт трещинами и в них виден лед – тут, пожалуй, в самом деле пучение.

Интерес Н. Вельминой раздваивается: увлекает и работа на плоти-

нах – она бурит скважины, измеряет в них температуру. Надо выяснить не происходит ли протаивание вечной мерзлоты в основании плотины, что грозит деревням возможностью остаться без воды. Бурение требует внимания – зазеваются бурильщики, замедлятся работы, буровой инструмент в скважине может «прихватить» коварная вечная мерзлота.

Но влечет тайна аласов. Все больше и дальше ходит она вечерами, и вставая с рассветом, иногда удаляясь на многие километры, думает, все больше сомневается; нет, не термокарст это! А что? Как упорно повторяется везде одна и та же схема расположения деталей внутри аласов: в одной стороне бугор, с крутым обрывом, лежащее за ним озерко и пологий спуск в другую сторону. Почему? Автор размышляет: казалось бы, если таял лед, берега были бы рваны, извилисты, неровны. Когда-то была гипотеза, что впадины – результат падения метеоритов, то есть это – кратеры, как на луне. Но гипотеза отпадает – не было доказательств.

Для Н. Вельминой аласы – новый порог на ее научном пути, о который нельзя не споткнуться. Она вдруг понимает, что не принимает существующей гипотезы… Это явно не термокарст, хотя она его не отрицает – он наблюдается и здесь, но это нечто другое. Но что? Для других все ясно, для нее – притягательная загадка. Она как в стране забытых снов, где все необычно, непонятно, но прекрасно.

Отряд переезжает с места на место, картина аласов везде повторяется. Интерес передается читателю – к рассуждениям и логике автора, фиксирующей все происходящее, и все возрастает. Ни на минуту не ослабляя внимания, не отрываясь входя все теснее и глубже в любое задание дня, читатель как бы переселяется в маленькое сообщество людей – экспедиционного отряда, где существенным является и беспокойство из-за нерадивости рабочих, избалованных предшественниками, плохим испорченным буровым инструментом, который приходится, теряя время, ездить затачивать, и тем, что наступает поздняя осень, работы еще много и может прекратиться переправа через Лену.

Ткань повествования часто прерывается отступлениями, они очень хороши и уместны. Не каждому писателю это дается. Размышления о науке ученых, об искусстве (автор еще и скульптор), описания аласов перемежаются живо схваченными пейзажами, разговорами со встреченными на таежных тропах охотниками-якутами, ребятишками, древними стариками.

Рассуждения ученого, его восприятие окружающей природы, сопутствуют исканиям, они тонки, художественны, природа сопровождает каждый шаг исследователя-романтика. «Парашютами висят белые облака», «черепашьими спинами высовываются из воды полузатопленные „караваи“ в днище аласов», или: «Все, что родили деревья за весну

и лето – мягкую голубоватую пышность лиственниц, зеленые вороха берез, скромные наряды ив – холодные октябрьские ветры и ночные заморозки превратили в звучное цветение якутской осени. Нужно было дыхание холода, чтобы зажечь и расцветить душу леса, как очевидно, человеческой душе нужна печаль, чтобы одухотворить лицо».

«И тишина вокруг, невероятная тишина принимает меня в себя целиком. И такое безграничное душевное приволье ощущаешь, такую милостивую благодать, что понимаешь – наверно все это сродни счастью. Появляется доверчивая готовность все смочь, всего захотеть и ко всему и всем повернуться сердцем».

Пленяют лунные вечера на берегах озера Абалах, где происходит встреча с мерзлотоведами, исследующими подземные льды, и ведутся споры о гипотезах их образования. Впечатляет теплота воспоминаний автора о детстве и нелегкой трудовой юности, воссоздание давних, живых в памяти дней. Перо автора многоопытно – данная книга у нее третья, повествование развертывается умело, ему повсюду сопутствует юмор. Н. Вельмина искусно рисует каждого из собеседников, и читатель незаметно начинает привязываться к тем, с кем она шагает по тайге, ездит и встречается – и на берегах рек незнакомой ему Якутии, становящейся родной – так душевно, картинно и точно передается много меняющаяся арена ее исканий.

Но возникает еще много вопросов: почему аласы нередки в лесу, где почти нет солнца? Почему внутри аласа кольцом вокруг днища нередко растут деревья? Или кольцом же – идет полоса песка и галечника? Никто объяснить не может.

Идут дни, возникают предположения… Каждый раз входя в какой то новый алас, исследовательница может предсказать – как и что будет здесь «расставлено» – где будет бугор, где понижения впадины (обычно покрытой лесом, где – озерко).

На путях исканий неизбежны неожиданности: так выясняется, что впадины часто соединяются между собой, что по днищам таких сцепленных впадин, целых аласных долин, как бы в «подвале» природы, бегут журча гладенькие речки. Аласные долины на протяжении в три – пять – десять километров и больше, удивительным ожерельем нанизывают десятки впадин. Удивительным рисунком «вытаивает» лед! – восклицает автор, – или: в некоторых аласах «сидят» по два бугра, или их нет вовсе, а есть два озера.

Золотая цепь исследователя: удивление – сомнение – находка» – утверждает на собственном опыте автор Н. Вельмина.

«Не волнуясь трудно стоять в этой мастерской природы – видишь произведения мастера вокруг. Но если в мастерской, например, скуль-

птора видны и резцы и стеки, и гипсовые слепки, и глина и мрамор, и всегда ясно – что из чего получилось, то здесь видны лишь результаты; видно из чего все сделано, но неизвестно – к а к и когда. Что было раньше, что потом? Что хотел сказать своими произведениями великий мастер? Разложил свои великие создания, спрятал инструменты, уничтожил схемы и планы и промежуточные стадии творчества».

До изнеможения ходит Н.Вельмина по аласам, спускается в них, обходит просматривая каждый шаг, зарисовывает, составляет схемы. Вроде она стоит у выхода из запутанного лабиринта и ей нужно пройти по нему обратно – к выходу. Обычно герои древних мифов искали выход из лабиринта где-то впереди, ей же надо к началу. Надо искать и находить следы, по которым можно восстановить замысел творца…

Н.Вельмина естественно переходит к мыслям о творческой лаборатории художника, ученого, писателя. Философские раздумья несомненно украшают книгу. Но вот внимание повествователя привлекают текущие среди аласов речки – те самые, на которых стоят плотинки. Почему речки? Подсказывает интуиция, которую ученые не только не отрицают, но считают непременной участницей развития мысли. Возможно потому, считает автор, что речки – второй после аласов нарушитель поверхности земли. Речки здесь нередко глубоко врезаны, текут чаше в каньончиках, делают крутые петли, вихляют, образуют кое-где отдельные мелкие меандры, то есть крутые извилины, которые иногда отрываются от материнской речной пуповины. А петли побольше – всем известные старицы. И в середине стариц – островки. Берега речек сопровождают деревья или кусты. А форма петель речек в плане как и у аласов – круглая, овальная, четко врезанная в поверхность…

Совпадение – удивительно, но автор понимает, что одно – речные петли, другое – аласы, отдельные изолированные друг от друга впадины. Но все же…

И вот однажды… «каньончик» реки внезапно кончился и… реки не стало! Был тупик, свал деревьев, перевернутых при сползании грунта вниз, как при обрушении. Были куски дерна, остатки пней, торчащих корнями вверх. Все это завалило русло полностью. Воды в русле не было. А дальше – завал деревьев в русле сжимался с двух сторон берегами, как бы уходя вглубь, русло суживалось. Было страшно – будто кто-то жестокий неживой, поедал живое и оно безвозвратно погибало… А еще дальше – все ушло под землю – кусты и весь свал. Была неглубокая ложбина, заросшая травой. Потом, за ложбиной – ровная поверхность. Ничего! Будто никогда не было речки. Все сгладилось, «заштопалось».

Начались поиски, – теперь уже не аласов, а речек, одной, двух, многих. Сравнения, уточнения, километры, километры путей… Надо было

удостовериться, что не случай, система! И наконец ход мысли автора стал таким: «река течет в каньоне, извивается петлями, русло ее заваливается, погребаются деревья, росшие вдоль русла и… остается равнина. Если речка петляет не в каньоне, русло все равно постепенно отмирает, поверхности выравнивается и по ней тянутся два ряда деревьев или кустов, росших по его берегам. А сколько таких цепочек из пар деревьев видела я на ровной поверхности между аласами! Значит под ними когда-то были речки!».

Идя мысленно по своему лабиринту и делая выводы, Н.Вельмина, что осадков здесь так же мало, как в пустыне и речки не перемывают полностью свои отложения, местами сохраняются их нетронутые участки. Интерес Н.Вельминой логично перебрасывается на те крохотные речушки, что текут по днищам аласов нередко на довольно большие расстояния. И оказалось, что эти современные речушки, лишь в меньшем масштабе, повторяют все точно так же, как и те, наверху: тоже отбрасывают крохотные старицы с маленькими буграми-останцами в середине. Так же исчезают эти речушки и на выравненном пространстве, указывая их былое нахождение, парами «танцуют» деревья и кусты.

Автор тонко передает ощущение кануна – вот-вот, скоро она почувствует, узнает в с ё… Скрупулезно следит она за своими ощущениями. И вот, наконец последняя вспышка – «…Музыка вдруг заиграла внятно, как в детстве, когда ищешь что-то спрятанное другими и с приближением к искомому – громче, громче… И кто-то будто говорит внятно: теплее, теплее… Потом музыка переходит из анданте в аллегро и играет форте, фортиссимо!… Г о р я ч о! Да, да, аласы – это речные петли, старицы, разделенные исчезнувшим между ними руслом. Земля между петлями смыкалась, поверхность выравнивалась и оставались бусины от ожерелья – аласы…

Самые ранние процессы могли быть тысячи и десятки тысяч лет назад, когда отделялись петли больших рек и создавались громадные и малые чаши аласов».

Так замкнулся таинственный круг, но многое еще надо было уточнить, проверить. Почему все же стираются следы рек, сглаживается поверхность? Может причина в каких то особенных грунтах здесь?

Суровой якутской зимой рассматривает карты, расспрашивает сотрудников, ездивших в другие районы, изучает литературу – русскую и зарубежную. Оказывается, эти удивительные впадины – аласы существуют и в долинах других рек и на всей северной полярной равнине и в Западной Сибири (где называются хасыреями и чаще бывают с водой – от более влажного климата) и на Аляске и в Канаде – так же в долинах рек, где называются «cave-in-Cake» и «thow-in-Cake» – то есть «котло-

вины оседания» и «впадины протаивания». Следуя русским – первыми начавшим их изучение, происхождение впадин там принято считать термокарстовым.

Научная судьба на годы уводит автора от аласов – срочное задание – разведка на воду в Южной Якутии, выяснение условий движения подземных вод – такая задача ее на этот раз – тоже череда поисков, находок и встреч по работе на Алдане. Н.Вельминой написана предыдущая увлекательная научно-художестве иная книга «Пленница вечного холода». Отголоском этого периода, полного трудностей, а иногда и приключений – с юмором описанная встреча с одним из последних кочевников наших дней охотником-эвенком, по своему понимающим «конституцию для медведей», иногда опасных (нападение уголовников ночью, в тайге), проникли и в книгу «Таинственное ожерелье» – в виде главы, как воспоминание об Алдане, от которого автору уйти трудно.

В Москве Нина Вельмина опубликовывает результаты своих исследований в Трудах Академии Наук. Появляются и приверженцы новой идеи и отрицатели ее, – слишком велика инерция воззрений, державшаяся десятки лет. Но в Московском университете новая гипотеза читается студентам наравне с термокарстовой. Автор не раз подчеркивает, что не отрицает явлений термокарста, на против, знает его широкое распространение, называет «великой империей», но считает, что не он является причиной возникновения аласов. «Самое главное, – пишет она, – что „эта великая империя“ сделала – она ввела в заблуждение ученых, потому что монархия его не абсолютная. Рисунок термокарста ложится на первооснову овалов и полудужий древних рек то полустертым, то ярким и молодым». И далее: «Термокарст – великий гример, великий мастер пластических операций на мерзлом лике Земли, он маскирует то, что делает речная эрозия».

На протяжении многих лет исследовательница не оставляет своей идеи, ищет ее подтверждения в других местах и находит. Настойчивость Н. Вельминой естественна для истинного учёного. Она ведет читателя за Полярный круг, – в дельту Лены, потом на юг, на Украину, в район Полтавы, где проходила южная граница оледенения и была вечная мерзлота, затем снова, и не раз в Якутию – опять на то же Междуречьё Лены и Амги, но в другие районы; и на междуречье Лены и Вилюя, где вновь обследует и изучает аласы.

Она находит подтверждение своих заключений и в тайге, которая, наступая на оставленные рекой открытые пространства, сохранила следы цепочек ивовых кустов, сопровождавших речки. И еще находит она столетних стариков, которые помнят и знают места, где когда-то текли реки, а сейчас ровное место и проложены дороги.

Здесь тоже много литературных отступлений, которые так хорошо удаются автору и которые, повторяю, так украшают книгу.

Подтверждение своей идеи Н.Вельмина находит и в работах археологов: вблизи Пскова, где когда то была вечная мерзлота и отступал ледник, были обнаружены длинные траншеи с остатками костров, орудий, костей. Полагали, что древние люди сооружали жилища в таких землянках, покрывая их шалашами. Но это была сетка трещин с осевшим в них грунтом после того, как лед вытаял, аласы же – не образовались.

Книга окончена. Она раскрыла перед читателем удивительный мир природы, научных исканий.

Что меня, не специалиста, поразило в этой книге? Что я прослеживала среди сложных путей фабулы? Тот путь познания, которым – неустанно, настойчиво трудился ученый, проверяя свои догадки, шел следом за своими сомнениями, опровергая их – с часа, когда перед ним стала задача *найти* объяснение загадки.

Меня восхитил тот дух ученого, который беспощадно к себе, планомерного бесконечным терпением, вновь и вновь, шаг за шагом, ставя вопрос и на него отвечая, двигался к разрешению тайны. Пока не просиял свет, пока не вспыхнула несомненность, пока не победила всю трудность пути радость познания.

Вот такую необычную, интереснейшую книгу я предлагаю читателям.

12. 06 1989 г.

«БЛАГОСЛОВЛЯЮ ВАС НА ПОДВИГ БРАКА…»

Дорогой Леня!

Вчера был первый день Западного Рождества. В детстве Марина и я, в заграничных пансионах, мы его праздновали. Вы это в моих «Воспоминаниях» – прочли.

Меня душевно заняла одна сторона в вашем письме: о тонкостях человеческих отношений. Где она более нужна, чем в браке? А между тем – именно из-за ее отсутствия в этом союзе брак или разрушается, или хромает – часто на обе ноги. Но эта хромота всегда кончается – расставанием.

Как этого избежать? От всей души я пожелала вам обоим – счастья. Но как его обрести?

Это не бабочка, летающая в воздухе, как это кажется в так назы-

ваемый «медовый месяц». Вот именно этот термин многое – неосновательностью слова «месяц» – портит тут. Подумайте сами: в теме брака, т.е. союза до смерти, – какую же вредную роль он играет! Указуя на ограниченность счастья – месяцем! Даже страшно подумать! А какое хождение имеет это выражение, и как ему верят!

И не обращают внимания на то, что в старинном браке имеются ценные и неожиданные указания на его существо. Благословляя брачующихся (как я пытаюсь – благословить вас двоих: от всего сердца), говорили следующие слова: «Благословляем на подвиг брака», что в наше время звучит странно.

А между тем именно этот завет смыкается с самыми высокими и тонкими инстанциями научных психологических д о с т и ж е н и й. Браки распадаются потому, что обе стороны смотрят на брак, как на удовольствие, радость, в первую очередь, новизну и уже во вторую – как приятный долг, упуская из виду всю сложность жизни с ее генетикой, болезнями, несчастными случаями и мучительным уходом за больным. Упуская мысль о родных жены или мужа, старых, о конце их жизней – человеческом долге, тяжком.

Кто думает об этом в беспечные дни молодости? И кто достойно, несет этот долг, когда жизнь поставит его лицом к лицу? А если недостойно несет – куда подевалось счастье? Как от бабочки – нет следа. И вот в старину-матушку, над которой теперь смеются, обо всем этом думалось… По 2 по 3 года бывали женихом и невестой, узнавали друг друга, все обстоятельства жениха, невесты, все трудности будущие, нет ли болезни наследственной в их роду, примерялись, есть ли у двух приглянувшихся друг к другу людей силы на то, что предвидится.

Это все продумывали в своем сплетеньи семейных нитей – семейные Парки и, качая мудрыми головами, отсоветовали.

Теперь – дело проще: потанцевали, понравились, улыбнулись – и с цветами в загс, и щелкнул фотоаппарат… А между тем и теперь, – как при переливании крови проверяют совместимость групп крови, – так и в браке разумном существуют объективные признаки совместимости данных людей, неукоснительность типа психического, *неслиянность* иных, при всей силе влечения предсказующие неизбежность разрыва…

Да и кто теперь считается с заповедью христианства мужу смирять себя, а жене проститься с причудами? Намного проще, привычней – взгляни вокруг – не мужу смирять жену, а жене – современной – подчинить мужа своим привычкам. Так легко, торжествуя победу, прини-

мают удачу медового месяца за все будущее. А катятся дни… к разводу, пока еще незаметно. Но уже с досадой жена замечает дотоле неизвестную ей твердость в голосе мужа, прежде бывшего с ней мягким и охотно исполнявшим ее волю…

А отсюда – легко заключить, что она, в роли невесты, ошиблась в основных его свойствах, не угадала природной его жесткости, лишь прикрытой смирением. И покажется ей вдруг муж – чужим. А вчера увиденный, в гостях, юноша – близким… И разве можно ее не понять, если пока не связав себя зарождением потомства, она только загсом связанная, *переобдумает* свою жизнь?

И как удержаться мне на 93-м году, не сказать то, что мне привиделось, почудилось, показалось, когда я всем сердцем Парки благословляла вас? Что вся психология со своими законами утверждает здесь разницу типов, разницу целей жизней, разницу основных свойств, и, боюсь, несовместимость содружества? Как много бы я дала, чтобы здесь – ошибиться, но боюсь, что не ошибаюсь.

Анастасия Цветаева.

26 декабря 1986 г.

ОБ АНОМАЛИЯХ

В природе бывают аномалии, и с ними надо считаться, как с каждым неопровержимым фактом. Для людей, которые аномалиям подвержены, это трагедия: человеку, рожденному не в свой пол, – как ему жить?..

Чувство осознания себя «им» или «ею» приходит в раннем детстве. А если мальчик о себе вдруг уверенно скажет «Я пошла. Я поняла!..» А девочка: «Я пошел! Я понял!..»?

Мыслить и рассуждать человек научается только выросши, так что и самоосознание часто откладывается до подростково-юношеского возраста. Тогда-то и наступает трагедия, которую создает отношение окружающих.

Осудить – что может быть легче? Человек видит грехи соседей, а так как соседей много, он занят ими так жарко, что у него нет времени осудить себя. Осудить за несоблюдение заповедания Христа: «Не судите, не судимы (Богом) будете». И осуждать, не зная, может быть, то, что осуждаешь, – болезнь? Или, еще глубже, не болезнь, а Природой созданный вариант нормы?..

Во всяком случае, попытки лечить аномалии не оправдались. Ради-

кально помогла хирургия – операциями. Стали возможны превращения женщин в мужчин, мужчин в женщин. Но когда станет возможным после таких операций потомство, то не станет ли оно монструозным? Все здесь зыбко, гадательно…

За мои 98 лет я знала случаев аномалий – несколько. Вот случай, когда с 2 – 3 лет девочка не хотела быть Таней, звала себя Андрюшей, плакала, если ей надевали платьице, требовала курточку и штанишки. Я встретила эту Таню-Андрея в годы гражданской воины, в Крыму. Помню ее в военном мундирчике, прошедшем уже не один поход. Родные очень боялись грубостей со стороны солдат, но ошиблись: от солдат Таня-Андрей обрела лишь уважение за храбрость в бою.

Знала я юношу невысокого роста, целовавшего дамам руки, певшего низким голосом цыганские романсы, оплакивая разлуку с любимой. По паспорту он был женщиной.

Знала и высокого с женственными чертами мужчину, Евгения Николаевича. В паспорте значилось: Ева.

Я не встречала мужчину, желавшего стать женщиной. Так. Но что делать, если юношу не влечет к женщине, а влечение его однополое? Обвинять – не поможет. И – в чем?..

Тут душевное, сердечное влечение. Телесная близость – последний момент… Жажда слиться… И «да будут две плоти воедино» (Новый завет).

Назвать это развратом – неверно и неразумно, как не принято звать развратом происходящее в спальне мужа с женой. Об этом умалчивается. На Страшном Суде Бог отделит виноватых от невиновных. А до тех пор не будем прокурорами (и не будем себе – адвокатами…).

Так. Но есть случаи, когда мы именно вправе вознегодовать – когда нормально созданных девушку, юношу люди, подверженные аномалии, себе на потребу, на удовольствие соблазняют. И когда им в ответ, любопытства ради, нормальные существа откликаются и, изменяя своей природе, пробуют, для остроты ощущения, грешной ногой этот скользкий путь. Вот это есть голый разврат.

Суммируя сказанное, мы приходим к важному выводу, поднявшись над этими страницами.

Истина в том, как ее задумал Господь (и извратил Сатана):

Без любви не должен мужчина тянуть объятия женщине.

Без любви не должна женщина отдаваться мужчине.

Над миром царит любовь.

Часть VII

ОБ ЭСТОНСКОМ ХУДОЖНИКЕ ОЛАВЕ МАРАНЕ

«Натура мёртвая»! Какое странное
Название дано тому, что будет жить,
Переживёт художника, века и страны
И в вечность тянет огненную нить.
А.Ц.

Знаю этого художника и человека много лет и хочу сказать о нём своё слово – выразить то, что давно уже звучит во мне. Что я прежде всего могу сказать об Олаве Маране? Совершенно простую вещь: что он, как никто из всех, кого я видела в моей долгой жизни (а мне уже 95 лет, и я была в картинных галереях Германии, Франции и Италии), утверждает и освящает то, что преданно следует за человеком по земле: то, что так часто отбрасывает от себя презрительным жестом средний человек (мня себя сверхчеловеком): быт нашей жизни, служащий нам в наших земных потребностях, помогая нам от себя отрываться ввысь.

Выбираю слова: слово «старинное» о живописи Марана падает само собой (и это слово с улыбкой напоминает нам, что и оно могло зваться в своё время новаторством, а затем, как и человек, старея, отошло за предел возраста, стало в отношении сегодняшнего дня «старинным»). Тут нужны другие слова.

Быт в натюрмортах Марана перерос понятие старины и шагает тихим шагом к понятию вневременного, вечного – отсюда удивительный покой этих картин. И ещё одно чувство в нас зарождается перед полотнами художника: одушевлённость всего, что он пишет; священность, спущенная к нам в них, их первозданное дыхание, чистота первого дня

сотворения мира. И тогда понимаем мы всю нищету, всю ошибочность термина «nature morte» – мёртвая природа, ибо многое можно сказать об изображённом, вернее, воплощённом Олавом Мараном, вместо покоя мёртвости – тут дышит именно жизнь, покой жизни в этой живой натуре.

Цветы Олава Марана. Его букеты! Трудно о них сказать… Как добивается он стереоскопичности этих волшебных букетов? Тайна художника. Мы стоим перед чудом: лепестки отделены друг от друга – воздухом; передние – словно совсем возле нас, задние отодвинуты ощутимым пространством. И тени живут меж них. Взгляд прикован восхитившимся изумлением: миг – и лепестки встрепенутся! Чувство, что каждый цветок – живой, что мы присутствуем при некоем чуде воплощения, и чувство это не покидает нас и после того, как насильно пришлось отвести глаза от картины: зовут, надо идти, но словно уже хлебнул живой воды, и тебе легко, светло, празднично. И всё ещё видишь – оком памяти – тот луч солнца, что скользил где-то позади букета астр, лишь задев отдельные лепестки, ту тень, которая поглощала уходящие вбок стебли с драгоценной ношей этой густоты, этой лёгкости, неповторимых оттенков колорита, ту единственность зрелища, словно первое воспоминание детства, которое молча подарил художник. Он и сам будто нехотя сменяет свои «экспонаты», ведь это страдание: оторваться от астр, перейти к тюльпанам, от тюльпанов к розам, оторваться от благоухания роз, розовых, бледно-янтарных, но уже пышные белые пионы берут нас в плен…

И вот натюрморт: тёмный фон, слева чуть светлей, чем справа. Над этим миром, этим спокойствием вековечной домашности, озарённой светом, светло-жёлтый жбан? ковш? белый внутри, чуть отступя, – медная ступка, двухручная, с пестиком, той же тусклой меди; возле неё пустая яичная скорлупа. Ещё две скорлупки яичные, пустотой зияют кротко, выполнив свой яичный долг. В глубине – налитой водою графин, мягко блестящий, чуть отсвечивая желтизной жбана. Между предметов – тени, делающие всё выпуклым. Тишина…

Как передал художник в своих натюрмортах удивительное чувство тишины?

И вот нежданно оказались рядом на этом пути одушевления предметов быта и растений Олав Маран и сказочник Метерлинк.

И вправду – разве не сказочен тихий дом на краю Таллина, где живёт творец этих картин? Разве не сказочна художница, жена его, Сильвия, из-под чьей руки выходят тончайшие графические листы, *тонкопись* украшенных, перерождённых букв?

Портрет Сильвии. Прозрачность, хрупкость, неизъяснимое очаро-

вание этого женского облика, густота волос, окутавших это лицо, улыбчивая серьёзность взгляда глаз, одновременно тёмных и светлых… Рядом со статным, мужественным Олавом не могла встать иная, кроме Сильвии. И не мог защитить её от всех трудностей жизни иной, кроме Олава. Да, библейский рассказ о том, как Бог создал подругу Адаму из его собственного ребра… Но, если Маран может быть сравнён с Адамом, ускользнула от сходства с Евой Сильвия, с Евой, увы, искусившейся… И вот на портрете воплощена Сильвия – и Сильвия, взглянув, говорит: «Жаль, что я не такая. Но я хотела бы такой быть!».

…А за окном дома художника о чём-то шепчут ветви: уходит в бесконечную высь берёза и, прильнув к окну, видишь, что она обнимает небо, а гуща ветвей превосходит обычное дерево – берёза ждёт кисти живописца… Та Лазурь, в которой утонуло дерево Марана, которая небесным шатром зовёт людей к миру, освящает их земной путь. До последнего дня маленькой вечности на земле человека, до Последнего Дня.

Ответ Сильвии о портрете доказал правоту Олава. Ту великую скромность, которая обитает в их доме, с которой едут его картины на выставку. С которой он, прочтя эти мои слова, улыбнётся, не согласится с ними.

Морские пейзажи. Один из них висит в моей квартире: широкая полоса песка, водная бесконечность с тусклыми водорослями и узкая полоса серо-синеватого моря, у берега шумящего длинной волной; отчётлива черта горизонта, поднявшая над собой очень бледно-серое небо. Слышно, как звенит тишина. Глядя на эту картину, вспоминаю ту, далёкую, первую встречу с морем Италии. Далеко и плоско, крошечно зажатая между каких-то неровностей пейзажного рельефа, блеснула серебристой синевой узенькая полоска. Мы ждали, что оно вылетит к нам навстречу из-за поворота, сияющее и огромное, такое, как дышало и билось в стихах Пушкина.

– Я могу писать природу только Эстонии,- сказал мне Маран на предложение поехать к другому, южному морю, попробовать себя на Коктебеле. – Я мог бы им любоваться. Но писать бы его я не мог… Писать надо не с любованием, а с любовью. А любить можно только родное, близкое.

И опять натюрморты, бессловесный разговор вещей. Хлеб и яйца. Маленькая тяжесть яиц ощущается как драгоценная пол нота, ненарушенность, таинственная в природе цельность, через всю скромность их назначения. Низкая коричневая тяжёлая миска рядом с мерцающей медью пирожницы с лунками для пирожков, зовущий к еде свежий срез рижского хлеба. Как свидетель всего этого – молчание высокого

медного кувшина, может быть страждущего по воде. И все эти светло- и тёмно-коричневые оттенки зажжены блеском белой эмалированной кружи. Ей откликается, как звук в оркестре, белая скатерть. Фон? Серо-голубоватый.

Амариллисы с серебряным сосудом. Что за грация! Это внезапный звук флейты. Яркий блеск серебристого стеклянного кувшина. Цветы, сходные с лилией, нежданно алые; на каждом лепестке – белая полоса! И внизу – матовый блеск из серебра сделанной корзиночки для сахара.

А напоследок сказала бы по-французски: le comble du bonheur – верх счастья. Нежданность! Поглядите! Над крышами встала луна. Вплыла и стала. Полнолуние. Золотое – неверно сказать, – рыжее, ибо тусклое. Но странно: снег на крышах не мерцает в его свете. Это не белизна, это почти синева… Почему синева, когда луна рыжая! Она стоит в небе выше своего отсвета, безучастно, беззвучно. Если в некоторых натюрмортах Марана был музыкальный отзвук – тут полнейший покой, тишина, с которой мир вещей, природа глядит на нас, беззвучно повествуя о чём-то самом важном, о том, что придёт после этой жизни, о Вечности.

ИРИНА БРЖЕСКАЯ – ВСЯ СЛОЖНОСТЬ ЧУВСТВ

Ирину Владимировну Бржескую я знаю примерно 20 лет – бывая на ее выставках, я не могу нарадоваться росту ее мастерства. Мне хочется определить, что особенно ценно в ее сверкающем творчестве. Задача трудная, ибо этого «особенно ценного» – много, а разнообразность ее таланта не умещается в даже обдуманном глубоко – определении. Но попробуем.

Начнем с того, что зримо каждому – ее отношение со светом. Улавливание и закрепление самых нежданных, мгновенных, осужденных на трепет исчезновения, бросков освещения. В них, в этой тайне дыхания исчезающего луча, она рождает полупрофиль, лоб, пряди волос… И та вечность, на которую способно искусство, дарит ответно ей *возвращенность* на полотне, мгновения того, что художником властно схвачено, того, что хотело исчезнуть.

Но рядом со светом – его порождение: цвет. Как простым словом «богатство» назвать сложнейшее пылание красок, поражающее своей первородностью, смелостью сочетания с равным себе цветом, празднующим единственность рядом с другой единственностью?

У Ирины Бржеской большой талант – понимать свою натуру, десятки и сотни ею созданных человеческих обликов – нет двух похожих

в подходе к личности, к ее сути. Я разошлась? Надо остановиться, прервать пыл своих строк? Вспомнить, что мне девяносто лет, девяносто первый…

Вижу изумительный портрет. Певица Вивика Ваасар. Профиль. В черной шляпе, все в тени. Свет на тулье. По краю светом обведена линия носа, рта, подбородка. Клубится седина кудрей над плечом – жизнь в прошлом, замерший зал, тишина, внимание. Воздух – успех. Голос, конечно, низкий, знание цены своей и горечь утрат. Молодости? Друзей? Близкого человека?.. Многих утрат. От них – твердость самооценки. Укрепление самосознания. Могла бы быть героиней одной из новелл Андре Моруа.

А рядом – женщина, молодая. Анфас. Прямо смотрят темно-карие, мимо вас, глаза. Широкие грубые черные брови; тяжелый подбородок оперся о нежданно тонкую руку. Сжатые, тонкие пальчики служат как бы подставкой для головы. И, продолжая вниз, тонущий во тьме черного платья стебель руки в светлом меркнущем рукаве. Чернота прямо пролившихся тяжелых волос сливается с черным платьем.

Дальше Ваше внимание целиком поглощается чередой портретов мужских. Они перемешаны с детскими и семейными, но я иду мимо них – к поразительному проникновению художницы в мир мужских душ, мужского интеллекта, мужского характера. Мужественность – вот что, видимо, заняло дар воссоздания художницы.

Череда этих мужских душ, брошенных на полотно, – это перлы. И со всей честностью, на которую способен писатель, я попытаюсь их описать, чтобы не только на полотне они жили, для увидевших – чтобы на страницах они остались – процвели.

Портрет скульптора Юхана Раудсеппа. Автор знаменитой статуи на кладбище в Кясму. К ней – экскурсии: на могилу Сигне Тидеман, в 24 года умершей от туберкулеза. (Красивая, веселая, скакавшая, помнится, верхом, одна дочь у родителей. Обнаженное тело сестры ее, склоненное над тишиной смерти, в протянутых руках – годы уже – держащая всегда свежие цветы. Целомудрие позы останавливает любование красотой.) Портрет скульптора в рост. Ему 80 лет. Он сидит на тепло-зеленоватом фоне с просветами. В позе покоя, устало опершись левой рукой, согнутой в локте, о что-то не явное, правую уронив на ручку кресла. Берет, очки – их призрачный и воздушный блеск. Императивная усталость жеста диктует позе безразличие к впечатлению глядящего.

А на следующем простенке – он же на 10-летие позже. 90 лет, мой возраст. По грудь. На холодном синеватом фоне, а впереди коричне-

вый, теплый. Постарел. Исхудал. Горечь одиночества, смесь застенчивости и надменности. О если бы подойти с добрым словом – кто знает, не вспыхнула ли бы улыбка в ответ? Грация старости…

Но Ирина стоит рядом, рассказывает, что другой вариант портрета на сложном фоне с просветами – на холодно-зеленом фоне. Он же в рост, тоже в позе сидящего – у окна, и за ним башни Таллинна…

Шаг – и на узком Простенке – поясной портрет академика Спартака Беляева. Худое длинное лицо поднято, иронией превосходства пронизан даже блеск очков, чернота оправы, мотыльковая хрупкость стекол.

Поворачиваю и иду.

Композитор Виллем Рейнман. Блещущий тяжелый взгляд, усмешка самоутверждения через властную горечь и старость. Длинный нос благородного очертания. Тень улыбки над всей этой прожитой жизнью, ибо еще горит сердце… И не отвращается взгляд великолепных еще карих глаз. Покой седины вокруг лба и бородки. Это, конечно, друг, жизнь поднявший на плечи. И не хочется отойти. Все на теплом коричневатом фоне.

А рядом – тот же возраст, одно поколение и – несовпадающий лексикон. Вся невозможность общения. Левый полупрофиль – навстречу правому полупрофилю композитора, безволосая голова, безбородая розовая нижняя челюсть, большой рот. Оратор? Нет, крупный физик. Академик. Писан на светлом фоне. Брезжится неудача судьбы, – но верой в себя судьбу борящая привычка не сдавать бой. И – контрастом со сдержанностью композитора – тот вот-вот заговорит.

Вот отличная от всего тональность человеческой личности: Кальё Книиск, народный артист Республики, кинорежиссер. На оранжевом оттенке фона, сидит откинувшись, утверждая свои достижения, чуть презрительно смотрит на мир. Скрещенные пальцы крепко сцепленных на груди рук. Распахнутые створки блеклой рабочей куртки, под ней голубоватая блуза. Неинтерес к одежде – выше метим! Невосприятие споров: преисполненность верой в себя, в свой труд.

И нацело – как волна на волну – смывает дотоле виденное – крупный портрет. Ян Кросс – писатель, на холодном синем с зеленым фоне, портрет мощного, но и мягкого человека. Правый профиль. Лицо жизнелюбца. Красавца. Волевое лицо. Светом тонко обведенный профиль. В почти улыбчивой властности выражения – сладость. Только так надо видеть мир. Остальное все – ошибается… В грации единения – победность. Половина лба, нос и щека – в тени. Свет озарил край лба, крутой подбородок (в нем усугубление сладости), человек страстей, побед, опыта. Сластолюбие. Благородством борет его. Глубоко! Таинственный

блеск левого стекла очков, круто облитого светом. Под темным краем костюма побежалых тонов – жилет? Привычка к элегантной одежде, невосприниманье ее. Любопытно, какие книги пишет этот писатель Ян Кросс…

Последний портрет зала (может, от входа 1-й) – известный критик.

Возраст? Еще молодой – уже старый? Говорят, прозвище – Маг. Еще не тронутый старостью, тяжелый, жадный, покоряющий и недобрый взгляд. Темный. И по темноте – блеск. Ноша страстей схороненных. Вынужденный покой. Земной, не духовный. Тяжелый нос, чуть длинней нормы. Горбоносость, не резкая. Широкий невнятный лоб. Под полуседыми усами тьма верхней губы, неустойчивая алчность нижней. Седина бородки, обнявшей подбородок. По черному широкому галстуку – две полоски острой белизны. Темное серебро (тень) белоснежной сорочки – мастерство кисти. Многомысленного смутного человека великолепный портрет.

Говорят, в Таллинне, где я ежегодно бываю, была выставка ее детских портретов. Жалею, что ее не застала: я бы написала о детях Ирины. О разных возрастах их и о разных их уровнях. О днях и ночах детских. О свете, играющем за их головами с улицы, из сада, по краю окна. Об их ночном дыхании. Об их спящих ртах. Не хотящих никак просыпаться… Я навек запомнила свою вину перед правнучкой (спасая ее от прихода матери во время так нужного ребенку дневного сна – а уроки не начаты! Спасая от грозы материнской (вдруг раньше придет?!) на Олю, – я резко с нее сорвала одеяло – и она на меня крепко обиделась – боролась за свой сон…) Но Ириных детей не будили, они были счастливы во сне. И по английской пословице «Where is life there is hope» («где жизнь – там надежда») – я ведь могу дожить до следующей выставки Бржеской и еще, может быть, напишу.

Портреты, портреты… О них можно говорить бесконечно. И – бесполезно о них говорить. Их надо видеть.

Я и так слишком много сказала. И о многом не сумела сказать.

Вот портрет Ирины. Из-под желтого платка, наброшенного на голову, как маленький шатер, на меня смотрит художник. Уклонясь в желтоватую тень. В чертах ее, мужественных и женственных, ожидание радостного восхищения – увиденным. Слабость, вероятно, простительная… Чуть нахмурены брови, и чуть улыбается рот, и радуется, и смущается – вся сложность противоборствующих чувств в этом лице.

…А портрета, о котором я сейчас расскажу, на выставках пока не было. Будущая натура бродила как-то между работ Ирины Бржеской, на одной из московских экспозиций, и лицо ее привлекло взгляд художницы.

– Жду вас в Таллинне, – сказала ей Ирина Владимировна, – я вас напишу.

Прошло совсем немного времени телефонный звонок: «Я вчера приехала из Таллинна. Какой художник! Она писала меня – ну, три часа… Как она могла понять все о моей жизни? Я ничего не рассказывала! А лицо полотна – говорит! Все обо мне сказала…».

Редко, чтобы человек находил себя похожим. Обычно видят разницу, а не сходство. С нетерпением жду слайд, сделанный с портрета. И вот, на моей стене, на белой с простыне, увеличенное изображение. Зеленоватый фон, крашеное золото волос шеи – белое, ниже – черное. Через плечо брошена красная с черным шаль Но внимание захватывает лицо… Взгляд в самую суть – это больше, чем общение, лицо поселяется в сердце глядящего. Трагичен. Преодоление трагизма. Не сдающийся бедствиям дух. Ну, попробуй, говорю я себе, описать, назвать, что здесь главное. Противоборство. Подчинение страданий воле. Удивительно передал художник красоту – в прошлом! От Марии Степановны Волошиной знаю, что женщина эта с детства была красавица. Но приняла тяжкие испытания. Нравственные и физические. Боли, которые не в силах стерпеть человек. Стерпела.

Лицо поднято. Вне возраста. Никому о себе не скажет! Рот сжат. Глубокие складки от носа ко рту. Повелительность: «Не жалейте!».

Разуверение в сочувствии. Тут иные мерки, иная мера – тут разговор с судьбой…

Я пишу – как умею. Честно купая зрение во вспыхнувшем на стене слайде. Лицо крупнее обычного – неосознанная символика? И – рассказать о глазах? Были они когда-то, должно быть, так велики, темны, что и теперь, когда возраст их исказил, они все равно большие, темно пылают взором взыскательным, изучающим. Себя скрывшим.

Но все сказанное мною тут так косноязычно – перед этим молчащим лицом.

19.11. Николин день. 1984.

«ДВАЖДЫ ДВА – ПЯТЬ»…

Письмо двум художницам двух направлений И. Бржеской и Е. Толстой

Мастерская Ирины Владимировны Бржеской была – и есть – подобие родного мне дома. За огромным окном ее – Таллинн, маленький средневековый город.

За окнами и стенами, увешанными картинами Кати Толстой, – ста-

ринная и современная Москва. Эти комнаты мне тоже как бы родные – так странно свела меня судьба и с хозяйкой, и со всей ее семьей. Дружба же началась наша в коктебельском Доме Поэта в последние месяцы жизни Марии Степановны Волошиной, в последние дни Дома.

В Москве необычное, просторное по-старомосковски жилище Кати Толстой находится как раз напротив бывшего дома Цветаевых в Трехпрудном, воспетого моей сестрой Мариной в стихах и мною – в прозе.

Бржеская много старше Толстой. Пути мастерства Ирины провели ее через персональные выставки, заслуженно подарили ей – через перепутья непонимания, осужденья, может быть, зависти – справедливость признанья и, на эстонской земле, прекрасную мастерскую: ей – польке, ей – чужеземке, привлекшей сердца к себе неотразимостью своего мощного и веселого дарования. Ирина берет в плен тем, что идет в плен – к натуре. Она загорается ею и, жадно впитав, дарит ее нам, воплощая вторично, остановив, как Иисус Навин – солнце, увековечив сущность натуры на веки веков.

Катя Толстая открыла себя в живописи всего несколько лет назад. Талант ее – несомненен. Есть выразительность, есть величавость, есть характер натуры, есть крутая контрастность в ее портретах, своеобразие в выборе лиц. Есть огромное разнообразие, но и – некоторая – фантастичность? Все ее головы больше человеческой. Некий гигантизм отличает все эти работы, выросшие сказочными цветками: ряд выше ряда, по стенам семейной уютной столовой – окнами в солнце нашего детства.

Катя учится живописи. Современной. В этом мире есть положительные течения. Молодого художника они уносят с собой.

Фотографию с портрета работы Кати Толстой показали в одной так называемой «общей квартире», где жил человек, с которого был сделан портрет. Кое-кто из родных, кое-кто из соседей, друзей покачали головой, кто-то отвернулся: «Уродство! Ну уж не польстила». – «А зачем льстить? – возразила я, зашедшая в эту квартиру. – Разве для того пишут портреты, чтобы льстить?»…

…Спеша к своей записной книжке, я продолжала, идя улицей, мысль о Кате: «Любит ли она свои натуры?»

Здесь качалось, спеша к паденью, Колумбово яйцо. Не тут ли была еще и зарыта собака? Ее разница с Ириной Бржеской: изнутри ли она видит свою натуру? Загорается ли ее светом? Бросается ли, подобно Навину, с мольбой: «Остановись, солнце! Еще один взмах кисти…».

Может быть, Катя рассматривает, оценивает натуру? Думается, она в ином волнении творчества берет кисть…

Но сама ли она вступала на этот путь портретизма? Не попала ли она в «пленительное течение»? Видит ли Катя сердце натуры, смотря на нее?

Катя еще не мастер. Она еще учится мастерству. Она проходит это учение где-то на берегу моря, я не знаю той студии, но я боюсь за нее. Я видела два портрета, написанные с нее ее учителем живописи. В них, опасаюсь, убита прелесть ее лица. Кудри ее не вьются… Не расширен в полете ресниц ее ищущий жадный взгляд. Тот, кто ищет – находит! С ветром борясь, стаи птиц обретают родину…

Нашел ли истину художник, ее учитель?.. Не научает ли он, как всходить на вершину ныне, то есть временно, в русле принятого «направления»: взойдя, застыть на победном месте и назваться вождем моды? Что-то выхолощено, внешне эффектно взято им из еще живого лица Кати-натуры; не горит в двух его портретах Катино сердце.

«Стиль – это человек», – слова Бюффона. Кто возьмется оспорить их? Но вот из строгого слова «стиль», как из черепа коня Олегова, медленно выползает змея: стилизация…

Где укрыться ей в мастерской Бржеской, пылающей полотнами столь жаркими, как сон ребенка, чуть приоткрывшего рот; как библейская старость «Старика со своею старухой»: картина, старухой переназванная «Старуха со своим стариком» – не вползти змее в зоркую сухость маленькой и уютной старушки в жар деловитости, весь век опекавшей высокого длиннобородого моряка, по земле ходившего как младенец, бурей бредившего, правившего!..

Выставка Бржеской положила врагов на лопатки сокровенным пыланием душ, разных, как в первые дни сотворения – еще до грехопадения в раю; только там пылали так краски, змей еще прятался, не осмеливаясь искушать… Вот оно, нужное слово: «искушенность»! – отравленность, непылание тайной натуры, смакование горбоносости, длиннолицести, толстошеисти – еще горбоносей, еще длинношеей, еще толстошеей – обострить – подчеркнуть – подтолкнуть к самому краю.

«Сходство»! «Натура»! (Некий «*натур-морт*»! *Морт натур*?)

«Сходство с натурой»? Идите к фотографу! Художник не следует «рабски за настроением натуры» – художник «так видит»! Художника нельзя «учить»! Художник видит по-своему! Художник «создает стиль»!

«Вернемся к нашим баранам», как говорят французы. (Змея вползла назад в конский череп…) «Художник создает стиль»! Это лукавое утверждение выражено так, что его опровергнуть нельзя. Но если вглядеться в туман сумерек – там таится и тлеет звезда сомнительной конфигурации: кривляясь, как демоненок, рождается у матери-стилизации младенец-карикатура.

– Я не хотела сделать Марию Степановну «добренькой», – сказала мне Катя Толстая.

– Она очень похожа, – говорили смотревшие, – но – в свой самый дурной час… Гетман какой-то!..

Через несколько дней после окончания портрета вдову Максимилиана Волошина сфотографировал мой друг Глеб Казимирович Васильев. Это ее последняя предсмертная фотография. Чуть вытянув сухое морщинистое лицо – ей пошел девяностый год; блестя глазами в лупу очков, она улыбается – тонко, добро, по-старчески, умиротворенно прощаясь. Есть нега в этой улыбке и есть – отвага, и это трудно сочетать в улыбке прощания и прощения, и это трудно забыть…

Мне жалко, что художница воплотила только «гетманство» в этой сложной героине Дома Поэта, заслуженно поднятой на холм Янышар рядом с самим Поэтом…

Но почему я подумала, что знаю Катю Толстую семь месяцев – это неверно! Я встретила ее вместе с ее прекрасной подругой Тамарой (вот бы их – кистью Ирины Бржеской!) в Коктебеле три года назад. Вскоре в Москве я с Тамарой была в доме Кати Толстой. Портретов по стенам было тогда еще мало. Катя устраивала своим детям детский спектакль, в доме было весело, шумно, волшебно. Мне вспомнились праздники у Поленовых в нашем детстве, казалось, это – старая Москва…

Три года спустя я увидела в Доме Поэта Толстую. Должно быть, эту новую Катю-художницу я тогда и увидела впервые. Веселья в ней не было. Она писала портрет за портретом.

Я мало знаю ее учителя: это, кажется, хороший художник. Может быть, увидав в ней холодок, он его и растит, развивая присущее?

Я совсем не утверждаю, что это так. Это только предположение. Хочу верить, что художница преодолеет «дважды два четыре» анализа и в какой-то будущий час узрит Мир таким, каким он задуман: в чуде «дважды два – пять»…

Неделю назад из Таллинна всего на несколько дней приехала Бржеская – написать портрет Анны Герман, неповторимой польской певицы, выступавшей в Москве. Она написала ее в профиль, в ее рост – высокий, – в черном платье, в волне светлых волос на фоне густой синевы. Я не видела портрет; я лежу в больнице, где Ирина и Анна – обе – навестили меня.

И еще успела Ирина – портрет глубокого старца с длинной, очень белой, как снег, бородой; старца, написавшего книгу о том, как после грехопаденья стараться вернуться в Рай, как пробиваться сквозь вьюгу. Этим уже занята Ирина. А метель все метет по земле и заметает пути…

1977

БОРОВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Мне хочется сказать несколько слов о героическом творчестве замечательной художницы Людмилы Киселёвой, живущей под Москвой в маленьком городке Боровске. К имени города, отмеченному историей, ныне добавились и рождение, и жительство Людмилы Киселёвой, некоего феномена воли и радости человеческих – через тяжёлую болезнь, с раннего детства приговорившую её к неподвижности; художницы, создавшей множество произведений искусства, прославляющих жизнь.

Какой драгоценный пример всем нам, здоровым или менее больным, чем она! Какой призыв не сдаваться унынию, а продолжать – через тени – видеть свет и за него бороться! Настаивать на том долге, который кладёт на нас природой данное дарование!

Когда смотришь на чудесные краски, которыми блещут этюды и картины Людмилы Киселёвой, на свет, брызжущий из-под её пера, её кисти – становится легче жить! И какое разнообразие рождено ею в Живописи, рисунках, какое сочувствие страданиям людей, каким братским, сестринским состраданием пылают её работы, каким тонким разнородным пониманием освещает художница боли человеческой жизни, каким утешением дарит нас её радостно светящееся мастерство!

Передо мной букет. Я держу страничку *каталога* – а мне кажется, что я в Тарусе, мои 90 с лишним лет исчезли, – я в детстве, запах полевых цветов держит меня в плену.

Листаю.

Россыпь серебряных вербочек тянется в небо, а за ним – золотистое церковное очертание.

Вот ребёнок стоит на лучащемся от солнца берегу, шар солнца впереди, и к нему повёрнуто детское личико. В детских ручках горсть цветов.

Тишина.

Перевёртываю страницу: ствол толстого дерева, тонкая лань – и к ней нагнулось крупное светлое лицо женское в профиль. Головка лани поднята, взгляд лани тает во взгляде женщины.

Ещё страница.

Старуха. Голова покрыта платком. Веки опущены, подбородок опёрт об исхудалую от работы руку – беспредельная скорбь.

Прекрасный портрет юноши.

Снежная крыша, купаются в снегу птицы.

Дальше!

Маленькая девочка со скрипкой стоит на стуле, взмах смычка. Две ласточки летят на звук музыки и третья – на ободе стула. И целая россыпь ласточек на ветках над девочкой. Мне кажется, это – Моцарт…

Дальше.

На фоне высотных домов – думается, Америка – сгорбленный старик в жалком пальтишке, надвинута на лоб шляпа. Опущенные руки прижимают к коленям маленькое дитя,.. детская головка ищет приюта под краешком пальто – холодно… Над нею горькое лицо старика просит помощи – тщетно… Без работы и без жилищ!

Дальше.

Еле намечен очерк лица женщины и, ниже, лица девочки, которую мать обняла. Брошены?

Но вот у тёмного окна – юноша с девушкой – застенчиво, целомудренно. Впереди – распахнута жизнь!

Дальше.

Профиль девичий на фоне окна, за окном летит снег. Одиночество.

Всех пригрела, всех утешила, всех научила мужеству безмерно мужественная художница!

И опять сверкают цветы в букете, пушащем первозданными красками как олицетворение жизни, как сама жизнь!

Вот гравюра «Детские сны». На переднем плане – уют одеяла, из него – две детские головы. А над ними заснеженная избушка, снег заметает окошки, за избушкой – гора, становящаяся снежным сугробом, а с неё, над ней – возвышая светлое очертание девушки с опущенными руками, – ладони раскрыты, – и в них упала звезда. Звёздами украшены уши, веки закрыты, блаженство сна их смыкает. А сверху – снежное небо, через него пробиваются, его одолевают звёзды, ниже – крупно лучащиеся, выше – мельче, становящиеся сплошь сиянием. И на всём – тишина.

А вот – явь: у большого окна, спиной к нам – девочка; сквозь рубашку видно детское тело, худенькие руки – подняты, ладони прижаты к стеклу, пальцы как бы обнимают метель за окном, голые белые ветки. Под одной рукой – тьма, под другой – свет. И заблудившаяся в зиме звезда робко, но и победно озаряет ребёнка и зиму.

Листаю. Детское лицо окунуто в россыпь цветочную, купается в лепестках; один глаз скрыт цветком, другой лукаво ликует, услаждаясь минутой забвенья в сказочном одиночестве, без людей.

…Братское объятие: о чём-то грустя, чего-то страшась, но всё преодолевая, нежно прижал юноша худое лицо ребёнка – к своей щеке,

взрослые руки берегут порученное природой сокровище, не отдадут – ни болезни, ни смерти, пронесут через жизнь, через мир!

На обороте светлого листа каталога – чёрная ночь, сквозь серые тучи – белизна лунного круга, и, прижавшись к очертанию облетевшего кустика, рвущегося в ветре, подросток-девочка, закрыв руками личико, плачет. Короткие волос летят в ветре, в жидкой вьюге последних облетающих листьев – и, должно быть, начинает сечь дождик – крупными струями заливая ночь.

Перелистала ещё страницу и …

Смеётся лицо… Возраст? Пол?

Смеётся лицо! Это – стихия смеха, безотчётность радости, ликование беспричинности, простое счастье – жить!

А за перегибом раскрытого каталога пылает чёрный абрис ночного дома, под ним – водное отражение окошка, светлые водные полосы расплываются по чёрной глуби. Над крышами – свет угасающего заката, а над ним – чёрный воздух неба, сгущающийся в бесконечность. И тонкие руки ветвей, поднятых в ночь, чёрные на светлом куске неба, и белые в фоне чёрного дома в озареньи ещё неугасшей закатности…

И вот ещё одно упоение – зрению: над крохой-избушкой за нищей изгородью покосившихся жидких жердей – треплется в воздухе осенний и стройный кустик, он роняет листья, они летят справа – налево, но веточки борются за себя, хоть именно их пытается оторвать ветер, – все ветки напрочь сорвать с худенького ствола, но ствол не даёт, он их защищает всем стремлением ввысь, всею верностью своею земле, из которой он вырос.

Простой цветочный куст на простом окне. Алость цветков и зелёность разбросанных листьев, тень от них на полу окна. Как проста, как добра, как драгоценна жизнь растения и человека, их связей, их тайное соответствие, их радость!

Вся душа художницы раскрыта как в этой доброй картине; всё её приятие жизни, вся жизнерадостность, всё преодоление страданий, всё понимание ею их смысла, вся героическая философия её!

Но вот другой образ того же: женская голова с непричёсанными в естественности упавшими волосами, раскрытость на мир глаз – а вокруг – одуванчики, одуванчики, одуванчики радостно растущие из земли в небо, окружившие впивающее их лицо. И сквозь них пробившаяся рука, обнявшая россыпь одуванчиковую, а другая рука бережно охватила россыпь вторую, каждая жадно и нежно держа весну и её богатство. Ничего спрашивает юная женщина, а лишь отвечает на кем-то заданный, подслушанный в тишине вопрос…

…На чёрном фоне – ночи, должно быть, – беспорядочно, спешно засунут в глиняный сосуд букет полевых цветов.

Не все цветы попали в него: иные стебли упали, повисли, склонив головы к земле. Так темно, что нет тени ни от вместилища их, ни тени от цветковой россыпи. Одиночество их в чёрной ночи – победно, несмотря на тьму вокруг: философия художницы неизменна.

И ещё вот такие: девочка лет двенадцати – предельно худая, в короткой рубашечке стоит, подняв худющие руки, похожие на стебельки, – резко вверх, уцепясь ладонями за полукруглую рукоятку зонта, ветром из рук вырываемого. О него и мимо, вниз, на неё хлещет дождь косыми струями, белыми в чёрной ночи. Это – закат! Страх!

Её сейчас оторвёт от земли! Унесёт вместе с зонтом в пространство. Но *под* зонтом – это достижение ребёнка – пала и сверкает звезда. Крупно-лучащаяся, опрокинувшая и ветер, и дождь.

Через страницу – изображение наклонённого старческого скорбного лица старухи, уроненного на жилистую, худую, в прошлом – мощную руку. И в старости большие глаза, – очи скорее, светло, измученно, безутешно смотрят вам прямо в глаза; горький выгиб бровей дополняет горестность черт. Это час-день-годы утрат, несмолкающих воспоминаний, неотрывность памяти отбывшего, незабвенного, чему продолжает служить душа.

Раз увидев это лицо – не забудешь. И понесёшь через дни свои утешающим молчанием любви.

Перевернула страницу. На всей следующей – две детские головы. Наклонённые, и две руки – мальчика, девочки. На бережно сомкнутой девочкиной – взмахнув крыльями, прилепилась бабочка. К ней, в упоённом внимании наклонён девичий профиль. А над нею и над бабочкой, как бы крышей, поднята рука мальчика, лицо которого обрамлено недлинными волнистыми волосами, в молчаливом внимании, даже в самозабвении, склонено к профилю девочки. Над длинными светлыми струями её волос порхают два мотылька.

Дети явно молчат. Затаив дыхание над всё ещё не улетающей бабочкой. Может быть, она уснула? Думается, стоит тишина.

Природная красота самобытного творчества Людмилы Георгиевны неразрывно связана с окружающей её средой, жадно воспринимавшейся ею во время нечастых выездов с отцом и матерью для ознакомления с родным Боровском.

Её родина – чудесный исторический городок Боровск Калужской области, живописно рассыпавшийся среди водоёмов по густо-зелёным

холмам. Сквозь четырёхкратное чужеземное нашествие татар, поляков, французов и, наконец, фашистов – сумел он сохранить и донести до нас дыхание русской старины с её неповторимой резьбой по дереву и древними храмами.

Сын, ездивший по моей просьбе в Боровск, после знакомства с Л.Г. Киселёвой, коротко сказал: «Боровск – это редкий заповедник покоя. Он породил и вдохновляет Людмилу Георгиевну, она же – его украшает».

Да и один ли Боровск прославил землю Калужскую? Скольких крупных учёных, художников, мыслителей и военных дала она Родине, скольких привлекла к себе со всей России, и они подолгу, зачастую до конца, жили и творили на её просторах…

Только на моей памяти Земля Калужская стала славна такими замечательными людьми и разносторонними талантами, как: Циолковский Константин Эдуардович, великий теоретик звездоплавания, живший в Боровске с 1880 по 1892 г., затем переехавший в Калугу; Чижевский Александр Леонидович, ещё молодым человеком приехавший в Калугу и семьями друживший с Циолковским; Иноземцев Фёдор Иванович, известный русский врач-хирург, профессор, родившийся в Боровске, и другие, и другие…

Несмотря на преждевременную кончину своих родителей в 1985 году, Людмила Георгиевна сумела справиться со своим неожиданным и большим горем и через год с лишним вернулась к любимому делу в жизни. Сейчас она вновь полна творческими устремлениями своей неизбывной и радостной солнечной лирики.

Кроме живописного творчества, Людмила Георгиевна намерена начать работу над книгой автобиографического характера, где личная судьба её переплетается во встречах с многими замечательными современниками и с молодёжью.

Поклонники её творчества надеются увидеть новые произведения художницы и мечтают познакомиться с её автобиографической повестью.

Пожелаем же этому удивительному мастеру – Людмиле Георгиевне Киселёвой – неубывающей жизненной силы во всех её разнообразных усилиях, достижений – она показала нам свой дар в самых разнообразных стилях, – в красках, в гравюре, неустанно ища, находя, и поздравим город Боровск с этой драгоценностью, которую он хранит для всех нас!

Голицино, Дом творчества, 20.05. 1986 г.

ЧТИЦЕ ВАЛЕНТИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ПОПОВОЙ

Вот мои записки под Ваше чтение: «Думаю, что Вы не столько *думали* над стихами Марины, сколько чувствовали. Этот ток чувств Вас порой отводит от прямого значения строк, добавляя Ваши эмоции и уводя вбок от Марины». (Я плохо выразила устно то, что хотела, Вам в беседе: конечно, Вы правы, что Марина *любила* жизнь – но, ведь в разных стихах разных лет (юность – зрелость – почти старость) это было по-разному. Но ведь и радость жизни у людей – разная, и чтецу надо приблизиться, насколько возможно, вплотную к *роду* радости (и печали) поэта. Маринина радость иная, чем данная Вами. Вам надо постараться прочитать все ею написанное в разные годы, чтобы прожить с нею ее жизнь. Ваш внутренний пыл к ней имеет на это право (право, значит, и долг).

Далее, из тех моих записей: «Ошибочные места чтения: „Аль уж страшен так“ (Ст. Разин) – это сжатые брови, стиснутые зубы, еле пропускающие слова. У Вас – губы (его) разомкнуты в улыбке. А ведь он не шутит с ней (атаман с княжной) – как и она с ним. Это же бой – на смерть, тут не до улыбок! „Поддержите, нехристи, в очах темно!“ – оторопь отчаяния после убийства. У Вас – слабость. „Рулевой зарею правит“… и далее – песнь? стон? О нет – никакой бледной немочи, ни истерики полоумного мщения. Прозрачно, как стекло, строго, почти немота. Ведь это сон, сновиденная мука *его* совести рождает его. Зачем же такие ее интонации? „Тоска по родине“ – почти предсмертная вещь. Слова еле ложатся в строки. Воплощая их в ясную громкую речь, Вы их искажаете. Их душа – в строке: „бревно, оставшееся от аллеи“ – от аллеи живых деревьев с листвой, шелестом, солнцем или луной. Бревно! Это же страшное признанье – а Вы мне сказали, „я не согласна, что это печаль, это – протест“. Нет. Именно *в этих* стихах нет протеста, так Марине свойственного (как шелест свойственен аллее). Бревно – символ бесчувственности, которую она еле вложила в слова. Тут рождать бодрость – неверно. Конец же у Марины – это вовсе не слабость, не слеза. Бревна – не плачут. Конец – это Марина сама запнулась о себя же – о другую себя, о рябину. Запнулась и стала. Скрыв вздох. Прошу Вас – измените конец!

Целый ряд стихов Марины надо читать совершенно серьезно – без улыбки, как Вы прочли Стол – *контрастом* к ее другим стихам, где жива лирика, вызов, озорство, всевозможные чувства. Если Вам чужда опустошенность этого образа, или предельное отчаяние стихов «Школа стиха» – исполняйте другие, их хватит на весь Ваш запал. Марина – как

море… Да, еще – об утопленной княжне: Марина дает ее портрет: очи потуплены, брови насуплены, и исступленно повторяет она атаману в лицо имя любимого. Это – характер! За него и погибла. Как же может она таким пеньем стонать посмертно, таким стоном петь? Обдумайте – измените…

В стихах «К сыну», которые Вы прочли почти совсем хорошо, благородно – Вы все же, кажется, не обошлись без улыбки, или я путаю?

Хорошо прочли «Стол!». А вот стихи, кончающиеся «Два крыла прикрытием» – надо строже кончать.

А теперь, может быть, о главном: уберите, прошу Вас, телодвижения. Вы в нескольких местах играете телом, читая. Это недопустимо. Вы же женщина-чтец. Это обязывает к особенной строгости. Повадки наяды, русалки в чтении стихов – немые. Это – вульгаризация. Мне жаль, что Вы – так Марину любящая, это делаете. Уже *жест* чтеца вещь рискованная. Он должен пройти строгий экзамен уместности – возможности – необходимости. В театре актер проходит глаз и ухо режиссера. У чтецов его нет? Жаль. Тоже должен был бы быть некий товарищеский суд, совет. Как Станиславский преследовал актера за то, что тот, играя, играл себя. Роль – перевоплощение. Собою, да, но не себя играть. Вот и Вам надо перевоплощаться в Марину, читая ее. А моя соседка (литератор) сказала о Вас: «Кокетничает»… Может быть и хочется – всплеск рук. Но надо 9 раз отмерить, прежде чем отрезать один раз. Стихи! Да еще Маринины! В них все дано – и место жеста, улыбки – спорное всегда, потому что часто они не подают строку, а – *застилают* ее. «Разухабистости» в Марине не было. Потому что была истинная удаль. Это разное. Но удаль не обязательно – громка, шумна, – разве ее нельзя дать интонацией? У Вас *богатый* дар голоса. И жар «нутра». Как это много! Не растрачивайте же их, не дешевите. Марина говорила: «Сдержанный человек – это значит: *есть что* сдерживать»… Разве Вы не знаете, что *намек* часто более сильное средство, чем окрик? И когда чтец выкладывает все на зрителя (слушателя) – тому что остается? Надо же дать возможность до думать, до чувствовать, до дать… Повторяю Вам уже сказанное: слова Екатерины Павловны Пешковой о чтении Горького Журавлевым: «Чтецы не должны играть, чтецы – должны – читать».

Еще раз советую Вам – Чехию! Ваш голос и Ваше «нутро» сделают из этого цикла превосходный материал для чтения. Раскрываю для Вас «Избранное» (1961 г.) – «Цыганская свадьба», «Что другим не нужно – несите мне», «Глаза», «Чтобы помнил не часочек, не годок», «Солнце одно – любовь», «Тебе – через 100 лет», «Две песни», XI из цикла «Поэты» – «Поэт издалека заводит речь», «Молвь», «Поэт и царь» (О Пушкине и Николае I – оба стихотворения), «Родина» – вот уж надо Вам

ее читать – к нашей беседе о ненужности Марины. Этим и Чехией Вы завоюете славу Марине – и себе, «Никуда не уехали – ты да я», «Один офицер» – уф, сколько! Да, еще хорошо прочли Вы «Оду пешему ходу». Отделайте ее еще лучше.

Рукоплескания зальют вас обеих. *Как* я хочу Вам удачи! Но – слушайтесь. Я ведь последнее, что от Марины живет, на нее похожее… Я полюбила Вас за любовь к Марине и пыл Ваш. Жму руку. И – в добрый путь!

«ДОМ БЫТА» В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ

Имея долгий житейский опыт, прожив 97 лет в культурном кругу историков, архитекторов, художников, удивляюсь, что приходится объяснять само собой разумеющуюся истину: каждая страна бережет свою историю и все свои исторические памятники. Деятели, служащие своей Родине, знают, что каждое историческое здание должно быть сохранено в том окружении, в котором оно было построено.

В 1912 году, после открытия Музея изящных искусств, всемирно известный художник Илья Ефимович Репин писал: «Какую жемчужину подарил нам профессор И.В. Цветаев! И какая экспозиция! Продуман каждый шаг!». Что было бы, если бы мой отец, профессор Иван Владимирович Цветаев, основатель Музея изящных искусств на Волхонке, посредине Итальянского Христианского (Греческого) дворика поставил бы монумент XX века или многоэтажный дом? Его бы осмеяли вместо восхищения и благодарности, ему доставшихся, вся наша страна и все страны кругом.

Вот что важно помнить теперешним проектировщикам, чтобы не стать посмешищем всего, света! А именно эта нелепость происходит сейчас в проектах разрушить историческое единство Сергиева посада. На месте уничтоженных посадских домов, на пути к Троице-Сергиевой лавре от железнодорожного вокзала в последние годы уже появились пятиэтажный «Дом быта» и школа для дефективных детей. Органами охраны и Министерством культуры при поддержке руководства Госстроя принято решение строить здесь же, на пути к лавре, городской и районный автовокзалы с автостоянками, городской и районный суды.

А рядом с руинами кирпичной женской гимназии 1900 года насыпаются шлак и глина на пруды и болото, чтобы соорудить новую школу с уничтожением посадской застройки.

Не только мне, но и всему Западу известно, что существующая в России система охраны, проектирования и согласования проектов ре-

конструкции исторических городов, в том числе и Сергиева посада, не защищает, а уничтожает их архитектурную и художественную среду. Если мы это допустим, вся европейская и американская пресса поднимет нас на смех и жестоко осудит наших культурных деятелей. Неужели им это нужно? И что они смогут сказать в ответ? Такой великой, исторически знаменитой стране, как Россия, стать посмешищем всего земного шара?! Я не нахожу слов!

РОЗА

Посвящается моей внучке Оле Трухачевой

Она увядала, маленькая, палевая роза в высоком тонком стакане, и его тяжелая водяная глубь и серебринка по краю круга были прекраснее немощного цветка.

Пересекши Кясмуское кладбище, его принесла мне подруга, старая, как и я, и мне хотелось продлить его угасавшую, как и наша, жизнь.

Мне кто-то сказал давно, что, если в цветочную воду всыпать сахарного песку – это поддержит силу цветения. И вслед, пузырьком со дна памяти, всплыл совет развести в воде полтаблетки аспирина. А, может быть, – целую? Легкий прозрачный самум летит на дно, услащая стебель. В пальцах хрупко растирается порошок, утишающий жар человека. Он волшебно поможет цветку? Стакан стал мутным. Была ночь. Я пошла спать.

Когда наутро я вошла на терраску – я сделалась, как жена Лота, соляной столб: над узким стаканом поднялось в воздух – чудо, оно парило, как птица в жаре, оно пылало новым родившимся цветом, слегка алое. Большие округлые твердые лепестки – их стало столько, что роза казалась махровой – вычурно, пышно, торжественно окружали завязь цветка, из которой шла по зарозовевшим лепесткам – алость, тая в сверкании света к краям.

Роза чуть покачивалась от великолепия на выросшем стержне. Я нагнулась над чудом – оно пахло, как роща роз.

Скорее! Олину тетрадь рисовальную, и хоть карандашом – зарисовку… Самой большой розы, виданной за 74 года! Я бросилась в комнату – чтобы увидела Оля! Но она уже сама шла: прелестная, ласковая, двенадцатилетняя, еще розовая от сна.–Ах!.. – она замерла на месте. Когда я вернулась с тетрадкой, карандашом и резинкой, золотые глаза Олины были в слезах…–Бабушка! Я только пальцем притронулась – и вдруг все упало…

Они еще продолжали падать, опустошая рог изобилия: капали алыми каплями гигантские перезрелые лепестки. Только два еще держались на стебле с колючками и листами.

Пустой завязи, только что источавшей амброзию – казалось сто лет! Оля плакала…

Как простить себе, что я ее – упрекнула? Ведь я поступила с ее слезами несравненно хуже, чем она с лепестками розы.

Я шла через Эстонское кладбище – тут они – как сады, расчищены и пылают цветами, – шла мимо живых роз, – рассказать подруге о нашей и о моей вине перед Олей…

Кясму, лето 1969 г

У НОВОЙ ПОДРУГИ

Эта «новая подруга» – по возрасту – дочь. Нас связывает давняя дружба её дедов и моя с Максом Волошиным. Собственно Таня Кандаурова могла бы быть мне даже внучкой – между нами около 35 лет расстояния. Она – женщина средних лет…

Оставшись одна в её квартире, она уже ушла на работу, я, чем отличающаяся от себя – в детстве?.. – 90-летняя девчонка, – брожу по незнакомым мне комнатам, дивясь своему – и не знала, что ещё жив, думала – умер давно – интересу к чужой жизни, к чужому уюту…

Иду, одиночеством наслаждаясь, по двум, необычно в обе стороны протянувшимся комнатам – каждая сажень пять длиной, от западного окна к восточному – десять саженей ходу! Мимо стен с картинками в рамках, книжных полок – на иных книги, а вон на той – фарфоровые маркиз с маркизой, белоснежная островерхая раковина, кусок полевого шпата, деревянный стоячий медведь, крошечная группа костяных слоников, кус горного хрусталя… Сколько детских сокровищ! Сиянье светло-зелёного яйца с золотой тенью, а рядом – гранёное синее и – совсем маленькое, всего мне сейчас драгоценнее, тёмно-зелёное, сказочный талисман…

Может быть, это и есть то, что зовётся «впадением в детство»? Но тут весь «остаток» моего интеллекта бушует: это не возраст ходит по комнатам, потому что так я и в 17 и в 25 бродила бы – это душа моя занята бродяжничеством, она прицепилась к чужим стенам, к голым приведеньям деревьев за восточным – перелёт взгляда к западному окну. И косые лучи из восточного перерезали узкую комнату, шкаф, диван, за-

жгли золотой обод барометра, маленький кинжал в футляре с кистями – и во всю стену, непомерной величины, в раме – фотография: чьё-то восхождение на снежные горы. Где они высятся?

Монблан? Альпы, по которым Марина и я в детстве шли с французским пансионом? – или Бештау? Эльбрус?.. Стою и глотаю головокружительный спуск на верёвке по отвесному краю скалы!

А добротные выдвижные ящики обезглавленного буфета зовут вниз, в прочность домашнего очага. Предполагаю, что в них одно поколение за другим – тома старых, старинных журналов, не имеющих понятия о партийных съездах, о взятии Зимнего, а рассуждавших о роли земских врачей, о реформах.

Шагание по солнечному лучу уводит меня взглядом вверх – к недосягаемым в высоте небольшим квартирам в рамах прошлого века, чья-то жизнь простёрлась там, зримая зрячему, мне по близорукости – непонятная…

Но вот я держу в руках маленький – побольше, чем миниатюра – женский портрет, красками, и под стрелкой бровей – синева глаз, смотрит немо, в мои. Тонкий нос, кроткие ноздри и – или это мне чудится – страдальческий рот. Я хожу тут как близ кратера над погасшим огнём, чьим-то.

А это что? Ф-у-у… череп искусственный – в роли-пепельницы. Вазы, вазы цветочные. Керамика, Фарфор.

Оборачиваюсь – круглый стол. Кто и сколько за ним радовались, утоляя весёлый голод? Но – весёлый ли, лет 60 назад, в годы разрухи? – А над ним – можно ли примириться, что опять – по близорукости никогда не увижу, что за глыбы синевы обрамляют невидимый пейзаж? Кто писал за этим маленьким столом, когда прислонённая немая гитара слушала тишину?..

Да, это тот мир, детский, заповедный, непознанный, что любопытством неутолённым жёг всё детство у выхода из парадного трехпрудного дома…

И ещё – что приковывает, это – неостывшие следы чьей-то прожитой жизни, память о чём тесно связана со словами: «на том свете». Не забыть бы мне в этом моём странствии по чужим жизням, что – в углах обеих сливающихся, как реки, комнат – золотая темень икон.

Я долго молюсь.

Надо присесть?

Иду к дивану. На этом, широком, буду спать я, на другом, узком – хозяйка жилья, Таня… Меж диванов, меж нас – раскрытая дверь. Шаг за неё – коридоры. Я встаю и ноги ведут меня в третью комнату, похожую на ту, что в «Маринином доме» в некогда Борисоглебском, которую я назвала – «комната отщепенец».

В ней жили, наверное, те, с кем поссорились, кто приехал внезапно…

Отражённый в двери зеркального шкафа угол стола, и на нём – пачки книг, нот, журналов – кто когда разберёт их? Дверца шкафа – третье «окно» самой последней, маленькой комнаты. В ней не живёт никто.

Я пришла к концу моего путешествия.

Я устала.

Я, должно быть, должна поверить, что мне 90 лет…

ЖЕМЧУЖИНКА

Дневной – в полчаса сон о моей ироничной нежности к юноше, заинтересовавшимся мною, пожилой. Он происходит в длящейся беседе. У юноши, несмотря на то, что столь молод, тоже есть прошлое, – трехлетняя дочь у разведенной жены. Он мечтает о роскоши, как о должной необходимости. Я отвечаю:

– Ее у Вас не будет. Вы будите бедны. Роскошь не идет к тем, кто ее страстно жаждет. А когда, лет может быть к сорока, Вы помудреете и поймете ее тщету, она встретится Вам нежданно, когда Вы зайдете навестить умирающую старую женщину, запыленной мировой драгоценностью, – роскошью понимания – откроются Вам двери дворцов…

И тут, когда он понял, что я ему нужна больше всего на свете – я проснулась. Преодолела тягу ко сну, и села записать этот сон – кому нужный?

Но сон физический был не слабее своего содержания, потому что я не слыхала будильника, получая жемчужинку.

Февраль, 1992

ДРАГОЦЕННЫЙ КОТ

В детстве на Рождество и на Пасху нам с Мариной, как девочкам, дарили кукол, как-то не сразу заметив, что кукол мы не любили, а любили, как мальчики, перочинные ножи, пеналы, а затем, шкатулки, альбомы… Эти вещи нам были одушевленные, а куклы – совсем неживые. И в год 100-летия моей старшей сестры Марины Цветаевой и в мои 98 беру еще пишущее перо и в память ее, охватившей весь земной шар, хочу написать одно воспоминание нашего детства, которое никто не помнит, кроме меня, кроме Марины, которой давно нет на земле, но на Том Свете она его помнит, потому что Там – все живо, перейдя в Вечность, и потому что всё проходит, как на Соломоновом кольце сказано, «кроме Памяти», как я недавно писала – «Память не пройдет, не проходит. Память пребывает вовек». На Рождество приезжали к нам, в папин дом в Трехпрудном, дедушка (мамин отец) с тетей Тьо (как она с акцентом французской Швейцарии могла выговорить слово «Тетя»). Они привозили нам на елку дорогие игрушки, в которых, как уже сказано, первое место занимали куклы – роскошные poupes de Nurenberg, разодетые в бархат, в атлас, с париками золотых локонов; наклонишь куклу – она закрывает глаза, спит, поднимешь – просыпается, открывает глаза. Мы, с нашего природного озорства, снисходя к тетиной швейцарской благовоспитанности, благодарили и, тихонько переглянувшись, – силились убежать в наши антресоли, в детскую, к – из всех, любимому рыночному тряпичному коту, должно быть, в незапамятные времена раннего детства няней подаренному. Размером с самую большую куклу, набитому, должно быть, стружками, в сидячей позе с двумя нарисованными передними лапами и темной линией, обведенной полукругом там, где сидячие задние лапы; с нарисованной мордой, усами, носом, переходящим в рот, как у живых котов, с огромными, круглыми, желто – зелеными глазами, на нас любовно глядящими, живой – живее нельзя! И мы обожали его, как давно найденную драгоценность, желаемую. От него нельзя было оторвать глаз. Так все раннее детство мы любили его тайно, даже маме, которую мы так любили, не открывали тайны, потому что знали, что мама была когда-то совсем другой девочкой – для нее куклы были живые – она стирала для них, гладила, переодевала их, и в 12 лет сокрушенно решив, что надо проститься с последней куклой, и, горько простясь, посадила ее за стекло, в шкафчик bibelot к фарфоровым и дорогим группам детей, собачек и кошечек, прощаясь с детством.

Мы ничего такого для нашего кота не делали. Мы его только любили – и когда мы простились с ним – я вышла замуж в тот же год, как и Марина, – может быть, перед свадьбой? Нет, мы с ним не простились. Я люблю его до сих пор – в разлуке с Мариной.

21 июня 1992 г.

ЗВЕРИ ИГРУШЕЧНЫЕ

У меня зажились, с давних времен, два игрушечных зверя: пес и – овца? – не очень понятная. Не пышные, магазинные, – с полинялой от времени шерстью, тем они мне дороже.

Я дожидалась случая их раздарить. И однажды случай представился: меня на машине довез мой знакомый, поляк Артур, у него дочка Анетта четырех лет. Я предложила ему выбрать ей зверя. Артур выбрал пса: пес сидел, черно-серый, с блеском черных глаз из под шерсти. И пес уехал к Аннете.

Второй зверь продолжал жить у меня, на картонке с рукописями, на ее краю, возвышаясь на фоне рояля. Этот второй, светлого окраса, был мне мил, мы с ним сжились. Он большой, тоже сидячий, на высоких задних лапах. Лапы могли шевелиться, глаза – черные бляхи, морда невнятной формы.

Это неизвестность – *кто* зверь, делала мне его дороже «явной овцы».

И я было, по слабости духа, уже решала оставить его себе, но ждала, что приедет моя невестка Нина, а у нее от первого мужа, умершего в лагере, был сын, Гена, которого я знала с его восьми лет, сама приехав к сыну из лагеря, после десяти лет заключения. Гена был очень хороший мальчик. Теперь ему пятьдесят четыре года, у него внучка *Ася*. Теска моя! Вот ей я должна подарить зверя. Она его будет любить… Нина взяла зверя, он придет к Асе в день Нового года, постучится и войдет в ее детство.

Но когда зверь с Ниною уехал, я подумала – Так, отдала, не пожав ему лапу… И в след в пустоту сказала себе сокрушенно: – Зверь! Прости, что лапу тебе не пожала. В спешке! Ведь мы всегда спешим.

21.11.1992

ТРЕЗОР

Мне было 23 года, насколько помню, – я шла с кем-то по улице в пригороде Москвы – и откуда-то из подворотни выскочила собака и побежала, оглядываясь, впереди нас.

Она, должно быть, верила, что мы взяли ее к себе, что она уже живет у нас.

Ощущая чувство ее «принадлежности», мы тоже как-то удивительно естественно поверили, что это наша собака и дали ей имя – Трезор.

Желтая с белым (грудь, лапы), спина и живот – черные. Хвост крючком. Мы знали, что у нас достаточно будет для нее еды и даже есть будка от прежней. Да, собачья чума…

Собака так обрадовалась будке, как мы – нашей квартире, недавно обретенной. Мы в нее (в будку) положили большой старый клок меха, а у входа чашку с едой. И стали так жить.

Летом Трезор линял от жары, зимой мех становился гуще.

Однажды другая собака, бешеная, искусала Трезора. Причем гувернантка, старая женщина, что жила у нас на покое, увидела как на Трезора идет, зловеще щерясь, истекая слюной, облезлый чужак. Трезор залаял, зарычал, бросился навстречу пришлому, и собаки сцепились. Не побоявшись укуса, гувернантка ударила бешенную по голове словарем, очень толстым, что в тот миг случайно оказался у нее в руке. Бешеный завыл, как-то боком пятясь, стал отступать и бросился на утек…

Ветеринарный врач, нами вызванный, дал Трезору лекарство – «камалу». Оно не смешивалось с водой, плавало на поверхности. Мы заставляли Трезора этот сомнительного цвета и, наверно, вкуса коктейль глотать… Постепенно он стал поправляться и поправился, но мы посадили его на цепь, потому это стал *злой* пес. Он охранял дом, лаял густо, басом. Ни один вор не смел подойти к дому. Весной на дачу мы везли его с собой, и он охранял сад.

Вот такой жил у нас Трезор… А что молодость прошла безвозвратно – это тоже тема, и тема большая…

5 июля 1993 г.
Переделкино

НАСЕКОМОЕ

Говорят о дельфинах, их уме, о том, как они спасают тонущих людей. Нас поражают пчелы и муравьи.

Я не хочу забыть миг, когда встретился человек с насекомым.

Оно попало в рукав и щекотало кожу. Человек досадливо стряхнул его на пол. Насекомое поползло так быстро, как смогло. Острый луч электрофонарика осветил пол: был свет и была тишина.

– Так быстро исчезнуть? – пробормотал человек.

Но глаз его – он был в очках – различил крошечное темное пятнышко посреди света и тишины.

– Неужели насекомое знает, что бег выдаст его? Что лучшая мимикрия – неподвижность? – размышлял человек.

(Но как мог он сам догадаться, что крошечное пятнышко на полу – живое? Ток напряженности, шедший к нему снизу?)

– Любопытно!.. *Притворилось*, что исчезло! – наблюдал человек, – убежать, может быть, *удалось* бы! (Инстинкт.) Ум приказал – замереть!

Глядя в лицо человеку, не зреньем, а всем существом, насекомое просило пощады (надеясь, человек знает ужас небытия?).

Привычно, «инстинктивно» человек наступил на насекомое. Тотчас – опоздав на мгновение – ощущение необратимости.

Человек для самооценки своей никогда позабыть не должен, как его звериный инстинкт самозащиты против *маленького* укуса прекратит беззвучный вопль о пощаде отданного на его милость, хотевшего жить – существа.

Post Scriptum. Насекомых истребляют множествами. Они мешают спать, отдыхать, работать.

Да… Но вот это одно, от страха смертного притворившееся… Притворившееся, что его нет… В тот миг тебе не опасное, по поговорке народной, что лежачего врага не бьют…

СКАЗ О ЗВОНАРЕ МОСКОВСКОМ

«Время раннее, для Москвы необычно тихое, безлюдное… Спасская башня… И точно в 6 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени, когда стрелки часов вытянулись в ровную золотую вертикаль… колокол полоснул тишину своим острым звоном… И опять… И вновь… Поют колокола, расписывая орнаментом звона первые секунды нового дня».

Ю.В.Пухначев. «Загадки звучащего металла».

Пролог

В тихий вечер зимний 1927 года мы сидели за чаем у профессора Алексея Ивановича Яковлева в уютной столовой окнами на храм Христа-Спасителя. (Теперь – место бассейна у Кропоткинских ворот.) Алексея Ивановича я знала с детства. Ученик моего отца, тогда доцент, он бывал в нашем доме в Трехпрудном, помнил меня ребенком, и теперь, когда я, овдовев, с сыном-подростком билась за жизнь, он помогал мне с приработком. Служа в библиотеке Музея Изобразительных Искусств, я брала у Яковлева пачки библиотечных каталожных карточек, копировала их. Алексей Иванович где-то заведовал библиотечным отделом.

– Вы не слышали известного дирижера Сараджева? Константина Соломоновича? – спросила меня Юлечка, дочь хозяина. – Котик – его сын от первого брака. Звонарь. Музыканты считают его гением. Котик Сараджев!

Анастасия Ивановна, он может сейчас прийти, – чтобы вы знали. А то вы не поймете! Ведь он особенный!

Взгляд темных, больших глаз Юлечки полыхнул в волненье рассказа:

– Котик с двух сторон из необыкновенных семей: об отце я уже сказала, у него талант по наследству: с семи лет – композитор! А мать – дочь Филатова, по детским болезням профессора, его имени – московская детская клиника. Мать давно умерла, Котик еще маленьким был. Он похож на нее, хотя и на отца похож тоже: что-то восточное. Вы сами увидите! Котик заикается. Иногда – почти чисто говорит, а иногда – трудно! Но самое главное в нем – это гиперсинестезия слуха, – спешила сообщить рассказчица, – он слышит в октаве совершенно отчетливо – 1701 звук, нарисовал нам схему. Я ее найду, покажу вам! О своих «гармонизациях» рояльных (он так зовет) Котик небрежно

говорит. Только колокола признает! Мы на днях собираемся его слушать – пойдемте с нами?

– А он как, аккомпанирует при церковной службе?

– Ну да, и он сердится, что в другие часы – нельзя… Ему мешают церковные службы. Он ведь чудной, Котик… Не понимает! В субботу пойдем, хорошо? А когда в каком-нибудь колоколе ему слышится звук слишком прекрасный, он выпускает из рук все веревки колокольные и… (слово «падает» пропало в звонке из передней – длинном, настойчивом; нет, не спешном, не нервном – настоятельном; как бы праздничном).

Глава 1

Радостно, как-то торжественно, – зная ли, что ждут, вышел из передней высокий темноволосый молодой человек в аккуратной, плотной рубашке, подпоясанной ремнем: одергивая ее (как это делают мальчики от застенчивости), но – не так, не застенчиво, а – в некой веселой готовности – предстать. Карие, огромные, по-восточному длинного разреза глаза сияли блеском темным и детским по силе открытости. Голос запинался:

– Я оп-поздал н-немм- (радостно прорвавшись) – много!

Ппп-рости-те… – кланялся, пожимая руки, смеялся.

«Пожалуй, красив! Волосы волнистые, длиннее положенного. Царь Федор Иоаннович театральный какой-то!» – подумала я.

– Мой Источник меня задержал, – медленно, но словоохотливо пояснял нам он, улыбкой сопровождая слова, – ему мои сестры сказали – поздно домой прихожу.

– Источником он отца называет, – шепнула мне Юлечка.

Котик вдруг оживился очень:

– Я вч-ч… – слово не удавалось ему, – вче-ра у Глиэра был! – Он обвел всех нас глазами, сияющими. – И мне выддадут разрешение от Наркомпроса, – он развел руками широко и радостно, – ск-колько н-надо мне ккколоколов, в каких н-надо тональностях! Дооборудуют мне мою звонницу!

П-пожалуйста, – он провел рукой по воздуху, как бы перечисляя нас, – п-приходите вы все!

Юлечка усаживала гостя за стол, наливала чай, придвигала хлеб, варенье. Он ел весело, увлеченно, по-детски. Было удивительно наблюдать эту смесь горечи его от непонятости – с радостью от колокольной победы.

Он вдруг остановил свой рассказ. Порывисто привстав, потрогал пальцем хрустальную сахарницу.

– Уддивительно! – вскричал он пораженно, как будто увидев друга, – тип-пичная сахарница в стиле до 112 бемолей! И он погладил ее, как гладят кота.

– Да! – спохватился Котик, извиняясь за то, что отвлекся, – самое главное: я уж-же оттобрал один маленький колокол – 1 пуд и 7 фунтов, это на весах, старых, – вроде бы застеснялся он, – а другой – ну, этот побольше будет! – Он рассмеялся – еще не вешал его н-на весах, ну, думаю, пудов 5 будет… Вы не представляете себе, какой звук! Этто, как говорится, божественный! В груди – холодок даже! Я – даже боюсь… такой звук! Ну, а еще колокол – уже неподъемный! Только несколько человек его смогут поднять! Ре-диез!

Он отрезал себе серого хлеба и намазал на него слой варенья. – Какой хлеб вкусный! Он свежий, да? Свежий! Я, впрочем, не обедал сегодня, не было времени! Когда человек не ел долго – так все ему вкусно кажется, да? Я – заметил…

Что-то сказала мать Юлечке, и та вышла. Но уже забыл Котик, что не обедал, плывя по волнам рассказа о наркомпросовских колоколах, и потому удивился вдруг, увидев тарелку супа в руках Юлечки. Она ставила ее на стол, придвигала, несла еще хлеба. Котик возликовал, как дитя.

– Этто очень хороший суп, я вижу! – объявил он, должно быть, стыдясь, что он один из присутствующих будет есть такое! И, глубоко погрузив ложку в приправленное растительным маслом и луком кушанье, стал молча им наслаждаться.

Я рассматривала Котика со сложным чувством восхищения его талантом и жалости к его затрудненной речи.

Но мне было пора идти. Я встала тихо, боясь помешать ему. Юлечка вышла за мною в переднюю.

– Необыкновенный, да? – спросила она, прикрыв дверь. – Уникальный! Вы знаете, он же другой, чем все! У него есть пассия, – Юлечка легко употребила уже отжившее слово, видно, в их семье употребляемое. – Она – балерина. Но это все – платонически! Ми-Бемоль (сколько бемолей – забыла!). Он ей пишет письма, бывает у них. Понимает ли она в его колоколах – не знаю, но он ей посвящает свои гармонизации колокольные. Вы услышите, это как целый концерт! Музыка – удивительная! И сам он удивительный!

Серьезное, мужественное, привлекательное лицо Юлечки, обычно поражавшее волевым началом, было празднично оживлено.

– Да, довольно потрясающее впечатление, – ответила я, не найдя еще иного слова. – Мне он, знаете, кого напомнил? Не знаете? Князя Мышкина!

– Правда? Ну, это вы… Нет! Вы не думайте, он очень насмешливый: отца прозвал Источником, сестер – Преподобными… Самозащита! Озорство иногда даже! В Мышкине такого не было!

– Сколько лет ему, Котику?

– Двадцать семь! Жаль, что уходите.

Обледенелые ступеньки, мороз, ветер. Я иду, спрятав нос в воротник. Сын, наверное, из школы вернулся, надо идти скорее. Позади остался целый мир, волшебный и непонятный, непостижимый, но до жалобности – реальный. До какого-то неясного стеснения в груди.

Глава 2

Котик легко отозвался на приглашение – в следующую же нашу встречу у Яковлевых. Он придет за мной в субботу перед всенощной.

Сегодня его не будет в их доме, и мне как-то грустно. Вошел в душу.

Сдав пачку каталожных карточек, я задержалась, беседуя с Юлечкой. И тут впервые увидела того, о ком только знала: отца Алексея Ивановича, и я в волнении слежу за размахом маятника жизни. Иван Яковлев. Кто не знает его на его родине! Создатель письменности чувашей, подобно герою народному проложивший людям дорогу – на века. Но десятилетия прошли – он живет на покое у сына, потеряв память, забыв величье свое и свой труд. Он проходит, ведомый старушкой-женой, через комнату в ванную, молчаливый, седой остов прошлого, отсутствующий…

О, это чувство, которым содрогается молодость, глядя на зрелище старости, не оно ли незримым серебряным холодком пробегает по волосам юных, подготовляя, будя прислушивание к тому, что должно прийти? Словно над бездной наклонясь, глядела я ему вслед… Труд человека жив, а человек пережил себя…

– Но, – скажут мне, – передержка! Разве все доживают до возраста такой старости, до второго младенчества?

– Да, да, – радостно впадаю я в возражение, – разве не было у создателя чувашской письменности седых лет творчества? Когда несогбенные еще плечи были могучи и широки? (Когда старость еще кралась к ним…) А наш Павлов, для моциона весело в восемьдесят в городки играющий? Толстой, за год до смерти скакавший верхом? Но и они ушли, а творчество их осталось!

– Значит, в субботу за вами заходит Котик? – сказала, выйдя за мной в переднюю, Юлечка. – Только будьте готовы, к вечернему звону нельзя опаздывать, да и он будет уже вне себя от страха, что опоздаем! Ему – знаете, что труднее всего? Вот именно эта точность – он бы засел на колокольню на сколько хотите часов, он уж пробовал, на него там сердились – обещает только приготовить веревки, развести их все по порядку, чтобы начать, как надо ему, – и вдруг тронет их, и еще до начала службы раздается звон, легкий, едва слышимый… Не терпится!

Мы улыбались обе. От радости, от предвкушений? От близости к таинственному, как в детстве…

– Вот Глиэр и хочет проверить его композиторство, – сообщила, прощаясь, Юлечка, – Котик ведь спорит с теми, кто уже после детства пытался его учить! «Чему, мол, могут они научить меня, если они не слышат всех звуков? Один бемоль? Один диез? Они же глухие… Я б-ы м-о-г и-х у-ч-и-т-ь, но глухого не выучишь!» И смеется, и потирает руки: чешутся у него – звонить!

Часа за полтора до назначенного времени меня вызвали к телефону.

– Ввы гот-товы? – послышался голос Котика. – Я к ввам иду! И вот уже звонок, и гость входит в мою заставленную старой мебелью комнату.

– Я пришел зззаранее! – весело сообщил Котик, – чтобы ббыла уверенность, что нне опозздаем!

Окинув блещущим взглядом стены, увешанные картинами и портретами, он пошел ходить вдоль них, сколько позволяла теснота. – У ввас интересно, – сказал он радостно. – Я люблю, ккогда – так… Я нне люблю голые комнаты. Ттогда мне кажется, я – в тюрьме! Или – в больнице!

Он остановился перед большой фотографией моей сестры Марины.

– Оччень четкое иззображение ми семнадцать бемолей, – воскликнул он поглощенно. – А этто си двенадцать диезов немного стерто.

То была старая карточка отца моего сына Андрея.

– И снова ми семнадцать бемолей, – перешел Котик взглядом к детской фотографии Марины и, далее, к мелкой группе, где на фоне итальянского сада, в центре группы детей, стояла десятилетняя сестра моя, в матроске, похожая на мальчика, – тутт у вас везде отчего-то ми семнадцать бемолей минор.

Его, видно, не интересовало, что он видит того же человека в различных возрастах, это – не доходило.

– И – оппять! – уже совсем восхищенно вскричал он, заглянув в стоящую на секретере рамку, где сестра моя, уже лет тридцати, была снята рядом с мужем и дочкой. – Это уддивительно! Основное звучание ккомнаты!

– А какая моя тональность? – улыбнулась я.

– Ми шестнадцать диезов мажор! – Тогчас, чуть изумленно, что (спрашивают об очевидности, пояснил Котик, – это же – яссно…

– Это же только вам ясно, Котик! – отозвалась я педагогически. Он согласился, тотчас став серьезным:

– Ну да, ну да! Эттого – не понимают! Разумеется… И ввот я не понимаю, как можно жить и не слышать тон-нальности окружающих… в таком – ммолчанье! Наверное, этто – трудно для человека! Не слышать! Удивительно! Я бы – не мог! Нно – который час? Скажите, пожалуйста? Наверное, пора!

Мы выходили в голубоватые сумерки. Мерзляковский переулок был тих.

Вдруг Котик остановился, прислушиваясь.

– Слышите? – спросил он потрясенным голосом, и лицо его стало торжественно, – этто колокол Вешняковский звонит! – проговорил он счастливо, самозабвенно, – этто хорошо, что далеко! Я один раз нне смог его вынести – упал! Этто было давно…

Воздух был совершенно тих, никакого звона не слышалось. Без слов, одним согласным с ним волненьем, я ощутила: не «ему кажется», а – «мы не слышим…».

Существование огромного мира звуков, нам недоступных, прошло по мне трепетом о себе заявившей реальности. Вдруг открывшейся.

Большой церковный двор в одном из замоскворецких переулков медленно наполнялся народом. Если бы взглянуть на него сверху – обозначились бы две струи идущих: одна направлялась в храм, другая растекалась по дальнему углу двора, над которым возвышалась

колокольня. И в то время как первая струя входила в двери безмолвно, вторая наполняла двор гомоном голосов.

Переговаривались, то и дело взглядывая вверх, где виднелся, по временам исчезая за каменными выступами колокольни, силуэт человека в темном. Он что-то делал там, наклоняясь и выпрямляясь.

– Готовится! – пояснила мне Юлечка.

Среди толпы я заметила группу людей, чем-то от других отличавшихся: они держались вместе, оживленно разговаривая, было даже похоже на спор. В их внешности было что-то особенное – некая холеность, стать, добротные шубы, щегольские меховые шапки; у двоих волосы выступали из-под меха – длинные, почти до плеч.

– Музыканты! – шепнула Юлечка. – Всегда бывают здесь, когда он играет!

Мороз пощипывал. Люди постукивали нога о ногу. Ожиданье становилось томительным. И все-таки оно взорвалось нежданно. Словно небо рухнуло! Грозовой удар! Гул – и второй удар. Мерно, один за другим рушится музыкальный гром, и гул идет от него… И вдруг – заголосило, залилось птичьим щебетом, заливчатым пением каких-то неведомо больших птиц, праздником колокольного ликования! Перекликанье звуков, светлых, сияющих на фоне гуда и гула! Перемежающиеся мелодии, спорящие, уступающие голоса. Это было половодье, хлынувшее, потоками заливающее окрестность…

Оглушительно-нежданные сочетания, немыслимые в руках одного человека!

Колокольный оркестр!..

Подняв головы, смотрели стоявшие на того, кто играл вверху, запрокинувшись, – он, казалось, летел бы, если б не привязи языков колокольных, которые он держал в самозабвенном движении, как бы обняв распростертыми руками всю колокольню, увешанную множеством колоколов. Они, гигантские птицы, испускали медные, гулкие звоны, золотистые, серебряные крики, бившиеся о синее серебро ласточкиных голосов, наполнивших ночь небывалым костром мелодий. Вырываясь из гущ звуков, они загорались отдельными созвучиями, взлетавшими птичьими стаями, звуки – все выше и выше наполняли небо, переполняли его. Но уже бежал по лесенке псаломщик:

– Хватит! Больше не надо звонить!

А звонарь, должно быть, «зашелся», не слушает! Заканчивает свою гармонизацию…

– Дда! – со слезами на глазах сказал высокий длиннобородый старик, – много я звонарей на веку моем слышал, но этот… И не хватило слов! Люди спорили.

– У него совершенно органный звук! – говорил кто-то. – Я ничего подобного…

– Да нет, не орган! Понимаете, это – оркестр какой-то!

– Гений, конечно!

– Так ему же Наркомпрос колоколов, говорят, навыдавал! – пробовал «объяснить» какой-то голос.

– Ну и что же? Наркомпрос, что ли, играет? Нам с тобой хоть со всего Союза колокола привези…

– Да, много звонарей я на веку моем слышал, – повторял, восхищаясь, длиннобородый старик, – но этот…

Темные – уж не глаза, а очи Юлечкины из-под пухового платка сверкали, – похоже, что материнской гордостью.

– Не напрасно я вас сюда привела?

Не было слов ответить!

Народ расходился. Мы ждали виновника торжества.

Он вышел к нам радостный, возбужденный.

Взгляд, которым одарила его Юлечка, был от земли оторван. Он был отражением прозвучавшего чуда. Но, увидав красные от мороза уши Котика, она вернулась к реальности.

– Пойдемте к нам, – сказала она просто, – мама сейчас нас чаем напоит! И лекарство вам даст, вы же простужены…

Глава 3

На другой день Котик, зайдя ко мне, поделился новостью:

– Я был у Глиэра. Вчера! Да! – вскрикнул он, – он хо-хочет учить меня по всем правилам кккомпозиции! Это же совсем мне не нужно! На фортепиано! Что можно ввыразить на этой темперированной ддуре с ее несчастными нотными линейками? Ммои кколоккольные гармонизации – разве он их не слышал? Когда уммерла моя бабушка, я упал в припадке, но когда я потом встал, я сразу сыграл новую гармонизацию, и я тут же ее записал, но запись… всегда нне то получается, онни этто не понимают!

Он сказал эти слова с такой горечью, что на лице его появилась гримаса, в миг состарившая его.

– Я это все знал, когда начинал мои детские соччинения, я вам их покажу, когда ввы ко мне придете, – ведь я тогда еще не встретился с кколоколами! Преппопдобные! Они же не понимают, что такое кколокола! Нно я обещал вам показать схему! Мой 1701-й звук! – оживился он и попросил лист бумаги.

Пока я в кухне готовила нам ужин, разогревала чечевичную кашу и

клюквенный кисель, Котик, сев на диван в моей комнате, что-то чертил и надписывал. Но я настояла, чтобы он сначала поел. Он согласился охотно. От еды лицо его порозовело, он сидел такой красивый, привлекательный, нарядный, здоровый, что странно было вспоминать его небесную музыку. Непостижимо, что за странный конгломерат этот человек! И как воспитались в нем эти свойства вносимого им веселья в его полубродяжьих – по людям – днях непонятого музыканта?

И вот он протягивает этот таинственный мир! Чертеж: он нарисован четко, правильными линиями и полукругами и надписан круглым детским почерком.

– Это же совсем просто! – пояснил Котик, – 243 ззвучания в каждой ноте (центральная и в обе стороны от нее по 121 бемоль и 121 диез), если помножить на 7 нот октавы, – получается 1701. Этто же ребенок поймет!

Почему же онни не понимают? Онни думают, я ффантазирую! Потому что онни – не слышат! Вы понимаете? Они не слышат, а получается, – что я винноват!

Ему стало смешно. Он рассмеялся заливчато, и можно бы назвать его смех ребячьим – если бы на дне его не звучала горечь и даже отчаяние. Он как-то поперхнулся им и, переставая смеяться:

– Ввот и вся моя история! Это совсем просто! Но на рояле я же не могу сыграть эти 243 звука, когда нна этих несчастных ччерных – всего один диез и один несчастный бемоль… Я слышу все звуки, которых они не слышат! Нет, нет, не так! – вдруг вскричал он просветленным, зажегшимся голосом, – они ттоже слышат! То есть нет, они звучания не слышат. Но тто впечатление, которое получается от колоккольных гармонизаций, они его отличают, потому они и ходят слушать ммою игру в церкви святого Марона… – Он вдруг увял.

Чего то ему не удалось договорить, ему одному понятного. – Эттот Глиэр, он… – Он встал. – Ммне пора идти…

– Котик! – сказала я очень просительно, – но вы все-таки можете сыграть – на рояле? Ту рояльную гармонизацию ми бемоль минор, вашей Ми-Бемоль-Минор посвященную. Вы же играли где-то, и люди же восхищались… Мы с вами пойдем к моим друзьям – там моя подруга, красавица, концертмейстер – нет, это неважно! – поспешила я, видя, как черты Котика исказились. – Я к тому, что рояль у нее, отличный звук! И еще там – маленький мальчик, такой ребенок… даже если вы детей не любите – то этого вы…

– Я ддетей – люблю, – сказал Котик, – дети ллучше все понимают, они просто – понимают! Хорошо, я пойду с вами и поиграю. Но вот если бы у них были кколокола…

Адрес подруги, куда я звала Котика, я дала ему, назначив час встречи.

Но, задержавшись на работе, запоздала. Меня уже ждали Котик и концертмейстер Нэй в высокой, просторной комнате большого дома окнами на Сретенский бульвар, за длинным столом, богато – по тем временам – накрытым. Уже накормленный вкусно и обильно, звонарь словоохотливо рассказывает:

– В одном доме встретился я с с…с…с… – не даются ему эти встречные! – словом, они – актеры! И онни уговорили мменя играть. Нет, не думайте, не по моей части (хотя и на кколоколах там тоже…) по их части, играть в театре – Федора Иоанновича, – был такой ццарь. Онн ттам у нних на кколоколах звонит, так я понял! И я буду этот царь в царской одежде – и должен буду звонить на кколоколах! Что-то выдумывают? Ккакие там у них колокола? Совсем никудышные… Этто в Камергерском переулке, называется театр МХАТ.

Серые, темные, под тяжелыми веками глаза Нэй смотрят на гостя с улыбкой ласкающего внимания. От сильной близорукости она еле различает лицо гостя, но явно ощущает присутствие необычного.

Большеглазый – глаза, как у матери, серые – четырехлетний мальчик тоже не сводит с гостя взгляд.

А Котик уже бродит по комнате – знакомится с новым местом. Остановился у рояля, поднял крышку. Сейчас начнет играть? Но он настойчиво ударял и ударял одну и ту же клавишу.

В комнату вошла пожилая худенькая женщина, жена художника Альтмана.

Нота все длилась нетерпеливо. Нашел изъян? Что-то странное. Я подошла. Он держал палец на «ля».

– Почему же она нне слышит? Я же ззову ее, – недоуменно спросил Котик, – она же – «ля», чистая центральная нота! Поняв, я уже объясняла вошедшей:

– Фаина Юрьевна, ваша тональность – «ля»! И Константин Константинович…

– Я сыграю гармонизацию Ми-Бемоль, – перебил Котик. Медленно, упоенно, как-то все снизу вверх идут звуки. Коленопреклоненно – перед недосягаемой высотой Ми-Бемоль? И все многотембровое флейтное существо рояля, все скрипичное, все вокальное и органное его звучание сплетается в новую оркестровку, вызывая колокольные голоса. Они мечутся в пределах рояльных, рождая небывалое в слухе.

Я смотрела на друзей моих: мать моей подруги, дочь ее Нэй, на их пожилую гостью – Фаину Юрьевну, «ля», – на лицах всех их, столь разных, было одно выражение: поглощенность нежданным, неповторимым! Мы присутствовали при необычайном.

Это было не подражание на рояле колоколам, как это встречается у некоторых музыкантов, – а совсем другое: с помощью презираемых звонарем белых и черных клавиш, служащих одному диезу, одному бемолю, – он нашел способ (не мог не найти, тосковавший по звучанию колокольному с утра до ночи) создать колокольность в клавишах!

То был вечер колокольного рояля!

Что-то вроде полузабытого сна.

Глава 4

Сумрачные переходы, высота недомашняя, свет и тени, и гулкость органная. Мы поднимались по лестницам консерватории в рабочую комнату Котикиного Источника. Я пишу это слово с большой буквы не от себя, а невольно передавая выражение его в устах сына – уважение, заглавность. Котик не рассказывал мне об отце, но позднее я узнала, что он нежно любил отца с тех лет, когда тот еще не был назван Источником, а был просто папа; с дней, когда жива была мать, когда он сам был кудряв и младенчествен, а отец молод и весел… Вот этими вещами, невещественными, Прошлым, в вечность ушедшей матерью, незримым еще Будущим, как в новогодних зеркалах, отраженных друг в друге, веяло на темных лестницах консерватории, которыми мы шли. Слышалось все это, как стихший звон арфы, как неслышный звук Вешняковского колокола, и вещественна была тут эта невещественность семейной трагедии… Как в старых домах, пахло в тот вечер в пути нашем, и шли мы будто не Москвой – Петербургом гоголевских времен.

И вот, наконец, комната. Я не помню там мебели, хоть она, конечно, была. Явственней запечатлелись двери и потолок, и окна в неведомость. Был час вечерний, час отсутствии, где-то проводимого отдыха, а может, чьих-то концертов…

Котик протягивает мне альбом. Я раскрываю – и поражаюсь: лет десяти сидит у рояля мальчик; темные волнистые волосы завладели лбом и щеками, а из-под них глаза смотрят в душу мою. В них – отрешенность, мечтательность.

Несмотря на нарядный костюм, матросский, – в позе, в существе ребенка – печаль.

– Это – я, этту фотографию очень моя бабушка любила: тут, она говорила, я на ммаму похожж…

Он перевернул страницу. Дальше шли листы нот.

– Тут мои детские сочинения, я тогда учился на рояле. Но мне очень ммешал мой учитель, мне сочинять хотелось, а он хотел, чтобы я играл гаммы… Но после уроков я любил его, хороший!

Но вот я гляжу в уже немного выцветшую фотографию. В очень длинном муаровом платье, стоит молодая женщина, заботливо заглажены мелкие складочки у оборчатого низа платья, затейливо обводящего подол узором рюшей. В сочетании черного и белизны предстает ее легкий стан, облик – женственнейший в трогательной красоте чистых черт. Родниковое, ландышевое протекшей весны, счастливой; смотрит, не улыбается. Но, может быть, вот-вот улыбнется – так добры у края застенчивости большие, в вопросительной задушевности, светлые, под темными ресницами и бровями, глаза. Правилен нос, легко очерченные ноздри. Дыханьем неуловимо приоткрыт рот, одновременно легкий и пышный. Лоб открыт, грациозно обведенный светлыми, подобранными вверх волосами, прической простой и изысканной.

– Моя мама! – говорит Котик тихо…

Глава 5

Несколько дней спустя мы сидели у меня.

– Знаете что? Я хочу вам прочесть начало моих записок. Это называется «Автобиография». Мне ссказали, так нужно будет для моих хлопот насчет ккколоколов…

– Отлично, что вы это начали! – радостно отозвалась я. – Я прочту, и у меня будут вопросы, – я ведь буду о вас писать… С каких лет вы себя помните?

– С одного года! – отвечал он уверенно, просто, будто – обычное, доставая тетрадь из-под груды бумаг на столе.

Крупным, прямым, круглым, наивно-детским, старательным, чистым графологически – от всех психологических тайн чистым – почерком было написано:

«Я родился в 1900 году в Москве и детство (отрочество тоже) провел в районе Остоженки. Отец мой в то время был преподавателем Синодального училища по классу скрипки; ныне состоит профессором Московской консерватории по классу дирижерства. Мать тоже окончила консерваторию и в свое время была незаурядной пианисткой».

«Еще в 2-3 года я стал чувствовать безотчетное влечение к музыке. Рояль, скрипка, виолончель, духовые инструменты – все это останавливало на себе мое внимание. Но более всего на меня влияли колокола: при первых их звуках я чувствовал особое возбуждение, как ни от какого другого инструмента. Я упивался их звуками, испытывая величайшее музыкально-творческое наслаждение, – и целый день ходил очарованный.

В этот же период жизни особенно внимание мое стал привлекать

звон, несшийся с колокольни из Замоскворечья… Этот звон сразу выделялся на фоне других, не давал мне покоя, оттеснив все другие звоны на задний план… Оказалось, это были колокола колокольни церкви Марона в „Бабьем городке“, в Мароновском переулке, близ Большой Якиманки, где я и сейчас звоню. Слушая игру отца на фортепиано, на скрипке, я сейчас же в своей голове сопоставлял эти звуки с колоколами; я, если можно так выразиться, постоянно переводил их на язык колоколов и плакал, если такой перевод почему-либо не удавался. С шести лет действие слуховых впечатлений от колоколов на меня усилилось. Утром, среди дня, вечером, ночью – чудились колокола, их звон, их различные сочетания, их гармонии, их мелодии».

– Вы отлично пишете! – прервала я чтение.

– Ккогда я пишу, – я нне заикаюсь, – пошутил Котик.

«Мне было 7 лет. Раз весной, в вечернее время, гулял я со своей няней (няня любила меня исключительно сильно, всем сердцем) неподалеку от дома, у Москва-реки, по Пречистенской набережной, и вдруг, совершенно неожиданно, услышал удар в очень большой колокол со стороны Замоскворечья. Было это довольно-таки далеко, но в то же время колокол слышался очень ясно, отчетливо; он овладел мною, связав меня всего с головы до ног, и заставил заплакать. Няня остановилась, растерянная. Она обняла меня, я прижался к ней, мне было трудно: сильное сердцебиение, голова была холодная; несколько секунд я стоял, что-то непонятное, бессвязное пробормотал и упал без сознания. Няня сильно перепугалась и попросила первого попавшегося отнести меня домой. Дома все тоже были перепуганы и поражены, совершенно не понимая, почему это произошло. С тех пор этот колокол я слышал много раз, и каждый раз он меня сильно захватывал, но такого явления, какое было в первый раз, после уже не бывало. Этот колокол слышали и няня и родные мои, для этого я водил их на набережную Москва-реки. Долго не мог я узнать, откуда доносится этот звук величайшей красоты – и это было причиною постоянного страдания.

Восьми лет неожиданно услышал я восхитительный колокол…»

– Котик, – сказала я, – мне кажется, в деловую бумагу не надо много о таких случаях…

– Ппостойте! – возразил Котик смятенно, – ппро эттот колокол я должжен сказзать… Я же лежжал в постели и был оззадачен своей музыкальной мыслью – и вдруг – вот читайте, я про это пишу…

Увидев взволнованность его, я не настаивала, а продолжала читать.

«…услышал я удар в колокол, который повторялся приблизительно каждые 25 секунд. Он доносился также со стороны Замоскворечья. Он овладел мною; особенность этого колокола заключалась в его

величественнейшей силе, в его строгом рычании, параллельно с гулом. Надо прибавить, что рычание-то и придавало ему какую-то особую оригинальность, совершенно индивидуальную.

Сперва, в самый первый момент, был я испуганно поражен колоколом, затем испуг быстро рассеялся, и тут открылась передо мной величественная красота, покорившая всего меня и вложившая в душу сияющую радость. До сей минуты запечатлелся этот звук во мне! Оказалось – этот колокол был Симонова монастыря. Я начал часто ездить туда с няней, с родными, вскоре стал ходить туда один.

Одиннадцати лет был я на одной колокольне в Замоскворечье, было воскресенье, утро, время, когда в церквах служба, при ней и звон. Вдруг услышал я удар в колокол, который, очевидно, был очень недалеко. Он заставил меня глубоко задуматься: он будто что-то напомнил мне. Затем еще раз был этот удар, я оглянулся в сторону гула и увидал колокольню. Это была Троица в Вешняках, на Пятницкой.

Тринадцати лет, два года спустя, был я на Мароновской колокольне в вечернее время, тоже во время службы, и услышал я колокол. Казалось мне, что он над моей головой, ошеломило меня – тоже рычание колокола, вложило в душу сильную радость. И казалось мне, радость эта – вечна. Звук колокола доносился со стороны купола церкви, колокольня, на которой находился колокол, была загорожена куполом, и я не видел ее. Решил я искать колокольню, слез с Мароновской и тут же пошел по направлению доносившегося до меня колокольного гула. Проходя неподалеку и мимо многих колоколен, я уже как-то сам, по своему собственному соображению нашел эту колокольню, услышал этот самый звук, величественный, с сильным, строгим рычанием».

– Котик, – не выдержала я, – мне кажется, рычание колокола…

– Но это же именно так и есть, – взмолился повелительно Котик, – этто никаким другим словом нельзя назвать!

– Ну хорошо, – согласилась я, – но зачем же второй раз про это…

– Я бы хотел всегда только говорить про это… – как-то вдруг задумчиво и очень покорно сказал Котик, невидимо отплывая от моего непонимания, – звук этот происходит из той тишины, откуда идет гром в грозу, это очень трудно объяснить…

Слушаю, думаю: «Вот так развивалось его постижение колокольного звона, раскрывалось и крепло его восприятие звука».

Глава 6

Мы ехали на трамвае, где-то на Пятницкой, мимо старых особняков. Внезапно Котик рванулся вбок и, сияя от нежданной радости, закричал так, что на нас обернулись:

– …Смотрите! Типичный дом в стиле до 102 бемолей!

Он перегибался через заднюю загородку трамвайной площадки, провожая взглядом родной его слуху дом. И когда тот исчез, он, потирая руки, смеялся, наслаждаясь ему одному понятной гармонией. На нас смотрели с недоумением.

Сознаюсь, мне было неловко.

Но и тени смущения не было видно в Котике. Или он не замечал людей? Нет, он не был оторван от среды. Отвлеченности в нем не чувствовалось ни капли. Он был вполне воплощен, умел и радоваться и сердиться. Мог и – как уже о нем говорилось – насмешничать. Что же давало ему броню, мне недоступную?

А он уже отвлекся в беседе.

– Я забыл вам рассказать, – говорил он, – что вчера меня ппроверяли! (Он закивал головой, торопясь, опережая себя)… то есть они хотели уззнать, верно ли, что я слышу все ззвуки эти! Онни ммне сказали – так: «Этто нужно – для ннауки!.. И вот вы (то есть я) доллжжж…» – он запнулся, завяз в жужжанье этого «ж», и, как жук, попавший в патоку, шевелит лапками, так и он методично боролся с неспособностью одолеть слово. Но ни тогда и ни позже я не заметила у него ни раздражения на мешавшее ему заиканье, ни нервозности, мною встреченной у других заик. Он скорее отдавался чувству юмора этой схватки, иногда выходя из нее со смехом, и никогда не отступал, может быть, наученный логопедом упорствовать в достижении нужного звука. Нет, упорство это жило в нем самом! А может быть, крылось в каком-то веселом единоборстве? Или же в осознании комизма ситуации: ему не дается звук – ему! – столькими звуками владеющему, ему, их богатством одаренному превыше возможностей окружающих! И ему не дается какой-то один звук!

Жук в-ы-л-е-з из патоки!

– «Ввы должжны нам помочь!» – продолжал он. – Их было несколько, а я – один. Двое были в белых халатах, этто ббыла как-кая-то л-лаборатория. Я очень смеялся! Что же тут проверять, что я – слышу! Ппо-моему, их интереснее проверять, почему они ничего не слышат! Один какой-то бемоль, один диез, только! И нна эттом они состроят свою му-ззыку, темперированную!

– Котик, ну а как же они вас проверяли?

– По-моему, они не меня проверяли, а этти свои приборы, потому что, – он очень оживился, но, как всегда не успевая догнать свою мысль речью, заспешил, мешая себе: – Онни ппривели мменя в ттаккую выссокую ккомнату, там было много стеклянных вещей, и мметаллических тоже ммного, и поссадили меня у ттакого стола, и

чтото нна мменя надели, потом снимали, потом оппять ннадевали. И потомм они оччень кричали, спорили. Я нне знаю про ччто, я оччень смеялся. Я заббыл, что потом ббыло, я этто ужже рассказал Юлии Алексеевне, а ее папа ззаинтересовался и меня все расспрашивал.

– Ну все-таки, что же они, Котик, проверили?

– Онни ттак сказали: что скколько этти прибборы ммогли за мною поспеть, зза моим слухом – ккакие-то ттам «коллебания». (Там еще что-то игграло, каккая-то – ччепуха…) Онни запписали этто – все что ппра-вильно слышу, и пприборы с эттими «колебаниями» ттоже! А поттом это все осстановилось – и я слышал, а оони ужже не ммогли, поттому что онни – кончились! – Котик засмеялся с детской ликующей непосредственностью, – а я нне ккончился, и ттогда все закончилось, ппотому что онни уже нне могли провверять. Их «колебания» ккончились, а ммои – а ммои ведь только начались!

Он больше уже не рассказывал, он смеялся, так смеялся, что я, в испуге за его нервную систему, старалась прервать его, отвлечь – и это мне наконец удалось.

Мы шли уже проходными дворами: вел – он.

– А мы верно идем? – сказала я будто бы озабоченно, – мы не заблудились? Ведь Юлечка нас ждет! И мы не опоздаем в ту церковь, где сегодня вы обещали звонить?

Среди музыкантов Москвы все ширился разговор о звонаре Сараджеве. Заинтересованные и восхищенные его сочинениями на колоколах (а многие – и его игрой на рояле) говорили о том, что он еще молод, что еще можно ему учиться! Наличие гиперсинестезированного слуха позволяет ему создавать такие волшебные сочетания звуков! Этому нельзя дать заглохнуть, надо ему объяснить необходимость учения! Ну, пусть не в консерватории (он, может быть, без привычки к учебе уже не одолеет трудностей сопутствующих предметов – да!).

Он же может учиться у какого-нибудь из выдающихся музыкантов-композиторов – композиторскому искусству! Пусть он частным образом учится, заиканье этому не помешает! Это же долг всей музыкальной общественности – заняться его судьбой, вмешаться, наконец, в его остановившееся на колокольной игре музыкальное развитие. В нем же гениальные способности!

Нашлись, впрочем, и скептики:

– Ну так как же проверить такой слух? Принимать просто на веру? Это, знаете ли…

– А его не так давно проверяли, – возражал кто-то, – именно проверяли тонкость его музыкального слуха. У него же бредовая теория есть, что в мире, то есть в октаве, – 1700 с чем-то звуков, и он их дифференцирует, вот в чем интерес!

– Так это же опять с его слов, это же не доказано!

– Частично – доказано! – отвечали иные, – приборами измерения частоты звуков; их, как бы сказать, расщепленности. Показания соответствовали его утверждениям – докуда эти приборы могли давать показания. И все совпадало. А дальше приборы перестали показывать, а он продолжал утверждать, и с такой вдохновенной точностью, которую нельзя сыграть. Да и зачем играть? В этом же ему нет ни малейшего смысла! Вы понимаете, он естественен, как естественно животное, как естественен в своей неестественности любой феномен! И думается, не столько здесь стоит вопрос о том, чтобы ЕМУ учиться, как о том, чтобы ОТ НЕГО научиться чему-то, заглянуть, так сказать, за его плечо в то, что он видит (слышит то есть).

Ведь это же чрезвычайно интересно с научной точки зрения…

Так вспыхивали споры везде, где бывал Котик или где слышали его колокольную игру, дивясь ей, не имея возможности сравнить ее – ни с чем.

А Котик смеялся. Не зло, добро. Его все эти рассуждения о нем забавляли. Чему будут учить его? О чем говорить? О звуках, которые для них не существуют, в существовании которых они сомневаются?

– Ммне, – говорил он, – надо пе-перестаать слышать, и ттогда я бы мог стать их уччеником, поттому что они очень много уччились, а я – только в моем ддетстве, когда мне надо было выучить ноты, и все эти нотные линейки, и белые кружочки, и черные, и эти паузы и ключи, скрипичный и басовый. Чтобы записать ммои детские сочинения! Но для колокколов все это не имеет значения, эти знаки ниччему не помогают, и это все неверно, потому что я на этих линейках могу нарисовать только один диез и один бемоль, а бемолей 121 и диезов ттоже 121…

– Да, это наша трагедия, что тут присутствует недогоняемость, – сказала я кому-то о Котике, – а вовсе не его трагедия, раз он слышит больше, чем мы!

– Нет, в этом тоже есть трагедия, – отвечали мне, – слышанье немыслимых обертонов есть катастрофа. И привести это звуковое цунами в состояние гармонии вряд ли возможно… Может быть, наука будущего…

– Нет, он действительно мог бы создать неслыханные звучания, если бы научился управлять ими по всем законам гармонии! – настаивал другой.

– Вот так логика! – отвечал кто-то. – Неслыханные звучания – мы же слышали их! И им не нужна наша гармония…

– Тогда бы он владел теми сферами звуков, которые ему слышатся!

– продолжал его собеседник. – А пока они владеют им, а он только врывается в непознаваемое и что-то оттуда нам сбрасывает. Какие-то…

– Жар-птичьи перья! – сказала я. – И перья звукового павлина, которые мы слышим и восторгаемся ими. Хоть многие и отрицают, считают бредом эти десятки бемолей и диезов, причину необыкновенных его композиций. Тут какой-то заколдованный круг!

Но мне отвечали, что все, что я сказала, – беллетристика. Дело вовсе не в этом: чтобы сочинять музыку, надо изучить контрапункт.

А Котик Сараджев уходил от нас по ночным улицам, окруженный домами в стиле несуществующих для нас десятков бемолей и диезов, и а тишине ночи ему издалека шли звоны подмосковных колоколов, которые трогал ветер.

Вскоре Котик пришел ко мне. Он бережно нес завязанную тесемкой коробочку.

– Я вам печенье принес! – сказал он празднично и поклонился не без гордости. Аккуратно развязал тесемку и поставил на стол коробочку, раскрыл крышку и положил ее рядом.

– Вы, пожалуйста, кушайте! – сказал он чинно, – если его с чаем с молоком – оно очень питательно. И сыну его давайте!

Я благодарила, смущенно смеясь. Это было тоже так неожиданно!

Мы сидели за чаем, вечером, у моей подруги Мещерской, что работала концертмейстером. Котик играл нам на рояле свои ранние гармонизации, которым не придавал значения. Он равнодушно выслушал наши похвалы, но на вопросы хозяйки дома, изысканной пианистки, ответил вразумительно и терпеливо, Котик казался усталым.

– Оппять ббыл царем! Эттим ссамым, Федором Иоаннычем, что ли…

Не-инптересно! И заччем им это поннадобилось? Каккой я ццарь? Онни говорят мне: «Ты типаж (это что такое?). Да! Великолепный, ты же рро-дился быть Иоаннычем этим, и наружность твоя, даже и грима не надо»! Нно ведь у них совсем никкуда негодные колокола, я на них совсем не могу играть. Три-четыре колокольчика – и все! Если б один большой был – хотя бы благовест можно, а то… А они говорят – нам трезвон надо! Мы, говорят, тоже попросим у Наркомпроса колокола, только играй! Вся Москва, говорят, на спектакль приддет, понимаешь? Но я им сказал – нет, хватит! А колокола пусть даст на мою колокольню Наркомпрос! И я ушел.

Лицо его подернулось тенью – и он заговорил вдруг быстро-быстро, но не по-русски, а на языке вполне непонятном; раздражение слышалось в интонациях. Пораженно глядели мы друг на друга, ничего не понимая.

«По-армянски, – мелькнуло в моем мозгу, – отец – армянин, и, может быть, в его детстве…».

Заливчатый детский хохот вывел нас из смятенья. Это хохотал сын подруги, маленький Туля, в восторге от неожиданности. Он восхищенно уставился на чудного гостя, не слушая увещеваний матери. Легким румянцем подернулось ее лицо; глаза, мягкие, под тяжелыми веками, смотрели на Котика, силясь понять происшедшее. Но он, уже придя в себя, тоже смеялся, кивая ребенку, и, покраснев тоже, – извинялся.

– П-простите! Я – заббылся – ппростите! Этто со мной ббывает, я, иногда волнуюсь, наччинаю говорить слова – обратно, не как в книгах печатают, а – наоборот… Этто все из-за этих – актеров, – сказал он с нескрываемым недовольством, – я ввас перепугал, простите…

Но Туля не унимался.

– А как вы это делаете? Я тозе хоцю так! – кричал он в необычайном возбуждении. – Как? Как?

Конец вечера прошел мирно, обыкновенно. Котик держал себя как самый простой гость, если не считать того, что звал нас вместо имен и отчеств – нашими тональностями, но к этому мы уже привыкли.

Глава 7

На другой день к острому интересу моего сына Андрюши, большого мальчика, Котик сидел на диване, обложенный со всех сторон фотографиями, и, перебрасывая их, ничего не спрашивая, нисколько не интересуясь, кто это, называл тональность на них изображенных людей. (Что же это за слух? Что за мозг? – думала я, поражаясь все больше и больше, – и какая уверенность!)

Я следила за быстрыми его движениями – влево от него на диване уже лежала груда просмотренных фотографий. Сейчас он перекладывал картонные странички маленького выцветшего бархатного альбома – и каждый раз, как встречался – в любом возрасте – Андрюшин отец (ребенком ли, в гимназической форме, взрослым ли, где только с трудом можно было поверить, что это тот же человек), Котик называл его Си 12 диезов. Как было любопытно, что младенческие любительские снимки сына Андрюши (о котором цвело убежденье, что он на меня похож) Котик неизменно именовал близкой отцу тональностью: «си 21 бемоль»… И отец мой, Иван Владимирович, каждый раз оживал под пальцами Котика – стариком ли, студентом, пожилым, в разных костюмах, с лысиной, с русыми волосами, даже очки не всегда присутствовали на фотографиях – и это среди множества других лиц – все в том же «до 121 диез»…

Но к концу вечера в Котике проглянула усталость. Он ушел, пожав нам руки, сказав, что пойдет спать, а завтра явится к нам в гости со своим новым детищем, первым из переданных ему Наркомпросом колоколов.

И каким веселым, ожившим он пришел к нам – легко, как игрушку, неся свой «соль диезик»!

– Оддин пуд и семь фунтов всего, – сказал он, ставя его на сиденье Андрюшиной парты, – я увверен, что в нем, в его сплаве, есть серебро! Да, да, иначе не было бы в нем таккого ззвучания, вы только послушайте!

Он поискал, чем бы, – и, схватив Андрюшин напильник, с которым тот мастерил что-то, небольшим размахом отведя руку, ударил гостя-колокол.

– Слышите? – вскричал он в восхищенном волнении, отскочив в сторону, чтобы лучше слышать. На лице его было блаженство. Серые глаза моего сына были устремлены на Сараджева с неменьшим возбуждением, чем накануне глаза Тули. А по комнате несся, утихая, но еще вибрируя и становясь все нежней и неуловимей, легкий, радостный, о себе заявляющий звук серебра!..

– Котик, – сказала я, – можно вам задать вопрос о том, что, по-моему, даже важнее, чем рассказ о любимых колоколах ваших, это так трудно определять, тут вас мало кто поймет, может быть, какие-нибудь мастера, которые знают тайны сплавов, пропорции, они – да. Но вот могли бы вы определить слух ваш? Знаю, сколько вы. слышите в октаве звуков, и знаю, что это пытались проверить, и недостаточно удачно. Но, может быть, когда-нибудь в будущем, когда будут более совершенные приборы…

Он поднял на меня сверкающий взгляд. Темные его огромные глаза вдруг показались мне почти светлыми.

– Дда, дда, – с усилием крикнул он, – но нне прибборы!.. А люди будут совершеннее! Может быть, через 100 лет, через тысячу, у людей будет, у всех, абсолютный слух, а у ммногих такой, как мой, и эти люди услышат все то, что слышу теперь я – один…

– Это – о будущем, вера в него держит вас, как держит меня – и моем восприятии вас как новатора-музыканта. Но вот что мне хочется знать – о настоящем. Почему вы пристрастились именно к Мароновской церкви?

– Мароновские колокола меня поразили! Их подбор представляет собой законченную гармонию!

Все это Котик произнес, совсем не заикаясь. Я вспомнила, что об этом говорила мне Юлечка – когда радуется чему-нибудь, заикается мало.

– Колокола с ярко выраженной индивидуальностью и в отдельности и в массе (при трезвоне) вызывают у меня музыкальные мысли, образы, как и в детстве. Тогда я любил воплощать их игрой на рояле. Слушая эти импровизации, отец или бабушка (мама к тому времени уже скончалась) записывали их на ноты, и получалось, как они говорили, недурно. С четырнадцати лет начал я бывать на колокольнях во время звона. Впервые попал я во время звона на колокольню Ивана Великого. И, странное дело: из всего огромного подбора его колоколов ни один не затронул меня так, как трогали колокола других колоколен. Звон Ивана Великого ничего, совершенно ничего не представляет собой, только темный, оглушительный, совсем бессмысленный гром, но колокола сами по себе там – превосходные; всего их 36, и в смысле их подбора дело обстоит великолепно… Находясь на колокольне Ивана Великого, я услышал однажды колокол, который потом постоянно звучал в моих ушах, но узнать, где он, с какой он колокольни звучит, мне долго не удавалось. Тогда же, то есть четырнадцати лет, я начал звонить сам; было это на даче, близ Москвы, по Павелецкой дороге, в 22 верстах от Расторгуева. Дом, где я жил, находился на холме, и было очень хорошо слышно три разных колокола. Я пошел на их звук.

Всю дорогу был слышен Большой колокол. Придя наконец к самой колокольне, я влез наверх и попросил у звонаря дать мне продолжить звон. Тот дал. Звонил я минут пять, а затем звонарь начал звонить в остальные колокола. Тут же пришел другой человек; он, по-видимому, был удивлен, почему я пришел, недолго поглядел на меня, как я звоню, видит – ничего, и сошел вниз. Все колокола, как я нашел, очень хорошие, но здешний звонарь звонить не умел!

Чтобы не слышать его, я спрятался под "свой" Большой колокол и вот там испытал громадное наслаждение! Он имел прекрасную индивидуальность…

Я взглянула на часы. Мне надо было идти на занятия английским, но я не могла прервать Котика – он просто сиял, рассказывая.

– С пятнадцати лет я перешел к трезвону, то есть к звону во все колокола. Вот тут, находясь в самой середине колоколов, в центре всего звона, я чисто интуитивно распоряжался индивидуальностью каждого колокола во время всего звона. Не могу никакими выразить словами, какое наслаждение я при этом испытывал! Я не говорю о красоте многочисленных ритмических фигур, узоров, которые я сам, создавая, выполнял и которые бесконечно увеличивали мой музыкальный восторг… Я больше не могла, я должна была идти! Я встала.

– Впервые я стал трезвонить на колокольне церкви Благовещенья на Бережках, – продолжал Котик, покорно встав тоже, – и сразу же

стал бранить себя за то, что так долго лишал себя неиспытанного наслаждения, каким явился для меня трезвон… Мы иддем? – сказал он, сразу вновь заикаясь, – дда и мне ннадо идти…

Расставаясь со мной, Котик Сараджев чинно кланялся, как пай-мальчик.

– А… еще есть у вас печенье? – спросил он вдруг меня хозяйственно и немного стесняясь, – или уже все съели?

– Есть еще, есть, Котик! – смеялась я в умилении, ошеломленная неожиданностью вопроса, до дна озадаченная невинной житейской простотой этого непонятного человека.

В почти родной квартире у Пречистенских ворот – так связана она с нашим с Мариной детством – мы снова собрались у Яковлевых.

Я говорила о моем письме, отосланном Горькому, о восхищенье его книгами, к сожалению, поздно пришедшими в мою жизнь. Мой взгляд замер на висевшем над нами портрете широкоплечего мужчины в расцвете сил (прежде я не замечала его). Темные волосы рассыпной волной поднимаются надо лбом, высоким и чистым, спускаясь затем темным ободком к бороде. Мужественный взгляд глаз умных и несколько повелительных. Печать воли и мысли лежит на всем существе.

«Иван Яковлев! – поняла я, – так вот он какой был…».

– …«Воспоминания» Горького – рассказывала я, – в одном томе, тоненьком – знаете, темно-синий, с белым корешком? Совершенно удивительная книга!. Он пишет о всех странных людях, которых встречал на своем пути, – такое разнообразие! И каждый из них до того живой, осязаемый, колдовство какое-то! Бугров, «хозяин» булочной, обожавший свиней. Сумасшедший монархист – учитель чистописания, потом этот сложный Савва Морозов – такая необычная коллекция!..

И вдруг я остановилась: на меня глядел Котик Сараджев, и взгляд его был – удивительным: он будто – из тьмы – отсутствовал. Было вполне очевидно, что Горький его не занимает нисколько. Но что-то в моем тоне привлекло его чрезвычайно: он весь впился глазами в меня. Я же, этим взглядом встревоженная (может быть, какое-нибудь изменение во мне – тональность?..), была вышиблена из своего рассказа. Видимо, почувствовав мое состояние, он очнулся:

– Этто оччень интересно, как вы разговаривали сейчас, – сказал он по-детски непосредственно. – Я думал, вы сейчас о чем-то скажете, может быть, о колоколах? Я думал: может быть, этот самый Горький написал что-нибудь о колокольном звоне? У вас было такое лицо! Я слышал, в старину были звонари, ннастоящие. Я думаю даже, что у них был слух такой, вроде моего слуха!..

Я, в свою очередь, не сводила глаз с Котика – до того он был в эту

минуту прекрасен! Он показался вдруг старше. («Такой он будет лет через десять», – мелькнуло во мне.) Но было неудобно дальше глядеть так на человека. Я обернулась к Юлечке. Ее умный, взыскательный взгляд был также обращен на гостя.

В это время приоткрылась дверь во внутренние комнаты и показался, поддерживаемый старушкой-женой, огромный и согнутый седой Иван Яковлев.

Большая волосатая рука его, дрожа, уцепилась за ручку двери. Но, что-то ему говоря, его уводили, и он покорно двинулся дальше, дверь закрылась.

«Жизнь Человеческая!» – холодом прошло по мне. Пережившая себя жизнь эта была как-то даже страшней смерти – лишенная ее таинственного благообразия.

Я писала сестре моей Марине и Горькому о Котике Сараджеве, даря им его; ей, с детства до зрелых лет так похоже воспринимавшей каждого чем-то необычайного человека! Долг передарить его – Марине, Горькому – был очевиден. Я ждала от них ответа. А тут Глиэр решил начать заниматься с Котиком, так композитор был захвачен, заинтересован его игрой. Только как с ним Котик поладит? Не поздно ли уже начинать с детства брошенное ученье, в его 27 лет?

То материнское чувство, которое он к себе вызывал у многих женщин, и молодых, как Юлечка, и средних лет, как Нэй, и старых, как ее мать, как жена Алексея Ивановича, разделялось, конечно, и мной; и жалость к бездомности его – вынужденной из-за рояля и арфы, для него в доме его нетерпимых. Но было у меня и еще совсем отличное – интерес писателя к такой необычной натуре, вживание в него с целью – воссоздать образ этого необычайного музыканта.

Был предвесенний день, когда я в волнении позвонила в дверь к Яковлевым. В руках – тонкий светло-серый конверт с итальянской маркой – ответ Горького! В нем приглашение – приехать в Сорренто.

Я читала и перечитывала. И снова. И я улыбалась. (Наверное, глупое было лицо!) Поеду?! Италия меня не занимала нисколько. Я там была в детстве, была в юности. Но в Италии жил – Горький! К нему рвалась душа. Я расскажу Алексею Максимовичу о Котике, о наркомпросовских колоколах, о том старике с длинной бородой, слушающем их под разными колокольнями, о Юлечке и о стольких его почитателях!

Мне шел 33-й год. Я увижу Марину, которую не видала пять лет!

А дни шли, и снова настала суббота. Колокольный звон, церковный двор. В весеннем вечернем воздухе растоплен хрусталь, но в прохладе его нет неподвижности, прохлада реет, воздух льется ручьями. Над ними, купаясь в заре, повисли ветви с бусами почек. Первые фонари

жалят небо, как в Маринином и моем детстве, – сияющими точками и маленькими елочными шарами… От их вспыхнувшей череды сразу начался вечер. Народ собирается.

Стою, думаю:

«Наверное, нет колоколов лучших, чем русские! Потому нигде и не славится колокольный звон так, как в России! И московские музыканты стоят в весеннем дворе под колокольней, хотят услышать звонаря Сараджева. Говорят, за границей стало известно, как он играет… Но зачем Котику „заграница“? Ему в России хватит колоколов! Вот он сейчас заиграет!».

Слушатели волнуются, переговариваются. За неделю – сколько слухов было о Котике, – а он ничего не хочет знать о них, поглощенный своей идеей о несравнимости колокольного звона – с обычной музыкой. Я жду первый звук.

Думаю: понимает ли Котик, как глубоко я в него поверила? Он только улыбнулся, услыхав, что хочу писать о нем! А ведь для меня он – пророк – предвозвестник музыки будущего!

И в хрусталь тишины вечерней с капелью весеннею – падает, так ужасно

внезапно (хоть ждем – не дождемся), – колокольный звон!..

Сирины взметнулись, небо зажгли – с колокольни и вверх! Вся окрестность! Стоим, потеряв головы и сердце, – в звоне…

– Ну и звонарь! – (как припев, – старик длиннобородый) – сколько звонарей я на веку моем слышал, но этот… – И руками развел…

Глава 8

Недели прошли. Позади – отъезд, путешествие… И вот я сижу в Сорренто перед Горьким. Высокий, худой, седеющий – усадил в кресло, он – по ту сторону письменного большого стола, и течет беседа в углубившемся в вечер дне… О Москве рассказываю, о московских людях, о неописуемом Сараджеве Котике, о его колокольнях. И слушает Горький пристально, как он один умеет, и разносторонни, точны взыскательные его вопросы, и ответы в него погружаются, как в колодец, и нет этому колодцу дна! Первый вечер, но я уже перегружена впечатлениями. Слушаю его окающую речь, четко выговариваемые слова: «Вы должны написать о Сараджеве! Книгу! Вы еще не начали? Напрасно! Это ваш долг! Долг, понимаете ли? Вы – писатель».

– Да, – в ответ на это, с ним согласясь, – разве я этого не знаю? Но когда же было начать? Не у колокольни же и не в поезде… Ничего не слушает! И он прав! Конечно – долг!

– И повесть про звонаря у Вас получится хорошо, если напишете – как рассказали! Вы мне верьте, я эти вещи понимаю… Он у Вас жить будет, что не так часто в литературе. И послушаю я его обязательно, когда буду в Москве…

И, разумеется, следует, чтобы специалисты им занялись! Об этом надо – выше хлопотать будем… Такое дарование со всеми его особенностями нельзя дать на слом. Вы мне, Анастасия Ивановна, непременно напишите подробнее про колокола, про состав их, расспросите его хорошенько… Я этим делом в свое время интересовался, когда приходилось мне в старых русских городах бывать, где знаменитые звонари отличались… Ведь это – народное творчество, да, один из видов его, оно имеет свою историю… Вы говорите, он с детства композицией занимался, еще до того, как звонить стал? Расскажите мне о нем поподробнее. Вы меня очень заинтересовали…

– Нет большей ошибки для писателя, – продолжал он с возрастающей увлеченностью, – как, увлекшись натурой, нафантазировать о ней! А это может случиться потому, что мы, когда пишем, точно так же увлекаемся, как в жизни!

Тема затронула его за живое: передо мной сидел человек вне возраста.

Только что резко обозначившиеся провалы щек и морщины словно растаяли. Но удивительней всего прозвучало в этом вдохновенном лице – нежданное слово, сейчас загоревшееся.

– Трезвость! – проговорил он с чем-то похожим на упоение в голосе. – Трезвость. Вы понимаете это слово? Но Вы непременно должны понять его всем существом Вашим, потому что в нем – весь долг писателя! Перед обществом, для которого он пишет, которому он, умирая, передаст все, что накопил он за жизнь.

– Горе писателю, если он увлечется натурой, подчинится ей, если она поведет его за своим силуэтом мерцающим. Горе Вам, Анастасия Ивановна, если звонарь Сараджев поведет Вас за собой. Вы должны вести его, и рука Ваша не должна дрогнуть, даже, – он придвинулся ко мне и гипнотически, – даже если Вам придется привести его, по Ломброзо, в безумие! В безумие? Но трезво ведите его!.. – Он встал. Я встала.

Распахиваю в ночь, черную, звездную, соррентийскую, створки окна – настежь, беру тетрадь – новую, итальянскую, в зеленой обложке, и записываю мою беседу с Горьким – о Котике.

Утро. Жидкий, плоский, однотонный металлический звук итальянского колокола, лишенный всякой напевности. Русский звонарь со своими любимыми мощными колоколами вставал передо мной во весь рост.

Вернувшись в Москву, увидев Котика, я рассказала ему о моих беседах о нем с Горьким. Он был счастлив, как дитя.

– Я ему все напишу про сплавы колоколов и про многое! Он принес мне его на другой день (многое из им записанного для Горького подтверждается теперь, полвека спустя, новейшими исследованиями).

Тогда же я узнала, что Котик собирается – это меня удивило, обрадовало – прочесть где-то доклад о своем колокольном деле.

И московскую осеннюю ночь напролет пишу повесть о звонаре.

Под утро, ложась, вспоминаю, как Марина слушала мой рассказ о Котике, как расспрашивала! Радовалась, что у Горького он возбудил интерес. Завтра же напишу ей, что пишу и пишу! А завтра – суббота, свижусь опять с Юлечкой, пойдем слушать колокола. Вот теперь вспыхнул интерес Котика к Горькому! – говорю я себе с юмором – до того не затронул его, но теперь… А ведь любопытно! Котик вообще книги читает? Не могу его себе представить сидящим за книгой! Какая это должна быть книга, чтобы она ему стала нужна? Как-то отдельно от книг живет он… Написал ли что-нибудь новое для своей Мечты, Ми-Бемоль? Уже год почти прошел, как я его увидела! Как время летит…

…Все как было! Вечер субботний, народ толпится у колокольни св. Марона за Москва-рекой. Первые удары благовеста – темным, тяжелым звуком. Словно падает с колокольни свинец огромными горячими каплями. Голос того самого колокольного сплава, о котором спрашивал Горький.

…Алексей Максимович, да когда же вы в Россию приедете? Ведь не смогу я вам привезти в подарок Сараджева-звонаря! Надо, чтобы вы тут стояли, с нами, на этой русской земле под осенними ветвями, под русскими колоколами…

Чтобы вы развели руками – «нет слов»…

Желтые листья летят и кружатся по двору, липнут к пальто и к рукам.

Котик, приготовившись к трезвону, собрав в руки веревки, привязанные к языкам колокольни, ждет снизу знака – начать.

Как не бывало Италии – приснилась!

Хмелея от счастья слышать питомцев своих, Котик откинулся назад всем телом в первом хоровом отзыве на движенье оживших рук, отпрянув, сколько позволяют веревки, – слитый с колоколами в одно, влитый в их зажегшееся светлое голошенье, загоревшийся вместе с ними в костре ликующих звуков. Как парусник, вылетающий в море, снасти и паруса – звучащие!.. Нет, как ни тщиться сравнениями подойти к празднику колокольного звона, – не передать его ошеломляющей красоты. Всего ближе – вот это: «голова – с плеч»…

Почти точное ощущение напрочь срезанного владенья мыслями, чувствами в захлебнувшемся звуковом полете! Много раз и я с детства слышала звон колокольный, но он был беден и прост, беден и описуем. Этот… Но ведь это же можно понять, если вернуться к мышлению: тот звон, те звоны (*досараджевы* и были и будут!) настолько беднее и проще, насколько центральная нота с бемолем и диезом – беднее 243 звучаний.

…В этот вечер Глиэр, устав размышлять, восхищаться, колебаться, поддаваться колокольному колдовству Котикиному, твердо решил положить конец сомнениям своим о Сараджеве: предложить ему – гению? – ученически (потому что без ученичества никто не растит мастерства) написать на заданность музыкальных тем работы экзаменационные. Звалось же это в мозгу Глиэра экзаменом на то, что отделяет безумца – от гения, по теории Ломброзо, экзамен на трудоспособность.

Глава 9

Я думала о детстве Котика. Приводила в порядок услышанное с разных сторон. Отец его женился три года спустя после смерти жены на ее кузине, тоже Филатовой. Это была прекрасная, поэтическая женщина. И была в доме не мачехой, а доброй волшебницей. Дети звали ее тетя Зоя. Котик десяти лет свою пьеску «Птичий щебет» посвятил «тете Зое», она обожала природу. Годы детства и отрочества Котик и Тамара провели у бабушки, матери своей мамы. Детей от второго брака – двух девочек и младшего брата – Котик любил, играл с ними, и они любили его. Но как бывает с людьми искусства, он часто был трудным в семье. А вот что узнала я позже от Тамары Сараджевой о его детстве.

– Он был еще на руках у няни, – сказала она, – когда стал реагировать на звуки колоколов. Он плакал, когда его уносили от колокольни, любил, чтобы с ним гуляли близ нее, и слушал внимательно колокольный звон. Эти прогулки он называл «день-динь, бом-бом». Игрушек он не признавал, и когда его спрашивал отец, что ему подарить, он отвечал: «Колокол». У него была целая коллекция колоколов, с совсем маленьких до уже довольно большого.

Он развешивал их на перекладины стульев под сиденьем и очень беспокоился, чтобы никто их не трогал и в них не звонил. Сам же он залезал под стул, ударял тихонько в один колокол – и слушал, замерев, пока не прекратится звук. Подлезал под другой стул и там продолжал то же самое. Затем ударял в два колокола, а иногда в несколько и слушал, как они звучат. Когда в семилетнем возрасте его стали учить играть на рояле, на скрипке – он начал импровизировать. Пьески эти с его рук записывала наша бабушка, Филатова.

Заикаться Котик стал после смерти нашей матери.

Тут мне приходится прервать рассказ сестры размышлением: обычно под словом «импровизация» понимают один раз сыгранную вещь. Но в Котикином случае, видимо, это была уже композиция: чтобы бабушка могла записать им играемое, он должен был повторять – и не раз, может быть, – сыгранное им, которое, видимо, жило в его мозгу, раз сложившись, а не улетало, как улетает импровизация.

– Эти детские пьесы, – сказал мне музыкант, их проигравший, – имеют строй, они построены. У каждой из них есть свое содержание.

Что я еще узнала от его младшей сестры?

Отец восхищался талантом сына, показывал сочинения мальчика музыкантам. Композитор Р. М. Глиэр, услышав его композиции, сказал: «Из него выйдет второй Римский-Корсаков». Но вскоре Котик стал все реже сочинять на рояле и явно охладевал к нему.

Одно время в детстве он стал собирать коллекцию флаконов от духов. Расставляя на окне, он старался играть на них, ударяя их палочкой, добиваясь мелодии. Затем он начал с удовольствием играть на скрипке, но скоро и она перестала ему нравиться, он начал раздражаться малейшей ошибкой в ее звучании.

Котик слышал все обертоны (то есть частичные составляющие основного тона, всегда сопровождающие основной звук. – (*А.Ц.),* ясно различал их в звуке колокола. Отсюда его неудержимое стремление играть на колоколах. Отец, по словам Котика, проявлял к этому живой интерес, и Котик делился с ним своими колокольными переживаниями. Он объяснял отцу, что в октаве он слышит 1701 тон. Все люди звучали для него определенными тонами. Себя он называл Ре. Каждый звук имел свой цвет.

Свои колокольные композиции он пытался записывать на бумаге, но сыграть их на рояле было невозможно. Котик был, конечно, совсем особенный – по богатству своих способностей.

– Однажды мы играли с ним во дворе, обнесенном высокой оградой, – рассказывала его сестра Тамара. – «А сейчас папа проходит мимо нашего дома!» – сказал мне Котик. Я побежала к калитке и вышла проверить: мимо нас проходил наш отец. Такие вещи у него замечались часто, и мы к ним привыкли.

Мне удалось узнать о Котике от учительницы его и сестры Тамары, которым она на дому – благодаря заиканию Котика – преподавала французский и арифметику. Занималась она с детьми два года, с его 10 до 12 лет, отношения с ними были хорошие, учились они охотно.

У Котика ей запомнилось доброе выражение больших черных глаз, широко открытых. Их взгляд был приветлив, в нем светилось

удивление и ожидание. Никогда не спорил, не отказывался, не ленился. К окружающим был доброжелателен, в обхождении – мягок. Усваивал легко, память была очень хорошая. Произношение французское отлично ладилось, что она объясняла его музыкальным даром. И на уроках арифметики примеры на вычисление шли легко, быстро. Во время решения задач он как-то особенно задумывался; но его реакция на ее «наводящие» вопросы дала ей понять, что он в эти минуты переносится «в иные сферы», как она выразилась, и она поняла, что решение задач было как-то особенно связано для него с решением его рояльных композиций. Она видела его в перерывах играющим на флакончиках, о которых сказала мне Тамара: играл он, извлекая из них гармонические сочетания, иногда гаммы, иногда – мелодии, оглядывался вопросительно на свою учительницу, желая, видимо, знать, нравится ли ей то, что он создает. Во время прогулок Котик был подвижный, оживленный. Висевшая на стене в классной географическая карта очень интересовала его. Он страстно любил в ней разбираться.

В моих руках – страничка нотного альбома Котика Сараджева в возрасте десяти лет; «В полях» (по-французски) – «Посвящено моей дорогой и доброй Т.Д. Виноградовой». (Печать на ее рассказе о нем!) Доказательство его привязанности к ней.

После нее и другие преподаватели занимались с детьми на дому у Сараджевых, каждый по своему предмету, и каждый утверждал, что Котику далее работать надо именно по этой специальности. Но Котик попутно, на ходу, вглатывая ему даваемое, – отрывался от него, от всего, к своему колокольному делу.

Мне хочется сказать о композициях десятилетнего Котика, записанных его бабушкой, Юлией Николаевной Филатовой, и отцом. В альбоме их 22: первая, меня поразившая печалью, настойчивой жалобностью, повторностью вопроса, беспомощно-лаконичного, звалась: «Где ты, моя мама?». Она посвящалась бабушке. Ей сродни другая композиция: «Воспоминанье о маме» – посвящалась отцу. Все остальные были названы по-французски, и посвященье было тоже записано по-французски:

«Охота на кузнечиков» (посвящалась сестре), «Марш» (посвящался шумному и веселому его дяде), «На воздушном шаре», «Воспоминанье об Ибрите», посвящаю котенку Никишу (Никиш был всемирной известности дирижер), «Колыбельная песня» (моей новорожденной сестренке Кире), «Печальный мотив», «Моей няне», «Вальс», «Шалунья» (моей доброй и дорогой сестре Тамаре), «Романс», «Колокольчики». Предпоследняя, «В полях», поражает тишиной, медлительностью,

покоем, а конечные музыкальные фразы как бы уводят вдаль дорогой, разомкнувшей поля – в бесконечность. Завершающая звалась просто:

«Моему дорогому папе».

Переписали мне и альбом двенадцатилетнего Котика. Тут шаг из детства почти сразу во взрослость. И тут уже в нескольких композициях – явная колокольность. Он бьется о рояль, вырывается из него, мечется, мается тоскою о колоколах – и это не подражанье звону, какое существует у композиторов.

Нет, это не мастерство, не обдуманность, не искание сходства, это рвется его колокольное сердце на части, не находя в рояльной игре путей и покоя. (Еще три года ему оставалось до счастья, до погруженья в стихию колоколов).

Среди названий (всего во 2-й тетради 14 композиций) – «Печаль», «Мелодия», «Романс без слов», «Цыганка», «Меланхолический отрывок», «Медитация» (в 12 лет!), «Вечерняя мелодия», «Фантазия», «Не забывай меня»… Больше не сохранилось нот его сочинений. Кроме одной композиции, записанной уже взрослым, чрезвычайно своеобразно и трудно, с надписью: играть одной левой рукой, что для других оказалось фактически невыполнимым, с переходами из одной тональности в другую. Настойчивая печаль в сложности своих гармоний, возвращающаяся на круги своя.

Об этой единственно сохранившейся взрослой его записи сказал музыкант:

«Отдаленно перекликается со Скрябиным, но без его диссонансов!».

Церкви же требовали прекращения звона соответственно содержанию службы, это приводило колоколиста в отчаяние.

Глава 10

Узкий длинный церковный дворик. Мало людей (глухой переулочек), не знают еще, что будет звонить замечательнейший из звонарей. Хорошо! Можно сосредоточенней слушать. И все-таки – узнали откуда-то: уже бродят по двору, у колокольни, укутанные фигуры – и по снегу, глубокому, следы.

Мы стоим, Юлечка и я, подняв головы, – ждем. Сейчас начнет!

Тишина. Ждет ли, когда снизу, из церкви, велят начинать? Первый удар благовеста! Покорно его повторяет звонарь, удар гулкий, глухой, он кажется темного цвета! (Может быть, прав Скрябин, мечтавший сочетать звуки с их цветом! Дети ведь часто это улавливают, как и мы, моя сестра Марина и я. Но мы в детстве спорили о цвете слова. Ей было ясно, что слово «Саша» – совсем темно-синее, а мне это

казалось – диким: хорошо помню, что для меня «Саша» – это легкое, хрупкое, светлое, как пирожное «безе»… Значит, даже при сходстве нашем душевном у нас, двух сестер, было различное видение цвета и звука! Как же Скрябин хотел? Свое навязать целому залу слушателей, скажем, желто-ало-фиолетовую окраску данной части симфонии, когда любому она могла казаться голубой, зеленой? И по всем рядам – разное? Котик такой объективизации своего чувства цвета не мыслил. Это я прикидываю в уме, пока падают с колокольни тяжелые гулы темного цвета в снежный принимающий двор.)

И вдруг – град звуков! Голоса, ликованье разбившегося молчанья, светлый звон, почти что без цвета, один свет, побежавший богатством лучей.

Над крышами вся окрестность горит птичьим гомоном Сиринов, стаей поднявшихся, – всполошились, поднялись, небо затмили! Дух захватило! Стоим, потерявшись в рухнувшей на нас красоте, упоенно пьем ее – не захлебнуться бы! Да что же это такое?! Это мы поднялись! Летим… Да разве же это звон церковный? Всех звонарей бы сюда, чтобы послушали!

Я подняла глаза. Он откинулся назад всем телом, голова будто срывалась с плеч, и шапка его казалась на голове как бы отдельной, отрывавшейся под косым углом напрочь. Не видно отсюда, но уверена, что глаза не то что закрыл, а п…

– Знаете, он, наверное, зажмуривается, когда такой звон! – блеснуло в меня темным глазом Юлечкиным.

– Ну и звонарь! – раздалось у нас за плечом. Я обернулась. Это ликовал тот длиннобородый старик, который в прошлую субботу у колокольни Марона восхищался звоном. – Ну, слыхал я звонарей, – загудел его голос над нами, – но такого – не слыхивал и, конечно, уже не услышу…

Оборвались звуки! Тишина стояла белая, напоенная, как под ней снежный двор.

Но мы не уходили: он же еще и еще, может быть, зазвонит, когда положено по церковной службе! Всенощная кончается не раньше восьми. Но – замерзли.

Надо войти в церковь. А он? Он не греется? Нет, наверное, греется, есть такие церковные комнатки, и старушки там, черные и уютные. Может быть, чайком напоят звонаря?..

Я была дома, когда несколько дней спустя ко мне пришел Котик. Он казался оживленнее и веселей обычного, улыбался, потирая руки, и было немного лукавства в его празднично настроенном существе.

– Он мне ззадал, эттот самый Глиэр, – пп-писать, ннаписать ему –

десять эттих муззыкальных пьес! Детских. Элегия, скерцо, вальс, еще какпкие-то пьески, котторых я не писал очень давно! Зачем ему это поннадобилось, он один ззнает! Ннну, я уже написал ему – три таких… пьески. Сегодня я напишу ноктюрн…

Он смеялся. Лицо его, пылающее темнотой и яркостью глаз, было весело.

Он уже усаживался на тахту, раскрывал скромную, чуть ли не школьную папку. Заражаясь весельем его, я участвовала, входила в его дела, точно и не было у меня за душой других…

– Отлично! Скоро Андрюша придет, будем ужинать! Я пойду в кухню готовить, а вы – вам, может быть, свет переставить?

Но он уже не слышал меня, раскрыв листы нотной бумаги.

С чувством, что чудно жить на свете, я перешагнула порог. А за порогом – соседи, шум (как морской, только игрушечного моря) – примусы, грохот воды из крана, телефонные звонки, стук входной двери, разговоры, голоса. И уж закипает чайник, и подпрыгивает на сковородке яичница с румяными гренками, разогрета чечевичная каша. И я вхожу празднично и победно, кухареньем победив повседневную усталость, из общественной кухни к себе, в мой мир.

Там, на тахте, сидит Котик, но озабоченное веселье, в котором он меня провожал, изменясь, перешло во что-то другое, но тоже победное.

– Как! Уже кончили? Написали ноктюрн?

Он смеется! Он смеется так, как смеются в детстве – всепоглощенно! Без берегов! Но, видя недоуменье во мне – так же явно, как в руке моей – кашу, – он из глубин смеха апеллирует к слову:

– А ззачем я ддолжен писать емму эттот ноктюрн? – произносит он непередаваемым тоном (в нем свобода, за которую бьются века и нации!), – ессли ему эттот ноктюрн нужен (пауза, за которой – сады своеволья), – ппусть он его пишет сам!..

Как в оркестре ведущий удар, разбежавшись и множась, рассыпается, наконец, искрами в широкой звуковой дали, так его отказ подчиниться Глиэру, руша задуманные тем построения его композиторского будущего, станет вдали, увы, безвестностью Котика. Но ни он, ни я в этот вечер не поняли этого.

Озорство его фразы, ее нежданность, меня восхитив, развеселили нас обоих безмерно.

Мы веселились, мы торжествовали, мы праздновали освобождение, победу над угнетением! К нашей трапезе подоспевший Андрюша нес яичницу, резал хлеб. Он поднимал заздравный стакан с чаем:

– За – как это? Ноктюрн? Который напишет Глиэр!.. И только Омар Хайям, глядя на нас, разразился бы печалью стиха о превратности сего мира… Вечера этого!

Празднуя в этот день нечто, что нам казалось победой, мы, того не зная, праздновали – Тризну! Смехом беспечных оплакивали прощанье с будущим, с «Глубинами ученичества, с Высотами послушания…».

Ученьем Ломброзо этот вечер скорчил нам гримасу сочувствия, которую мы, превратно поняв, приняли за маску веселья.

Так я почувствовала – немного спустя. Но – глубоки завороты мыслей и чувств; в них можно заблудиться. Так я заблудилась – не в вечер Тризны, а в сожаленье о нем! Вот это мое заблужденье представилось мне совершенно неоспоримым, когда я узнала, что Котик не только играет на колоколах, как никто, а что он пишет о колоколах, пытается утвердить свою жизнь в них, стать понятным и понятым, жаждет вовлечь в свой круг талантливых людей страны!

И жаль мне, что Глиэр в нем ошибся, приняв невыполненность своего приказа – написать 10 маленьких пьес – за нетрудоспособность Сараджева.

Котику эти пьесы были просто никак не нужны. Но мы еще увидим имя Глиэра в списке крупных имен музыкантов, ратовавших за идею Сараджева, за звонницу; о нем будет сказано в одной из последних глав.

Когда, склонясь над музыкальными записками Котика, над его схемами будущих колокольных звонниц, я погрузилась в целый лес преодолеваемых им сложностей, трудностей, когда увидела его четкую целеустремленность и доказательства часов, дней, месяцев, проведенных им за нужной ему работой, – каким мизерным испытанием представились мне эти десять Глиэром потребованных пьес!

Глава 11

Просторный кабинет директора консерватории был почти полон. Большинство присутствующих – пожилые и старые люди, мне не знакомы. Наверное, музыканты.

Выступление называлось так: «О художественно-музыкальном значении колокола и о воспроизведении музыкальных произведений на колоколах».

Я волнуюсь за Котика. Ведь музыканты критичны к не их инструменту… Но Котик не волнуется совсем.

– Много, очень много в науке, в искусстве еще совершенно не открыто нам, особенно в области музыки, которую можно назвать наукой, музыкальной наукой, – так обратился докладчик к аудитории.

Во всей области музыки есть два направления – наша музыка, к которой многие из нас очень привыкли, ей искренне преданы, как бы считают своим священным долгом отдавать себя ей, всего себя

погружать в нее. Другая же – нечто совершенно иной конструкции, совершенно неведомого нам направления – колокол. Надо специально уделять время слушанию его, и делать это нужно не раз, чтобы глубоко вникнуть в свойства этой музыки, колокольной.

Знавшие Котика, может быть, удивлялись: он был спокоен и почти не заикался!

– Теория всей колокольной музыки, все до единого правила ее не имеют ничего общего с теорией и правилами обычной музыки. В теории колокольной музыки вообще не существует того, что называем мы «нотой»; тут ноты – нет, колокол имеет на своем фоне свою индивидуальную звуковую картину – сплетение звуковых атмосфер. (Звуковой атмосферой Котик называл сумму звучаний колокола, сопровождающих основной, доминирующий его тон и представляющих собою, как правило, более высокие тона. – (*А.Ц.)* В колокольной музыке все основано на колокольных атмосферах, которые все индивидуальны. «Индивидуальность» колокола в воспроизведении музыкальных композиций на колоколах играет колоссальную роль.

Он передохнул немного.

– Я звоню уже с давних пор. И я так глубоко вошел в колокольную музыку, что другая мне уже ничего не дает и не сможет дать.

Колокол! Служил он для той же церкви, играли на колоколах даже отдельные мелодии. Но до сих пор никто не имел еще понятия о том, что на колоколах можно исполнять целые симфонии. К сожалению, я знаю немало колоколен, на которых есть колокола без всякого действия. Почему эти колокола висят там без действия – повесить бы их туда, где бы они

пригодились, а то – как собака на сене! Колокола зря пропадают со всею своею музыкальной прелестью…

– Я смотрю на колокол с чисто музыкальной, художественной точки зрения. Я жду пробуждения его деятельности, дождусь ли я ее? Если да, то когда же наступит эта минута? На эти два вопроса кто же может дать мне ответ? Музыкальное значение колокола, музыка в колоколах!

Я смотрела на Котика. Мне казалось, он – счастлив!

– Колокол хотел давать нам все, извлекая из себя звук, звучанье, характер, гармонию, удар, – все то, чем он обладал. Виноваты мы, сами мы, что смотрели на него как на какое-то било! Употребляли его для всякой надобности – например, в. театре, за сценой, в симфоническом оркестре, – а ведь он является чем-то совсем отдельным от других музыкальных инструментов. В него входит наивысшая сложность сочетания звуков.

Слушали с интересом. Перешептывались.

– Колокол есть моя специальность, – продолжал докладчик, – мое музыкальное творчество на колоколах. У меня имеется сто шестнадцать произведений, которые по своим исключительно тонким различиям звуковых высот приемлемы для воспроизведения только на колоколах. Для этого нужен особый слух. Не тот «абсолютный» слух в смысле звуковой высоты, а также в различении тонов – а совершенно исключительно тонкий, в наивысшей степени абсолютный. Его можно назвать «истинный слух». Это способность слышать всем своим существом звук, издаваемый не только предметом колеблющимся, но вообще всякой вещью. Звук кристаллов, камней, металлов. Пифагор, по словам своих учеников, обладал истинным слухом и владел звуковым ключом к раскрытию тайн природы. Каждый драгоценный камень имеет свою индивидуальную тональность и имеет как раз такой цвет, какой соответствует данному строю. Да, каждая вещь, каждое живое существо Земли и Космоса звучит и имеет определенный, свой собственный тон. Тон человека постигается вовсе не по тону его голоса, человек может не произнести ни одного слова в присутствии человека, владеющего истинным слухом; однако им будет сразу определен тон данного человека, его полная индивидуальная гармонизация.

Для истинного слуха пределов звука – нет, – воскликнул он вдохновенно, – как нет предела в Космосе! Задатки истинного слуха есть у всех людей, но он не развит пока в нашем веке…

Обыкновенного абсолютного слуха и того чрезвычайно мало, встретились мне 6-7 лиц, а может, и того не будет, скорее так человека 2-3, не говоря уж о таком, как у меня. Такой слух пока является, увы, исключением. Но в дальнейшем будут, несомненно! Будут, обязательно будут! Но все-таки хорошо было бы, если бы нашелся хоть один человек с тончайшим, абсолютнейшим, феноменальным музыкальным слухом, до самого предела остроты, восприимчивостью к колоколу и колокольному звону, это было бы для меня великое, жизненное счастье! Иметь лицо, которое было бы моим утвердителем, утвердителем того, что я говорю, на что я указываю в теории «Музыка – Колокол». Если в будущем будет этот человек хорошо осведомленным, глубоко посвященным в теорию колокольной музыки – это уже так много! Признаться, я чувствую себя очень одиноким, так, как чувствует себя немой или иностранец, не говорящий на языке народа той страны, в которой он живет.

Но неужели же это одиночество у меня спадет, неужели дождусь я, наконец, этой минуты – какое тогда будет счастье! Да! Но, спрашивается, почему я так сильно отдался колоколу? На этот вопрос я должен дать ответ о причинах моего тяготения к колоколам…

Колокол дает нам весь музыкальный абсолют: посвящает нас в наивысшую теорию Музыки, Музыки с большой буквы. Созданная мною теория так и называется – «Музыка – Колокол». В исполнении музыкального произведения «индивидуальности» колоколов, всякими способами соединяясь, сливаются и… В эту минуту докладчику передали записку. Развернув ее, он сказал:

– Меня просят подробнее сказать о процессе игры на колоколах. Хорошо. Колокола по своей величине подразделяются на группы. В первой группе – самые мелкие, во второй – немного побольше, в третьей – еще на немного больше, затем идут четвертая, пятая, шестая группы и т. д. В одну группу включаются колокола, близкие друг другу по величине, виду и высоте звука.

Каждая группа имеет в себе определенный, соответствующий ей по силе звук. Разумеется, чем больше колокол, тем сильнее его предельный удар. Тяжелее он – и более продолжителен его гул.

На колокольне отдельно от всех – Большой колокол, фон, или основа. Звонит в него один человек, но могут и два. Затем – Педаль-колокол; в него звонят ногой с помощью нажима на доску. Педальных колоколов должно быть всегда два: 1-й, большой и 2-й, малый. После педали следуют колокола клавиатуры. Игра на них производится с помощью клавишей, расположенных полукругом. Затем следуют колокола, на которых воспроизводится трель. Их два набора – первый состоит из 3 колоколов, второй – из 4.

Он передохнул.

– Трель играет большую роль. Она есть как бы горизонтально тянущаяся нить во время звона. Благодаря своему разнообразию она придает звону самые разнородные звучания.

Трель одиночная состоит из звона двух колоколов, смешанная состоит из звучания пары колоколов и одного колокола, и парная трель – из двух пар колоколов.

От языков колоколов идут шнуры к концам деревянной рукоятки. Удар производится всегда правой рукой.

«А ведь мало реакции со стороны слушателей!» – подумалось мне.

Котик развернул одну из записок, прочел ее.

– Я вижу, вопрос задан мне музыкантом, понимающим в колоколах. Да, колоссальнейшую роль играет ритм: каждый тон имеет соответствующий ему ритмический облик.

Тут в записке спросили меня о счете. Например, если произведения написаны в размере четыре четверти, трель может быть в любом размере. Это зависит от индивидуальности данных колоколов: Большого, Педали и тех, которые в клавиатуре. Такты могут быть самые разнообразные.

Докладчик будто задумался. Но тотчас же затуманившееся лицо прояснилось. Быть может, решив не все трудное досказывать, он весело сверкнул взглядом:

– Я должен еще сказать, как подбирают колокола. Берут сперва Большой колокол и к нему остальные – 2-й Большой, затем два педальных, а к педальным, а именно, к их слиянию, подбираются колокола клавиатуры. В клавиатуре колокола совершенно не должны быть расположены ни в какую гамму.

Он перешел к весу колоколов, четко сообщив минимальный и максимальный вес каждого, и, видимо, сокращая разбег своих сведений, рассказал о пропорциях диаметров и высот каждой формы колоколов.

– А формы их, – сказал он, – бывают двух видов: одна более высокая. и узкая, другая более низкая и широкая, что дает звук в первом случае глуховатый, во втором – открытый и яркий. Звук колокола также зависит от состава сплава. Но и при обеих формах может у колокола быть любой из трех тембров: резкий, умеренный и нежный.

Самый низкий звук колокола, по крайней мере я в жизни встречал, – у самого большого колокола на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, гул которого на октаву ниже основного тона его; это, по темперации ре-бемоль субконтроктавы, звучащий ниже регистра рояля. То же самое и у всех больших колоколов, много встреченных. Звук такого низкого регистра я уже не воспринимаю как музыкальный.

На вопрос, мне в записке посланный, на каких, в смысле подбора колоколах я предпочитаю звонить: на подобранных в музыкальную гамму или же никакой гаммы не составляющих; отвечаю: для меня это различие не имеет никакого значения: при звоне я руководствуюсь только характером индивидуальности колокола. А также не имеет для меня ни малейшего значения, если данный колокол с соседом своим дает диссонирующий звук. В колокольной музыке нет никаких диссонансов.

Докладчик сделал паузу. Взглянул на нас.

– Всюду, куда я ходил хлопотать о получении колоколов для полного ублаготворения Мароновской колокольни, я поднимал вопрос о том, чтобы отделить колокольню от церкви и устроить ее концертной, только для исполнения звона, – говорил, что совершенно невозможно игре на колоколах быть «при церкви», а мне выполнять роль обыкновенного, церковного, грубо-шаблонного звонаря. Я смотрю на это совмещение колокола с церковью как на самое больное мое место; об этом немало было разговора во многих из тридцати пяти церквей, где я звоню. Ясно, что мой звон – это музыка, но ведь для церкви нужен звон не с художественной стороны, а с церковно-звонарской!

Слушатели оживленно переговаривались.

– Из тридцати пяти чаще всего я звоню на четырех колокольнях: на Бережковской набережной, на Кадашевской, близ Большой Ордынки, на Псковской близ Арбата на Спасо-Песковской площадке, и на Никитской, при упраздненном Никитском монастыре, обладающих замечательно хорошим подбором колоколов разных характеров звука с приятными тембрами. Довольно редко звонил я на колокольне упраздненного Симонова монастыря.

Передавали еще записки. Он развернул одну из них:

– Я, собственно, о главном – окончил. Но тут меня просят сказать о том, как лучше слушать звон. Лучше всего слушать звон внизу, на определенном расстоянии от колокольни. Место слушания получается в виде кольца, посередине его колокольня.

Он прикрыл ладонью глаза, отнял руку и, словно прислушиваясь:

– В начале звона вы слышите строгие, медленные удары Большого колокола. Но вот удары эти начинают усиливаться и, дойдя до самой предельной точки силы, начинают стихать, сходя на нет; затем, дойдя тоже до определенной точки тиши, эти тихие удары превращаются постепенно в сильные удары, стремясь к точке предела. Потом, совершенно неожиданно, эти строгие удары превратятся в колоссальную, беспредельную тучу музыкальных звуков. Но что за гармония в этом звоне! Таких гармоний мы в нашей музыке не видим никогда – звуки стихают, как бы удаляясь; удалившись, слышны тихо или же даже почти не слышны; возрастают и, наконец, становятся перед нами высоченной стеной, покрывающей всех нас. Этот процесс продолжается длительно, и вдруг неожиданно во время экстаза звуков они начинают постепенно исчезать. И вот уже совсем нет их, затишье!

«Какое замечательное, художественное описание!» – восхищаюсь я.

– Или же бывает так, – продолжал он, все более оживляясь, – вы слышите сперва тихие удары в мелкие колокола в виде трели. Они все учащеннее. Затем начинаются голоса колоколов больших размеров, усиливаясь, пока все колокола не сольются в сложный аккорд и не покроются ударом в самый большой колокол. Здесь-то и начинается колокольная симфония: звуки разрастаются, разбегаются и вновь собираются, кажутся поражающей бурей. Все это в строжайшем соблюдении ритма, при чередовании неожиданных ритмических фигур и вариаций, на фоне строгих ударов Большого колокола.

Докладчик перелистал свои бумаги, на миг задумался и доверчиво, тепло обратился к слушателям:

– Каждому хорошо быть посвященным – мыслью – в область колокольной музыки! И для этого возможно обойтись без

исключительно тонкого звукового восприятия. Но чтобы иметь возможность самому воспроизводить музыку на колоколах, – тут уже должен быть абсолютный слух!

Он внимательно поглядел на слушателей.

– Среди музыкантов абсолютный слух далеко не у всех, но встречается.

Люди с абсолютным слухом, люди более или менее компетентные в музыкальной области должны питать интерес к колокольной музыке. Искусственным путем такой слух развить невозможно. Я в колоколе различаю 18 и даже более основных тонов, свойственных данному колоколу, и без малейшего труда могу выразить их с помощью нашей нотной системы. Я и сделал это применительно ко всем в Москве и окрестностях выдающимся колоколам. Звучание колокола гораздо более глубокое и густое, чем в струнах – жильных, металлических; чем на духовом инструменте, чем в человеческом голосе. Это оттого, что каждый тон из 1701 в колоколе дает свое, определенное сотрясение воздуха, очень похожее на кружево, я так и зову это – «кружевом».

Не шептались, слушали.

– Что же касается металла, – сказал он, собирая листы своих записей, – из которого сливается колокол, то и знатоку колокольной музыки и всякому слушателю надо знать, что главным металлом тут является медь, но для известного рода звучания прибавляют к меди, в самый раствор, – золото, серебро, бронзу, чугун, платину и сталь. Серебро добавляют для более открытого и звонкого звука, для более замкнутого добавляют сталь. Для более резкого – золото, для более нежного – платину. Умеренный же тембр бывает, если нет ни золота, ни платины. Чугун и бронза придают глухой звук, но в глухоте одного и другого есть различие: чугун дает только тишину и спокойствие, а бронза прибавляет еще свое нечто, и у нее эта глухота – волнистая, то есть параллельно с ней следуют очень крупные, рельефные звуковые волны… Все это я недавно сообщил по его просьбе Алексею Максимовичу Горькому.

– На этом мы, я думаю, закончим! – сказал Котик и улыбнулся нежданно весело, по-мальчишески.

Аплодисменты раздались густо и громко, и это, видимо, обрадовало его.

Его окружили, говорили с ним как с равным. Он улыбался. Мне было пора идти.

Я уходила, думая: «Так вот он какой, знаток колокольный Котик! А я-то представляла его только практиком звона…».

Я все более проникала в мир звонаря.

Все следующие дни я продвигала мою работу, стараясь глубже войти в жизнь своего героя. Все время, свободное от служебных занятий и от моей общественной и домашней работы, я делила между свиданиями с Котиком, и в часы, когда он играл на различных колокольнях Москвы, ездила с ним слушать его гармонизации.

По пути я задавала ему вопросы, возникавшие за письменным столом, и, придя домой, часто глубоко в ночь, записывала вновь узнанное. Главы росли.

Иногда я читала их кому-нибудь из знакомых и радовалась живому интересу, похвалам, расспросам тех, кто еще не знал его; я звала слушать его игру, знакомила Котика с моими друзьями.

Во скольких домах мы бывали с ним! Мы просили его не пренебрегать роялем. И он подчинялся, хотя и с неохотой. Какие удивительные фортепьянные вечера рождались, нежданно, лаской и похвалами *побарывая* его нелюбовь к этому инструменту. И сколько мы услыхали вдохновенных речей его – в честь колоколов! Так он, нами вызванный к выражению своей музыкальной доктрины, по памяти излагал страницы будущей своей книги – «Музыка-Колокол». И сколько же мы исходили с ним колоколен! По-прежнему выше всего он ставил колокола церкви святого Марона, но часто, отыграв там в праздничный день, у ранней обедни, он ехал к поздней на другую колокольню, и я приезжала туда послушать, какой замечательный звук у Большого или Малого колокола, об особенностях звуков которых он накануне мне рассказал.

Делиться с ним моими радостями о моих подвигавшихся главах о нем я избегала: он не входил в них душой. Мои записи вряд ли казались ему важным делом – ведь я не была музыкантом! А глубины его психологии, мною отображаемые, просто не звучали ему. И после одной-двух попыток ввести его в круг моих интересов я убедилась в тщетности моих усилий: моложе меня, он вел себя как старший, добро, стараясь меня не обидеть, но и глаза и сердце его были от меня далеко. Книга, звучавшая ему, имела автора Оловянишникова, ибо она трактовала о единственно ему нужном – о колоколах. И мне запомнились из нее такие строчки:

«Русские люди еще в глубокой древности обращали внимание на гармоническое сочетание колокольного звона.

Каждый звон имел свое назначение. Звон веселый – красный, когда возвещалась народу какая-либо радость, великий праздник, победа, избавление от опасности…

Из колоколов извлекали более или менее определенную мелодию…

Являлись своеобразные артисты, поражавшие своим искусством и виртуозностью слушателей».

Вот это была «его» книга!

Глава 12

Шли месяцы, превращаясь в годы. Юлечка и я обходили с Котиком в свободные вечера наши все колокольни, куда он шел играть.

Музыканты по-прежнему спорили о нем, о необходимости – или нет – для него музыкального образования, о его будущем, но тот, о ком шла речь, нисколько не был озабочен: он жил в мире звуков, этот мир был беспределен, в нем он был дома, и ничто его не смущало. Центр мира был – колокольный звон.

Он слушал и писал свои гармонизации, лучшие из которых он посвящал мечте своей молодости – девушке именем Ми-Бемоль, летавшей в хороводе крылатых подруг в пачках, похожих на цветки анемона, и улыбавшейся ему из этого сонма крылатых, который звался – балет.

Все это погружалось в мои тетради с надписью «Звонарь». Ниже – «Повесть». «Посвящается Константину Константиновичу Сараджеву и Алексею Максимовичу Горькому».

Как было не добавить этого имени, когда Горький, человек такого писательского опыта и на поколенье меня старше, благословил меня на этот труд, настаивал на непременности написания этой повести, на воссоздании для потомков, скромного и радостного своим общением с миром человека! И я дала себе обещанье не увидеться с Горьким до тех пор, пока не смогу войти к нему с дописанной книгой, о которой он сможет сказать свое любимое: «Спето!». И повесть пелась и пелась…

В ней было уже десять печатных листов, подробно, верно и медленно, как майский жук по ветке, ползли страницы одиннадцатого листа. А двенадцатого…

По Москве шли слухи, что слава Котика шагнула далеко за пределы страны, что весть о его игре на колоколах колокольни святого Марона за Москва-рекою достигла других государств; что Америка предложила ему гастрольную поездку, для чего хотят обеспечить знаменитого звонаря-композитора колоколами… Но это походило на сказку, и тут начинались недоумения: как можно снабдить звонаря колоколами по всему ходу его передвижений из города в город?

Конечно, это выдумка, чья-то фантазия, праздная сплетня, чепуха, вздор. Другое дело, если в каком-нибудь одном городе за границей ему соберут отовсюду колокола для своего рода колокольного концерта – это еще возможно!

Но, может быть, это – болтовня …

Время шло, повесть росла, близилась к концу, как мне казалось.

И уже из нескольких очень толстых тетрадей восставал живой Котик Сараджев с его манерами, прибаутками, с его веселой готовностью встречаться с людьми, узнавать, входить в их жизнь, быть естественным, как ребенок, и поглощенным делом, как взрослый. Если сам он мало ценил свои вечера рояльной игры, неустанно мечтая о возможности играть на колоколах ежедневно, то это нисколько не мешало слушающим его рояль наслаждаться его гармонизациями.

Но вот книга о Звонаре, как мне казалось, окончена! Отложила – пусть «отлежится» немного. Затем еще раз перечту и свезу ее, наконец, Горькому.

Меня останавливает слух: Горький болеет. Болеет… Значит, не до меня ему сейчас! Ну что ж, подождем. И тогда другая весть достигает меня: Котик Сараджев уехал в Америку. Как? Когда же?.. А вот в те недели, что не виделась с ним, когда дописывала книгу о нем. Да, говорят мне, как-то по договору, разрешили такую поездку, все устроили, посадили вместе с колоколами в поезд, проводили – уехал.

Горький давно в России, объездил ее, участвовал в различных литературных объединениях, издавал, издает журнал… Не пойдешь к нему без книги – а книга все-таки не кончена. Подзаголовок ее «История одной судьбы»: могу ли я считать повесть конченной, не вместив в нее такую важную главу, как «Котик Сараджев в Америке»? Разумеется, я должна ждать! День набит: работа, быт, занятия языками с сыном – даже нельзя понять, куда же вмещались частые встречи мои с Котиком? Сколько колоколен опробовала с ним «на предмет звука» и сколько ночей над тетрадями повести… И метет и метет метель жизни…

Дни, недели, месяцы – шли, слухов – множество. Но в моем занятом дне – не до них. Непонятность с этой Америкой, отсутствие твердые данных… Все начинает казаться сном.

А вот реальность событий, узнанная мною десятки лет спустя. В 1930 году к Константину Соломоновичу, явились два американца с предложением его сыну, «мистеру Сараджеву», поехать в Соединенные Штаты, заключив контракт на год.

Они обещали построить ему в Гарварде звонницу, закупив нужные ему колокола в СССР, и он будет давать колокольные концерты. Они слышали его звон, восхищены ведь это целая симфония на колоколах! Котик согласился на это предложение.

Вот в эти месяцы я не видела Котика – он исчез; как я позднее узнала, он был предельно занят отбором колоколов, закупаемых Америкой для будущей звонницы. Он обходил колокольни, прослушивал звук любимых колоколов, составлял списки закрытых церквей, откуда их надо было снимать и сосчитывал их вес. Эти списки хранятся и

поныне. Какие же это образцы и доказательства его трудолюбия! Как точны его указания, как подробны! – нумерация колоколов, их названия, растущее число подборов – и сколько жара и воли положено в эти списки. Подборов, из которых ему в итоге этого труда предстояло выбрать то, что поедет с ним за океан – прогреметь, прозвучать русской славой на чужой земле! Нелегко было оформить столь необычное путешествие: немало времени заняло получение соответствующих документов. В итоге стараний и хлопот он получил бумагу на английском языке, где значилось, что «гражданину страны, которая не признана Соединенными Штатами, дается въезд на 12 месяцев как временному посетителю в роли эксперта по колоколам».

И Котик Сараджев выезжает в Америку, везя свой звон, который зазвучит на территории Гарвардского университета, куда стекутся толпы чужеземцев послушать советского звонаря. Но по пути следования «временного посетителя» происходит не совсем обычное происшествие. Провожавший Котика на поезд дал телеграмму, чтобы встретили его в Ленинграде, откуда завтра отойдет пароход.

К удивлению встречавшего, Сараджева в поезде не оказалось. Положение было трудное: колокола уезжали, а звонаря при них не было. Более суток искали его и нашли: преспокойно и радостно сидел он на одной из ленинградских колоколен, уже вторично, видимо, проведя там звон во время утренней службы, восхищаясь звуком еще с поезда услышанных им колоколов, – и, должно быть, забыл про Америку. Так пароход и отошел без него. Но много позже узнала я, что ночевать – должно быть, на второй день – он пришел к знакомому музыканту, Юрию Николаевичу Тюлину, композитору, и у него прожил, дожидаясь следующего парохода, несколько недель.

– Контакта у нас не получилось, – рассказывал Ю.Н. Тюлин, – он то и депо пропадал, уходил, должно быть, осматривать колокольни, звонил, был возбужден предстоящей поездкой, тем, как там оборудуют ему звонниц, и настоящего общения у нас не получилось. На обратном пути я его не видал. Передо мною фирменный бланк с немецкими словами: «An bort» (“На борту” – заголовок пароходного почтового бланка). Из Америки он возвращался пароходом через Германию. Наверху страницы немецкое «Den» (обозначение числа) – и пустая строка, без числа. Рукою Котика, крупно, карандашом:

1. 23-го числа во вторник я в Гамбурге. Накануне, в понедельник вечером, перед тем как ложиться спать, – уложить сорочку с воротником крахмальным, вместо нее надеть обычную белую сорочку с постоянным ненакрахмаленным воротником. Переменить галстук.

2. Перед тем как выходить в Гамбурге, надеть кожаную куртку, теплую шапку и ботики.

3. На железнодорожном вокзале получить билет (по купону), затем получу (тоже по купону) дорожные деньги, 50 долларов.

4. Уже в Москве первым делом схожу в парикмахерскую; затем снимусь и отправлюсь, после свидания с папой, позвонить по телефону в Центр, кассу Большого театра (из Кисловской квартиры). Узнаю, как обстоят дела. После этого – в театр увидеть Лену (Mi b). Сговориться, когда можно с нею увидеться.. В ближайшую возможность схожу к М. А. Новикову (утром), имея при себе полученные 50 долларов (из Гамбурга) и 422 доллара, постоянно находящиеся при мне (из Кембриджа). На Российской границе – обменяю я все эти деньги на русские и Лене (Mi b) дам 100 р. (50 из них ее матери).

О возвращении из Америки Котика умиленно рассказывала мне его сестра Тамара спустя десятилетия:

– Был вечер, когда вдруг открылась дверь нашей квартиры и вбежал сияющий Котик! Как он соскучился по своим. Не мог больше не видеть их. Взял – и приехал. Он нес тяжелый чемодан, полный подарков семье. Отцу он радостно вручил енотовую шапку с ушами – на московские холода. И отец наш долго носил ее, гордился подарком сына…

Котик Сараджев вернулся! Жду, не идет. Забыл обо мне? Не был, говорят, и у Яковлевых. Закружилась голова от успеха? На него непохоже! Никого не вижу из тех, кто видел его. Может, и не вернулся? Да и ездил ли? Да был ли мальчик? Может, мальчика и не было? И так как время шло, а Котик не появлялся, а нетерпенье мое кончить книгу было вполне реально, я решила: так и окончить, записав о нем только то, что я слышала. Это (решенье) случилось в тот день, когда кто-то, войдя в мою комнату, «в лицах» мне передал всего одну сценку: разговор москвичей с Котиком об Америке. Кто-то жарко, в полный накал мещанского любопытства к Котикиному путешествию, стал расспрашивать его об Америке.

– Ничего ин-н-тересного – отвечал Котик (немного как бы и высокомерно даже). – Только од-д-ни ам-мериканцы, и больше и ничего.

Глава 14

Лучшей концовки для книги нельзя было и ждать. Перечитываю рукопись, поправляю, переживаю заново. Узнаю: Горький живет уже не в Машковом переулке (ныне ул. Чаплыгина), а у Никитских ворот, в доме Рябушинского, напротив церкви, где венчался Пушкин с Натали.

Но Горький болеет, к нему нельзя. Огорченье двойное. Болеет опять, значит – болезнь серьезная? Опоздала я с моим, с моим и его «Звонарем»! Что же делать?

И опять лежит повесть, ждет своего часа… И снова мы с любимой моей Юлечкой стоим во дворе у колокольни св. Марона, и бежит народ слушать игру на колоколах.

Да, годы прошли! Но знаю, и твердо знаю, что всем собой примет Горький свой выполненный наказ. Что снова сядем мы, он – за столом, он – по другую сторону, и погрузимся в беседу о человеке, возбудившем столько споров, столько волнения, целую бурю в московских музыкальных кругах, столько поездок музыкантов и просто жадных до красоты слушателей, и тогда, после этой беседы, я пойду в издательство.

Так я рассуждала, так чувствовала. Но жизнь судила иначе. Не к здоровью от болезни встал Алексей Максимович, не к беседам и творчеству. Не поднялся вовсе. Болезнь сломила его, и по всему Союзу прошла громовая весть: умер Горький!

Как описать отчаянье мое? Мне пришлось уехать из Москвы перед войной, надолго, и я более не увидела Котика. В шквале, налетевшем на страну, я не смогла сохранить все готовые к печати рукописи, среди них погибли и книга о Горьком и повесть «Звонарь».

Глава 15

Шли годы, десятки лет. Мысль о том, что мне не удалось выполнить мой долг перед этим уникальным музыкантом, мучила меня.

И вот, когда с моей встречи с Котиком Сараджевым прошло почти полстолетия, я начала новую книгу о нем.

Но я уже не та. Прожитые годы как бы надели на меня очки иной силы стекла; они показывали тему как бы в изменившемся аспекте: уже не живой облик героя так занимал меня. Я все больше погружалась в музыкальное значение им творимого и на колоколах, и на страницах книги. Кто знает, может быть, и сбудется то, во что он верил, – рождение новой области музыки…

Воскрешение давних времен, когда, как сказал М. Горький, это было народным искусством, голосом народных торжеств? То, что начато было полвека назад, это, может быть подхватят и продолжат наши потомки? Зазвучат колокольные голоса людей, подобных Котику! Как он верил, что их черед придет и музыкальная Россия встанет впереди всех народов и мощнее, ярче, чем это было встарь.

Иногда я спрашиваю себя, передаст ли мое перо спустя полстолетия мир Котика так, как он был воссоздан в первой моей книге?

Совсем новые трудности вставали на моем писательском пути. О, какими легкими казались мне муки написания моего «Звонаря» в те мои молодые годы! Слушай, наблюдай и пиши! И ни о чем не заботься

– чего не спросила вчера, спросишь завтра. Вчера он показался мне отвлеченным, рассеянным, – а сегодня веселым и вополщенным. Мой будущий читатель должен был получать его из моих рук таким, каким я получала его из жизни: он менялся, противоречил себе, оспаривал то впечатление, которое оставил о себе третьего дня, а завтра явится совсем неожиданным, обогащая наше понимание его души. Мой герой был – рядом! Как охотно водил меня по переулочкам старой Москвы, где цвели его звуковые Сирины, редкостные московские колокола! А теперь – теперь я была почти совсем одинока среди людей, о нем не знавших, – мало кто уцелел из слышавших его звон, видевших его колокольные музыкальные схемы. Война унесла многих. Другие, состарясь, болели; к иным затруднен доступ: их, моего или почти моего возраста, охраняли родные от посещений…

И все-таки мне удалось многое узнать от его современников, собрать даже то, о чем я не знала в годы работы над первой книгой.

Вот что мне запомнилось из рассказов О.П.Ламм, дочери профессора консерватории. Котик представлялся ей приветливым, но молчаливым, с лицом чаще печальным, с каким-то отсутствующим выражением. Человеком, глубоко погруженным в думу. Держался он скованно, но, здороваясь, всегда улыбался, глаза у него были добрые. В то время рабочая комната его отца была над их квартирой. О.П.Ламм встречала его в консерватории. Отец его, К.С.Сараджев, очень любил сына, говорил, что у него поразительный слух, но этот дар является для него источником страдания – он слышит малейшую фальшь. В консерватории шел разговор об особенностях композиторского слуха. П.А.Ламм приводил в пример Шумана, который так же страдал от чрезмерной обостренности слуха. Органист и композитор А.Ф Гедике проявлял интерес к сочинениям Котика Сараджева, так как его брат, Г.Ф.Гедике увлекался колокольным звоном (но только традиционным, церковным, к которому Котик относился отрицательно, впрочем, и как к исполнительству Г.Ф.Гедике).

Простясь с О.П.Ламм, шла и думала: «Скованный»? Я старалась понять. Да, может быть, оттого, что в консерватории для не слышавших его звона, где все были заняты нотами, партитурами и концертами, он был «не у дел», только «сын дирижера», «какой-то звонарь»… А кто-то рассказал о нем, что среди художников, где у него были друзья, он был оживлен, весел, мил! Как все сложно на свете и в человеке!..

И я начала разыскивать этих людей. Мне запомнилось из рассказа художника А.П. Васильева, что во дворе церкви Марона между деревьями была вкопана темно-зеленая скамейка. Здесь любил сидеть М. Ипполитов-Иванов, слушая звон К.К. Сараджева. На колокольне

было чисто, все «обустроено», удобно приспособлено для звона. Все – всерьез. Слева – Большой колокол, справа – поменьше, Малый.

Как динамичен был этот человек во время звона! Все возможные «рычаги» тепа работали самостоятельно, каждый выполнял «свою партию» в этом сложнейшем, уникальном труде – его звоне. Правой рукой он управлял клавиатурой мелких колоколов, а локтем той же руки он еще ударял по натянутой веревке от дальнего колокола. Левой же управлял несколькими более тяжелыми колоколами.

Еще А. П. Васильев рассказывал, что Котик подпиливал напильником края колоколов, утончая звучание.

У художника дома, желая изобразить на рояле звучание Большого колокола, его сложный аккорд, состоящий из большого количества тонов, Сараджев просил трех-четырех человек одновременно ударять по указанным им клавишам.

Участвовавшие выстраивались перед инструментом – раз, два, три – и ударяли не вместе. Не точно разом! Как он сердился! Когда же, наконец, получалась одновременность – в комнате долго стоял колеблющийся, тяжкий звук Большого колокола. А когда участники приходили в восторг, Котик говорил: «Что вы, что вы – это только приблизительно!».

Васильев рассказал случай, как однажды они вместе ехали в трамвае (в то время кондуктор давал вагоновожатому знак отправления звонком, дернув за веревку), и Котик вдруг стал дергать за веревку, по ассоциации с колокольной. После «маленького скандала» – когда он «пришел в себя» – они извинились перед кондуктором. Художнику казалось, что Котик все время пребывает в центре музыкальной звуковой среды, не выключается из нее… Еще рассказал, что видел Котик звук – в цвете. Людей он тоже «видел» и разделял по цвету. Для него А.П. Васильев был ре мажор и оранжевого цвета.

«Однажды он пришел к нам, – рассказывал Васильев. – Начинающая художница подбирала на пианино какой-то модный в те годы фокстрот, вроде «Джона Грея», другие, дурачась, танцевали. Игравшая тоже хотела танцевать.

«Костя, сыграй нам», – попросила она. Он улыбнулся, сел и мгновенно воспроизвел ее «исполнение" фокстрота со всеми его особенностями, как если бы оно записалось у него на магнитофонной пленке. Играл он на всех инструментах».

Недавно я получила. письмо от моей гимназической подруги, бывшей певицы Народного дома Н.Ф.Мурзо-Маркеловой:

«Моя мать и я, да и многие, звали его „колоколистом“, а не „звонарем“, как ты, потому что он был на особом положении среди звонарей.

Он пришел ко мне как настройщик, и, конечно, после него никто и никогда не сравнится с ним в настраивании роялей».

Да, моя Нина права. Равного ему настройщика не было. Он входил в дом – с шутками, как входит Дед-Мороз: неся им праздничные веселье и радость. Он потирал руки, он исходил прибаутками. Его длинно-широкие, карие, восточного типа глаза сверкали. Он смеялся. Он радовался. Вот сейчас рояль – эта «темперированная, да к тому же расстроенная дура» – преобразится. Его абсолютный слух геройски готовился к испытанию.

– Можно нначать? – говорил он.

И вот еще одно воспоминание о моем герое. Рассказала это хормейстер Л.Ф.Уралова-Иванова, в те годы – студентка консерватории, ученица профессора П.Г.Чеснокова.

– Я была старостой и однажды услышала, как товарищи-студенты говорили друг другу: «Сегодня сбегаем с истории…» «Зачем?» – спросила я. – «Котик Сараджев звонит в церкви!» – «Ну и что?» – «Так мы же идем слушать его звон! А ты?» – «Зачем я пойду? Я знаю хороший колокольный звон». – «Да это совсем не то, – уговаривали студенты. – Это же не церковный звон! Это надо слышать! Музыканты обязаны это и слышать и знать! Такого в жизни никогда не было!». Мы уже сбегали по лестнице.

Позднее о К.К. Сараджеве мне пришлось услыхать от профессора Г.А. Дмитриевского, – продолжала она, – но уже не как о мастере колокольного звона, а как о музыканте гениальной одаренности.

Приятно мне было получить письмо старого москвича, писателя Б.А. Тарасова:

«Котика Сараджева я видел, ходил слушать его звон в Кисловский переулок. Он производил удивительное впечатление человека, одержимого идеей – выразить переполнявшие его звуки через колокольную симфонию… Играл он самозабвенно-отрешенно, играл, забывая все и вся.

Он был красив, черты мягче, чем у его отца. Поразительно длинные белые пальцы, такие пальцы я видел только у Софроницкого, но у того руки были крупные, а у Котика – обычные».

Перед окончанием моего «Сказа» я встретилась со своим старым другом, писательницей и художницей Мариечкой Гонтой. Оказалось, она слышала звон Котика, была на концерте «известного звонаря Москвы, молодого музыканта Сараджева».

– Незабываемо! Ни с чем не сравнимо! Колоколенка в Староконю-

шенном переулке, как и церковь, была низкая, с широкими аркадами. На фоне синевы выделяется летучий силуэт человека без шапки, в длинной рубахе, державшего в руках веревочные вожжи ушедших в небо гигантских коней. Пудовые колокольцы неистово гремели, раскалывая небо жарким пламенем праздничного звона.

Большой колокол – как гром; средние – как шум лесов, а самые малые – как громкий щебет птиц. Оживший голос природы! Стихии заговорили! И всем этим многоголосьем правит человек, держащий в руках струны голосов. Это была музыка сфер! Вселенская, теперь бы сказали – космическая!

– Это – грандиозно! – сказал взволнованно рядом стоящий человек, как я узнала позднее – композитор Мясковский.

А.В. Свешников, нынешний ректор Московской консерватории, тоже слышал в двадцатые годы звон К.К. Сараджева, в церкви на Сретенке. Вот его отзыв:

«Звон его совершенно не был похож на обычный церковный звон. Уникальный музыкант. Многие русские композиторы пытались имитировать колокольный звон, но Сараджев заставил звучать колокола совершенно необычайным звуком, мягким, гармоничным, создав совершенно новое их звучание».

Зимой 1975-1976 года я встретилась в Доме творчества «Внуково» со старым московским дирижером Л.М. Гинцбургом. Он знал К.К. Сараджева, помнил его игру. Вот что я записала с его слов:

«Сараджев мог один и тот же колокол заставить звучать совершенно по-разному. Если современная теория музыки имеет дело максимум с 24 звуками в октаве, то слух Котика улавливал бесконечное их множество. Соединяя их по собственным законам, он создавал гармонию какого-то нового типа.

Когда он давал концерты, поражало то, что он создавал некую новую форму, конструкцию, очень сильно эмоционально действующую. Иногда звон выражал печаль, иногда это был мирный звон, иногда торжественный… Помню, один раз он начал с очень высоких серебристых звуков, постепенно снижая и доходя до тревожных, предостерегающих, – до набата на фоне угрожающего гула и множества колокольных голосов и подголосков. Это было поразительно: не похоже ни на один ранее слышанный колокольный звон Котик Сараджев был уникум – второго такого нет.

В обыденной жизни Котик был мягок, не повышал голоса, не ссорился, был почти незаметен. Во время игры – преображался. В своей истовости он доходил до высшей степени самозабвения».

Заслуживает внимания высказывание Е.Н. Лебедевой, пианистки,

собирательницы народных песен, правнучки Кутузова, написавшей «Историю колоколов и материалы о колокольных звонах», с которой советовался Котик о задуманной им звоннице.

«Константин Сараджев был энтузиастом колокольного звона. Псевдоним „Ре“ взят им оттого, что, когда ударяли в большой колокол одного из московских монастырей тоном ре, – с ним делался обморок, если он в это время был вблизи».

Музыкальную одаренность его, в особенности слух, Екатерина Николаевна Лебедева считала гениальными.

Необычайные способности Котика заинтересовали ученых и врачей, его современников.

Психолог Н.А. Бернштейн произвел над ним любопытный эксперимент: он попросил Котика, утверждавшего, что слышит звук данного цвета, – написать на конверте тональность каждой цветной ленты, в него положенной, – что тот и исполнил. Через некоторое время, много спустя, Н.А. Бернштейн попросил Котика повторить эти записи, сославшись на то, что будто бы их потерял.

Просьба его была исполнена. Сверив содержимое прежних и новых конвертов, Н.А. Бернштейн убедился в полной идентичности записей.

В каком точно году, мне не удалась узнать, Котик находился на исследовании своей нервной системы со всеми ее особенностями слуха и музыкального восприятия окружающего – в клинике. Известный психиатр В. А. Гиляровский читал о нем лекцию студентам. По ходу ее ему понадобилось усыпить испытуемого.

– Для этого, – сказал ему Котик, – надо нажать клавиши рояля (и он назвал ряд нот) в определенной последовательности. А для того чтобы меня разбудить, нажмите… – и он назвал другие ноты. (Увы, их названия не сохранились.) Его указание исполнили. Спал он крепко; сколько – не знаю.

Когда он был разбужен названными нотами, Гиляровский спросил:

– Что вам сейчас снилось, Константин Константинович?

– Я сейчас был на даче, – отвечал Котик, – у моего друга Ми-Бемоль. И сейчас она со своим отцом едет ко мне сюда.

Лекция, вопросы и ответы, показ способностей Котика продолжалась. Когда дело шло к концу, открылась дверь и вошли ожидаемая им Ми-Бемоль и ее отец.

– Кто же это? Кто он? – спросили затем Гиляровского о Сараджеве, – безумец или гений?

Ответ известного психиатра гласил:

«Для нашего (с ударением, в смысле – „еще мало просвещенного“ – *АЦ*.) времени, может быть, и назовут его „безумцем“, но в будущем или

все люди будут обладать такими же способностями, или – или он и для Будущего – гений!».

Я имела дело и с оставшимися от тех лет документами, по каплям выуживала нужные мне сведения для воссоздания погибшей книги. Я начинала работать как реаниматор.

Меня интересовали письма Котика. Их сохранилось мало. Но и они позволяют воскресить его неповторимый облик человека и музыканта.

С 1920 по 1922 год семья Сараджевых жила в Севастополе, где работал отец, К.С. Сараджев. Время было тяжкое. И хотя все члены семьи отдавали часть пайка Котику, но этого было мало молодому организму. Любопытно, что в цитируемом письме сам он не упоминает о голоде и не объясняет, видимо, и себе причину своего физического состояния.

Вот выдержки из писем Котика к его московскому другу, некой Нине Александровне (фамилию установить не удалось), и к В.М. Дешевову, в 20-е годы директору Севастопольской консерватории, в момент отправки письма переведенному в Петроград, в которых Сараджев говорит о своей композиторской деятельности.

«Неделю назад я начал ходить на урок теории композиции. Занимаюсь я с музыкантом, его фамилия – Дешевов, молодой, лет 50-ти. Дело идет очень хорошо и быстро вперед, так как я с самого детства безо всякой чужой помощи был знаком с музыкой, теорией ее, – тоже по своей „душе“, так как она ни от чего независимо музыкальна. Еще дитей я слышал у себя в голове гармонии, из них вытекала мелодия. Но было и так, что только гармония. Было два урока, я узнал много. Но я больше объясняю ему, чем он мне. Результат этот даст мне большую пользу – для того, чтобы писать сочинения. Но очень трудно писать, двоится в глазах, пятилинейная строчка кажется мне десятилинейной; бывает и меньше, так как некоторые строчки сходятся, из-за этого часто пишет Дешевов, а я говорю, что писать. Играть я ужасно утомляюсь – все много труднее, чем композиция.

Двоение строк бывает горизонтальное и вертикальное. При такой слабости немыслимо мне в гору идти, в консерваторию. Он предложил мне ходить ближе – к нему на дом.

На первом уроке я сказал ему, как создалась первая симфония: в 1918 г. ночью, 29 марта и 30-го, я впал в состояние композиции. Вокруг меня была тьма, впереди же – свет, имеющий сильный блеск. Вдали был огромный квадрат красновато-оранжевого цвета, окружен был он двумя широкими лентами: первая – красного, вторая – черного цвета: эта была шире первой, между нею и тьмой оставалось светлое пространство – такое, что трудно себе его представить. В нем видел я

всю стоявшую передо мной симфонию. Вместе с тем я и слышал ее, и она сильно овладела мною.

Будто играл ее оркестр, но казалось, что он не такой, как обыкновенный, большой, но неизмеримо большего масштаба, и память мучает меня до сих пор в состоянии композиции, все больше из первой и второй части. Тогда я ночью не сплю, встаю очень рано. Но где же Таня, Ми-бемоль, где она? Признаться, мне живется все хуже, от слабости двоится в глазах и преследует меня головокружение, даже мутнеет в глазах. Если бы вы знали, с каким физическим трудом пишу я вам это письмо, сколько раз оставлял и отдыхал. Я так сильно устал, что…».

На этих словах письмо оборвано. А вот что писал Котик В.М.Дешевову:

«…Помню, не беспокойся, твою ко мне просьбу написать тебе все остальные космические гармонизации. Я тебе их пришлю по почте. Очень просил бы прислать мне Гармонизацию До, списав ее; и нашу работу, это очень нужно мне для моей книги о Колоколе; для некоторые выводов, – и я буду продолжать работу. Но, может быть, меня в Севастополе скоро не будет. Таня, моя бесценная Таня, моя Ми-Бемоль, – как нужно мне ее теперь. Мне нужно еще одиночество. Я должен на время удалиться от общества – для работы.

Ваш, преданный Вам Котик.

Я, конечно, вернусь».

Думаю, и настойчивость мысли этой убедительна, мы стоим перед странными фактами, но они сливаются воедино именно этой мыслью: проследив десятилетие молодых лет моего героя, мы находим у него в записях три женских имени: Лена – Таня – Марина (Гопявская, друг юности). Ни одного рассказа о них, ни одного описания их наружности или сравнения их, но у этих имен неизменно присутствует их музыкальное обозначение: все они Ми-Бемоль.

Автор думает: не являлась ли в душе этого своеобразного, одержимого страстью к колоколам музыканта тональность Ми-Бемоль воплощением женственности, женственности как гармоничности? По которой томилось его мужественное, живое сердце?

Любопытно, что Лена Ми-Бемоль, о которой мне говорила Юлечка (балерина Большого театра, упомянутая у него и до 1920 г., и в 1930), в сознании его затмила имена Тани и Марины…

Познакомилась я и с заявлением Сараджева в Антиквариат – учреждение при Наркомпросе, в чьем ведоме находились уникальные, ценные предметы, в том числе и колокола, снятые с московских колоколен. Эти колокола, как уже известно читателю, заинтересовали Котика.

«Я, тов. Сараджев Конст. Конст., убедительнейше прошу обратить внимание на это мое показание:

Являясь работником по художественно-музыкально-научной части, притом композитором и специалистом по колокольно-музыкальной отрасли, я, как знаток всех колоколов, колоколен г. Москвы и ее окрестностей (374 колокольни), считаю своим величайшим долгом обратиться со своей весьма крупной просьбой в области колоколов, имеющей колоссальнейшую художественно-музыкальную ценность и притом же и научную, а именно:

Прошу иметь в виду такие-то 98 колоколов, находящихся на таких то 20-ти колокольнях г. Москвы, перечисленных тут же; каждый из этих колоколов носит название номера, под каким находится он на данной колокольне. Здесь я указываю, на какой колокольне который именно колокол необходим мне. Примите тоже во внимание то, что сущность этих колоколов, в смысле их звучания, является крупнейшею, своеобразно оригинальнейшею в области музыки, и как в науке о таковой, и как в искусстве, представляя из себя величайшую художественно-музыкально-научную ценность, они никак, ни под каким видом не должны быть подвержены уничтожению!

К.К. Сараджев».

(Следовало приложение: список 20-ти колоколен, каждая – с числом ее колоколов, с их названиями, общим числом 78.) В это время Котик был занят вычерчиванием плана будущей звонницы. Над ним аккуратно, любовно, прилежным его полудетским почеркам значилось: «План Московской Художественно-музыкально-показательной концертной колокольни». Сбоку, в углу: «К.К. Сараджев». За планом следовала «Схема расположения 20-ти колоколов полного музыкального подбора на Художественно-музыкальной концертной колокольне г. Москвы».

На схеме изображены мягкие связи межколокольных языков – в противоположность прежним связям, жестко державшим в одной общей связи несколько колоколов, сразу дававших один и тот же механически вызываемый аккорд.

Новое устройство позволяет целым рядом изгибов вызвать удар отдельного, нужного колокола, создать необычный аккорд опытом игры и гибкостью пальцев.

Аккорды, постоянно изменяемые свободой этого переустройства, дают неслыханное до того звучание, создавая новую гармонию. Тогда как обычно звонари просто собирали колокольные веревки в один узел, повторяя церковный стандарт звона.

Новизной технологии К. Сараджева частично объясняется несравни-

мость впечатления от его игры, ее отличие от игры других. Мало того, что природное мастерство отличало его от других звонарей, он сумел и саму технологию звона поставить на высшую ступень.

Узнаю; с симпатией к замыслу Котика отнеслись многие известные музыканты, написавшие письмо-ходатайство в Народный Комиссариат по просвещению о предоставлении ему необходимых колоколов:

«Государственный институт музыкальной науки, признавая художественную ценность концертного колокольного звона, воспроизводимого т. Сараджевым, единственным в СССР исполнителем и композитором в этой отрасли музыки, считает, что разрешение ему колокольного звона может быть дано лишь при условии устройства звонницы в одном из мест, не связанных с религиозным культом. Использование гармонии колоколов неоднократно имело место в истории развития музыкальной культуры. В Германии и Франции в 16 и 17 вв. мелодии колоколов сопровождали игру оркестров на широких народных городских празднествах – отнюдь не религиозного, а напротив того, чисто светского характера.

Константин Константинович Сараджев отдал этой задаче многие годы. За последнее время ему удалось своими скудными средствами улучшить и организовать клавиатуру для колоколов на одной из московских колоколен, но работе его препятствует: во-первых, недостаток нескольких колоколов, а во-вторых, – зависимость от религиозной общины, являющейся хозяином колокольни.

Мы обращаемся с ходатайством о предоставлении К.К. Сараджеву необходимых ему колоколов определенного тембра из фонда снятых колоколов или с колоколен закрытых церковных зданий. Работа К.К. Сараджева представляет собой выдающийся интерес, т.к. она связана с писанием теоретического труда, имеющего общемузыкальное значение. Недостаток колоколов препятствует его капитальной экспериментальной показательной работе и останавливает его чрезвычайно интересный капитальный труд (см. предшествующие работы Ванды Ландовской и Оловянишникова)…».

Под письмом стоят подписи профессоров Московской консерватории и известных музыкантов – Р. Глиэра, А.Н. Александрова, Г.Конюса, Н.Гарбузова, Н.Мясковского и других.

Глава 16

Сохранились записи К.К.Сараджева о соответствии звука и цвета. Записей этих было много с перечислением всех звуков октавы. Вот несколько образцов:

Ми-мажор – ярко-голубой,
Фа-мажор – ярко-желтый,
Си-мажор – ярко-фиолетовый,
Ми-минор – синий, серовато-темный,
Фа-минор – темно-коричневый,
Си-минор – темно-красновато-оранжевый и т.д.

Этим вопросом занимались еще два выдающихся композитора – И.А. Римский-Корсаков и А.И. Скрябин, они также обладали ярко выраженным цветовым слухом.

Скрябин в своей последней симфонической поэме «Прометей» мечтал применить согласованную с музыкой смену цветового освещения зала (что сейчас и делается с помощью созданной цвето-звуковой установки. – *А. Ц.*). Но не только это сближает Сараджева и Скрябина. Видимо, музыкальное мировоззрение Сараджева и Скрябина весьма близко: Скрябин не раз говорил о том, как тесно ему на рояле и как не точна передача нужного звука. («Я чувствую, что должен здесь быть звук только чуть выше, чем нота, в другой раз чувствую, что звук должен быть лишь чуть-чуть ниже ноты…»)

И вот еще о близости К.К. Сараджева и А.Н. Скрябина: чрезвычайно интересовали Скрябина колокола; он много им отдал внимания и в 1913 году записал торжественный колокольный звон; запись, к сожалению, утеряна.

Мне удалось достать через младшего брата Котика – Нила Константиновича Сараджева нотный лист, надписанный рукою Котика. «Подбор индивидуальности колоколов церкви Марона в „Бабьем городке“:

Основное сочетание индивидуальности Большого колокола церкви Богоявления в Елохове (Москва) (следует нотная запись).

Должен сказать, что этот колокол имеет связь с некоторыми произведениями композитора А.Н. Скрябина, но разбираться в этом необходимо весьма тончайше…».

Вслед за этим Котик перечисляет множество произведений Скрябина, в которых он слышит отзвук *колокольности*. И чрезвычайно интересно, что в перечень вошли названия произведений от самых ранних, скромных, до самых сложных в гармоническом отношении: от 2-й «Мазурки» опуса 3 до поэмы «К пламени», написанной в 1914 году.

Я прочла записи моего звонаря после чьих-то о Котике слов: «Он, видимо, чужой музыки не воспринимал – и не знал?». И я так же думала! Но ведь Котик удивлял – неустанно.

Отношение Котика Сараджева к Скрябину, пристальное изучение им творчества старшего современника, произведшего в те годы целую революцию в музыке, освещает Котика с новой еще стороны: оказалось, что он не был равнодушен к чужому творчеству.

Прослушав единственно уцелевшую гармонизацию (на рояле) Котика, записанную им на нотной бумаге в его взрослые годы, – композитор В. Серых сказала:

«Полная отрешенность от чувственности в музыке. Созерцательность. Какая гармония!

Со Скрябиным если и можно найти сходство, то только внешнее. Нет обостренности, экзальтированности Скрябина. Чистая созерцательная сфера…».

Да, я работала как реаниматор. Увы, собственные болезни начинали мешать мне; мне шел восемьдесят первый год. Я вчитывалась в стертые, пожелтевшие листки, и они заражали меня энергией. Сердце пылало по-новому. И виделось – впереди, в тумане еще, – новая книга о Котике Сараджеве, та, что я написала теперь.

В месяцы рождения «Сказа о звонаре московском» из когдатошнего «Звонаря» я глухо и трудно спрашивала себя: что же делал Котик в годы нашей долгой разлуки, в те годы, когда уже не было колокольного звона? И долго я не находила ответа. В 1975 году через музыканта Л. Уралову-Иванову я встретилась с родными Котика: братом Нилом, женой брата Галиной Борисовной (урожденной Филатовой) и сестрой моего героя Тамарой. От них узнала, что делал Котик в те поздние годы: он писал свою книгу «Музыка – Колокол».

Увы, семья жила в разных городах: Котик умер в Москве в 1942 году, а родные его жили в Ереване, где их отец, Константин Соломонович Сараджев, был назначен ректором консерватории. Военные события, переезды… Старания брата и сестры сохранить книгу Котика не увенчались успехом. Книга, попавшая в руки чужих людей, не понимавших ее ценности, не сохранилась, но то, что удалось получить родным, они сберегли: разрозненные листы последней главы книги, отрывочные черновики заключительной главы, носившей название «Мое музыкальное мировоззрение». Эта драгоценность в моих руках, и ею увенчаю конец моей книги о нем.

ЭПИЛОГ

Должно быть, в той комнате, в верхнем этаже консерватории, где Котик когда-то показал мне портрет своей матери, в тихий вечер, один, он писал за столом отца…

«Мое мировоззрение есть мой музыкальный взгляд на абсолютно все, что есть. Но надо прибавить, что я, глубоко признаться, вообще избегаю делиться с кем-либо областью моего мировоззрения – Музыкой, – которой предан я всем своим существом. Я пишу это слово с большой буквы, как имя собственное. Но, может быть, следует сказать еще об одном слове, имеющем громадное значение в Музыке, а именно – „Тон". Это – далеко не то, что он в обычном его значении, тон с маленькой буквы. „Тон" в колокольной музыке не есть просто определенный звук, а как бы живое огненное ядро звука, содержащее в себе безграничную жизненную массу, определенную, островную симфоническую картину, так называемую „Тональную Гармонизацию". Но с кем мне говорить об этом? С кем из тех, кто горько сказать, не слышит тех звучаний, которые я слышу? И это было долго глубочайшей моей тайной. Я сознаю и чувствую, что мировоззрение звуковое мое необходимо для музыкальной науки будущего. Но, к великому моему горю, я не вижу, чтобы кто-нибудь мог понять меня.

Непонимание это основано на моем чрезвычайно музыкальном слухе, который я могу доказать только игрой на колоколах, что я и делаю, и люди идут, и слушают, и восхищаются – так она непохожа на обычный церковный звон. Но посвятить их в теорию моей музыки я не вижу возможности, потому что я не встречал такого, как мой, слуха. Должно быть, только в Будущем (я пишу это слово тоже с большой буквы) у людей будет такой слух, как мой? А в непонимании меня окружающими дело, видимо, в том, что слишком рано явился человек такой, как я. Хотя, с другой стороны, на мой взгляд, никогда не бывает рано в области науки, а также искусства двигать их вперед! И не надо сожалеть о том, если наука или искусство, двигаясь вперед, принуждают нас отбросить в сторону все наши привычки, удобства. Надо подчиниться новому, Будущему и идти по совершенно иному в Музыке, Музыке и Колоколе, открытому мною пути. Но с глубокой, тяжелой грустью мне видно, что Музыка не приобретет всего этого в настоящее время, достигнет его только в Будущем, и даже в далеком Будущем…

Да, колокол представляет собой нечто совершенно новое и малопонятное. Если и найдутся лица, серьезно, искренне интересующиеся колокольной музыкой и относящиеся к ней, как к искусству, – то ведь оно еще почти не открыто!

Я же, могу смело сказать, первый воспринял это искусство. До меня абсолютно никто другой не отдал все свои усилия и внимание колоколу, не воспринял его так, его живую, мощную, величественную красоту.

Музыка его как бесконечна прекрасна, так и неимоверно сложна, в

высшей степени трудна, когда пытаешься ее объяснить. Но все изучение того, что входит сюда в мое колокольное дело, все, что касается колокола, почему-то далось мне чрезвычайно легко, без малейшего затруднения.

Записи мои ничего общего не имеют с нотной системой, хотя у меня и имеется запись колокольных звучаний индивидуальностей колоколов по пятилинейной нотной системе. Я написал их для воспроизведения на клавиатуре фортепиано…

Имеется у меня еще другой список индивидуальностей колоколов, но только Больших. Всю сложность этих звуков и звуковых сочетаний я отчетливо слышу и различаю все их свойства. То, что называю чертеж „звукового дерева", – это изображение музыкального дерева со всеми его суками и ветвями, которые в свою очередь подразделяются. Этот чертеж одновременно является и нотами.

Такого тончайшего различия в звуках нет ни на одном музыкальном инструменте – только на колоколах.

Возьмем фортепиано. Каждой клавише фортепиано соответствует известной высоты определенная нота. На клавишах по нотам мы и воспроизводим музыкальные произведения. Так же на других инструментах: смычковых, духовых, ударных. В колоколе перед нами имеется ряд музыкальных звуковых атмосфер, самых разнообразных, сложнейшей системы структур. Вполне логично назвать эту звуковую атмосферу „звуковым деревом". „Звуковое дерево" каждого колокола пишется в виде корня, ствола и кроны.

Колокольная музыка основана на всякого рода, вида, характера созвучиях различного тембра и звукового сплетения. Вызывая их, сила удара играет огромную роль. Если ударять не в один колокол, а сразу в два или несколько, то он или они будут при своем звучании издавать еще иное звучание, чего не будет если их ударить в отдельности. И при каждом колоколе это „иное" издаваемое созвучие будет другое и не будет совпадения в силе удара, то есть не будет одинаковой степени сипы ни в данном, ни в совместном колоколе. Если данный колокол не будет изменять степень сипы удара, а совместный с ним будет изменять, а также если совместных – несколько, то тут то же самое произойдет, а именно – при каждом ударе данный колокол будет изменять свое добавочное звучание. Могу еще дать пример: всякая совместность колоколов во время удара издает „такое-то" созвучие „индивидуальностей", каждая из которых образует на себе „иное" созвучие. И все эти „индивидуальности" со своими „иными" созвучиями, соединяясь в одно целое, создают свою звуковую атмосферу „такой-то" „индивидуальности". Если эти же колокола данной совместности, кроме одного, дадут удары равной силы, а этот один даст удар не тот, но

другой, т.е. изменит силу удара, то совокупность звуков так называемых „добавочных“ индивидуальностей создает уже другую атмосферу.

Малейшее изменение силы удара уже дает другой облик атмосфере совокупности колокольных звуков. Все они, имеющие каждая свой основной тон (следующие пять колоколов: „Успенский“, самый большой колокол на колокольне Ивана Великого в Кремле, первый на храме Спасителя, первый на колокольне Троице-Сергиевской лавры, Симонова монастыря и Саввы Звенигородского) – записаны у меня в виде „звукового дерева“.

С самого раннего детства я слишком сильно, остро воспринимал музыкальные произведения, сочетания тонов, порядки последовательностей этих сочетаний и гармонии. Я различал в природе значительно, несравненно больше звучаний, чем другие: как море сравнительно с несколькими каплями. Много больше, чем абсолютный слух слышит в обычной музыке! Предо мной, окружая меня, стояла колоссальнейшая масса тонов, поражая меня своей величественностью, и масса эта была центр звукового огненного ядра, выпускающего из себя во все стороны лучи звуков. Все это иными словами, было как корень, имеющий над собою нечто вроде одноствольного древа, с пышной, широкой кроной, которые рождали из себя вновь и вновь массу звучания в разрастающемся порядке. И сила этих звучаний в их сложнейших сочетаниях несравнима ни в какой мере ни с одним из инструментов – только колокол в своей звуковой атмосфере может выразить хотя бы часть величественности и мощи, которая будет доступна человеческому слуху в Будущем. Будет! Я в этом совершенно уверен. Только в нашем веке я одинок, потому что я слишком рано родился! Но там, в этом Далеком Будущем, которого я, может быть, не увижу, у меня много, подобных мне, друзей…».

На этом кончалась рукопись. Но я встала от нее, полная сил: и все, что я написала после ее прочтения, – ею питалось. Вдохновеньем ее, дыханьем!

На ловца и зверь бежит. В моих руках новая, небольшая, плотная книжка, (о, и по содержанию для меня – плотная!): «Загадки звучащего металла» Ю.В.Пухначева, издательство «Наука», 1974 год. Какая радость! Раскрываю – и погружаюсь в нее, как в прохладную реку в жаркий полуденный час: книга о колокольном звоне! История русских колоколов, их различные формы, разница техники колокольного звона в России и в других странах, колокололитейное дело, особенности звучания металлов. Изображение колоколов по эпохам и странам, сведения о литейщиках знаменитых, о звонарях…

Как близко к Котику: «…Можно говорить о некотором основном

тоне колокола, по которому оценивается высота его звучания: к нему всегда приложен богатый и характерный набор добавочных чистых тонов, более низких и более высоких… Отсюда – богатство оттенков, разнообразие тембров, которые позволяют различать голоса колоколов, даже совпадающих по высоте основного тона, богатство эпитетов, которыми мы характеризуем их звучание: звонкое, глухое, резкое, мягкое…».

«Музыка выразит то, о чем не расскажет слово. А то, что не передаст своей песней ни один музыкальный инструмент, – донесет до сердца каждого колокольный звон».

Котик Сараджев не ошибся – уже настает то будущее, о котором он говорил тому назад полвека! Научное издательство издало эту книгу, потомки, внуки Котика будут ее читать.

В магазине «Грампластинки» покупатели слушают «Ростовские звоны». Есть и другая пластинка с колокольным звоном в Литве: «Колокола Каунасского музея». И очередь стоит к кассе! Значит, не случайно я в 1975 году села за письменный стол начать рассказ о московском звонаре. Пришло время!

А когда я кончила писать, показала рукопись наивысшему авторитету в музыкальном мире – Д.Д. Шостаковичу. И вот его ответ:

23 мая 1975 г. Репино

Многоуважаемая Анастасия Ивановна!

Вашу повесть я прочитал с большим интересом. Все что касается музыки, написано вполне убедительно и не вызвало у меня никаких возражений.

С лучшими пожеланьями

Д. Шостакович.

Смолкла жизнь звонаря, написавшего нам страницы о своем музыкальном мировоззрении. Смолк его колокольный звон. Но до сих пор еще живет молва: «Когда звонил Котик Сараджев, в ближайших домах открывались окна, люди бросали все и слушали, завороженные, – так он играл…».

1927 – 1976

Часть VIII

О ЕВГЕНИИ ВИНОКУРОВЕ

К 50-летию

Оттого что слова – улетают, а написанное – остается, мне захотелось собрать воедино – и выразить – в относительном спокойствии письменной формы – то, что я словесно выражала урывками, в разговоре о его стихах – с Винокуровым.

И слушая мои, может быть сбивчивые, отзывы на его и простые и в то же время сложные создания, ловя что-то истинное и интимно ему понятное в ускользающих, уже ускользающих словах (а что же останется потом, в памяти?), он сам, поводя в мою сторону карим, зорким взглядом – «Вы это мне напишете на память, да?».

Хочу – и пробую. Жаль растратить в слова о стихах Винокурова нечто, что бы хотело остаться, пребыть. Вот об этом пребывании в стихах Винокурова и пойдет речь…

Ему исполняется пятьдесят лет… Незадолго до этой даты он сказал:

Я не хочу, чтоб поздно слава
Пришла, когда уж не нужна…
…К чему! То лишь одна раструба!
К чему на старости она?
…Но я б хотел, чтоб в час уборки,
Пред шкафом задержась стенным,
Мой томик кто-то снял бы с полки

И так и не расстался с ним…

Я встречала таких читателей винокуровских: «На обложке печатает свой крупный портрет! Не хочу читать такого поэта». На обложке? Жаль, – отвечаю, – Не его – Вас! Книги не раскрыв, не прочтете – это поэт о себе говорит, уронив, не стыдясь, обложку:

Взлохмаченный, похожий на тетерю,
И не побрит, твержу одно: стихи…

Не вершите суд!

Над жизнью всей вершить ты станешь суд
Тогда, когда, как пухлую лягушку,
Испуганные сестры поднесут
Под утро кислородную подушку.

Думаю, не одной мне томик Винокурова («Избранное» – «Художественная литература») был этой «кислородной подушкой». А разве это:

Как заяц, ушастое детство
С повязанной шарфом щекой.

…Затеряется след?

Иль в душе сохранюся я. Чьей?
Стал я сдержан и сед
В силу разных вещей.

А вот стихи, мне хочется привести их последними. Пусть он скажет о себе сам:

МОЯ РУКА

Пусть от меня как бы от печки пышет
Иль стужей – как в разбитое окно.
Моя рука, она все то напишет,
Что будет написать ей суждено.
Она все знает. В гомоне собранья,
В гостях – внимаю то добру, то злу.
Она ж лежит покойно барабаня,

Как будто между прочим, по столу…
И в час, когда она знакомых сплавит
И я у лампы, средь больших теней,
Она ведет и черкает, и правит,
А я лишь только состою при ней.
Я часть ее. У ней большое дело!
Вновь в дали увела – недоглядел!..
И знаю я: нет у нее предела,
И знаю я: есть у меня предел.

Мне кажется, Евгения Винокурова слишком мало знают. Он достоин большего признания. Это благородный поэт. Он своеобразен и скромен. Это можно проследить и в его пунктуации. Где у другого летали бы по строкам многоточия, запятые, он часто ставит скромную точку. Этим достигается нежданная выразительность. Отрезки фраз кованы. Реже он позволяет себе троеточия. Еще реже – разрыв строки. Маяковский, которого он чтит, понимает, не повлек его за собой – как столь многих, в разрубанье строк на ступеньки. Он серьезен, задумчив – и добр. Словами Павла Антокольского – в нем токи высокого напряжения.

Пишу, но что-то о нем не сказано. Не договорено. Не мною, – а не дается в слово! До какой-то сути его – и творчества и человека – я не достучалась еще. Хожу вокруг, около. Стучусь.

Есть в этом человеке – как ствол в ели – некий, скрытый от глаз, стержень (как в ели: видны одни ветви – и каждая сама растет как маленькое дерево, хоть и брошена, как распростертые руки – вбок). Ствол, все богатства хвои держащий, живет в шатре веток, невидный, но в нем – жизнь ели. Он держит ее великолепие, из него струится в ветки кровь ели, загорающаяся в солнечном луче – золотом смоляной капли, – то ли я хочу сказать, что в стихах Винокурова есть нечто лечащее? Да, и это. Но мне хочется назвать, чем он лечит…

Опять из природы – мне приходит другой образ, другое сравнение: в самой личности поэта живет некое подобие кристалла, нечто кристаллизующее все, что ложится в тетрадь. Мне думается, этот кристалл есть доблесть. И каждое стихотворение говорит ею, как горят, попеременно вспыхивая на солнце, грани горного хрусталя.

ЧИСТЫЙ ИСТОЧНИК

Анастасия Цветаева о стихах Валерия Исаянца

Передо мною «Лирическая тетрадь» Валерия Исаянца. Так назвал поэт свою первую книгу. Он прав – лирическая струна звучит почти во всех его стихотворениях. Но это не только лирика в узком понимании этого слова. Сколько тут и творческой героики, и озирания на окружающий мир, страсти познать жизнь и назвать это познавание!

Что более всего поражает нас в этих стихах? Стремительные их ритмы. Но было бы близорукостью считать, что это лишь ритм рифмы. Это ритм *индивидуальности* поэта. Стремительность. Говорит ли он с Медным Всадником (прошлое, которое для него живо: впервые после Пушкинского Евгения поэт вступает в «беседу» с Медным Петром!)

… Как ножницы – резал он ночи
Сеченьем лихого галопа!
……
… Был слышен всё ближе и ближе
Раскатистый храп ошалелого
В невиданной скачке коня.
– Искали столетие смелого! –
Царь Пётр кричит про меня.

Обращается ли он к Настоящему, к Гарсиа Лорке:

…Но бьётся испанское сердце
С любовью к Земле и к людям
В сердце потомка Гая,
В сердце сына России.

Или – к Георгису Велласу:

Кровью пишутся сюжеты
Для софоклова пера.
… Разлучённый: брат – от брата,
Здесь не ведает – покой.
Как в застенках каземата
Сердце бьётся под рукой,
За потомков Одиссея,
Вольнолюбцев – в кандалах.

И пока тревожит Лету
Эта варварская рать,
Отдыха не знать поэту,
Отдыха ему не знать.

Везде та же динамика: через все преграды – в Будущее. Даже в самых лирических, то есть любовных, стихах тот же ритм, то же преодолевание:

…Душа и шапка – набекрень,
Ликует сердце сгоряча.
И – только бег оленей,
Да взгляд якутки невзначай!

Всю жизнь твою стремит попутно
Полоске неба изумрудной.

…Скосишься, падаешь как будто,
И снова бег твой устремлён,
Полёт вне прений и времён.

И в других стихах:

Город
твоим присутствием
полон…

…В тамбуре,
Буром
от тусклого света,
где на стекле
пробивается лёд,
Я запущу
светлячок сигареты
И промечтаю всю ночь –
напролёт!

Но он и мечтает по-особенному, по-своему. Это не мечты души пассивной, бездеятельной. Он и здесь своеобразен. В жару мечты – его:

Сердце стучит.
И не знает крушений!

И если мы на страницах его «Лирической тетради» встречаемся с чувством тоски, то эта тоска динамическая, мятежная, на перевале к овладению ею. Таков Валерий Исаянц. После часа уныния – радость победы, бой с трудностью творчества. Он ещё раз скажет о себе:

Морзянкой бешено стучится,
Вольнолюбива и сильна,
Неприручаемая птица,
Та, что во мне заключена.

В ней нравы яростной породы,
Непознаваемая стать…

Упорствуя быть собой, когда лес облетает, он пишет:

Прости меня, осень,
Что я остаюсь зелёным,
Что я свои листья не сбросил,
Как сбросили первые клёны.

Всему вопреки,
Остаюсь я зелёным…

В ночи, где «не видать ни зги!» читаем у него:

…Этим мало озабочен,
…ветром дружеским всклокочен,
в танце яростной пурги!

Природу поэт чувствует в единении с собой или себя с нею, что одно и то же:

Я здороваюсь с грибами,
Птице вслед шепчу.
Небо тянется губами
К моему плечу.

…И я дышу дыханием природы.
Она всегда чиста. Она – со мной.

Валерий Исаянц в лирике своей глубоко человечен, благожелате-

лен. Он не отъединён, он на всё отзывается. Посетив выставку Сарьяна, своего соотечественника, он зажигается пламенем его картин:

Надолго я запомню
Десятки солнц, слепящие безгранно,
Как шаровыми яблоками молний
Катились в руки яблоки Сарьяна.

Поэт сочетает в себе две крови – русскую и армянскую. Об этом он говорит так:

Два цвета в моей крови,
Два солнца – и нет исхода.

Так поэт называет предельное чувство богатства быть сыном этих двух отчизн.

Но, может быть, скажут иные: здесь замечается подражательность. Тем, кто захотел бы уличить его в этом – ответим: разве можно упрекать молодого поэта в том, что он учится у старших современников? Учится – значит, выучится, если уже сейчас он обретает своё лицо. Начинают с подражания почти неминуемо: Лермонтов подражает Пушкину…

Когда-то английский эссеист Томас Карлейль в своём очерке о народном шотландском поэте Бёрнсе сравнил его с чистым источником, из которого, подставив ладонь, будут пить путники.

Так Валерий Исаянц поит читателей вечной свежестью юности, которая оглянулась – ещё раз, вечно – в первый раз! – на мир.

Сама печаль его стихов – так свойственная истинно русской лирике – дышит жаждой преодоления. Пожелаем же ему светлого творческого пути!

1971

ВРАЧ И ПИСАТЕЛЬ

Как писателю, Ю.И.Гурфиинкелю, присуще то свойство улавливать веянье истинной фантастичности жизни над реальностью дня, которое создает сказочников во всем их разнообразии от Перро, Гофмана. Гримма и прочих – вплоть до Андерсена. Но *перешагнуть* грань между явным и неявным – стать попросту сказочником – не его путь. Ибо на *этом пути* власть берет человеческая фантазия, которая ему далека, с которой этому писателю нечего делать. Недаром ему дав дар целителя (он до профессии врач, лучший врач, мною встреченный за долгую

мою жизнь). И недаром года зрелости отданы им борьбе за жизнь человека, истощающему труду реанимации. Именно в бесконечной занятости его рабочего дня – где же как не между жизнью и смертью, обретая ежиеминутную опасность упустить, не в его час, человека – дано ему почти нечеловеческое внимание к этому мигу, И то же внимание свойственно ему в *его* литературной работе (как не вспомнить тут же мою сестру Марину Цветаеву над стихом, над поэмой, над названием *понятия*, когда «вещь» под ее пером – как она нам поведала – говорила ей, ее поправляя: «Нет, меня не так зовут…». И она билась, пока имя вещи не сливалось с вещью самой). Так отбрасывает Ю.И.Гурфинкель (автор «В реанимации») все, что льнет к перу в спешке, то, что не подходит, пока не найдет единственно нужного для строки, как единственно нужное лекарство – больному. Пример – под рукой: Андрея Трухачева, моего сына, врачи лечили несколько дней – от воспаления легких. Улучшения не было. Сын в тяжелую минуту позвонил мне: «Мне плохо – не знаю, что делать». Я попросила Гурфинкеля его навестить. После отъезда Юрия Ильича, сын позвонил мне: «Что же это за врач?! Обычно врачи выслушивают меня 10, 15, ну, 20 минут. Этот – слушал меня – час (по часам) и сказал – „У вас нет никакого воспаления легких. Есть эмфизема легких, возможно, вы работали в запыленном помещении. У вас легкие полны *пыли*“. Годы прошли, я не помню, были ли и какие лекарства назначены. Знаю, что велено было сыну ходить на лыжах, дышать воздухом (врач не знал, что месяцы до того сын мой отыскивал всюду макулатуру, без марлевой маска и носил по 20 кг на сдаточный пункт, чтобы получить желанную книгу). Аналогия о Мариной, с «вещью» – «Нет, меня не так зовут» – полная.

Эта двойная жизнь – служба врачом-реаниматором и досуг – литературной работе – делает его, на мой взгляд, ценнейшим, редчайшим явлением. Беспощадность к себе в этом постоянном *прислушивании* к безошибочности, не упуская ни часа реальности и не уставая прислушиваться к веющей над ней, над реальностью, мелодии сказочности – она веет надо всем. Тайна, с которой начался мир, и которая во веки не кончится, ибо Тайна и ее дыхание – Жизнь – вечны.

Вот как я, на 98 году, провожаю на литературный фронт писателя Юрия Ильича Гурфинкеля и радуюсь за читателей.

«ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ» ГАЛИНЫ МЕДЗМАРИАШВИЛИ

Книга очерков Галины Игнатьевны Медзмариашвили («Людям о людях») близка мне не только потому, что большая ее часть написана о людях, мне знакомых и дорогих, и не только потому, что она написана о людях творчества, но еще и потому, что тон этой книги, ее лейтмотив – это желание сказать о добре о их творчестве, о человеческом начале их жизней и о связанных с этим особенностями их биографий.

Надо помнить, что люди, о которых пойдет речь, жили и еще живут в эпоху трудных событий и больших начавшихся свершений и, таким образом, являлись и являются если не участниками, то во всяком случае свидетелями исторических сдвигов.

Это наложило на них, на их деятельность как бы и свободную, и у каждого своеобразную ответственность за каждое слово, строчку, утверждение – трактовку ролей, ту человеческую ответственность, которая останется связанной с их именами, именами писателей, деятелей, актеров-героев этой примечательной книги.

Читаю – по-иному, лирично-тепло сжимается сердце, приникая к знакомым именам, не оценочно, а жизненно-взволновано, зачерпывая из подернутого мглой возраста-прошлого.

Татьяна Спендиарова! Это существо без лет, подвижное, легкое, сама жизнерадостность! Под музыку отца своего, композитора А.Спендиарова, влетающая в круг танца, в бурю крымских напевов, в золотистую хайтарму! Ничего не знающую, не хотящую знать о том сколько весен прожито на свете, чующую ритм эпохи!

Подруга очень пожилых моих лет, Таня!

Нина Бальмонт! Увиденная на балконе дома поэта Волошина, в Коктебеле на склоне лет наших, Нина, для которой отцом, Константином Бальмонтом, были написаны в ее детстве стихи «Фейные сказки», мать большой семьи уже и внуков своих, весело учащихся; то под горою Алчак у синего, синего моря как в пушкинской сказке о золотой рыбке, то во Франции, то в Москве и о, ком мы прочтем у автора книги, о жизни ее, о труде, о ее дружбах.

Майя! Майя Кювилье (дочь гувернантки), Майя Кудашева, жена юного князя и вдова его после Гражданской войны. Мать, оплакавшая сына, погибшего в Отечественной войне…

Майя-поэт, французскими стихами своими пленившая Ромена Роллана, годы в переписке с ним… Бурные годы, когда мне пришлось в Феодосии носить ей передачи – не то как княгине, не то как подруге Ивана-батько, от гнева которого много ею людей спасено было…

Майя, приглашенная в гости к Роллану, год звавшаяся секретарем его (30-летняя поэтесса – у 60-летнего писателя с мировым именем), еще год спустя, ставшая Майей Роллан…

Наше свидание через глыбу лет, нас, друживших с 17-ти, часы ее у меня в общей квартире на Горького, и часы у нее в «Советской» гостинице, где она – мне: «Не думала я никогда, что мы встретимся с тобою у «Яра»…[*].

Майя, отдавшая много десятилетий своей старости – труду над архивом Роллана, которую с моим письмом и приветом посетила в 1984 году автор, незадолго до ее кончины.

Рая Ширвиндт! Красавица! В молодости – актриса, подруга средних лет ее и моей жизни, совместное изучение английского языка… Сама жизнь, исчезнувшая из ее глаз, – трагедия слепоты, годы и годы в вольтеровском кресле и руки наши в тесном рукопожатии…

И красавец-сын, Александр Ширвиндт, весь в мать, имя, известное каждому театралу – переплеском речи, иронии и сатиры, радость ее слепоты, ее окруживший любовью, заботой…

Читаю. Милое мне имя Медеи Джапаридзе, один раз увиденной и запомнившейся…

И фамилия Каган, столько будящая воспоминаний моих…

Молодой философ, встреченный у Бердяева в год его отъезда из Советской России; юная девушка, чудная, приведенная ко мне вечером 1921 года и беседа с ней до утра. Годы спустя – темноглазый, темноволосый младенец, крепкий с внимательным взглядом, твердо стоящий в детской кроватке… Будущая латинистка…

Она много напишет, переведет книг. И о Томасе Море, об Эразме Роттердамском, о Мартине Лютере… И – кольцо дружбы ее со мной смыкается тесно – она напишет превосходную книгу о моем отце, о сто докторской диссертации в 29 лет по вопросу об осских надписях на древних могилах… И о детище его старости – о Музее изящных искусств на Волхонке, книгу, о которой я в без месяца 94 года, не разгибая спины, пишу и отсылаю в печать рецензионную похвалу, – что не хватает слов…

Но я, кажется, превышаю права предисловия и пора мне остановиться здесь…

Закончу благодарностью страницам, посвященным автором деятельности моего отца, с пожеланием книге этой продолжаться, расширяться, расти, не забывая ни одного имени, достойного похвалы.

4.10.1988 г., Переделкино

---

[*] Гостиница «Советская» – в прошлом знаменитый ресторан «Яр». *АЦ*

«ПРОБУЖДЕНИЕ» ДИНЫ ТЕРЕЩЕНКО

«Пробуждение» Дины Терещенко – это книга, написанная в форме жизни. Это точный слепок с ее души, с ее сердечного трепета. Определить жанр я тут не берусь: это и не повесть в строгом смысле слова, и не роман… Точнее всего сказать – исповедь. Если была «Исповедь сына века», почему бы не быть «Исповеди дочери века»? Героиня этой книги-исповеди правдива и искренна до отчаянности. Но одной искренности мало: надо, чтобы она была помножена на время, на его – всеобщие наши – радости и беды. Именно так! И то, что происходит с героиней, затронет и взволнует многих.

Поэт никогда не человек толпы, но он, как писал Д. Китс, «далеко в человечестве». И куда бы ни вели его воспоминания, они приводят к Богу и Человеку. «Пробуждение» души мятущейся, чистой, сильной и слабой одновременно, возвышающей ценою страданий Нелюбовь до Любви, – сюжет вечный, но выраженный Диной Терещенко глубоко по-своему. Тема трагической ее нелюбви к мужу-военному, за которого она в годы репрессий выходит замуж по настоянию матери, чтоб спасти семью, медленно распахивается к концу пробуждением преданной любви, когда она вопреки врачам, его осудившим на смерть скорую, операциями и уходом на многие годы продлевает ему жизнь. В этом автор касается властно тех тайников женской природы, которые только кое-где открываются нам в мировой литературе. Тем самым выходя на передовую линию психологической литературы, неминуемо ведущей к религиозным основам жизни.

Апрель, 1991, Переделкино

О РАССКАЗЕ МАРИНЫ КРАВЦОВОЙ – «ПОЩЕЧИНА»

Я давно не встречала такого рассказа. Судьба событий, их сужденность, взаимосвязь, о, не простое вытекание следствий из их причин. Концентрированность сюжета подобна музыкальному закону. Взаимопонимание противоположных человеческих чувств (свойств). Высокое чувство человеческого достоинства. Тайное знание, что зло наказуется через все препятствия: например, через человечность, через личную немстительность. Невидимая оркестровка *надо* всем, что происходит, от чего не дойти к простому объяснению добром, ибо действуют тут надмирные законы ответственности. Видимо от каждой мысли, осо-

бенно ставшее действием, лежит тень. Эти тени – материал, для Страшного Суда (The Last Judgement). Океан, превращенный в единую каплю, зеркально отразившую *все*. И даже в оценке всего этого не в том дело, что присутствует здесь дарованная свыше, конечно, человечность, – она действует сама по себе, но Мировой Закон с ней не считается, ибо он выше ее.

И в то же время рассказ лишен всякой сложности, невинен в своей простоте. Гриб, выросший на лесной поляне сам по себе, до всякой литературы. Лежа даже не в редакции, в замедленности реакции редакторов, а просто в папке писательницы, *скрыт* от читателя. Читатели не прочли его целый год (год назад написан).

Об авторе же рассказа «Пощечина»: дело вовсе не в том, чтобы дать ему «ход», как часто приходится поступать с другими молодыми писателями. «Ход» – для развития дарования, здесь дарование идет полным ходом «Божею милостию». Еще раз повторяю – моя забота о читателях.

А по воспитующей сущности своей рассказ, выйдя из-под пера писательницы, уже не ей принадлежит, а читателям- его, увы, еще нет.

А если меня, старого собаку, почти столетнюю взволновал до глубин души (после почти ста лет чтения) – как он нужен тем, кого кормят уровнем ниже. Рассказ, о котором только одно слово во мне прозвучало: Блеск.

ОТЗЫВ О СТИХОТВОРНОЙ ПОЭМЕ «ФАУСТ ПРОТИВ МЕФИСТОФЕЛЯ» В.Я.ИОНАСА

Кованый стих, поразительная свобода творческого владения словом, сжатость выражения подвижной диалектической мысли, глубокая философская основа всей вещи, и высокий уровень лирики — вот что поражает читающего этого нового Фауста!

«Песенка Федерики» являет собой образец классического лиризма. Некоторая Гетевская грубоватость германских понятий того времени отменена здесь близкой современному читателю тонкостью понятий и чувств. Вся поэма – редкая удача цельности восприятия мира и мировой истории. Осужденная мировой критикой 2-ая Гетевская часть как туманная, непонятная, многословная – в «Фаусте» В.Я.Ионаса блещет ясностью и чувством меры. Сожалею глубоко о ненапечатанности этого перла.

Москва. 15 марта 1975 г. Анастасия Цветаева.

К СТАТЬЕ МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ АНГАРСКОЙ О НИКОЛАЕ СЕМЕНОВИЧЕ КЛЕСТОВЕ-АНГАРСКОМ

Совершенно необходимо, чтобы в печати появилась статья о Николае Семеновиче Клестове-Ангарском, удивительном человеке и деятеле прошлых (1873-1941) лет.

Он жил и работал в то время, когда интеллигенция терпела гонения, и он бесстрашно ее защищал. Он призывал к изучению классиков, к познания тех корней, на которых движется культура. Он был по истине и в самом высоком значение этого смысла – Просветитель, и имя его должно прозвучать в наше время. В прилагаемой статье о нем сообщены все нужные о нем сведения и деловито проработана память о нем, и о незабываемой его деятельности, в которой он сумел доказать, что не пролеткульт нам нужен, а глубокое изучение *старой* культуры, из которой произошла – новая.

Сколько он сделал для Булгакова, когда его не принимали, не начали признавать. Он боролся за всех истинно-талантливых молодых писателей. Мы *должны* поднять на заслуженную высоту память о Н.С.Клестове-Ангарском.

ОТЗЫВ О СТАТЬЕ ЛИЛИТ КОЗЛОВОЙ О М. ЦВЕТАЕВОЙ «Я – И МИР»

Многие сейчас пишут о сестре моей Марине Цветаевой, у каждого свой язык, свой подход, да. Но нельзя не удивляться, как Лилит Николаевна Козлова, не знавшая Марину в жизни, – так близко, проникновенно как я, интимно сумела в разливе своих статей о Марине подойти к разным граням ее существа легко и так трепетно заглянуть в ее сокровенный мир.

В статье своей о Марине «Я – и мир» она открывает нам ее человечность, ее отзывчивость к горю идущих навстречу, ее постоянное соотношение с душой каждого. И это особенно драгоценно, когда сама Марина постоянно – в своем творчестве – заметала это свойство свое – противоположными чертами своими, своим, тоже для нее характерным «Ибо с гордыни своей, как с кедра, Мир озираю»… Сколько этой поэтической гордости, своеволия, самоупоения своей поэтической мощью – цветет в ее книгах! Но неустанно и упорно пробивается через эту грань другая, – с о о т н о ш н и е с миром и скорбь за него! Вот об этом сказала живым голосом Л.Н.Козлова, рассказала, процитировала,

у б е д и л а. Именно это я и хочу подчеркнуть в предисловии к статье ее о Марине «Я и мир»: «круговую поруку добра».

7.12. 1987

ОТЗЫВ О РАБОТАХ ЛИЛИТ НИКОЛАЕВНЫ КОЗЛОВОЙ: «СИВИЛЛА», «ДУША, РОДИВШАЯСЯ ГДЕ-ТО» И ДРУГИХ О МОЕЙ СЕСТРЕ МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Они составят прекрасную книгу о Марине – глубокий анализ ее сущности и сущности ее поэзии, может быть, л у ч ш ую книгу из до сих пор изданных. В тех, книгах говорилось о жизни, биографии (теме творчества).

В э т о й дан анализ той струи ее творчества, где кроется разгадка т р у д н о с т и понимания многих сочинений моей сестры. И соотношения ее с Богом.

И именно это я считаю особенно важным и нужным, и заранее поздравляю издательство, где эта книга выйдет в свет.

Анастасия Цветаева на 98-м году

23.04.92 Страстной Четверг, Москва

ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ОЧЕРКЕ О Г. ТАРУСЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВАЛЕРИЯ ХАЙКИНА

Читала я книгу о Тарусе Ивана Бодрова и все, что удавалось достать о дорогом нашем, семье Цветаевых, городке Тарусе, и много писем получала из разных мест нашей страны, хвалящих очерк моей сестры Марины Цветаевой «Кирилловны» и мои воспоминания о Тарусе, где прошли детство и юность наши с моей сестрой Мариной. Но… В первый раз читаю такое углубленное описание Тарусы и окружающих ее мест. Это не лирическое воспевание природы тех мест, не воспоминания о проведенных там отпусках, – это проникновение в исторические корни Тарусы и близлежащей деревни Игнатовское, до сих пор никем не рассказанная быль о давних столетиях, когда уже имела Таруса с ее окружением свое лицо.

В этом очерке видна настойчивая, увлеченная работа, и мне представляется совершенно необходимым передать этот очерк в печать – для широких масс.

Очерк этот отвечает и художественным запросам литературы, написан превосходным языком.

В ГАЗЕТУ «СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА»

В данное время, когда в СССР и в других странах стало широко известно имя моей сестры, поэта и прозаика Марины Цветаевой, когда в журналах появляются её публикации и во всех больших городах Союза устраиваются вечера чтений её произведений, пора подумать о том, чтобы где-нибудь, где она жила и работала, была бы установлена мемориальная доска.

Дом нашего отца, профессора и основателя Музея Изобразительных Искусств на Волхонке И.В. Цветаева – не уцелел. Не уцелела и дача за Тарусой, где много лет жила наша семья. Там теперь, увы, танцплощадка. Но цел дом № 8 по Пионерской улице с флигелем № 6, где с самого детства и до расцвета своего творчества жила Марина Цветаева. Дом этот принадлежал нашему деду и его вдове Сусанне Давыдове Мейн, умершей в 1919 году.

Дом № 8 потребовал бы, может быть, некоторого ремонта, а дом № 6 и теперь в хорошем состоянии.

Много стихов, посвященных Тарусе, напечатано в 1-м и во 2-м сборниках М.Цветаевой. Тарусу ежегодно посещают много приезжих, знающих имя и творчество Марины Цветаевой. Весть о том, что Таруса не забыла своего поэта, именно тут пробудившегося к творчеству, поздней прогремевшему по всему миру, разнеслась бы повсюду.

Скромная доска с её именем – «Марина Цветаева приезжала в этот дом в течение всего своего детства и юности» стала бы ещё одним украшением Тарусы.

И была бы воздана честь Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры.

Член Литфонда СССР и член профкома писателей издательства «Советский писатель»

Анастасия Цветаева

5.10.77 г.

ПРИВЕТСТВИЕ СОБРАВШИМСЯ 9 ОКТЯБРЯ 1988 г., В ДЕНЬ 96-ЛЕТИЯ МАРИНЫ, СЕСТРЫ МОЕЙ

Приветствую и хочу сделать маленькое сообщение по поводу Мариной вызванного к жизни «камня из Тарусской каменоломни». Начало воплощения этого камня было, если не ошибаюсь, летом 1961 года:

из Киева приехал почитатель Марины Цветаевой, тогда студент, Семен Островский, передавший мечту киевской молодежи поставить на высоком берегу Оки этот Мариной задуманный камень. Тогда была жива моя старшая сестра. Валерия Ивановна Цветаева, с 1926 года жившая летами в Тарусе. К ней пришел Островский и застал там и меня, младшую из сестер. Услыхав, что инициатор этого события хочет поставить камень недалеко от могилы Борисова-Мусатова, художника, умершего в 1905 году в Тарусе, мы обе запротестовали, убеждая Островского в том, что мемориальный камень нельзя ставить на кладбище. Но молодость – Семену было 24 года – не соглашается с доводами старших, и камень, даром данный начальником каменоломни, золотистый гранит весом 3-4 тонны, был с большим трудом привезен к могилам кладбища. Увы, собралась общественность Тарусы – и, не поняв в чем дело, кто-то послал телеграмму отдыхавшей в Латвии Ариадне Эфрон, Мариниой дочери: «Без Вас ставят памятник Вашей матери». Встревоженная, племянница моя обратилась к Эренбургу и Паустовскому с просьбой вмешаться – и запретить происходящее. Мои уговоры, обращенные к ней, не помогли – и камень, два дня простоявший над Окой, увезли и куда-то сбросили. Я утешала Островского: «Сеня, ведь вы исполнили мечту Марины. Камень постоял там, где она хотела, а на свете все быстротечно, все имеет конец…».

И где-то и у него, и у меня цела фотография камня на фоне холмов. Вот это я и хотела рассказать сегодня собравшимся. За меня это ввиду болезни моей, сделал мой друг и литературный помощник Станислав Айдинян.

Дошел до меня слух, будто бы приедет в Тарусу Семен Островский, но верен ли этот слух – не знаю. Мой долг по отношению к нему исполнен. Будем надеяться, что камень будет долго стоять над Окой.

Анастасия Цветаева, на 95-м году.

КО ДНЮ ОТКРЫТИЯ ТАРУССКОГО ЦВЕТАЕВСКОГО МУЗЕЯ

Приветствую всех собравшихся. Сожалею, что по болезни и возрасту не могу быть с вами в любимом с детства доме «Тьо» так она себя называла, по французскому своему выговору, не осиливая слово «тётя», Сусанна Давыдовна Мейн).

Желаю Музею процветания, а всем сотрудникам Музея – здоровья, сил, согласия в работе и радости в семейной жизни.

Храни вас Бог!

Анастасия Цветаева, 98 лет. 30. IX. 92 г.

К ПРАЗДНИКУ 100-ЛЕТИЯ МОЕЙ СЕСТРЫ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Радуюсь, что к этому торжественному дню, – скорбному потому, что ее нет с нами, собрались столько поклонников ее – я хотела написать «таланта», но рука, замедляясь, воспротивилась, повелительно и законно скользнув в слово «гения», столь разносторонни ее труды, столь широк разлив полноводный разлив ее творчества, что *понятна* толпа людей из *читателей*, мгновенно становящихся *почитателями*.

Наш отец, Иван Владимирович Цветаев, в ее отроческие годы о ней написал историку Иловайскому: «Какие дарования дала природа этой 13-летней девочке! У нее будет трудная жизнь!». Он не ошибся. Цитирую строки поэтессы Евгении Куниной: «А нам остается утраты таинственный труд».

Анастасия Цветаева, на 98 году.

В СЕЛО УСЕНЬ-ИВАНОВСКОЕ ПОД УФОЙ

Приветствую всех, кто пришел в день открытия мемориальной доски моей сестры Марины Цветаевой в год ее 100-летия.

Благодарна что вы чтите ее память, ее творчество. Тем более что в наши дни стало ясно, что ее поэзия принадлежит классической ветви русской поэзии серебряного века.

Желаю всем вам крепкого здоровья и духовных обретений в вере и истине.

Храни вас Бог!

Анастасия Цветаева

17 сентября 1992 г.
Дом творчества Переделкино

ВСЕРОССИЙСКОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ПРАЗДНИКУ ШКОЛЬНИКОВ, ПОСВЯЩЕННОМУ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ (В АЛЕКСАНДРОВЕ).

Поздравляю вас с праздником Рождества Христова и Новым 1993 годом и желаю вам всем здоровья и телесного и душевного.

Напоминаю о важности для вашей жизни исполнения 5-й запове-

ди – «Чти отца и мать твою – и благо ти будет, и долговечен будешь на земле». Нарушающие эту заповедь *счастливы не бывают* и часто не доживают до данного Богом последнего своего дня, а умирают раньше, случайно, не охраненные Божьим Законом.

Желаю вам успеха в ваших трудах по литературе, прилежания и углубления в предмет, в котором отмечены склонность и способность.

Желаю всем твердой веры в Бога!

И да хранит вас Бог!

Анастасия Цветаева, 98 лет.

6.01.1993.

Рождественский сочельник, Москва.

[ПРИВЕТСТВИЕ ЦВЕТАЕВСКОМУ ПРАЗДНИКУ В АЛЕКСАНДРОВЕ]

В г. Александров, мне родной когда-то, на Праздник Поэзии памяти моей сестры Марины Цветаевой.

Приветствую собравшихся, сожалею, что не смогу присутствовать, так как сегодня уезжаю на все лето в Эстонию и желаю, чтобы этот торжественный день принес всем собравшимся радость, погружение в звуки слов и музыки, в вдохновение гармонии.

Сердечный привет!

Анастасия Цветаева, на 91 году.

В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ М. ЦВЕТАЕВОЙ В АЛЕКСАНДРОВЕ [ОБРАЩЕНИЕ]

С Мстиславом Борисовичем Козьминым я встретилась, когда совпали сроки нашего пребывания в Доме творчества в Переделкино, в старом корпусе. Я рада, что его рукописи, его архив будут приняты на хранение в ваш музей, ибо представляют ценность для истории литературы.

Анастасия Цветаева

16 мая 1993 г.

[В МУЗЕЙ АНДРЕЯ БЕЛОГО В МОСКВЕ. ОБРАЩЕНИЕ]

Я рада что на Арбате в Москве открыт Музей Андрея Белого, которого мы с моей сестрой Мариной знали в юности.

Храни вас Бог!

Анастасия Цветаева на 99 году

26 мая 93 г.

Заведующей Главмузеем Н.И.Троцкой
от научного сотр. Музея Изящн. Искусств
А.И.Цветаевой (жительствующ. Мерзляковский, 18, кв. 8)

ПРОШЕНИЕ

Прошу о предоставлении мне штатного места научн. сотрудника при Библиотеке Музея Изяшн. Искусств. – Служу там 1 год 3 месяца сверх штата. Работаю в архиве при библиотеке над архивом моего отца, проф. И.В. Цветаева, основателя и создателя Музея, а также занимаюсь каталогизацией. С 15-ти лет я вела переписку отца по делам Музея и в связи с его созиданием ездила с отцом за границу. Полагаю, что имею право на штатное место в Музее, где я работаю. Нахожусь в крайне тяжком матерьяльном положении, живу только на музейское жалованье, муж мой умер и на моих руках малолетний сын.

В данное время предполагается сокращение служащих Музея Изящн. Искусств и я уверена, что Главмузей примет во внимание мое положение и не оставит без заработка дочь и внука основателя Музея.

Научн. сотр. Музея Изящн. Искусств, член КУБУ, член Всеросс. Союза писателей Анастасия Цветаева.

13 августа 1925 г.

На прошении А.И. Цветаевой написана резолюция рукой Н.И.Троцкой:

«Оставить в качестве научного сотрудника при библиотеке на спец. средства Музея Изящных Искусств до того, как будет возможность зачислить ее в штат Музея. Н.Троцкая. 14/VIII. 25 г.»

ЗАВЕЩАНИЕ

Находясь в твердом уме, в здравой памяти я, нижеподписавшаяся, Цветаева Анастасия Ивановна, 1894 г. рождения, завещаю в случае моей смерти, все принадлежащие мне вещи – Трухачевой Нине Андреевне, 1917 г., проживающей в Пихтовке. Дом же мой (№ 3 по ул. Куйбышева) завещаю внучке моей Трухачевой Маргарите Андреевне, 1947 г. рождения, а по малолетству ее назначаю опекуном мать ее Трухачеву Нину Андреевну.

В случае же продажи ею дома – деньги от этой продажи должны быть ею положены на имя внучки моей Трухачевой Маргариты Андреевны на личный счет в сберкассу до дня ее гражданского совершеннолетия.

В случае смерти внучки моей Трухачевой Маргариты Андреевны завещаю дом мой или деньги от его продажи – сыну моему Трухачеву Андрею Борисовичу 1912 г. рождения и пемяннице моей Эфрон Ариадне Сергеевне, 1912 г. рождения – пополам.

В случае смерти Трухачевой Нины Андреевны назначаю опекуншею над внучкой моею Трухачевой Маргаритой Андреевной племянницу мою Эфрон Ариадну Сергеевну, 1912 г. рождения, проживающую в Красноярском крае, в Туруханске.

Цветаева Анастасия Ивановна

Пихтовка, ул. Куйбышева, д. 3
19 марта 1952 г.

Печать Пред<седатель> д<омового> к<омитета> Гоголия

ИСТОЧНИКИ

ЧАСТЬ 1

Таруса ***(вместо интервью о ней)*** – Впервые – газ. Культура 1993, № 35, сент. с. 12. Также в кн. А.Цветаева «Невозвратные дали» М., АСТ, 2018, с. 227-231.

Тьо *Сусанна Давыдовна, по мужу Мейн* – литературно-художественное приложение «Круг чтения» к ежемесячнику «45-я параллель», Ставрополь, 1991, № 13, с. 4-6. Также – в газ. «Цветаевский вестник». Приложение к газ. «Октябрь» (Таруса) 1991, – 5 окт.- с. 2-3. Также – в газ. «Культура», 1993, № 35 (6892) – 11 сент. – с. 12. Очерк А.И.Цветаевой посвящен памяти второй жены деда по матери.

Воспоминания о брате моем, Андрее Ивановиче Цветаеве – печатается по прижизненной машинописи. В сокращении в журнале «Наука и жизнь», № 3, 1987, с. 108-117.

Воспоминание об отце, профессоре И.В. Цветаеве – печатается по прижизненной машинописи.

О сыне моем, Андрее Борисовиче Трухачеве. – вариант текста опубликован в кн. – Анастасия Цветаева «Памятник сыну» М., Дом-музей Марины Цветаевой, 1999, с. 10 -50.

ЧАСТЬ 2

Мой путь к религии – очерк в газ. «Спасение» (М.), 1993 – апр., № 15, с. 3 (Всесоюзная экономическая газета). А также – в журн. «Россияне» № 11-12, 1995, с. 11-14.

Таинственный старец – газ. «Путь», (газета РХДД), № 1/ 24, 1993 с. 15. Под названием «О святом Николае Чудотворце» в альманахе «Христианос», Рига, 1991, № 1, с. 127-128.

Однажды в Загорске – в «Литературной газете», 1999, № 37 (сент.), с. 11.

Светлой ночью – газ. «Путь» (газета РХДД), № 1/ 24, 1993 с. 15.

Чудо? – газ. «Путь» (газета РХДД), № 1/ 24, 1993 с. 15.

О Максимилиане Волошине – текст публикуется по прижизненной машинописи**.**

Разговор с М.А. Волошиным. Из книги «Королевские размышления. 1914 год». – в кн.А. Цветаева «Королевские размышления», М., 1915, с. 26-35. А также – в кн. А.Цветаева Собрание сочинений М., Из-

дательство «Изограф», 1996, т. 1, с. 20-27. (Этот разговор относится ко времени, когда А.Цветаева еще не пришла к вере, и характерен для того периода ее общения с М.А. Волошиным).

О священнике Валентине Свенцицком и о годе его смерти – газ. «Культура», № 38, (6949) 01.09. 1994. с. 12.

О поэме «ОРО» отца Павла Флоренского, написанной им в заключении – газ. «Культура», № 38, (6949) 01.09. 1994. с. 12.

Непостижимые – полный текст публикуется по прижизненной машинописи**.** Под названием **«О животных»** вышел посмертно с предисловием-некрологом в российско-итальянском международном обозрении культуры и религии «Новая Европа», Рим, Издательство «Пропилеи», 1994, № 4, с. 134-136.

Мы никогда не бываем одиноки – в газете Театра песни Е. Камбуровой «Шарманщик», 1992, вып. 12, с. 6. Вступительная заметка Д.А. Донской, с.7.

ЧАСТЬ 3

Сейчас я вам что-то скажу… – в кн. «Вечерний альбом» – Стихи русских поэтесс в. М., «Современник», 1990, с. 40-44.

Издательством «Современник» опубликован поэтический сборник «„Вечерний альбом“ (Стихи русских поэтесс)». В нем помещен под редакционным названием «Сейчас я вам что-то скажу» очерк А.И. Цветаевой, посвященный волевой и творческой природе создания поэтических произведений.

Явь и стихи – в журн. «Октябрь» – 1982, № 9, с. 193-195.

Корни и плоды – полный текст публикуется по прижизненной машинописи**.** Вариант в журн. «Звезда», 1979, № 4, с.186-193. Очерк написан по поводу статьи «Листья и корни» И.В.Кудровой («Звезда», 1976, № 4.)

Размышления над книгой Анны Саакянц «Марина Цветаева» – журн. «Звезда», №8, 1987, с. 182-187. Рецензия на кн. Анна Саакянц «Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910 -1922) М., «Советский писатель», 1986.

О книге Виктории Швейцер – в газ. «Независимая газета» № 59, 21. 05. 1991, с. 7. См. кн. В. Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой», Париж, «Синтаксис», 1988. А также В.Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой» М., «Импринт», 1992.

Я огорчена… В «Независимую газету» По поводу письма Виктории Швейцер – в газ. «Независимая газета» № 59, 21. 05. 1991, с. 7.

«Марина Цветаева: миф и действительность» – в газ. «Москов-

ские новости» 1992, № 45 (649-641) с. 11. Ответ на статью Л.Наврозова «М.Цветаева: гениальная женственность».

Об очерке моей сестры Марины Цветаевой «Жених» (1933, Париж) – в кн. М. Цветаева, А. Цветаева Две сестры. М., АСТ, 2020, с. 152-155. А также в кн. Ст.Айдинян, «Четырехлистник», К.Бальмонт, А. и М. Цветаевы, А.Виноградов – очерки, статьи, исследования. М., «Экслибрис-Пресс», 2017, с. 369-372. Очерк создан как ответ на очерк М. Цветаевой «Жених», в нем повествуется о писателе А.К.Виноградове

Маринин дом – в журнале «Звезда», 1981, № 12, с. 142-157. А также в сокращении в кн. А. Цветаева «Неисчерпаемое» М., «Отечество», 1992, с.122-151. Вариант текста в кн. – Анастасия Цветаева. Маринин дом. Издание подготовили Г.К. Васильев и Г.Я. Никитина – М., Дом–музей Марины Цветаевой, 2006. Часть текста раздела очерка, названного «После Марины» дополнена по авторской рукописи.

Освящение мемориального дома моей сестры Марины – журн. «Россияне» № 11-12, 1995 с. 15-16.

О Собрании сочинений М.Цветаевой – газ. «Советская культура», 1990, № 21 (6745), с. 6.

Ее последнее величье – журн. «Смена» 1987, № 15, с. 20. Очерк написан как предисловие к подборке стихотворений М. Цветаевой в журнале «Смена».

ЧАСТЬ 4

Из книги о Горьком – в журн. «Новый мир», 1930, № 8-9, с. 94-115. Текст опубликован под фамилией А.Мейн. А также – А. Цветаева. Собрание сочинений, М., «Изограф», 1996, т. 1, с. 213-241.

Воспоминания о Борисе Пастернаке – с предисловием-исследованием в кн**. Станислав Айдинян «Воспоминания о Борисе Пастернаке» Анастасии Цветаевой, Марина Цветаева, А.М. Горький**; **// Анастасия Цветаева «Воспоминания о Борисе Пастернаке»** – Москва: Серебряные нити, 2020, с. 65-89.

Памяти Яши Горбова – приложение в кн. Ирина Одоевцева «На берегах Сены» М, «ХЛ», 1989, с. 328-330.

Внучка Наташи Ростовой – текст публикуется по прижизненной машинописи, а также в кн. Судакский сборник. Вып. 3. Материалы научно-практической конференции «Сурожские чтения», 7-9 сент. 2018. Симферополь, 2020; с. 98-100. С предисловием-исследованием Ст. Айдиняна «Об очерке А.И. Цветаевой «Внучка Наташи Ростовой» с. 93-98. Очерк «Внучка Наташи Ростовой» говорит о Татьяне Михайловне Кузминской (в замужестве Делекторской 1904–1934), внучатой племяннице Л. Н. Толстого.

История одной судьбы – в газете «Одесский вестник» 1993, № 197 (535) 18 ноября, с. 3. Очерк посвящен Татьяне Тургеневой (в замужестве Соловьевой), двоюродной внучке писателя И. С. Тургенева.

История одного портрета – в газ. «Миссия», № 1, 1993, сент. с. 10. Посвящено подруге А. Цветаевой Е.Н. Калецкой.

Майя Кювилье-Кудашева-Роллан – полный текст публикуется по прижизненной машинописи. Неполный, фрагментарный текст в кн. Галина Медзмариашвили «Я жив благодаря ей…» М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2000, с. 61- 63, также неполный в журн. Юность, 2019, № 8, с. 112-113.

О Николае Александровиче Бердяеве – текст публикуется по прижизненной машинописи **–** в журн. «Юность», 2019, № 8, с. 113-114.

Воспоминание о моей подруге проф. Зое Михайловне Цветковой – текст публикуется по прижизненной машинописи**.** См. этот текст в кн. «Воспоминания о Зое Михайловне Цветковой». Сборник. Составитель А.С.Границкая; М, 1991, с. 68-74 [На правах рукописи, без указания издательства, без выходных данных].

Несколько слов о друзьях писателях – в журнале «Даугава», 1986, № 11, с. 117-120. Очерк о встречах и дружбе с писателями, среди них – Т. Чурилин, В.Вересаев, И.Рукавишников, П.Романов, О.Мандельштам, В.Брюсов, А.Виноградов.

Мы встретились в старости – В кн. Альманах Поэзия – М., 1985, № 43, с.147. Предисловие к подборке стихов Е.Ф. Куниной. А также вариант текста очерка опубликован в кн. Евгения Кунина «Самое дорогое» М., Отечество, 1994, с. 3.

Евгения Кунина «Франческа да Римини». Лирическая трагедия. В «Новый мир» – журнал «Новый мир», 1993, № 3, с. 96.

Ольга Павловна Рунова-Мещерская – текст публикуется по прижизненной машинописи**.**

О смерти М.И. Кузнецовой-Гриневой – текст публикуется по прижизненной машинописи**.**

О смерти моей старшей сестры Лёры – текст публикуется по прижизненной машинописи**.**

О сестре моей Марине Цветаевой – текст публикуется по прижизненной машинописи**.**

О правнучке моей, Оле Мещерской – текст публикуется по прижизненной машинописи**.**

Ночное эссе– *Очерк о Ст. А. Айдиняне* – в журн. «Новая деревня. Малоэтажное строительство», 2008, № 2 (23), с. 113, а также приложением в кн. Станислав Айдинян «Механика небесных жерновов: стихи двух веков» М., «Гуманитарий» – 2014, с. 383-385.

О сестре моей Марине Цветаевой. – текст публикуется по прижизненной машинописи**.**

ЧАСТЬ 5

Драгоценная достоверность – в газ. «Солидарность» 1991, апр.-май, – с.14. См. также журн. «Знамя», 1987, № 11. Рецензия на повесть Рюрика Ивнева «Первопутье» («Дружба», 1986, № 2-4).

«Сердце к сердцу» – в журнале «Знамя» 1986, № 10, с.229-232. Рецензия А.И. Цветаевой на книгу Рюрика Ивнева «Избранное» М., «Худ. лит.», 1985.

Несколько слов о стихах Рюрика Ивнева – вступительная статья к книге Р. Ивнева «Мерцающие звезды, стихотворения. 1903-1981» М., Издательство «Советская Россия», Издание Н.П.Леонтьева, с.3-4.

ЧАСТЬ 6

Книга о моем отце – полный текст публикуется по прижизненной машинописи**.** В журн. «Наука и жизнь», 1989, № 6, с. 144 – 149. Рецензия на книгу – Ю.М. Каган «И.В. Цветаев. Жизнь. Деятельность. Личность». М., 1988.

Двойное пламя – рецензия на книгу Олега Васильевича Смирнова о Н. А.Холодовском **–** в журн. «Наука и жизнь» – 1985, № 2, с. 74-76

Пятисвечник – статья-рецензия в журн. «Наука и жизнь», 1980, № 7, о книгах Веры Аркадьевны Парнес, посвященных ученым-ботаникам (с.147-150). А также – в журн. Звезда, 1981, № 1, с. 147-150.

Он называл себя врачом растений – в журн. «Наука и жизнь», 1983, № 10, с. 90-83. Рецензия на кн. Веры Парнес «Исаак Григорьевич Бейлин» – М., «Наука», 1983. О основателе отечественной эпифитотиологии И.Г. Бейлине.

Встреча с идеей… – О книге Нины Вельминой «Таинственное ожерелье» (М., «Мысль», 1988) – текст публикуется по прижизненной машинописи**.** Рецензия предназначалась для журнала «Наука и жизнь», где выпуск этой статьи курировала Рада Никитична Хрущева.

«Благословляю вас на подвиг брака…» – газета «За коммунизм» (г. Боровск). 1 июня 1989 г. № 65 (8216) стр. 6-7. С предисловием А. Ковальджи.

Об аномалиях. Эссе – в журн. «Спид-инфо», – 1995, № 6 (июнь), с. 29. Текст написан по просьбе летчика гражданской авиации и писателя-афориста Ю.Д. Коваленко (Псевдоним Георгий Ковальчук).

ЧАСТЬ 7

Об эстонском художнике Олаве Маране – Вариант под названием «Душа вещей: из произведений Олава Марона в журн. Дружба народов», 1989, № 10, с. 225-226. Далее – в составе большого текста А. Цве-

таевой «Моя Эстония», в таллиннском журнале «Радуга», 1991, № 3. В кн. А. Цветаева «Неисчерпаемое» М., «Отечество», 1992, с. 279-284. А также – А. Цветаева «Невозвратные дали: дневники путешествий» М., АСТ, 2018, с. 184 – 188.

Ирина Бржеска – вся сложность чувств – в газете «Советская Эстония» 27 октября 1985, № 250 (12748), с. 3. Вариант в журн. –«Нева» 1987, № 10. В кн.А. Цветаева «Неисчерпаемое» М., «Отечество», 1992, с. 275-284. А также вариант – в альбоме Ирина Бржеска. Живопись. Анастасия Цветаева. Эссе о художнике. М., «Информ Связь Издат», 1994, с. 7-10.

«Дважы два – пять…» *Письмо двум художницам двух направлений Ирине Бржеской и Екатерине Толстой* – в журнале «Аврора» 1987, № 12, с. 29-52; в газ. «Изограф» М., 1994, № 6 (сент.), с. 8.

Боровская жемчужина – текст публикуется по прижизненной машинописи. Посвящен творчеству художницы Людмилы Георгиевны Киселевой (1942-2021). Очерк предназначался для газеты в г. Боровске.

Чтице Валентине Алексеевне Поповой – текст публикуется по прижизненной машинописи. Письмо адресовано Валентине Алексеевне Поповой (1918-1992) Народной артистке РСФСР (1970), лауреат Сталинской премии (1951) за художественное чтение. С 1943 года – актриса Центрального театра Советской армии. Совмещала работу в ЦТСА с концертной деятельностью.

«Дом быта» в Сергиевом Посаде – в газ. «Московские новости» № 11, 15 марта 1992, с. 23.

Жемчужинка – газ. «Куранты», – М., 1994, 27 сент., с. 4.

Драгоценный кот – газ. «Миссия», № 1, 1993, сент. с. 10.

Роза – В таллинском журнале «Советская женщина» («Nôukogude naine»), 1976, № 3, на эстонском языке вышли три рассказа-новеллы А.И.Цветаевой: «Пес», «Роза», «Букет» (с.11-13). А также в газете «Тимирязевец» (с предисловием Михаила Смирнова), 1988, – 20 мая, с.7. Далее – в журн. «Радуга» (Таллинн), 1991, № 1, стр. 21-23.

У новой подруги – газ. «Миссия», № 1, 1993, сент. с. 10. А также – в журн. «Южное сияние», 2019, № 4, с. 130. Очерк посвящен визиту в феврале 1985 г. к Татьяне Андреевне Кандауровой-Чернышевой (1929-2003).

Звери игрушечные – газ. «Миссия», № 1, 1993, сент. с. 10.

Трезор – рассказ в газ. «Голос труда», г. Александров, 1993, № 109 (13197), 25 сент., с. 3.

Насекомое – в кн. А. Цветаева «Непостижимые» М., «Объединение «Всесоюзный молодежный книжный центр», 1992, с. 166-168.

Сказ о звонаре московском – журнал «Москва» 1977, № 7, с. 129-171. Очерк посвящен Константину Константиновичу Сараджеву (1900-1942) звонарю-виртуозу, композитору колокольных гармонизаций, яснослышащему.

ЧАСТЬ 8

О Евгении Винокурове – *К 50-летию* – Отклик на кн. Е.Винокурова «Избранное», М., «Х.Л.» – в журн. «Юность» 1975, № 9, с. 78-79.

Чистый источник *О стихах Валерия Исаянца – отклик А. Цветаевой на книгу* «Облики»: Стихотворения. – Ереван, «Советакан грох», 1978.

Врач и писатель. О творчестве Юрия Гурфинкеля. Вариант текста опубликован в кн. Ю. Гурфинкель «Еще легка походка… А. Цветаева и ее современники» М., «Серебряные нити», 2022, с. 244-245.

«Людям о людях» Галины Медзмариашвили. Предисловие к книге. – в кн. – Галина Медзмариашвили – Тбилиси, Издательство «Хеловнеба», 1985, с. 4-5.

«Пробуждение» Дины Терещенко – предисловие в кн. Дина Терещенко. Пробуждение (Исповедь дочери века): Роман. – М.: ИМЛИ РАН «Наследие», 2001, с. 3.

О рассказе Марины Кравцовой – «Пощечина» – предисловие в журн. «Столица» 1993, № 49 – с. 61.

Отзыв о стихотворной поэме «Фауст против Мефистофеля» В.Я. Ионаса – Владимир Яковлевич Ионас (1900-1988) юрист, поэт. Жил в СПб. Отзыв написан как отклик на авторизованную машинопись «Фауст против Мефистофеля. Драматические сцены в 2-х частях». В тексте замечания А.И. Цветаевой, Е.Ф. Куниной, Л.В. Бройтман, чернилами и карандашом. 1943 — 1973. 406 листов. РНБ ОР Фонд 1257, опись 1, ед. хр. 30. (Указано Ю.Г. Волхонским).

К статье М.Н. Ангарской о Николае Семеновиче Клестове-Ангарском – текст публикуется по прижизненной машинописи**.**

Отзыв о статье Лилит Козловой о М. Цветаевой «Я – и мир» – отклик на статью, вошедшую в кн. Лилит Козлова «Вода родниковая. К истокам личности Марины Цветаевой», Ульяновск, «Симбирская книга», 1992, с 119-136.

Отзыв о работах Лилит Николаевны Козловой: «Сивилла», «Душа, родившаяся где-то» и других о моей сестре Марине Цветаевой – в кн. Лилит Козлова «Одинокий дух. Марина Цветаева Душа и ее путь», М., «Прометей», Союз искусств «Laterna Magica», 1992, с. 121.

«Об историческом очерке о г. Тарусе Калужской области Валерия Хайкина». – в газете «Цветаевский вестник. Таруса 90», 1990, с.4, (приложение к тарусской газете «Октябрь»). Предисловие А.И. Цветаевой к очерку Валерия Хайкина «Страницы былого».

В газету «Советская культура» [Обращение] – в тарусской газете «Октябрь», Спецвыпуск Тарусского музея семьи Цветаевых. Публикация Е. Климовой – 2019, 11 октября, с. 3.

Приветствие собравшимся 9 октября 1988 г., в день 96-ле-

тия Марины, сестры моей – в тарусской газете «Октябрь», 5 октября 1989 г. № 121 (6802), с. 1.

Ко дню открытия Тарусского Цветаевского музея [Обращение] – в тарусской газете «Октябрь», Спецвыпуск Тарусского музея семьи Цветаевых. Публикация Е. Климовой – 2019, 11 октября, с. 3.

К празднику 100-летия моей сестры Марины Цветаевой [Обращение] – текст публикуется по прижизненной машинописи.

В село Усень-Ивановское под Уфой [Обращение] – текст публикуется по прижизненной машинописи.

Приветствие собравшимся 9 октября 1988 г., в день 96-летия Марины, сестры моей – текст публикуется по прижизненной машинописи.

Всероссийскому литературному празднику школьников, посвященному 100-летию со дня рождения Марины Цветаевой 6 января 1993 г. в Александрове – текст публикуется по прижизненной рукописи. Литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых в Александрове. Основной фонд.

[Приветствие Цветаевскому празднику в Александрове] – текст публикуется по прижизненной копии с рукописи.

[Обращение] В Литературно-художественный музей М. Цветаевой в Александрове

В обращении речь идет о Мстиславе Борисовиче Козьмине (1920-1992) литературоведе, критике, директоре Музея М. Горького в Москве, директоре Государственного дома-музея М. Горького в Москве, потом зам.гл. редактора журнала «Новый мир», далее главном редакторе журнала «Вопросы литературы».

[В музей Андрея Белого в Москве. Обращение] – текст публикуется по прижизненному рукописному тексту на обороте открытки с изображением – «Москва. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина**.** Изд. «Планета», 1986.

Прошение – Заведующей Главмузеем Н.И. Троцкой 13 августа 1925 г. – в тарусской газете «Октябрь», Спецвыпуск Тарусского музея семьи Цветаевых. Публикация Е. Климовой – 2019, 11 октября, с. 3.

Завещание А. И. Цветаевой – 19 марта 1952 г. Печатается по рукописи, хранящейся в основном фонде Литературно-художественного музея М. и А. Цветаевых в Александрове.

СОДЕРЖАНИЕ

Ольга Трухачева Память пребывает вовек!.. – Из воспоминаний о бабушке Асе 3
Станислав Айдинян О жизни и творчестве Анастасии Цветаевой 14

ЧАСТЬ 1

Таруса (вместо интервью о ней) 27
Тьо Сусанна Давыдовна, по мужу Мейн 31
Воспоминания о брате моем, Андрее Ивановиче Цветаеве 39
Воспоминание об отце, профессоре И.В. Цветаеве 58
О сыне моем, Андрее Борисовиче Трухачеве 72

ЧАСТЬ 2

Мой путь к религии 96
Таинственный старец 100
Однажды в Загорске 101
Светлой ночью 102
Чудо? 102
О Максимилиане Волошине 104
Разговор с М.А. Волошиным. Из книги «Королевские размышления. 1914 год» 105
О священнике Валентине Свенцицком и о годе его смерти 111
О поэме «ОРО» отца Павла Флоренского, написанной им в заключении 112
Непостижимые – О животных 114
Мы никогда не бываем одиноки 115

ЧАСТЬ 3

Сейчас я вам что-то скажу 117
Явь и стихи 121
Корни и плоды 126
Размышления над книгой Анны Саакянц «Марина Цветаева» 145
О книге Виктории Швейцер 157
Я огорчена… В «Независимую газету». По поводу письма Виктории Швейцер 160
«Марина Цветаева: миф и действительность» 160
Об очерке моей сестры Марины Цветаевой «Жених» (1933, Париж) 162
Маринин дом 165
Освящение мемориального дома моей сестры Марины 202
О Собрании сочинений М. Цветаевой 204
Ее последнее величье 205

ЧАСТЬ 4

Из книги о Горьком 206
Воспоминания о Борисе Пастернаке 229
Памяти Яши Горбова 250
Внучка Наташи Ростовой 253
История одной судьбы 258
История одного портрета 260
Майя Кювилье-Кудашева-Роллан 263
О Николае Александровиче Бердяеве 269
Воспоминание о моей подруге проф. Зое Михайловне Цетковой 270
Несколько слов о друзьях писателях 277
Мы встретились в старости 282
Евгения Кунина «Франческа да Римини». Лирическая трагедия. В «Новый мир» 283
Ольга Павловна Рунова-Мещерская 284
О смерти М.И. Кузнецовой-Гриневой 290
О смерти моей старшей сестры Лёры 292
О сестре моей Марине Цветаевой 292
О правнучке моей, Оле Мещерской 293
Ночное эссе 294
У новой подруги 296

ЧАСТЬ 5

Драгоценная достоверность 299
Размышления о повести Рюрика Ивнева «Первопутье» 303
«Сердце к сердцу» 310
Несколько слов о стихах Рюрика Ивнева 320

ЧАСТЬ 6

Книга о моем отце 323
Двойное пламя 333
Пятисвечник 338
Он называл себя врачом растений 346
Встреча с идеей 352
Благословляю вас на подвиг брака 359
Об аномалиях. Эссе 361

ЧАСТЬ 7

Об эстонском художнике Олаве Маране 363
Ирина Бржеская – вся сложность чувств 366

«Дважды два – пять…» 370
Боровская жемчужина 374
Чтице Валентине Алексеевне Поповой 379
«Дом быта» в Сергиевом Посаде 381
Роза 382
У новой подруги 383
Жемчужинка 385
Драгоценный кот 386
Звери игрушечные 387
Трезор 387
Насекомое 388
Сказ о звонаре московском 389

ЧАСТЬ 8

О Евгении Винокурове 449
Чистый источник 452
Врач и писатель 455
«Людям о людях» Галины Медзмариашвили. Предисловие к книге 457
«Пробуждение» Дины Терещенко 459
О рассказе Марины Кравцовой – «Пощечина» 459
Отзыв о стихотворной поэме «Фауст против Мефистофеля» В.Я. Ионаса 460
К статье М.Н. Ангарской о Николае Семеновиче Клестове-Ангарском 461
Отзыв о статье Лилит Козловой о М. Цветаевой «Я – и мир» 461
Отзыв о работах Лилит Николаевны Козловой: «Сивилла»,
«Душа, родившаяся где-то» и других о моей сестре Марине Цветаевой 462
Об историческом очерке о г. Тарусе Калужской области Валерия Хайкина 462
В газету «Советская культура» 463
Приветствие собравшимся 9 октября 1988 г.,
в день 96-летия Марины, сестры моей 463
Ко дню открытия Тарусского Цветаевского музея 464
К празднику 100-летия моей сестры Марины Цветаевой 465
В село Усень-Ивановское под Уфой 465
Всероссийскому литературному празднику школьников, посвященному
100-летию со дня рождения Марины Цветаевой 6 января 1993 г. 465
[Приветствие Цветаевскому празднику в Александрове] 466
[Обращение] В Литературно-художественный музей
М. Цветаевой в Александрове 466
Прошение – Заведующей Главмузеем Н.И. Троцкой 13 августа 1925 г. 467
Завещание А. И. Цветаевой – 19 марта 1952 г. 468

Источники 469

Цветаева
Анастасия Ивановна

Букет полевых цветов

Сборник очерков, откликов, статей, эссе, рецензий

Ответственный за выпуск Игорь Сиренко
Техническое редактирование и верстка Игорь Сиренко
Литературный редактор Станислав Айдинян
Корректор Сергей Главацкий
Художественное оформление Валерий Чурик

Подписано в печать 10.12.2022
Формат 60 х 90/16
Тираж после обреза 148 х 210 мм.
Печать офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс»
Усл. печ. л. 30. Тираж 150 экз.
Издательство «Серебряные нити». Лицензия 064209.
serebrin@yandex.ru